

Ахат Мушинский

Яблони цветут в октябре

романы, рассказы, повесть

Казань
Татарское книжное издательство
2011

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)-44
М93

Мушинский, А.Х.

М93

Яблони цветут в октябре : романы, рассказы, повесть / Ахат Мушинский. – Казань : Татар. кн. изд-во, 2011. – 511 с.

ISBN 978-5-298-02030-5

Избранные произведения писателя в этой книге представляют три жанра прозы – рассказ, повесть, роман. Любители литературы почерпнут для себя много интересного о родном городе автора – Казани («Шейх и Звездочет»), не останутся равнодушными к судьбе погибающего поэта («Записки горбатого человека»), окажутся свидетелями любовного треугольника в альпинистском походе на Тянь-Шане («Прогулка за эдельвейсами»), задумаются над небольшими по объему рассказами.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)-44
ISBN 978-5-298-02030-5

© Татарское книжное издательство, 2011
© Мушинский А.Х., 2011

Шейх и Звездочет

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

1. Соседи

В своей летней резиденции, старом скособоченном сарае, Шаих просыпался чуть свет и подолгу наблюдал, как сквозь щелястые стены сочится утро, озирал свое добро – радиорухлядь, натасканную с плюшкинской запасливостью, прислушивался к возне на голубятне над головой, воркованию, попискиванию...

Еще солнце не показывалось из-за яблоневого сада, а он уже поднимался на крышу, и стая его белокрылых голубей взлетала.

В такие ранние часы Шаих не оглашал округу разбойничьим свистом – лишь помахивал ивовым таяком с тряпицей на конце, шугая ленивцев, норовящих воротиться обратно на лаву. Круг за кругом птицы набирали высоту, вспыхивали крохотными трепещущими блестками в лучах пока еще незримого солнца, а он шурил глаз, чесал затылок и, сплунув с верхотуры, с видом человека, постигшего какую-то непостижимую истину, отставлял таяк и спускался на грешную землю дела делать.

Дел у него всегда было невпроворот. Прежде всего он готовил для летающей гвардии завтрак, опять лазил по голубятне, наполнял кормушки, заботливо ощупывал севших на гнезда птиц, убирал под насестами... Потом на часок-другой задумывался с паяльником в руках над какой-нибудь мудреной схемой или шарил отверткой во внутренностях доходяги-приемника, воскрешая его для очередного и

бесконечного просителя.

Справившись со своими делами, Шаих принимался за обязательку. Тут уж – таскал ли воду в сад с колонки через дорогу, перекладывал ли оскудевшие за зиму поленицы в сарае – начинал поспешать, потому что поджимало время, которого перед школой (мы учились во вторую смену) никогда и никому из нас не хватало.

Но нередко утреннее солнце заставляло его уже далеко от дома – на Волге или Казанке, а то и за десятки километров на Мёше с удочками у какой-нибудь богом забытой излучины. Рыбалка для него была тоже делом.

Не знаю, что представлял бы собой Шаих теперь, но тогда, на перевале пятидесятих-шестидесятих годов, в сущности еще подросток, он, при всей взрослости в манерах, был откровенно угловат, тощ, однако, как сказал про него Ханиф, – туг в кости. Проще высказалась Юлька, заметив ему однажды: «Ты страшно некрасив, но страшно любопытен». Это ей, стало быть, Юльке, любопытен. Первое «страшно» она, конечно, ради красного словца ввернула, а так и в самом деле его внешность никого не оставляла равнодушным: на стебельке шеи лобастая тыква, челку «корова лизнула», как ни приглаживай, стоит заборчиком; из-под ершистых бровей колют всех без разбора то карие, то желтые – в зависимости от настроения и погоды – глаза. Его сразу, после первой же встречи, или принимали, или не терпели – хронически и навсегда.

А я и любил, и не терпел, и – по прошествии лет стало ясно – затаенно, с какой-то дотошной пытливостью наблюдал. Да, наблюдал. Может, это и было моим единственным призванием тогда. Ничем другим я не отличался. И вот спустя годы память раз за разом возвращает мне моего друга, наш дом, нашего одинокого ученого соседа, в каморке которого прошла половина той далекой жизни, возвращает других милых сердцу людей, и немилых тоже, и врагов среди них, и какие-то случайные обрывки фраз, жесты, лица, голоса... Они роятся в голове, гудят, живут своей независимой жизнью, и при всем желании никак в ту их жизнь не вмешаться.

Стою на бывшей нашей улице. Сколько лет прошло! Где дом и необъятный, как само детство, двор? Где голубятня, яблоневый сад? Где мой друг и где я сам, его вихрастый кореш? Где тот, небритый и нескладный, к кому мы с ним так тянулись? Где та, синеглазая с походкой балерины, в которую мы без ума были влюблены? Нет, ничего и никого уже нет. Только память. Вон взмыли, разрезая тишь утра, белоснежные голуби – почтари, турманы, якобинцы... Но это не те, не друга моего птицы.

С его появлением мое детское сознание как бы окончательно пробудилось. И уж больше не было зияющих провалов в памяти, когда тебе отец-мать что-то рассказывают из твоей же жизни, а ты не помнишь.

Появился он леденяще-холодным декабрьским утром. Несмотря на стужу, народу во дворе набилось – не протиснуться. Люди молча взирали, как служивые в шинелях с красными лычками на погонах поднимали на обледенелое крыльцо-боковушку гроб. (Парадный вход наглухо задраен.) У чернеющего дверного проема голосила махонькая простоволосая тетка. Платок сбит на спину, а к юбке меж пол распаханного плюшевого бешмета пристыл мальчик моих лет.

Это и был Шаих.

Он беззвучно плакал в подол матери. Его не замечали. Мимо пронесли отца, затем какие-то лавки, табуреты... Мать ринулась вслед, мальчик побежал за нею, но на крутой лестнице, ведущей на второй этаж, отстал, потерянно забился в угол чужого коридора, полного тьмы и неизвестности.

Тогда-то моя мама привела его к нам, будущим соседям. Всего на этаже было четыре комнаты с общей кухней и огромной русской печью. В одной жила незаметная и неслышная пожилая бездетная пара, в другой – одинокий ученый Николай Сергеевич Новиков, а в двух оставшихся должна была поселиться наша семья – отец, мать, брат, сестра и я, – но мы и въехать не успели, как уже были потеснены. «Временно, – объявил представитель исполкома, – экстренный случай». Так за день до прибытия еще одних соседей, у которых «экстренный случай», мы разместились в одной комнате новой для нас квартиры.

Что правда, то правда, случай был из ряда вон выходящий. Очередник на квартиру, боец пожарной охраны Исмагил Шакиров получил заветный ордер в уже остывшие руки. Несколько лет он с женой и сыном «временно» ютился не то в полусарае, не то в полуголубятне – иначе и не назвать это пристанище, надстроенное над древними продувными складами. Протопить его было невозможно. От пола в любую летнюю жару веяло холодом, а зимою тот пол покрывался льдом. Как ни странно, ребенок в том морозильнике уцелел. Заболел Шакиров-старший. Воспалением легких. Кряхтел по ночам, кашлял, а жена вместо того, чтобы послать его с утра к докторам, гнала к райгорначальству. Впрочем, трудно корить бедную женщину – ключи от квартиры никогда на блюдечке не подносили, а в то время, спустя всего каких-то пять-шесть лет после войны, и говорить нечего. И Шакиров, перемогаясь, обивал пороги исполкомов, пока однажды ему не стало совсем худо. Вызвали «скорую», но довести до больницы не успели. В тот же день обезумевшая вдова двинулась прямо в горисполком,

прорвалась сквозь живую очередь и каменных секретарш к высокому начальнику, взяла его за лацканы пиджака и выпалила в лицо: «Убийца! Это ты убил моего мужа!» Ордер ей выписали тотчас. Она вложила долгожданный листочек со всеми печатями и росписями в сомкнутые на груди руки супруга: «Вот и дождались мы своего. Завтра на новую квартиру поедем...».

Было хорошо слышно, как за дощатой, аккуратно оклеенной обоями стеной причитает соседка.

А моя мама всячески старалась отвлечь осиротевшего мальчика. Посадила его за мой столик, достала мои игрушки.

– Как тебя зовут, малыш?

– Шаих, – всхлипывал он и прислушивался к тому, что творилось за стеной, которая была преградой лишь для взора, но не для слуха.

– А маму?

– Ани...

– А по имени?

– Рашида.

– Мы теперь соседи ваши. – Мама трепала его по упрямой челке и кивала на меня: – Будешь вот дружить с Ренатом. Тебе сколько лет?

– Шесть.

– Выходит, одноклассники, послевоенные. Вместе и в школу отправитесь на будущий год. А ты чего забился в угол? – это она уже мне. – Покажи гостю свои игрушки. Ну же...

С того дня и завязалась наша дружба с Шаихом –Шейхом, как его потом в школе окрестили. Но я его так никогда не называл.

2. Не зная броду...

В то далекое майское утро тысяча девятьсот шестьдесят первого года, которое я помню лучше вчерашнего, Шаих разбудил меня затемно.

На просторном, им самим сколоченном топчане он затихал с вечера мгновенно. Натянет одеяло на голову – и все. А я возился чуть ли не до самого подъема – так сильно будоражила предстоящая рыбалка, на которую родители отпускали меня нечасто. Под утро все-таки проваливался в сон, и тут же Шаих встряхивал меня, одетый, деловитый. Пока я собирался, он поправлял рыболовные снасти, осматривал велосипеды...

Едва ночь расшторивалась, а мы уже вылетали из города на своих драндулетах и гнали к реке. Каждый раз казалось, что вот именно на этот раз нам неслыханно повезет.

Была середина роскошного мая. Невидимые дали дышали приветливым теплом. И если предрассветная свежесть все же пробирала нас, несущихся на всех парах, то это не остужало пыл – впереди были Волга, солнце, воля, вся жизнь! А как же иначе в пятнадцать лет! (Он родился на полгода раньше меня, и я все время догонял: по полгода в году мы были ровесниками, а по полгода он был старше меня на год.)

В тот раз мы рыбачили у лесоперевалочной базы. Излюбленное место Ханифа, нашего соседа (его единственная на улице мазанка белела напротив дома через дорогу). Бывший моряк-балтиец, на гражданке он опять служил. Участковым милиционером. Ханифа уважала вся округа, пред ним трепетала местная шпана. О нем и в газетах писали – он один схватился с шестью бандитами, двоих с ходу скрутил, остальных поймали позже. А всего лишь через год после того случая бросился ранней весной в полынью и вытащил провалившуюся старуху и ее овчарку. Такой мужик. Точнее, парень, ему тогда всего двадцать четыре минуло. У него был личный мотоцикл, трофейный двухцилиндровый «BMW» с коляской, который он, ясно, не на войне у фрицев отбил. На нем он и на службу тархтел, и на рыбалку, и жену с детьми катал. Стук цилиндров его машины мы с закрытыми глазами за десять заборов узнавали.

Мотоцикл, как запаренный жеребчик, стоял на берегу, склонив переднее колесо набок. Хозяина не видать. Мы прислонили велосипеды к коляске и запрыгали по плотам, которым в том месте ни конца ни края, словно кто-то надумал вымостить бревнами всю Волгу. Покуда отыскиали окно вольной воды, упарились.

...Сидели рядышком. Шаиху на рыбалке везло, и я обычно пристраивался к нему поближе. Порой так закидывал удочки, что лески наши спутывались. Шаих терпел, а я за компанию тоже не без улова оставался.

Не клевало. Из-за горы бревен на берегу выглянуло огромное красное солнце и поплыло по чистому небу, быстро уменьшаясь и бледнея. Вода заблестела, все оживило вокруг, замелькали короткохвостые береговые ласточки, на мой поплавок села стрекоза. Прогнать ее сквозь навалившуюся неотвязную дрему сил у меня не хватило.

Проснулся, когда солнце уже всю слепило из зеркала воды и по ее зеленовато-голубой глади, будто по опрокинутому небу, потянулись редкие дневные облака. А Шаих все сидел на прежнем месте, слегка покачиваясь и не сводя глаз с удочек – вот-вот белугу вытащит.

Я хотел было перевернуться на другой бок, как вдруг он схватил донку и быстро-быстро стал выбирать лесу. Добыча выпорхнула из отраженных облаков, точно шальная птица. Сорвалась с крючка, заплескала по бревнам, уж и водица рядом... Шаих изловчился, цапнул пятерней, но рыба выскользнула из руки, и тогда он молниеносно, одним взмахом пригвоздил ее к плоту финским ножом, который бог знает когда еще подарил ему сосед Николай Сергеевич Новиков (финка была старинной, кожаные ножны ее истлели, деревянная рукоятка сгнила, и Шаих выточил и приладил новую).

Под острием ножа был линь. Не такой крупный, каким показался сперва (потому-то и не сачил его сачком), но все равно солидный, толстый, с запорожскими усами.

– Не слинял чуть линек-то, – заметил я. – Скользкий, гад.

– А-а!.. – сказал Шаих. Он не рисовался, не перед кем было, да и не в его характере. На любой рыбалке, при любой поклевке он думал о большой рыбе. Он был рыбак.

Помню, мы еще совсем птенцы-оперыши, зима на дворе, моя мама высаживает из русской печи румяные эчпочмаки, жарко в общей кухне, запашисто. По какому поводу праздник? Отец ли из командировки вернулся (он работал шофером на грузовике), брат ли стипендию или расчет за целину, где поработал прошлым летом, получил? Неважно, главное – праздник для всех, всем домом будем угощаться.

А он на рыбалку...

Зимняя рыбалка у нас в городе тогда только-только зарождалась. Толчком к новой страсти горожан послужил пуск Куйбышевской ГЭС, когда, перекрытая плотиной, Волга разлилась вдруг морем-океаном, а вертлявая Казанка – широченной рекою.

– Куда ж ты, Шаих? – удивилась мама. – Пирогі готовы.

– Червей надо накопать, пока светло.

– Какие зимой черви?

– Обыкновенные, просто они сейчас поглубже сидят.

– Покушай сначала.

– Потом.

Он нахлобучил отцовскую шапку, защелкнул на телогрейке ремень со звездой на бляхе и пошел.

Червей мы копали в овраге – на Ямках, как мы называли тот громадный извилистый овраг за школьным двором. Там летом окрестные жители и картошку сажали, там же, на ближнем склоне, и свалка прижилась, а подальше, за поворотом, на дальних Ямках блестело озеро, на котором устраивались преславнейшие морские бои: весной – на льдинах, летом – на чем попало: на плотках из сваленных заборов, флотилиях из бочек, носилок, автомобильных шин... Бывало, с какого-нибудь «крейсера» в воду разом человек по десять летело.

Зимой озеро превращалось во множество хоккейных площадок, а склоны Ямок – в раздолье для лыжников. Здесь и слалом крутили, и с трамплинов сгали, и на одной лыже с подрезанным задком такие кренделя выписывали – залюбуешься!

Неукатанной оставалась лишь занесенная снегом свалка ближних Ямок. Туда и направился Шаих.

Холода стояли суровые. А может, и не очень. Все-то мы склонны преувеличивать, что окружало нас в детстве. Но сугробы уж точно были громадными, провалишься – с руками уйдешь.

Шаих начал орудовать лопатой на северном склоне, где снежка навалило поменьше, он весь собрался в своеобразный калфак или, точнее, козырек на лбу обрыва. Сначала работа шла хорошо, а вот когда докопался до земли да взялся за пешню, да зазвенела она у него в руках, тогда, должно быть, вспомнил о пирогах и теплой печке. Хотя не той он породы – упрямец. Искры летели из-под каленого металла. Не земля, а бетон. Но все же постепенно, нехотя, сантиметр за сантиметром она стала уступать. А когда на штыке лопаты шевельнулся долгожданный червячок, снежный козырек рухнул. Снаружи от Шаиха лишь отцовой шапки завязочки бантиком остались... Другой бы там, пожалуй, так и застыл до весны заживо погребенный. А он выбрался. И снова принялся за свое. И вернулся-таки с червями. Вялыми, правда, но живыми.

На следующий день рано утром, ежась в промерзлых снях, я пожелал ему успеха, и он растаял во тьме и холодрыге.

Он пошел на Казанку, к Горбатову мосту. Говорили, что в тех местах особенно хорошо клевало. Выбрал припорошенную лунку, намотал веревку пешни на руку, стал долбить. Ледок в лунке оказался молодым, а веревка гнилой, и пешня со второго взмаха булькнула с концами. В руке огрызок страховки, на воде пузыри, но что делать, не топиться же из-за железки. Натянул шапку потуже, обнажил полуметровое бамбуковое удище... Откуда у него, уроженца сухопутной деревушки Высокогорского района, эта рыбацкая страсть? Насадил полудохлого червя на крючок, утопил в студеной воде и, покусав подмерзшие пальцы, уставился на поплавок, который покачался и замер в

шуге. Шаих вычистил лунку, ледяная каша вновь завязалась. Шаих – опять... Она – снова...

Как ни упрям был мой друг, но мороз свое взял. Шаих поднял удочку с беспомощным поплавком, размышляя, что делать. Неподалеку чернела стайка рыбаков. Он подошел к ним. У них были странные, со школьную линейку, удилица с велосипедными ниппелями на концах, странная насадка – крошечные клюквенно-яркие червячки. Старик-рыбак, выслушав паренька, посмеялся, дал клубочек мотыля, а вот ниппель лишнего у него не оказалось.

Но и этого было предостаточно. Шаих отложил свою несуразно длинную уду, подцепил жалом крючка сразу парочку крох-червячков, конец лески намотал на палец, и пошла рыбалка! Забились на льду сорожка, окунь... Шаих выдергивал рыбку и приговаривал: «Чи-чи-чи», точно своих голубей в переседник загонял, словно необузданный клев и непрерывный лет рыбы из-под льда были для него привычным делом. Трудился – спина взмокла. Только мерзли нещадно руки, да матерился, озираясь на него, старик поодаль...

Но вернемся с январского льда на майские плоты.

Сняв линька с острия финского ножа, Шаих поинтересовался, выпался ли я.

– Ни сна, – ответил я, – ни рыбы. Ладно тебе подфартило.

Он промолчал, подтянул кукан: в воде, нанизанные на невидимую леску, шевелились темнохребетные рыбины. Мне стало обидно – проспал все на свете, и я, потянувшись и зевнув, сказал, что пошел на берег искупаться. Рядом желтела отмель. К ней я и поскакал по бревнам.

...Шаих терпеливо ждал свою царь-рыбу, а я барахтаюсь на мелководе с восторгом человека, не умеющего плавать. Позволял себе такое нечасто, потому что стеснялся языкастых сверстников и их страшных шуточек на воде. А тут никого не было, кроме того, кто знал меня как облупленного.

Теперь и не припомнить подробностей тех мгновений, когда я чуть не распрощался с жизнью. Сначала все было прекрасно и весело. Холодная вода бодрила, ровный песчаный грунт придавал уверенности. Помню, забрел по самую шею, работая руками в стиле «басс», ожидая, когда тело станет невесомым и поплывет без помощи ног, и уже собирался повернуть обратно, как вдруг земля ушла из-под меня.

Врезалось в память: глотаю воду, барахтаюсь что есть силы, кричу, опять захлебываюсь, погружаюсь... Как перестал сопротивляться – не помню. Был зеленовато-мутный сон со сладким пробуждением на берегу. Никогда-то не уследишь, как заснешь, зато момент пробуждения всегда ясен и чист. Надо мной перекошенные лица Шаиха и Ханифа, совсем не вяжущиеся с безоблачным майским небом.

Шаих сказал:

– У-уф! – И облегченно разогнулся.

– Обормот! – сказал Ханиф.

Я все сразу и вспомнил, и понял. Понял, что утонул и что меня вытащили, откачали, но кто и как – не знал.

А дело было так.

Когда я затрепыхался и стал орать, Шаих, менявший наживку, поднял голову: не то я по-настоящему тону, не то разыгрываю. Он смотрел в мою сторону, а руки сами собою стягивали башмаки, брюки... Лишь когда я исчез и не показывался дольше, чем мог бы, он бросился по бревнам ко мне. До берега не добежал, нырнул с плота.

На песчаном дне он обнаружил меня сразу. Нащупал ногу и поволок к берегу. Дыхания хватило. Так за ногу и вытащил. Затем проще пареной репы: руки в стороны – на грудь, в стороны – на грудь. Тут-то и подбежал Ханиф. Он рыбачил рядом, за грудой бревен. Услыхал мой булькающий вопль и примчался, однако поспел лишь к моему благополучному возвращению на этот свет.

Попало обоим. Мне – за то, что вымахал с телка, а плавать не умею, и за то, что, не зная броду, лезу в воду. А Шаиху в общем-то для острастки. Но я видел, как смотрел балтиец на моего друга, как лежала его сильная рука на остром плече новоиспеченного спасателя.

Шаих раскладывал на плоту выжатую рубаху, в которой кинулся за мной, рядом сохли на солнышке носки. Я сказал, оправдываясь:

– Кто знал, что на таком шикарном пляже ямы!

– Оправдываться перед прокурором будешь, – сказал он, выжимая трусы.

На берегу затарахтел мотоцикл. Перебили Ханифу рыбалку.

3. Шейх багдадский, ремень солдатский

В школу в тот день мы, несмотря на то, что учились во вторую смену, опоздали.

Зашли на школьный двор.

У каждого он свой – красный уголок детства, безгранично вольный, беспечный. Не только

детства – всей дозрослой жизни. Хотя, глядишь, какой-нибудь там дядя Вася нет-нет да и погонит, засучив штаны, футбольный мяч, забегается до седьмого пота. Были свои дяди Васи и в наше время, не обходили они школьного двора, преследовали мяч, расталкивая мелюзгу, до хрипоты споря по поводу и без повода и в качестве самых веских аргументов отвешивая подзатыльники. И в карты с ребятами постарше резались – в очко, в буру, в свару и в чикку дулись, разве что махнушку не выбивали. «Что их сюда тянет? – думалось мне. – Как дети!» Тепер с каждым годом все яснее – что.

Школьный двор таился в окружении густых яблонево-грушевых садов. И сама-то улица, на которой стояли и школа, и наш дом, называлась Алмалы – яблонева, значит. Нынче таких улиц не встретишь. Представьте, весь май осыпает дорогу кипящий над заборами яблоневый цвет, а в июне начинает царствовать липа, выстроившаяся вдоль тротуаров по обе стороны улицы. Идешь под желто-зеленой липовой крышей – пчелы звенят, а аромат, будто округу медом окатили! Позже опять властвует яблоня. Плоды ее день и ночь гулко бьются оземь, выкатываются, как румяные колобки, из-под ворот и калиток, выбирай на вкус – антоновка, анисовка, золотой ранет... Примиряются яблоня с липой лишь осенью, когда ветер-листобой раздевает соперниц одинаково нещадно до последнего желтого листочка.

Так или иначе, но улица называлась Яблонево, не Липово и не Грушево, хотя таких урожаев груш, как у нас, смею утверждать, ни одна из других улиц города не знала.

Наш школьный двор был не очень большой, но уютный, со слегка покатым футбольным полем, с баскетбольно-волейбольной площадкой, с какими-то сараями, закоулками, тупичками, посадками фруктовых деревьев, на которых плодов увидеть было невозможно: мы их, как саранча, еще по весне поедали, чуть ли не в цветах, это мы-то, пацаны с Яблонево, по жилам которых вместо крови, наверное, яблочный сок струился.

За посадками и следующим за ним картофельным полем начинались Ямки. Но о них вкратце я уже говорил.

На дворе в тот день было тесно. Играли и в баскет, и за оббитым мячом кустарником в чикку... Но господствовал футбол. Тут были и наши одноклассники из седьмого «А» Жбан с Килялей, самые «авторитетные» на школьном дворе пацаны, пыхтел вечно юный дядя Вася (правда, скоро, когда развернулись события, он растворился, ушел незаметно), торчал в воротах мальчик на побегушках Титя, мельтешила прочая ребятня. В кутерьме, демонстрируя чудеса техники, ярко вырисовывался десятиклассник Сашка Пичугин, парень в наших краях новый, но уже с «весом». В люди у нас можно было выбиться или за партой, или на школьном дворе. Профессорский сынок преуспел и там, и тут. Первый математик школы, без пяти минут медалист, краса и гордость района, он завоевал симпатии не только учителей и девочек, но и широкой дворовой публики. В стильном пиджачке и неизменных брючках-дудочках с разрезами у щиколоток (иначе не полезут), в остроносых, не удобных для игры туфельках из крокодиловой кожи, как он виртуозно манипулировал мячом! Он почти не бегал, однако мяч у него отобрать было делом чрезвычайно трудным. И мячи он не забивал, а элегантно, обмотав вратаря, вкатывал в ворота. Частенько здесь, на школьном дворе, он и в карты игрывал, и я просто диву давался: когда он уроки учит, когда готовится к математическим олимпиадам, на которых и побеждать умудряется? Я поражался калейдоскопичности его увлечений и способностей. А вот об одной его страсти – страсти коллекционера старинных открыток я до того дня не знал.

Но все по порядку.

– Шейх, вставай в ворота, – завидев нас, крикнул Титя, – мне домой надо.

К Шаиху на школьном дворе отношение было сложное. Хотя это я тепер так думаю. Наоборот, примитивное, одноклеточное, какое-то прямолинейно-насмешливое и ехидное. Каждый считал своим долгом задеть его, испытать на нем свое остроумие, пускали в ход и руки. Почему, с какой стати? Да потому, что у него отсутствовало поголовно владевшее нами всеми чувство стадности, он выделялся, во многих ситуациях поступал иначе, чем остальные, и при этом, несмотря на внешнюю ершистость, был мягок нравом и безответен на «злодейства» сверстников. Видел всю их пустячность, лишь голову задира в ответ, дул, выпятив нижнюю губу, на челку и уходил. Получалось это у него высокомерно, будто от назойливых мух отмахивался, – нос кверху, взгляд вдаль, ни сдачи тебе, но и ни заискивания – вот что более всего выводило из себя местных архаровцев и побуждало все к новым и к новым наскокам.

«Кого ты из себя гнешь?» – пытали его. И летело вдогонку еще в начальных классах набившее оскомину:

Шейх багдадский –
Ремень солдатский,
Кесарь ржавый,
Карман дырявый.

В куплете том была своя истина. В пятидесятые годы, да и в начале шестидесятых, сын дворничихи

не имел возможности одеваться наравне, скажем, с сыном профессора. Это сегодня все смешалось, поди-ка отличи внешне приемщика стеклопосуды от доцента университета или их детей друг от друга. Сын нашей дворничихи нынче мимо тебя с таким хрустом-скрипом всего новенького пройдет, так безразлично скользнет по тебе взглядом сквозь дымчатые стекла фирменных очков, что потеряешься, сам не зная отчего.

Латаных-перелатаных штанов, выпущенных внизу, но все равно коротких, Шаих не стеснялся. Из себя он «гнул» себя и никого иного. Об этом я отлично знал, потому-то, может быть, и тянулся к нему. Оттого другие над ним и куражились. Как это, сын дворничихи, маленькой психованной тетки, с которой на улице заговорить-то стыдно – начнет горланить! – над которой из-за ее неотесанных деревенских замашек насмеялась вся Алмалы, и такой гордый?! Даже Титя – Колька Титенко, у которого тоже не было отца, а мать крутилась посудомойкой в заводской столовой, и тот не упускал случая подкузъмить, и обязательно так, чтобы побольше ребят видело. А ведь в общем-то был смиренным мальчиком этот Титя. Потом его фотография как-то попала мне в газете – передовик, завидного мастерства скорняк... Как все извилисто в жизни и как трудно прожить ее без помарок. Ведь и я, Ренатка Аглиуллин, друг первый, порой не терпел его внутренней независимости, казавшейся мне высокомерием и упрямством. Чем я отличался от других, так всего лишь тем, что никогда за счет него не старался выпятиться и не стеснялся открытой дружбы с ним. И не более. Хотя и был ему единственным близким из сверстников и желал добра. Желал... И не более.

Как хочется порой переписать жизнь набело! Сколько в ней ошибок – и мелких, пусячных, и непоправимо-постыдных, которые поминать-то тошно.

4. Как хочется порой переписать жизнь набело

Шаих обыкновенно сторонился футбольных схваток. Поэтому и позвал его Титенко – хорошего игрока в ворота не затянуть.

Неожиданно Шаих согласился. Он деловито поинтересовался, кто в какой команде, скинул башмаки, засучил штанины, поплевал в ладони и, хоть игра шла у чужих ворот, решительно изготовился. Он попал в команду девятиклассника Алика Насыбуллина, уже тогда, как и Пичуга, защищавшего цвета «Трудовых резервов» на первенстве города.

Я устроился на бревнышке за воротами, приготовившись и посмеяться над горе-вратарем, и поболеть за него.

Пичуга выступал против нас, в его команде были и Жбан, и Киляля. Жбан играл дубово, как и учился, Киляля получше. Но все равно оба маячили за спиной Пичуги в защите.

– Какой счет? – поинтересовался Шаих.

– Пять-пять, – ответили ему.

«Значит, Алик не уступает», – подумал я. Поединок, по сути, всегда шел между ними двоими, Аликом и Пичугой, остальные – статисты, фон. Только об этом подумал, как сильнейший удар Пичуги отразила голова Шаиха. Он шелохнуться-то не успел, а уж парировал...

– Ну ты даешь! – похвалил я его. – Не раскололась тыква?

Но он не слышал меня. Он был оглушен, потерял ориентацию, и первые его шаги после удара были поиском равновесия.

– Бр-р!.. – только и произнес, помотав головой.

Зато Алик на том конце поля, в отличие от Пичуги, не сплеховал. Уронив незамысловатым финтом Жбана на колени и оставив у себя за спиной, он пробил точно под перекладину. Мяч пролетел сквозь драную сетку и улетел через забор в сад. Кое-кто пытался поспорить: мимо, мол.

– Играть надо, ротозей! – цыкнул Пичуга, и ротозей притихли.

Появился мяч, игра понеслась дальше.

Пичуга приближался с мячом к воротам, пожевывая желтую базарную грушу. Он напоминал заправского слаломиста, а наши защитники походили на флажки, которые лыжник то с одной стороны, то с другой виртуозно огибал. Один «флажок» упал, второй устоял, но это все уже пройденный этап и осталось лишь пустяковое препятствие – вратарь в облике несуразного Шейха из седьмого «А». Пичуга взглянул на него – заморыш! – и пошел на сближение. Он и его хотел обвести и закатить мяч в пустые ворота поизящнее, как бы нехотя, пяточкой или даже, присев, задницей. Тогда при любом счете не проиграешь. Но надо выманить вратаря из ворот...

Шаих долго ждать себя не заставил. Сорвался, как с цепи, и помчался сломя голову навстречу. Пичуга понял – не до фокусов. И решил протолкнуть мяч в свободный угол. Но было поздно. Словно камикадзе в бою, Шаих бросился в ноги противнику. Мгновение, и Пичуга, перелетев через ретивого голкипера, распростерся у ворот. Рядом в пыли – огрызок груши.

Следующая атака была похожа на расстрел. Опять прорвался Пичуга. Злой, сосредоточенный, он

подправил мяч себе под правую, чтоб поудобнее, чтоб врезать так врезать, не чикаться. Какое-то мгновение это был не Пичуга. Ни обычной ухмылочки, ни флегмы привычной – рот намертво и как-то косо сжат, ноздри раздуты, точно у скаковой лошади на финише, глаза шарят по воротам, отыскивая слабинку, вот-вот сами, опережая мяч, выстрелят в сетку. Сколько силы вложил он в удар! В той ситуации – в пяти метрах от ворот – больше чем следовало. Аж крокодиловая мокалина сорвалась. Ее и поймал Шаих. А мяч угодил в штангу и снова – в поле, в кучу малу.

Пичуга вырвал из рук Шаиха туфлю:

– Заставь дурака богу молиться!..

Но обувать не стал, а скинул и вторую туфлю, стянул носочки, подвернул «дудочки» и пошел босиком по травке в поисках мяча и новой атаки.

Однако на сей раз, как ни удивительно, продрался к воротам Жбан.

Второгодник Анатолий Жбанов был весьма своеобразным парнем как характером, способностями, так и обликовкой. Его коротким, икрстым, как балясины нашего балкона, ногам приходилось носить туловище зрелого мужчины с бицепсами циркового борца, в плечи которого всажена щекастая голова. Представьте себе добротную солдатскую сапожную щетку. Вот такие черные, жесткие были на этой голове волосы, берущие начало низко ото лба. Портрет довершали зеленые, будто бы тинной подернутые застывшие глазки, постоянно о чем-то вопрошавшие, постоянно чего-то не понимавшие.

Он выходил уже один на один с Шаихом, да какой-то пескарь гололобый все не отставал. Отталкивая мальчика, Жбан надал скорости, но короткие ноги не совладали с частотой оборотов, и он грузно ухнул в пыль у истоптанной вратарской площадки.

Поднял шум: подножка, пеналь! Никто и не спорил. Без вины виноватый малец и тот слова не вымолвил. Зато Шаих был непреклонен: нет нарушения, он сам упал.

– Я? Сам?.. – подбежал к нему Жбан.

Рядом за воротами играли в махнушку.

– Сто два, сто три, сто четыре... – Кусок шерсти с пришипленной свинцовой пломбой порхал у груди кривоногого виртуоза. «Щечкой» боевой ноги он выбивал новый мировой рекорд. Но его не замечали, двор собрался у ворот Шаиха.

– Я сам? – повторил Жбан.

– Сам... Никакой подножки.

Подошел Киляля. Сузил и без того узкие глаза:

– Я же видел... Чистая подножка. Вставай в ворота.

– Вставай, – повторил за Килялей Жбан. Не повторил – повелел. Взял мяч и отсчитал одиннадцать шагов.

– Да не было нарушения. – Шаих прислонился к штанге.

– Встань на место! – заорал Жбан. Он подошел к Шаиху и повлек его к центру ворот.

Шаих встрепенулся:

– Вот еще!

Получилось это у него резко и высокомерно. И он шагнул, чтобы вообще уйти со двора, но Жбан уцепился за рукав вельветовой курточки Шаиха крепко...

– Встань!

– Я же сказал...

– А я говорю – встань!

Шаих повел головой – нос кверху, взгляд куда-то в кроны распутившихся за оградой яблонь: разговаривать больше не о чем.

– Последний раз повторяю, – процедил Жбан.

– Ну ладно, ладно, – хихикнул Киляля. – Брось артачиться. Вон же ты сегодня как тигр, как лев, хе-хе... Яшин! Хе-хе... – Киляля был кадром крайне болтливый и хохотливый. Впрочем, если быть точным, не хохотливый, а хехетливый. – Чего тебе стоит?!

Шаих не среагировал.

– Смари, Шейх, твое дело, хе-хе, – пожал плечами Киляля и, словно бы на прощание, подал руку.

Шаих протянул свою левую (правую все еще удерживал Жбан). Однако Киляле нужно было другое. Он ловко схватил упряма за безымянный палец и вывернул его.

От боли Шаих присел, а Киляля продолжал пытку:

– Встанешь?

Из глаз Шаиха выбились слезы, но он молчал. Киляля выругался и оттолкнул несговорчивого стража ворот. Да так, чтобы тот опрокинулся, рассмешил всех.

Шаих устоял, лишь руками неуклюже взмахнул да от Жбана тем самым отцепился.

Киляля зло хехекнул:

– Топай кверху попой.

Смуглолицый, птиценосый, похожий на индейца, он был хитер, необузданно горяч, но, в отличие

от Жбана, отходчив. Киляля в переводе с татарского означает «подойди-ка». Так его прозвали из-за подбострастной привязанности к Жбану. Прилипчивы мальчишечьи клички, порою до конца жизни, как клеймо на лбу. А настоящее его имя, если память мне не изменяет, – Равиль Гарипов. Да, Равилька Гарипов.

– Да ну его, Толик, – сказал он Жбану.

Однако Анатолию Жбанову было не «да ну», он опять чего-то недопонимал. Он не привык, чтобы ему здесь, на школьном дворе, перечили. Его болотные глазки были более цепкими, чем руки. И они не отпускали.

– Значит, не будешь играть?

– ...

– Значит, и разговаривать не желаешь?

От попытался опять схватить Шаиха, но тот не очень-то вежливо отстранился.

И Жбан ударил. Крюком слева. Слюни брызнули из сжатого рта Шаиха. Тут же, и с ноги на ногу не переступив, Жбан двинул правой. Кулак клацнул по скуле, смял нос.

Против ожидания Шаих не упал, покачнулся лишь. Может, именно это и разъярило Жбана. Он, уже не таясь, совсем не по-боксерски изготовлялся к новому удару – тянул кулак снизу, от бедра. Я знал этот апперкот, валивший с ног и не таких бойцов, как Шаих. Хотя какой он был боец?! Он и уклониться-то не пробовал, стоял, подтирая кровенеющий нос, холодно глядя на своего обидчика.

Сколько народу было рядом! Но толпа молчала, рассасываясь потихоньку.

Я схватил Жбана за руку. Он недоуменно оглянулся на меня и с силой пихнул в грудь.

– Ты еще тут, Аглы!

Толчок был настолько силен, или я настолько слаб, что сразу, как у нас говорили, слетел с катушек и, приземлившись, потряс затылком стойку ворот. Они были сварены из металлических труб. Звоном наполнились трубы. И моя голова тоже.

Войдя в раж, Жбан снова замахнулся...

Мне бы встать, но я не встал. Теперь кажется, не только оттого, что голова наполнилась звоном, ведь не потерял сознание, соображал...

Жбана остудил Пичуга. Слегка коснулся музыкальными пальчиками его плеча:

– Хорош тебе, разошелся.

Уже обутый, он до поры до времени лениво наблюдал за происходящим, но скоро ему надоело, стало противно смотреть на психовство Жбана – кипит, кулаками машет, кровь пускает, а что толку? Пришлось вмешаться.

– Ну, кому сказал?!

Жбан ходил кругами, постращал еще. Ослушаться, однако, не посмел. Пичуга для него являлся высшей инстанцией. На что купился Жбан, своенравный, твердолобый мужик из седьмого класса? Не только же на шмотки, которые Пичуга давал ему поносить (почти всю зиму Жбан таскал его «олимпийку» – ярко-синюю спортивную фуфайку, тогда очень модную). Позже я узнал причину...

Жбан помочился на штангу, о которую я чуть не расколол себе голову, сплюнул сквозь зубы:

– Ладно, шейх багдадский, еще придешь сюда!

Шаих будто и не слышал. Воткнул ноги в штиблеты и, зажимая задранный кверху нос, зашагал восвояси.

Можно было подумать, что не его побили, а он со всеми разделался и вот несет гордо домой победу.

Глава вторая

5. Николай Сергеевич Новиков

Стоим на кухне, то есть в нашем общем коридоре, превращенном в кухню, у домофона, Шаих склонился над тазом, подтирает нос, под которым никак не исчезают жидко-красные усики. Я что-то говорю, он что-то отвечает, поддает сосок домофона, нацеживает в ладони воды, чтобы вновь омыть лицо.

Эта картинка, как заезженный сон, преследует меня всю жизнь. И сегодня я слышу тот домофон: тук-тук-тук...

Дверь из сеней в кухню, треща вековой обшивкой, растворяется, и на пороге возникает всегда шумный наш ученый сосед Николай Сергеевич Новиков. Высокий, сутулый, с крупным носом и бетховенской бурей волос, он напоминал собой большую взъерошенную птицу неизвестной породы. Под мышкой портфель, под другой – газеты и журналы из общего почтового ящика, в руках хозяйственные сетки, из которых, как шипы морских мин, – макароны, сосиски, еще что-то, а в устах

неизменное: «У-ту-ту!» Таким образом он пел, как поезд или пароход, – без слов, без мелодии, просто оповещая людей о прибытии, о том, что позади все прекрасно, а впереди уйма любимой работы.

– Здравствуйте, здравствуйте! – приветствует он нас. – У-ту-ту! Вам, ребята, только две газетки, остальные мне. Почта сегодня, прямо скажем, небогатая.

Газет и журналов он выписывал столько, сколько, наверно, не выписывала вся Алмалы.

– Подсоблю, Николай Сергеевич. – Я подхватываю сетки, которые на пол не поставишь – развалятся; жду, когда он разомкнет крохотный, для почтовых ящиков, замочек на тяжелой старинной двери, и помогаю занести вещи.

– Николай Сергеевич, можно «Вокруг света» на полчаса?

– Пожалуйста, пожалуйста! Я еще не читал, но там прелюбопытнейшая статья про Тунгусский метеорит.

Я беру журнал, прихватываю наши молодежные газеты, выхожу. За мной следует Николай Сергеевич:

– А Шаих все умывается?

Кровь у Шаиха перестала идти. Он осторожно промокает полотенцем распухшие нос, губу, то и дело поглядывая, не запачкал ли полотенце кровью. Не прерывая своего усердного занятия, спрашивает:

– А что, Николай Сергеевич?

– Я сразу не сказал, думал, освободишься... Но тобой интересуются, внизу, во дворе... – Изменений в «портрете» Шаиха Николай Сергеевич не замечает.

Я подкалываю:

– Двое с носилками, один с топором.

Шаих мою шутку пропускает мимо ушей.

– Кто?

– Скорее не тобой, а твоими голубями. Мужчина...

Николай Сергеевич черпает ковшом из ведра у двери и, расплескав воду по полу, восклицает: «У-ту-ту», что на сей раз означает: «Ах, какой же я неловкий!» И скрывается у себя за дверью. Кухней он не пользовался, лишь стол там был да ведра на нем, которые мы с Шаихом старались держать всегда доверху наполненными.

Шаих пожимает плечами:

– Кому я понадобился?

6. Киям-абый

По двору прогуливался пожилой, но подтянутый, сабельной осанки мужчина в белой сетчатой шляпе и с офицерской планшеткой на боку.

– Эта вы хазиян галубятни? – спросил он, сильно нажимая на «а». Выяснив, что не ошибся, вежливо поздоровался:

– Здравствуем!

– Исанмесез, – ответил Шаих, выжидая.

Незнакомец, довольный, что можно говорить на родном языке, стал неторопливо объяснять:

– Я рисую. Для себя рисую, у себя дома. Недавно задумал одну картину. Называется... Хотя какая разница, как называется. И сам еще не знаю как. Главное, там голуби должны быть. Белые. Да, красивые белые голуби. А где их взять? Не срисовывать же с обычных. Понимаешь? А у тебя... Кстати, как тебя звать? Шаих? Видное имя. Так вот, а у тебя, Шаих, эти голуби, пожалуйста, летают! Загляденье. Из моего окна хорошо видать. Мы на четвертом этаже живем. Знаешь желтый кирпичный дом?

– Бригантина?

– Вот, вот, Бригантиной почему-то называют. Булочная с одного конца, с другого – гастроном. А какие у тебя породы? – кивнул незнакомец на голубятню.

– Разные.

– А есть такие... с перышками на ножках?

– Космачи, что ли?

– Может, и ка-сма-чи, – повторил мужчина незнакомое слово. – Кто их знает. – Он поправил под шляпой волосы. Они у него были темно-каштановые, густые, вьющиеся.

– Сейчас выгоню, поглядите, – сказал Шаих и шагнул к приставленной к сараю лестнице.

Когда птицы, воркуя и хлопая крыльями, заполнили лаву, незнакомец, оставшийся внизу, достал из планшетки альбом-блокнот и стремительно повел по нему карандашом.

– Как ты различаешь, который он, а который она?

– Беру и тяну за клюв. Если вырвется – самец, если нет – самка. Вот посмотрите. – Шаих взял крупного пятнистого турмана, потянул за клюв. Тот отдернул голову. Шаих погладил его, подкинул, но турман выше лавы не полетел.

– Лентяй! – сказал художник.

Шаих возразил:

– Старый просто.

– Вроде не похоже.

– Вроде-то вроде, а уж разум теряет. Жить ему теперь все равно где, лишь бы кормили, и летает лишь по своему желанию, с лавы просто не согнать. Да и видно: на носу грибы, на глазах коросты.

– И-е, – вздохнул художник, – в старости и голуби становятся страшными.

– И дышат тяжело, сопят...

Гость снова вздохнул и, немного помолчав, сказал:

– Меня Киямом Ахметовичем зовут, Мухаметшиным. Слыхал?

– Нет, – смущенно ответил Шаих.

– Тогда просто – Киям-абый.

Проследили, как спланировала и шумно села на лаву последняя загулявшаяся пара почтарей.

Шаих кивнул на них:

– Что с краю – совсем молодой. Недавно на птичьем рынке махнул его на катуна с одним голубятником из Бугульмы. Ну, думаю, все, не вернется. А сам все-таки надеюсь, верю. Неделя после этого прошла, вторая... Однажды выгоняю гвардию, сам во дворе чем-то занялся. Глянул на лаву, ба-а! – будто и не улетал! Жметя к своей подруге, да, да, вон к той, зоб от счастья раздувает, хвост по полу, чистый павлин. А она тоже рада – крылья распустила, шею лебедем выгнула, воркует, ласкается – верен кавалер ей оказался. Теперь так и зову его – Верный.

– Любовь, молодость... Что им расстояния!

Киям-абый перевернул страницу альбома, вдохновенно черкнул карандашом и сломал остро отточенный грифель.

– И-и, шайтан!

– Что случилось? – спросил Шаих сверху. – А-а, карандаш... Сейчас спущусь, починим.

Зашли в сарай. Шаих искал лезвие или нож, а Киям-абый озирался, присматривался, ему все было интересно.

– Настоящая радиорубка! А это что? Сарай телефонизирован? Дореволюционный аппарат где-то раздобыл...

– Так, игрушка... Протянул к дружку в дом, разговариваем.

– Вход в голубятню тут?

– Тут.

– И спишь здесь?

– Да...

– У меня приемник «Балтика». Старенький. А выбрасывать жалко. Не помотришь?

– Отчего же не посмотреть.

Наконец инструмент для починки карандаша отыскался – небольшая финка с самодельной рукоятью, а гость уж и позабыл, зачем это оружие ему. Он обследовал сарайчик, все его закоулки. И за поленицей проверил, и в лаз на голубятню голову сунул. Сколько бы еще кружил по сараю, если б не попался на глаза красноватого отлива метра на полтора лист металла, который Шаих прошлым летом притащил со свалки на Ямках.

– Зачем тебе это? – застыл Киям-абый. – Продай.

– Так отдам, раз надо. А зачем он вам?

– Много будешь знать – скоро состаришься. Эк тяжелая! Помоги донести, а?

7. Они же брат с сестрой!

Когда Шаих на шестьдесят девятой ступени подъезда опустил ношу, Киям-абый посочувствовал:

– Запыхался? Говорил, помогу.

Дверь открыла миловидная женщина, поразительно похожая на Киям-абый. Она всплеснула руками:

– Опять тащит!

– Ну-ну, – шикнул Киям-абый, – познакомься лучше. Это Шаих. Хозяин тех самых голубей.

– Проходите, – она хотела взять железяку, но Шаих поднял ее сам и последовал за хозяином, который затрусил впереди, показывая, куда нести.

Шаих, как шагнул к двери, так и рот раскрыл. Это была не квартира, а натуральный музей. По

стене от самой прихожей теснились разновеликие картины, написанные маслом, то в дубовых, покрытых лаком, то в позолоченных рамах. Хлебосольные натюрморты сменялись пейзажами, пейзажи – портретами, с которых глядели разные и в то же время похожие в чем-то друг на друга люди. Пересекая одну из комнат, Шаих задрал голову и остановился, позабыв о ноше. Вдоль расписного потолка тянулась вязь лепнины, сплошь затканная листьями, ягодками и ниспадающая по косякам дверей до пола. Прямо на стенах, свободных от обоев, поблескивали живописные шлейфы хвостов райских птиц, низвергались водопады и распускались диковинные цветы.

– Сюда, сюда, – вывел из оцепенения голос хозяина, и Шаих прошел в небольшую комнату.

– Здесь я и живу, – потер, как с мороза, руки Киям-абый. – Поставь сюда.

Комната, имевшая выход на балкон, тоже была отделана лепниной, расписана, но картины были уже не на стенах, а теснились колодами в углах. Освоившись, Шаих разглядел и резные мореные полочки с книгами – Каюм Насыри, Тукай, Такташ, Муса Джалиль – и просторный письменный стол, край которого прикусили миниатюрные тиски. На другом конце темнели бутылки с какими-то растворами, банки с кистями.

Шаих взял с полки книгу, перевернул страницу-другую. Это были «Неотосланные письма» Аделя Кутуя.

– Читаешь по-татарски? – спросил Киям-абый.

– Не так быстро, но читаю.

– Э-хе-хе... А мои внуки... А мои внуки материнского языка не знают.

Шаих заметил на обороте обложки дарственную надпись.

– Подарок? От автора?

– Дружили с ним до войны, – пояснил Киям-абый. – И жены наши дружили. Сколько воды Идель унесла с тех пор! Война, ранения... Я вот выжил. А он... И он тоже – книга-то живет. Перед самой войной Адельша мне свой блокнот с толкованием почерков подарил. Сам составил. Занятная штукавина, все почерки объясняет, какой по характеру человек, как пишет. Но вот беда, не сохранил. Крохотный такой был блокнотик, с ладонь, но толстенький.

– Помните какие-нибудь толкования?

– Кое-что... Например, у кого строка на листе вверх уходит – человек энергичный, знает, зачем живет. Между прочим, сам Адельша именно так писал – стремительно и вверх.

– А кто вниз?

– Кто вниз... – Киям-абый помедлил, подбирая слово.

– Понятно. А еще?

– Кто выводит перед фамилией и инициал имени – тщеславен. То же самое – кудрявое начало фамилии. Что еще? Кто ставит, расписавшись, точку, – властен. У кого наклон влево – упрям. Плавные, закругленные буквы – признак доброты, а отдельно написанные – рассудительности.

– Целая наука!

– Шуточная.

– Все равно интересно. – Шаих присел на табуретку. – Смотрю, у вас здесь и кабинет, и мастерская, и спальня.

– В некотором роде, – согласился Киям-абый. – У тебя самого сарай-то поуниверсальней.

– Ну уж! – Шаих еще раз окинул взглядом потолок, картины, тяжелые рамы. – Все это вы сами?

Киям-абый не ответил, но было видно, что он доволен сообразительностью гостя, лишь руками развел: не судите, мол, строго.

– Вы художник, Киям-абый?

– Нет, пенсионер.

– А это?

– Это... э-э... самодеятельность.

– Ничего себе самодеятельность!

– Это что... У внучки моей вот талант настоящий. Посмотри. – Киям-абый поднял глаза на единственный на стене небольшой пейзажик в легкой резной раме.

– Казанка?

– Она.

– Я знаю это место – недалеко от Голубого озера.

– А ведь шутя рисовала. А заставь специально... – Киям-абый вздохнул: – Лентяйка. Хотя, если у меня что не получается, ее зову. Посмеется, посмеется и поможет. Не сразу, после, когда лень спадет. Я ей: у тебя талант, тебе в художественный нужно поступать. А она рукой машет. В Москву, в Питер ехать. Смеется. Не думает о будущем, совсем не думает. «Хи-хи» да «ха-ха». Не знаю! У нас... у меня по-другому было. Хотел учиться, очень хотел, но судьба не спросила моего хотения. А знаешь, как я удивился, когда первый раз увидел, как она рисует. Ей всего лет десять было. К калябушкам-то ее я привык. А тут как-то взяла мои кисти, краски... Я делал копию с Айвазовского – бушующее море,

корабль несет волной... А она вертится под ногами, я даже прикрикнул: а ну, Юла, не мешайся! И ненароком взглянул в ее альбомчик. Батюшки! Аж дух перехватило. У нее лучше, чем у меня. Море как живое. Дышит. Вот тебе и Юла. После я стал все ее рисунки собирать. «Казанку» и кое-что другое в рамы поместил. И знаешь, пять таких картин она отнесла в свой бывший детский сад, куда бегала малявкой. Я еле-еле «Казанку» отбил.

– Сколько же вашей внучке лет?

– Да как ты она. А альбомчик ее я сохранил, с морем и кораблем. Хочешь, покажу? – Киям-абый открыл шкафчик. – И куда запропастился?

– Кем вы работали до пенсии? – спросил Шаих.

– Фокусником.

– Нет, серьезно?

– Абсолютно... Фокусником-иллюзионистом. В цирке, а потом в филармонии. Я, дорогой... как тебя по батюшке?

– Исмагилович.

– Дорогой Шаих Исмагилович, был, можно сказать, основоположником жанра у нас в республике.

Шаих недоверчиво ухмыльнулся.

– Не веришь?

Шаих пожал плечами.

Киям-абый прикрыл шкафчик, замер на секунду, затем цапнул со стола голубенькую тарелку и с возгласом «ущамараха!» хватил об пол. Домотканый коврик не спас, тарелочка – вдребезги. Фокусник собрал осколки, бросил в коробку для мусора.

– Зачем вы так? Я обидел вас? – залепетал Шаих.

Киям-абый молча, словно ничего не произошло, полез за пазуху пиджака и извлек оттуда целехонькую голубую тарелочку. Шаих заглянул в коробку с мусором. Там было пусто.

– Но я же слышал, как сюда осколки...

Лицо основоположника жанра просияло по-детски ясной улыбкой.

– Еще можно? Покажите, пожалуйста, еще раз.

– Профессионалы один и тот же номер дважды не показывают.

– Тогда другой какой-нибудь. У вас репертуар, наверно, богатый.

– Еще бы! Хочешь – для манежа, хочешь – для сцены. Могу для узкого круга. – Киям-абый достал двумя пальцами из коробки на книжной полке шарик. Обыкновенный теннисный шарик, выкрашенный в малиновый цвет. Манерно, артистически повел рукой, будто показывая его публике, сделал магический жест – и началось: шарик в растопыренных пальцах иллюзиониста, а может, лишь в глазах изумленного Шаиха, множился, менял окраску. Вдохновенный чародей глотал шарики, пучил глаза, икал, и изо рта лезли новые разноцветные шары. Шаих совсем обалдел, когда иллюзионист вытащил четыре шарика из его, Шаиха, кармана.

Понятно, когда в цирке тебя дурачат. Там фокусник на расстоянии. Но когда до артиста рукой подать, когда полгода в теннис из-за дефицита шариков не играл, а тут их пригоршнями достают из твоего же кармана, – извините!

Киям-абый вошел во вкус. Он скинул пиджак, взял две фарфоровые чашки, шляпу свою сетчатую... Но скрипнула дверь, и появилась хозяйка.

– Пойдемте кушать!

Артист уронил шляпу.

– Пожалуйста! Стоит за что-то взяться, как тебя прервут, оборвут, подчинят какому-то распорядку, точно этот распорядок не для человека, а над человеком, важнее человека.

– Да, опять! – твердо повторила хозяйка. – Врач запретил тебе... строго-настрого... Идите к столу. – И, уходя, добавила: – Расхрабился... А ночью опять «скорую» вызывать.

Киям-абый мгновенно остыл, обмяк.

– Ничего не поделаешь, ашать так ашать! – сказал он на полутатарском-полурусском. Поставил чашки на место, легким, привычным движением поправил вьющиеся темные волосы. – Дочь у меня превосходно готовит.

– Я так и подумал.

– Что подумал?

– Что это ваша дочь.

– Разве я вас не познакомил? Ах да! Ну склероз. Розой ее звать, Розой Киямовной. Скажи, командирка! С возрастом, дружок, дети превращаются в родителей, а родители – в детей. Айда.

– Спасибо. – Шаих потрогал нос, разбитую губу, о которых он позабыл здесь. – Домой пора.

– Никаких возражений, дорогой! – Киям-абый взял Шаиха под локоть. – Никаких возражений!

Его усадили за стол в той комнате, которую час назад он, разглядывая, еле пересек. Стол был внушительных размеров и до краев заставлен. Такое Шаих видел разве что по большим праздникам.

Такое, да не совсем такое. Напечет мать бэлишей, и не только на первое, на второе и на третье их хватит, а и на всю будущую неделю, да еще соседям на угощение. Нет у человека меры. Зато в будни – зубы на полку. На дворничьи-то доходы шибко не разбежишься. А здесь на столе: первое, второе, третье, подливки, приправы, салаты, колбасы, мясо копченое ломтиками – язык проглотишь! – и еще что-то, чему и названия нет.

Роза Киямовна потчевала гостя и расспрашивала: в каком он доме живет, как учится, кто его родители?

– А что с лицом, подрался?

Терпел Киям-абый, терпел и не вытерпел:

– Привязалась к парню!

И перевел разговор в другое русло. С ним разговаривать было легче, с ним речь шла на темы, отвлеченные от его, Шаиха, особы.

Вдруг он почувствовал, что кто-то его пристально разглядывает. Не Киям-абый, не Роза Киямовна... Шаих вскинул взгляд – с одной из картин на него смотрела девочка с венком из васильков на светлых волосах и синими, будто два василька со лба сорвались, глазами. Будто два василька сорвались и прикрылись черными зонтиками бровей. Белые волосы и черные брови...

– Нравится? – спросил Киям-абый.

– Да, – сказал Шаих. – Но она напоминает мне...

– Это его внучка, – улыбнулась Роза Киямовна.

– Ее дочь, – пояснил Киям-абый.

– Что-то мало на вас похожа, – сказал Шаих.

– Не мало, а вообще ни капли, – промолвил иллюзионист. – Вся в отца. Внешностью, конечно.

Исключительно только внешностью. А она должна прийти сейчас.

Словно в подтверждение его слов в прихожей тренькнул звонок. Хозяйка сорвалась с места.

Однако это была не девочка с портрета, а Александр Пичугин.

– Познакомьтесь, – сказала Роза Киямовна.

– А мы знакомы, мам. – Пичуга прошел за стол. – Что у нас вкусенького?

Роза Киямовна взялась за половник и супницу.

– Раненько сегодня, сынок.

– Поздно приду – не нравится, рано – опять двадцать пять. Как здоровье? – окинул он взглядом гостя.

– Нормально. – Шаих подпер ладонью подбородок, прикрыв пальцами нос и губу.

– Что ты, Саша, стариковские вопросы задаешь? – поинтересовалась Роза Киямовна, но опять задрезжал звонок.

Шаих засобирался.

– Провожу тебя, – поднялся и Киям-абый. – Прогуляюсь.

– А вот и наша Юлька! – объявила Роза Киямовна.

И в самом деле, в комнату впорхнула Юлька собственной персоной:

– Здравьете!

– Вот с кого портрет-то! – хлопнул по колену Шаих, рассказывая мне вечером о событиях минувшего дня. – Когда я с Киям-абый вышел от них, у меня – веришь, нет? – голова кругом: Пичуга, Юлька, картины, павлины, фокусы... А отец их... Кияу – как это по-русски? Да, зять, зять Кияма Ахметовича – профессор, оказывается! Пичугин Семен Васильевич. А Юлька с Сашкой... Ты знал, что они брат с сестрой? Ка-а-ак? А что же мне не сказал?

8. Эх, какая в то утро была весна!

Взбурдаженность Шаиха легко объяснима, он был влюблен в Юльку. В нее все наши мальчишки были влюблены. Я не был исключением.

На горизонте она возникла всего несколько месяцев назад, в третьей четверти, намного позже Пичуги, который приехал на новую квартиру к отцу с дедом осенью.

Пичугины въезжали в профессорские хоромы с энным количеством комнат – до сих пор путаюсь, сколько их было, – в единственном на Алмалы пятиэтажном доме, прозванном Бригантиной, довольно странно, по очереди. Сначала прибыл дед, сразу занялся ремонтом, переустройством квартиры в «музей», после – профессор Пичугин с необъятной библиотекой, за ним его сын и последними – Роза Киямовна с Юлькой.

С приездом хозяйки жизнь в семье вошла в привычную колею: завтрак, обед, ужин и обязательный для всех стакан горячего молока с веснушками сливочного масла перед сном. Роза Киямовна, жена известного профессора математики, на службе не состояла, ее единственной заботой была семья.

Жарила-парила, стряпала, уроки с детьми готовила, гуляла с ними, когда они были малышами, ходила на школьные собрания и заседания родительского комитета... Мужу было некогда. Маленький (на голову ниже жены), сутулый, а порою казалось, горбатый, но крепкий, как прибрежный валун, с ясными голубыми глазами и в белоснежном берете седых волос, профессор сутками, а то и неделями пропадал на конференциях, симпозиумах, семинарах, «днях», «вечерах», «неделях»... Был он натурой кипучей, увлекающейся, мыслил парадоксально, масштабно, забредая частенько далеко за пределы своей специальности. Увлекался живописью, скачками, коллекционированием открыток, марок, выпустил книгу «Поэтика Пушкина» (он считался специалистом по Пушкину), его можно было видеть в стенах университета или педагогического института читающим доклад «Математическое исследование стихотворения», который он начинал неизменно словами Маркса: «Наука лишь тогда достигает совершенства, когда ей удастся пользоваться математикой», а также можно было видеть его в городских литобъединениях исполняющим нараспев свои не поддающиеся никакому матанализу стихи, смелые как по форме, так и по содержанию (в местном издательстве одна его книжица была напечатана массовым тиражом). Таковым вкратце был профессор, доктор наук, директор НИИ Семен Васильевич Пичугин, когда-то сын машиниста паровоза, отец Александра и Юлии, милых, симпатичных детей, заниматься которыми ему было некогда. Семью он содержал в полном материальном достатке. На воспитательном поприще его подстраховывал тесть, Киям Ахметович.

Женат Семен Васильевич был дважды. Второй брак, грех жаловаться, сложился удачно. Семья получилась здоровой и – тьфу, тьфу, тьфу! – прочной.

В эту семейную идиллию и занесло Шаиха.

С профессорским сыном Сашкой Пичугиным он был знаком и до драки на школьном дворе, но так это – шапочно, постольку-поскольку.

Совсем другое дело – Юлька...

Эх, какая в то утро была весна! В утро нашего знакомства с ней. Нет, новенькую из параллельного класса мы и раньше знали. Я знал и то, что она сестренка Пичуги. Это всем было известно. Как Шаих мимо ушей пропустил?

Сияло солнце, и мальчишки бежали за бумажными корабликами по закрайкам внешней протоки вдоль Алмалы. Мы с Шаихом с утра пораньше разбрасывали набрякший талой водой сугроб в тени дома. Последние сбережения зимы весело летели с совковых лопат на дорогу под колеса автомашин. Было интересно наблюдать, как грузовики штурмуют завалы. Они проходили, точно катера, разбрызгивая снег и воду. Из проулка вышли две подружки с портфельчиками и запрыгали через лужи на другую сторону улицы. Тут-то и обдал их талой жижей бешеный «бык» – так мы называли самосвал с никелированным бычком на радиаторе. Одной, белокурой, особенно досталось, ее окатило с ног до головы, она даже портфельчик выронила. Портфель плюхнулся ей под ноги, расстегнулся, и прямо в лужу из него высыпались учебники, тетрадки и махонький желтый радиоприемник «Альпинист».

Потерпевшей была Юлька.

Она замерла, не зная, что делать. Испуганная подружка – тоже рот варежкой. Первым нашелся я. Шагнул из разворошенного сугроба, подцепил мизинцем портфельчик, подхватил приемничек, включил – тишина.

– Готов! – резюмировал авторитетно. – Теперича только на запчасти.

Подошел Шаих:

– Дай посмотрю.

Юлька не охала, не ахала, молча подобрала тетрадки и стала обирать с них зернистую жижу, отряхивать пальто-колокольчик, лишь темные бровки под светлой челкой сдвинулись друг к другу.

– Хотя зачем на запчасти? – Я понял, что другого такого блестящего случая познакомиться с очаровашкой из седьмого «Г» нам больше не представится. – Ваш транзистор, мадемуазель, в золотых руках, мы его айн момент починим.

– Айн не айн, но поправить как-то, наверно, можно, – предположил Шаих, разглядывая технику.

– Не беспокойтесь, – бойко нес я, – все будет о'кей... – И еще, и еще что-то пустое и барабанно-бодрящее. Знал: Шаих починит, не в такое жизнь вдыхал.

Летняя резиденция Шаиха сезон тогда еще не открыла, и мы повели очаровательных неудачниц к нему домой. У меня дома был отец, а у него – никого, мать уехала к родственникам. Она часто ездила к родственникам.

Шаих с матерью жили скромно. Кроме старинного камина, который, разумеется, не они сложили, не на чем было взгляд задержать. Разве что уголок за камином, заваленный радиохламом, мог привлечь внимание. Но не девичье же. Камин – это да! Облицованный изумрудной плиткой, с барельефом пастушка с дудочкой и хороводящих вокруг него коз, он производил впечатление на всех без исключения. На что сухарь наша классная руководительница Тамара Алексеевна, но, пришедшая раз покричать на Шаиха в присутствии матери, и то как-то странно присмирела, кося глаза на пастушка с дудочкой.

Девочки трогали камин пальчиками и восхищались:

– Какой красивый!

– Просто прелесть! А работает?

– Нет, – отвечал я за Шаиха, – пока вот этим пользуемся, – хлопал я по бокам простой, мажущейся белой известкой печи.

Юлька заметила на комодике гармошку, на которой Шаих пиликал по утрам зимой. Была такая особенность у моего друга – меха своей бишпланки он разворачивал лишь зимой и лишь по утрам. На немой вопрос Юльки я мотнул головой: да, мол, Шаихово хозяйство.

Тем временем Шаих в своем радиозакутке уже разобрал Юлькин «Альпинист». Занялись и мы делом. Девчата принялись чистить щеткой Юлькино пальцецо, а я гладить утюгом ее раскисшие тетрадки.

Гром грянул средь ясного неба: вернулась Рашида-апа, намеревавшаяся задержаться до вечера.

– Понадейся на него! – бурчала она, шастая туда-сюда по комнате, выбегая на кухню, вновь возникая в комнате и погружаясь с головой в ящики комода. – Я думала, он снег кидает, лед колет, а он... – И зыркала на девчат, и руками встряхивала: – Куда они подевались?

– Кто? – спрашивал Шаих.

– Кто-кто, лотерейки!

Одной из многочисленных странностей соседки была нерушимая вера в крупный лотерейный выигрыш. Она гробила немалые суммы из скромного семейного бюджета (говорю «семейного», а не «своего», потому что на Шаиха она получала пенсию за мужа), приговаривая, что один счастливый билет окупит все затраты и вырвет из бесконечных долгов. Но ей не везло, желанный билет не шел в руки.

– Двадцать пять лотереек... Где они?

Что самое ужасное – говорила она все это на всем понятном русском языке.

Девчата, потушив взоры, засобирались домой. Я готов был сквозь землю провалиться. Шаих? Не знаю. На вид был спокоен. Рашида-апа не впервые позорила его на людях. К этому, конечно, не привыкнешь, но что поделаешь, мать ведь. Он ковырял отверткой в приемнике, и только не по возрасту глубокая складка между бровей говорила мне о многом. Вслух же обронил лишь:

– Да никто их у тебя не брал. Нужны кому!

– А то нет! Устроил проходной двор! – своими же словами женщина распяляла себя. Скоро она уже просто кипела и булькала. По лестнице мы спускались на скоростях, преследуемые ее многонациональной черной бранью.

Ни за что облаянные, ни про что виноватые, мы вчетвером хлопали на свежем воздухе глазами, не зная, что сказать. На этом, думал я, знакомство и закончится.

Громоздкое и холодное, как наш камин, молчание разбила Юлька. Она прыснула безмятежным смехом, откинув непокрытую голову так, что белокурые пряди волос взметнулись, и мы, растерянные, как-то испуганно глянули на ее первозданно-молочные ушки, лобик, лебяжью шею, тянувшуюся из кружев воротничка школьной формы, и тут же отвели глаза, будто совершили что-то непристойное, в чужое приоткрытое окно будто заглянули. В те времена у всех девочек были косички, косы, а у нее, и вроде бы даже только у нее, – стрижка, что придавало ее внешности неуловимые черты женственности. «Она кругом себя взирает: ей нет соперниц, нет подруг. Красавиц наших бледный круг в ее сиянье исчезает», – сказал о ней поэт за сто с лишним лет до ее рождения. А она, поправив прическу и запахнув пальто, сказала:

– Чего приуныли? Мать ругает – умом наделяет. Смотрите, какое сегодня солнце! Весна, апрель! А вы...

– Да, – почесал я затылок, – неловко получилось.

– Не берите близко к сердцу, мы не обижаемся. Правда, Галя?

Галя, ее подруга, одна из «бледного круга», которая «в ее сиянье исчезала», но безропотно с таким положением мирилась, оставаясь всегда верно при ней и во всем с ней соглашаясь, тоже поспешила успокоить:

– Правда, правда! Вы же нам помочь хотели. – И добавила: – Дети за родителей не отвечают.

– Галя! – дернула ее за рукав Юлька. А та, не понимая, что не то мелет, пожала плечами:

– Вот я и говорю...

И больше ничего не сказала, заблудившись глазами между нами и подругой.

Шаих зло молчал. Казалось, ему порядком надоела эта канитель с нелепыми хозяевами и неудавшимися гостями, которые пытаются скрасить положение, – чего скрашивать, не на смотрины пришли!

– Приемник я починю, не волнуйтесь, – прокашлялся он, – принесу в школу.

– А мы и не волнуемся, – ответила Юлька. Радужное настроение ее изменилось, она зябко поежилась, застегнула пальто на все пуговицы. – Пойдем, Галя.

Ниспосланный судьбою шанс упускать было нельзя, и я заработал языком с удвоенной энергией. И за себя, и за окаменевшего Шаиха, не зная, кому еще из нас повезет больше.

– Куда вы? Куда, когда такая благодать, сами ж: апрель, капель... А сами...

– Домой, – холодно сказала Юлька.

– Мы проводим, если можно, немножечко, так ведь, Шаих?

Он молча повиновался.

У нее была походка балерины – легкая, порхающая, а если без лирики – пятки вместе, носки врозь, а если и связвить немного, то просто чарличаплинская.

– Вы в одном доме живете? А пальто ничего – очистилось... – не унимался я.

Расстались у Бригантины.

На сторбленных плечах понесли мы с Шаихом домой конфуз, взваленный на нас его матерью. Простились с новыми знакомыми пристойно, кажется, задушевно даже, но все равно осталось что-то такое, что неизменно остается после встречи с человеком, который безразличен тебе и по отношению к которому, пусть и не по твоей вине, произошла неловкость.

Не замечались ни разгулявшееся апрельское солнце над головой, ни веселые лужи под ногами.

Однако я обратил внимание, что в котором доме подряд по-летнему распахнуты окна. С балкончика на противоположной стороне улицы посигналил нам, делая какие-то знаки, мальчик, при этом он показывал на небо. Что такое? Небо было пронзительно-синим, но таким оно держалось уже несколько дней.

Вдруг Шаих остановился и многозначительно поднял палец:

– Левитан!

Из ближнего окна на втором этаже до нашего слуха донесся торжественный голос известного диктора.

– Он! – подтвердил я. – Какое-то важное сообщение! Пошли скорей.

В сенях нас встретил взволнованный Николай Сергеевич:

– Шаих, Ренат, где вы ходите? Человек в космосе!

Сенные двери настезь, дверь его комнаты тоже, оттуда громовыми раскатами Юрий Левитан:

– Со-обще-ние-е ТАСС. Двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с че-е-ло-ове-еком на-а-а борту-у-у! Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Га-га-а-рин Ю-урий Алексе-е-евич!

– Уже который раз передают! – шептал Николай Сергеевич, усаживая нас у радиоприемника. – Началось, началось! Великанье Время началось! Скоро и в Дальний Космос двинемся, и братьев по разуму обнимем.

После обеда мы пошли в школу на занятия. Что там творилось! Из открытых окон летели тучи бумажных самолетиков. Вторая смена в седьмом «А» началась кое-как с урока русского языка. Запланированное изложение с использованием деепричастных оборотов было заменено на сочинение «Человек летит в космос».

Наши с Шаихом сочинения получились самыми большими и, на мой взгляд, самыми лучшими. Но в них оказалось и больше всего ошибок. Нам вклеили по двойке. Но об этом мы узнали только через несколько дней и, помню, нисколько не расстроились.

После школы в тот день мы долго гоняли голубей. Рашида-апа сообщила нам миролюбиво, что лотерейки свои она нашла.

9. Верно, картину не скушаешь

Так на чем мы остановились? Да, Роза Киямовна сказала:

– А вот и Юлька пришла!

И в самом деле, в комнату впорхнула Юлька. Собственной персоной.

– Здравсьте!

– Познакомься, дочка, – сказала Роза Киямовна, – новый друг деда – Шаих.

– А мы знакомы, мам, – улыбнулась Юлька.

– Да что же такое, совершенно не знаю товарищей своих детей!

– М-да, – сказал дед и хлопнул в ладоши: – Что ж, Шаих, па-а-пьем чайку!

За этим свалившимся на его бедную голову обедом Шаих чувствовал себя скверно. Он не знал, когда жевать, когда отвечать, а когда слушать: пожевывать слушать – неловко, отвечать с куском во рту – невозможно, вообще ничего в рот не брать – неприлично, все-таки он за обеденным столом. С появлением Юльки положение усугубилось: она без зазрения совести наблюдала за ним, в разговор не

вступала, но по ее живым, хитро помаргивающим василькам было видно, что всему происходящему за столом она судья – Фемида без повязки и весов.

А тут еще нос распухший, губа...

Конец света наступил, когда Роза Киямовна задала Шаиху очередной вопрос и когда в ожидании ответа все оторвались от чашек-плошек, а он в это время брал настоятельно предлагаемую губадию, да неудачно, кусок пирога разломился, упал на колени и рассыпался изюмом, рисом и всей начинкой по ковру. Ничего не оставалось, как полезть под стол.

– Сама, сама соберу, – засуетилась Роза Киямовна. Ей было невдомек, что под столом гостю в данный момент лучше. Он бы и до ночи оттуда не вылез, если б его не вытащили.

– Да что ты, я-а, алла! – сказал Киям-абый. – Рис на полу – к плодородию. К добру стол наш, значит, в следующий раз богаче будет. Нашел из-за чего переживать! Э-хе-хе. А что, Юла, ты смеешься? (Юлой он Юльку звал.) С твоим приходом, Юла, наш разговор юлдан язды (сбился с пути, значит. Тут дед поиграл словами: «Юла» – «юлдан». Это он любил). Мы ведь о тебе говорили.

– Интересно! – вскинула брови Юлька.

– Не о тебе, а о твоём портрете, – уточнила Роза Киямовна.

– А-а, понятно, все равно сплетничали.

– Нет, просто Шаиху работа твоего деда понравилась.

– Работа деда или объект работы? – усмехнулся Пичуга.

– И то, и другое. – Роза Киямовна шутливо пристукнула сына по макушке.

– Я не знаток, но, честное слово... – Пришедший в себя Шаих подбирал слова, чтобы высказать свое отношение к картине Кияма Ахметовича. – Честное слово, хорошо.

– Глубоко и обстоятельно, – заметил Пичуга.

– Я слишком общо... трудно сразу... Но мне кажется, Киям-абый уловил в Юле главное – ее настроение и... и внутреннюю суть, что ли.

– Да-а? – протянула Юлька и с любопытством, будто ее портрет только что вывесили перед ней, взгляделась в свое изображение.

Внимательно посмотрела на картину и Роза Киямовна. Склонив голову набок, поднял глаза и художник.

Безразличным остался лишь Пичуга. Его снисходительно-насмешливый вид говорил, что он не чета присутствующим дилетантам.

– Возможно, возможно, – произнес он, отодвигая тарелку. – Возможно, что-то тут и передано, однако Юлька-то на себя мало похожа. Не скажи, что это она, и не узнаешь.

– Художник как видит, так и рисует, – возразил Шаих. – И у некоторых великих художников люди на себя бывают не похожи.

– Сомневаюсь, чтобы ты заказал кому-нибудь из них свой портрет.

– Ох, Саша, – вздохнула Роза Киямовна. – Всегда ты все критикуешь.

– Не критикую, а полемизирую. Дедушкины портреты больше друг на друга похожи, чем на тех, кого они изображают.

– Своя творческая манера! – заключила Юлька.

– Ма-не-ра... Вот когда он в сорок первом саблей рисовал, это, я понимаю, манера была.

Киям-абый дернул шеей, поставил чашку на блюдце.

– Так я ведь махал саблей вот ради всего этого, я всю жизнь мечтал об этом, а если не смог как следует этому научиться, так меня жизнь смалу другому учила. Она всегда ломала все мои планы.

Реакция деда удивила Пичугу. Ему всегда все позволялось, и не такое отмачивал, а на сей раз... Но Пичуга не смутился.

– Я не то имел в виду. Да уж сколько говорил, что отношусь к искусству так себе... Любое искусство, коли разобраться, от лукавого, избытка времени и – не о тебе, дед, – нездорового тщеславия. А ты, Шаих, случаем не поэт?

Шаих не успел проглотить кусок пирога, а Пичуга уж продолжал:

– Вижу, что нет. И я тоже. На лирике теста не замесишь. Полотна эти тоже, кстати, не съешь, и водой этой... – Пичуга кивнул на водопад с верха до низу стены, – не запьешь. Сегодня научно-техническая революция – эн-тэ-эр определяет прогресс! А это, – обвел он вилкой комнату, – конечно, все это хорошо. Прекрасное хобби ветерана войны, но не суть его. Наш дед прежде всего солдат Великой Отечественной, боец славной конной дивизии Доватора, сабелькой, да, да, сабелькой крошивший вооруженных до зубов фрицев.

Пичуга нарочито гордо посмотрел на деда, но тот словами внука не вдохновился.

– Да, картину не скушаешь. – Голос деда сделался глухим, а его плохой русский – еще хуже. – Не скушаешь... Но человек без них уща-мараха (одно из словечек его собственного творения, что приблизительно означало «пшик!»). Картины... Картины меня из инвалидной коляски подняли. – Он положил в рот собранные со скатерти хлебные крошки, замолчал.

– И это – мое воспитание?! – Роза Киямовна укоризненно посмотрела на сына. – Это – внук родоначальника... первого у нас в республике иллюзиониста?!

– Ты хочешь, чтоб я был потомственным фокусником?

– Хорошим человеком.

– А я?..

– А ты задираешь нос. Не знаю – книг читаешь много, а что в них черпаешь?!

– Информацию! – Пичуга ткнул в воздух пальцем. – В литературе она, кстати, худо-бедно имеется. А вот в натюрмортах... Возможно, что-то и дают они сердцу, но уму... Никакой пищи.

– А футбол твой любимый как же? – поинтересовалась Юлька.

– Футбол? Э-э, футбол – это высшая математика! В нем как нигде голова нужна. По игре команды я запросто скажу, что за люди ее представляют, что за человек ее тренер. Только ли... Я определю, какой она страны и с каким политическим строем та страна. Вот что такое футбол. Это срез государства, это занятие интеллектуальное!

– Хорошо, – не отставала Юлька, – а как же твоя пламенная страсть к архитектуре?

– Все в пределах логики. Архитектура – это опять же информация. И потом, кто из математиков к ней равнодушен? Архитектура насквозь геометрична. И наоборот, кем, как не великими зодчими, назовешь Евклида, Менелая, Декарта, Лобачевского... Николай Иванович Лобачевский наш университет по камешку собрал. Видели б вы конечные планы постройки! Удивляюсь, почему его имя не ставится рядом с именем архитектора Пятницкого? Лобачевский был таким же автором, нет, главным автором, руководителем, строителем, снабженцем, толкачом, хозяином...

На Пичугу накатило вдохновение:

– Математика... Жизнь – и ту следует подвергать матрасчету. Надо уметь быть ее истинным автором. Вот я свою на пятьдесят годов вперед спланировал. Что ты, Шаих, будешь делать через неделю в девятнадцать тридцать? Не знаешь? То-то и оно. А я знаю. Я, например, знаю, что женюсь в тридцать три. И на ком бы ты думал? На скрипачке. И уж кандидатура есть. В этом году после детского садика в музыкальную школу пойдет – косички, бантики... Симпатяшка! Доведу ее до необходимого возраста, воспитаю в нужном ключе... А уж после консерватории – официальное предложение...

– Ой, Саша, ой, Саша! – Роза Киямовна перевела взгляд с сына на отца.

Только теперь Шаих подметил, что шевелюра у Кияма Ахметовича подкрашена. «Седой, наверное, совсем», – подумал Шаих. Ему нравился простодушный старик, и картины его нравились, и, оказывается, какая непростая у него судьба. Коробила необузданная откровенность Пичуги. Но помимо воли вскользь брошенные суждения его, как того хотелось бы, не отвергались сознанием – находили неожиданную почву. И впрямь портреты – а в этой комнате висели в основном портреты – были удивительно похожи друг на друга: с плоскими лицами, в одинаковых позах (по пояс, вполоборота, со взглядом куда-то мимо зрителя), они напоминали манеру кого-то из великих и в то же время никого не напоминали, равным образом и самих портретируемых. Не тотчас он узнал на стене рядом с Юлей Пичугу, Розу Киямовну, да и белокурая голубоглазка с венком из васильков для него не сразу оказалась Юлькой. И затем Шаих поймал себя на мысли, что Пичуга был неприятен ему в эти минуты не только из-за своей несдержанности по отношению к деду – пусть ты прав, но зачем грубить? – но и потому, что предстал как кривое зеркало, в котором он, Шаих, увидел себя. Ведь и он, подобно Пичуге, только не так безоговорочно, считает: картошка с хлебом на столе лучше, чем на картине, и его по страницам книг ведет прежде всего любопытство, и он тоже, пусть немного по-другому, но – тут уж безоговорочно – верит в торжество НТР. Отсюда, ясное дело, любовь к научной фантастике и страстное желание ввинтить свой винтик в машину, несущуюся в будущее. Однако отсекает искусство, поэзию лишь по той причине, что их при надобности на хлеб не намажешь, не съешь, не привинтишь и не пришьешь, по крайней мере странно. Да и заговорился Пичугин. Передергивал, передергивал, рубанул по искусству с одной стороны и тут же приклеился с другой – ведь архитектура все-таки прежде всего искусство, а уж после математика. Что же касается матрасчета жизни, так и он, Шаих, кое-что планирует. Не женитьбу на юной скрипачке в тридцать лет, конечно...

Шаих еще раз посмотрел на произведения Кияма Ахметовича. Что ни говори, а Пичуга прав: манера рисования – от нехватки умения. Потому и лица на портретах узнавались не сразу. Но в заторможенном угадывании, в сдвиге реальности и была та изюминка, вкус которой Шаих ощутил сразу, но объяснить себе не смог, поддавшись сперва чужому вкусу. Это была, быть может, та самая нехитрая изюминка, к которой многие художники идут через опыт и мастерство, как люди «к началу своему» через всю жизнь.

Киям Ахметович молчал недолго. Внук опять его разговорил. Знал, чем пронять. Дед ревностно относился к чистоте и чести родной речи и не переваривал расхожие толкования о растворении многонациональных языковых меньшинств. Пичуга говорил:

– Взаимовлияние языков! Процесс естественный. Как ни крути, на земле в конце концов останется какой-то один... единственный. В одной из резолюций Первого Интернационала записано, что

всеобщий язык был бы всеобщим благодеянием и сильно способствовал бы сближению народов. Люди это давно поняли. Представьте, еще двадцать пять веков назад был создан санскрит – всеиндийский язык, которым и сегодня пользуются в этой стране, где наций, как сельдей в бочке. Примерно то же, между прочим, сделали для славян Кирилл и Мефодий. А в восемнадцатом веке некий проходимец и авантюрист Псалманазаром изобрел первый независимый, целиком и полностью искусственный язык. И алфавит из пальца высосал, и словарь. А куда денешься, когда он выдавал себя за жителя только что открытого за тридевять земель, вернее, вод острова. Сам он вроде французом был. Как видишь, необходимость в языковой интеграции, дедуля, появилась в незапамятные времена. После «тайванского» – проходимец-то свой язык тайванским назвал – каких только вариаций не было: «сабир», «бич-ла-мар», «воляпюк», «эсперанто»... Понятно, все искусственное искусственно. Скажем, первый король Гавайских островов по случаю рождения сына придумал новый язык и в приказном порядке заставлял говорить на нем. И что же? Ребенка отравили, а нововведение в результате было быстренько позабыто.

– А-ха! – щелкнул пальцами Киям Ахметович.

– Чего а-ха? И я не за суррогат. Однако то, что какой-то один живой язык совершенно естественным образом вберет в себя все остальные и станет доминирующим, а затем и единственным – бесспорно.

– Все у тебя обосновано, – вздохнул дед. – Даже то, что не умеешь разговаривать на языке матери! Кому, скажи, помешало знание языка своих колыбельных песен?

– Э-э, дедуля! – поманипулировал чайной ложкой Пичуга. – Как я, английский вы же никто не знаете. Или Шаих – ду ю спик инглиш?

– Не знаю, дует ли он по инглиш, но он знает свой родной...

– В совершенстве?

– Как – в совершенстве? – смутился Шаих. – Разговариваю...

– И читает, – добавил Киям-абый.

– Пардон, друзья! У нас весь класс читает на английском. Тем не менее никто толком не знает. А истинное знание очень просто проверяется – песней. Давай-ка, Шаих,образи.

– Я не певец, – отрезал Шаих.

– С вами все ясно. Так-то, дедуля, а то и колыбельную вспомнил. Между прочим, я член интернациональной семьи. Отец у меня, как вам всем известно, русский, и русские колыбельные я знаю. И одну английскую в придачу. А у тебя, Шаих, отец кто? Ах да, у тебя его нет.

– Есть, – потушился Шаих, – но умер.

– А ты спой, Шаих, – подала голос Роза Киямовна.

– Спой, – коротко сказал Киям-абый, будто знал, что он может.

Шаих опустил голову и вдруг затынул низко и протяжно:

Ай яктысы бигряк якты
Утырып кунел ачарга...
Элли-бэлли, йокла, улым,
Элгерерсен тел ачарга.
(Лунный свет светло струится.
Будит он в душе мечты.
Баю-бай, спи, бубенчик,
Зазвенишь еще и ты).

Так и сидел он сторбленный, уставившись в елочку паркета, на протяжении всей песни. Глазом не моргнул. И губы его, казалось, не шевелились, а печальная, ласковая песня текла и текла.

– Колыбельная? – спросила Юлька, когда он смолк.

– Да, – ответил Шаих.

– Таковую не слышала, – задумалась Роза Киямовна.

Пичуга заметил:

– Одинаковое произношение – что в этой колыбельной «бэлли», что у нас – «баю», что в английском – «бай».

– Давай еще, Шаих! – приобнял гостя разволновавшийся Киям-абый. – Давно на душе не было так тепло!

Шаих улыбнулся:

– Для песен кадык не тесен.

И запел. Теперь это была бесшабашная, задиристая песня с той веселой, гикающей чертовщинкой, которая или возмущает слушателя, или приводит в не менее бурный восторг. На ее высоких нотах хрипоток юношеский исчез, голос зазвенел чисто и напористо. Преобразился Шаих и внешне: глубокая складка между бровей, не сходявшая при колыбельной, исчезла, руки ожили... На втором припеве он хлопнул себя по коленям и пошел по комнате – голова вверх, руки за спину, а ногами – то на цыпочках, то на пяточках, то впритоп – артист!

Луч солнца, отразившись от распахнутого школьного окна, прошел комнату гигантской иглой. Шаих зажмурился, но не остановился. В памяти вспыхнул другой день, другой отблеск солнца, который так же остро ослепил его. Тогда ему было года три-четыре, и это было почти первое, что он помнил из своей жизни: отец вернулся с работы, схватил его, сгреб теплыми шершавыми ручищами, поднял над своими красными погонами, подкинул до потолка, закружил по комнате. И вот такое же солнце в глаза, и так же кружится все вокруг...

Последний раз отца он видел на кладбище. Его бескровное, потухшее лицо открыли морозному солнцу перед тем, как опустить в глубокую яму с косой стенкой, образующей внизу особую нишу. Шаиха подвели к изголовью отца. И Шаих послушно стоял и смотрел на него. Это был он, отец, но уже и не он. Пятилетнее сердце в маленькой груди сжалось и затрепетало, оно, в отличие от него всего, еще по-детски глупого, поняло, что самый близкий ему человек умер. На срезе могилы блестел, серебрился густой иней. «Нет, нет, – стучало сердце, – ему там не будет хорошо и тепло». Застывшим в тягучем взгляде глазам стало горячо, но Шаих не заплакал. Он больше вообще никогда не плакал.

...Шаих резко оборвал свою лихую пляску и сел.

– А-ха-а, это по-нашему, – донесся до его сознания голос Кияма Ахметовича, – это да! Молодец, Шаих! А-а, господин Пичугин?!

– Прекрасно, прекрасно, – отвечал Пичуга. – Однако... – Проигрывать было не в его правилах, но взбунтовалась Юлька.

Некоторое время она сидела задумавшись: потревожили ее Шаиховы песни. Вторую-то она слышала по радио, но разве сравнишь! Пусть на радио и профессионалы, и большие оркестры, но здесь – здесь живое! Оказывается, простой человек, да что человек? – мальчишка, твой сверстник, может такое сотворить в твоей душе...

После душевного всплеска Шаих впал в оцепенение. Он сидел угрюмый, с единственной написанной на лице мыслью: как бы побыстрее уйти.

Юлька посмотрела на него, перевела взгляд на деда с братом:

– Хватит, а? О госте позабыли. Дед, это же твой друг – так, кажется, нам его представили.

Киям Ахметович осекся на полуслове, заморгал...

– Впрочем, – встряхнула она челкой, – вы можете и дальше... А мы с Шаихом пойдем записи послушаем.

Слово «записи» сегодня более чем обыденно. А в те годы, когда магнитофоны только-только появлялись в обиходе и были роскошной редкостью, это слово звучало чудотворно. Не пластинки, а за-пи-си!

Светлая, аккуратная комнатка Юльки соседствовала с дедовой. На стенах никакой самодеятельной живописи – одна к одной репродукции из «Огонька». На столе книжки, альбомы, магнитофон «Гинтарас», который она тотчас запустила на полную катушку. Мощности были не те, что у нынешних «магов», но вазочки на этажерке все одно подрагивали. «Рок, рок, рок-н-ролл!» – надрывался какой-то англичанин. Юлька удобно устроилась на низенькой оттоманке, покачивая в такт музыке тапочкой. Шаих примостился на краешке стула у магнитофона. Вид у него был как у случайно залетевшей в форточку птицы. Он ждал, когда Юлька упрекнет за «Альпиниста», который он все еще не мог починить. Но она ни слова, точно и не было апреля, не было бешеного «бычка» и злополучной внешней лужи. Кроме как «а мы знакомы, мам» ничего не грело. И то было остужено фразой: «Дед, это же твой друг...». Остальное, в том числе и рок-н-ролл, – от скуки и в пику, должно быть, его «элли-бэлли». Надо же, ему «спой, светик», а он и рад стараться!

– Транзистор я почию, – в затишье между песнями выдавил Шаих, – обязательно, диод один никак не найду.

– Ладно... – кивнула она и приглушила «англичанина». – Ты художник, что ли?

– С чего взяла?

– С дедом-то как познакомились?

– А-а... Голубятник я, голубей гоняю, а ему их рисовать надо, вот и познакомились.

Юльке припомнилось, что живописью у Шаиха в доме не пахло. Канифолью и оловом – да.

– Дед у меня неугомонный.

Шаих улыбнулся:

– Интересный.

– Мы с ним душа в душу.

– А что Саша так?

– Как?

– Агрессивно.

– Да они всю жизнь... Сегодня один задирает, завтра другой. Как дети. Не думай, брат у меня только на вид такой... Представляется, играет, а душа у него светлая. И литературу он любит, и живопись, и музыку... Дети ведь кого любят, того и треплют. А он еще ребенок, большой ребенок.

- Странно.
- Чего странного?
- Говорить не то, что думаешь.
- Я же говорю: иг-ра-а-ет. Ты же слышал, какие у него познания. Вот же...

На краю стола покоился пухлый альбом, на который Шаих еще раньше обратил внимание. Юлька пододвинула альбом.

- Погляди. Открытки. Саша заядлый коллекционер.
- Открытки?
- Виды городов – Казань, Астрахань, Москва... Он архитектурой кроме всего прочего увлекается. Старинной архитектурой. Таких альбомов у него не счесть.
- Математика, футбол, архитектура?..
- А сам ты? Радиотехник, голубятник, певец...

Шаих не ответил, взял альбом. Под массивной дерматиновой обложкой открылась старая Казань, дореволюционная, с мечетями и церквями, белокаменным Императорским университетом и деревянным, сгоревшим еще в XIX веке городским театром, высоченной колокольной Грузинской Божьей Матери и приземистым Дворянским собранием, бесконечными рядами барабусов с бородатыми ямщиками в передниках и знаменитой Сибирской заставой, по мосту которой сквозь шеренги вытянутых во фронт колонн проследовали на избранный свой тракт лучшие сыны и дочери далекой хомутной России...

- Ценная коллекция, – промолвил Шаих.
- Еще бы.
- А откуда она у него?
- Накопил. Но добрая половина – по наследству.
- От деда?
- Нет, отец подарил. Увлекался в молодости. А когда Сашина коллекция стала самостоятельно весомой, папа передал ему свою.
- Более весомую?
- Разумеется. Но и у Саши имелись открыточки, которым цены нет.

Не заметили, как магнитофон замолчал и нетерпеливо забила хвостом пленка. Юлька поставила новую бобину.

В дверь поскреблись. Это был Киям Ахметович.

- И-и, шайтан туе! – воскликнул он, входя и бросая взгляд на магнитофон. – Ни мелодии, ни слов...
- Ритм, дедуля, ритм! – Юлька подлетела к нему, взяла за руки и принялась раскачивать.
- Улям, улям, а-атпусти! – взмолился он, стараясь высвободиться. – Не обучен такому аллюру. Как-нибудь без меня... Я на минутку, с Шаихом проститься.

Шаих вскочил со стула, будто его пружиной подкинуло.

- Мы ведь вместе собрались, Киям-абый.
- Вот я и зашел...
- Ну, дед, – хмыкнула Юлька, – молодец! И сам не пляшет, и кавалера тащит.
- Мне по-честному пора, – сказал Шаих.
- А что, пасиди, – под взглядом внучки переменялся Киям Ахметович. – Ище рано.
- Идите уж, идите. – Юлька с напускной сердитостью отвернулась к окну.

В тот день старый и малый провожали один другого почти до вечера. Дойдут до нашего дома, посидят на лавочке, поговорят и – опять до пятиэтажки. Было у Шаиха это – какой-то странный интерес к старикам и старухам. И ведь обоюдно – старики в нем тоже что-то находили. Надо же было Кияму Ахметовичу почти целый день проговорить с мальчишкой. Ровесники вот ничего в нем особенного не видели. Как и он в них. Он не раз повторял: суло не брага, молодость – не человек. Он и себя презирал за молодость. Я один видел под юным его обликом мужичка. Да еще старики вот.

Однако самым близким Шаиху стариком был все-таки не Киям-абый, а уже упомянутый ученый сосед Николай Сергеевич Новиков, о котором разговор особый.

10. Сабантуй

День того памятного сабантуя выдался погожим, жарким. Беззаботные (каникулы!), мы двинулись в парк, решив без призов не возвращаться. Хватит в больельщиках ходить, пора заявить о себе по большому счету. Пора, пора! Половину пути мы выбирали для себя виды состязаний, вторую половину выработывали стратегию и тактику. В итоге спланировали: имея от природы хорошо скоординированный мозжечок, я должен был побить с завязанными глазами все контрольные горшки и взять главный приз; Шаиху надлежало победить в другом состязании – взобраться на багану –

высоченную шестину с призом на макушке.

Сабантуй, когда мы пришли в парк, только-только начался. Сквозь толпу зевак мы протиснулись, сообразно плану, к горшкобойне. В очереди к старту мне выпало быть седьмым. Шаих сказал: «семь» – цифра священная, обязательно повезет, и побежал разведать, как дела обстоят у баганы. Я же стал наблюдать за действиями своих соперников. Им давали в руки палки, туго завязывали косынками глаза, раскручивали вокруг своей оси чуть ли не до упаду и отпускали. Бедные соискатели призов отправлялись со взболтанным вестибулярным аппаратом на поиски глиняных горшков, лупили палками по траве мимо цели на посмешище толпы. Одному лишь рыженькому, стоявшему в очереди передо мной, удалось расчерепить один горшок, за что он тут же был премирован заварочным чайником из огнеупорного васильевского стекла.

Моя очередь. Шаих напомнил, что солнце точно по курсу в стороне горшков, сквозь повязку оно все равно просветится, шлепнул ободряюще по мягкому месту, и я решительно принял протянутую мне палку и подставил глаза под повязку. Сильные руки взяли меня за плечи и закрутили с такой силой, будто решили ввинтить, как шуруп, в землю.

Сквозь повязку солнце не проглянулось. Ждать, когда оно прогреет какой-нибудь бок, времени не оставалось, кружилась голова, то ли в правом, то ли в левом ухе слышался голос Шаиха, но что он говорил-советовал, не понять было. Потом он рассказал, как я, подняв палку над головой, пошел к судейскому столику и вызвал у белобородой коллегии в тюбетейках панику, однако, не дойдя нескольких шагов, свернул и уверенно двинулся на болельщиков, проникших за заградительную веревку с красными флажками. Что не могла сделать милиция, сделал я, – нарушители порядка поспешно вернулись на трибуну.

– Врешь ты все! – сказал я Шаиху, валя на него всю досаду за неудачу с горшками.

Уже не так весело мы направились дальше.

У баганы, на вершине которой в резном теремке гнезился приз для сильнейшего лазальщика – живой петух с рыжим недвижно свисающим хвостом, царило особое оживление: никто из соискателей и до середины не мог залезть. Да, здесь нужно было иметь не только мышцы, но и голову. Каким манером лезть, когда... Ведь полировка этой грот-мачты для пушей скользкости всегда натерта какой-то хитрой штукой, и надо выгадать, чтобы попусту не лезть из кожи вон среди первых, но и не переждать, когда какой-нибудь ловкач стащит петуха из-под носа.

Мы заняли две очереди. Первым встал я, через пять человек – Шаих. Когда моя очередь подошла, я сказал ему, лучше пока пропустить, дерево еще недостаточно пообтерлось, вон как скатываются ребята. Но Шаих ждать больше не мог, он скинул сандалеты, брюки и, оставшись лишь в футболке и плавках, ступил к мачте, поплевал, как заправский матрос, в ладони, тронул гладкий комель и прыгнул. Стиснул в объятиях бездушного противника.

Я сразу сказал себе: петуха он снимет. Я слишком хорошо его знал, чтобы допустить иное, он зубами вцепится, но не сдастся. Это не футбол, где были и случайность, и определенное везение, здесь вот, именно здесь он должен показать всю силу своего упрямства.

Так думал не я один.

– Ну, этот татарин за курятиной и не туда взберется!

– Хе-хе, этот – как пить дать.

Я обернулся. Точно они – Жбан с Килялей.

– А ты что отстаешь? – осклабился Киляля.

Я промолчал.

Примолкли и дружки. Маленькие глазки Жбана впились в фигурку на мачте, по скулам заходили желваки. Позже я узнал, что он подошел к нам после страшного поражения на борцовском ковре. Какой-то паренек на первых же секундах схватки припечатал его к ковру всеми пятью точками намертво.

Шаих, преодолев половину расстояния, лез все медленнее и медленнее, часто останавливаясь, и при каждой такой остановке казалось, что он уж не соберет больше сил, медленно покатится вниз. Но недаром он звался Шейхом, была в нем эта какая-то чертовская косточка. И он обнимал с каждым метром все более скользкую деревяшку все неистовее и крепче. Весь майдан, весь парк с танцплощадками, аттракционами, холмами, оврагами, лесами лежал под нами, рядом пролетали облака, кружили птицы, из-за теремка-гнезда слепило солнце, а лицо уже щекотал петушиный хвост. Да, да, в ту решающую минуту я был там, на макушке мачты, рядом с Шаихом, и все это ощущал, видел, чувствовал и вместе с ним тянулся к заветной дверце.

Слишком много сил было затрачено, чтобы без сучка и задоринки спустить приз на землю. Петух сорвался из дрожащих от усталости рук Шаиха и, яростно хлопая крыльями, сея перья, полетел к середине майдана. В гуще соревнующихся изловить его было непросто. Каждый считал своим долгом шугануть Петю, сморозить какую-нибудь чушь и поржать, в первую очередь, конечно, над его новыми хозяевами. Мы бегали, растопырив руки, ползали на карачках, и нашей невольной клоунаде, казалось,

не будет конца.

Больше повезло мне. Я изловчился и в хищном прыжке накрыл строптивую птицу на краю борцовского ковра. В этот момент батыр кинул соперника на лопатки, и восторга болельщиков хватило и на меня, и на борца.

Петух оказался экземпляром породистым – черно-рыже-алый, с крутой грудью, длинным, выгнутым хвостом и резным листом гребешка, три зубца которого царственно стояли, а остальные были брошены лихо набекрень, к тому же крупный, тяжелый, – вот с какой добычей шли мы, когда повстречалась та, о встрече с которой мы и во сне мечтали, а наяву при одной мысли робели, потому что, оказывается, так всегда и со всеми бывает при первой отроческой любви. Нет, мы с Шаихом не веряли друг другу сердечных чувств, если ненароком и заводили речь, то все вокруг да около, но чувство это один в другом, по-моему, каждый из нас безошибочно чувствовал. С каких пор? Пожалуй, как раз с того праздничного воскресенья, когда мы шли с огненным Петей под мышкой по главной аллее парка.

11. Она любила не меня

Петуха держал Шаих. Подозрительно присмиривший, Петя, похоже, ждал момента, чтобы вновь проявить характер, но пока сдерживался. Юлька, когда бы не он, нас и не заметила – так заняты были ее васильки поиском кого-то.

Она приближалась к нам своей неповторимой походкой. Мы увидели ее издали. Она же нас – в нескольких шагах, лишь когда чубатый карапуз, топавший чуть впереди нее, затормозил приятеля, тыча пальцем в нашего Петю.

Она вскинула брови:

– Мальчики, привет! Вот это да, откуда у вас такой чудесный петушок? А я, знаете, Галю потеряла. И уходить неохота, и как-то не то одной.

Первым нашелся я. Вообще замечу, когда дело касалось Юльки или других представительниц прекрасной половины нашей школы, я чувствовал себя свободнее Шаиха. С Юлькой, разумеется, появлялись и скованность, и, как уже говорил, страх даже, но в какой-то непредсказуемый момент мой язык будто рвал все связи с головой и сердцем и городил такие огороды, что порой сам себе диву давался: откуда что берется? Я сказал:

– Что ж, можно вместе, вчетвером погулять.

– А кто еще? – оглянулась Юлька.

– Петю за кавалера не считаешь? Или кого из нас?

– Ах да! – приняла она шутку и открыто, показав сахарные зубки, улыбнулась.

Не спеша мы пошли через парк в обратном направлении.

У Казанки парк превращается в густо-зеленые холмы и кручи, из-за дивной живописности своей еще до революции названные Русской и Немецкой Швейцарией. Гряда эта тянется вдоль реки вверх по течению, за Арским кладбищем Русская Швейцария сменяется Немецкой, затем река круто сворачивает, и горы, леса, буераки, почти не тронутые городом, вырываются из городского кольца на волю.

Мы располагаемся в полутени молодого березняка. Здесь другой сабантуй. Славят лето размашистыми иероглифами стрижи, там и сям по деревьям и кустарникам шныряют золотопогонные щеглы, бражничают шмели в лиловых цветах медуницы, трещат кузнечики-невидимки, трава сплошь звенит, поет в ней все, подает голос, пляшет, скачет, даже кусает и жалит от избытка радости.

У Юльки на щеке незаметно расцветает алый цветочек с белой сердцевинкой. Я интересуюсь, кто это ее?

– И не заметила, – отвечает она, – комар, наверно.

Я отыскиваю лист подорожника, советую приложить.

Шаих тем временем заарканивает бечевкой ногу петушка, цепляет за коряжину, и тот, остепенившись, прогуливается кругами, что-то выискивая в траве и поклевывая.

Юлька с подорожником на щеке следит за моторной лодкой, пересекающей Казанку от Подлужной к заливным лугам той стороны. Моторка звенит по-комариному, тщето выворачивает белую изнанку воды. Казанка-то здесь, на подходе к Волге, уже не речка, а большая, полноводная река, широко, на километр, а то и больше, раздвинувшая берега. Раньше, говорят, когда еще не было плотины, ее куры вброд переходили. Но на моей памяти она всегда такая, взглядом неохватная.

Время близится к полудню. По небу бегут легкие облака. Мы сидим на краешке одной из самых величавых горных вершин Немецкой Швейцарии и о чем-то беспрестанно болтаем. О чем? Это ли важно? Запомнилось и осталось в сердце другое: необыкновенная высота и необыкновенные просторы, раскинувшиеся перед нами, удивительная просветленность и никогда более не повторившееся

ощущение красоты и гармонии, простое и мудрое, какое дается, если вообще дается, человеку единожды и которое является золотым сечением всей жизни. Будут еще взлеты, будут иные, более высокие вершины – жизнь-то долгая, но той чистоты, нет, не будет. Собери тех же людей, взойди на ту же гору – все равно не будет. Сам давно не тот: видом, быть может, посolidнее стал, благороднее, да вот, что делать, порядком пообпылился в пути.

Но как текуче все и переменчиво! Минуту назад таки мед пил, ликовал от душевной переполненности и вдруг будто дегтя хлебнул. Я вдруг понимаю, что она любит не меня. Понять это нетрудно. О чем бы я ни говорил, что бы ни предлагал, как бы ни острил и ни умничал – все мимо ушей. Они лишь для виду кивают мне, а на самом деле слышат и видят только друг друга. Я осознаю это своим умишком и замолкаю, как глухарь, по которому дали дуэтом на току.

Они и не замечают. Они плетут нехитрые словесные узоры о пустяках – все о том же набившем оскомину «Альпинисте», который у Шаиха никак не может починиться... Но глаза-то! Глаза выдают их с потрохами.

Мне бы встать да смотреть удочки под каким-нибудь предлогом, но я не ухожу. Я чувствую себя бесконечно лишним и сиднем сижу, покусывая травинку, изучая мерное течение реки от Горбатого моста до Ленинского, до бетонированной набережной, над которой многоглавой птицей возвышается кремль. В любую погоду, при любом настроении пленит он взор и ввергает в задумчивость. Величественная ли Спасская башня, богатырь ли Благовещенский, поднятый по-над Казанкою-рекой еще самим Постником Яковлевым, башня ли Сююмбике, единственная камнекрасная – тонкая, стройная, как легендарная царица, клонящаяся в сторону, как ее пизанская родственница, устремленная ввысь, подобно таинственной марсианской ракете, – все это неподвластная времени, нерушимая городская наша крепость. Все это и сто лет назад так было, и сейчас так, и еще через сто лет так будет.

Ах, как в те мои одинокие минуты хотелось соприкоснуться с вечностью, оторваться от сиюминутных земных мелочей!

Но не оторваться было.

Так и пошли втроем, не считая петушка, обратно. Впрочем, и меня тоже. Даже петух, этот кур в оцип, и тот смотрел на меня желтым глазом как на пустое место.

Я не завидовал Шаиху. Во внимании, которым Юлька одаривала его, сквозила, на мой взгляд, насмешка. Она подтрунивала над ним. Я понимал, что это не от тайного злопыхательства, как у многих ребят, а от любопытства. Как все-таки по-разному люди относятся к одному и тому же, когда оно вышелушивается из скорлупы привычного. Одни рады б запихнуть обратно в скорлупу, облачить в общепринятое, другие просто в недоумении: что за фрукт и с чем его едят? Третьи, малочисленные, смотрят пытливо, хотят собственной рукой потрогать.

Вот и Юлька по-своему пытала его. Она, мне казалось, играла с моим другом, точно с куклой, которую после, когда надоест, поломанную и выпотрошенную, и бросить можно. Она, например, оборвав разговор на полуслове, могла спросить, может ли он пройти по перильцу моста... Мост был перекинут через глубоченный овраг – с него смотреть-то страшно. Шаих, не раздумывая, ответил, что запросто, но доказывать не собирается. Смешно. Не так мужчины проверяются. Но она уже умела играть на неведомых душевных струнах. В конце концов он протянул мне петуха, чтоб подержал, и уж собрался махнуть на поручень, как вдруг Юлька рассмеялась, сказав, что пошутила, что она ничуть не сомневается в его безумстве, которое у него на лице черным по белому...

Мне это не нравилось. И ее авантюризм, и его отзывчивость. Да, я ее любил. Но мне и Шаих был дорог. И я, пожалуй, ее к нему ревновал не меньше, чем его к ней. Чтобы какая-то финтифлюшка вклинивалась в нашу дружбу, отбивала моего друга... Извини подвинься!

Сколько бы в ту нашу прогулку меня еще кидало из крайности в крайность, когда б не повстречалась Галя. Та, которую Юлька потеряла и искала. Подруги обрадовались, взяли под ручку и пошли – мы с Шаихом для них люди второстепенные.

Что делать, приотстали мы, тут-то к ним и подчалили Жбан с Килялей. Девчата в поисках нас заозирались. Я подтолкнул зазевавшегося Шаиха. Раздвоенные чувства во мне сфокусировались, будто какой-то бинокль внутри меня настроился на резкость: нас ищут, в нас нуждаются.

Когда догнали их, Жбан выяснял: кто это так страстно поцеловал Юльку в щечку? Завидев нас, усмехнулся:

– Вот же они, гусары-то!

Мы не ответили, смиренно пошли рядом.

– Нет, ты видал, Киляля, – продолжал он, заостря внимание дружка локтем в бок, – Шейх-то верхолаз, оказывается, акроба-а-ат!

– Что ты! – соглашался Киляля, уворачиваясь от чугунного тычка, и манил петуха: – Цып-цып-цып.

Замашки их были недвусмысленны, все на поверхности: Анатолий Жбанов, как и многие, воспылал к Юльке «прекрасными порывами», пряча их под хамство. Равилька Гарипов, то бишь Киляля, подыгрывал корешу и не очень-то уворотливому дипломату, который и с Юлькой пытался «заклеить»,

и с ее братцем Пичугой на этой почве лбом не соприкоснуться. Киляле от жбановских любовных проблем было куда как весело. Он единственный из всех нас не переставая хихикал. Он ведь и над нами потешался. С Шаихом мы и впрямь выглядели далеко не гусарами, скорей гимназистами румяными. Положеньице в высшей степени дурацкое: и в драку не полезешь, и терпеть тошно.

Хотя о какой драке могла идти речь? Я и по сей день, если признаться, ни в одной драке не участвовал. Шаих тоже. Он мог бы заслонить собой кого-то, из-за кого-то в огонь прыгнуть, но кулаком по физиономии?.. Нет.

Одной Юльке все было нипочем. Она парировала жбано-килялевские остроты, смеялась, а когда Жбан, небрежно засучивая рукава чуть ли не до плеч и, будто ненароком, поводя шаровидными бицепсами, стал хвастать, как намедни двух хмырей из соседнего района на школьном дворе отметелил, Юлька еще небрежнее проронила, что она видела, как один малец приподнял его и кинул на лопатки.

Жбан кирпично покраснел. А глазами изобразил недоумение: когда, мол?

– Да вот же каких-то час-полтора назад, – с готовностью припомнила Юлька. – Мы же с Галкой прям у ковра сидели. Того и борцом-то не назовешь – кузнечик. Но ловко он... Вот уж верно: мал, да удал.

– Знаю я его, гаденьша, – задребезжал позорно Жбан, – знаю, он вольной на «Динамо» занимается. Конечно!.. А ты чего лыбишься, как помойная яма? – Это уже Киляле, который вконец развеселился.

– Что ты, Толян, я ж совсем о другом.

– Не крути мне...

– Как пить дать! – И Киляля заговорщицки кивнул в сторону летнего кафе-мороженого. – Глянь вон, у стоечки...

На веранде за столиком у стойки-подпорки наслаждался прохладительными напитками в обществе огненно-рыжей красотки Александр Пичугин. Он что-то рассказывал, красиво жестикулируя и порывисто откидывая свои пшеничные волосы со лба назад. Таким вдохновенным, счастливым, по-мальчишески ясно улыбающимся я его никогда не видел. Ни высокомерности, ни меланхолии...

С разными девицами я встречал его и прежде. Он их как перчатки менял, но сам не менялся. А тут... Мы были удивлены. Мне вспомнился тот футбол на школьном дворе, когда его постный лик от испорченной игры на мгновение осенился жизнью. Точнее будет, исказился. Но ведь – жизнью. По-разному пробивается она на свет божий.

Я посмотрел, перед кем он метал бисер, и опять удивился. Девица была много взрослее его. Это и не девица была, а красивая, представительная женщина, знающая себе цену дама. Я узнал ее. Она жила на нашей улице во дворе за фармацевтическим училищем. Нередко я видел ее с дочерью, такую же рыжей школьницей лет восьми-девяти, то в магазинчиках «Бригантины», то на рынке. Я шепнул Шаиху:

– Знаешь ее?

– Впервые вижу, – ответил он. Шаих не отличался наблюдательностью.

Она слизывала с ложечки мороженое и смотрела на Пичугу из-под тяжелых, трепетных ресниц взглядом неотрывным и ясным. А мы смотрели на нее. Жбан с Килялей тоже, казалось, видели рыжую красавицу впервые.

А что Юлька? Она и бровью не повела, точно не на ее брата были устремлены глазки рыжей хищницы.

– О-от Сашок! – расплылся Жбан. – Кайфует! Умеет ведь, черт! Айда подвалим. – Он тронул Килялю, и кореша взяли курс на кафе-мороженое. Киляля оглянулся: не идем ли и мы? Нет, мы пошли своей дорогой. Юлька с Галкой все так же впереди, мы с Шаихом – за ними.

Долго не гуляли, ноги сами вынесли из парка на Алмалы. Заглянули сперва к нам во двор, поглазели снизу на голубятню.

Шаих хотел было выгнать свою эскадрилью на обозрение, но Юлька сказала, что пора домой, провожать их не надо, и, на ходу обернувшись, добавила:

– Шаих, Ренат, хорошие вы мальчики.

12. Жених

Распрощавшись с девочками, мы пошли определять на новое местожительство Петю-петушка.

После обеда сарай наш скрывался в тени пышной сирени и гигантского черешчатого дуба, одиноко – кустарники не в счет – возвышавшегося посреди двора. Поэтому если по утрам в резиденции Шаиха было солнечно и тепло, то пополудни, в самый солнцепек, – прохладно. Моя часть сарая находилась через стенку (и тут с Шаихом мы соседствовали), но у себя я не задерживался, поскольку ничего хорошего у нас там не было – одни поленицы да всякий хлам, кое-как велосипед втискивался.

Мы восседали на топчане и размышляли о дальнейшей судьбе петуха, поглядывая, как он насыщается пригоршней конопли, когда в дверях возникла Рашида-апа. Ничего особенного в ее неожиданном появлении не было, она всегда так появлялась, но вот весело-лихорадочный блеск ее глаз показался странным. Да и губы накрасила, чего раньше за ней не водилось. Она совсем не зло спросила, где мы пропадали, сдержанно обрадовалась даровому петуху, заметив, что кочеток породист и мясист, и позвала Шаиха домой. Он молча повиновался, запер сарай, и мы разошлись. Я завернул в сад, где в кустах смородины мелькала белая косынка моей матери.

Потом выяснилось, что все яркие события того дня оказались не такими значительными по сравнению с тем, что ожидало моего друга дома.

Дело в том, что Рашида-апа давно была не прочь выйти замуж. Все, кто хорошо знал ее, в том числе и мои родители, убеждали ее в необходимости такого шага. Мужа с того света не вернешь, говорили они, а жизнь-то продолжается. И сына на ноги поставить надо. Моя мать имела конкретную мысль: чего далеко ходить, вот же Николай Сергеевич, через кухню дверь, совершенно положительный человек и ни разу не женат. Пустяки, что шестой десяток разменял, зато научный человек, астроном, и в хозяйстве мешаться не будет, полная свобода. Рашида-апа прислушивалась, носила по праздникам одинокому соседу пироги, тот растроганно принимал гостинцы, но ни намеков, ни прямых высказываний не понимал, любовь и страсть глядели у него в несколько иную сторону. Да и трудно было ей, путающей в разговорах с ним перипетии с перепитиями и считавшей, что Сервантес написал книгу «Тонкий ход», рассчитывать на успех.

Думалось, так и отступится она от наполовину своей, наполовину навязанной мысли. Но кому, скажите, в полной мере удавалось измерить все глубинные силы женской души? Вроде бы улеглась буря и на поверхности штиль, ан нет – бродят подводные течения, кипят, точат камень...

На диване, приобняв валик, сидел незнакомый мужчина. Это был будущий отчим Шаиха, но Шаих о том сразу не догадался, хотя разговоры о замужестве не прекращались, они порхали в доме, шурша, как летучие мыши, а то открыто звенели в шутках-прибаутках, раздражая Шаиха и замыкая его в себе. Ту первую встречу с отчимом Шаих описывал мне подробно.

– Смотрю на него и не пойму, – говорил он, – какая-то неприязнь скребет изнутри. Мужик, кажись, как мужик, не урод и не красавец. Лицо лишь от сетки прожилок красное. Ну и что, вроде б? А вот не могу и все... Хоть режь.

– Понятно, – отвечал я, – нового папашу выписали, кто обрадуется?

– Не-е... Не то. Я ведь сначала и не догадался.

– Что же тогда? Сидит себе человек, не кусается, разговаривает с тобой...

– На чистейшем русском. А сам... А сам – Гайнан Фазлыгалямович.

– И что, сейчас все по-русски шпарят будь здоров!

– Зато на татарском-то, слышал бы только, через пень колоду с нижегородским оканьем. В таком возрасте на родном говорят чисто. Или вообще не говорят. А имя свое разъяснил: Гайнан, говорит, – это значит правильный, правдивый. Я смотрю и думаю: чего это я как не в своей тарелке? Пялюсь, пялюсь... Да вот же оно что – глаза-то у него вразбег.

– Как это?

– В разные стороны глядят. Есть вот косые, а этот наоборот: один глаз на вас, другой – в Арзамас. И не поймешь, в который смотреть. В переносицу ему уставился, что делать, не отворачиваться же. А он чешет, чешет... Голос у него, правда... ну, просто левитанский: а-ля-мафо, мадера-фигус-краба!

– А это что такое?

– Не знаю. Выражается так.

– По-французски?

– Не знаю, говорю.

– Или ругается?

– Черт его знает!

Они сидели друг против друга, и Шаих в отсутствие запропастившейся матери терпеливо выслушивал мудрые мысли человека, повидавшего «и фронт, и тыл, и смерть, и голод». Общался гость непринужденно, по-свойски. Бегло расспрашивал, вполуха слушал, больше лил сам: бу-бу-бу... Моторчик его голоса работал на очень низких частотах.

– Сколь те лет-то, говоришь? У-у, мужик!.. А камин пашет? Зато какой красавец – а-ля-мафо-мандера-фигус-краба! А я, брат, в отставке майор. Военный майор. Че ухмыляешься? Войну прошел, войну-у-у! Секешь, чем военный майор от мирного отличается? Верно мыслишь, хоть и молчишь, моя звезда на погоне на тонну тяжелее. – Он усмехался своим же словам и незаметно для себя погружался в раздумья. Затем словно просыпался: – А? Что?..

Появилась мать. Живоглазая, разругавшаяся. Тотчас принялась накрывать на стол, приговаривая, что редиска, лучок свои, что нынче и огурчики с помидорчиками будут, бог даст, мясистые, погодка хоть куда. Говорила она на родном, гость отвечал то так, то этак. Шаих не заметил,

как среди разных салатов, белишей появились граненые стопарики и поллитровка.

– Гайнан Фазлыгалимович, командуйте, – пододвинула хозяйка бутылочку. – Выпьем помаленечку, закусим, поговорим... И бульончик поспеет. Уж постарался сыночек, такой гостинец принес... Чистое солнце в кастрюле плавится.

Шаих поднялся:

– Какое солнце?

– Спасибо уж тебе, сынок, спасибо!

Шаих двинулся к двери.

– Ты куда?

– Сейчас... – ответил он и вышел. Побежал через кухню, мимо «солнца в кастрюле», мимо меня...

– Эй, псих, куда сорвался?

Он не откликнулся. Отбил чечетку по крутой сенной лестнице и – к себе в сарай. Там, под лазом на голубятню, его ждали беспризорная веревочка да притоптанная конопля. И ни перышка.

Шаих взобрался на крышу, лег в тени за голубятней. Он слышал, как звала мать, как искала внизу, в сарае, прошла в сад, опять вернулась во двор, выглянула на улицу. Нет сыночка.

Я крикнул ему:

– Тебя мать искала.

– Знаю, – бросил он безразлично.

Больше мы не разговаривали. Я поливал помидоры, огурцы. Шаих, отлежав бока, принялся гонять голубей – помахивал таяком, шурился, подсчитывая, по сколько кувырков делают его турманы.

Эх и красивые же это птицы! Что-то не видать теперь их у голубятников. Катунями их еще называют. Поднимутся на высоту и покатаются шарами вниз. Опомнятся у самой земли, нагонят стаю, вновь начнут кувыркаться. Порой дух захватит: вот-вот разобьются. Из них особенно стремительны были те, что переворачивались через голову или, точнее, через крыло. Но мне больше нравились турманы, крутившие «заднее сальто». Летят, летят, от других не отличаются – и вдруг распустят хвосты веером, замрут так на полном ходу и раз-раз начнут назад через свои веера крутить. Феноменально! Лишь подзатыльник матери и выведет из забвения:

– Глазеть будешь или огород поливать?

Шаих заводил стаю в переседник, приговаривая свое обычное «чи-чи-чи», когда на крыльцо вышли мать с гостем.

– Так вот же он! – воскликнул Гайнан Фазлыгалимович. – А мы ждем, волнуемся, а он – а-ля-мафо... – И без того не молочное лицо гостя теперь всю сияло спелым овощным наливом августовских грядок Рашиды-ханум (у нее, женщины деревенской, огород был всегда лучше нашего). – Ну, до свиданья, что ли, – вскинул он руку и, словно бы напутствуя себя, промурлыкал: – Летите, голуби, летите!

Для нее – да, он, возможно, казался голубем. Поздним, последним, а потому и белокрылым. Вечером, когда наконец Шаих явился домой, она не бранила его, немного даже повинилась за петуха.

– Не молиться ж на него, не сегодня-завтра все равно... Покушай, вкусненько получилось.

Шаих огрызнулся.

Зная характер сына, она не стала настаивать – предстояло еще сообщить о главном, и она принялась обыденными, житейскими разговорами наводить мостки к расстроенной душе сына – о погоде завела, огороде, о болезнях своих бесчисленных и о том, что давно ему штаны новые надобно купить и что копейка трудовая достается ей ой как нелегко. Так, исподволь, и возник на ее устах Гайнан.

Она настойчиво крутила одну и ту же пластинку: Гайнан-де не средней руки человек, майор, знает жизнь не понаслышке, из песка веревки вьет. И пятое, и десятое...

– И кем работает, думаешь? Завскладом в цирке!

Шаих возился с Юлькиным приемником, не перебивал, не кривил губ, и она решилась.

– Сынок, как он тебе? – И, помолчав, в нетерпеливом ожидании: – Понравился?

Шаих равнодушно ответил:

– Не девица я: понравился – не понравился...

– Понимаю, сынок, но все-таки?

– Пристала! Скажи прямо, чего хочешь?

Она огладила шершавыми руками передник.

– Сколько уж мы с тобой без отца! А хочется не хуже других... – Оторвала взгляд от передника. – Хочу, чтоб жил он с нами.

Шаих знал, к чему мать клонит, но все равно ее последние слова ранили его.

– Каким образом?

– Твоим новым папой.

– Э тот?

– А что? Мне теперь не до Йусуфов из сказаний. Мужчина он... Я знаю, домовитый будет хозяин.

Шаих стрельнул глазами: хозяин? Но промолчал. Однако и взгляду его она спуску не дала:

– Не квартирант же!

Шаих отложил отвертку, взял пинцет.

– Что воды в рот набрал?

– А что я должен?.. Поздравляю! – Бросил пинцет, пошел из комнаты.

– Куда?

– К Николаю Сергеевичу зайду.

– Медом тебе там помазали? Часами у него, дома не сидишь. Ты ночуй там, живи!

– Придется, не мешать же молодоженам.

Мать схватила тряпку, которой только что протерла посуду, швырнула вслед. Но это она не со злости – так, чтоб последнее слово за ней осталось. Добро и худо выражались в ее поступках одинаково.

Глава третья

13. Пришелец

Именно так Николая Сергеевича и называли на Алмалы – пришелец. Не от мира сего якобы он был. Но я, но мы-то с Шаихом знали его получше, чем кто бы то ни было. Мы жили в одном доме с Николаем Сергеевичем с голопузого детства (разумеется, нашего с Шаихом голопузого детства), а кто, какой мудрец или академик может быть пронциательнее ребенка? Мы, дети, юные человеки, были с ним воистину единокровцами – и по крови, то есть духу, и по крову. Да и по возрасту тоже. По сути дела, ведь все большие ученые – дети малые. И те и другие в постоянном движении, в постоянной борьбе за расширение своих миров. Тянут шеи, становятся на цыпочки... Горизонты, дорожки, законы – «это можно, а это нельзя», придуманные взрослыми, являются для них пустыми условностями, никчемными заборчиками, которые они то и дело опрокидывают. Много их у нас понастроено всюду, заборов. Порой шаг шагни – и достигнешь желаемого, ан нет, вырастают перед тобой городьбы всевозможные, и приходится кружить, кружить до головокружения... Николай Сергеевич сказал как-то, что коммунизм – это когда не будет заборов.

Наш дом на Алмалы тоже, кроме фасада, был окружен разногабаритными заборами. С одной стороны даже кирпичная стена была. Высокая, мощная. Для чего? Для красоты и представительности, думалось. (Потом выяснилось – противопожарная.) Все-таки дом был одним из самых именитых на улице, поставлен еще в девятнадцатом веке купцом Морозовым. Из красного кирпича (первый этаж) и мелкослойной кондовой сосны (второй), с причудливой террасой, покрытой чешуей осинового лемеха, который в сумрачный день холодно серебрился, а в погожий весело голубел, с величественным парадным входом для господ, с резными ангелочками по фронтону над высокими окнами в строгих наличниках, со странными выступами и заступами, весь какой-то асимметричный и затейливый, он, однако, и при беглом взгляде поражал своей цельностью; взаимоисключающие вольности его удивительным образом дополняли друг друга, и он весь, казалось, был схвачен не раствором и гвоздем, а какой-то одной вдохновенной и дерзкой мыслью.

В конце концов Морозов разорился, и дом перешел в собственность приват-доцента Императорского университета Евсеева, покинувшего Казань с семьей в восемнадцатом году. Дом национализировали. В «людских» поселились рабочие-печатники, а в господских комнатах, на втором этаже, разместилась публичная библиотека. В том же году печатников перевели в центр города, поближе к типографии. Перебралась куда-то из-за отсутствия отопления и библиотека. В мае восемнадцатого верх дома заняла семья уполномоченного продкома по Арскому кантону Сергея Андреевича Новикова, оставившего квартиру в центре рабочим-печатникам.

Тринадцатилетнему Николаю отвели отдельную комнату, в которой он прожил до наших дней. За стеной, где раньше музицировали на пианино его сестра с матерью, теперь жила тихая бездетная пара; дверь в дверь, в бывшем кабинете отца, с одним из окон на террасу – мы, семья транзитного шофера, не появлявшегося дома месяцами; в самой большой комнате, бывшей гостиной с камином редкой красоты, но не действующим уже с восемнадцатого года, – вдова пожарного, дворничиха Рашида-апа с сыном, другом моим Шаихом.

Николай Сергеевич Новиков искренне любил всех нас, сменивших в комнатах квартиры его семью – отца, мать, сестру. Своей семьей он так и не обзавелся.

На работу в загородную астрономическую обсерваторию он ездил раз в неделю, по понедельникам. К поездке готовился за несколько дней и выбирался из дому шумно, суетно, непременно что-то

забывая, возвращаясь, волнуясь. «У-ту-ту!» – подолгу замыкал, размыкал и опять замыкал он игрушечный замочек на высокой двери. Еще шумнее возвращался. Снова пыхтел над замочком, опять пел «у-ту-ту», однако в нотках его голоса теперь царило ликование, его переполняли впечатления, свежая научная информация, тепло от общения с коллегами-астрономами, жажда к прерванному на целый световой день многолетнему домашнему творению.

Апогея в каждодневной домашней ученой работе он достигал только к ночи. Заглянешь к нему на огонек после одиннадцати (на нашем этаже все ложились поздно) и застанешь его в самом превосходном, деятельном, разговорчивом настроении. И полетишь с ним в межгалактические путешествия, перенесешься через века в будущее и с внеземными цивилизациями в контакт вступишь...

Как сейчас перед глазами: высоко на двух громадных сундуках обтянутая черным дерматином кушетка и на ней в горизонтальном положении Николай Сергеевич – рука вскинута к потолку, голова подбородком в грудь. Голова у него всегда была так – и при ходьбе, и при выступлениях с трибуны, как у обиженного или повинного. Он даже на небо смотрел исподлобья. Когда работал над рукописями (почти всегда лежа), голову на весу держал. Как не уставал? Таким образом и читал, и ел... Грудь ему служила столом – и письменным, и кухонным. Стол у него, конечно, имелся – письменный двухтумбовый старинный, с зеленым сукном поверху, но он до краев и в несколько этажей был заставлен кипами книг, папок, газет, картотеками размером от коробки из-под сахара-рафинада до холодильника «Саратов».

Впрочем, таким образом у него занята была вся комната. Передвигаться в ней можно было лишь при хорошо развитом чувстве равновесия: всюду – на стульях, полу, устланном газетами вместо ковриков, на подоконниках – книги, книги, книги... Не дай бог зацепить! За каждым шагом «гостя» он следил с трепетом. Книги стеллажами подпирали потолок. И на печи громоздились. Отмени природа закон притяжения, он бы и потолок завалил. «Завалил», разумеется, не то слово. Его обширное бумажное хозяйство было не складом макулатуры. Любая маломальская брошюрка, что-то брошюрка – записка в одну четвертую листа из школьной тетрадки, вырезка из газеты – все было учтено, зарегистрировано и имело свое определенное место. Вот на полу у стеллажа стопка пожелтевших от времени газет, сверху лист оберточной бумаги с надписью «Осторожно, не прочитано!» Вот секция с толстенными книгами, надпись над ними гласит: «Сдать в библиотеку!» Пока мы еще не вечны, объясняет он, всякое может случиться, а книги библиотечные.

К экзотичности его комнаты мы были привычны. Мы выросли в ней. Что нас поражало, и с каждым годом все больше и больше, так это память Николая Сергеевича. Она у него была феноменальной, просто кибернетической. Он никогда ничего не искал по бесчисленным книжным полкам, никогда и ничего не забывал (не беру в счет бытовую рассеянность). Память его включалась без нагрева и разгона. Полузакрыв глаза, он читал нараспев: «Роняет лес багряный свой убор...» Или: «В стране, где я забыл тревоги прежних лет...» Поводом для пространных цитат обычно служили ошибки, неточности, как наши при зубрежке, так и составителей различных сборников и учебников. Помню, как-то я процитировал из учебника литературы слова Пушкина в письме к Вяземскому по поводу «Бориса Годунова»: «Трагедия моя окончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да молодец!» Это веселое восклицание понравилось мне. Из всех населявших учебник поэтов он тут живым человеком представился. Выслушав меня, Николай Сергеевич сказал, что и ему эти строки по душе, но вот оказия, Пушкин-то писал не «молодец», а «сукин сын»: «...ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Он болезненно переживал вольные или невольные огрехи в науке. А пушкиноведение было для ума и сердца его наукой очень близкой и дорогой.

Казалось, он наизусть знал не только всего Пушкина, но и Блока, Тютчева... Я мог бы назвать и других поэтов, прозаиков, драматургов и их произведения, к которым он питал особое пристрастие, но ограничусь утверждением, что эрудиции его могли бы позавидовать не только преподаватели, но и многие литературоведы.

Несмотря на поразительную память, Николай Сергеевич все в своей жизни фиксировал, брал на письменный учет. Каждый прожитый день, каждый шаг, любую покупку, книгу, журнал, интересную газетную статейку... И даже звезды на голове. Как сказал о нем один из его друзей-астрономов, искру в работе над библиографией затменных переменных звезд он раздул до пожара, до общей астрофизической библиографии звезд Вселенной, то есть взялся за такую тему, которая была по плечу разве что целому институту.

Но это уже, как Пушкин в его жизни, отдельная повесть.

О нашем соседе с полным правом можно было сказать – ходячая энциклопедия, живая память, нет, наглядная память, ибо это был человек, не только ничего не забывавший, но и никогда зря ничего не выбрасывавший. Он был человеком, вросшим в свою заставленную, уставленную, обложенную вещами комнату, как моллюск в раковину. Вы лишь вообразите, как это ничего не выбрасывать на протяжении шести десятков лет. Больше! Он берег и многие родительские вещи. Этот своеобразный

музей хранил, кроме упомянутых сундуков и стола потемневший от времени, но все равно роскошный ампирный сервант, в котором продолжали жить в безрассудной надежде на пригодность кружевные веера, замысловатые брошки, пуговицы, сюртук с карманом под фалдой, театральный бинокль на раздвижной ручке с клеймом парижского астрономического общества «Флам Арион», полуистлевший ремень с медной бляхой, на которой рельефно выступали крылышки над двумя змейками и аббревиатура «КУ» (коммерческое училище), билеты в синемаграф «Унион» и трамвайные билетки десятка образцов, включая тех времен, когда лошадиные силы катили вагончики по городу натуральным образом – с доком и ржаньем; талоны на керосин, одежду, продукты; мирно тлели документы родителей, начиная с выписок из метрических книг Казанской епархии о их рождении, бракосочетании, а также свои, например «Сведения о поведении и успехах ученика приготовительного класса Казанского коммерческого училища за первое полугодие 1914/15 учебного года»; в одном ящике вместе с квитанциями от 13 декабря 1941 года о приеме от тов. Новикова Н.С. теплых вещей и белья для Красной Армии, пачками бирок от одежды хранились монеты с профилями императоров и императриц, пасхальные открытки... Мое воображение особенно сильно будоражила этажерка, где покоились сувениры, выпущенные к столетию Отечественной войны 1812 года – небольшая, но увесистая металлическая статуэтка Наполеона в пороше белесой патины – руки скрещены на груди, у ног пушечное ядро; открытки с видами сражений, на каждой сбоку то часть лица, то шляпы-треуголки или шпаги, или ботфорты... Каково же было мое удивление, когда, сложенные вместе на одной плоскости, они явили взору одну большую картину с Наполеоном Бонапартом в полный рост. Почему не Кутузовым? Странное было отношение издателей к славной для Отечества дате.

Всех богатств его удивительного хранилища не перечить и не пересказать. В тесной двадцатиметровке уживались два столетия. Хотя у него еще имелся вместительный, николаевских времен дровяник, где среди полениц, сломанных стульев пылились в ящике неизвестно какой древности иконы, грудились в мешках звонкие люстры, подсвечники, чайники-спиртовки, посуда... Честное слово, у него любой исторический музей мог бы разжиться. Представляю себе уроки истории или литературы с экспонатами из собрания Николая Сергеевича Новикова. Скажем, заходит речь о творчестве Пушкина, и тут же вот вам – прижизненное издание его книги, посмотрите.

Но ни из музея, ни из школы к нему не шли. А он не шел к ним, потому что ему немое его окружение говорило о многом, все эти вещицы были больше чем просто вещи, они были добрыми спутниками жизни, друзьями, которых, как известно, настоящие люди ни при каких обстоятельствах не бросают и не продают. Они были ему привычны, обыденны и ценность представляли, как ему казалось, только для него одного. Лишь теперь я начинаю понимать волшебное свойство его ветхого капитала: он овеществлял прожитые дни, которые для многих исчезают бесследно, как трамвайные билетки, брошенные в урну.

Одной из многочисленных странностей Николая Сергеевича был образ его питания. Кухней общей он не пользовался, лишь воду в эмалированных ведрах на своем бездействующем фанерном столике держал. Выглянет из двери с ковшом в длинных пальцах, зачерпнет и – у-ту-ту! – скроется. Жарил-парил у себя в комнате на электроплитке, а зимой кастрюли и сковородки перебирались на плиту печи.

Обеды себе он готовил из всевозможных концентратов. Супы из пакетов, каши из брикетов, мясо, рыба – из банок... Исключение составляли грибы, которые он по собственным грибным картам собирал в лесах вокруг обсерватории, и гостинцы из нашего сада-огорода (своего участка в саду он не имел – отказался). Да еще из отпусков, проводимых в Крыму, он привозил ящика два фруктов, большей частью винограда. Угощались на этаже все. Мы с Шаихом с особой жадностью наваливались на черный виноград с романтическим названием «Изабелла» – в приключенческих книгах, проглоченных нами в свое время невероятными порциями, многие пиратские корабли назывались почему-то именно так – «Изабелла».

Своей жизнью Николай Сергеевич перечеркивал многие общепринятые устои, внушаемые нам с детства. Нам говорили: не читай лежа, испортишь зрение, а он всю жизнь читал лежа и не знал, что такое очки. Он питался одними консервами, и никто из нас не слышал, чтобы он жаловался на желудок или нехватку витаминов. Нам – о свежем воздухе, физкультуре, а он сутками в непроветренной камерке с устойчивым духом старых книг, бумажной пыли, и работоспособность – дай бог каждому! В доме он был всех старше, а к помощи медиков и медикаментов не прибегал, тогда как и мои родители, и соседи беспрестанно охали-ахали, слонялись по больницам и зарабатывали, казалось, исключительно на лекарства.

Хотя одна неприятная штука у него была – он кашлял, чему мы не придавали значения. А врачи говорили – бронхит. Возможно, потому-то и путешествовал каждый год на юг. Нет, все ж таки в Крым его тянуло другое, в первую очередь – любовь к сказочному краю. Поездки начались задолго до бронхита. Позже я узнал, что до нашей с Шаихом эры он очень сильно болел, в юности у него признали какую-то дрянь, связанную с нарушением обмена веществ. Рахит вроде бы. В те же годы его свалило воспаление легких, из-за которого в университет он поступил на год позже сверстников.

Потом его и в армию не взяли, и на фронт он, сколько б ни подавал заявлений, не попал. Я видел довоенные фотографии – Крым, друзья, какая-то милостивая девушка рядом с ним смеется в объектив, заслонившись ладошкой от солнца, а он, а он-то – тощий, как жердь. Один нос торчит. Да еще упрямая копна волос. Куда, скажите на милость, подевался с возрастом недуг? И поправился, и округлился. Не консервами же человек вылечил себя?!

Много странного было в нем. Он, к слову сказать, не брился. И бороды не отпуская. Стриг ее маленькими выгнутой ножницами на ощупь, не отрываясь от рукописи. К концу стрижки на щеках оставался ровный пегий газон росточком с родинку у рта, которую он панически боялся задеть. Больше ничего не боялся. Нет, еще страшился остаться без света – во тьме ни читать, ни писать, потому и держал всегда про запас с десяток лампочек и дюжину восковых свечей. А про родинку ему кто-то нагадал в детстве, что он поранит ее, изойдет кровью и умрет. Вот и не пользовался бритвами-лезвиями. А может, это была всего лишь байка, оправдывавшая еще одну его странность.

Щетина шокировала. Представьте себе к тому же человека в одеждах двадцатилетней давности. Или разом в двух рубашках, причем сверху летняя, с короткими рукавами. Человек прижимает к груди пухлую папку, что-то бормочет себе под нос и мчитя порывисто (он неудержимо быстро ходил) и зигзагами (ни дать ни взять что-то украл и петляет, сбивает преследователей со следа), летит и вдруг – стоп, замрет как вкопанный, постоит так в раздумье и вновь наберет скорость. Кое-кто считал его ненормальным. Один остряк высказал предположение, что он на улицах родного города и днем по звездам ориентируется, а другой добавил: это потому, что он пришелец, инопланетянин. Чтобы додуматься до такого, семи пядей во лбу необязательно было быть. Надо было просто знать Николая Сергеевича не только по одежке, но и по неколебимой вере в неземные цивилизации. И сыграть на этом.

Мы же с Шаихом настолько привязались к Николаю Сергеевичу, что бытовые несурезицы в его жизни нас не смущали. А если мы и обращали на что-то внимание, то лишь ради того, чтобы помочь ему, человеку вне быта, справиться с заготовкой дров на зиму, оклейкой-замазкой окон, починкой электроплитки и прочим, что ничего мудреного для нас не представляло. Сосед наш, замечу, не имел ни холодильника, ни телевизора.

Нам представлялось, что шефствуем мы так, за здорово живешь. А на самом деле это он безвозмездно наставлял – дарил нам, желторотым сосункам, свою дружбу, знания, наделял скороспелых ипохондриков оптимизмом, верой в разум. (Не пишу «в человеческий разум», потому что он мыслил шире.) Он говорил: мы живем в необычное время и что мы – это не просто Шаих и Ренат с Алмалы, а земляне, рожденные для жизни красивой и большой и, быть может, даже бессмертной.

14. В созвездиях его каморки

Да, в чашобе его интересов и увлечений, о которых я так или иначе еще расскажу, доминирующей была вера в то, что мы, разумные существа, в бездне галактик не одиноки. Он верил в Межгалактический союз цивилизаций, не ручаясь лишь за точность формулировки.

Он поэтом был. Во всем. И в изначальном смысле слова тоже.

Стихи Николай Сергеевич писал всю жизнь, с детства. Своего белокурого детства, оставшегося лишь на картонных фотографиях ателье «Рембрандт». Первое стихотворение было сочинено им в день объявления войны Вильгельмом II царской России. Оно насквозь было ура-патриотическим, почерпнутым из правых правительственных газет. Первая строка – «За нашу Родину святую», последняя – «Отчизна наша победит!». Остальное из могучей памяти Николая Сергеевича, как ни странно, испарилось. Но не испарились стихотворения и поэмы, написанные позже. По нашей просьбе он переписал часть из них в голубенькие ученические тетради старательным разборчивым почерком и подарил по экземпляру Шаиху и мне с посвящением: «Поколению, которое сможет войти в контакт с Союзом Цивилизаций Космоса».

Этим поколением он считал нас.

Он считал, что мы все находимся на пороге Великаньего Времени.

Конец пятидесятых, начало шестидесятых годов двадцатого столетия... Они были для Николая Сергеевича Новикова временем бесконечного энтузиазма и надежд. Позывные первого искусственного спутника Земли ошеломили его, а шаг в космос Юрия Гагарина... Знал бы кто, как ликовав в тот апрельский день одинокий пожилой человек в тесной комнатке на Алмалы! «Началось, началось, – шептал он. – Великанье Время началось! Скоро и в Дальний Космос двинемся, и братьев по разуму обнимем, а уж с земными междоусобицами само собою покончим, мы же существа ра-зум-ные!»

К войнам и всякого рода насилию он относился однозначно. Я частенько повторяю строки, написанные им еще в юности и не потерявшие актуальности и через десятилетия:

Довольно смотреть назад!

Пора оглянуться вперед!
Человек – творец, а не солдат.
Книга сильнее, чем дот.

Как-то я показал стихи Николая Сергеевича приятелю, ведавшему литературной страницей одной местной газеты. Тот пробежал глазами страничку-другую и пригвоздил: графоман. Стал цитировать, смеяться: что за стиль – стразы, алмазы, демиурги, – девятнадцатый век! Я не специалист в поэзии, но с приятелем не согласился. Не мог согласиться. Каждая строка казалась мне айсбергом с двумя лишь процентами своей массы на поверхности. Чтобы понять поэта, надо быть сведущим в вопросах, которые он поднимал. И плюс настроенным на волну «Грез Земли», «Контакта», «Союза Поэзии и Науки». Не спорю, слог архаичен – Новиков не стеснялся рифмовать «розы – слезы – морозы». Но розы-то у него были для братьев по разуму из Далекого Космоса, а морозы – термоядерные!..

Умерьте гордость человека,
Ему нести свой страшный груз
От скотства каменного века
В Межгалактический Союз.

Вот главная тема его поэзии и жизни. И если уж напору идей и страсти тесны одежды стилей и сосуды форм – к черту их, пусть летят вдребезги! Человек в конце концов научится оперировать голыми мыслями без тумана-вуальки, без лишних кружев и бахромы. Мысли, мысли!.. И тогда трудно придется тем, у кого их нет.

Размышляя о современной литературе, Николай Сергеевич записал в дневнике: «Быть только «инженерами человеческих душ» стало в космический и ядерный век уже недостаточно. Поэтам надлежит стать впередсмотрящими человечества, проникнутыми его глобальными интересами и целями. Для этого, безусловно, потребуются большая естественная эволюция. Долго еще сохранятся островки литературы «последних могилок», занимающихся раскопками человеческих душ и раскрытием псевдотайн личностей. Такая литература будет все далее отходить, превращаясь лишь в живописание странностей и капризов исчезающего человека-эгоиста. В итоге островки те окончательно растают перед величием, грандиозностью и неотвратимостью встающих перед человечеством проблем».

Есть с чем поспорить, но трудно и не посочувствовать человеку, пристально вглядывающемуся в лицо будущего. И вполне понятен переход научной поэзии Николая Сергеевича в научно-фантастическую. Сейчас бы и полочку нашли для его поэтических исканий, и бирочку прицепили: фантастика прогностического направления с центральной темой контакта.

...И плавилась
в плазменном пекле народы.
И стала планета
обломком породы.
И кто-то в скафандрах,
огромны, безлики,
Спустились...
Спасатели или владыки?

Строки эти одни из тех, что я запомнил сразу, само собою, не стараясь запомнить, как это бывает только в детстве. Но тревожат они всю жизнь – и по поводу, и без. О возможности самоуничтожения землян и возможной помощи им со стороны более развитых цивилизаций он писал в своих фантастико-публицистических стихах еще в тридцатые, а то и двадцатые годы. В процитированном стихотворении, а называется оно «Спасательная команда», Николай Сергеевич размышляет о том, что контакт – всегда приобретение, всегда прогресс, потому что Высший Разум, носителями которого являются спасатели Межгалактического Союза, выше нашего, он всегда жизнеутверждающе диктует ответственность не только за свою будущность, но и за грядущее юных цивилизаций, совсем еще младенцев, только-только выходящих из изолированной от Большого Мира плаценты, из зародышного состояния на свет божий, вернее, как он пишет, – «звездный». «От скотства каменного века», через костры инквизиции и чудовищные войны в «Межгалактический Союз». Через тернии к звездам – это же основополагающая философия человечества.

Ту философию мы впитали в себя среди сонма созвездий и цивилизаций, легко скользивших вокруг нашего одинокого соседа в его камерке на Алмалы. Особенно близок ему в той устремленности к звездам был Шаих. Мальчик и старик (а Николай Сергеевич в наших глазах выглядел человеком глубоко пожилым), школьник и ученый понимали друг друга – не покривлю против истины – с полуслова.

Одного не мог постичь Николай Сергеевич: что за удовольствие шугать на крыше голубей? Мало ли вокруг птиц летает, полюбуйся и ступай себе дальше. Шаих, в свою очередь, не понимал Николая Сергеевича: «Межгалактическими полетами грезите, а сами не замечаете чуда живого полета». Но это

в их отношениях лишь маленький, и не очень характерный, штришок.

15. Эликсир молодости

Было за полночь, а разговорам не было конца. Шаих зашел к нам, когда мы с Николаем Сергеевичем решали уже не первую мировую проблему. О чем мы обыкновенно вели беседы? О чем угодно. Допустим, об особенностях жанра научной фантастики. Закономерности его развития Николай Сергеевич выводил со всей дотошностью и ответственностью ученого человека. Как профессор Пропп препарировал волшебную сказку, так Николай Сергеевич пытался разложить научную фантастику по соответствующим нишам и ячейкам, начиная с той же сказки и кончая... А фантазии-то человеческой – ни конца ни края. Он доставал и прочитывал абсолютно все, что хоть волоском касалось научной фантастики (да и ненаучной тоже, приросли эти два слова друг к другу: если фантастика, то обязательно научная). Такой обширной библиотеки НФ, как у него, больше я ни у кого не встречал. Книги он покупал, получал почтой, друзья приносили, сами авторы дарили, книги прибывали к нему и из-за границы бандеролями за семью печатями, дивя нас красочными марками и загогулинами иноязычных букв.

Сказка ли, фантастика ли или история – все равно осью разговоров оставались большей частью взнезменные цивилизации. При этом роли неизменные – я с Шаихом в оппозиции, чтобы острее был спор в каморке (каморка да каморка, а комната была все-таки немаленькая – 20 кв.метров, просто сильно заставленная), которая к полуночи превращалась в центр мироздания с вдохновенным всевышним на кушетке. Безусловно, он побеждал, убеждал и обращал в свою веру, против которой в своей душе мы ничего не имели, а наоборот – были ею одухотворены и являлись ее проповедниками во всех уголках необъятной Алмалы.

Иногда, случалось, Николай Сергеевич читал нам свою прозу. Да, он и прозу писал. У него было несколько фантастических романов и повестей. И необязательно в них летали к звездам или оттуда к нам, хотя, конечно, большинство именно о том. Запомнился сюжет «Эликсира молодости». Некий Мануэль Бок, студент-фармаколог Сорбонны, изобрел препарат, останавливающий бег времени для любого живого существа, наделенного разумом или к разуму эволюционирующего. На Земле, по его мнению, эликсир мог действовать только на человека и в известной мере на ближайшего брата по разуму – дельфина. До дельфинов Мануэль Бок не добрался и первый опыт провел на себе. Осушил мензурку эликсира, запил наперстком родиолы розовой на спирту, закусил еще чем-то и стал ждать. Но ничего особенного не произошло. К пяти вечера он пошел к фонтану Невинных на свидание со своей возлюбленной Евгенией. Он был из состоятельной парижской семьи, она тоже. Они и учились вместе, и жили почти рядом. В тот вечер, как обычно, поужинали в ресторанчике тут же, на площади, и отправились любить друг друга в гостиницу Анри Демье, приятеля Мануэля, где они снимали номер. О своем опыте Мануэль ничего не сказал. Утром пошли в университет, и на лекции Евгения сообщила милому, что у них скоро будет ребенок. Такое известие любого взволнует. Задумался и наш Мануэль. Читая это место, я подумал, неужели и Николай Сергеевич не сможет избежать самой что ни на есть земной, банальной темы, когда герой кататься любит, а салазочки возить не очень. Однако ошибся – трагедия была, но совершенно иного рода. Мануэль женился на Евгении, у них через положенное время родился мальчик, а затем ни больше ни меньше чем через девять месяцев – дочь. Первенец – копия Мануэля, дочь как две капли воды – мать. Все были счастливы, и думы Мануэля об эликсире и первом опыте как-то непроизвольно отошли на второй план, если не сказать, что позабылись вовсе.

Напомнили о выпитой мензурке однокашники Сорбонны, с которыми он встретился на десятилетия выпуска. «Дружище, ты вовсе не изменился!» – сказали ему несколько человек независимо друг от друга. Скоро Мануэль и сам замечать стал, что обличием он все такой же, каким много лет назад стоял у фонтана Невинных, заглядывая в холодное зеркало воды после дозы эликсира и родиолы розовой в ожидании Евгении. Его прекрасная Евгения с каждым годом выглядела все старше и старше своего кукольно неизменного мужа. Скоро его с сыном стали принимать за близнецов, а дочь – за невесту. Сперва Мануэль не расстраивался, в сорок-пятьдесят он запросто кружил головы девчонкам, наверстывая упущенное по причине ранней женитьбы. Научной работы не возобновлял, так как спешить было некуда, впереди вечность. К шестидесяти годам, после смерти Евгении, любовницы резко опротивели. Казалось, должно было быть наоборот, как там у Бодлера: «...жена в земле, ура, свобода!», гуляй на здоровье, которое не убывает; но нет, ему впервые захотелось перешагнуть за черту жизни, догнать Евгению, в любой ипостаси быть рядом с нею, неожиданно жизнь потеряла всякий смысл. Когда Евгения тяжело заболела, Мануэль впервые вспомнил о своем изобретении. Составил несколько мензурок эликсира, она принимала – бесполезно. Он целовал ее морщинистые руки, и слезы неудержимо бежали по его гладким, молодым щекам. То, как ее любил, он понял лишь с ее смертью. На семьдесят шестом году жизни Мануэль Бок скрылся из поля зрения ребят

Национального института здравоохранения, которые наблюдали за каждым шагом феномена и которые осточертели ему навязчивой бестолковостью до предела. Секрета своего он не раскрыл (если б и захотел – не смог), улыбался лишь, наблюдая со стороны, как растут те в академических степенях, старятся и улетают куда-то, уступая место румяным и временно бессмертным юношам... За Евгенией ушли близкие друзья – Анри Демье и Жан Шессон.

Из детей первым юдоль земную оставил сын. Ровно через девять месяцев отлетела душа дочери. За детьми последовали внуки. И с каждой новой смертью бессмертный Мануэль убеждался, насколько правы древние: человек умирает столько раз, сколько раз он теряет близких. После гибели в автокатастрофе обожаемой правнучки Франсуазы он кинулся в Сену. Утонуть, однако, не удалось, вытащили, откачали. И он, молодой и красивый, продолжал жить. Разменяв второй век, Мануэль перестал считать годы. Существование в чужом времени, среди чужих людей оказалось пыткой. Беда изобретения эликсира заключалась в том, что он дарил и бессмертную память. Концовка романа необычна, но в духе Николая Сергеевича: в середине XXI века бессмертного космонавта Мануэля Бока сажают в звездолет Международной ассоциации космонавтики Земли, и он летит к далекой звезде, к которой простому, точнее, нормальному человеку в жизнь не долететь, просто-напросто не хватит ее, жизни-то.

Проглотив роман (Николай Сергеевич прочел нам лишь первые две главы), мы дружно накинулись на автора за неправдоподобную забывчивость Мануэля, как-то он уж слишком небрежно отнесся к своему изобретению, и как это он его забыл, не смог восстановить, когда на руках умирают жена, дети, друзья? И вообще... Мы кусали молодыми зубами главу за главой, абзац за абзацем... Но вот столько лет прошло, я прочитал много всякой литературы, в том числе и фантастической, но это произведение, даже на машинке не отпечатанное, в памяти осталось до мелочей, до имен-фамилий второстепенных действующих лиц.

16. Полуночники

Уже за полночь, а мы все у Николая Сергеевича. В руках у меня тонюсенькая серенькая книжечка – стихи Надсона. У Шаиха – финка и ламповый патрон. Разговаривая, мы, как повелось, что-то листали или чинили. Иногда и молча сидели и не чинили ничего, загнипнотизированные каким-нибудь прошловековым «Око Юмой – японским шпионом» или «Призраком острова Прощай Мама» из антикварной части библиотеки Николая Сергеевича.

В тот вечер Николай Сергеевич был в превосходном настроении: окончил объемистую статью, которую через день, в понедельник, предстояло отвезти в обсерваторию. По правде сказать, он всегда был в превосходном расположении духа. Афоризм, что жизнь – это поток различных настроений, его не касался. Он сказал однажды: надо уметь управлять своим настроением, ибо оно если не повинует, то повелевает. Я запомнил. Потом и у какого-то философа подобное изречение встретил. Выписал, над письменным столом повесил. Но повелевать своими настроениями так и не научился.

Шаих крутил финкой как отверткой и рассказывал о знакомстве с Киямом Ахметовичем, о его квартире – «настоящем Эрмитаже на Алмалы». В то время ни в Ленинграде, ни в Москве мы еще не бывали, но что такое Эрмитаж или Третьяковка, каждый из нас, разумеется, знал. Шаих каким-то образом лучше знал. Хоть и слыл технарем (он мечтал о Московском физико-техническом), рыбаком да голубятником, его познания в истории, литературе, живописи меня поражали. Откуда? Дымит целыми днями канифолью или голубей гоняет и вдруг на уроке литературы заводит спор с учителем, мол, Сальери, будучи сам талантом мировой величины, учителем Бетховена, Шуберта, Листа, не мог отравить Моцарта: «Гений и злодейство – две вещи несовместные». И если Мешок – так прозвали учителя русского языка и литературы (что-то общее было между ним и этим бесформенным видом тары), и хотя он (я не могу назвать его по имени, оно безвозвратно кануло в закоулки моей памяти) очень спокойно и профессионально, то есть пересыпая терминами и умными словечками, осаждал наскоки юного дилетанта, то на внеклассном обсуждении балета по одноименной сказке Тукая «Шурале», на который в театр мы ходили всей школой, взял верх в завязавшемся споре лишь волевым приемом – выставив оппонента за дверь. А началось с того, что Шаих заявил: Шурале хоть и шайтан, но симпатичный, думал поиграть с дровосеком Былтыром и помочь ему согласился – развалить бревно надвое, а тот выбил клин из разрубки и защемил бедолаге пальцы. Мешок сказал, что Шаих истолковывает увиденное шиворот-навыворот, не так, как положено, не дорос он до балета, не знает Тукая. Шаих-то как раз знал, но с Мешком у него были свои счеты, и лишний раз показать, что Мешок он и есть мешок, не преминул, ответив: не один он так понимает, недавно прочитал сказку четырехлетнему соседу, и тот заплакал: «Жалко Шурале, остался закопканенный в лесу, что с ним будет?» «Вот и у тебя мышление на уровне четырехлетнего младенца», – съязвил педагог. Тогда Шаих припомнил не то рассказ, не то пьесу современного татарского писателя, где Шурале брался под

защиту – это веселый лесной шалопай, вечно влипающий в истории, из которых сухим ему выйти никогда не удастся. «Это все придумки... Ревизия классики!» – забрызгал слюной учитель словесности. Тут-то Шаих и подлил масла в огонь: да ведь и сам Тукай был не кем иным, как Шурале. «Ты думай, о чем говоришь, бестолочь!» – взвизгнул Мешок. А Шаих продолжал: ему нужна была свобода, ему нужно было творить, а его за руки хватили, защемляли пальцы. Не зря в конце он и подписывался: «Шурале». Это был перебор. Учитель, знавший татарскую литературу похуже своего основного предмета, указал перстом на дверь: «Иди, Шакиров, погуляй, а то слишком умный стал». Шаих, словно ожидал такой развязки, спокойно взял портфель и вышел вон из душного класса. Через несколько минут я с завистью наблюдал в окно за свободным полетом его белокрылой стаи.

Теперь я понимаю, откуда в Шаихе бралось то, что я порой считал апломбом. Это была самозащита. Агрессивная самооборона «безотцовщины», козла отпущения всех нераскрытых школьных и уличных грехов, «шпаны и потенциального преступника». Последняя словесная формула принадлежала Мешку, и она невероятным образом висела как дамоклов меч почти на всех уроках по всем предметам, не позволяя оценить знания Шаиха даже при отличных ответах выше «тройки». Такая вот педагогика была.

И только теперь я начинаю понимать, кем был для нас скромный сосед Николай Сергеевич Новиков. Нет, прямого воздействия на наши поступки он не оказывал. Мы жили своей стремительной жизнью, неслись по ней галопом, но вечерами в его каморке взнуздывались и, как бестолковые жеребята, жадно всасывали то, чего не могли нам дать ни родители, ни улица, ни тем более средняя школа с ее средними и ниже среднего учителями.

– Представляете, – продолжал Шаих о своем новом знакомом – Кияме Ахметовиче Мухаметшине, – человек из голодной башкирской деревни двадцатых годов окунается в жизнь, о которой и мечтать не смел, – учеба в театральном училище, драмсцена... Хотя почему не смел? Еще как смел: сколотил у себя в ауле самодеятельный театр – и коллектив, и клуб – клуб в бывшем байском амбаре. И пошли на деревенской сцене представления. Люди к ним со всего района потянулись – кто посмотреть, кто стекла побить, а то и сжечь шайтанский рассадник. Но вот перебрался он в город своей мечты, в Казань. И артистом стать охота, и художником – в своем деревенском театре-то и декорации, и занавес, и парадный вход – все сам расписывал. А карман прожигает рекомендательное письмо из Оренбургского театра, где по пути из деревни успел проработать несколько месяцев. Оно и привело в театральное училище. Привело-то привело, да потерялось. Но он не из робкого десятка и без письма на просмотре выдал на-гора монолог Фердинанда из «Коварства и любви» Шиллера...

– На родном? – поинтересовался я.

– Конечно. Я не сказал: хоть Киям-абый и из Башкирии, но из деревни-то татарской. Так вот, выдал Фердинанда...

– И приняли?

– Сразу на второй курс.

– Интересно, – сказал Николай Сергеевич.

– Слов нет – сцена, успех, женитьба на актрисе... Дочурка появилась, дали ей самое красивое имя – Роза. Худо-бедно жильем обзавелись. Работай на здоровье, живи, твори –зеленый свет. И работал, и творил, дочь свою ненаглядную растил-воспитывал... И тут бах – война! И артист становится кавалеристом. Да, кавалеристом, попадает в корпус Доватора. В сорок первом. И в том же сорок первом его контузило под Рузой. Но не в бою, а перед самым началом – бывает же такое! – конь лягнул, в голову. Конягу Бравым звали. Копытом, как снарядом, шибанул. Вот тебе и Бравый! Отправил седока в госпиталь. А в бою том, около деревни Палашкино, мясорубка была! Доватора убило. Тяжело ранило земляка, сержанта Исакова, с которым мобилизовался из Казани. С ним вместе и в госпиталь в родной город вернулся, тоже ведь редкость. Руки-ноги целы, а ходить не мог –такая контузия. Учился, как ребенок, заново. Через год опять на фронт попросился, но куда его? Дальше военкомата не пустили, торчал там в часовых. Скажете, тыл, тишина, так нет, нашелся тип, гад какой-то среди только что мобилизованных, дезертир – не то камнем, не то еще чем-то врезал по голове и убежал. Опять госпиталь, еле выжил. Понимаете, равновесие стал терять. Жена с дочерью хлопочут, травы целебные отваривают – не помогает. Дочь-то, Роза Киямовна, видел я ее, красивая, тогда, в конце войны, на выданье была. Приходит жених с родителями. Хозяева усаживают гостей. Киям-абый поднимает рюмку, хочет слово доброе сказать, как вдруг, говорит, комната на глазах трогается с места, и он летит на пол.

Николай Сергеевич закачал головой:

– Сколько ему лет было?

– На два года он вас моложе.

– А фокусником когда стал? – Я положил на место Надсона.

– После войны. В драму вернуться не смог... Тогда же и кисть, и резец в руки взял. Для своего удовольствия. Да и переплелись профессия с увлечением, сам себе реквизит делал, ящики волшебные

свои узорами расписывал, цветы мастерил... Так и поднялся, и в обмороки падать перестал. Жена, говорит, здорово, помогла, но сама долго не прожила. – Шаих ввернул лампу в патрон, полез под матерчатую шляпку настольного абажура, и комната наполнилась желтоватым светом. – А внук и внучка у нас в школе учатся – Юлия и Саша Пичугины.

– Не Семена ли Васильевича, профессора математики, родственники?

– Не родственники, а дети.

– Дети? Ах да, да, у него же их двое. От второго брака.

– Вы знаете его?

– Знаю, – промолвил Николай Сергеевич. – Знаю... Стало быть... Что, он старше Кияма Ахметовича, тестя своего?

– Представления не имею. – Шаих поскреб затылок утиным носиком финки. – Я ведь его не видел.

– Хм-м... Семен Васильевич, кроме того что математик, большой специалист по литературе девятнадцатого века, пушкинскую эпоху у нас как он вряд ли кто знает. А его математический анализ стиха – сенсация!

Несмотря на соразмеренный, с покашливанием говор Николая Сергеевича, я уловил в его голосе встревоженность. И спросил:

– Интересно, что профессор сказал бы о вашем «Пушкине-декабристе»?

– Не знаю, не знаю... Давно его не видел. Есть, так сказать, общепринятая точка зрения, академическая... Но у профессора Пичугина своеобразное мышление, у него весьма смелые гипотезы. У-ту-ту... – повитал он в облаках и, вернувшись на землю, осведомился: – А что это Киям Ахметович голубятней интересовался?

– Откуда знаете? – удивился Шаих.

– Так это же он тогда у меня спрашивал о хозяине голубятни. Я и пригласил его к тебе.

– Ах да, Николай Сергеевич, из головы вылетело, рисовал он их, наброски делал... Задумал картину, на которой мои птицы будут центральными героями. Он сказал: это будет что-то необыкновенно светлое и жизнеутверждающее.

– Поразительно, п-просто п-поразительно! – Волнуясь, Николай Сергеевич слегка заикался. – Сколько м-можно ломать человека войнами, бить его, калечить, а он... а он неуязвим душой, чист и находит силы п-побороть инерцию доживания, отрывается от окуляров военного прошлого и вперед глядит глазами своей детской мечты. Он же, ты говоришь, с детства мечтал рисовать?

– Да, Николай Сергеевич, с детства.

– Настойчиво судьба закольцовывает свои сюжеты!

– Вы же, Николай Сергеевич, говорили, что жизнь богаче самого смелого вымысла и совершенно непредсказуема.

– Я в том смысле, что к старости она настойчиво напоминает человеку о его детстве. Я знаю одного почтенного ученого... Он к своему восьмидесятилетию купил себе игрушечную железную дорогу, о которой мечтал ребенком. Утешился ли – другой вопрос. – Николай Сергеевич надсадно закашлял, перевел дыхание. – Лишь с возрастом, друзья мои, поймешь всю лотерейную уникальность жизни. А что, так прямо и Эрмитаж у Кияма Ахметовича?

– Ну нет, но... – Шаих взял альбом с золоченой надписью «Эрмитаж» и стал рассказывать о музее на Алмалы...

По живописи, архитектуре у Николая Сергеевича было обширное собрание. Помню, любил у него листать альбомы из серии, выпущенной в тридцатые годы тогда еще здравствовавшей Академией архитектуры СССР. С их помощью я совершал чудесные путешествия по Вене, Венеции, Риму, Версалю... Бесконечно любил Париж. Этот альбом я изучил до последней золотой пылинки проржавевших скрепок. Кажется, отправь меня в этот город городов, и я бы запросто смог работать там экскурсоводом для... советских туристов (несерьезное отношение к иностранному языку в школе не позволило бы, к сожалению, расширить круг обслуживания).

Николай Сергеевич превосходно знал всемирную архитектуру. Живопись, на мой взгляд, меньше. Но кто, как не он, помог нам впервые вдохнуть утреннюю прохладу и полуденный зной французских импрессионистов, горную чистоту пейзажей Рёриха-отца и Рёриха-сына (произносивших «Рерих») он деликатно поправлял: «Рёрих»). Однако в комнате, за исключением двух наших с Шаихом «шедевров» с фантастическими сюжетами, с космонавтами и ракетами, припиленными конторскими кнопками к книжным полкам, больше из «живописи» ничего не имелось. Своеобразное у Николая Сергеевича было отношение к красоте: страстное к ней тяготение и в то же время абсолютный аскетизм. В собственном житье-бытье он довольствовался голой лампочкой под потолком и газетными коврами на полу. Какая-то дисгармония в нем ощущалась. Например, как мне казалось, он не понимал музыки. Понимал, но не воспринимал как все. Я безуспешно пытался приобщить его к моим эстрадным кумирам, певшим большей частью на английском, но скоро понял: у него просто-напросто нет музыкального слуха, без которого, считал я, слушать музыку – все равно что в противогазе цветы

нюхать. Он лишь сочувственно переводил мне английские тексты песенок. Любую музыку по радио он выключал как мешающий работе шум, а песни ценил только за их слова. Он обожал «И на Марсе будут яблони цвести», а также «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды... Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут». Ему не нравилось «закурим», и он напевал: «Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у-ту-ту!..» Была еще пара песенок, которые он при особо праздничном настроении намурлыкивал на свой один неизменный лад. Тут он был похож на от отца-деда оставшийся «музыкальный ящик» с металлическими дырчатыми пластинками, меняй их не меняй, все одна монотонная мелодия.

Написав эти строки, я полез в свой архив и принялся разбирать тот уголок шкафа, где хранились оставшиеся от Николая Сергеевича папки с газетными вырезками, рукописями... Были среди них и папки, которые в свое время разобрать я не успел, в них хранились старые программки, афишки, билетки... Я думал, пересмотреть их никогда не поздно. И вот потянул за тесемку одной из папок – бантик распустился, и на меня глянули вензеля имен позабытых, но когда-то, видать, известных музыкантов, певцов, коллективов на пропахших древностью листах афиш и программ. Читаю: «Актовый зал Госуниверситета. Бетховенский цикл из пяти концертов. Все 32 сонаты исполняет Элинсон», «Программа концерта симфонического оркестра им.Осоавиахима. Исполняются произведения Бетховена, Глазунова, Гуно...», «Сергей Родамский – первый западный вокалист на советской сцене...», «Гастроли известной итальянской сопрано Марии Сальчи...»... И всюду на полях рукой Николая Сергеевича карандашные пометки, которые перерастают в рецензии, для которых полей и оборотов уж не хватает, появляются вкладыши. Выходит, музыка для него была не просто шумом.

Но разве, не имея слуха, можно понимать и любить музыкальное искусство? А разве нельзя, не умея, скажем, рисовать, самозабвенно любить живопись и отменно в ней разбираться?

Я задумался: это непонятное охлаждение к музыке, неприятие ее с возрастом... Какая-то здесь тайна. Вспомнился образ великого русского писателя, когда-то очарованного музыкой, а затем вдруг объявившего ее гипнозом и дурманом. Вряд ли существует однозначный ответ на человеческое перерождение. Говорят, через три десятка лет у человека полностью меняются все клетки, и он превращается в совершенно другого человека, лишь внешность прежняя. Возможно. Однако насчет данного случая я предполагаю так: на определенном витке жизни некоторые страстные поклонники музыки, когда у них есть еще свое основное творческое дело, от музыкального «дурмана» стараются освободиться. Слишком могущественны звуковые хитросплетения всего лишь, казалось бы, каких-то семи нот. И приходится выбирать: или под звуки вальсов и серенад топтаться в своем главном деле на одном месте, или, отменяя сладкозвучия, сохраняя душу неприкосновенной для искусственных, гипнотических подъемов и расслаблений, идти вперед. Николай Сергеевич выбрал второе.

– Интересно, интересно, – повторял Николай Сергеевич, слушая рассказ Шаиха о Кияме Ахметовиче Мухаметшине и его музее-квартире.

Шаих отвечал, что он также и о нем Кияму Ахметовичу рассказывал, и тот тоже повторял: «Интересно, интересно», только на своем родном языке.

– А что, Николай Сергеевич, я вас с ним познакомлю. Это будет очень «интересно, интересно».

Было далеко за полночь. После дневной жары в открытое окно наконец-то дохнуло свежестью. Я собрался домой, но тут обратил внимание на желтый саквояж, нахально выглядывавший из-под письменного стола. Почему нахально? Да потому, что в этой комнате мы с Шаихом с последним огрызком карандаша были знакомы. Но мы наивно ошибались. Вот целый саквояж из новиковских залежей появился и требовал почтительного внимания.

– Николай Сергеевич, что за чемодан?

– Где? А-а! Это... Это саквояж. Потерял его, думал, не найду больше. А вчера полез зачем-то в сундук и случайно обнаружил.

– А что в нем, клад?

– Коллекция открыток, – после некоторого молчания отозвался он. – Старая Казань... Посмотрите, еще мой дед собирал. И мне подарил.

Мы с Шаихом принялись дергать саквояж, ковырять блестящие замочки ключом, покоившимся тут же на ручке. Но замочки не поддавались.

– Не так, – подсадовал Николай Сергеевич, – нуте-ка... Очень просто ларчик открывается, очень просто.

Замочки в его руках молодо щелкнули, и клад открылся.

Да, в саквояже были открытки. На нас пахнуло с них старинным полуазиатским, полуевропейским городом, повеяло зноем его камня, прохладой рек, озер, каналов, оглушило перезвоном колоколен и переливчатыми песнопениями муэдзинов с бесчисленных мечетей Забулачья. Тускло поблескивающие, крепкие, открытки были в превосходном состоянии.

Шаих показал на одну из них:

– Таковую я видел у Саши Пичугина, сына вашего знакомого профессора.

– И он открытки собирает? – спросил Николай Сергеевич.
– Собирает. Как и у вас – Казань...
– И большая коллекция?
– Огромная.
– Любопытно... Ведь и Семен Пичугин, его отец, собирал... Его коллекция была крупнейшей в городе.

– Больше вашей? – спросил я.
– Больше. Но марок было побольше у меня.

Когда писатель создает своих героев, то для цельности образов отсекает все лишнее, оставляя бедняжек без многих родинок и родимых пятен, свойственных живым людям, дабы не отвлекать читателя от главного, гипертрофируя это главное до, как говорят литераторы, типа. Но жизнь, мы знаем, богаче любой литературы, и любой мелкий человечешка шире любого литературного образа. И Николай Сергеевич вдобавок ко всему прочему – астрономии, математике, физике, истории, научной фантастике, литературному творчеству, пушкиноведению и т.д. – как это все вместить под одну маску?! – был заядлым коллекционером. Собирал марки. А о том, что имел уникальную коллекцию открыток, мы узнали лишь в тот вечер.

Николай Сергеевич рассказал, что открытки коллекционировать его дед пристрастил, Федор Софронович Забродин, сын крестьянина Софрона Тимофеевича, того самого, который выкупился из крепостных пут, переселился из Владимирской губернии в торговое село Козловка на Волге и приобрел часть имения и дом у сыновей Николая Ивановича Лобачевского.

– Туда я впервые съездил в четырнадцатом году. Как сейчас помню, – усмехнулся Николай Сергеевич, – сижу у бабушки за столом в кресле Лобачевского и ораторствую перед смеющимися тетками о целебных свойствах ухи. Потом дед перебрался в Казань на Засыпкина, теперь улица Федосеевская. Оттуда в августе восемнадцатого года я и принес этот саквояж с открытками. – Николай Сергеевич насупил брови, какие-то далекие воспоминания коснулись его высокого чела.

Мы не раз слышали о Федоре Софроновиче Забродине, деде Николая Сергеевича по матери. Это он с маленьким Николенькой и плотником, мастером на все руки, Захаром Дерюгиным за один весенний месяц неистовой работы соорудил в Козловке на крыше сарая астрономическую вышку с вращающейся по толстому металлическому кольцу башенкой, в которой была установлена не то немецкая, не то французская труба с пятидесятичетырехмиллиметровым объективом, оставшаяся в доме якобы еще от самого Лобачевского. Насколько достоверно то, что труба унаследована от Лобачевского, Николай Сергеевич и сам не знал. Дед шутником был и мог присочинить. Уживались в нем странным образом, с одной стороны, богомол истовый, суевер, с другой – мужик-естествоиспытатель, выдумщик, предприниматель, хитрец. В тот год (1915-й) десятилетний Николенька гостил в Козловке из-за болезни дольше прошлогоднего – почти всю весну и лето. Волшебное то было для мальчика время, несмотря на болезнь, счастливое. Каждый вечер дед с внуком поднимались в свою обсерваторию и допоздна изучали звездное небо, чаще южное полушарие, более богатое разнообразными россыпями светил. Особенно пленяло величественно плывущее по небесному океану древнее созвездие Корабль Арго – Паруса, Киль, Корма, Компас (составные созвездия), все на месте у Корабля, и трюмы полны сокровищ – сонмы ярких, двойных, переменных звезд, туманности, скопления, – правда, не весь Корабль из Козловки виден, но книги, специально припасенные дедом, и юное воображение с лихвой дорисовывали сказочное созвездие. Доморощенные астрономы пропадали на вышке и днем, рассматривали пятна на Солнце или, сняв трубу со штатива и приладив как подзорную, устремлялись обостренным взором по руслу Волги вслед за каким-нибудь пароходиком. В то лето Николенька записал первые свои астрономические наблюдения. Они пополнялись в его специальной тетради почти ежедневно. Почти – это потому, что исследовательскую работу частенько прерывали облака и любознательные посетители, навевывавшиеся и днем и ночью и из их Козловки, и издалека, и даже с той стороны Волги. Деду это не очень нравилось – сглазят, говорил, а Николенька возражал ему, разъясняя, что время и обсерваторию жалеть тут грех, надо просвещать народ. Те огромные каникулы пролетели в Козловке как один день. В августе Николенька, окрепший на парном молоке и свежем деревенском воздухе, вернулся в Казань, нужно было готовиться к началу учебного года. А через пару неделек получил письмо от деда: «Таки сглазили ее. Спалило вышку вместе с трубой от молнии пожаром».

Вот такой дед был у Николая Сергеевича – Федор Софронович Забродин.

Теперь мы разглядывали открытки, собранные им и любимому внуку переданные.

– В восемнадцатом вы их принесли? – переспросил Шаих.

– В восемнадцатом, в августе, в первый день захвата Казани белочехами. Мне тогда было сколько? Да, тринадцать...

Шаих и я наострили уши, предвкушая захватывающий рассказ, но тут моего друга громко и сердито позвала мать. Не замедлила и моя присоединиться к соседке, и мы, огорченные, разошлись по

своим опочивальням. Мне было постелено на террасе – с братом, давно храпевшим, а Шаих спустился в сарай.

17. Желтый саквояж

Желтый саквояж с открытками златокудрый Николенька принес в дом на Алмалы на склоне дня после августовской ночи тысяча девятьсот восемнадцатого года, когда мятежные белочехи под тяжелым грозовым ливнем вошли в Казань.

В доме Забродина на Засыпкина от раскатов грома и артиллерийской пальбы весь вечер дребезжали окна и покачивались в комнатах люстры. Два снаряда разорвались поблизости, на берегу. На другой стороне, за мостом у городской мельницы, пылал амбар, бросая в черное влажное небо снопы искр. Николенька смотрел, как на потолке полуподвальной комнатки, в которой он был уложен спать, плясали красные зайчики. От окна на втором этаже его отогнали, домой непустили. Рядом сопел без сна дед.

Федор Софронович в Николеньке, внучке своем последнем, души не чаял. Своих детей недосуг было воспитывать, за ними, дочерью и сыном, смотрела их мать, Марья Никитична, царство ей небесное, а тут на обрыве жизни вдруг пробудилось безмерное чадолубие. Федор Софронович брал внука от родителей на различные выходные, летние и зимние вакации – и в Козловку, и позже на Засыпкина. Вот и в том году Николенька почти все лето, да и весну тоже, провел у деда, в его новом казанском доме, гулял вдоль реки, забредая далеко за Коровий мост. В степенных прогулках мальчика была странная, несоразмерная с возрастом серьезность. Он не играл с местной детворой в лапту, не скакал казаком-разбойником, был задумчив и часто, выводя что-то палочкой на песке, разговаривал сам с собой. Причиной замкнутости внука дед считал чересчур раннее приобщение к чтению. Книги – это хорошо, без книг человеку как без воздуха, но погрузиться в них с головой так рано, с четырех младенческих лет?! И все детство потом вместо забав, друзей – книги, книги, книги?.. «Сидишь точно замороженный, – пытался он встряхнуть Николеньку, – айда в городки сразимся!» Мог ли Федор Софронович предположить, что в «замороженном» внуке кипела ни много ни мало – революция. Да, да, в маленьком трепетном сердце, спозаранок освещенном Герценом, Джованьоли, Войнич, литературой о декабристах и народовольцах, Октябрь, подобно солнечной буре, всколыхнул мириады неведомых чувств. Уже с весны тысяча девятьсот семнадцатого, после февральских событий, Николенька Новиков ходил в каком-то сладком угаре. Неделями напролет в воздухе стоял колокольный звон, городские сады, стремительно скинувшие грязно-серые снежные мундиры, щекотали ноздри терпким ароматом набухающей жизни. Россия свободна, Россия без царя! «Поразительно, – шептал мальчик, – просто поразительно, что случайность рождения сделала меня современником величайшего события! Почему именно мне суждено увидеть то, о чем мечтая, сложили головы поколения борцов за свободу?» Но самое главное – в те пасхальные дни семнадцатого года в его руках оказалась тоненькая в голубой обложке брошюра «Принцип относительности» петербургского профессора физики О.Д.Хвольсона с популярным объяснением революционной теории Эйнштейна. Она потрясла мальчика. Свержение ряда традиционных научных доктрин, утверждение относительности пространства и времени, совершенно неожиданная аксиома максимальности скорости света – все это возбудило в нем одновременно и недоумение, и восторг. Годом позже ученик советской единой трудовой школы второй ступени Николенька Новиков запишет в анкете, которую распространит по классам преподаватель древнегреческой философии и психологии Николай Иванович Сотонин, старший брат Галины Сотониной, однокашницы Новикова, получившей впоследствии широкую известность художницы оригинальной шахматной темы. В скобках замечу: у нее была долгая и, думаю, счастливая судьба. А у него, ее брата... В тридцатом году одна за другой в местной газете появились статьи с недвусмысленными заголовками: «Конец сотонинщины», «Питательной среды для сотонинщины нет» и другими, не менее хлесткими, статьи, в которых разоблачался оппортунист, политический развратник и совратитель советской молодежи Сотонин. «Начал он, – писалось в одной заметке, – с организации безобидных литературно-эстетических кружков, а докатился до сравнения творчества писателей-эстетов с литературой рабочих-ударников, а также древнегреческой философии с учением Маркса, Ленина, Сталина...» После публичного избиения в газетах Сотонин был арестован и отправлен в Сибирь, откуда и после реабилитации не вернулся.

За каждой фамилией – судьба, достойная отдельной повести. Николай Сергеевич много рассказывал о Николае Ивановиче Сотонине, об этом удивительном, неординарно мыслящем философе, большом человеке, не лишенном, правда, и больших противоречий.

Так вот, на вопрос сотонинской анкеты: «Чему вы хотите посвятить свою жизнь?» Николенька ответит коротко: «Науке». Небезынтересен ответ и на другой вопрос: «Чего вы больше всего боитесь в вашей будущей жизни?» Ученик запишет: «Семейной жизни и старости». По его

разумению семейная жизнь была помехой независимому интеллектуальному развитию и научной работе. Что касается «старости», то здесь следует иметь в виду: жить Новиков предполагал только до тридцати лет, уверенный, что дальнейшее существование будет отягощено сплошными болезнями, и жизнь не сможет остаться полноценной и продуктивной. Эти ответы созрели еще в семнадцатом, а в восемнадцатом, не успев это записать, сердце тронула первая любовь, и появился первый цикл стихов. Цикл не цикл, но ученическая тетрадка заполнилась от корки до корки. И название вывелось на обложке: «Весна, революция, любовь».

Весна и лето восемнадцатого года промелькнули незаметно. В августе, в досталь нагостившись у дедушки, Николенька стал собираться домой на Алмалы. Но на улицах Казани уже гремела война.

– Спи шас же, спи, – с напускной сердитостью шикал дед на неугомонного внука, – там всю ночь гроыхать будет гроза-то!

– Не гроза, а артиллерия, что я, не понимаю?

Утихомирился Николенька лишь к полуночи, когда пушечная стрельба сменилась ружейной, а раскаты грома укатились за Волгу к Верхнему Услону. Федор Софронович ночь напролет поглядывал на маленькое оконце и поправлял на внуке одеяло.

– Отче наш, сущий на небесах, сохрани, господи, и помилуй раба твоего божьего Николеньку, – шептал он во тьме. – А ежели что, возьми мою душу, добропорядочного христианина Забродина Федора Софроновича, на меня опрокинь гнев свой праведный, ни минуты сомнений, только Николеньку моего сохрани, ненаглядного моего Николеньку Новикова сохрани и помилуй.

Утром Федор Софронович выглянул за ворота. Город словно вымер. Ни дворников, ни мастеровых, обычно в это время спешащих с низин Засыпкина на бугор центральной части города. Лишь в конце улицы тряслась по булыжнику мостовой крытая брезентом повозка. Она остановилась около свернувшегося калачиком на обочине человека, похожего на не добравшегося до дому выпивоху. Но мужика не водка свалила. Когда возница и еще двое с повозки – солдат и офицер в черном кителе, должно быть, каппелевец, – подняли его, голова бедняжки безжизненно откинулась, кепка слетела, обнажив разбитый, а может, пробитый осколком или пулей лысый затылок. Неподалеку от него Федор Софронович разглядел еще двух поверженных ночной «грозой». Но люди с повозки ими не заинтересовались, по всей видимости, знали, кто им нужен.

«Вон ведь что творится!» – Федор Софронович вернулся в дом с твердым намерением не отпускать внука, покуда в городе все порядком не образуется.

– До учебы еще есть время, – молвил он за завтраком, – куда торопиться? Погостишь недельку, а папу-маму я предупрежу, прям седня сгоняю. Тревожатся небось, и то верно.

И тетки – сестры Федора Софроновича в один голос заохали:

– Ох-ох, на улице страх божий что творится, не отпускай его, Федор. Нечего и говорить, никуда ни шагу, Николенька.

Не тут-то было. Всегда уступчивый Николенька запротестовал:

– Нет, нет, нет! Мне сегодня обязательно домой нужно. Я же говорил, мы с Таней и Семой еще когда договорились на седняшний день... за гербариями пойти... в парк... Не могу я слова не сдержать.

– Какие гербарии! – крикнул Федор Софронович. – Война на дворе!

– А хоть потоп. Ты же сам учил, что мужское слово выше любых обстоятельств.

– Но ведь должна же быть мера какая-то, Николенька, трезвая мера, нельзя же из-за былинки в огонь лезть.

– Так тихо на улице.

– Ти-и-ихо... Убитые кругом валяются. Соседка вон давеча заходила... Двоих, сказывает, на Поповой Горе за так живешь прямо в переулке кокнули. Указал кто-то пальцем: комиссары, мол, переодетые – и весь суд. – Федор Софронович отмерил богу крест, встал из-за стола, достал из шкапа сюртук. – За керосином схожу.

Николенька остался с тетками.

Ближе к полудню у артиллерийских казарм на Арском поле грохнули последние оружейные залпы. Еще трещали где-то одинокие ружья, а городской люд уже высыпал на улицы. Кабриолеты с нарядными и важными господами, стайки девиц в шляпках и бантах, безусые франты при галстуках-бабочках потянулись к Театральной площади, где, по слухам, должны были выступить лидеры новой власти особоуполномоченные Комуча – Фортунатов и Лебедев. Ожидался также парад частей «народной армии». По городу сновали возбужденные лавочники и попы, блистали погонами русские, чехословацкие, сербские офицеры, тащились к анатомическому театру университета и Арскому полю, на котором располагалось кладбище, санитарные повозки с трупами в сопровождении немногочисленных родственников и зевак. В полдень весело ударили городские колокола.

Федор Софронович сходил в керосиновую лавку скорей для разведки, чем за керосином. Внук встретил его в сенях и снова за свое: домой да домой.

– Одного не отпущу, – вышел из терпения Федор Софронович.

Николенька без лишних разговоров побежал в комнаты собираться.

– А куда открытки сложить? – спросил он о рождественском подарке деда, который Николенька уже полгода не мог заполучить домой. Находились разные причины. И теперь вот тоже дед:

– Николенька, ну обязательно сегодня, что ли?

Мальчик поднял полные горечи глаза, и Федор Софронович махнул рукой. Ему не жалко было своей коллекции. Он радовался, что внук продолжает его увлечение. Однако поймите душу коллекционера, передающего свое добро пусть и не в чужие, но все равно в другие руки.

– Возьми мой желтый саквояж, аккуратно поместятся.

Город встретил деда с внуком теплом и солнцем. От ночной грозы ни следа. Легкий ветерок разносил колокольный перезвон. В этой своеобразной спевке верховодили колокола Ивановской площади, им вторили голоса колоколен Большой Проломной, Воскресенской, Грузинской улиц, Суконной слободы...

– Не пасха, чай... Раздергались! – ворчал Федор Софронович.

Они поднимались по узкой улочке от реки в город. Николенька шагал держась за дедову руку с саквояжем и дивился несоответствию ночных ужасов, тревожных утренних толков доброму августовскому дню, полному мягкого предосеннего света и малиновых переливов колоколен. И люди, попадавшие навстречу, были красивы и праздничны.

У свечной лавки Хвостова дорогу им ни с того ни с сего преградили два русских офицера и миловидный господин в очках.

– Это он! – вдруг затараторил бабьим голосом господин в очках, тыча пальцем в грудь Федора Софроновича. – Он, он...

– В чем дело? – спросил тот удивленно. – Кого вы имеете в виду?

– Точно он, краснюк, морда жидовская! – окончательно взбесился очкарик. – Не успел сбежать! – Схватил Федора Софроновича за рукав сюртука. – Держите его!

– Вы меня с кем-то путаете. Я купец второй гильдии Забродин.

– Аха-а, купец! Так и поверили! Чем же это вы, таа-ваарищ купец, в таком разе в комиссарской лавочке купчевали?

– Не купчевал, а работал... в продотделе... бухгалтером...

Но его уже не слушали, отодрали от мальчика и затолкали в подкативший пароконный экипаж.

– Николенька!.. – что-то хотел сказать Федор Софронович и не смог: его ударили по голове, и он скрылся за гармошкой задника.

– Аа-а! – осклабился очкарик. – Николенька! А что у ты в саквояжике?

Когда старика схватили, саквояж, за который держался мальчик, остался в его руках.

– Открытки, – выдал из себя Николенька.

Один из офицеров, поручик, не говоря ни слова, вырвал саквояж, выхватил оттуда пачку открыток, швырнул веером в сторону, еще одну взял, опять бросил, выругался и кинул саквояж к подворотне. Николенька и рта не успел раскрыть, как поручик ожег лошадей плетью, и они, взяв с места в карьер, унесли экипаж.

Толпа любопытствующих со словами «Туда ему и дорога...», «К стенке бы его сразу...» неспешно разбрелась. До мальчика никому никакого дела.

Николенька не знал что делать. Добежал до переулка, где скрылся экипаж, но что толку, его и след простыл. Вернулся, как во сне, к подворотне и, задыхаясь от рыданий, опустился на колени над рассыпанными по мостовой дедушкиными открытками.

Домой на Алмалы Николенька добрался лишь к вечеру. Сперва спустился на Засыпкина. Но там ни души: тетки куда-то канули, дедушка не возвращался, понапрасну проторчал у ворот дома.

Узнав, в чем дело, отец, еще вчера сам работавший в том же продовольственном отделе уполномоченным по заготовке яиц, поспешил в комендатуру. Это был опрометчивый шаг, который мог стоить жизни. Дежурный русский офицер встретил посетителя по одежке – ласково, а выяснив, зачем тот пожаловал и кем собственно является, церемонно проводил в комнату, где его чуть ли не до полусмерти избил. Своего конца неосторожный уполномоченный избежал, как он позже рассказывал домочадцам, по великой случайности: его вытолкнули не в ту дверь, нет, наоборот, в ту единственную дверь, за которой был не двор с кровавой стенкой, поджидавшей очередную жертву, а тихий сад, обнесенный невысокой чугунной изгородью. Преодолеть ее человеку, почуявшему свободу, хоть и сильно побитому, большого труда не составляло.

А Федор Софронович так и не вернулся. И тела его не нашли, чтобы по-людски предать земле. Пропал человек, сгорел без следа. Лишь желтый саквояж его с открытками прибыл в дом на Алмалы, чтобы служить... Нет, не доброй памятью, а напоминанием о том страшном августовском дне. Может, потому-то и оставался десятки лет нетронутым.

Глава четвертая

18. Свадьба

Гайнан Фазлыгалимович ни в грош не ставил жизнь. Не чью-то конкретно и не свою лично, а вообще. Пусть она удачлива, но все одно, как ни крути, – временна, говорил он, и потому бессмысленна. Ни одно из жизненных достижений на якорь не поставишь, ни одной из заслуг от смерти не отгородишься. Лопаются жизни, как воздушные шарик. И голубые, и розовые лопаются.

Брюзгой он был. В то же время производил впечатление волевого человека. По крайней мере, первое время. А все эти разговорчики из него позже полезли.

В нашу жизнь он вошел пружинистой поступью бывалого человека, поскрипывая хромовыми сапогами, из голенищ которых били вразлет щегольские галифе.

Я говорил: Шаиху он сразу не понравился. Мне же, несмотря на его красную физиономию, – ничего, вроде мужик как мужик... На воображение подействовал низкий с металлом, прям-таки польробсоновский голос. Разговоры вел он неторопливо, душевно, а я представлял себе, как он рвет голосовые связки, силясь перекричать в бою вражескую канонаду, и с хрипом «ура!» поднимает бойцов в атаку.

С месяц поженухавшись, Гайнан сделал нашей соседке официальное предложение – торжественно, в присутствии Шаиха и моих матери с отцом.

Август в нашем краю – благодатная пора. Сады-огороды по-царски оплачивают каждую каплю пота своих тружеников. Большие семейные торжества у нас обычно подгадывались именно к этому времени.

Август того года не подкачал, выдался, как по заказу, плодородный, теплый, ведренный. Рашида-апа сказала, что свадьбу играть не собирается, а скромненько накроет стол для близких, и все.

– Пирог испеку, салаты нарежу. Чего еще для своих-то?

Но Рашида-апа была бы не Рашида-апа, если б не использовала прекрасный случай развернуться. Ну не вся улица, так половина у Шакировых в гостях побывала – это точно. Свадебничали с размахом. Я б не заметил, но мама, ложась спать, сказала отцу, что столько мяса она ни на одних торжествах не видела. «Он все, – ответил отец, – жених».

Жених на свадьбе был в ударе. Он и пел, и плясал, правда, не совсем умело, но от души. И анекдоты рассказывал, что у него получалось лучше, и с распростертыми объятиями встречал все новых и новых гостей. Он и Николая Сергеевича затащил, но тот посидел немного и скоро удалился – и стеснялся своей необщительности (ни петь, ни плясать, ни компанию поддержать), и не привык к праздному времяпрепровождению. Поздравил, пожелал счастья, чего еще надо?

Зато другие веселились. Кого только не было тут – и продавец из «керосинки», и завскладом гастронома, и управдом, и даже нелюдимая Милочка, соседка с первого этажа, содержавшая полсотни кошек (она всех их наперечет знала и, когда вечером какой-то не хватало, долго и жалобно кликала: «Мурка, Мурка... Барсик, Барсик...»). Шаих после зло шутил, что все на свадьбе побывали, вот только Милочкиных кошек не пригласили. Он это и матери сказал, а та ответила: «Будь спокоен, и кошек угостила, досталось им гостинца».

С удвоенным вниманием Гайнан обхаживал соседа, жившего через улицу напротив, участкового милиционера, лейтенанта Ханифа Хакимова. Они о чем-то жарко толковали, вернее, жених что-то настойчиво втолковывал бывшему балтийцу, но тот чего-то недопонимал. Ханиф был мировым парнем, он частенько катал нас, местных пацанов, с ветерком по Алмалы на своем двухцилиндровом «вороном» с коляской. Однажды после Первомайской демонстрации, когда еще не тронулся городской транспорт, он перевез нас, целую ораву, одной ездкой от Кольца к нам на гору (наша улица была на возвышенности). Я лично восседал на бензобаке и держался за руль. Остальные – кто как, уму непостижимо! Мне казалось, это я всех везу. Такое не забывается. Кстати, о том, что я чуть не утонул в мае, родителям он не накапал. И еще одна большая заслуга была у нашего участкового милиционера. В те годы, не совсем в те, когда свадьба происходила, пораньше, в пятидесятые, вышел какой-то указ, объявивший голубей врагами города – то ли, по чьему-то разумению, заразу они распространяли, то ли в результате необыкновенной прожорливости заготовку зерна срывали – не знаю, но голубятни повсеместно запрещали. За Шаихову наш лейтенант выговор схлопотал, но отстоял. Лишь лаву в другую сторону пришлось развернуть, чтоб с улицы в глаза не бросалась.

Ханиф пришел на свадьбу в штатском, но все равно к спиртному не притронулся, куда-то ехать надо было.

– К нам на прописку, Гайнан-абый?

– Так точно! – бойко отвечал Гайнан.

– А не будет тесно? – Ханиф расспрашивал теперь сам и с молодым аппетитом ловко – ни одной изюминки на скатерть – расправлялся с многоэтажным куском губадии. – А в загсе расписались?

– На днях распишемся, куда спешить.

– Летом-то ничего, Шаих в сарае живет.

– Ночует, – поправлял Гайнан.

Ханиф вспомнил прибаутку:

– «Что красный?» – «Жениться хочу». – «Что зеленый?» – «Женился!»

Оба смеялись, и Гайнан остроумно отвечал:

– Да-а... На войну и на женитьбу надо смело идти. Сам-то женат?

– А как же! Два бойца в тылу.

– Из ранних наш участковый, из ранних, – вступила в разговор Гульфия-апа, мать Киляли. С какого боку-припеку оказалась она тут? Со стороны жениха? Позже я узнал, с какого боку...

Скоро свадьба шумно выкатилась во двор. Щедро грело августовское солнце. Какие заботы на исходе лета? Да в выходной, да на свадьбе? Гуляй-пляши, только бы ноги не отнялись. Двор у нас раздольный был, лишь у сарая кустарник сирени да дуб посередине со столиком и лавочкой, где и пристроился гармонист. Подпер он спиной дуплястый ствол, тронул пуговицы Шаиховой гармошки и лихо развернул меха. Гости встрепенулись, просияли, пошли пляски, зазвенели песни, татарские, русские...

Все одно не свадьба то была. Ни жениха в черном, ни невесты в белоснежном. Сторонний человек и не понял бы, по какому поводу праздник. Но люди, гулявшие там, прекрасно все понимали. Они от души желали соседке, повидавшей в жизни мало чего хорошего, пусть приподнвившегося, пусть маленького, но счастья с новым на Алмалы человеком. Что ни говори, а муж в доме – это и печь тебе теплая, и ворота тесовые.

Не понимал всего этого лишь Шаих. В тот день с утра он умотал на рыбалку и вернулся поздно, когда погожий августовский день сменился черной, грозовой ночью.

В ту ночь я лег спать дома, а не на террасе. За окном сверкало и трещало, и я считал секунды между вспышками молний и раскатами грома – так нас учили определять, далеко ли гроза. Я лежал с братом на полу (чего нам – мужики, как-никак, сестра спала на диване, а мать с отцом – на кровати за шкафом), он тоже ворочался, и я шептал ему, что гром гремит сразу же за молнией, значит, мы в эпицентре грозы. Спи, умник, отвечал брат. Но мои опасения оказались не пустыми.

Застучал по подоконнику дождь, на дверях ворот звякнула щеколда, заскрипели литые петли, тренькнула, задев обо что-то, велосипедная педаль.

«Шаих вернулся», – определил я. И тут же страшная молния ослепила окна.

Мне показалось, что это и есть светопреставление, что от удара молнии земля раскололась, и из нее хлынула расплавленная сердцевина, о которой мы знали по урокам географии. В комнате воцарился полдень. Бомбой разорвался гром. Но вот толща тьмы застила глаза, и в воцарившейся тишине я услышал, как, падая, протяжно охнул всеми ветвями разом наш родной дуб.

Шаих в рубашке родился – он лежал на влажных ветвях поверженного исполина не то чтобы невредимый, но живой. Поломались удочки, у велосипеда свернуло раму в дугу... А у него лишь ссадина на щеке, рубаха порвана да велосипедным рулем прищемило ногу, и он не мог встать.

Из плена Шаиха высвободили мои отец с братом. Я тоже пособлял. Рядом с ножовкой и топором метался Гайнан. Тут же охала Рашида-апа.

На другой день, когда распиливали наш дуб на бесплатные дрова, мужики не переставали удивляться: и мальчишка живым остался, и пожара не было...

Дерево, раскинув ветви, как руки, заполнило двор, перекрыло, перегнувшись через забор, улицу. По могучему телу поваленного богатыря бегала малышня. От молнии ни следа.

Мужики работали шустро. Через два дня от кряжистого друга остался приземистый пенек.

19. Где же я вас видел?

Гайнан Фазлыгалимович освоился у нас быстро. Степенным видом, своим соборно-органным голосом он внушал окружающим доверие. К нему, мужику семейному, потянулся кое-кто и из молодежи. Я стал встречать его то с Килялей, то со Жбаном...

На стадионе «Трудовые резервы» он познакомился с Пичугой. Что их потом сблизило? Не футбол же. Хоть Гайнан и рассыпался в комплиментах в адрес «неудержимой десятки» (у Пичуги на футболке значился номер как у Пеле), было очевидно, что за душой болельщика кроется еще что-то. Очевидно...

Ничего тогда не было очевидно, кроме того, что с появлением Гайнана Шакировы зажили сытнее.

Новый папа Шаиха работал завскладом в цирке. Какие уж там оклады, какие пайки? Но свежая говядина теперь ежедневно ворочалась в кастрюлях соседки, разнося по этажу редкие для той нашей общей кухни аппетитные пары.

На глазах преобразилась и сама Рашида-апа, стала еще словоохотливей, вместе с тем поласковей, помягче и даже обликом немного, что ли, поавантажней. Она устроилась на новую работу – продавцом в продовольственный магазин. Он устроил, Гайнан. От этого, однако, не загордилась, так же угощала

весь этаж эчпочмаками, которые получались уже помястее и, честное слово, порумяней. И у самой, замороженной вечным безденежьем и болезнями, кроме одежды новой, появился на щеках живой цвет. Она радовалась неожиданному повороту судьбы и не придавала значения бойкоту сына, который перестал вдруг играть по утрам на гармошке и с первых же дней после свадьбы отказался есть мясо, приготовленное из кусков, что почти ежедневно притаскивал отчим с работы. Она знала упрямство сына, но хорошо знала и скрытую под внешней отчужденностью любовь к ней, своей больной матери. Все верно, думала она, кому приятен новый хозяин в доме, новый отец, отчим, но время возьмет свое, притрутся мужички.

– Съешь кусочек, – уговаривала она сына, – не готовить же тебе отдельно.

– И не упрашивай, – отвечал Шаих, – это мясо для львов и тигров.

– Какая разница, говяжье ведь! Высший сорт.

– Не говяжье, а краденое.

– Смотри, какие кусочки, – восхищалась мать, – лучше, чем в магазине или даже на базаре.

– Вот, вот!.. – бросал в сердцах Шаих и убежал к себе на голубятню.

Рашида-апа кричала вслед:

– Не краденое это, а паяк.

Не раз при таких разговорах появлялся Гайнан Фазлыгалямич и шикал на жену:

– Тише ты, чё орешь на всю богадельню!

– Так ведь не ест...

– Проголодается – прибежит.

Но Шаих не возвращался. Помидоров, огурцов, картошки в ту пору было в достатке. А потом Рашида-апа приспособилась – стала на «базаре» покупать мясо, которое за углом ей передавал все тот же добродетель.

Надо сказать, «паяк» Гайнан получал львиный. Он мог позволить себе помогать кой-кому из знакомых. Моя мать пару раз покупала у него на пельмени. Но однажды ночью у нее с отцом состоялся в их «кабинете» за шкафом серьезный разговор, и ей пришлось от услуг отзывчивого соседа отказаться. Отец недолго любил его. К тому же он был безумно ревнив. Тогда мне показалось, это и было основной причиной разговора.

Зачастил с кошелкой к нам в дом Киляля. Первое время он встречался с Гайнаном прямо в закутке кухни. Ближе к осени место деловых встреч было перенесено в сарай, который, как ни противился Шаих, перестал быть его личной резиденцией. Теперь частенько можно было слышать, как там постукивает топор, и видеть, как ухмыляющийся Киляля тащит через двор тяжелую кошелку. Иногда и мать его, Гульфия-апа, приходила.

Равнодушным к мясу оставался один Николай Сергеевич. Он питался концентратами, значительно экономившими время, которого ему всегда не хватало.

Не одним, так другим достал ученого соседа Гайнан. Разговорами. Зачастил он к нему в конце сентября. До этого завскладу цирка одинокий сосед был неинтересен, да и просто некогда было: осваивался в новом доме, обживался, осматривался... А осмотрелся – и оказалось, что забавнее Николая Сергеевича нет на свете чудака.

Когда познакомились, Гайнан сказал, чтобы его просто Геной звали, а то имя-отчество его нелегко произносятся.

– Отчего же, – ответил Николай Сергеевич, – можем ведь выговорить Джавахарлал Неру, сможем и Гайнан Фазлыгалямич.

– Ну вы, конечно, человек ученый, – хмыкнул Гайнан.

«Военного майора» нельзя было назвать образованным. Но своя философия у него имела. Разглагольствуя о жизни, он любил произносить невесть откуда почерпнутые изречения великих людей, большей частью полководцев, среди которых чаще всего поминалось имя Наполеона. Порой он удивлял... Не умом, а какой-то изворотливостью ума. Позже выяснилось: высказывания великих, цитируя, он путал, слова одних приписывал другим, а то и сам придумывал. Когда чувствовал, что сумел блеснуть или поставить собеседника в тупик, то неизменно повторял: «Ум маленький, но свой». Или: «Главное – интуиция, а не эрудиция. Эрудитом и попугай может быть». Последняя фраза предназначалась Николаю Сергеевичу, а также всем «шибко грамотным».

Однажды в приподнятом, «философском» настроении Гайнан спросил:

– Как вы, Николай Сергеевич, живете один, не понимаю? Скучно же. Ни друзей, ни подруг...

– Друзей у меня достаточно, – живо откликнулся Николай Сергеевич, подняв глаза на книги.

– Ну-у, это... Это суррогат.

– Это жизнь, – возразил Николай Сергеевич.

– Суррогат, жалкие подделки. Что может быть прекраснее настоящих жизненных сюжетов! Вот у меня чего только не было, в каких только переделках я не побывал, ни у одного писателя фантазии не хватит. Кто бы взял да описал мои похождения, мастер какой-нибудь крупный взялся б, а-а!.. Такой

романище может получиться, такая эпопея – почище «Графа Монте-Кристо».

Николай Сергеевич полулежа работал, в руках карандаш, рукопись. Он мог выполнять несколько дел одновременно. Но тут отложил бумаги на грудь, заткнул карандаш за ухо...

– Гм-м, безусловно, есть люди большой судьбы, вот как вы, фронтовики, влияющие на ход истории, действенные. А есть люди, эти действия анализирующие и даже предсказывающие. И они не менее нужны, каждый, своему народу, чем, скажем, мозг каждому человеку.

– Ученые?

– Необязательно. Часто вперёдсмотрящими бывают и поэты.

Гайнан поморщился.

От Николая Сергеевича это не ускользнуло. Он вскинул руку с карандашом и нараспев продекламировал:

Нам казалось, мы кратко блуждали.

Нет, мы прожили долгие жизни.

Возвратились – и нас не узнали

И не встретили в милой отчизне.

Опустил руку, перевел дыхание:

– Блок... Александр Блок. В этих стихах он, знаете ли, за год до опубликования теории относительности точно передал ее основной парадокс. А Велимир Хлебников, учившийся, кстати, у нас в университете, еще в тринадцатом году предсказал с точностью до месяца Октябрьскую революцию. Книжки... Это же люди, это галактики. Почему Эйнштейн говорил, что Достоевский дает ему больше, чем Гаусс? Потому что оба они, и ученый, и писатель, певцы неевклидова мира, этой парадоксальной гармонии бытия. Оба. Но великого физика вдохновлял литератор, сочинитель...

– А кто такой Гаусс?

– Ученый. Математик, астроном...

– А неевклидов мир?

– Это, это... Видите ли, геометрические соотношения в искривленном пространстве изменяются...

– Темный лес!

– Ну почему темный лес?

– Вы конкретно, конкретно, на пальцах объясните.

– Конкретно? Например: пересекаются параллельные линии.

– Параллельные... и пересекаются? Абракадабра!

Николай Сергеевич спустился с кушетки, посмотрел в окно. Сентябрьский вечер обнял мглой полуголый сад – урожай собран, лишь на одной разлапистой яблоне белели тяжелые плоды.

– Антоновка... – тихо произнес Николай Сергеевич. И уж громче: – Вот и Иван Карамазов у Достоевского категоричен: пусть даже параллельные линии сойдутся, и я это сам увижу – увижу и скажу, что сошлись, а все равно не приму. Однако он говорит братцу Алеше: я убежден, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как атом человеческого евклидовского ума, что наконец в мировом финале, в момент высшей гармонии, явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца.

– Коммунизм, что ли, явится?

– Подумайте. Нам всем надо подумать.

– Я же не Эйнштейн, чего мне... Да и не понимаю я, как это порешить старуху и не взять того, ради чего усердствовал? Нелогично это, хе-хе, за сферой моего евклидовского пространства.

– И Достоевский, и Эйнштейн – гениальные экспериментаторы, лишь с той разницей, что один экспериментировал в науке, а другой на своих героях, на их жизнях, в которые, ей-богу, веришь больше, чем, может быть, в свою настоящую.

– Тут не в гениальных писателях дело, а в нас самих. Ведь вашу, Николай Сергеевич, затворническую жизнь среди бумажных галактик и книжных героев, простите меня за мою постоянную откровенность, трудно назвать в полном смысле слова настоящей. От жизни... от фарватера жизни вы, поверьте мне, на огромном расстоянии. – Гайнан сочувственно оглянул стеллажи с книгами и, вздохнув, резюмировал: – Тишина у вас здесь, о-хо-хо, тишина и скука.

– Дорогой Гайнан Фазлыгалимович, вы напрасно переживаете, мне моя жизнь ничуть не скучнее, чем вам ваша, героическая и достойная всяческого уважения. Мысль создает собственный фарватер, собственную жизнь.

– Мысль, говорите, создает жизнь... Фантазия, по-вашему, верховодит реальностью? Фантазия – это страус, спрятавший свою голову в песок. Вы не чувствуете себя эгоистом в своем фантастическом мире? Живете в свое удовольствие. Читаете, пишете, фантазируете, о марсианах мечтаете, которые когда-нибудь преобразуют наше убогое земное существование. А сами-то, что сами? Ни ближнему – реальному человеку, а не человечеству! – себя посвятить, ни ребенка вырастить, ни деревца...

Хочешь – спи, хочешь что... И на работу один раз в неделю. Благодать, фантастика!

– Но я дома работаю. Вот здесь, сейчас... Так установлено. Я осуществляю задание обсерватории. Я п-почти не сплю. Три-четыре часа в сутки...

Николай Сергеевич разволновался, но не обиделся на несведущего человека. Всего не объяснишь. Лишь полгода назад у него в помощниках было полдюжины лаборанток, два опытных специалиста, но из-за необъятности тему пытались законсервировать, а затем ограничились переводом всего отдела на другой участок. Руководитель остался в одиночестве, у подножия горы, вершина которой, по словам коллег, упирается за облаками в звезды. Но и тем доволен.

– Три-четыре часа в сутки... В конце концов я и на дорогу время не трачу.

В дверь постучали.

– Можна-а?

Шурша супермодным белым плащом, вошел Киям Ахметович Мухаметшин. Шаих познакомил его с Николаем Сергеевичем в начале лета, и с тех пор бывший артист навещал ученого.

С отчимом Шаиха Киям Ахметович еще не был знаком. И когда Николай Сергеевич представил их друг другу, бывший артист, кавалерист, инвалид проговорил после паузы, заполненной тревожным постукиванием яблоневой ветки в окно:

– Мне кажется, я вас где-то видел.

Гайнан ухмыльнулся:

– Если вы бывший циркач, то и я же цирковой работник. А наш брат друг друга должен знать.

– Кстати, Гайнан Фазлыгалимович тоже фронтовик, – радостно проинформировал Николай Сергеевич.

– На каком фронте воевали?

– У-у! Где я только, Киям-абый, не дрался! Куда только судьба меня не кидала и что только со мной не вытворяла! Хлебнул, хлебнул... – Гайнан завертел в жестких пальцах гильзу «казбечины». – Кирзовым сапогом хлебнул. Сперва с запада на восток топали, после с востока на запад. Досталось... А вы где воевали?

– В Смоленской области воевал, под Москвой воевал...

– А-а, нет, вот только там-то я, можно сказать, и не был.

– И все-таки где же я вас видел?

– Вот, – вставил Николай Сергеевич, – Гайнан Фазлыгалимович утверждает, что книги – это суррогат.

– У меня внук то же самое говорит. Говорит: ну что твои картины? Ну что Левитан, Айвазовский, Урманче? Лучше любоваться настоящими лесами, настоящими морями, живыми людьми... Нет, я вас точно где-то видел!..

Киям-абый еще долго сидел у Николая Сергеевича, а Гайнан не задержался:

– Не буду мешать, не буду мешать... Три человека – уже не беседа.

«Где он меня мог видеть?» – выйдя во двор и закурив, профорсировал свою память Гайнан и не вспомнил.

20. Дезертир

Жизнью своей Гайнан Фазлыгалимович Субаев не дорожил. Во всяком случае, говаривал так. В дискуссиях с ученым соседом он к месту и не к месту повторял смачно:

– Жизнь, глубокоуважаемый Николай Сергеевич, копейка... Жизнь, дорогой вы мой, – это всего лишь борьба с ее бессмысленностью.

Однажды Николай Сергеевич недоуменно возразил:

– А как же вы на фронте?..

– Чепуха! – ответил бывший «военный майор». – Игра!.. Игра взрослых мужиков, чтобы не думать о никчемности всего. Вот мне два года назад операцию сделали. Язва. Полжелудка отхватили. Я сутки потом проснуться не мог... от наркоза. А очухался, так, знаете, о чем первым делом подумал? Опять жить, опять эта тягомотина на пути к смерти! Лучше уж не просыпаться было. Какая разница, годом раньше ноги протянешь, годом позже. Ведь потом, после смерти-то, до фени все будет. Нигде не зачтется. Фатеру тебе там за выслугу лет фенешбельнее не предоставят.

– Фешенебельнее, – деликатно поправил Николай Сергеевич.

– Хоть и так, все равно не достанется. Если бог с аллахом есть на свете, то это самые изощренные садисты. Вытащат человека на белый свет, ткнут носом: вот как жизнь сладка, отведай... И опять его в тьму, в мешок. Я не боюсь смерти. Где были, туда и вернемся. Хуже не будет.

Так считал Гайнан Фазлыгалимович Субаев.

Но не так он считал двадцать лет тому назад, когда началась война и когда его фамилия была

Аширов, а имя – Бослюд (расшифровывается: бытие определяет сознание людей, но сам он такой наполненности своего имени не знал, доказывая, что отец назвал его, родившегося в семнадцатом году, в честь босого люда).

Получив в июне сорок первого мобилизационную повестку, Бослюд Аширов решил: в священной войне Красная Армия победит как-нибудь без его помощи, порвал повестку и в тот же день укатил из родной Аксеновки, что в Пензенской области, в Ступино, маленький городок в девяти километрах от Каширы и девяносто девяти от Москвы. В Ступине у него жил дядя, у которого и гостить приходилось, и поработать малость – дядя был начальником. Крупным начальником местного значения.

Аширову минуло тогда двадцать четыре года. Позади семь классов образования, трехгодичная совпартшкола, учительство в сельской школе. К тому времени он уже нажил двоих сыновей, но жену имел еще только первую.

С дядиной ли помощью, с божьей ли – Аширов легко устроился учетчиком-нормировщиком в местный совхоз, а затем экспедитором в отдел рабочего снабжения. Работа не бей лежачего. И с жильем дядюшка подсобил – прописал у бывшего сослуживца, бухгалтера, полуслепого Игнатия Сильвестровича. Комнатка получердачная, зато почти с круговым обзором и отдельным выходом. Живи, как говорится, размножайся. Однако лафа скоро оказалась под угрозой: Государственный комитет обороны объявил перекомиссовку всех инвалидов возрастом до пятидесяти лет. Аширов был здоров, как племенной бык, и душу его грела вчетверо сложенная в нагрудном кармане пиджачка медицинская справка о туберкулезе легких, которую он раздобыл здесь же, в Ступине. Но она, несмотря на все авторитетные печати, с последним указом Госкома обороны превращалась в филькину грамоту. Аширов помчался к всемогущему дяде – тот в командировке.

Было отчего впасть в отчаяние.

Уткнувшись сокрутовым лбом в стекло веерообразного окна, Аширов озирает округу и думал: что за дыра это Ступино, вроде столица рядом, а не приведи господь здесь увязнуть. Только что он выпил стакан самогонки. Желанный хмель не брал. У него и водочка имелась, две поллитровки, но это «энзэ», мало ли какие проблемы придется решать. Аширов знал ее хитрую силу в толчее людских взаимоотношений и сравнивал с живой водой: плесни на мертвое дело (дело – не тело), и оно зашевелится.

Вечерело. Сумеречно было и на душе. Аширов с презрением наблюдал, как к дому приближался мелкими шажками слепца хозяин дома. Вспомнилось, что тот собирался с утра в Каширу на перекомиссовку. Аширова точно кипятком ошпарило – как же он раньше недопетрил?! Схватил бутылку самогонки, нет, не то, тут водка нужна, она самая. К поллитровке прихватил шматок сала, банку тушеной капусты и припустил по лестнице вниз.

– Игнатий Сильвестрыч, здарсьте! Ну, что Кашира? Не уличила в симуляции?

– А то как же! Замка-то на двери не вижу. Помогите. – Хозяин поднял на постояльца огромные под lupовидными очками глаза и протянул ключ.

– Это мы могём. – Аширов мигом отцепил подвесной замок. – А я думаю, намаялся мой хозяйюшко по военным комиссиям, изголодался, как волк, а дома-то, скажите, кто холостяка с горячими шами дожидается?! Прихватил я тут кое-чё... Да и самому не скучно будет в компании посумерничать.

Игнатий Сильвестрович захмелел после первого же стакана, который заглотив одним махом.

– Ого! – воскликнул молодой постоялец, с уважением глянув на хозяина, когда тот с треском поставил пустой стакан на старенький столик. – Я так лихо не могу. – Аширов глотнул пару раз, сморщился и, не переведя духа, сунул в рот капусты. – Угощайтесь, Игнатий Сильвестрович, вот сальцо, эх, как оно после водочки-то! А-а?!

– Сальцо, сальцо... Я им: где-нибудь во втором эшелоне сгожусь, может, а они: вам бы, папаша, с вашим зрением до дому добраться. – Игнатий Сильвестрович сплюнул пережеванную кожурку сала на пол. – Вот новые очки в Кашире приобрел. Случайно. Но получше моих прежних.

– Можно посмотреть?

– На. – Он скинул их с носа, будто какую-то обрыдлую тяжесть, и слепо нашарил на столе новую дольку сала.

Аширов нацепил очки.

– Ни шиша не вижу.

– То-то! – Игнатий Сильвестрович поднялся с табурета и, вытянув руки, прошаркал к пиджаку на гвозде за дверью, достал папиросы, закурил. – Пять лет назад на картошке в деревне опрокинулся в подпол... С тех пор сколько?... И вот... Сперва вроде близорукость – чепуха... А теперь почти не вижу. Ты передо мной – пятно и только. Плесни-ка еще.

Аширов вернул очки, наполнил стакан, добавив из своего.

– Ты знаешь, как я стрелял? – пьяно всхлипнул Игнатий Сильвестрович. – Ва-арашиловский стрело-ок я-я, понимаешь?! А-а, да что теперь!.. – И опять разом выпил.

– Вам дали в Кашире какую-нибудь бумаженцию... справку, что ли, отпускную?

– Со всеми печатями. Комиссован подчистую. Во-о... С этой бумажкой послезавтра и оформят белый билет. – Он вытащил из заднего кармана брюк бумажник, безошибочно извлек оттуда аккуратно сложенный листок, развернул, не разобрал медицинских каракулей и бросил на стол. Аширов подхватил листок:

– Да, печати красивые. Кто их шлепает?

– Сержант в юбке, регистраторша... После заключения глазника.

– А как он проверяет, глазник этот?

– Да никак. Чего проверять-то, когда я иду и сослепу стулья сшибаю. О-хо-хо... – Игнатий Сильвестрович погрузил голову в ладони, очки соскользнули на стол... По комнате разлился тяжелый, булькающий храп.

Пополудни следующего дня из каширской неполной средней школы, где располагалась медицинская комиссия, вышел, постукивая тростью по ступеням, сутуловатый мужчина в луповидных очках. Был он далеко не стар, но слепота сковывала его движения, укорачивала шаг, придавая статной фигуре нерешительность и вызывая к человеку жалость. Ему помогли перейти дорогу, объяснили, как куда добраться, но он еще долго семенил, спотыкаясь, по тротуарам незнакомого города.

Это был Бослюд Аширов.

Час назад, полураздетый, он светил молодым, здоровым телом, переходя из комнаты в комнату, от врача к врачу. Его и так и эдак вертели, простукивали, прослушивали... В свою очередь и он прислушивался, присматривался... И после окулиста, где у «молодца» было признано «сто процентное зрение», подскокил с фальшивым заключением, которое с фотографической точностью срисовал вечером у пьяного Игнатия Сильвестровича, к регистратурному столику, на ходу цепляя дужки тяжелых очков за уши, слепо ткнулся в грудь сержанта в юбке, и та приложила печати к поддельному документу.

Потом на радостях-то разыгрался, аж поводыри на улице нашлись.

Тогда он сделал для себя очень важный вывод: симуляция симуляцией, но никакое другое ухищрение не имеет такой силы, как подделка документов, – на Руси нынче не кресту святому молятся, а бумажке с печатью.

В Ступино вернулся на закате дня. Игнатий Сильвестрович сокрушался по утерянными очкам.

– Новенькие ведь совсем! – ползал он под столом. – И куда их вчерась подевал?

– Так вот же они, на комодке лежат, за зеркалом, – рассмеялся Аширов, вытаскивая очки из кармана, – небось припрятали с вечера, а утром запаматовали.

– Вот спасибо! Я ж без них, как... как...

– Это уж точно: ка-ка... – Аширов взял ковш, зачерпнул воды из ведра, отхлебнул. – Тьфу, зараза, теплая! – И пошел к себе наверх.

К осени дворы в Ступине оставались без хозяев целыми кварталами. Эвакуация. Люди потянулись на восток.

Еще с неделю проторчав у Сильвестрыча на чердаке, Аширов перебрался на окраину города в брошенную насыпушку у глухого оврага. В кармане «белый билет», с работой завязал, ждал дядюшку из командировки в надежде на прояснение обстановки (газетам и радио не верил), но тот как в воду канул.

Из томительного безделья его вывело знакомство со старшиной хоззвода, пытавшимся в базарной толчее – откуда только народ берется?! – сбить брезентовые сапоги. Аширов купил их и пригласил старшину к себе в насыпушку обмыть попку. Тот не отказался. За бутылкой водки быстро нашли общий язык. Гость обмолвился, кивнув на сапоги, что товару у него полно, да вот кому и как его толкнуть?

– Товар есть – покупатель найдется, – заверил Аширов.

За второй бутылкой (уже самогонки) ударили по рукам: старшина брался поставлять шмотки – поношенные гимнастерки, бельишко, кое-что из штатского (мобилизация шла полным ходом, а на войну люди из дому не голыми отправлялись), Аширов же обязался сбывать барахло.

У Аширова были еще довоенные сбережения. По сходной цене он приобрел клячу с телегой – предстоящее дело, по его наметкам, выгорало и упускать момент было бы глупо.

Кооператив зафункционировал. Старшина, как и договорились, появлялся в условленном месте по четвергам, после банного дня в части. Потом заявлялся, уж и не таясь, прямо домой, кидал мешок с «товаром» в ящик из-под картофеля в сенцах и, не дожидаясь компаньона, уматывал.

Торговал Аширов не в городе, а выезжал на своем гужевом транспорте в ближние села. В одно и то же место дважды не навещался. Барыш сшибал приличный, не гнушался обменом на самогонку, жратву – какие в те годы у крестьянина деньги! Но все равно перепадало. Крохами делился со старшиной, поругивая его за безалаберность, тот как-то даже солдата с собой прихватил – одному, видите ли, тяжело мешок тащить.

Однажды, хмурым октябрьским вечером, когда Аширов вернулся из очередной ездки, только только распряг конягу и ввалился усталый в дом, у ворот взвизгнули тормоза. «ЗИС», определил Аширов, глянул в окошко и обомлел: из кабины грузовика выпрыгнул старлей в фуражке с ремешком через подбородок, с кузова соскочили солдаты с винтовками, из-за спин которых вдруг выплыл расхристаный старшина-компаньон, без ремня, без пилотки, волосенки всклочены...

– М-м, паскуда, продал! – сглотнул пересохшей глоткой Аширов и вылетел из дому, перемахнул через полуповаленную городьбу – и в овраг.

Ничего с собой не прихватил. И подумать-то о том не успел. Гол как сокол выпорхнул, но ведь выпорхнул. Жалко было лишь наган с тремя патронами в барабане, приобретенный в пыльной деревушке у старичка в обмен на задрипанные валенки. Кому-то наганчик достанется, кто-то вытащит его из-под матраца, развернет тряпицу...

Аширов и сам не знал, когда у него появилась тяга к огнестрельному оружию, может, с тех пор, как подержал в руках при сдаче норм БГТО трехлинейку, а может быть, еще раньше, когда пальнул по воронам из самопала соседа Генки Сорвиголовой и обжег себе руку. Конечно, ни в старлея, ни в солдат стрелять не собирался. Но все равно жизнь с «пушкой» – это жизнь! Не хочу, не хочу, а вот захочу – да и пристрелю.

Солдаты громыхнули под поветью тяжелыми оглоблями, постояли немного, всматриваясь в мрак овражины, поросшей американским кленом и бузиной...

– Хоть глаза выколи...

– Ну его к праху!

Все-таки полезли. Но один тут же охнул:

– Нога-а!

– Сломал, что ли?

– Кто ее знает!

– Ни черта не видно, раньше надо было выезжать.

С тем и отступили.

Под покровом слепой осенней ночи, замирая и прислушиваясь, нет ли засады, Аширов выбрался из оврага на противоположном его конце и двинул из Ступина вон.

21. Сладкая жизнь

Летит перекасти-поле, прыгая из города в город, из села в село, меняя фамилии, удостоверения личности, пристанища, кормушки, женщин-простушек, которые в войну сделались еще доверчивее, летит, и ветер дует ему лишь в одном направлении – на восток. Когда Аширова прибило к Казани, был уже на исходе третий год войны.

Чирикало встряхнувшимися воробьями мартовское утро. Солнце пылало в каждом зернышке прихваченного ночным морозцем снега. Аширов семенил по хрусткому ледку, разглядывая дома, закоулки, людей этого незнакомого, но, как он считал, родного города, некогда столицы могущественного ханства. Ведь и он, Бослюд Аширов, ее кровинушка. Пусть вдалеке билась-текла его жизнь, пусть и вылупился он бог знает где, но Ашировы – аллах тому свидетель! – всегда страдали, тосковали по родине-праматери, всегда мечтали о переезде сюда. Здесь и родственники жили – двоюродный брат отца, какая-то тетка... Да что дядя-тетка, поди сыщи их здесь! Казань... Ка-за-а-ань! Чего стоит один ее воздух, насыщенный непокорным духом далеких предков! «Нет, – думал Аширов, – все дела потом, успею, придумаю что-нибудь, обязательно зацеплюсь, пушу на родной земле корни, хватит метаться, но первым делом пробраться в кремль, поклониться памятнику легендарной царице Сююмбике. Башня эта, говорят, падающая... Отец рассказывал: когда войска Ивана Грозного взяли крепость, прекрасная царица взобралась под самый купол самой высокой башни и бросилась с нее. Погибла, а не сдалась врагу, во как! И башня по сю пору носит ее имя. Нет, первым делом в кремль, в кремль...»

Аширов, прихрамывая, пробирался по склизкой улице окраинного района Биш-Балта. С товарняка он спрыгнул не доезжая до города нескольких километров. Состав плюхал в час по чайной ложке, но все равно на ходу сигануть – это не на перрон сойти. Зашиб-таки колено, налетел в сугробе под откосом на шпалу.

У колонки, заплывшей почти до носа льдом, цепляла коромыслом ведра бабенка в калошах на босу ногу, в солдатской телогрейке по колени и опавшем на глаза, выгоревшем непонятного цвета платке. Аширов притормозил:

– Привет, бабуся!

– Какая я тебе бабуся! – звонко огрызнулась женщина, выпрямляясь под коромыслом.

Наметанным глазом Аширов и без ее подсказки еще издали узрел, что по воду вышла молодуха, но

у него были свои соображения.

– Пардон, красавица, обмишурился. Жажда глаза затмила, дай напиток.

– Не из ведра же.

– А что? Я не заразный.

– Так ведь как лед вода-то!

– Сама поберегись, – кивнул на голые икры Аширов, – простудишься и мужа не дождешься.

– Не твоя забота.

– Не моя-то не моя, но нашего служилого брата. Поголовно бобылями оставите, будет дело.

– Служилый нашелся! – смерила молодуха незнакомца взглядом.

– Ты не смотри, что я в пальто драповом, уж больше года, как по госпиталям бомбой фашистской командирован. Не в такие одежи выражался. Дашь напиток-то?

– Пошли, по-человечески уж...

– О! Совсем другой компот! Окажемте-ка помощь представителям трудового фронта, поспособствуем солдатушке любезной. – Аширов переложил коромысло с ведрами на свое плечо. – Из Свердловска еду, из госпиталя. Можно сказать, сбежал оттуда, мочи не осталось боками матрацы тыловые сушить. Мои друзья на поле боя кровь мешками проливают, а я... Нет, хватит.

– Простите великодушно! – Молодуха пропустила фронтовика вперед. – Но и вы тоже... Коль на плечах солдатская телогрейка, то обязательно солдатка? – Про «бабусю» не вспомнила. – Поосторожней, скользко, – предостерегла совсем уж миролюбиво и на излучине тропы махнула длинным рукавом телогрейки: – Вон ворота мои, вон те...

– С распахнутой дверцей?

– Не распахнута она – ее вовсе нет. Намедни утречком вышла, гляжу, как ветром слизнуло. Кому спонадобилась, зачем? Вот каково женщине, у которой мужа... – Она не договорила, прикрыла рот платком, кашлянула.

– Заявила?

– Чего?

– Заявила куда следует про дверь-то, спрашиваю?

– Людей смешить? Война идет, а я с этим... диверсанты дверь уволокли!

Аширов вошел во двор, заваленный снегом, глянул на блестящие змейки, протянувшиеся к сарайчику и покошенному сортиру, и сказал себе: «Тут я и зацеплюсь». А вслух произнес жалеючи:

– Да, хозяйюшка, мужским духом у ты тут не пахнет.

– Откель ему, духу-то этому, взяться! Брат с отцом еще в сорок первом похоронками отприветствовались...

– А муж?

– А-а!.. – был ее ответ, который как нельзя лучше сказал Аширову: «Все нормально, старик, будь как дома, ты не ошибся – судьба твоя сообщница, а сам ты прекрасен и неотразим».

– Как тебя звать-то, красавица?

– А ты?

– Меня – Иван Петров.

Хозяйка вытащила из рукава ключ, отомкнула сенную дверь:

– Проходите...

Эх, Россия-матушка, легковерная и сердобольная, воду на тебе возить, и только! Марийка, святая простота, с наивностью ребенка поверила в пораненного фронтовика Ивана Петрова, как тремя годами раньше, в самом начале войны, с тою же легкостью приняла за истину сиповатое заявление чекиста в доме на Черном озере, где находились различные организации, охранявшие государственную безопасность, о том, что ее муж, арестованный накануне ночью, шпион и предатель Родины.

Аширов, переродившись в Казани в эпилептика Ивана Петрова, освобожденного от воинской повинности после тяжелой контузии на фронте и года странствий по госпиталям, не ошибся, надумав испытать водицы у молодки в солдатской телогрейке, оказавшейся простосердечной безмужней Марийкой, одной из тех русских хозяйюшек, проживавших в Татарской слободе, которую Татарской называли больше по сложившейся привычке, и то лишь по случаю. Большой разницы для Аширова не было – русская бабенка, татарка, чувашка, в его богатом послужном списке имелись и те, и другие, и четвертые, просто подумалось: с документами Ивана Петрова подчалить к ней будет сподручнее, проще, чем к какой-нибудь Марьям. Марийка и не поинтересовалась документами, да и кто их спрашивает, когда выпадает такое счастье одинокой женщине – мужик, мужик с руками и ногами посреди войны! Она приютила, пригрела несчастного, потерявшего «всю семью – жену, детей, родителей – в первые же дни рокового сорок первого». Помогла и на работу устроиться, на элеватор, где трудился ее зятек, муж сестры, колченогий дядя Костя Обухов, состоявший там заместителем командира воензированной охраны. Ни с какими маломальскими просьбами Марийка к Обуховым не навязывалась, знала свой шесток, чего растрепанной-то лезть в гладкую семейную жизнь! Не помогли

ведь, когда зимой сорок первого помирал двухлетний Антошка. Чего уж... А тут поклонилась в ножки, поломала свой устав.

Новому Марийкиному жениху Обуховы нежданно-негаданно подсобили – «фронтовик же, не враг народа» – со скрипом, с подмазкой, а протолкнули в замзавы зерноскладом. Аширов, имевший до этого широкую практику общения со складской службой разного пошиба, различных городов и сел (по подложным документам выписывал себе и друзьям-«артельщикам» безбедную жизнь – зерно, муку, провизию), на законной работе, само собою, не сплеховал. Навар снял в первый же день, с первой же колонны подвод, которой заправлял культястый мужичок, здоровенная бабища и два сердцу милых, но очень уж суетливых плюгавеньких татарина. Единоверцы беспрестанно спорили на родном языке, не стесняясь «начальника Ивана», на элеваторе человека нового и по физиономии видать – туповатого. Аширову и видеть не надо было, что на телеге разместился лишний мешок пшеницы. Болтливые соплеменники сами дали понять, какая подвода тяжелее нормы. Туповатый замзав, извинившись за неопытность, перевесил груз... Возчики заахали-закудахтали, колчерукий предложил четверть водки, курицу, но Аширов так мелко не плавал. Его такса: за мешок пшеницы – две тысячи рублей. Уговаривать не пришлось. Бригада уплатила пошлину и быстренько, пока начальник не передумал, вывезла семь левых мешков – по одному мешку на повозку. С другими бригадами Аширов решил дел не водить. Береженого бог бережет.

Только проводил колонну, прибежал весь в мыле завскладом: на станции ждет разгрузки состав с зерном, а железнодорожных весов нет. Аширов сказал, что надо принимать без взвешивания, что если весь состав затаривать в мешки – неделя уйдет. Шеф поскакал к своему шефу. Вернулся, в руках телефонограмма: «Принять груз состава N №... без взвешивания...»

Эх, Россия-матушка, точно купчиха-миллионщица, словно царица беспечная, во все-то века разбрасывалась ты несметными богатствами! В ту страшную войну и то не поскупилась. Обкармливала трутней. Обжирались они, упивались, на жаркие каменки личных банек бутылочным пивом поплескивали. А народ переминался в огромных очередях с хлебными карточками в мосластых кулачонках в ожидании заветных долек, позабыв о существовании молока и масла, будто они и не водились на свете.

Состав с зерном Иван Петров принял...

Через месяц его, как добросовестного и надежного работника, перевели на мучной склад. Помощь дяди Кости уже не понадобилась – сами с усами. Петров-Аширов отпустил сталинские усы, которые у него всю дорогу от муки были белыми, и повел трудовую деятельность с маршалским размахом. Завскладом был охоч до спиртного и услужливому заму доверял безмерно. Аширов «толкал» муку по следующей расценке: за мешок – пять тысяч рублей и за пропуск, выписываемый для колонны на выход, – десять тысяч. Купил дом с банькой в Козьей слободе за Казанкой, прописал там жену Марийку, зажил благоуханно, по-байски. Кто скажет тебе, что ты дезертир, жулик, спекулянт, враг, нет, тебя уважают и в гости не вшивота голопулая зазывает, а всё завмаги да завгары, про своих складских и говорить нечего. И сами погостевать напрашиваются, отбоя нет, знают, что у Ивана Петрова благородное общество, завидное угощенье, да и веселье, – только у него и забудешь, в какое сложное время живешь. Марийка рада-радехонька: вот какой у ей муж, не то что прежний. Расцвела на глазах, раздобрела, уж и не ходит, а лодочкой плывет, бедрами покачивая. Позабыла, как окопы близ города в декабре сорок первого ломиком долбила, как голодовала-холодовала без мужа, без поддержки с двухлетним сынишкой на руках, как таяла ее родимая свечечка, Антоша синеглазый, как хоронила его на Архангельском кладбище без креста, без памятника и голосила, и рвала на себе волосы. Прибежала раз, когда еще сыночек жив был, к Обуховым с протянутой рукой, но что они могли? Зятек только из госпиталя прикостылял, а по лавкам-то своих четыре кородея. После, когда он устроился на элеватор, встали Обуховы на ноги. А она – вот только при Иване. Зятек, конечно, помог ему, но Иван и без него устроил бы их жизнь на зависть многим – светлая голова! Теперь вот сам Константин Константинович Обухов с поклонной головой притаскивается, заискивает перед Иваном, денжат ли, муки ли выклянчивает, а сам все поминает свое благодеяние в начале послефронтовой трудовой биографии свояка – так с некоторых пор Обухов стал угодливо называть Ивана, прекрасно зная, что по закону это не так, ведь не зарегистрированы Иван с Марийкой, и не ведая, что по природе именно так: Марийка от Ивана собиралась стать матерью.

В один прекрасный день Марийка умолила супруга отпустить ее на недельку к Обуховым – сестра просила приглядеть за детишками, сама в деревню собралась съездить к матери. Однако поездка сестры сорвалась, и Марийка, солнечная, радостная, что скорее, чем думала, приголубит ненаглядного Ванечку, накормит (он плохо без нее кушал), припорхала к сердцу милым воротам, в руке сетка с первыми свежими огурчиками с базара... Распахнула калитку, а во дворе родном дым коромыслом: на загривке четырехногой жаровни мясо ломтиками, на штычки нанизанное, коптится, вокруг какие-то бабы, мужики шатаются, хохочут, а из баньки раскрасневшийся Ванечка в чалме из полотенца и шароварах ниже пупа вываливается. Лыбится пьяно. За ним – молодница мокроволосая в ее,

Марийкином, халате...

Гулянки и раньше бывали в их доме. Но это... это совсем другое...

Хлопнула калиткой, убежала. Думала, догонит. Нет. Так и приплелась обратно к сестре. Объяснений не понадобилось – пришла и пришла, будет кому с детьми повозиться.

Через два дня Ванечка явился как ни в чем не бывало, лишь чуток лицом припух да прожилочки на щеках ярче проступили, а так – герой, сумку с гостинцами на стол, любимой Марийке – перстенок на палец.

К вечеру пошла с ним домой. Ванечка объяснял дорогой: сабантуйчик, мол, организовали по одному чудно сварганенному трудовому мероприятию, шашлычком побаловались...

– А насчет баньки не думай, просто пивка для гостей в предбанник занес, а тут супружница моего почтенного кунака уже выходит, сам-то он, Алмаз Фатыхович, домываться остался...

Поверила или не поверила, из-за ребенка будущего или из-за любви слепой, кто знает, но смолчала. Обронила лишь:

– Ума у тя, Ванечка, два гумна, смотри, промеж не останься.

Роковыми слова ее оказались. Спустя неделю в полпервого ночи подкатили военные люди и муженька, со сна и глаз не протершего, увезли в «собачьем ящике» (так он называл грузовики-фургоны с маленькими зарешеченными окошечками) за Казанку – в город, как говорили слободские.

22. Побег

Больше месяца грустил по минувшей сладкой жизни Аширов-Петров в общей каталажке в селе не селе, слободе не слободе под названием Караваево, где судьба караваями не шибко потчевала. К концу месяца Аширов окончательно озлился на Казань. Томные воспоминания о райских деньках, проведенных в этом городе, о котором так много слышал с детства и о котором мечтал, как паломник о Мекке, на жестких нарах барака, выветрились быстро, в голову полезли мысли хуже тараканов, бегавших по полу. В первую очередь почему-то всплыли в памяти разговоры с Марийкой, из которых он узнал, что легендарная царица Сююмбике вовсе и не бросалась с башни, а преспокойно, взяв с собой сыночка, укатила с победителями в Москву... Тьфу! Рушились идеалы. Когда на очередном допросе майор со смешной фамилией Полуаполлончик в сотый раз спросил его: «Дезертир?», Аширов ответил: «Нет, я человек, у которого пошатнулась вера!».

А Марийка не вильнула хвостом, аккуратно носила передачи, денегат он ей заранее припрятал, но о неприкосновенном запасе – золотишке, зашитом в холщовый пояс и спрятанном в стенном проеме над полатами, не заикался. Когда стало известно, что Петрова Ивана закатали в штрафбат и на неделе должны отправить в город для «формирования», Аширов за четверть водки выторговал свидание с женой и открыл ей, где хранится «золотой фонд», с тем чтобы она купила дом у бывшего Кизического монастыря, на Савиновке, объяснил, к кому и как обратиться, сколько в лапу сунуть, а главное – дом держать в консервации, самой там не маячить, ключ – под помойное ведро у крыльца, чтобы он в любую минуту мог прийти и схорониться. Домишко тот был удобен, рядом заброшенное кладбище, и прежнее жилище в Козьей слободе, где осталась Марийка, в десяти минутах ходьбы. Аширов знал: Марийка не продаст, как сучка, к тому же через него красивой жизни пригубила и уж оторваться не сможет, на крючке она, крепко сидит, точно глупая сорожка, такие у него были и еще будут. А самой распорядиться «золотым пояском», смотаться куда-нибудь подальше ни ума не хватит, ни воли. Не знал он, что его «глупая сорожка» ребенка от него под сердцем носит.

В первую же ночь на военкоматских нарах, которые были не мягче караваевских, ему приснился давно умерший отец. Аширов вскочил, будто и не спал, свесил ноги, затравленно заморгал во тьме.

Бывают сны – видишь и знаешь, что это сон, а бывают – ну прямо все на самом деле. Последние-то и есть, наверно, те самые, вещие, что сбываются. Один из таких и слетел в ту ночь к Аширову на нары: отец, как прежде, в молодости, чубатый и щекастый, манит его пальцем, и рядовой Аширов, путаясь в полах шинели, повинуется, идет за ним. Доходят они до кладбищенских ворот, отец оглядывается, открывает калитку и скрывается за ней, а он остается и просыпается.

Аширов ступил на холодный пол, еще раз прислушался – тишина, если не считать оглушительного храпа. Действовать! Или сейчас, после такого божественного сна, когда отступили мазарки проклятые, или никогда...

Не доходя до поста дневального, Аширов свернул в клозет, где окна были выбиты еще, должно быть, Иваном Грозным при взятии Казани, выбрался во двор – первый этаж, тот же, в принципе, барак, что и в Караваево, только каменный, – закурил папиросу (Марийка, собака, всеми правдами и неправдами обеспечивала необходимым), двинулся к воротам, которые поскрипывали фанерными флажками за углом. Ни луны, ни звездочки на густом летнем небе. Выглянул из-за угла – у ворот в свете фонаря ежилась часовая с винтовкой. Аширов вернулся в темень, попетлял, нашел то, что надо, –

голыш с добрый молодецкий кулак. Затянулся сладким дымом... Действовать!

Часовой оглянулся на шаги:

– Чава шляйся?

Аширов понял по акценту, что перед ним милый сердцу соплеменник, с которым надо заговорить на родном языке.

– Покурить захотелось, – ответил он по-татарски. – Закуривай, если хочешь, и ты, угощаю.

– Не курю, – буркнул часовой.

– «Казбек».

– Все равно.

– Ну ладно, а я досмолю свою. Давно служишь?

– Чего пристал? Иди в курилку курить. Не положено мне с тобой тут разговаривать.

– Положено не положено, часовой разве не человек, до утра еще намолчишься, с воротами заговоришь. А ты что прихрамываешь?

– Контузия... Да иди ты отсюда, пока не арестовал! – Солдатик с нарочитой сердитостью окинул взглядом мобилизованного салагу, повернулся к своей будке, но и шага не шагнул, как Аширов со всего маху опустил камень ему на пилотку.

Глава пятая

23. Иди, не оглядывайся

Мы – я, Шаих, Киям Ахметович – сидели у Николая Сергеевича и вели неспешные разговоры. За окном в высоком небе зажглись созвездия. Скреблась о стекло желтая ветка яблони, позолотили которую сентябрь и отсвет настольной лампы, – ни штор, ни занавесок на окнах Николая Сергеевича не было.

Ни с того ни с сего Шаих сказал:

– Интересно, кто и как начал помнить себя в жизни? Первое воспоминание? Самое, самое?..

– Кхе, – кашлянул Николай Сергеевич. По случаю прихода Кияма Ахметовича он спустился с заоблачной кушетки на краешек шаткого венского стула. – Кхе, по-настоящему я помню себя только с четырех лет. Первая оставшаяся в памяти картинка: огромная, почти пустая комната в больничном здании на Новогоршечной улице, теперь там Дом ученых, чернобровый оператор в белом халате, как говорили, местная знаменитость профессор Геркен, и я, маленький человек, склонившийся над металлической раковиной... Из моего горла рекой хлещет кровь. Странно, что ощущение боли не запомнилось. Это была попытка удалить мои огромные гланды. Неудачная попытка...

– И у меня воспоминание не из приятных, – захлопнул я массивный том «Истории России» Соловьева, где обнаружил любопытнейшее описание приезда Екатерины Второй в Казань. – Простите, я не перебил вас, Николай Сергеевич?

– Нет, нет.

– В сенях зимой взял ключ от общей двери, мы его в почтовом ящике держали одно время, еще на старой квартире... и решил лизнуть, дети же всё ко рту тащат, а в сенях мороз, как на улице. Большой такой ключ, – пояснил я. – Только самым кончиком языка прикоснулся, а он как ужалит. Хотел бросить, а он прилип. Орал ли, плакал ли? Помню лишь, прибежал домой, вернее, на кухню к матери, возившейся у печи, и слова не могу выговорить – на языке-то ключ висит.

Шаих усмехнулся:

– Сколько тебе было?

– Не помню уж теперь... Но помню, совсем не смешно было.

– А у меня на памяти сначала эта... это – голод, – вздохнул Киям Ахметович. Он удобно утонул в единственном в комнате кресле.

– Да, Киям-абый, о своем детстве вы не рассказывали, – встрепенулся Шаих. Я взглянул на друга – он был само внимание, точно от рассказа старика зависла вся его дальнейшая судьба. Сосредоточенно ожидал, что скажет уважаемый гость, и Николай Сергеевич. Он привычно опустил голову на грудь, сцепил на груди пальцы, которые странно было видеть без авторучки и бумаги.

– Что я помню... – сказал Киям-абый. – Стою у изгороди генеральского сада, им владел наш помещик, отставной генерал Дурасов, и гляжу в просторную щель между досок, как генеральский сынок, одногодок мой, кушает яблоко. У меня который день маковой росинки во рту не было, а он грызет яблоко, и яблочный сок брызжет ему на подбородок. Я и вкуса тогда тех румяных картофелин, растущих на деревьях, не знал. Только представить себе мог их райскую сладость. Я окликнул мальчика: дай одно яблочко. Он пригляделся, куснул еще раз и запустил в меня огрызком. Огрызок

попал в доску, рядом с щелью. Как я досадовал, что огрызок ко мне не перелетел! И-и, алла, детство, детство!.. Оно отрывается от человека, как созревший плод с дерева, и каждый из нас вертит в руках свое розовощекое яблочко, разглядывая и вздыхая лишь. Мое не было румяным, кислым оно было, горьким...

Киям Ахметович покачивал форсистой штиблетой. Он любил красиво одеваться: артист.

– Каким таким образом, – продолжал он, – не знаю, но отец приводил все новых и новых жен, когда своя, и по шариату законная, и позже гражданским браком сельсовета зарегистрированная, сидела жива-здоровая дома. Однажды мать не выдержала. Она прокляла его. Она сказала: «Чтоб ноги твои отсохли, а глаза смотрели жалобно в глаза мои до конца дней твоих последних». Страшная и бесповоротная штука – проклятие... У отца отнялись ноги, и он уж больше ни на кого не заглядывался, смотрел лишь на жену свою, мою маму. Мы жили в Башкирии, в татарском ауле. Арслан назывался аул. Лев, значит. Летом двадцатого года по аулу пошел гулять пожар. Когда огонь добрался до нашей избы, мать велела нам, троем детишкам (среди них я – старший), уходить, а сама осталась, не могла бросить своего проклятого мужа. Она кое-как вынесла его из горящего дома, вытащила со двора и посадила у забора в поросшую крапивой и кустарником ложбину, по дну которой струился ключ, холодный, сильный, – и сама залезла, прихватив казанок... Сидели обливались. Огонь от двух рядом стоящих хозяйств смыкался над головой живым шатром. Где-то в конце горячей улицы ухнули припрятанные боеприпасы. А мама, как заведенная, черпала и черпала казанком ледяную воду, плескала то на отца, то на себя... Так и спаслись. А дом сгорел, живой полешки не осталось. Все лето мыкались по родственникам. Осенью обосновались в каком-то ветхом сарайчике. Холодно. Отец болеет. В декабре мама выпросила у кулака Галимджана старенькую лошаденку, чтоб я отвез отца в райцентр, в больницу. Пообещала отработать. Закутала обоих как могла, усадила в сани, и вот я, одиннадцатилетний мальчишка, без шапки, повязанный лишь какой-то драной шалью, повез отца за многие студеные версты к лекарям. По дороге, не дойдя до райцентра двух-трех километров, кляча пала. Я привел людей с подводой. Отца спросили: что делать с лошадей – резать или без пользы пусть сдохнет? Что оставалось, пришлось резать. И все без толку, все, все... Эх уж это наше путешествие! В больницу мы не пробилась – переполнена. О трагедии с лошадей отец сообщил через знакомых Галимджану. Тот с дружкой Тимербаем как ураган прилетел. На другое же утро. Конягу они сразу куда-то уволокли, а отца, и так чуть живого, на моих глазах избил. Совершили намаз и избил. Избили, затолкали в сани, меня рядом приткнули, и пара толстозадых лошадей понесла нас обратно в Арслан. День солнечный, морозный. Мчались молча. А углубились в лес, дружок Галимджана и говорит: «Чего катать их попусту, лошадей изнурять?!» Галимджан не ответил, лишь покосился на отца желтыми, как урюк, глазами. Долго ли ехали... Вдруг лошади фыркнули и встали. Галимджан обернулся: «Озябли, пташки? А ну слазьте! Ах вы не можете, ах вы больны?.. А моего аргмака, инвалид, загнать до смерти смог?» Он схватил отца, сволок в снег и стал пинать. Я бросился к ним, поймал Галимджанову ногу в огромном валенке, обнял крепко-крепко, как, наверно, никого не обнимал: «Галимджан-абый, не надо!» Галимджан, точно за корягу на ходу зацепился, плюхнулся в снег: «У-у, шайтан баласы!». И такого тумака отвесил, встав, что я улетел под оглобли, под лошадиные хвосты. Выкарабкался, а друзья-приятели уже вытряхивают отца из бешмета, который под ноги у хорошего дома не кинешь. Но вы не знаете Галимджана, он и дырявую мамину шаль, слетевшую с меня, подобрал. «Подыхай, как собака!» – пнул напоследок отца. Тимербай кивнул на меня: «С этим что будем делать?» «Полезай в сани», – замахнулся Галимджан. Я ответил: «И отца возьмите, без него не поеду». Сдался я им! Галимджан подхватил меня и воткнул головой в сугроб. Как луковку в грядку.

Киям Ахметович коротко вздохнул и замолчал, замер. Молчали и мы, не шевелились, боясь вспугнуть рассказчика. Он перекинул с ноги ногу, вновь закачал штиблетой...

– Мы сидели с отцом прижавшись друг к другу, в снегу под деревом. «Урман, урман, – бормотал отец. – Кара урман». (Лес, лес, черный лес.) «Не черный, а белый, – перебил я. – Что будем делать?» Вынести его из леса мне было не под силу. Отец протянул коробок спичек. Я собрал сучьев, но разжечь костер не смог, – спички в замерзших руках ломались, летели в снег, если огонек и вспыхивал, то тут же гас. Отшипела последняя спичка, и отец сказал: «Оставь меня, иди». Я обнял его. «Иди, родной. – Он стянул с головы башлык – войлочную, просаленную шапчонку, которой и Галимджан побрезговал, или не заметил ее просто, – и протянул мне. – На, возьми, тебе нужнее». Я не двигался. «Иди обратно в райцентр». Я стоял как вкопанный... Как-то я прочел, что человек после смерти живет еще много лет. Он жив, пока живут знавшие его люди. И после остается живым, пока есть люди, которые слышали о нем от тех, кто его знал. Там, в лесу, я вбирал отца в память каждой своей юной, растущей клеточкой, каждой пофрой, чтобы унести его с собой из того проклятого времени. Нет, конечно, это я сейчас так думаю, а тогда я плакал и все, и не знал, что делать. «Иди же, черт побери!» – прохрипел он и сунул мне в руки свой башлык. Я спросил, что сказать маме? Он закрыл глаза и качнул головой: «Ничего». И я побрел. Оглянулся. «Иди, сынок, иди, – махнул он рукой, – не оглядывайся».

Я надеялся еще помочь отцу. В райцентр пришел ночью. Постучал головой в первую попавшуюся

на дороге дверь – заоченелые руки и ноги не слушались. Впустили меня, обогрели, дали поесть. Но какими бы добрыми ни были те люди, большего сделать не могли. Рано утром я отправился обратно через лес, в котором оставил отца.

Он... полулежал на том же месте, прислонившись к дереву. Будто решил вздремнуть до моего прихода. Лишь на вспухшей губе ягодка мерзлой крови. Да растрепанные волосы припорошены снегом. И на лбу снег. И не тает. Я отряхнул снег, поправил волосы, прикрыл их башлыком. Знаете, у нас есть народная песня «Кара урман» – «Дремучий лес». Хорошая, душевная. Но я не могу ее слушать. Не могу...

В свою деревню вернулся к вечеру. Мама в нашем жилище – полуразвалившейся избе, доставшейся нам от кого-то на время, – не оказалось. На холодной печи цепенели братишка с сестренкой. Я затопил печь, принес в казане снега, поставил кипятить. Задремал. Разбудил сосед, он сказал, что мама у них. Оказывается, в то время, пока я шел, оставив отца в лесу, в райцентр за помощью, Галимджан с Тимербаем прикатили в Арслан, избивли маму и повесили в пустой конюшне. Но она не умерла. Мифтах, сын Галимджана, – вот ведь как бывает! – как только отец с другом ушли, юркнул к нам во двор и срезал веревку, спас маму.

«На печке она», – сказали мне, когда я открыл дверь в избу соседей. Я разулся, прошел... Мама чуть дышала в беспомыслии. Голова запрокинута, волосы в сгустках черной запекшейся крови, в пуху каком-то, в перьях...

Да, выжила она. Выжила...

А вот братишка и сестренка летом двадцать первого года умерли. Голод был. Народ знает что ел – лебеду, жом свекловичный... Снесли родимых в ту самую конюшню, где маму убивали, и лежали они там несколько дней. По утрам я выходил посмотреть, не проснулись ли мои братец с сестрицей. Нет, не проснулись они. По деревне ездил подвода и собирала трупы. Подводой заправлял наш родственник. Он увез брата с сестрой и рассказывал потом маме – она сильно болела и не вставала, – что место в общей могиле хорошее досталось: малышка сверху легла, и никого на нее не положили, а братец рядом, у края ямы. До сих пор не могу простить себе: однажды братишка попросил кусочек колобка – постного, черного, черствого, где раздобыл, не помню. «Дай немножечко», – говорит и ручонку тянет. А я ткнул костяшкой большого пальца ему в лоб и не дал. Теперь сажусь кушать, и кусок поперек горла встает, на столе все, что угодно, только рядом братца моего младшего нет.

В конце лета мы с мамой жили в лесу, в землянке. Мама чувствовала себя плохо, ее надо было кормить получше, да и самому на одних муравьях да корешках не сладко было. Куда деваться, пришлось армаить. Не в полном смысле... А так, по мелочам. Где в сенцы богатые с дружками-голодранцами проберемся, где в амбар слазим. Однажды в погреб забрался, не в погреб, а в углубление, яму небольшую, досками обшитую, а там хлеба – гора целая. Каравай, каравай... Спрыгнул, схватил, сколько смог, а росточка выбраться не хватает, мал еще. Сложил тогда пирамиду из хлебных голов и выбрался. Один каравай, помнится, носил маме кусками больше недели. Целый нельзя нести. Знала, что милостыню караваями не подают. Строгая она у меня была. Второй каравай, который вынес, отдал Салиху и Кариму, друзьям моим, тоже от голода пухшим. Они постарше меня были, но я был порасторопнее.

Бывало, и попадался, конечно. И бит бывал. Раз схватили в русской деревне Покровке с килькой в руках, я давай кричать в оправдание: «Речка поймал, речка поймал». Это соленую рыбу!..

Отпустили. Поверили, что ли?

Покровка как раз то село, где располагалось имение генерала Дурасова. Огромный был генерал, толстый, усатый, ну настоящий генерал, как положено. Последний раз в Покровку приезжал в шестнадцатом году, поздней осенью. Побыл ровно три дня и уехал с женой и сыном. Больше не появлялся. Говорят, жив он, в Париже обитает. Хотя навряд ли. Уж сын его старик, как я.

Без генерала Дурасова в Покровке остались свои дурасовы, свои ротшильды, поэтому нас в Покровку словно арканом тянуло. Как сейчас перед глазами: лежим однажды в версте от Покровки на краю поля у березовой рощицы, за которой заброшенная церковь. Сытые – слазили в погреб ротшильда Овсова, наелись сметаны, напились молока, с собой прихватили по караваю белого пшеничного хлеба. Это я, самый маленький, залез в окно, перешагнул через спящих под самым подоконником супругов Овсовых и – в сени, и все запоры настезь перед своими старшими друзьями, что научили меня как действовать, и на подоконник подсадили, и ждали терпеливо снаружи. Лежим, солнышко греет, птички поют. Благодать. Разомлел я совсем, задремал. Вдруг просыпаюсь от вопля, нет, сразу, еще не проснувшись, вскакиваю и, как это говорится, ноги в руки. На одном дыхании домчался до церкви, перемахнул через забор. Высокий забор. Как одолел? Карим, самый рослый из нас, и тот не смог. Под забором его и поймали.

А разбудил нас криком Салих. Его первым схватили.

По винтовой лесенке я забрался под самую маковку. Нет, маковка – к слову, ее тогда уже не было на колокольне. И вижу: пятеро откормленных молодых мужиков крутят руки моим друзьям и что-то

требуют от них. Что? Хлеб отобрали... Дошло быстро – их заставляли драться друг с другом. Сынкам байским захотелось петушиного боя. Пленники упирались, им поддавали сапогами, пихали палками, и они сначала слегка, а затем все злее и злее стали обмениваться зуботычинами и под конец разодрались в кровь. Я их после отпаивал, компрессы им из лопуха на раны прилеплял. Особенно досталось Кариму. Ему эти хряки на прощание саданули по спине дрыном, и он, бичара, ахал, лежа на боку и несуразно прогибаясь. Как мы доплелись до Арслана –и-и! – один всевышний знает... Полуживого Карима родственники отправили в райцентр, в больницу. Через неделю мертвого его привезли обратно. Но я, кажется, лишнего со своими воспоминаниями...

Киям Ахметович пружинисто встал, прошелся по комнате, вернулся к креслу. Мы думали, он продолжит дальше свой рассказ, но он как-то деликатно и разом переключил внимание на моего друга.

– Шаих, мы ответили на твой вопрос, а сам?.. Твое воспоминание, а-а? Как ты себя осознал?

– А мама ваша тогда поправилась? – спросил Шаих.

– Да, к зиме встала и пошла... И внучку нянчила. Роза помнит свою дау ани... Интересная судьба... Расскажу как-нибудь. Шаих, слушаем... Твое первое окошечко в мир? А-а?

– Я и не знаю, какой момент в памяти первый. Трудно ведь точно сказать.

– А нас пытал... И мы рассказали.

– Первое окошечко... Мои окошечки, Киям-абый, светлые были. Вот: купаемся с отцом в бане...

– Моемся, – поправил я.

– Нет, купаемся. По крайней мере я – купался. Отец специально для меня носил в баню жестяное корыто. Сажу в нем и выдуваю в трубочку мыльные пузыри. Маленькими они получались и быстро лопались. Отец посмеялся над моим усердием, намыллил руки, соединил большой палец с большим, указательный – с указательным, развернул ладони, подул осторожно, потом сильнее... И к потолку полетел шар величиной с арбуз. Банные ряды освещала маленькая, тусклая лампочка. А шар... он блестел, светился. Он поднимался, как солнце поутру. Я смотрел разинув рот, себя позабыв. Шар приближался к лампочке, поравнялся с ней и прилип рядом к потолку. Не лопнул. Намыленные мужики на соседней лавке, позабыв о мытье, задрали головы... А дальше окошечко захлопнулось, провал памяти.

– Все? – спросил я.

– Все.

– Шар в бане не полетит кверху.

– А вот полетел.

– Чего в жизни не бывает! – сказал Киям Ахметович. – Не лопнул, значит?

– Не лопнул.

– Ха-ароший сон, светлая у тебя будет жизнь, не уща-мараха, впустую не лопнет.

– Не сон, а явь... Детство.

– А-а... теперь уж как сон. – Киям Ахметович поманипулировал пальцами, нетерпеливо откинул черную крашеную прядь со лба – тема разговора перестала его интересовать. – Николай Сергеевич, вы обещали дать мне почитать ваш роман.

– Который?

– «Эликсир молодости».

– Пожалуйста, пожалуйста, – бросился выполнять просьбу Николай Сергеевич, засуетился у стеллажа, извлек из кипы бумаг толстую папку:

– Вот.

Киям Ахметович вновь по-молодецки вскочил, сунул папку под мышку:

– Ярый, ладно... Желая здравствовать!

– У-ту-ту! Куда заторопились? Побеседуем, ведь как много, оказывается, интересного у каждого из нас, а мы в себе носим...

– Нет, нет, сау булыгыз! Чау-у!

24. Вам трудно понять

Киям Ахметович ушел.

Пришел Гайнан. Под мухой. Завел речь о животных, о том, что исключительно из-за любви к братьям нашим меньшим работает в цирке. Он сказал не «работает», а «ангажируется».

– Как их там истязают! Особенно хищников. Голодом морят, лупят, только бы на задние лапы поставить. И чем крупнее животное, тем ему больше достается. Не так ли и у людей? Тут уж целая система дрессировки – милиция, полиция, суд, армия... Не зря передние ноги у людей атрофировались. Знаете, во что они превратились? В руки, думаете? Ошибаетесь. Они превратились в орудие, пригодное исключительно для козыряния: «Есть! Так точно!..» Я для Барина сегодня утром говядинки

свежей взвесил, так, думаете, они кинули ему хоть кусочек, эти дрессировщики, эти бурбоны заслуженные да народные? Шиш с маслом! Сами все сожрали. У льва, видите ли, разгрузочный день. Разгрузочный-то разгрузочный, а мяса со склада взяли. А-арт-исты!.. Вообще дрессировщиков за артистов не считаю – живодееры! Дурова вспоминают, о доброте говорят, любовь превозносят. Любовь, любовь... А знают ли они, что такое любовь? Любовь – это...

И Гайнан без всяких переходов принялся вещать о любви к женщине. Он говорил тоном профессора на лекции, что взаимоотношения с прекрасным полом – это целая наука, в которой он, Гайнан Фазлыгалямович Субаев, собаку съел.

Шаих морщился, как от зубной боли.

Вскоре он вышел. Гайнан и вслед не глянул. Я остался на скрипучем венском стуле с книгой в руках.

– Вот вы, Николай Сергеевич, никогда не были женаты, и вам трудно понять...

Как мельничная лошадь с мешком овса на морде, Гайнан крутил круг за кругом одно и то же. Николай Сергеевич добросовестно слушал, добросердечно отвечал, пока гость не отколол:

– А у вас была хоть одна женщина в жизни? Похоже, что нет, а?

Произнес он это не сдержав усмешки и посмотрел на меня как на пустое место. Глаза его, казалось, еще дальше друг от друга разбежались. Я погрузился в книгу с головой, ждал, что ответит Николай Сергеевич, покраснев до корней волос и прокляв себя за то, что не ушел вместе с Шаихом.

Николай Сергеевич растерянно кашлянул, повел ладонью по пегой, кустиками седой щетине. Не зная, как ответить, взглянул на меня. В глазах его я прочел протест. Безмолвный протест интеллигента до мозга костей. Говорить неправду он не привык, не умел, так же как не умел противостоять хамству. А Гайнан с пьяной тупостью настаивал на ответе:

– Ну, хоть одна?.. Хоть разок?

Я что-то забормотал, пытаюсь перебить его, но по-настоящему это сделал Шаих. Он приоткрыл дверь и вызвал отчима:

– Иди, мать зовет. – И добавил для убедительности: – Жена-а-а...

– Ща-а-ас, – пытался тот отмахнуться.

– Не щас, а сейчас же.

Гайнан фыркнул:

– Чего ей еще?!

Но повиновался, зашаркал по газетному коврику к выходу.

По тому, как долго Николай Сергеевич не мог взять в руки ни рукописи, ни карандаша, отложенных с приходом гостей, можно было представить, насколько он не в себе. Он не имел привычки гулять на улице без дела, а тут сунул ноги в ботинки:

– Пойду-ка я, Ренат, вечерним небом подышу, а ты сиди, если хочешь, читай.

Я остался.

Было слышно, как Николай Сергеевич грузно ступал по сенной лестнице за стеною.

Скоро одиночество мне надоело, после услышанного, после рассказа Кияма Ахметовича и выступления Гайнана не читалось, и я тоже подался из дому.

...Николай Сергеевич, без плаща, без берета, облитый с ног до головы лунным светом, держался за куст сирени и тянул шею к ясному, перламутровому от звездных россыпей небу. Я впервые видел его таким – с поднятой кверху головой.

– Спутник, – сказал он, когда я подошел, – вон летит...

Я забегал глазами по созвездиям.

– Где? А-а... Вижу! Как звезда. Только движется.

Долго провожали мы взглядом земного посланца. О чем тогда думал Николай Сергеевич, глядя в бездну миров и галактик? Вероятно, все о том же, о своем неизменном... О том, что придет великанье время, и космические корабли повлекут людское племя от планеты к планете, от острова в океане мироздания к острову, открывая новые миры и населяя новые космические пространства, понесут в бесконечность и бессмертие.

Я спросил, когда спутник, помигав, пропал в звездной пыли:

– Что за звезда такая яркая, прямо у нас над головой?

– Это... Это Вега из созвездия Лиры. Двадцать шесть световых лет до нее. Красавица небесная! Светом пятидесяти солнц приветствует она нас с тобой оттуда, куда теоретически и долететь можно, и вернуться обратно... Только встретит космонавтов на Земле уже другое поколение...

Мы не договорили.

В сенях наверху грохнуло пустое ведро, еще что-то полетело, брякнул пьяный гайнановский металл:

– Вернись, щучий сын, кому говорю – вер-рнись!

Из двери вылетел взъерошенный Шаих, метнулся к воротам, но на пути были мы.

– Что случилось? – удивленно спросил Николай Сергеевич.
– Хватит! – выпалил Шаих. – Не могу больше с ним. Папаша, тоже мне, выискался! Пусть свою жену воспитывает, а с меня довольно. Ухожу.
– Куда?
– Куда глаза глядят.
– Ночью?
Шаих не ответил.
– Пойдемте-кась, братцы-кролики, ко мне, отопьем чайку, – сказал Николай Сергеевич, – скоротаем вечер.
Эти слова в устах ученого были столь же непривычны, как если б он сказал: пойдете, братцы, «козла» забьем. Время он никогда не коротал, времени ему постоянно не хватало, точно так же, как и Шаиху... Но общаться это обстоятельство нам не мешало.
– Неохота в дом, лучше у меня посидим, а? – кивнул Шаих на сарай. Он как-то разом остыл или, может, – и это скорей всего, – постеснялся Николая Сергеевича, не хотел тревожить его своими домашними дразгами: Гайнан мог затеять новую свару.
– Превосходная идея! – воскликнул Николай Сергеевич. – Сколько курсировал мимо твоей резиденции, а ни разу не заглянул. И не холодно еще...
– У меня обогреватель есть. У меня тепло, даже жарко бывает. – Шаих оживился. Он тыкал ключом в замок и слушал, как Николай Сергеевич его успокаивал:
– Утро вечера мудренее. Что было безвыходно вечером, то просто и пустяково утром, потому что утро для мысли всегда погоже, ясно, все великое и правильное свершается пред Авроры светлым ликом, на заре.
– Почему же вы сами, Николай Сергеевич, по ночам трудитесь? – спросил я.
– Гм-м, у каждого, конечно, свое утро. Меня осеняет и озаряет почему-то по ночам.
Шаих растворился во тьме дверного проема, тряхнул спичками, чиркнул... Фитиль керосиновой лампы замигал голубым огоньком. Шаих накрыл его стеклом, и закуток озарился спокойным, ровным светом.
Мы пили чай вприкуску, и Николай Сергеевич вспомнил свой далекий сарай, свою летнюю резиденцию, уютную, сказочную, как само детство. Оказывается, у каждого есть свои романтические сарайчики, свои приюты, свои дощатые дворцы, которые никогда не забываются, которые на всю жизнь самые светлые, самые благоустроенные. Интересно: слово «сарай» на татарском языке означает «дворец».
На втором этаже «дворца» завозились голуби.
– У тебя на крыше голубятня, – сказал, отхлебывая из кружки чай, Николай Сергеевич, – а у меня, а у нас с дедом была астрономическая обсерватория...
– Да... – произнес я. О той обсерватории в Козловке мы с Шаихом прекрасно знали. Николай Сергеевич знал, что мы знаем, и поэтому произнес это, не информируя нас, а просто в который раз опускаясь в глубину памяти и сравнивая. Сравнивая, должно быть, интересы подростков различных времен.
– А что! – Шаих поставил кружку на пень (вместо стола он держал здоровенный дубовый чурбан, обрубок нашего великана, сраженного молнией, с выдолбленными с одной стороны полочками) и так, что добрая половина чая выплеснулась. – А что! Давайте и мы обсерваторию соорудим.
– Запросто, – вспыхнул и я.
– Не совсем запросто, может быть, но реально. А что!..
– Весной приступим, – сказал твердо Шаих. – За зиму составим чертежи, подготовимся... Николай Сергеевич, а вы сможете помочь с телескопчиком небольшим?
На глаза Николая Сергеевича навернулись слезы. Он отвернулся, будто на часики посмотрел, висящие на гвоздике над топчаном. Часы показывали начало двенадцатого.
Была вторая половина сентября. Бабье лето. Удивительно теплыми держались вечера. Но на дворе-то гуляла ночь, и она брала свое, в щели сарая задувала влажная прохлада.

25. Державин, аэроплан, театр

Была редкостная сентябрьская теплынь. Восемнадцатый год. Второй день, как город полностью очищен от белочехов, словаков, сербов, белогвардейцев... Несколько дней кряду за ними (да и перед ними) по Лаишевскому тракту спешили котелки, вуальки, животы, осененные тяжелыми крестами, прочие с чемоданами и баулами в руках, на тележках... Катили-пылили, обгоняя друг друга, перегруженные экипажи, автомобили... «Коалиция всех живых сил», как они называли себя в газетах, бежала.

В считанные часы, с появлением на улицах красногвардейцев и моряков Волжской флотилии, Казань, подобно завидевшей жениха невесте, вспыхнула румянцем кленовых листьев, зарделась маковым цветом флагов и транспарантов, бантов и косынок, повязок на руках бойцов народной милиции и солдаток-мусульманок. После стихийных собраний и митингов, которые прокатились по заводам и фабрикам, паркам и синематографам в невероятном количестве, двенадцатого сентября народ толпами повалил на Театральную площадь – в городском театре ожидалось выступление председателя Революционного военного совета республики, народного комиссара по военным и морским делам Льва Давидовича Троцкого, члена исполнительного комитета Петроградского Совета товарища Мгеладзе, других высших командиров-освободителей. В праздничной толчее сновали мальчишки с кипами листовок, газет, выкрикивая лозунги и приказы возродившейся Советской власти:

– Да здравствует всемирная социальная революция!

– Сделаем вечным царство рабочего класса!

– Да здравствует Российская коммунистическая партия (большевиков) и вожди ее Ленин и Троцкий!

– Объявление о купонах! Приказ главного комиссара Народного банка! Читайте, читайте!..

Из ворот Николаевского сада в сторону площади выбежали три подростка – два мальчика в ученических формах и фуражках и белоснежно-кудрявая девочка в матросском платье-костюмчике, ее кудри прикрывала на затылке соломенная шляпка с голубой ленточкой.

– Коля, не отставай, – окликнула она долговязого мальчика, замешкавшегося на мостовой. – Под конку попадешь.

– Ты с ним, Таня, как с маленьким, ей-богу! – улыбнулся малорослый, сутулый, если не сказать горбатый, мальчик. Плечи его были широки. Широко он и шагал. И улыбка у него была широкая, открытая, вселявшая вместе с синими, васильковыми глазами чувство доверия к себе и симпатии. Он держал Таню за руку. – И тебя, Николай Сергеевич, возьму на буксир, – сказал он долговязому. – Не поспеем таким шагом.

– Успеет, вы только внимания на меня не обращайтесь, – махнул тот длинной рукой. Кителек на подростке коротковат, а на груди – мешком. Коля был чрезвычайно худ.

– Не волнуйся, Сёма, – сказала она одному и потянулась за другим, но тот остановился, вздернув палец к небу.

– Смотрите, аэроплан!

Совсем низко в направлении от Театральной площади к Рыбнорядской летел двухместный биплан с винтом, мелькавшим сзади, за фюзеляжем.

– «Фарман», – определил марку аппарата долговязый Николай.

– Откуда знаешь? – спросил Сема.

– Это же он несколько раз на город налетал и сыпал бомбы на белогвардейские батареи и казармы. Я видел, как чехи по нему из винтовок палили.

– Я тоже слышал... Говорят, под Казанью целый аэроотряд располагается.

– Ах, прелесть! – Таня стояла сцепив пальцы на груди и зачарованно наблюдая за сказочной птицей. – Вот бы полетать!

Аэроплан, блеснув на солнце серебром, скрылся за Воскресенской церковью. Ребята, как и толпы прохожих, еще долго вглядывались – не появится ли чудесная птица опять?

Таня, Сема, Николай, охваченные в тот сентябрьский день всеобщим вдохновением, спешили в театр на митинг. Но разве беспрепятственно дойдешь до цели, когда над тобою кружат стальные птицы и все вокруг поет, торжествует и сердце в груди отсчитывает всего лишь четырнадцатый годок!

Вошли в Державинский садик, который уютно расположился между театром и большим Николаевским садом. Вот и задумчивый Гаврила Романович, Бакыр-бабай, как его, потомка мурзы Багрима, ласково прозвали местные татары, на высоком постаменте, в бронзовой тоге и с бронзовой лирой в руке. Он, казалось, тоже вместе со всеми казанцами радовался освобождению города.

Сема подскочил к памятнику, вознес, подобно великому поэту, длань:

Как весело внимать, когда с тобой она

Поет про родину, отечество драгое...

Запнулся. Опять повторил два стиха, чтобы разбудить память, но безуспешно – запомнил Державина.

– Дальше, дальше... Как там у него? – не опуская руки, щелкнул он пальцами.

На помощь пришел Николай:

И возвещает мне, как там цветет весна,

Как время катится в Казани золотое...

– Во, точно: как время катится в Казани золотое!

– Мальчики! – с напускной сердитостью перебила Таня. – Долго еще будете упражняться в декламации? Да-с, Гаврила Романович любил внимать хорошим чтецам, исполнявшим его стихи, но вы, прямо скажу, артисты никудышные. Идете на митинг?

– Идем, идем! – спохватились мальчики.

Взявшись за руки, ребята побежали. Впереди, вышагивая аршинами, Сема, за ним – Таня, позади, точно на привязи, – Николай.

Городской театр встретил их гулом и толчеей. У входа давка. Седой красногвардеец с кумачом на рукаве сдвинул мохнатые брови:

– А вы куда, пострелята?

– На митинг! – выпалила Таня.

– Ха! Это вам не Яшкин балаган!

– Товарищ комиссар, – заговорил, чеканя каждое слово, Сема, – мы являемся представителями трудовой учащейся молодежи свободного социалистического города и имеем полное право присутствовать на собрании горожан.

– У-у, коли представи-и-тели!.. – обнажил красногвардеец обломки прокуренных зубов, – тогда милости просим.

– Будущие хозяева страны... – не унимался Сема.

– Дак вы не пробьетесь, хозяева. – Красноармеец стрельнул взглядом поверх толпы, откинул огромную деревянную кобуру подальше за спину. – Шут с вами, протолкну, авось-небось да как-нибудь... – Сгреб ребят железными ручищами, и монолитная четверка двинулась упрямым челноком, вертясь и петляя, сквозь людскую пучину.

Протиснулись на балкончик, пригнездившийся почти над самой сценой. Дяди-тети потеснились, пропустили ребят к обшитой бархатом перегородке, за которой открылись взору шик и блеск переполненного театра, пурпурно-золотистая торжественность сцены.

Митинг уже шел полным ходом. Высоколобий, с профессорской бородкой и в профессорском пенсне... в не совсем вяжущихся с академическим ликом кожаных галифе и кожаном френче, в щегольских офицерских сапогах и с кожаной кепкой в руке слегка располневший мужчина, выдвинувшись вперед красного стола президиума к самой кромке истертых подмостков, держал речь. Стеклошки пенсне его вдохновенно поблескивали – то одно, то другое, то оба разом. Говорил он страстно. Ребятам казалось, что, раскалившись, он вот-вот оступится и упадет в оркестровую яму. Но оратор, по всему виду, был тертый.

– Кто это? – шепнула Таня всезнающему Семену на ухо.

Тот пожал плечами.

– Са-а-ам! – многозначительно протянул, услышав Танин вопрос, сосед в бушлате военного моряка.

– Кто сам? – переспросила через некоторое время девочка.

– Троицкий, – был короткий ответ матроса.

Кто-то рядом шикнул:

– Тише вы!

Оратор в этот момент вновь опасно шагнул вперед:

– Товарищи, нужно действительно сказать перед лицом всего рабочего класса, что если для буржуазии, для дворянства, для помещиков тяжело наше господство, то для них еще более тяжело наше падение...

– Как это? – Таня дернула Николая за рукав. В ответ мальчик лишь головой мотнул – то ли не мешай, мол, то ли Николай сам чего-то не понимал.

Оратор продолжал виртуозно балансировать на краю пропасти.

– Если бы нам суждено было историей пасть, во что я не верю, и никто из вас в это не верит... – в зале раздались рукоплескания, пробежали по рядам выкрики: «Правильно, законно...» – Но если бы нам суждено было пасть, то горе нашим врагам, ибо, падая, мы подмяли бы их под себя и растерзали в клочья.

Николай опять мотнул головой. Выступающему это словно не понравилось, и он, бросив обжигающий взгляд на балкончик, произнес пламенно:

– Да, да, без никаких! – И продолжил в битком набитый зал: – Мы, товарищи, дорожим наукой, мы дорожим культурой, мы дорожим искусством. В здании этого театра они нам дороги, мы хотим ими завладеть, сделать красивым искусство для народа, со всеми его науками, университетами, но если бы наши классовые враги захотели снова показать, что все это существует только для них, а не для народа, то мы скажем: гибель театру, науке, гибель искусству... Мы, товарищи, все любим солнце, которое освещает нас, но если бы богатые и насильники захотели монополизировать солнце, то мы скажем: пусть потухнет солнце и воцарится тьма, вечный мрак...

Николай снова повел головой, рванул ворот форменки и вдруг, не сказав ни слова, кинулся к

выходу.

– Куда ты? – воскликнула Таня и устремилась за ним.

– Шляются туда-сюда! – проворчал баском юноша-солдат, взглянув на соседей по балкончику. Но его не поддержали. Живая стена молча расступилась, пропустила и девочку, затем и третьего их товарища.

Таня выбежала из театра – Николая не видать. Она обогнула огромное театральное здание, пересекла уже не столь решительно площадь и совсем растерянная, скорее машинально, чем сообразуясь с мыслями, ступила на дорожку Державинского садика.

Летел багряный кленовый лист. Посреди многошумного города аллеи сквера волшебным образом хранили тишину.

...Тот, кого она искала, сидел на лавочке, бледный, откинув непокрытую голову.

– Что с тобой, Николенька? – спросила Таня, подсаживаясь рядышком. Тот встрепенулся, застегнул у тонкой шеи пуговицу.

– Ничего.

– Как ничего? Я же вижу. Тебе дурно?

– Уже лучше... Голова закружилась в театре.

– Отчего?

– Воздуху мало в театре...

– Нет, это тебя на лестнице сильно прижали, когда на балкончик пробивались. Ничего, пройдет, дыши глубже, здесь свежо. – Она приложила ладошку к его холодному лбу...

У лавочки вырос Сема.

– Николай Сергеевич, где твой головной убор?

Николенька прихлопнул на макушке волосы, заозирался.

– Потерял.

– Держи. – Сема протянул фуражку. – В следующий раз голову не потеряй.

– Опять аэроплан летит, – сказала Таня, придерживая шляпку с шевелящейся на легком ветру голубой ленточкой.

Сема поднял глаза:

Фарман, фарман!

В душе туман.

Лети, биплан.

Любовь обман.

Таня добавила:

– Недолго думал графоман.

Оба рассмеялись.

Николай заправил непослушный чуб под околышек фуражки и безучастно посмотрел на серебриющуюся в небе большекрылую птицу.

К вечеру у него поднялась температура, и он, мечась в жару, сбивая простыни, вышептывал слабым голосом:

– Не надо, чтобы солнце потухло...

Отец Николеньки – Сергей Андреевич Новиков на собрании в Городском театре не был. Речь Троцкого он прочитал в газете «Знамя революции» (орган Временного революционного гражданского комитета г.Казани и губернии) на второй день болезни сына, сидя у его постели.

В том же номере была помещена телеграмма Ленина:

«Казань. Троцкому.

Приветствую со взятием Симбирска. Я уже завтра начинаю заниматься делами. Ленин».

Да, уже и Симбирск был взят. Об этом телеграфировали начальник штаба Первой армии Корицкий и политический комиссар Куйбышев.

Под рубрикой «Отклики на взятие Казани» свои телеграммы адресовали Троцкому председатель Петроградского Совета товарищ Зиновьев, председатели и секретари различных съездов и пленумов.

Сергей Андреевич не был любителем поэзии, но стихотворение Демьяна Бедного, опубликованное на второй странице под названием «Казанским товарищам», как истинный казанец пропустить не мог.

Товарищи. Вчера

Вас Троцкий чаровал бодрящими словами.

Наш красный вождь прощался с вами

Под ваше мощное ответное «ура!».

В прощанья час

С какою жадностью я всматривался в вас,

Внимательно следя за каждым вашим взглядом,

Ловя ваш гневный вопль и бодрый, бурный смех.

Когда сомкнетесь вы, друзья, стальным отрядом
С рабочею Москвой и красным Петроградом,
Я вас узнаю всех!
Я знаю: краток срок разлуки
И не надолго вы прощались с вождем.
Товарищи, винтовки в руки!
Мы с Красной Армией вас ждем!

*Демьян Бедный
(Казань. 13 сентября)*

И речь, и телеграммы, и стихи Сергей Андреевич читал невнимательно, все всматривался в бледное лицо сына с ярким, лихорадочным румянцем и воспаленными подглазьями, вслушивался в однообразное, упорно повторяющееся одно и то же бормотание:

– Не надо, чтобы солнце потухло, не надо...

26. Когда не спится

Шел четвертый час ночи. Или, вернее сказать, – утра. Николай Сергеевич не спал. Не бодрствовал, как обычно, а именно не спал: в эту ночь ему не работалось, уже в первом часу он выключил свет, натянул одеяло на голову, и неугомонный рой воспоминаний закружился в голове. Чтобы перебить их, он несколько раз поднимался, пил сладко-кислый напиток «гриб», повторял: «Белый снег рябит в глазах, остужает сердце», но ничего не помогало, ни сердце, ни голова не остужались, бессонница продолжала здравствовать.

Да, в восемнадцатом году он потерял из-за Тани голову окончательно. Какая глупая фраза: окончательно потерять голову. Только ли фраза? Ведь скажи кому, что, полюбив в тринадцать лет, ты сохранил эту любовь в себе до самой седины, не поверят, посмеются. И смеются... Над его одиночеством смеются. Не могут представить себе, что одиночество и любовь, случается, бывают синонимами.

«Николай Сергеевич, вы любили когда-нибудь?» Да, любил! Очень любил. И даже тогда любил, когда она вышла за другого замуж. И после, когда развелась...

И теперь люблю. Люблю, как солнце, но никогда б в этом не признался. Лишь раз, в восемнадцатом, в Державинском садике, чуть не слетело с губ...

Не спалось.

Шел четвертый час ночи. Или, вернее сказать, – утра. Киям Ахметович не спал. Как вернулся от Николая Сергеевича, так принялся колотить по листу железа – творить чеканку, картину летящих навстречу рассвету белых голубей. Высоко взмыли они в небо, под ними волнуются пшеничные поля, шумят перелески, плещется в стремительном беге по старому руслу мимо города с белокаменным кремлем великая Волга. Раз пять молотком взмахнул – прибежала дочь: ты что, отец? Ошалел? Весь дом разбудишь!

– А что, уже поздно? – залепетал, опомнившись. И уже шутливо: – Прости, Роза Киямовна, забылся. Тишина, полная тишина!

Через пять минут юркнул под одеяло с намерением тут же уснуть, поджал ноги, обнял подушку и... о чем только не передумал, ворочаясь в постели и замирая в пустой надежде услышать тихое приближение сна. Нет, ни крошки сна в глазах нет. Разговоры в гостях у Николая Сергеевича не прошли даром. Вот и майся всю ночь. Клубком, вздернутым за хвост, размоталась перед глазами жизнь. Двадцатые годы, тридцатые, война... Неужели это все один человек?! А проклятые сороковые, когда его, признанного артиста, известного – и не только у себя в республике – иллюзиониста, инвалида войны наконец, оставили без работы. С инвалидством сам виноват. Не собрал вовремя нужные справки, не оформил свою контузию документально (две контузии), теперь не кивай. А люди спрашивали, письма писали: где тот фокусник, чародей и волшебник, который из воды молоко делает и прямо на глазах пшеницу выращивает? Но что люди, что народ, комиссия не признала, вот и все. Двенадцать комиссий во главе с... Не все ли равно, с кем во главе! Теперь ее нет, этой высокопоставленной головы. На должности нет. А три года безработицы есть. Ладно, в двадцатые голодал. Но на четвертом десятке лет советской власти – вот ведь что непонятно. Куда уж только не писал! В результате новая местная комиссия тычет тебе в нос твоим же письмом-жалобой и объявляет профнегодным. Три года на шее жены – артистки хора оперного театра. Три года. После двенадцатой комиссии объявил голодовку. Вспомнил свою пустобрюхую молодость и объявил. Женская половина семейства в слезы... Первые три дня тяжело было, голова кружилась, подташнивало, вялость... На четвертый – резкое улучшение самочувствия, просветление какое-то, бодрость и неземная приподнятость. Кругом все жуют (оказывается, все и везде жуют), а ты чист, легок, как колодезная вода. Неделя так, на воде, проходит, вторая... Домочадцы смотрят, глава семьи ноги не протягивает,

свеж, деятелен, в самодеятельность какую-то руководителем на общественных началах прописался, дает бесплатные концерты... Прикатили из обкома профсоюзов: что такое? Голодовка в советской стране? Мы к коммунизму, а он бойкоты чинит? Прекратить! Много всякого было сказано. Только в сути дела никто разобраться не хотел. Что ж, воды в Казани, слава аллаху, хватает, продолжал кишочки полоскать. Через два дня пришли из поликлиники обследовать травму черепной коробки. Сто лет знать не знали о его треснутой черепной коробке, а тут вспомнили. Написали направление в психбольницу. Обследоваться... Не хотел идти, да там не спрашивают, сами приехали, посадили в машину и – на госхарчи. Через день начал кушать. Продержался, как задумал, тридцать суток и хватит, все, жить-то хочется.

Говорят, тринадцать – число несчастливое. Для кого как. Тринадцатая комиссия образовалась в психбольнице. Комиссия признала обследуемого не своим пациентом, но с месяц для профилактики у себя продержала. На довольствии для сумасшедших сожженные при голодании десять килограммов веса восстановились стремительно.

Когда есть артист и когда есть народ, любящий его, то никакой стены между ними быть не может. А если ее кто-то искусственно возводит, то она рано или поздно рушится. Ее народ рушит. В пятьдесят восьмом вернулся на сцену. Вернули. Без всяких комиссий. Они нужны, оказывается, только для того, чтобы кого-то законно и обоснованно закопать.

В заводской клуб на выступление самодеятельного коллектива, которым он руководил с некоторых пор и за который с некоторых пор получал небольшие, но все равно деньги, пришли новый худрук филармонии и новый предместкома и сказали: не место дубу в глиняном горшке. Кто в коллективе руки не подавал – распростерли объятия, кто в коллективном письме-ходатайстве с просьбой восстановить артиста на работе подпись свою боялся поставить – наперебой приглашали в свои выездные бригады, потому что и вахтер знал: где иллюзионист Мухаметшин, там кассовый сбор обеспечен.

Но недолго проработал. Сказалась контузия (не зря, видно, все-таки «с головой» в психушке держали). Но на этот раз – другие времена, другие нравы! – инвалидство установили. Законным инвалидом и вышел на пенсию.

Вспомнились почему-то заливные луга под Казанью, вспомнилось, как в пятьдесят седьмом любимая Волга, запруженная Куйбышевской электростанцией, затопила те луга. Жена вспомнилась, Марьям, юная, белокожая, смешливая, с бесенятами в глубине темных глаз... Бакалдинские пристани по старому руслу Идели, где познакомились с ней на коммунистическом субботнике... Куда все подевалось? Так быстро, так быстро проходит жизнь! Нет на свете ничего короче человеческой жизни. Надо будет, подумал он, пристаньку ту перенести из памяти на свою железную картину. Что-то же должно остаться... Завертелась Юлька перед глазами. Маленькая, в легком, вспархивающем при любом легком движении платьице. Кружится, спрашивает: «Похожа я на колокольчик?» Шаих явился. Чем-то напоминает он ему далекое детство, как-то близок он его душе, юный мужчина с прищуром глаз умудренного жизнью асакала. Когда в воспаленной памяти вырисовался его отчим, Киям Ахметович тяжело поднялся с кровати, подошел к старым, скрипучим, как он сам, стенным часам, взгляделся – начало пятого.

– Но где я эту красную носастую физиономию видел?

И подумал: «Почему физиономию, а не лицо? Странно». Включил настольную лампу. В глаза бросилась папка с рукописью Николая Сергеевича. На папке каллиграфическим почерком – «Эликсир молодости». Надо почитать.

Глава шестая

27. Друг юности туманной

– Гора с горой не сойдется, а горшок с горшком столкнется, – сказал Аширов.

– Бослюд? – удивился Генка-Сорвиголова.

– А кто же еще? – Аширов приобнял друга детства, которого узнал сразу, несмотря на его испитое, сизо-буро-малиновое с мешками под глазами лицо. – Чего шляешься по тылам? От войны бегаешь? Или при деле каком приписан? Какими ветрами на Волгу занесло?

– Ишь, быркий какой! То и это скажи, и то выложи. Сам-то? Сам?..

Рядом с Генкой, одетым в кургузую бабью фуфайку, Аширов выглядел фон-бароном – на нем и двубортный средней помятости пиджак, и шляпа фетровая, и выбрит гладко...

После ночного побега из военкомата судьба для него сложилась наилучшим образом. Безмолвный домик на Савиновке встретил нового хозяина ровным тиканьем ходиков, хлебом, солью, вареной картошкой на столе и мягкой чистой постелью на высокой железной кровати. Он полежал, блаженно переваривая добротную пищу и наблюдая, как кот на ходиках водит туда-сюда глазами, и уснул, не задув керосиновой лампы. Расслабился, уверен был, что невезуха осталась позади.

На рассвете Аширов обежал окрестность, не изменилось ли что с тех пор, когда еще по весне заметил этот полузаброшенный домик на случай провала «кладовщика Ивана Петрова», когда провел первую рекогносцировку местности и предварительные переговоры о купле-продаже с хозяином, живущим по соседству. Нет, не изменилось. Все то же кладбище рядом, монастырь с обезглавленной колокольной, тишина...

Довольный, отправился к Марийке. Поскребся в окно к ней, завидев на подоконнике горшок с лопуховидным цветком, сигнализирующим о безопасности. Марийка распахнула дверь и, как ни приготавливала себя к встрече с милым, громко ойкнула.

– Тише, дура! – сказал Аширов и прошел в избу.

Пробыл у нее от силы минут десять. Помацал, сделал указания и вон.

– Куда ты?

– Дела ждут.

Спустя час он уже разгуливал в одних трусах по комнате кассы продконторы в центре города, выбирая нужные для «дела» бланки и проставляя в них печати. Через ту же форточку, через которую протиснулся в контору, выбрался обратно на свежий воздух, на пустынный двор (до начала рабочего дня было еще много времени), заваленный картонными и фанерными ящиками. В одном из них лежали его аккуратно сложенные вещи. «Нет худа без добра, – подумал Аширов, – на сухарях арестанских похудал, дошел до кондиции, вон в какую форточку пролез!»

Форточку эту он заметил работая еще кладовщиком Иваном Петровым.

Солнце только-только показалось за Казанкой из-за холмов Русской Швейцарии, когда Аширов уже вернулся домой. Он подтянул на ходиках гирьки и нырнул в прохладную постель. Уснуть, однако, не удалось, разгоряченный чугунок (так он называл свою голову) продолжал упрямо варить и никак его не остудить было. Так и не соснув ни минуты, истерзав постель, излупив подушку, Аширов пошел открывать дверь Марийке, которая пришла, как и договорились, ровно в восемь.

Несмотря на песок в глазах от бессонницы, он встретил возлюбленную ласково. Во-первых, из ее холщовой сумки тянуло мясными щами, а во-вторых, он подвел черту под планом, который продумал в эти утренние часы до самых мелочей. Для подготовки к «делу» ему, по подсчетам, требовалась всего лишь неделя.

Единственно, над чем висел знак вопроса, – сообщник. Позарез нужен был подручный. Но где его выкопать?

И вот – Генка Сорвиголова. Ассистент – лучше не придумаешь! Аширов наткнулся на него у Нижних пристаней через неделю после новоселья и удачного похода в продконтору. Тот стоял за штабелем дров и наблюдал за погрузкой на баржу ржаного хлеба. Кирпичи хлеба, уложенные в лотках, таскали с подвод по шатким мосткам через дебаркадер бабы-грузчицы. У одной из телег торчал солдат с винтовкой. Генка чесал заросший щетиной подбородок и водил зелеными глазами, следя за мельтешащими бабами, точно кот на часах-ходиках. Только у кота настенного глаза были безразличными, а у этого горели голодным волчьим огнем. И с Ашировым он повел разговор, не сводя с грузчиц глаз, словно одна из них должна была обронить буханку и заранее об этом предупредила Геночку.

– Слюни-то подбери, – усмехнулся Аширов, закуривая и пуская дым в лицо дружка туманной юности, с которым однажды всю ночь и все утро промывали на речке зады от соли, пущенной колхозным сторожем Ерофеем вслед яйцекрадам.

– И куда они все это грузят? – скривил рот Генка. – В городе по карточкам, а тут – подводами, баржей... Куда-а?

– На кудькину гору. Курить будешь?

– Давай, – оторвал взгляд от погрузки Генка.

Взяв папиросу из голубой коробки со скачущим на фоне гор абреком, Аширов сказал без обиняков, что с умом-то хлеба можно отхватить больше всех этих несчастных подвод, вместе взятых. И очень просто.

– Шутишь? – подавился дымом Сорвиголова.

– Ничуть.

Генка лишь теперь обратил внимание на фатовый вид земли, на его шляпу, пиджак, ботинки, бликующий голубизной подбородок, и крапчатые зеленые глаза бродяги блеснули уважением.

То, что он бродяга и дезертир, Аширов понял сразу. Потому с ходу и повел открытый разговор. «Нет, не изменился ты, – думал, продолжая говорить о деле, Аширов. – Кое-что с тобой сварганить можно». Он знал и пределы Сорвиголовы – и физические, и умственные, и прочие. И не обольщался. Но все равно – в данной ситуации это было находкой.

Аширов привез друга детства, а теперь и компаньона, к себе на Савиновку и перво-наперво занялся его внешним видом. Вскипятил на примусе ведро воды, дал кусок мыла, бритву...

– Тебя легче опалить, чем побрить.

– Зарос малость.

– А провонял!

– Как война началась – не мылся.

Ведро оказалось недостаточно. Ладно, пришла Марийка. Она натаскала воды с колодца, поднакачала примус так, что он загудел, как Змей Горыныч, и побежала за харчем.

Генка водил опасной бритвой по щекам и благодушно вспоминал:

– Помнишь, из самопала по воронам садили? А-а? Ашира-Кашира? Те ведь здорово руку тогдась ожгло. Зато шас – орел. Хотя чего уж, кому кем положено, тот то и есть. У каждой птицы своя взмашка.

– Хенде хох! – грянуло за его спиной. Генка ошарашенно обернулся. На него смотрело черное дуло пистолета.

– Брось шалить, – еле выговорил он.

– Я не шало, – процедил Аширов. – Я последний раз повторяю: перед тобой майор Егоров, Виктор Васильевич. Забудь Аширова. Понял?

– Понял, товарищ майор, усек!

– Продолжайте свой туалет, – разрешил «майор Егоров», опуская тупой нос ТТ в карман.

Генка слотнул слюну, шаркнул бритвой по намыленной щеке, опять обернулся.

– Слушай, так ведь зарезаться можно, ты хоть время выбирай, вишь, лезвиё в руке.

– Тебя просто так не зарежешь, – ласково пихнул в спину коленом Аширов. Закурил. Прошел к тумбочке у стола.

– Портки вот тебе новые, рубаха, пиджачишко. Не совсем новые, конечно, но для тебя новые. Заработаешь – расплатишься.

Плеснул в стакан спирта-сырца, выпил, сморщился:

– Фу, дрянь вонючая!

– А мне? – сыграл кадыком вверх-вниз Генка. Кадык у Гены большой, острый, при бритье всегда бритый в первую очередь. Когда Геннадий пацаном был, дядя – брат матери, вернувшийся с долгосрочного и не совсем добровольного лесоповала, сказал ему при встрече: «Алкашом будешь». «Почему?» – спросил мальчик. «Кадык подходящий», – ответил дядя.

– А мне? – повторил Генка.

– Успеешь. Вернется подруга, поужинаем. Ты где пришивтаровался-то? Или так, где придется?

– Пока у тебя.

– У меня нельзя. Оденешься, пожрешь, документики получишь и ать-два отсюда! Понял?

– Понял.

– Не понял, а есть, товарищ майор.

– Есть, товарищ майор!

Генка, чисто выбритый, вскочил с табурета, молодо ослабил, козырнул.

– К пустой голове руку не прикладывают.

– Смею заверить, товарищ командир, она не так пуста, как кажется.

– Я имею в виду – к непокрытой, болван. – Аширов смерил взглядом компаньона, как портной заказчика, и подумал: «Пентюх пентюхом, каким был, таким и остался». – Вслух произнес: – А с одной стороны, это и хорошо.

– Чего – хорошо? – не понял гость, завесив тощую безволосую ногу над штаниной «новых портков».

– Но с другой – не очень... Но другого мы не допустим. Одевайся, одевайся, – сказал Аширов и кивнул на окошко: – Вон моя краля топает.

...Наверное, впервые за все годы дезертирства так основательно набив желудок, обо всем переговорив и получив повестку, из которой следовало, что он, некто Г.Н. Трофимов, призывается на фронт, Генка – новоявленный призывник, когда окончательно стемнело, не спеша пошлепал из грязной Савиновки в город, в свой подвальчик, где втихаря проживал уже третью неделю. На душе спокойно: повестка давала возможность не предъявлять паспорт, которого у него и не было.

28. На мельзаводе

Встретились через два дня. Генка ахнул: перед ним был не Аширов, а натуральный гвардии майор при погонах, налитой тяжестью кобуре и самое большое удивление – на мотоцикле с коляской.

– Сатана! – надтреснутым голосом промолвил Генка.

– Ну-ну, без эмоций, – отрезал Аширов, – садись. Да не назад, а в коляску. Живо!

Заехали на какую-то свалку. Там Аширов заставил Генку переодеться в солдатскую форму.

– Ну, черт, ну, татарин! – озирал тот себя в непривычной одежде – гимнастерке, сапогах... –

Государство меня в это обрядить не смогло, а ты – раз, два и готово!

– Мешок мешком, – матерился Аширов, – ремень хоть подтяни.

– А как?

Новобранец и не заметил, что майор сделал с ремнем, как под грудной клеткой внизу точно железным обручем сдавило.

– У-у, больно же!

– Терпи. – Аширов толкнул, и Генка плюхнулся в мотоциклетную коляску. – И слушай. Сейчас рванем на мельзавод в Печищи.

– Где это?

– Тебя это не должно колыхать. На той стороне Волги. Короче, я зайду к директору, а ты останешься у тачки. И смотри, чтоб не заглохла.

Аширов продумал все. В нагрудном кармане его, в удостоверении личности, над которым он покорпел более всего, покоилась накладная – на бланке, с печатью, комар носа не подточит! – на получение на мелькомбинате «Красный кормилец» 50 (пятидесяти) тонн муки для воинской части. К ней приложена доверенность на начальника интендантской службы майора Егорова.

Пятидесяти тонн! Ни больше ни меньше. И все подозрения побоку. Это когда пять мешков, можно проверять и перепроверять, а когда полста тонн – какие могут быть сомнения? Но Аширов на всякий случай велел держать мотоцикл наготове и пистолет снял с предохранителя. И кобура, лежащая на ягодице, случайно у него расстегнулась...

Но все обошлось. Директор, этакий туз бубей, рыжий, вальяжный, угостил гвардии майора американской сигаретой, завел разговор о тяжелой доле руководителя в тыловом городе, о доле, которая, пожалуй, не легче фронтовой, и размашистым росчерком пера снял с души беспокойство.

– Теперь к бухгалтеру, товарищ майор.

Бухгалтер оказалась толстенной бухгалтершей. Она без лишних разговоров выписала под копирку три экземпляра накладной. Один экземпляр сунула к себе в папку, два других протянула Аширову:

– Один себе, другой в проходной оставите.

– Наверде пропуска... – уточнил Аширов, любовно складывая важные бумаги. – А вас как звать?

– А что?

– Нет, просто... Как увижу красивую женщину, пытаюсь имя угадать. Ведь имя должно соответствовать...

– Светланой Петровной. – Лик каменной бухгалтерши вдруг размяк во влажной улыбке. – Соответствует?..

– О-о! Прямое попадание! Когда был на фронте, наш комполка любил повторять: у женщины все должно быть красивым, – и лицо, и имя, и одежда. Знаете ведь, как на фронте, только о вас в свободную минутку и разговоры. Достанут мужички фотки своих зазнобушек, полюбуются, друг другу покажут и в бой с Любушкой, Верочкой или вот со Светочкой у сердца...

– По всему видать, многое вы повидали, – произнесла Светлана Петровна, не сводя с майора глаз. – Но с моей фотокарточкой никто в бой нейдет.

– Почему?

– Так уж получилось. Не успела я своего суженого повстречать. Война распроклятая!

– Оттремит скоро, повозвращаются солдатики. – Аширов заторопился, время терять с толстухой было некогда. В другой бы час, в другой обстановке...

Но бухгалтерша посчитала свой долг перед майором-фронтовиком невыполненным и взялась проводить его до лаборатории, где в документах ему должны были указать сорт муки, влажность и т.д.

Во дворе нервно вился вокруг мотоцикла Генка. Увидев «командира» с толстенной бабой, застыл, выжидая.

Аширов бросил мимоходом:

– Глуши мотор, покури.

В лаборатории выяснилось, что муку Аширов должен вывезти сегодня же.

– Но у меня сегодня транспорта нет!

– Раз сегодняшним числом оформлено, – ответили ему, – значит, сегодня и через проходную должны пройти.

Помогла Светлана Петровна. Она коснулась локтя майора и сделала глазами: «Не волнуйтесь».

Когда опять вышли во двор, бухгалтерша посоветовала заглянуть в местный сельмаг и, если у них склад пустует, попробовать договориться на время занять его.

– Хотите, я вместе с вами и туда пройду?

Аширов сказал себе: дело в шляпе. Он метнул давно погасший окурок в мусорный ящик за дорогой, и чинарик точно угодил в раскрытую пасть мусорки. Отличная примета.

Действительно, заведующий сельмагом, одноглазый пончик в выцветшей гимнастерке, уговаривать себя не заставил, сказал, почтительно глядя то на гвардии майора, то на бухгалтершу мельзавода:

«Пожалуйста, с весны в амбаре нашем ветер гуляет». Дал ключи. Аширов попытался выяснить, сколько должен будет за услугу, завмаг лишь отмахнулся: какие, мол, счеты?!

– Вот и все, – радостно улыбнулась Светлана Петровна, когда они пошли обратно. Но гвардии майор был невесел.

– Как же мне пятьдесят тонн муки к магазинчику перетащить? На мотоцикле?

– Почему на мотоцикле?... Зайдите к нашему директору, у нас же и конюшня имеется. Хотите, вместе зайдем?

Рыжий туз встретил давешнего майора и своего главбуха радушно. Узнав, в чем загвоздка, высунул голову в предбанник и зычно приказал:

– Начальника конпарка ко мне!

Седенький старичок в сером рабочем халате, кепке, с огрызком карандаша за ухом, оказавшийся начальником конпарка, дело свое знал: приказ директора помочь майору – это все хорошо, поможем, но лошади не люди, бесплатно работать не привыкли. Договорились: на операцию – семь подвод, шесть возчиков, за ударный труд – пять мешков муки. Не едят лошади муки? Эге, еще как едят!

– Грабеж средь бела дня, – констатировал гвардии майор, но другого выхода не было.

Пока конно-гужевая гвардия собиралась, Аширов вновь заглянул к Светлане Петровне.

Она вспыхнула, как чайная роза в мае. Он щелкнул каблуками, уронил голову в поклоне и жарко от имени всей воинской части, отправляющейся на днях на фронт, поблагодарил за неформальный подход к своим обязанностям и предложил отметить вечером удачно сформировавшееся дело.

Она не ответила, но было ясно – согласна. Стеснялась сразу обрадоваться, слишком долго она ждала этой минуты, может быть, всю жизнь. И не было сомнений, что эта минута именно та, заветная, что этот человек – именно тот, единственный, лично ей ниспосланный.

– И последняя просьба, несравненная Светлана Петровна, где бы мне с моим помощником и мотоциклом запарковаться? Самый, пожалуй, сложный вопрос... – прищурился Аширов.

– Ба-а, таким дорогим гостям у нас всюду рады. Не беспокойтесь – и крыша над головой будет, и все остальное... – сказав такое, Светлана Петровна зарделась пуще прежнего...

Грузчики работали до вечера.

Когда в бревенчатый амбар, служивший сельмаговским складом, снесли последний мешок муки, было уже темно. Аширов замкнул тяжелую скособоленную дверь и зло закурил: уже ночь на дворе, а от Светланы Петровны ни привета, ни шиша... Обманула?

У мотоцикла, где остался Генка, послышались голоса. Аширов взгляделся во тьму: помощник стоит с какой-то незнакомой кралей и показывает рукой в сторону склада. Краля рассмеялась, хохотнул и Генка. Гвардии майор развел складки под ремнем и неспешно направился к мотоциклу. Все на мази, Светлана Петровна прислала связную.

На следующий день всю дорогу из Печищ Аширов благодушно посмеивался. Генка в люльке, полуживой с похмелья, после каждой дорожной кочки хватался за грудь, словно бы удерживая в ней душу, чем доставлял шефу нескрываемое удовольствие. Аширов смеялся и подбадривал:

– Ничего, к обеду оклемаешься.

– Дай похмелиться, – начинал канючить Генка, улавливая в голосе друга детства сочувствие. Но тот обрывал:

– Нельзя! Доберемся – другое дело, хоть с макушкой окунись.

У Аширова голова с похмелья не болела. Не спал ночь, но пил мало, уж выбирай: или водка, или баба. А баба... А Светочка-конфеточка оказалась на удивление сладенькой. «Все-таки женщины, в отличие от нас, способны на самозабвение», – думал Аширов, в деталях восстанавливая страсти минувшей ночи и улыбаясь воспоминаниям. Неужели вот так вот с первой же встречи можно всерьез говорить о любви? И они ведь все искренни, они не обманывают, как он... Они обманываются. И обманывает их, водит их за нос, забавляется ими всласть, извлекая выгоду за выгодой, он, его превосходительство князь Аширов. Уму непостижимо, ведь трелям его соловьиным верят. Он обещал вернуться за ней, за своей Светочкой-конфеточкой, ровно через две недели, а она и уши развесила. «Буду ждать», – сказала на прощанье и заплакала, обеими руками снимая с лица горошины слез. Наверное, отца на фронт так не провожала, как... Аширов хотел сказать себе «возлюбленного», а сказал вдруг: «Как дезертира и афериста». И от души расхохотался.

У парома, пропуская крытые военные грузовики, застряли. Сзади к мотоциклу подкатил милицейский «козлик» – крытый тентом «ГАЗ-67». Сорвиголова заволновался, похмелье его миглом отлетело. Он выбрался из коляски и, жалко улыбаясь, скрылся в кустах, по малой нужде якобы.

– Далеко не улезай, – бросил ему вслед Аширов. Заглушил мотор, закурил, не сомневаясь ни в своем внешнем виде, ни в документах, ни в том, что на мельзаводе он сработал чисто. Про ночной загульчик в Печищах знали лишь завсельмагом, толстуха Светка да ее подружка Глафира, у которой компания и заночевала. Генка трепался, конечно, лишнего, но все равно – болтать налево-направо ни бабам, ни торгашу резона нет. Перед тем как вырубиться, худосочный Генка все-таки успел покорить

Глашкино сердце, уломал ее. Утром она жалела нечаянное свое счастье в мешковатой гимнастерке, отпаивала огуречным рассолом. «Знали б, кого обхаживали, – думал Аширов. – А узнали бы, ну и что? Может, только тогда и оценили б по-настоящему, на всю бабью катушку, а-а?! Да и так уж!..»

Причалил порожний паром. Разношерстная колонна заурчала, забибикала.

– Геныч, вылазь, – вполголоса произнес Аширов, далеко отщелкнув недокуренную папиросу.

– Что? Поехали, да? – строя лик святого, явился из кустов помощничек. – Кажися, полегчало малость, товарищ майор. – И приложил руку к пилотке.

– Да не козыряй ты, болван! Садись... И не оглядывайся беспрестанно. Похмелиться те легавые не дадут.

– Секунду, товарищ майор, одну секундочку. – Сорвиголова залез в коляску, еще раз оглянулся на нетерпеливый рык милицейской машины, выпрямился, как жердь. – Трогай.

– Трогай, трогай... Не заводится, стерва! – Аширов ломал кик-стартер, матерился... Присутствие духа под взглядом пучеглазого милицейского «козла» вдруг оставило его. И совсем дурно стало, когда дверца машины взвизгнула и выпустила кряжистого капитана с белесыми, свиными ресницами под козырьком надвинутой низко на лоб полевой фуражки.

«И не мильтон... – отметил про себя Аширов, теряя самообладание. – Энкавэдэ, энкагэбэ, патруль, просто случайный попутчик этого «козлика»?.. Черт его знает!» Капитан был в тесной гимнастерке с общевоисковыми знаками различия. Вдоль и поперек по корпусу перехвачен ремнями с тяжелой кобурой на боку.

– Не заводится, товарищ майор? – деловито осведомился он.

– А ну его на хрен! – в сердцах выругался Аширов. – Рухлядь! Выбросить давно пора. И чего маюсь?

– Это всегда успеется. Дайте-ка попробую. – Капитан взял руль, завертел ручкой газа, жажнул сапожищем по рычажку стартера, и «рухлядь» взревела.

Друзья перевели дух лишь оказавшись на левом берегу Волги, когда милицейский «газик» свернул своей дорогой в проселок. Натерпелись на пароме страха: короткошей, белобрысый кэп в тесной гимнастерке завел там душевные разговоры – «что?», да «когда?», да «почему?». Казалось, паром замер на месте. Аширов пудрил мозги как можно спокойнее. О мельзаводе ни гугу. О капитане же удалось выяснить единственное, что фамилия его Дубов. «Точно из органов... – сделал вывод Аширов. – Не дай бог попасться к нему на блесну».

Однако пронесло.

Мирно летели навстречу поля, косогоры, перелески... Мотоцикл больше не капризничал, шел ровно и послушно. Онемевший во время переправы Сорвиголова вновь обрел язык:

– И все ж таки какой такой дряни мы с тобой вчера после водки еще хлебнули? До сих пор она, ити-ё-мать, чердак штопором сверлит.

– Не мы с тобой, а ты... – незло отвечал Аширов. В мыслях он уже прикидывал барыш с печичинской муки.

29. Везет «маэстре» на ассистентов

Аширов оставил заведующему сельмагом образец своей витиеватой подписи с тем, чтобы тот выдавал предъявителю документа с этим автографом столько муки, сколько в том документе над той подписью указано. Зав по-военному отчеканил: «Будет исполнено!» В доказательство он округлил плоской единственным глаз, другой был прикрыт блинчиком черной шоры на тугой завязочке. Ночью за чаркой он занудливо рассказывал всем по очереди (слушатели, не дослушивая, сменялись) о боях под какой-то Занозовкой или Зазнобушкой (это Аширов про Зазнобушку, обнимая Светлану Петровну, вставил, чем основательно всех развеселил, даже сам рассказчик хохотнул без обиды), о том, какая под той Занозовкой была мясорубка и как его, командира отделения, поднявшегося в атаку поперек своих гвардейцев,шибануло фашистской миной. К трем часам ночи водка с самогоном вконец ушатали зава, и он, сильно кренясь то в одну, то в другую сторону, удалился «до хаты, до жинки». А утром – удивительное дело! – чистый, бритый, блестящий, как малосольный огурчик, провожал служилых, заверяя, что все будет путем.

Эх, Россия-матушка, воду на тебе возить, воду!..

Аширов валялся на неразобранной постели в своем уютном домике в Савиновке, постукивая в раздумье карандашиком по нагрудной пуговичке гимнастерки, – произвел только что кое-какие финансовые расчеты. На столе початая бутылка водки в окружении консервов со взбрыкнутыми крышками, под столом отстрелянная батарея бутылочного пива. Полный кайф.

А кто-то в окопах позвоничники студит, удовлетворенно размышлял он. Что – студит?! Сколько их, храбрых солдатиков, уже погнило на полях российских, в удобрение превратилось, сгорело в небе,

утопло в пучине, развеялось по миру прахом. Зато – герои! Единицы. Единицы – герои-то. Сколько в небытие кануло без вести, сколько за так живешь, врага-то в глаза не увидев, получило свою долю свинца и – аля-улю, готово, ждите, родственнички, взамен сына или мужа клочок бумажки с душевно начертанными словами: «Пал смертью храбрых!» А он вот жив. Жив! И еще как! До майора дослужился, ха-ха, наркомовские не по сто граммов принимает, а сколь душе угодно и когда угодно. И тушенка американская на закуску те пожалуйста, и пиво бутылочное на легкую опохмелку. Жизнь-то, она раз дается... И уж кто как может в ней: кто в стадо бараном и на жаровню, а кто, извини подвинься, не хочет быть безвольною скотиной, кто-то личностью себя признает и каждым своим шагом это доказывает.

В окно постучали условной дробью. Прибыл Генка. За два дня он продал шесть машин муки, удивив своей расторопностью шефа, знавшего друга детства как ленивого и бестолкового пройдоху. Были, правда, проблески, когда тот, например, семиклассником загнал машину школьного угля и не попался. Но чаще Генка за свои проделки получал на всю катушку, ходил бит и порот. Ему требовалась сторонняя голова, толковый шеф-наставник, патрон, тогда у него что-то еще получалось. Вот как теперь, в Печищах. И после вот дела идут, и Генка под мудрым руководством, по документам, подписанным начальником интендантской службы майором Егоровым, загружает наемные полуторки мукой и сбывает по пять тысяч рублей за мешок.

Аширов сладко затыкнулся «казбечиной»:

– Чего мнешься в дверях? Заходи.

– Дак я тут домишки попутал. Залетел к соседям твоим, теперича приглядываюсь, перед тем как шагнуть-то.

– Кто видел тебя, нет?

– Детишки... Целая орава. Сидят за столом, а старшой баланду по мискам расхлещивает. И знаешь, супец тот из чего? Из картофельных очистков. Я спрашиваю: где мать? На работе, отвечают. А отец? На фронте погиб. На флоте – выговорить-то не может один.

– Взрослых, говоришь, не было?

– Не-е – шелупень, мал мала меньше. Зато глазища – во! Хлебают... И ни крошки хлеба на столе. Слышь, давай подкинем немного. И картошечки...

– А лучше тушенки с пивом.

– Ну, муки хоть меру? А?

– Сдурел?

– А чё такого? Тоннами ворочаем, не убудет.

– Сдурел, спрашиваю? Через их сенцы напрямик на Черное озеро хочешь, к капитану Дубову на рюмку чая? Благодетель нашелся, богу твою мать. Миллионер. Мамаша-то вернется – поинтересуется, откуда гостинцы. Суседи плинесли... Какие соседи? Откель у них столько жратвы? И вообще, что за соседи появились, почему на фронте кровь не проливают, а в тылу лежат обжираются? Кап – куда следует. И все.

– Жалко ребятишек.

– Не ври. Было бы жалко, пошел б на фронт и, может, голову бы сложил вместо их папаши. А то решил милостыню из своих излишков подкинуть и хорошеньким сделаться. Гони деньгу, миллионер.

Сорвиголова сник, развязал кирзовую сумку, с которой уже несколько дней не расставался, – выменял где-то, извлек из нее пачку денег, перевязанную бечевой.

– Здесь еще за пять мешков не хватает.

– Как это – еще? – поднялся Аширов с постели.

– Завтра должны добавить. Знакомый один... Обещался завтра к десяти как штык...

– Поражаешь ты меня. Двадцать пять тысяч рубликов на честном слове какому-то знакомому в долг?

– Не боись, воды не замутит, он ведь с полуторкой помог.

– Твое дело, ты мог и больше одолжить, но только из своей доли. – Аширов взял пачку и, не развязывая бечевку, сунул за пазуху. – Свое получишь, когда остаток принесешь. – Налил стопку водки, выпил, хрустнул луковицей. – Когда едешь?

– Пряма сейчас. Подписывай документ.

– Перекуси. Ну-ну, только без этого! – осадил он потянувшегося к бутылке компаньона. – Из-за глотка лавочку похеришь.

Подписав своему подручному новую накладную на получение муки и проводив его до порога с напутствиями, в которых было больше ругани и угроз, чем полезных предостережений, Аширов снова приложился к стопке, теперь уже не закусывая, и снова разлегся, задымив папиросой: что-то Марийка не шла. Щей из квашеной капусты обещала – надоела тушенка! Время уже к полднику близилось, а ее все не было. Аширов заметил, что подруга в последние недели две как-то особенно округлилась, налилась упругой полнотою. Не понесла ли? Ребенка в брачных узах с Марийкой он не планировал.

Куда с ним? В мирное-то время – обуза, упаси боже! А тут... Хромой черт Обухов, дознавшись, что автор проекта давно уже не за решеткой, мигом прихромает. Свояк как-никак. И упрячет обратно. Не захочет, а упрячет. Язык-то у него!.. Да и вольно иль неволью любое ухо, услышавшее какую-никакую тайну, автоматически превращается в язык. И когда кому этот язык проболтается, ни богу, ни аллаху, ни тем более хозяину этого паршивого языка неведомо.

Аширов глянул в окно. По лужам рябой зыбью шел осенний ветер, погоняя ворохи желтой савиновской листвы. Как коротко здесь лето! Каких-то три жалких месяца, даже два. На юга подаваться надо, на юга, поближе к морю. Там сейчас бархатный сезон, немцы откатились, житуха должна быть райской. Провернем с мельзаводом до конца и прощайте, жены, свояки, компаньоны...

Перед глазами Аширова поплыли картины с кипарисами, пальмами, которые он видел в довоенных журналах, с рассекающими голубые волны сказочными пароходами, с улыбающимися загорелыми красотками на пляже рядышком не с кем иным, как с ним самим, князем Ашировым, покачивающимся в парусиновом кресле и швыряющим куски бисквита белоснежным чайкам в белую пену волн.

Потом вдруг ни с того ни с сего привиделся вчерашний старик, которого он встретил на кладбище за обезглавленным Кизическим монастырем, бывшим, разумеется, монастырем, а теперь, судя по поблескивающей вывеске, какой-то конторой. Старик рассказал, что на этом кладбище похоронен дед Льва Толстого и еще какие-то знаменитости, показал камень, под которым покоился прах, по его словам, великого астронома, сплававшего в кругосветное путешествие и открывшего Антарктиду. Или Антарктику? А может – Арктику... Эти похожие названия в голове его путались. Затем в полусне мысли вовсе смешались и начался сущий кошмар: будто старик на кладбище и есть тот самый астроном-путешественник – встал из могилы, разгневан: как так можно путать Антарктиду с Арктикой! И вообще, говорит, как тебя, дезертира, земля носит?! И хватает за руку, и волочит к могильному камню, под которым черная дыра...

– О-о! Больно же, отпусти! – вскричал Аширов и проснулся от всамделишной боли в заломленной за спину руке. И услышал уже не во сне, а наяву:

– Не сопротивляться, гражданин Егоров, встать!

Свободной рукой скользнул под подушку, где у него покоился единственный верный друг – новенький ТТ, купленный у сорванцов Забулачья за шестьсот рублей, но оружия на месте не оказалось.

Аширов еще раз охнул – так сильно вскинули заломленную руку в ответ на самопроизвольную и в общем-то бесполезную попытку нащупать пистолет, словно его сразу без суда и следствия решили на дыбу вздернуть. Не залежишься, хочешь не хочешь вскочишь.

В комнате их было трое. Двое его держали, третий, в штатском и, по всей видимости, в этой их группе старший, полусидел на столе, поверчивая на указательном пальце его, Аширова, пистолетиком.

Дверь распахнулась. Споткнувшись о порог, ввалился Генка, подталкиваемый автоматчиком. Аширов сплюнул на половицу: везет «маэстре» на ассистентов! Предатели все, мелкие люди, ни на кого положиться нельзя. Ладно хоть, сволочь, майора Егорова продал, а не друга детства. Аширов смекнул это потому, что его называли гражданином Егоровым.

– Обувайтесь, дорогой Виктор Васильевич, обувайтесь, чего уж теперь плеваться-то? – Это начальник в штатском.

«Все-таки вы Егорова поймали, а не Аширова», – в который раз успокоил себя Аширов.

В те времена в любой дрянной ситуации он находил себе отдушину. Оптимистом был, как ни странно.

Он безуспешно тыкался ногой в голенище сапога.

– Да отпустите вы руку, не сбегу не обувшись.

Уже из-за решетки крытого фанерой грузовика увидел семящую к дому свою квоху с сумкой и бидоном в руках. «Щи тацит, – ядовито пробурчал себе под нос Аширов. – Опоздала. Голодным еду».

Тряслись в полутьме кузова недолго. Генка что-то несвязно мычал в оправдание: мол, соседи клиентов настучали. Главное, что понял Аширов, – в вину им вменялось лишь шесть мешков муки. По мелькавшим за решеткой улицам и закоулкам Аширов пытался представить, куда их везут, но так и не понял. Подкатили к какому-то подъезду и ать-два, даже вывески учреждения разглядеть не успел.

За порогом, на развилке коридоров, с Геночкой их сразу же разлучили. Сорвиголову повели куда-то дальше, а Аширова втолкнули в комнату, где его ждал сюрприз: за столом восседал капитан Дубов, тот самый, что на переправе помог завести мотоцикл, а затем на пароме лез с расспросами. «Гора с горой не сойдется, а горшок с горшком столкнется – вот уж поговорка из поговорок!»

Капитан тоже узнал его сразу:

– А я думаю: Егоров, Егоров... Не тот ли это майор, с которым на переправе познакомились?

Оказывается, тот самый, а?

– Впервые вас вижу, – развязно ответил Аширов, отмечая про себя, что и гимнастерка на капитане та же, тесная, и сапожищи все те же, огромные, под столом не умещаются.

– Нахал, – устало сказал капитан. – Ну дак пускай будет по-твоему, придется еще разок

познакомиться. Рассказывай, Егоров, все по порядку.

– Чего рассказывать-то?

– Фамилия, имя... Подлинные, разумеется. Из каких краев прибыл к нам на гастрологи...

– Ничего я не буду рассказывать, я пьяный, не имеете права допрашивать. Дыхнуть?

– Зачем? От тебя и так за версту разит. Откуда вы тогда на мотоцикле возвращались?

– Я же сказал: под балдой я, под сильной стадией опьянения, наговорю еще фантазий и позабуду. А вы мне и припаяете.

– Увести, – коротко распорядился Дубов. – Завтра поговорим, май-ор...

– Да, майор, и разговаривайте со мной соответственно, не смотрите, что не при полной форме, – расхорохорился было Аширов, но разговаривать с ним больше не стали, конвоир согнул ему руку за спину и вывел из комнаты.

Поместили Аширова в общую с какими-то мелкими воришками камеру. Компаньона не было. Общаться с постояльцами Аширов побрезговал. С похмелья разболелась голова. Он забрался на свободные нары и мгновенно забылся сном.

Утром опять привели к Дубову.

– Протрезвел?

– Вроде.

Капитан дописал что-то в своих бумагах, протер вспотевшую шею платочком и без лишних предисловий спросил, вонзившись глазами в глаза:

– Кто ты?

– У вас же в руках мои документы.

– Фальшивые.

– Это еще доказать надо.

– Нечего доказывать, такой войсковой части, как у тебя здесь нарисовано, и в помине нет.

Дезертир?

– Ни в коем разе! Я б-больной человек. Падучая у меня. Крайняя форма.

Аширов сумасшедше повел глазами, но капитан упредел:

– И не вздумай демонстрировать. Быстро в чувство приведем.

Брякнул телефон. Дубов снял трубку. По отрывистым фразам и сморщившемуся, как от резкой зубной боли, лицу можно было понять, что капитан разговаривает с начальством, и разговор этот ему не нравится. Он попытался было возразить невидимому начальству, но в его мнении на том конце провода на сей раз, по всей видимости, не нуждались. Его прервали на полуслове, и он, крикнув: «Есть!», бросил трубку.

– Жаль, забирают тебя, Е-го-ров, а я бы тут вышелушил твою душонку, ей-богу, как семечко.

– Куда забирают? – не смог скрыть свертрезвой заинтересованности Аширов.

– На курорт, милок, на курорт...

Это известие Аширову не понравилось. Он закинул удочку: «Курорт тот на Черном озере?» Но капитан Дубов не ответил. Да и без того по тому, как засосало под ложечкой, Аширов понял, что будущее его незавидно, что передают его в другое ведомство, где карманными воришками не занимаются, где про художества липового майора Егорова прознали побольше и где, стало быть, ждут его не дождутся Светочка-конфеточка, директор мельзавода, завсельмагом и дело о пятидесяти тоннах муки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава седьмая

30. Первая любовь

Простое ли то совпадение, что на заре жизни Николенька Новиков записал в школьной анкете: «Я буду одинок. Я ни с кем и никогда не свяжу жизнь узами Гименея»? Помнил ли он о том своем категоричном утверждении, когда посвящал по-юношески пылкие поэтические сочинения Танечке Родимцевой?

Та любовь его первая была астрономически возвышенной и, как это часто бывает, сохранилась в тайне – и прежде всего от той, кем вдохновлялась.

Первая любовь...

Второй у него не было.

В годы нашего соседства с Николаем Сергеевичем я не задумывался о причинах его одиночества. Даже как-то в голову не приходило, что он одинок. В каждодневном нашем общении такое его положение казалось в порядке вещей, было данностью, как месяц в небе, как дуб во дворе...

Хотя, впрочем, гроза повергла наш дуб.

Да, его любовью, смыслом жизни, красотой, откровением была астрономия. Но ведь была и Танечка Родимцева. Были и каток на Черном озере, и духовой оркестр, и луна, и искрящиеся снег не снег, иней не иней, а просыпавшиеся с неба звезды. Это она так сказала:

– Смотри, Николенька, звезды сыплются!

И пронзительно синие глаза были, и необидный смех над ним, не умеющим кататься, и поцелуй не поцелуй – легкое прикосновение ее холодных от мороза щек и краешка неумелых губ, каким-то образом жарких на морозе и влажных.

Так от чего же одиночество: из-за несложившейся той любви или из-за беззаветной любви к науке о звездах? Неужто подросток, выведивший тоненькой рукой ответы на вопросник преподавателя древнегреческой философии Сотонина, мог так жестко и однозначно предначертать свою судьбу?

Сема Пичугин с Таней Родимцевой в университет поступили на год раньше Николеньки, который перед самыми вступительными экзаменами заболел двусторонним воспалением легких – ох, уж эти его бесчисленные болезни в юности! – и провалялся в Шамовской больше месяца, а затем почти полгода – дома.

Друзья навещали больного. Они безудержно плескались математическими фразами... Николай, как путник в пустыне, жадно вбирал каждую капельку информации, мечтая поскорее встать на ноги и наверстать упущенное. Насколько подотстал он от своих однокашников за полгода? Хоть как, но не настолько, чтобы не понимать их. С первых шагов дружбы скрытный по своей натуре Семен и сама распахнутость Таня Родимцева признали за Николенькой первенство в образованности. Начитанность его по истории и литературе была просто сногшибательной. Позже выяснилось, что и по математике, физике, ботанике нет ему в школе равных.

Тем не менее в округе и в школе над ним потешались – долговяз, несуразен, в глазах какая-то тень бесовская туманится. Его сторонились. Соседи и однокашники Сема Пичугин и Татьяна Родимцева независимо друг от друга потянулись к угрюмому, нелюдимому, никогда не игравшему ни в какие детские игры сверстнику, и тот медленно, где-то даже нехотя, словно сожалея о своем драгоценном одиночестве, откликнулся на их дружеский порыв. Толчком к сближению послужил случайно выроненный из окна горшок с цветком... Но об этом впереди.

Предрекавший себе полное одиночество Николай Новиков полюбил первых в своей жизни друзей любовью чистой и верной, которой судьба одаривает лишь ребенка. Он и был ребенком. Взрослым ребенком всю жизнь. В младенчестве – поражая серьезной, естественной степенностью, в летах – непоседливостью и ребячьей верой в добро, справедливость и братьев по разуму в океанах Вселенной.

В одном из своих стихотворений друзей своих Николенька сравнил с галактиками, для познания которых «мгновения жизни не хватит». Сын машиниста паровоза Семен Пичугин удивлял Николеньку качествами, каковых ему самому не хватало. Несмотря на свой маленький рост и сутулость, Сема был крепок, ловок, по деревьям лазил как орангутанг, в Казанке плавал, как дельфин в родной стихии, подолгу исчезая под водой и заставляя волноваться, в городки играл – заглядение. Бегал вот плохо: ноги короткие, руками их не заменишь. Но ходил быстро, просто стремительно, вышагивая саженьями. Старался, хоть и не совсем это было для него естественно. Николенька на своих жердях еле за ним поспевал. Однако не физической удалью Семен Пичугин расположил к себе Николеньку – духом, бойцовским темпераментом, напором причудливым нестандартных мыслей, порой корявых и смешных, но в своей голове рожденных, не заемных на стороне. Ему не хватало эрудиции, порой познания его в элементарных вещах хромали на обе ноги. Но он мог мыслить. Как слабые ноги сильны развитыми руками, так шаткий фундамент образования он ловко подменял остроумными мыслями, меткими наблюдениями, сравнениями, выводами в самых различных областях познания – истории, литературе и даже в математике с физикой. Некоторые простенькие задачки, задаваемые в школе, которые Николенька щелкал по общеизвестным правилам как орешки, Семен Пичугин из-за недостатка знаний, а может, избытка самолюбия решал по-своему, озадачивая педагогов, – не то талант перед ними, не то бездарь, случайно вымучивший совершенно невероятным образом правильный ответ. У Николеньки насчет друга не было и тени сомнения: талант, природное дарование, а сумма знаний – дело наживное.

Дружбу ребят усиливали общие интересы: оба увлекались, кроме всего прочего, творчеством Пушкина и Блока, оба коллекционировали открытки (Николенька, правда, после смерти деда отошел от этого), собирали марки, составляли гербарии, у Семы к тому же была большая коллекция жуков, которую Николенька всякий раз, бывая у друга, с увлечением разглядывал. Но все же более всего

скрепляло дружбу этих двух столь не похожих друг на друга мальчиков сочинительство стихов. Слагали вирши они каждый день, везде, на всем (Сема однажды какую-то гениальную рифму записал на скатерти, за что был отцом выпорот) и обо всем – о жизни и смерти, о земле и звездах, о биноме Ньютона и о коте Ваське, который мышей не ловит, предпочитая охотиться за воробьями, о внеземных цивилизациях и, конечно же, о любви. Вечерами, оставаясь в каком-нибудь укромном уголке, в присутствии Танечки Родимцевой поэты декламировали свои новые произведения за исключением тех, где предмет любви или легко угадывался, или открыто назывался по имени.

Ничего странного, что Сема Пичугин тоже был без памяти влюблен в Танечку Родимцеву. Быть рядом с нею в то время и не влюбиться в нее было невозможно. Как и Николенька, чувство свое Сема таил.

Замечали ли они друг в друге это? Безусловно. А Танечка? Знала ли, что она не только их подруга, но и божество? Дочь известного в свое время врача-психолога Георгия Михайловича Родимцева, характером капля от капли отец – участливая, чуткая, она уже в младенческие годы, еще девчонкой, не могла не замечать того, что творилось с близкими и тем более – с друзьями. Потом, после университета, один из них открылся ей. Но это потом. Да и объяснение то явилось, по сути дела, пересказом давно и хорошо известного ей. Да, уже школьницей она умела читать чужие души, как взрослая женщина. Впрочем, любой человек, что человек?! – любое живое существо прекрасно знает, кто его любит. Таня тоже знала, но виду не подавала, они оба – и Сема, и Николенька – были бесконечно дороги ей, такие разные Николенька и Сема.

Между двух разнополюсных характеров Таня Родимцева была той умеренностью, которая гасила безудержные вспышки с одной стороны и отогревала холодную замкнутость с другой. Это она сохраняла устойчивый климат в тройке, ведь все-таки, несмотря на общность интересов ребят и взаимную их уступчивость, такого желчного насмешника, как Сема, школа не знала и редко кто, должно быть, видывал такое непонимание юмора, какое демонстрировал Николенька. А может, невосприятие Николенькой Семиного юмора, граничащего порой с простым ехидством, было не менее существенным обстоятельством в их дружбе, чем по-матерински мудрое влияние Тани Родимцевой. Нельзя со счетов сбрасывать и удивительную стоп-крановую обузданность Семы, когда перед ним был Николенька. Семен язвил, конечно, и при друге, но не так. Он ведь Николеньку любил. Как и тот его. Они оба любили Таню, и это странным образом, а возможно, вполне закономерно, сближало их. Они втайне даже радовались, что Таня никому из них не отдает предпочтения, – каково пришлось бы отвергнутому?!

Она любила их равно. А ведь для предпочтения одного из друзей причин было ой как предостаточно. Возьмем лишь то, что Сема ростом был пониже Тани, а Николенька чуть ли не на голову ее выше. «Длиннее», – уточнял Сема. Бытует устойчивое мнение: любовь – это наивысшее проявление эгоизма. Сема с Николенькой в те годы не ведали, что такое ревность, ибо пеклись не только о своих сердцах, а и за сердца друг друга тревожились. Быть может, потому-то их троица и не разлетелась, подобно многочисленным другим школьным стайкам-однодневкам.

Человек, отношения людские, как небо, о котором не скажешь однозначно, какое оно – высокое, низкое, серое или голубое... Сегодня это одно, а завтра, а через минуту что-то совершенно невообразимое. И даже это одно не для всех одинаково. Из века в век о чистом небе говорили, что оно голубое, но вот нашелся ученый человек и сказал: небо не голубое, не синее, а сапфирное. И оказался прав, научно доказав необыкновенную близость спектра сапфира к свету ясного неба. Теория относительности распространяется не только на физику, математику... но прежде всего на человеческие взаимоотношения. Однотонному ни освещению, ни озвучанию человек не поддается, и уж, конечно, – группа людей, связанная замысловатыми, причудливыми, неписаными законами жизни – не литературы.

Жизнь Николая Сергеевича Новикова, да и всей троицы друзей прошла по траектории непредсказуемой, если не считать запись белокурого мальчика в школьной анкете...

Через год, это было в тысяча девятьсот двадцать третьем году, оправившись от болезни, Николенька Новиков блестяще сдал вступительные экзамены в знаменитый Казанский университет и стал, как и Сема с Таней, студентом физико-математического факультета, лишь с той разницей, что по платной форме обучения. Дела у него пошли споро, уже на первом курсе одаренного юношу взяли на заметку два кита-профессора – астрономы-математики Тарутин и Покровский. Это тот самый Николай Николаевич Тарутин, на чей казанский адрес доставлялась из-за границы ленинская «Искра», тот самый Тарутин, которого за революционные выступления на студенческих митингах в 1905 году царские власти отстранили от преподавания и выставили на улицу, а он, недолго думая, подался в Берлинский университет, чтобы потом, несмотря на уговоры германских светил науки, вернуться в родной, белоколонный. Это он в девятнадцатом году был организатором рабочего факультета в университете, председателем его оргкомиссии.

Так вот, Тарутин и Покровский в виде исключения допустили первокурсника Новикова слушать

свои спецкурсы, позволили посещать семинарские занятия, предназначенные по программе для студентов старших курсов, и даже принимать участие в практических научных исследованиях. Новикова также можно было видеть на лекциях со своими друзьями Семеном Пичугиным и Татьяной Родимцевой по курсу второго года обучения.

Пролетели два семестра. Друзья радовались за Николеньку. «Кто бы мог подумать о таком головокружительном аллюре! – говорил Сема. – Тебе, Николаша, вполне можно сразу на третий курс махнуть, вперед нас, а дальше уж – и дальше, и на нас, рядовых зубрилок, не оглядываясь». Таня отвечала ему: «Кто бы мог подумать?.. Я... Я так думала. Не думала, а и не сомневалась, что Николенька всех удивит и еще таких научных высот достигнет... одному Богу известно – каких!»

В мае, за месяц до экзаменов, по приглашению профессора Тарутина первокурсник Николай Новиков, сойдя с поезда верстах в двадцати от города, впервые поднялся на заросшую глухим лесом обсерваторскую гору и ступил в астрономический храм, носящий имя Василия Павловича Энгельгардта, чтобы затем служить в нем до скончания дней своих. Первая ночь в обсерватории... Первый нетерпеливый взгляд в девятидюймовый телескоп-рефрактор, установленный еще в начале века самим Иваном Михайловичем Симоновым... И дрожь не то ресниц, не то вдруг волшебным приближившихся звезд... Это трепетное состояние Николенька Новиков будет испытывать всегда. Каждый – сотый, тысячный подход к телескопу для него будет словно бы первым, невзирая на мощность инструмента, на его новизну и непохожесть на тот первый, который привел в трепет. При этом каждый раз в его памяти будет отзываться сиповатый голос деда и обнимать, точно здесь он, за спиной, всечасно здесь и лишь ждет, чтобы живыми глазами внука прильнуть к телескопу и, как в первую ночь в самодельной обсерватории на крыше сарая в Козловке, увидеть ту самую первую ночь, те самые звезды и, быть может, бога.

Июнь, как и май, держался сухой, прозрачный. В июне ясно выкристаллизовался интерес молодого астронома к двойным звездам класса затменных переменных.

Двойная звезда... Это две звезды, связанные силами притяжения и расположенные так близко, что их в отдельности не видно и в самые мощные телескопы. При движении вокруг общего центра тяжести они поочередно скрываются друг за дружкой, и от этого блеск их колеблется. Эти парочки кружили головы не одному десятку звездочеев в прошлом и настоящем. Под отеческим крылом профессора Тарутина и под непосредственным началом талантливого астрофизика, будущего членкора Яковлева юный естествоиспытатель Новиков присоединился к отряду плененных двойными звездами.

Летняя сессия прошла как-то мимоходом. Зачеты, экзамены... Все известно, малоинтересно, формально. Новикову было не до них, он занимался делом. Приезжал из обсерватории в город, влетал сквозь колоннаду в белокаменную обитель знаний, в одну из ее аудиторий, хватал экзаменационный билет, без подготовки стучал белым мелом по черной доске и через считанные минуты мчался обратно на вокзал.

Один из таких прилетов имел невеселые последствия.

31. Безымянная стена

Не отметки в зачетной книжке радовали Новикова – год радовал, минувший после болезни год, до неправдоподобности плодотворный, «прорывной», как записал он в своем дневнике, будто с поступлением в университет из пут земного притяжения вырвался и взмыл в свободном полете в безграничные просторы Вселенной. Немаловажным достижением того года было и овладение основными иностранными языками, открывшими доступ к первоисточникам научной литературы и позволившими быстро перейти к занятиям по интересующим его научным темам.

Вот каким был тот учебный год, наверное, один из самых счастливых в его жизни. Сессия, которая меньше всего волновала, выдержана отлично, впереди лето, занятия в обсерватории, поход в конце лета с Таней, Семой и преподавателем геофака Ибрагимовым, у которого своя парусная лодка, по кольцу Казанка – Волга – Свяга – Казанка, а потом второй курс университета, возобновление контактов с божественными звездами и их земными жрецами Тарутиным, Покровским, Яковлевым... Жизнь прекрасна! И он, песчинка в мироздании, должен в миллиардной степени краткий миг представленной ему жизни успеть что-то сделать. Что – абсолютно ясно.

Начало второго университетского года катастрофы не предвещало. И учеба, и научная деятельность побежали, перегоняя друг друга на поворотах. И то, что в ноябре Сему приняли в комсомол, а его как непредставителя рабочего класса – нет, особо не насторожило. Огорчило. Но горизонт по-прежнему представлялся погожим. Он ведь предупреждал Сему, агитировавшего его, что является всего лишь сыном уполномоченного Северо-Западного госторга по Волжско-Камскому району, а не сыном машиниста паровоза. Никогда не пел он: взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры – дети рабочих. Не имел на это права. Но социальное происхождение не могло влиять на

главное – на право учиться и заниматься науками. Так думал студент Николай Новиков. Думал долго, когда уж и студентом быть перестал, всю жизнь думал, невзирая на выверты своенравной судьбы, ее нелепые ходы, которые ни умом, ни сердцем не постичь, не раскумекать, не – как у нас на Алмалы говорили – расчухать, хоть убей.

Денежными расчетами в семье Новиковых заведовал отец, к слову сказать, честнейший и пунктуальнейший человек. Но свалила его жестокая простуда в одной из командировок, откуда его после двух недель лежки в районном стационаре перевезли с осложнением в родную Шамовскую, где он пролежал еще месяц. По этой причине и произошла заминка в оплате университетских счетов за обучение дочери и сына.

Но почему-то строгая санкция коснулась лишь Николая. Его исключили.

Разобравшись, в чем дело, восстановили.

Однако и недели после восстановления не проучился, как факультативная комиссия вынесла решение об окончательном его исключении из числа студентов физматфака, как «студента малоуспевающего при достаточной материальной обеспеченности (купец)».

Николай читал вывешенный на доске объявлений бюллетень комиссии по проверке академической успеваемости студентов, и буквы расплывались перед его глазами... «Основание номер один: незачет по политкоммунизму...».

Они стояли у стенда вдвоем.

– Как незачет? – обернулся Николай к Тане с Семеном. – Я же сдал зачет этот. Специально приезжал из обсерватории. Правда, предпоследним, но ведь сдал. Без единого дополнительного вопроса. Если бы поезд не застрял у Красной Горки, то, может, и среди первых оказался бы, среди первых сдал бы...

– Не у Красной Горки, а у Юдино, – поправил Семен. – Забудь дореволюционные названия. Есть станция Юдино...

– Так я по привычке... Какая разница?

– Вот-вот, хромает политическая подкованность твоя.

Николай нервно откинул непослушную шевелюру со лба:

– Но какой я купец? Я же и не работал вовсе и, значит, не зарабатывал никогда и ничего. Сразу после школы, не считая болезни, поступил сюда и по сей день, не отлучаясь ни на какие приработки, учусь здесь.

Татьяна и Семен были в не меньшем недоумении, чем их ошарашенный друг. Они хорошо знали всю его семью. Какой Николенька купец? Смешно. Разве может быть купцом студент или, скажем, школьник? Да еще при том, что у него мать из-за болезни сердца не встает с постели и все семейство существует исключительно на заработок отца со службы. А в начале двадцатых годов и службы-то не было – Новикова-старшего в начале двадцать первого года уволили из Арского кантронкома по сокращению штатов, и ходил он без работы вплоть до лета двадцать третьего года, когда в порядке очереди биржи труда поступил на службу в Севзапгосторг. Как еще с голоду не померли – вот вопрос! Продали кое-какие вещи, оставшиеся от деда – Федора Софроновича. Помог он, и после своей смерти здорово помог.

– Но дед-то твой купцом все ж таки был! – напомнил Семен.

– Был... – как-то даже с достоинством согласился Николай, – и на советской службе тоже был, с семнадцатого года... и по август восемнадцатого, пока его белочехи со службы вместе с жизнью не освободили. И отец был, работал купцом...

– Работал купцом... – усмехнулся Семен.

– Именно так – работал. Состоял до революции на должности уполномоченного экспортной яичной фирмы, соответствовавшей рангу купца второй гильдии, без которого ни в какие сношения с иностранными торговыми представителями на юридической основе не войдешь. Но эта должность его являлась чисто административной, оплачивалась жесткой заработной платой и исключала эксплуатацию труда в личных целях и наличие не заработанных своим трудом доходов.

– Успокойся, Николенька.

– Погоди, Сема, не перебивай. Я не понимаю, ведь как белый день ясно: не родословная же и не свойства отцов и дедов определяют критерии оценки человека, особенно когда он математик, механик, астроном, а лишь он сам, его голова, его личные качества. Дед – купец... Так точно, купец. Этот купец мне впервые показал небо и плывущий по нему Корабль Арго!..

– Уймись, Николенька. Не мне это надо разъяснять, а тем, кто бумаженцию данную состряпал, – постучал по доске объявлений костяшками пальцев Семен. – Апелляцию написать... А то надо же: как малоуспевааающий!.. И пускай твои профессора – и Тарутин, и Покровский – засучат рукава, да и тоже по своей весомой бумаге подпишут.

Годом позже сына машиниста Семена Пичугина Главпрофобр выберет в правление университета от студентов. Но что он сможет сделать для восстановления справедливости по отношению к студенту

Новикову?

Порою люди, не меняясь внешне, очень быстро, просто стремительно меняются внутренне.

Порою люди, не меняясь внутренне, год от года меняются лишь внешне.

Самой большой неожиданностью для Новикова в том бюллетене, отпечатанном на машинке с западающей буквой «а» на листочке в голубую полосочку, было слово, которое и Сему, тогда еще рядового студента, и Таню более всего озадачило: «малоуспевающий» – с последующим пояснением о незачете по политминимуму.

Дома, еще не представляя, каким образом он оповестит родителей о прочитанном в полосатеньком бюллетене, а затем и изустно узнанном от непроницаемого секретаря комиссии в поблескивающих круглых очках, скрывавших маленькие глазенки и, казалось, душу, да и всего его с головы до пят, обезличивая, усредняя, превращая в какую-то арифметическую единицу какого-то огромного, округленного, коллективного числа; не понимая, как все это с ним получилось, Николенька Новиков машинально раскрыл зачетную книжку и зачета по политическому минимуму не обнаружил. Стало быть, полосатая бумажка на доске объявлений и секретарь под очками правы, а он – нет, потому что... потому что в спешке, это он уж точно вспомнил, зарегистрировать положительную оценку своих знаний позабыл, не успел, не придумал тому священнодействию значения – убежал. Стало быть, и преподаватель у себя в ведомостях не отметил. Тоже запомнил? Или оскорбился неуважительностью к своей персоне и к своему научному предмету? Как его фамилия? Она не сохранилась ни в памяти Николая Сергеевича, ни в документах тех лет, как, впрочем, и имя секретаря в непроницаемо поблескивавших круглых очках и имена-фамилии других важных членов глубокоуважаемых в те времена проницательных комиссий и правлений.

А вот Тарутин Николай Николаевич, Покровский Стахий Григорьевич, Яковлев Владимир Леонардович, Ибрагимов Махмут Ибрагимович остались не только в памяти, но и в письмах с ходатайством о восстановлении студента-математика в университете. Эти письма хранятся у меня, и я приведу одно из них в качестве свидетельства нераздельности ума и сердца истинного ученого, его научного гения и гражданской сущности:

«В Комиссию по проверке академической успеваемости студентов физико-математического факультета

Казанского Университета

Прилагая при сем заявления астрономов профессора Покровского С.Г. и астронома-наблюдателя Яковлева В.Л., а также преподавателя геофака Ибрагимова М.И., обращенных в Астрономо-Математическое Общество по поводу исключения из числа студентов Новикова Н.С., математика второго курса, я со своей стороны обращаю ходатайство к Комиссии с убедительной просьбой восстановить его в правах студентов Университета. Государство обязано выявлять все талантливое, и я особо обращаю внимание на талантливого юношу Новикова: он, будучи еще только первокурсником, посещал у меня такой специальный курс, как, например, теория относительности – труднейшая дисциплина очень специального характера. Он активно и удивительно для первокурсника толково участвовал в практике по Теории Вероятностей, а в мае с.г. под руководством астронома Яковлева приступил к разработке интереснейшей научной темы по разделу двойных звезд. Такие студенты – редкость, и я от всей души сожалел бы, когда б Государство в лице этого юноши потеряло крупную научную силу. Может быть, при увольнении играло роль соображение по поводу его происхождения, но с точки зрения Государства – Государства нового типа, народного, социалистического, – примат такой позиции явился бы актом форменного расточительства.

К тому же Новиков, как и его старшая сестра – студентка нашего Университета Новикова, в высшей степени скромные, преданные науке, честные и просто симпатичные молодые люди. С моей точки зрения, увольнение одного из них, а именно – Николая Новикова было бы жестокой и неразумной несправедливостью, не поддающейся никакому логическому объяснению.

Председатель
Астрономо-Математического Общества,
профессор *Н.Н.Тарутин*
Казань. 1924. XII. 23».

От имени студентов физмата письмо-прошение написала студентка Родимцева. Письмо подписали десяток студентов, среди них и Семен Пичугин, без пяти минут член правления университета. Апелляцию составил и пострадавший – сперва в университетскую комиссию, затем в правление и наконец в областную комиссию по проверке личного состава студентов.

Не имея никаких результатов в университетских комиссиях и правлениях, Тарутин, Покровский, Ибрагимов, Яковлев, Родимцева также написали в Главпрофобр, в его облкомиссию по проверке личного состава студентов.

Ответ и просителю, и ходатаям был категоричен: утвердить постановление местной комиссии и в апелляции отказать. Подпись под жирной печатью неразборчива. Неразборчива, непонятна была и вся эта история. Прямодушным заступникам все это представлялось ужасным недоразумением, тарабарщиной несусветной. Как это так получилось, что судьба конкретного талантливого студента и усилия конкретных людей – ученых, студентов натолкнулись на безымянную, неосязаемую и безнадежно-глухую стену? Мало того, защитников взяли на заметку. Родимцеву вызвали на ковер президиума факультета и в течение двух часов прорабатывали за саботаж курса партии на укрепление пролетарского ядра студенчества, заступничество за деклассированные элементы, тактично напомнив заодно, представителем каких кровей является она сама. Профессора Тарутина заставили объясняться в письменной и устной форме по поводу частного допуска первокурсника на спецзанятия старших курсов и пристыдили за пособничество купцам. Это уже правление его пристыдило. Его, председателя оргкомитета пятого по счету в РСФСР рабфака, главного организатора вольготной и стройной учебы рабочих и крестьян в городе Казани.

Тарутин имел привычку успокаивать срезавшихся на экзаменах студентов словами: «Крупных мировых последствий ваша неудача иметь не будет. Франция, например, не объявит войну Англии». (Тогда газеты много писали о разногласиях в стане держав Антанты.)

Случай на зачете по политминимуму с его любимым учеником вылился в целую политическую акцию или, точнее сказать, совпал с началом крупной кампании, в результате которой, как сообщалось в местной газете, «университет освободился от враждебных Советской власти элементов и мертвых душ числом в 387 студентов, то есть от девятнадцати процентов всего состава», и за саботаж курса партии на укрепление пролетарского ядра студенчества и заступничество за деклассированные элементы тактично заставил профессора в последующей своей практике отказаться от остроумной и, как ему долго казалось, непогрешимой фразы. Но не от ученика своего.

Уже через месяц после случившегося Николай Новиков был зачислен на должность вычислителя астрофизического сектора АОЭ (Астрономической обсерватории им.Энгельгардта), где продолжил работу над начатой на первом курсе научной темой.

Это было рискованным шагом профессора. Это было, можно сказать, вызовом общественному мнению.

Хотя что такое есть общественное мнение? Мнение Покровского, Яковлева, Ибрагимова, Родимцевой и других честных сотрудников и студентов университета или высокоидейных, высокопоставленных и высокоактивных комиссий, правлений, главпрофобров?..

На сей счет у профессора Тарутина было свое собственное мнение.

32. Что за декадент?

Меж тем мысль о восстановлении Новикова в университете Тарутин не оставил. Работа работой, она у Новикова –иной выпускник физмата позавидует, но времена меняются, и с годами без диплома может прийти туго. Да и какая личная перспектива у ученого не то что без научных степеней, но и без засвидетельствованного печатями образования, не считая школьного? Зудело, должно быть, и уязвленное профессорское самолюбие. Понятно же, удар по Новикову –это и по нему, председателю Астрономо-математического общества, удар, а возможно, что прежде всего по нему, через его самого способного и близкого ученика. Ловко! Он догадывался, чьи это козни. Однако прямых доказательств не было. Когда-то пересек дорогу двум-трем бездарям и прохиндеям, невзирая на протекции высокопоставленных университетских особ, теперь расхлебывай, вытаскивай даровитого ученика из волчьей ямы.

Со своей неотвязной, гнетущей душу болью Тарутин пробился к секретарю губкома, и тот согласился с аргументами профессора: академическая малоуспешность учебы Новикова на физматфаке университета малоубедительна (в документах фигурировало то «малоуспеваемость», то «малоуспешность»). Но восстановить студента в правах через голову правления вуза ни он, ни губком, ни губисполком не может. На «купце» и «достаточной материальной обеспеченности» товарищ секретарь внимания против ожидания не заострил, и профессор вдруг вновь обрел уверенность в конечной справедливости.

Секретарь губкома знал Тарутина Николая Николаевича как красного профессора с еще дореволюционным партийным стажем, с таким, какого у самого не было. Поэтому слушал его, не поглядывая, как обычно, на стенные часы и с почтением.

– Нам достаточно одного года для сдачи зачетов по полному университетскому курсу. – Профессор говорил «нам», ибо так был уверен в своем протезе и так за него переживал, экзамены Новикова были экзаменами и для него, седовласого ученого мужа. – Собственно, мы согласны на любые возможные формы окончания университета: держать экзамены экстерном... или быть принятыми обратно на

любой курс с каким угодно сроком полного экзаменования.

– Полно, Николай Николаевич, полно, – успокаивал товарищ секретарь, – не беспокойтесь, а то как за сына хлопчете. А таких, как он, нынче три сотни отчислили.

– Таких, да не совсем таких...

– Разумеется, разумеется, вам виднее. Я позвоню в университет. Сегодня же. А вы... А он пусть напишет заявление.

– На чье имя?

– В правление университета. Не мне же.

– Там уже три его заявления лежат.

– Вот пусть четвертое ляжет. Когда его исключили-то? Ах да... Да, да, верно, уж годы прошли, обновить следует требование, продемонстрировать твердость своей позиции. – Секретарь губкома задумался и, не выходя из самоуглубленности, промолвил: – Годы, годы, что вы с нами делаете? В какой черной дыре исчезаете бесследно? Вы, дорогой профессор, уж совсем седой. И моя шевелюра заблестела. А что предсказывают звезды рано седеющим?

Профессор промямлил, что он не астролог, и очень вежливо откланялся.

Он поспешил в обсерваторию, к своему ученику с вестью о доброжелательном приеме в губкоме. Все сотрудники АОЭ жили прямо там, в лесу, в различной комфортабельности домах и домишках на земле обсерватории. Там у них, к слову сказать, и свое кладбище имелось. Новикову была отведена комнатка в срубе-бараке, временно построенном еще в прошлом веке.

Четвертое письмо-прошение было составлено в тот же день.

Вряд ли секретарь губкома, ежедневно решая глобальные политические и хозяйственные проблемы, звонил в университет по поводу какого-то отчисленного в период наркомпросовской реформы студента, освободившего среди многих себе подобных место для посланцев фабрик, заводов, сельских коммун и Красной Гвардии.

После четвертого заявления о восстановлении в университете Новиков писал и пятое, и шестое заявления, каждый раз подробно излагая ситуацию и математически точно и выверенно доказывая несостоятельность причин для отстранения его от учебы. В ответ молчание, недоуменное пожимание плечами членов и председателей директивных общественных организаций. Заколдованный круг! Впору было и астроному поверить в сверхъестественные силы.

Закончили университет и Таня, и Сема, и сестра Ольга. Уже Таня уехала на работу в Ленинград, Ольга в Астрахань. Преуспевал в родном городе и еще куда-то беспокойно собирался Сема... Умер профессор Тарутин. Уже Новиков в обсерватории опытный астроном... А естественный и законный вопрос о восстановлении в университете или сдаче экзаменов по полному университетскому курсу ни с места. Нет, он не заикнулся на этом и ущербным себя не чувствовал. Он занимался делом. Но покоя не давали друзья (от Тани письма приходили еженедельно), сестра, много поучавшая, а сама в свое время и письма-ходатайства коллективного не подписавшая, а также деликатные коллеги-умницы...

Запали в душу последние слова Николая Николаевича Тарутина. Новиков навестил его за несколько часов до кончины, и беловласый и с таким же белым, как седина, лицом профессор произнес тихо: «Легко на дорогу выйти, мой мальчик, нелегко ее осилить...» Такое изречение. Без патетики, которую иной раз источают умирающие: я схожу с дистанции, а у тебя все впереди... Без сожаления, что сам что-то не успел.

Звезды в свой срок зажигаются, звезды в свой срок гаснут.

Весной тридцать первого года Новиков составил последнее письмо, опять же уравновешенное и подробное, как в первый раз, и одним прекрасным днем, выбравшись в город, понес в альма-матер. Им была выбрана дорога, и, чтобы осилить ее, необходим был университет, его соответствующие документы и элементарная административно-бюрократическая поддержка – обсерватория-то все же таки была университетским учреждением, хоть и обладала известной автономией.

Что он писал в том письме? Оно не сохранилось. К кому с ним обратился? Не запомнил. Все к той же безымянной стене, безусловно. Однако не это в сем походе было примечательно. Изменилось время, изменились и формы диалога со всякого рода просителями и жалобщиками.

Разговор с Новиковым начался не со злосчастного вопроса о «малоуспешности обучения», как раньше, не с «купца», а – вот тебе и здрастье! – с внешнего вида посетителя. С ходу, с самого порога настырному правдоискателю было предложено взглянуть на себя в зеркало. Что за рубаха, что за штаны, что за штiblеты?! А эти патлы поповские! И небрит. Со щетиной в храм науки! Декадент какой-то или с дикого похмелья?

Наружности своей Новиков значения не придавал и поэтому своеобразное приветствие пропустил мимо ушей. Он привык, что в его облики, в его одеждах – простых, надежных, удобных – некоторой части населения что-то кардинальным образом не нравилось. Ну что ж, вкус – свойство индивидуальное, у всякого свой взгляд на вещи, свои симпатии и антипатии, важно, чтобы все это не влияло на честный, объективный подход к доверенному государством делу, особенно когда от

объективности этой и добросовестности зависят судьбы других людей. Новиков попросил разобраться в его положении по существу. Ему ответили: «Хорошо, разберемся».

Простая, казенная фраза. А если вдуматься? «Хорошо» – хорошее ведь слово, доброе, теплое. «Разберемся» – обнадеживающее. Значит, кто-то разберет многолетний нанос, завал недоразумений, а затем и предвзятости, лжи, докопается до истины, которая, по сути дела, не так уж и глубока.

Жизнь порой сравнивают то с тельняшкой, то с зеброй –полосатая, стало быть, вся темными, белыми полосами чередуется. Николай Новиков устроен был так, что видел вокруг себя лишь светлое, поэтому и не обратил внимания на увилыстые ухмылки и открытое зубоскальство относительно своей внешности, своей ситуации. Он верил в справедливость. А как же без веры? Без веры и жить не стоит.

Новиков вышел из-под белокаменного портика университета, и его обдало солнцем и весной, той сухой, пресной весной, когда снега давно нет, но нет и листа на дереве – светлое томление в природе, ожидание... И небо ясного, прозрачного дня не голубое, не синее, а сапфирное.

33. С пьедестала на мостовую

Нет на свете ничего короче мая. Только-только закипят сады молоком яблоневого цвета, а уж вот он весь и осыпался, убежал, оставив вместо себя ворохи не цветов, не яблок – каких-то невзрачно-зеленых завязей.

Однако им предназначено со временем налиться соком, ароматом, превратиться в румяных, тягловесных красавцев-соблазнительей всех сладкоежек Алмалы и близлежащих окрестностей.

Но до красавцев-яблок еще далеко.

По городу только лишь шагнул июнь.

– Николай, выйди-ка, сынок, на балкон, взгляни, что вещают твои звезды, какое завтра утро ожидается? – окликнул своего двадцатилетнего сына Сергей Андреевич Новиков, шелестя перед сном газетами, которые до работы и во время работы просматривать не успевал, хотя и таскал с собою весь день в портфеле. На сей раз перед ним была кипа непросмотренных номеров – целых три недели пропадал, отряженный по делам службы, в деревнях устья Камы, и сын бережно собрал их для него.

Сергей Андреевич Новиков был человеком старательным, скромным и, несмотря на сдержанность в проявлениях душевных чувств, жизнелюбивым. Различные напасти терзали его семью, как ветер дубок во дворе по осени. Трагическая смерть матери при пожаре, когда Сергею было всего шесть годков, страшная кончина тестя в восемнадцатом, вызвавшая неизлечимую болезнь сердца жены, исключение сына из университета, потеря своей службы в конце двадцатых, биржа труда, погрузочные работы на волжских пристанях, полуголодное существование с постоянной погоней за лекарствами – в семье всегда кто-нибудь да болел. Но жизнь – явление настырное. Вопреки всему она продолжалась. Она, как ни странно, умела еще и радовать тихими рассветами, куском хлеба на столе, доверчивой улыбкой жены... Согревала она относительным благополучием детей: мало ведь кто верил, что от рождения хилый, еле-еле душа в теле Николенка выживет, но он жил, трудно, болезненно, но жил; слава богу, и Оленьке уж скоро тридцать, окончила университет, правда, замуж все никак, но это частности.

– Ну, что, сын? – оторвался от газеты Сергей Андреевич, когда Николай вернулся с балкона.

– Завтра, папа, будет ведро, будет прекрасный солнечный день.

– Свежо предание...

– Нет, определено. Сегодня небо, точно раскрытая книга.

– Ну и чудесно, ну и хорошо, – с этими словами Сергей Андреевич взял следующий номер местной газеты и на четвертой, последней, странице в разделе объявлений прочел: «Началась чистка аппарата...» Далее следовало полное название аппарата, его, Сергея Андреевича Новикова, места службы. Что такое? Сергей Андреевич нацепил очки, которыми пользовался редко, нашел то самое место в газете. Нет, ему не померещилось. Впрочем, что мерещиться, такие объявления красовались там и сям повсюду, во всех газетах, даже на заборах лепились. Жирным заголовочным шрифтом чернело: «Началась чистка аппарата Северо-Западного госторга по Волжско-Камскому району». И далее помельче, боргесом: «Все материалы о недостатках работы последнего и материалы на отдельных сотрудников просят направлять в Госторг, комиссии по чистке». Сергей Андреевич взглянул на дату выпуска – номер свежий, сегодняшний.

– Освежающая информация!

– Что такое? – переспросил Николай.

– Нет, ничего особенного... Просто порядочно дома не был, а тут много интересного накопилось. Жизнь-то без меня не стояла на месте. Не стояла, м-да-а...

После командировки он еще не был на работе. Что там творилось, кого почистить хотят?

– Так, говоришь, безоблачный будет денек?

– Безоблачный, папа.

Николай не ошибся. Утро нового дня заглянуло в окна дома на Алмалы, тенистой улицы на восточной окраине города, ясное и безмятежное. Оно прошлось по комнатам косыми, стрельчатыми лучами, чистыми, еще без налета дневной пыли, подняло головы съжившихся цветов на подоконниках, вскружило, развеселило присмиривших за ночь мух и, оставив на стенах трепетных зайчиков, двинулось дальше – будить град к жизни трудовой и звонкой.

Раньше всех в доме, в шестом часу утра, как гвоздика полевая на склонах Немецкой Швейцарии, раскрыл глаза Николай. По его меркам спать он лег рано – всего лишь в двенадцатом часу ночи, поэтому спозаранок и проснулся. Предстояло дописать статью из истории астрономии и отвезти в университет, где договорился встретиться с директором АОЭ и передать ему свой труд для публикации в университетском издательстве. В обсерватории Николая Новикова любили как человека душою чистого, до болезненности скромного, лишённого всякого признака тщеславия, его ценили как талантливого ученого и труженика поистине сизифова упорства. Уже в первые годы пребывания в обсерватории ему самому была предоставлена возможность планировать свою работу, определять ее объем (объемы, надо сказать, он планировал себе фантастические). Историческая статья, выношенная в голове до последней точки, вылилась на бумагу легко, и утром оставалось дописать два-три обобщающих абзаца.

Отношения с «главным зданием» университета у Николая оставляли желать лучшего, поэтому и назначена была встреча с директором именно в «первопрестольном». А еще молодому ученому надо было узнать о заявлении по поводу восстановления его в студентах. Что-то долго оно не рассматривалось. Думать об этом, однако, не хотелось, хотелось поскорее дописать статью с ее интереснейшим и малоизвестным в ученых кругах фактическим материалом. Но с самого утра, великолепного, изумрудного утра, какое бывает лишь в перволетье, разболелась ни с того ни с сего голова. Нужных таблеток дома не нашлось. Еще вчера висевшие на кончике пера чернила сегодня сходить на бумагу не желали.

С большим трудом округлив статью, Николай отправился к университету чередой аптек, в которых, как всегда, того, что надо, не имелось.

Николай дошел до Державинской аптеки (называли ее так потому, что она располагалась напротив Державинского садика), но войти в высокие с витыми ручками двери не вошел: внимание привлек гул голосов, какое-то волнение-столпотворение возле памятника Державину. Стайка мальчишек перемахнула через невысокую чугунную решетку и исчезла в кустах, за которыми определенно что-то происходило. И незаурядное. Николай позабыл о головной боли, шагнул со ступенек аптеки...

У входа, с тыльной стороны сада, дорогу ему преградила втекающая в воротики колонна пионеров с отчаянными барабанщиками во главе. Пришлось обождать. Пришлось пропустить еще с десятков горячих, нетерпеливых голов. Люди весело переговаривались о каком-то предстоящем у памятника событии, о котором они хорошо знали, а он нет.

Народ, как и определил Николай еще у аптеки, собрался вокруг Державина. На постаменте памятника, зацепившись за бронзовую лиру поэта, раскаленно излагал свои мысли оратор в кургузом пиджачке нараспашку. Лицо его от напряжения покраснело, шея орельефилась жилами, точно сгустки слов шли непосредственно по ним.

О чем он вещал? До Новикова смысл его слов дошел не сразу. А когда он понял, о чем речь, то не поверил ушам своим, у него внутри все похолодело.

Оратор, взявшись поудобнее за скульптуру, уже не за лиру, а за руку поэта, кричал:

– Сколько можно терпеть в центре нашего города памятник вельможе и мурзе! Здесь место памяти народному вождю Емельяну Пугачеву, а не царскому прихвостню. Расселся!

Толпа ободряюще загудела, зашевелилась.

– Неча ему тут. За Пугачевым гонялся, море люда повставшего, алкая выслужиться, казнил.

– О-до-пи-сец!

– Чего горло драть, сдернуть!

– Сейчас трактор подойдет!

– А може, за трамвай зацепим?

– Каку еще техническую силу ждать? Мы сами сила. Живая! – махнул кулаком оратор. – Чать свалим, поднатужившись. Он сколько нас! А-а?

– Сва-а-алим!

Словно заранее приготовленный, появился пароходный канат. Еще один, еще моток...

Трещали барабаны, звенели горны. Безучастным ко всему происходящему оставалось одно лицо. Неподвижное, величественное. Оно смотрело вверх голов собравшихся вокруг людей куда-то в бесконечную даль веков, и солнце играло на его бронзовом челе.

Николай закрыл глаза, встряхнул головой, будто от дурного сна хотел избавиться, но спасительная, ставящая все на свои законные места явь не явилась.

А рядышком – вот же он, страж законности! – как ни в чем не бывало в белоснежной гимнастерке милиционер.

– Товарищ постовой! – Николай схватил милиционера за рукав. – Что ж вы смотрите?

Тот недовольно отстранился:

– Гулял бы ты отсюда, студент!

Почему-то милиционер назвал его студентом.

– Как – гулял? Ведь памятник свергают, народное достояние!

– Народ свергает, наро-о-од, понял?

Два каната туго перехватили памятник крест-накрест через грудь, третий затянулся на шее.

Последние примерки-прикидки сделал оратор в кургузом пиджачке и соскочил с пьедестала.

– Взяли!

– Раз-два, – подхватили в толпе.

– И-их, дубинушка, ухнем! – выкрикнул кто-то.

Три людских роя облепили три каната, натянули его до скрипа на бронзовом теле изваяния, до струнной, стальной упругости.

– Одумайтесь, что вы делаете? Люди! – Не понимая происходящего, негодуя на умом непостижимую нелепость развернувшегося на глазах действия, Николай бросился к срединной куче народа, которая заарканила бронзового поэта за шею. – Стойте! Это ж в-великий р-оссийский поэт, это ж отец всех поэтов наших, земляк наш! И вы, боже ж мой, не его рушите, а историю, историю ломаете! – Николай взмахнул портфельчиком и врезался в стену по-бурлацки надежно упершейся ногами-распорками в землю толпы. – Товарищи...

Встречный нокаутирующий удар откинул его к подножию постамента.

Это оратор изловчился. Со словами:

– Защитнички объявились, радетели екатеринского холуя, твою мать! – и двинул кулаком снизу вверх, срезал длинного и неуклюжего. – Вот когда вся шушера выползает. На изломе, на изломе...

Откуда собрались в поверженном, сухом теле силы, но Николай встал и опять двинулся на живую стену, пронизанную пароходным канатом.

Несколько человек крикнули наперебой из толпы: «Куда милиция смотрит!» И тот самый милиционер в белой гимнастерке, который ничего дурного окрест себя не видел, когда к нему обращался Николай, и мгновенно прозревший, когда к нему обратились массы, схватил нарушителя порядка и повлек из садика. Тут же подоспел еще один в белоснежной гимнастерке.

В глазах рябило, Николай плохо соображал, что произошло, куда его ведут, с какой целью. Сияло солнце, на небе ни облачка. А за спиной нарастал прибором гвалт. В апогее многоголосого дружного рева раздался подобный стону скрежет, за которым последовал страшный грохот. Так врезается металл в камень, так падает что-то очень большое и тяжелое.

Николай больше ничего не помнил.

Очнулся он там, где никогда прежде не был, – в тюрьме.

Не в тюрьме, конечно, как ему показалось сперва, но все равно под стражей.

Когда очнулся, его спросили: «Очнулся?» Услышав положительный ответ, велели подписать какие-то бумаги, отвечать на какие-то странные вопросы: верит ли он в бога и в какого? Как относится к развитию машиностроения и металлообработки в стране? Кто ему помог додуматься до демонстративного выступления? Не пользовался ли он услугами психиатров и соответствующей больницы? Опять ставил свои подписи под какими-то неразборчивыми письменами. Сознание поминутно туманилось и грозило вновь покинуть голову.

Вечером бестолкового задержанного выпустили, посоветовав наутро не в университет, не в обсерваторию идти, а напрямик и непременно в психбольницу.

Завидев сына, больная мать ахнула и тихо заплакала. Выбежал из кабинета отец:

– Что с тобою? Кто тебя избил?

– Почему, папа, ты сделал такой вывод? – попытался скрасить положение Николай.

– Да ты на себя в зеркало взгляни!

– И что там, в зеркале?

Николай подошел к трюмо. Со стекла на него глянуло взъерошенное, чумазое, с потоком запекшейся крови у рта чужое изможденное лицо. Николай поспешил удалиться с родительских глаз. Как он не подумал! Следовало прежде умыться, привести себя в порядок, а уж потом появляться.

Родители ждали объяснений. Николай рассказал все, как было. Он никогда и ничего от родителей не утаивал.

С матерью стало плохо. Отец сделал инъекцию (отец был не только главой семьи, но и главным ее врачом), и, когда матушка неожиданно быстро уснула, мужчины тихонько оставили ее, вышли на террасу, которую вся семья почему-то упорно называла балконом.

День погас, небо от края и до края словно бы зашторилось необъятной чернильной занавесью с

неправдоподобно ярко выведенными на ней звездами и луной. Ходил легкий ветерок, но в воздухе все еще колебались ключья дневного зноя и густо пахло липовым цветом.

– Не дошел, значит, до университета... – сказал отец.

– Не дошел, – сказал Николай.

– А статья срочная как же?

– Потерял. Вместе с портфелем.

– Слава богу, голову не потерял.

– Осуждаешь?

– Нет, но я никогда не приветствовал необдуманные и стихийные поступки.

Они разговаривали вполголоса, то поднимая глаза к звездам, то вглядываясь в неровную тьму садов. Можно было подумать, что ничего особенного не произошло. Отец с сыном беседуют с легким сердцем перед сном, отец внушает сыну житейские истины, неведомые молодой, а посему и не совсем трезвой головушке.

– Чувствую я всегда предпочитал разум, сынок. Согласись, чувство и неразумными существами движет, животными... С другой стороны, сердце порой подсказывает такие прекрасные вещи, до которых умом вовек не дойти и которые формулами не исчислишь, сердце порой толкает на шаги, остающиеся в истории человечества. Но за них приходится дорого платить, случается – жизнью. Вот ты сегодня: что, решил изменить ход событий в Державинском садике? Переубедить сотню более чем убежденных в своей правоте молодцов? Но их-то у нас сегодня, к несчастью, не сотня и не тысяча.

В голосе отца Николай улавливал неведомую доселе горечь. Горечь – не назидание.

Отец был демократичен по отношению ко всем членам семьи, не то что сестра Ольга, беспрестанно поучавшая и выговаривавшая. Нет, он уважал сестру, слушался ее как старшую. А отца... Отца любил. И низкий, с горечью голос, противоречащий всему его естеству, в тот вечер, вернее, уж ночь, насторожил Николая. Настораживали и удивительное спокойствие после всего того, что произошло с ним, его сыном, какое-то заговорщицкое спокойствие, порука и весь ход разговора, зигзагообразный, с перечеркиванием только что сказанного, точно путник заблудившийся в лесу тропу ищет. Что-то творилось с отцом.

– Так-то оно так, сын: разум душе во спасение, всевышнему на славу. Но бывает, спасения нет. И тут уж лучше за дело пострадать, чем за так, за здорово живешь. Разум разумом, а быть безликим статистом, хоть и правильно мыслящим, честным, и того пуще – отдушиной для чьих-то бицепсов, право, кому охота! Фу-ты – мерехлюндия какая-то под этой глупой, равнодушной луной. Прости, упустил из виду, что ты у меня астроном. Конечно же, не луна тут виной, но глупости под ней творятся. А в детстве я представлял астрономов в черных колпаках со звездами и в балахонах до пят, с подозрными трубами в руках и толстенными талмудами под мышками, такими знатоками сверхпрошлого и сверхбудущего, ясновидцами, не шами сытыми, а одной лишь звездной пылью. Во как! И вдруг мой родной сын – звездочет. А? Это все Забродин, все он, дорогой Федор Софронич, причастил тебя к звездознанию – как там астрономия по исконному-то?

– Звездословие.

– Вот бы старику, царство ему небесное, хоть одним глазком взглянуть в вашей обсерватории в самый мощный телескоп на эти звезды! – Новиков-старший приобнял сына. – Ничего, все будет хорошо. И насчет университета перестань волноваться. Нет так нет. В конце концов, если на то пошло, человек образовывает себя сам. – Сергей Андреевич не разделял устремленности сына во что бы то ни стало получить университетский диплом. И без него можно заниматься любимым делом. Диплом не знания. А знания у сына есть. И немалые. На душе Сергея Андреевича сделалось спокойно и надежно. Справное продолжение у него остается на этом свете. Он окончательно отвязался от настроений, опутавших его днем, когда его вызвали в комиссию по чистке. В досье комиссии ждали себе пополнения два подшитых в дело анонимных письма, подробно излагавших «контрреволюционную деятельность Новикова на должности уполномоченного Госторга». Впереди, безусловно, ожидалось новые обличения, новые разбирательства... В общем, мало приятного. Однако ни слова из того сыну он не сказал.

34. Приглашение на свадьбу

Надейся, говорят в народе, на добро, а жди худа.

Так оно в жизни и получается. Надежды плутают, опаздывают, проваливаются безвозвратно, а подспудно ожидаемое худо приспевает без промедления.

Через день бывший студент Николай Новиков был вызван в университет на апелляционную комиссию, где получил по первое число за клевету на общественные организации вуза, носящего имя великого Ленина, и антисоветское выступление в Державинском садике при всенародном низвержении

скульптурной апологетики царизма. Купец он и есть купец, сказали ему, одной рукой жалобы и апелляции строчит, морочит голову занятым строительством социализма людям, а другою за горло пролетариат хватает.

– Вы же, Новиков, деклассированный элемент, пережиток прошлого! – выступил на заседании комиссии самый молодой ее член, красивый, рослый, чернобровый блондин в кожанке. На столе перед ним покоился потертый портфельчик Новикова. – Маскировались, под простачка работали, но истинное лицо проявилось-таки. Надо же из кожи вон лезть, аж милиции пришлось вмешаться. И портфель с документами, статьей, читательским билетом забросили. Вот ваше отношение к университету. Чего ж вы хотите, какой взаимности от нас требуете? Разбираться с вами не здесь надо было, а там, там... – Чернобровый блондин показал на окно, подразумевая какое-то другое учреждение, скорее всего то самое, где Новиков уже побывал. За окном, на которое указал оратор, в июньском зное лениво шевелились зеленые листья, задиристо чирикали воробьи, оратору было жарко в кожанке, он раскраснелся, но терпел, даже пуговицы не расстегнул. – Либеральничаем, защищаемся, а я предлагаю поднять вопрос о целесообразности пребывания Новикова в штате многоуважаемой астрономической обсерватории. Как он там работает без высшего образования?

...Шевелилась листва, воробьи бесновались все неистовее. Веселый народ воробьи, им все нипочем – жара, мороз...

Дома ждало письмо из Ленинграда. В нем сообщалось, что Татьяна Родимцева и Семен Пичугин соединяются брачными узами и приглашают Николеньку на свадьбу.

Семена Пичугина после окончания университетского курса хотели оставить на кафедре – как незаурядного математика и общественника, но он отказался, распределился в местный научно-исследовательский институт, с которым у него были завязаны хорошие деловые связи еще с первого курса, а потом представился случай, и он уехал в Ленинград, на службу не ахти какую, но в Ленинграде жила и работала после университета Родимцева Таня.

Как и Николай, Семен переписывался с ней. Но в отличие от друга, чьи письма носили сугубо дружеский характер, Семен Пичугин любви своей не сдержал и в одном из посланий излил переполненную пламенем душу на двадцати четырех страницах машинописью. За этим письмом, вернее, бандеролью, послал свои лучшие стихи, наиболее полно передававшие его отношение к Тане, а затем, изловчившись, подался в Северную Пальмиру сам.

Откровение Семы для Тани не было полной неожиданностью. Ее удручала сдержанность другого постоянного корреспондента – Николеньки Новикова, отвечавшего на письма аккуратно, однако за ровным каллиграфическим, специально для нее, почерком многое, она чувствовала, не проглядывалось. Каково у Николеньки настоящее положение дел в затянувшихся на годы взаимоотношениях с университетом? Как больная его матушка? Как у Сергея Андреевича с работой? Радостными-то вестями Николенька – это да, делился не скупясь. Они в основном касались науки, литературы... Частенько и стихи свои присылал, но все о том же – о вземных цивилизациях, торжестве всепобеждающего разума, о переменных затменных звездах... Он сам для нее казался одним из затменно-переменных светил. В паре с Семеном. Друзья в ее глазах то вспыхивали поочередно, то взаимозатмевались, а то сверкали одинаково ярко, щедро высвечивая достоинства друг друга. И сколько раз она ловила себя на раздвоенности, на мысли, что не может сказать себе четко и однозначно, кто из друзей для нее кто. Оба были дороги, оба занимали и голову, и сердце – ее горячее девичье сердце, ее холодную, рассудительную голову математика. И только много позже, настолько поздно, что уже позднее некуда, ей открылся арифметически ясный ответ.

Говорят, головой надо думать. Не всегда, оказывается. Порою возникает необходимость довериться сердцу...

Трудно не ошибиться в одиночестве.

А она была одинока. Очень одинока. Пусть и Ленинград за окном, но не родной же город, пусть и Нева, но не Волга, пусть и Невский, но не Алмалы, да и коллектив на работе, да и соседи по квартире – не Сема с Николенькой, не родители. Только вдаль от друзей поняла, насколько близки они ей по духу, с беспечального детства друзья-братцы.

И вот один из них приезжает и протягивает руку. Специально ради нее приезжает. Она знает о его любви к ней, лишь не знает, почему она соглашается с предложением выйти за него замуж, когда сердце негромко и терпеливо продолжает ждать другого, который вошел в ее жизнь тоже в детстве, попозже лишь, неуклюже вошел, даже смешно, однако все равно красиво, как все у него было красиво и честно в их верной дружбе в далеком городе на Волге.

А вошел он так.

Летним утречком девочка Таня поливала герань. На подоконник вспрыгнул кот Черныш.

– Брысь, брысь, – погнала его ласково Таня.

Кот, однако, не спрыгнул на пол, а подался в сторону, и горшочек с цветком полетел из окна второго этажа на улицу. Таня испугалась, закрыла глаза и ни жива ни мертва опустилась на стул. В

доме, кроме нее, никого не было. В прихожей скоро позвонили. На неживых ногах Таня открыла дверь. Перед ней вырос долговязый худой мальчик с цветком герани и черепками бывшего горшочка в руках. Она узнала его, нелюдимого, по-взрослому серьезного новичка на Алмалы, который ни с кем не дружил и не знакомился.

– На вас упало? – спросила Таня.

– Нет, передо мной, – ответил мальчик.

– Входите.

И он вошел. Его звали Николаем, Николенькой Новиковым...

Когда вошел Сема в ее ленинградскую комнату, память невольно и непослушно вернула другой день, другого человека, мальчика с цветком герани и черепками от глиняного горшка в руках.

У Семы в руках были алые гладиолусы в блестящей, шуршащей обертке.

Она опомнилась, бросилась на шею.

Шляпа соскользнула с головы гостя. Одной рукой, с букетом, он обнял хозяйку, другой повлек шляпу со спины на место.

Пили чай. Она расспрашивала о родном городе, друзьях-знакомых. Он обстоятельно отвечал.

– А как Николенька поживает?

– Он же пишет тебе.

– О звездах. Но не о своей жизни.

– Звезды – это и есть его жизнь.

– И все-таки... Что с университетом? Есть сдвиги?

– Нет.

– Мы тоже, Сема, хороши с тобой.

– При чем тут мы?

– На какую-то справедливость свыше уповали. Не смогли взять да и сказать: или – или! Или и он студент, или и мы нестуденты.

Семен насупился.

Таня спохватилась. Не о том она повела разговор с человеком, который, пренебрегая карьерой, приехал сюда ради нее.

– Сема, а Сема?

– Что?

– А где ты такие фантастические гладиолусы добыл?

Скоро они подали заявление в загс.

Она до последнего дня колебалась. Он нервно настаивал: сколько можно водить детские хороводы – одна ее рука ему, другая – Николаше... Хватит, хватит! Надо делать выбор. Это непросто. Но рано или поздно это делать надо. «Я люблю тебя, Таня. С детства люблю. И буду любить до смерти».

Маленький, ершистый, с красивой молодой прядью серебра на чубе и не совсем красивой, но привычной сутулостью, неумолимо перерастающей в горб, с полными слез и любви глазами Семен Пичугин ринулся в неравный бой. Неравный – не потому, что Таня самым прозаическим образом была выше его на полголовы, была прекрасна, стройна, никакого сравнения с ним, а потому неравный, что он был целеустремлен, напорист, а она раздвоена, ослаблена одиночеством в чужом городе.

Таня сообщила о решении выйти замуж родителям. Они дали благословение.

Она написала Николаю, чтобы приезжал свидетелем на регистрацию брака и свадьбу (не на пир горой, как принято понимать это слово, а на скромный дружеский вечер).

Письмо к Николаю пришло в тот день, когда он окончательно распрощался с мыслью об окончании университета. Ответ он отложил на утро. А ночью арестовали отца.

Сколько их на улице у машины осталось, бог знает, а в квартиру поднялись двое.

...Близилась полночь. Семейство Новиковых после безрадостного отчета Николеньки о заседании апелляционной комиссии и бесполезных узкосемейных дебатов укладывалось спать.

Крытый грузовик, шумно остановившийся у дома в полночной тиши, вызвал у главы семьи острое беспокойство. Александра Федоровна у себя в постели в большой комнате тоже встревожилась, заперев пальцами простынку, превратилась вся в слух.

Гулко хлопнули дверцы машины. Приглушенные голоса, звяк щекотки на калитке ворот, шаги по скрипучим дворовым мосткам, стук в двери первого этажа, опять голоса: бу-бу-бу, бу-бу-бу... И отчетливый голос соседки:

– Новиковы наверху проживают.

Звонок.

Сергей Андреевич пошел открывать. Александра Федоровна заплакала, поднялась с постели (врачи ей строго-настроено запретили вставать – инфаркт сердечной мышцы), заметалась у сенной двери.

Из ночных гостей один был в штатском. Второй, короткошей, крепко сбитый, без возраста, – в

тесной общевоинской гимнастерке и огромных сапожищах; он-то, судя по манере держать себя, и был командиром ночной оперэкспедиции.

Сергей Андреевич вошел из сеней в кухню первым. Лицом он был спокоен и весь как-то распрямился, расправился.

Александра Федоровна возвела очи на супруга своего и все поняла.

– Собрать?

– Зачем ты встала! – укоризненно сказал Сергей Андреевич, но, увидев глаза жены, осекся. – А... товарищ Дубов?

– Чего больно собираться-то? – добродушно моргнул белесыми ресницами военный. – Ну, собирайтесь. Да... по фамилии меня называть необязательно. Уполномоченный я. Товарищ уполномоченный.

Из этих нескольких незначительных фраз Николай понял, что причина ночного визита обговорена еще внизу у входа, что приход к отцу уполномоченных гостей, точнее, увод отца уполномоченными не случайность, не ляпсус и для отца с матерью не неожиданность. Николай, онемев, следил, как мать схватила полбуханки хлеба, отставила, достала чистую рубашку, отложила, взяла бритвенный прибор, мыло... Нет, она не могла сосредоточиться.

– К-куда ты его собираешь? – промолвил Николай.

Товарищ уполномоченный вытер платком вспотевшую шею.

– Туда, куда вы, молодой человек, состоите в очереди. Николай Сергеевич Новиков, так ведь? Не ошибаюсь?

– Так, – подтвердил Николай.

– Как?! – воскликнула Александра Федоровна. – И сына?

– Пока нет, – шагнул в кабинет Сергея Андреевича Дубов, оставив штатского у сенной двери. И обернувшись: – Пока... Но довыступаться вполне может. Я это вам по-человечески, вне службы, можно сказать.

Хозяин дома, впрочем, уже и не хозяин вовсе, коснулся ладонью щеки дочери, сжал сыну руку:

– Николай, прошу тебя, будь умницей.

– Папа...

– Ну, ну... Александра, готов я?

А Александра Федоровна уж и позабыла, что от нее требуется. Смотрела сразу постаревшим, слепым взглядом то на мужа, то на сына...

– Ах, сейчас, сейчас, господи!

– Можете не торопиться, – сказал из кабинета Дубов. В открытую дверь было видно, как он сидит в кресле у письменного стола и, утирая платком шею, что-то листает. Берет со стола и листает, берет с полки и листает. Наконец встал:

– Пора, пора...

Ольга завывала:

– Папочка!

Сергей Андреевич обнял дочь, обнял сына, обнял жену.

– Может, недоразумение все-таки, – попытался внести хоть какую-то надежду Николай.

– Может, все может быть, – сказал Сергей Андреевич.

От сапожищ Дубова на полу остались сухие пыльные следы.

Провожать не вышли. Сергей Андреевич велел семейству оставаться дома. Послушно остались, смотрели в окно и ничего не видели.

Всю ночь Александра Федоровна ходила из комнаты в комнату, передвигала стулья, тумбочки, переставляла местами на полках книги, гремела на кухне посудой... И ни вдоха тяжелого, ни слезинки. И это тревожило Николая с Ольгой более всего.

На другой день к вечеру Николай дал телеграмму: «СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ БРАКОСОЧЕТАНИЕМ (ВСК) ПРИЕХАТЬ НЕ МОГУ».

Глава восьмая

35. Знакомство с профессором

В один из осенних воскресных дней Шаих зашел к Пичугиным с починенным «Альпинистом» в руке и почтарем за пазухой. Вся семья, кроме Александра, была дома.

Поговорив немного с открывшей ему дверь Розой Киямовной, Шаих хотел пройти к Юле, но его перехватил Киям Ахметович, выскочивший в коридор по каким-то своим творческим надобностям с

торчащим из накладного кармана рабочего халата молотком – рукоятью вверх.

– А-а, Шаих! Пропал и не заходишь. – Он гостеприимно распахнул дверь своей комнаты, сказав по-русски: – А я твою железку да-албаю.

Шаих прошел в комнату и увидел лист красного металла, который по весне уступил художнику при знакомстве и помог сюда занести. На нем выпукло вырисовывался мальчик с прутиком в руке, и над головой его – голуби (один еще без крыла).

– Понял, для чего железка?

– Понял, Киям-абый.

Киям Ахметович сощурился, окинув взглядом свое произведение, как это делают художники, примериваясь к незавершенной вещи.

– Чеканка... – сказал Шаих. – Только хлыст у голубятника вашего коротковат. И куда ее потом, когда будет готова?

– Э-э! Эта картина, эта железная картина – не просто мальчик и голуби. Эта картина моя будет – торжественная песня миру. Ода! Знаешь, ко Дню Победы, к весне следующей объявлен всесоюзный художественный конкурс, и соль вся в том, что и любителям можно.

– А получится?

– Как не получится! Еще как получится! У меня такая композиция из души обнажается, такая... Но не буду раньше времени. Увидишь. Мы еще покажем профессионалам разным! Да, Шаих, а у нас беда. – Звонкий голос Кияма Ахметовича упал, лицо померкло, он уже и не говорил, а бормотал, трагично сопя: – Александр ушел из дома. Надумал жениться. Отец восстал: сколько тебе лет? В своем ли ты уме? И думать не смей... И он ушел.

– Куда? – удивленно спросил Шаих.

– К ней. К своей любовнице. Она старше его на десять лет. У нее дочь с Сашу ростом.

– Так он же собирался жениться не раньше тридцати, и на скрипачке, которая сейчас еще в детский садик бегает.

– Мало ли что! Влюбился... Вот и уща-мараха! – все планы.

– А кто она?

– По специальности револьверщица, по национальности – обрусевшая татарка. Звать Рая. Раиса, наверно, по-настоящему, или – Раиля, Рафиса... Приворожила. «Люблю ее», – говорит, и баста. С отцом в пух и прах разругался. Ведь Александр потребовал размена квартиры. «У меня есть своя комната, – говорит, – почему я не могу вывести ее из состава вашей квартиры?» А отец ему: «Вот когда получишь свою квартиру, тогда меняйся и разменивайся, сколько хочешь». «Тогда я уйду», – сказал Саша. А отец: «Иди хоть на все четыре стороны!» Собрался и ушел. Собрался, говорю. Да он и не взял с собою ничего. Книги-учебники, бутсы, футболки, ах да, конечно, и коллекцию свою открыток. За ней он позже на такси приезжал. Чем все это кончится? Мать убивается, Юличка как в воду опущенная, а папаша спокоен. Ему, кажется, даже лучше стало. Меньше шума в доме. Ведь Саша любил слушать музыку.

В дверь поскреблись.

– Юля! – шепнул Киям Ахметович. – Тебе я о Саше ничего не говорил.

– Говорят, кто-то транзистор мой принес? – Она была в почти белой с пшеничным оттенком, как ее волосы, кофточке и с голубой, как ее глаза, косынкой на шее. – Починил, мастер-ломастер?

В ответ Шаих нажал кнопку, и «Альпинист» запел:

– Люди гибнут за металл... за-а мета-а-аллл...

– Чудненько! А что у тебя за пазухой? – Она заметила то, чего не заметили ни мать, ни дед.

Шаих бережно достал белоснежную, без единого пятнышка голубку.

– Подруга Верного. Помните, рассказывал? Из Бугульмы который вернулся, Верный. И вот вчера он пропал. Не уследил. Неужто к другой стае прибился? А может, ястребок ударил? Не знаю. Хожу вот запускаю его подругу из разных мест, может, все-таки приведет загулявшего отца семейства.

– Давай с балкона запустим! – всплеснула руками Юлька.

– Я как раз и пришел... Можно, Киям-абый?

– А-абсолютно!

– Правда, я с крыши сначала хотел, но с четвертого этажа тоже хорошо. Сейчас две стаи ходят, посмотрим.

– А не переманят и ее? – поинтересовался Киям Ахметович.

– Не должны, я два гнезда из-под нее взял.

В сером осеннем небе летали две стаи белых голубей. Одна кружила недалеко от Шаиховой голубятни, другая – в стороне хлебозавода. Юлька нетерпеливо поглядывала то на Шаиха, то на голубку. Шаих что-то медлил, всматриваясь в чужие стаи, и Юлька попросила:

– Можно мне попробовать?

– Держи.

По его кивку она выпустила почтаря, и птица, шумно захлопав крыльями, взяла прямой курс к себе домой. Она набрала высоту, пролетела близко-близко от чужой стаи, но не присоединилась к ней, и Шаих облегченно вздохнул, и в этом вздохе слышалось: «Не вернула Верного, но да хоть сама не поймалась!» И вдруг воскликнул: «О-о!» и показал пальцем совсем в другую от взоров Юли и Кияма Ахметовича сторону. От дальней стаи отделилась белая точка и пошла, снижаясь в направлении Шаиховой голубятни. Ничего определенного еще нельзя было сказать о той птице, однако Шаих промолвил убежденно:

– Он, Верный! Побегу.

– И я с тобой, – сказала Юлька.

– И я тоже, Шаих, а-абаждите, – сказал Киям Ахметович, затараторив: – Какие дела, какие дела! Ах, Шаих, ах, Верный! Чародеи! А эта, беленькая... Волшебница! Ах, ах...

Но покинуть квартиру Пичугиных так быстро, как хотелось бы Шаиху, не удалось.

В коридоре путь лихой тройце преградила сутулая фигура Семена Васильевича Пичугина в шерстяном спортивном костюме. Ни дать ни взять спортсмен, а не профессор.

– Куда, голубчики, мчитесь, сметая все на своем пути? Это и есть Шаих, о котором так много говорится в нашей семье, и с которым я все еще не имею чести познакомиться, и который является, как стало известно, соседом моего старинного друга Николая Сергеевича Новикова?

Пришлось остановиться, отвечать благопристойно на вопросы, пересиливая стучащее в горле сердце.

Киям Ахметович попереминался с ноги на ногу и скрылся в своей комнате, откуда сразу донеслось постукивание металла о металл. Юлька, порхнув стрелками юбки плиссе, тоже исчезла. Профессор любезно предложил пройти в его кабинет. Шаих повиновался. В конце концов не на пожар бежал, если Верный вернулся, то вернулся, если нет, пять минут разговора с таинственной личностью, каким представлялся Шаиху Семен Васильевич, для Верного с подругой беды не принесут.

В просторном кабинете профессора с огромным письменным столом посередине, с ровными красивыми рядами книг на стеллажах под самый чистый от росписей и лепнины потолок Шаих почувствовал себя неуютно. Из угла изучал гостя белками без зрачков какой-то мрачный мраморный философ. С лакированной ветки, торчащей над окном, жалил желтыми хищными глазами то ли беркут, то ли какая-то другая птица из семейства загнотоклювых. Хищник отражался в высоком, от пола до потолка, зеркале и поэтому казался неодиноким. «И ведь тоже, как и голубь, птица!» – подумал Шаих. В единственном свободном от книг проеме на стене висела линогравюра Пушкина. Пушкин скрестил на груди руки и тоже смотрел на Шаиха.

– Милости прошу. – Профессор указал жестом на стул с готической спинкой. – Не стесняйтесь, ага?

Шаих чувствовал себя стесненным. Он стеснялся этого небольшого роста, горбатого, но крепкого, как борец, человека с крупным утиным носом, цепкими голубыми глазами, сединой, покрывшей голову, точно глубокая белая панама, оставившей черными лишь виски да заушья, и с такой же молочной, как панама, – полный рот зубов – улыбкой. Профессор многожды попадался на глаза – то на улице, то в магазине, но с глазу на глаз Шаих с ним не оставался и не разговаривал. Не были, так сказать, официально знакомы. Хотя, бывало, Шаих навещался к Пичугиным, сидел или у Юльки, или у Кияма Ахметовича в то время, когда дома, у себя в кабинете, находился и Семен Васильевич. Но тот всечасно бывал занят и из-за двери кабинета не показывался. Что там, за этой высокой белой дверью? То же, что и у Николая Сергеевича Новикова, – своя необъятная Вселенная? Они знали друг друга, Николай Сергеевич и Семен Васильевич, хорошо знали. Это проскальзывало в рассказах Николая Сергеевича, однако он всегда чего-то не договаривал, нередко обрывал себя на полуслове – «у-ту-ту», задумывался и менял разговор.

И вот таинственная дверь распахнулась.

Оказалось, книг у профессора не меньше, если, пожалуй, не больше, чем у Николая Сергеевича. Это ревностно задело самолюбие друга одинокого ученого-астронома, будто сравнение шло с его, Шаиховой, библиотекой.

Шаих оглядывал кабинет и сравнивал. Порядочек у профессора был идеальный: книжечка к книжечке, на полках ни пылинки, на столе шик-блеск письменных приборов и стекла, в углу кабинета под бюстом философа на специальных подставках две пары разновеликих гантелей. Впрочем, у Николая Сергеевича порядок дома был не менее идеальный, просто своеобразно организованный, просто, может быть, менее ласкающий глаз. Шаих пытался придать сравнению сторонний взгляд: много общего в комнатах-кабинетах Семена Васильевича и Николая Сергеевича, и прежде всего – книги, книги, книги. Но все равно это были разные планеты. И здесь, на профессорской, казалось, попрохладнее.

Выждав, когда юный гость утолит первое любопытство, которое неизменно возникало у посетителей этого оазиса человеческого интеллекта, Семен Васильевич скользнул несколькими обыкновенными для первой встречи вопросами: сколько молодому человеку лет? давно ли он живет на

Алмалы? и тому подобное.

Шаих отвечал и видел, что ответы большого интереса не вызывают.

Но вот профессор как бы ненароком осведомился о Николае Сергеевиче, и его голубые сухие глазки вспыхнули. Однако не в новостях о старом друге нуждался профессор, а в чем-то ином. В чем? Ведь почти на все свои вопросы о Николае Сергеевиче он сам же и отвечал.

– Так и живет один? Судьба... И по-своему счастлив. Попробуйте-ка навязать ему не тот образ жизни, повернуть туда, куда он не желает, – где сядешь, там и слезешь. Лишь на вид покладистый: уту-ту да уту-ту... – Профессор опустился в кожаное кресло, поставил тяжелые с красным отливом кулаки на стекло письменного стола и словно бы стал выше ростом. – Как он справляется с одиночеством? Одно дело в молодые, здоровые годы, а теперь? Человеку же достаточно насморка, чтобы он почувствовал всю степень зависимости от других людей. А к старости беспомощность с каждым господним днем возрастает в геометрической прогрессии. Ты, голубчик, часто к нему заходишь? Знаю – часто. Ну и как он, как у него здоровьице? Он же, я помню, очень часто болел в молодости. Однажды целый год в постели провалялся. Слаб, слаб Николенька у нас был, ага... И в армию не взяли. Тощий, как жердь, ходил, вот-вот ветром поломает. А после вдруг окреп, даже плечами округлился. В середине пятидесятых это, нет, во второй половине, когда дела его научные особенно пошли. В одном солидном астрономическом издании в Москве сразу три его статьи дали. Академическое издание!.. Поддержали его тогда, ага... Ему тогда вдруг все стали мирволить, хотя и не имел он ни научных степеней, ни должностей, ни званий... Вот Николенька наш тогда и, как в народе говорят, раздобрел. Я же, голубчик, из народа. Отец мой машинистом паровоза работал. Ты катался когда-нибудь на паровозе? Нет? Э-э, удовольствие величайшее! Особенно зимой. Откроешь топочку, швырнешь уголька, огонь жар-птицей замечется. Горячо! А выставишься на мороз, обдаст встречным, сам того не желая, отвернешься, в хвост состава глянешь, а там лишь снежная пыль из-под колес. Ту-ту-ту! – хватанешь за тягу. Машинист ведь и музыкантом должен быть, слух отменный иметь. Мой отец на баяне играл. А иначе каюк машинисту, прослушаешь червоточинку, развалится поезд. Наука! Машинистами рождаются. Рождаются, как интеллигентами в третьем колене. С каким очарованием вслушивался я в детстве в музыку слов: вестингауз, контрпар, компаунд... – Семен Васильевич примолк, почесал ногтем мизинца бровь (на мизинцах у него были оставлены длинные, аккуратно заостренные ногти, которые ни секунды не оставались в покое – то постукивали по подлокотнику кресла, то врезались в щели и углубления резного письменного стола, то, как теперь, рассекали густую бровь).

– Татьяна Георгиевна, голубчик, к нему не заходила?

– Не помню такой, – ответил Шаих.

– Родимцева... Татьяна Георгиевна...

– Не помню – значит, при мне не заходила.

– Время-времечко... – вздохнул Семен Васильевич, – катится, не остановится. Совсем недавно был он мне Николенька, а я для него – Сема. И была у нас Таня, Танечка Родимцева... А уж все. Нет Николеньки, нет Танечки, есть Николай Сергеевич, Татьяна Георгиевна, но это уже другие, другие... Недавно встретил ее у «Пассажа». И не узнать – старуха.

– Это вы про нее – не заходила ли?

– Про нее... А каковым я-я-я в ее глазах предстал, коли вовсе не признала? – Под грузом воспоминаний профессор вновь примолк. – Стало быть, не появлялась у него... – произнес без выражения на лице.

– И вы ведь тоже, Семен Васильевич, не заглядываете, – сказал Шаих, – хотя и живете на одной улице. Я понимаю, в жизни всякое бывает... Но Николай Сергеевич о вас всегда с большим уважением откликается. Он дорожит вами.

– А о Татьяне Георгиевне решительно не заговаривал?

– Решительно.

– Так, говоришь, Николай Сергеевич дорожит мной?

– Да... Но что-то он, когда о вас заходит речь, не досказывает. Мне так кажется.

– Позволь заметить, ты не по летам, Шаих, взросл и проницателен. – Семен Васильевич впервые назвал Шаиха Шаихом, а не голубчиком. – Недаром, стало быть, в чести ты у всей моей семьи. И Николай Сергеевичу ты, скажи на милость, лучший друг. А ведь он во взаимоотношениях с людьми труден, пойти с ним на взаимное сближение – все равно что войти в контакт с марсианином – сенсация!

– Наоборот, он прост и открыт...

– Ты вот что, дорогой Шаих, извини, перебиваю, ты человек понятливый, а я хочу ближе к делу, ты вот что: передай от меня поклон, передай ему, но не так прямо, в лоб, а деликатно, что и я им очень и по-особенному дорожу, и не против ли он будет, если я нанесу ему в скором времени визит.

– Какой против! – Шаих вскочил со стула.

– Не торопись, голубчик, – усадил его жестом профессор, – я знаю Николая Сергеевича не меньше твоего, знаю его характер, он и пьяного дебошира постесняется выставить за дверь, еще и денег в придачу займы и без возврата даст. Но дело не в том. – Подбирая слова для более точного выражения мысли, профессор задумался, перестав на мгновение манипулировать мизинцами, затем стукнул всеми костяшками обеих кистей рук о подлокотники кресла. – Дело в том, что это согласие должно быть не вымучено и дано не только словами, но и душою. От души, так сказать. Словесно-то он, без всяких сомнений, не откажет, а вот... Однако, думаю, ты меня понял. Человек ты зоркий, не буду толочь... Наша добрая встреча не для одного меня важна.

Они еще посидели немного друг подле друга, Семен Васильевич в своем кожаном вращающемся кресле, Шаих – у торца письменного стола на жестком с высокой готической спинкой стуле. Профессор все-таки не удержался и предпринял попытку объяснить свою просьбу сначала, но в коридоре послышались какие-то волнения, возня, кто-то пришел, и с ним, с пришедшим, сразу несколько человек вступили в страстные переговоры, сначала полупшепотом, затем в полный голос и громче.

– Это Саша... – медленно, почти не разжимая рта, произнес Семен Васильевич, спрыгнул с кресла и ринулся из кабинета.

Оставаться одному в чужой комнате было неудобно, да и засиделся, его там, на голубятне, давно уж небось Верный с подругой ждут не дождутся. Шаих вышел следом за профессором в коридор.

36. Семейная сцена

Семейство Пичугиных толпилось у раскрытой двери в комнату Александра, и почти все разом говорили. Ближе других к двери находилась Роза Киямовна, она, точно ребенок, терла кулаками раскрасневшиеся от слез глаза и обиженно всхлипывала:

– Растила, растила, старалась, себя не жалела, а ты? Ты же уверял, что никогда мне горя не принесешь, а только радости... – Она заглянула в дверь. – Как же так, сынок, а?

– Ничего не понимаю, ничего не понимаю! – метался по коридору, хватаясь за виски, Киям Ахметович.

– Где моя синяя рубашка? – раздраженно спрашивал из глубины комнаты Пичуга.

– Еще не погладила после стирки, сынок, – отвечала Роза Киямовна, отрывая руки от лица. – Сейчас, погоди минуточку. – В ее голосе послышалась надежда, неотутюженная сорочка вдруг представилась ей той соломинкой, с помощью которой она сможет удержать сына дома, ведь это его любимая, с двумя карманами на груди и с погончиками, как он без нее? Она сбегала в свою комнату и уж умоляла сына одуматься, сжимая у груди синюю рубаху как какой-то талисман. – Ты юн, Сашенька, тебе еще институт закончить нужно, еще успеешь жениться, еще соскучишься по этой нашей райской жизни, скажешь: эх, пожить бы под крылышком мамы, да поздно будет, мы не вечны, уйдем, дорожи, пока есть у тебя мама, дед, отец...

– Отец? – выскочил из своей комнаты Пичуга. – Это ты называешь отцом? – Он показал на Семена Васильевича как на пустое место, вытянув руку ладонью вверх.

Секунду назад Семен Васильевич ринулся из кабинета к своему отроку с какими-то заранее заготовленными словами. Казалось, он и рот сжимал для того, чтобы донести их до адресата. У него хватило терпения не перебить бесполезную тираду жены, но неожиданный риторический вопрос сына, нелепый по содержанию и хамский по форме, с наглым указующим перстом в его сторону, перебил заготовку, смешал мысли, сорвал какой-то очень важный засов в груди, и профессор, не помня себя от ярости, закричал:

– Вон! Вон из моего дома, паршивец! – Затопал ногами и также сделал жест перстом, но более конкретный и подталкивающий. Он указал на дверь в конце коридора, у которой маялся, не умея справиться с запорами, Шаих. Он готов был сквозь землю провалиться, лишь бы не слышать этой непредвиденной семейной бури, но замок, как назло, не поддавался. Подскочивший с чемоданчиком Пичуга одним махом распахнул дверь, и они оба вывалились из квартиры.

– К черту! – выпалил Пичуга, первым сбежал по лестнице, и звучное эхо от с треском захлопнутой внизу двери пронеслось по всему просторному подъезду до чердака.

Шаих помедлил в раздумье – подождать ли Юльку с Киямом Ахметовичем, они же хотели на Верного посмотреть, или не стоит? «Не стоит, – решил Шаих, – теперь им не до голубятни».

Его уход Пичугины не заметили, потому что в тот момент Пичугины видели лишь покидающего родной дом Александра с маленьким чемоданчиком в руке.

Роза Киямовна, безмолвно протянув руки к уходящему сыну, шагнула было за ним, чтобы остановить его, задержать, вернуть, но Семен Васильевич заступил ей дорогу:

– Не смей!

Роза Киямовна – истинная татарка – послушаться мужа не посмела. Не отважилась она поступить так, как подсказывало материнское сердце, уткнула нос в сыновнюю с кармашками и погончиками рубашку, заплакала.

– Вырастила оболтуса, – добавил Семен Васильевич, – теперь расхлебывай. – Он хотел еще что-то сказать, что-то из области воспитания, но нужный афоризм в голову не пришел вовремя, да и не стоило разжиживать краткое, жесткое резюме всему происшедшему. Можно было бы, конечно, добавить: все равно, мол, вернется, на одну стипендию долго не протянет, притом в его-то положении, любовника и жениха, и не просто жениха, а и сына известного профессора – невеста Раичка наверняка знала, кого с ума сводить, – однако доведки эти его словесные больше походили бы на оправдание каких-то своих ошибок, чем на выражение настоящего душевного позыва, – немного успокоить разнервничавшуюся жену. И он, посчитав свою миссию оконченной, повернулся, чтоб удалиться к себе, молча и мужественно унести какую-то необъяснимую досаду. Бог свидетель, он и рта не успел раскрыть, как словил «оплеуху» от родного сына, к которому шел с единственно верными словами, не уступками, но истиной, выведенной не за одну бессонную ночь. Он развернулся, чтоб удалиться, но, оказывается, еще не все точки над «і» (одно из любимых выражений профессора) в том сюжетном узле были расставлены. Голос подала вдруг помалкивавшая доселе Юлия. И это уже не оплеуха была, а удар в сердце.

– И никакой Саша не оболтус! – выкрикнула она. – Вы, папа (она вдруг назвала его на «вы») в одном правы: вырастила его мама, она одна да бабушка, без вас, и меня они вырастили, а вам было некогда, потому что вы всю жизнь любили только себя и занимались только собой, не наукой, как многие думают, а самоутверждением себя в науке.

Семен Васильевич встал как вкопанный.

– Золотая медаль Сашина за школу, успехи на математических олимпиадах, его первые успешные шаги в университете, которыми вы однажды похвалялись перед другом-профессором, как его? Забыла, ну да вы помните, – это не ваша заслуга, а мамина, это она с дедой днями и ночами возилась с нами и возится, а вы... а вы... а я не помню, чтобы вы хоть раз взяли меня в детстве на колени или поинтересовались нашими делами. Вы хоть одну сказку перед сном прочитали нам? Просидели всю жизнь в своем кабинете. Тише, дети, папа занимается, тише, дети, папа работает, тише, тише... А где он, этот папа, кто он, что он за существо? Гудвин какой-то загадочный, волшебник изумрудного города! Но любые изумрудные очки недолговечны.

– Что ты говоришь, дочка! – ужаснулась Роза Киямовна. – Это же отец твой родной, кормилец, он же ради нас головы от работы не отрывает, он любит нас...

– Никого он не любит, мама, ни меня, ни Сашу, ни даже тебя... Он чужой. Его присутствие любой наш праздник превращает в унылое пережевывание белков и углеводов. Откуда это равнодушие? Мы не статуэтки фарфоровые, мы, представьте себе, живые, нате, потрогайте хоть разок, убедитесь...

– С папой так не разговаривают, – пыталась унять дочь Роза Киямовна, но Юлия была неумолима.

– Ему же Сашина судьба совершенно безразлична. Он хоть, спросите у него, поговорил с сыном своим по-нормальному? Он хоть бы взглянул на его Раичку, кто она, ну, ради простого человеческого любопытства? А может, у сына настоящая любовь, может, лучше ее для него и вправду нет никого на свете, может, она та единственная, о которой мечтает любой человек? Нет, нет, папочка, вы никого не любили и не любите. И я вас тоже не люблю. Я вас боюсь, с детства боялась и теперь боюсь. Бою-ю-юсь!..

Юля судорожно вобрала грудь воздух, замотала головой, заозиралась, словно не зная, куда деть себя, и бросилась к деду, припала к его груди, как это привыкла делать с детства и в радости, и в горести.

Киям Ахметович, до внучкиного взрыва бестолково метавшийся по коридору, а при разное зятя пребывавший в состоянии, близком к столбняку, с прикосновением внучки вдруг вновь ощутил упрямую, неизбывную мочь свою, значимость в этом мире и нужность. Он погладил самое дорогое в его жизни существо, забубнил бесконечной вереницей ласковых, спокойных слов и, выждав момент, применил испытанное средство против внучкиных слез – удивился совсем постороннему от слез обстоятельству:

– Стой, Юла, а где наш Шаих, я вить видел его у двери?

Юлька встрепенулась, шмыгнула носом:

– А где он?

– И я спрашиваю, где? Айда, айда, нагоним.

«Как быстро у них все меняется!» – подумал Семен Васильевич, глядя на торопливо уходящих тестя и дочь. За все время театрального монолога дочери он слова не вымолвил, у него язык от удивления отнялся – так это было неожиданно. «Нет, не театрального», – поправил себя Семен Васильевич и, забыв об осанке, сгорбился.

– Успокойся, папа, – услышал он голос жены, – у тебя может быть сердечный приступ. – Она его

называла папой наедине. Ему это нравилось, а теперь почему-то не очень, но он не огрызнулся, а сказал то, что думал сказать давеча, когда она рыдала:

– Не волнуйся. Ничего, ничего... – Он приобнял жену за талию, чего не бывало уже много лет, и проводил до ее главной комнаты, то бишь до кухни. – Вскипяти чайку, пожалуйста, да покрепче. Я пока к себе... Позовешь.

«Что же это такое произошло сегодня? – думал Семен Васильевич, перебирая за письменным столом какие-то бумаги с какими-то формулами. – И сын, и дочь, не сговариваясь, высказали, по сути дела, одно и то же. Нет, нет, не наигран был обличительный припадок Юлии, это было чистой воды откровением, это было что-то такое, что долго копилось в душе и вот наконец прорвалось. Но всякое ли откровение – истина? Какие страшные слова она бросила сегодня: вы, папа, никого не любили и не любите! Откуда тебе знать, дочка, что творится в душе другого человека, когда он и сам того не знает? А может быть, со стороны-то оно виднее? Может, она в точку попала, потому и не нашелся, что ответить, потому и сердце жжет?»

Семен Васильевич достал из стола капсулу валидола, вытряхнул таблетку, положил под язык. Валидол ему помогал.

«Как же никого не любил? А Таню, а Николеньку? А маму? Однако отца родного ведь тоже побаивался. Побавался... Дрожмя дрожал, когда тот заворачивал рукава, чтобы накрутить проказнику уши. Но Юлию-то кто хоть пальцем тронул? Откуда у нее это «боюсь»? Отец мой – тот в депо сутками пропадал, из долгих рейсов не вылезал, а я – в институте, в кабинете своем... Неужели разлука порождает страх? Пугают детей, что ли, отсутствием отцов? Вот вернется папа из командировки – покажет тебе! Вот выйдет папа из кабинета – задаст! Пускай так, но помилосердствуйте – отколе ей, малолетке, знать, чем обделена моя душа, а чем богата? Вы, папа, никого не любили... Что ты знаешь, воробышек, обо мне? Тридцать лет назад из-за Тани Родимцевой, которую я многие-многое годы любил с такой силой, как дай вам Бог... я все бросил – научную тему, карьеру, все отринул и помчался за ней в Ленинград, чтобы, взяв в жены, хлебнуть ушат неблагодарности».

Профессор перешел на диван, лег. Таблетка растаяла, а боль в сердце не проходила, даже в глазах помутилось. Зато хаос в голове ниспал, мысли упорядочились. В приоткрытую дверь из динамика со стены далекой кухни струилась тихая довоенная песенка с незамысловатыми словами:

У меня есть сердце.
А у сердца – песня.
А у песни – тайна.
Тайна – это ты.

– А у сердца песня, – безотчетно повторил Семен Васильевич. – Э-хе-хе...

Пять общих тетрадок стихотворений посвятил он Танечке Родимцевой. Разве это ничего не значит? Ну-ка, женщины, положи руку на сердце, скажите: ваш муж, бывший жених, бывший – в первоначальном смысле слова – любовник писал вам стихи, посвящал их вам? То-то и оно! А коли да, то только он сам, доморощенный поэт, ведает, какой это труд души, какое это созидание во имя любви. А вы... А вы, прелестные создания, признайтесь, что вас в оны годы больше не Пушкин и Тютчев волновали, а ваш самоличный Орфей со своими стихами на куцых листочках в клеточку и что эти листочки, которые, безусловно, нынче запропастились, сыграли в главном жизненном выборе не последнюю роль.

То же самое произошло с Таней. Те общие тетрадки в серой дерматиновой обложке заставили взглянуть на друга детства по-новому, они удивили, изумили, эти серые тетрадки, заполненные стихами и поэмами, посвященными ей, написанными ей и о ней, и о нем, и о них обоих.

Ленинград... Этот город подарил ему несколько счастливых месяцев. Осуществилось то, о чем он, если быть предельно откровенным, мечтал с малолетства – она стала его, полностью, и душой, и...

Впрочем, душа человеческая, и особенно женская, – такие потемки!

Уже на второй месяц супружеской жизни начались катаклизмы, которые вчерашний жених не мог видеть и в самом страшном сне. Откуда-то ей стало известно, что на заседании правления университета, когда разбиралась одна из апелляций Николая Новикова, он, будучи членом того правления с правом решающего голоса, не то что не выступил в защиту друга, а вообще ни звука, и при голосовании воздержался. Знала бы, в какие условия он был поставлен. Тем не менее ведь он единственный воздержался при полном антикупеческом единогласии. Это ли в те годы не поступок! Не знала, ничего не знала, как и Николай. Не от мира сего оба. К тому же они думали, что он по болезни пропустил то заседание. Да, он болел, грипповал, но в самый последний момент в университет прибыл, так как не смог отказать личной просьбе ректора, приславшего на дом спецкурьера. Решались какие-то архиважные, не касающиеся Николая проблемы, и ректор просил присутствовать во что бы то ни стало. Какие то были архиважные проблемы – теперь и не вспомнить. Зато второстепенный для правления, проходной в повестке дня вопрос об апелляции студента Новикова до тончайших интонаций в голосах выступавших хранится в идиотской памяти, которая имеет странную особенность

надежно запоминать все то, что не нужно. В конце концов он болел и мог не прийти и, таким образом, также не голосовал бы. А поднял бы руку против? Что бы изменилось? Ничего. Что один голос?

Это Яковлев, Владимир Леонардович, ее просветил, как пить дать, когда приезжал в командировку в Пулково и завез им от Николеньки привет. Ага, через неделю после его визита все и началось. Недельку-то она крепилась, не выдавала информатора, а потом – понеслась душа в рай. Он-де все время жал, где не сеял, пользовался простотой и наивностью Николеньки, его многогранным талантом, тот-де ему и дипломный проект написал, который после и на кандидатскую потянул. И вообще его математиком сделал, и даже – боже милостивый! – стихи научил писать. Где справедливость, где мой каторжный труд, терпение? Какая справедливость, когда ум, сердце, каждый нерв поражены одной навязчивой идеей, что Николенька – Иисус, а Семен Васильевич Пичугин – Иуда!

А объяснение всей трагедии простое: она, оказывается, всю жизнь любила Новикова, и никого больше. Оказывается, и такое бывает. Можно любить и долгое время не знать об этом.

Не следовало ехать в Ленинград.

Как не следовало, когда все было ради нее – и математика, и поэзия, и физкультура? Да, физкультура. Наследственная сутулость в отрочестве стала стремительно прогрессировать. Особенно после падения с качелей в парке. На глазах ехидных одноклассников он превращался в горбуна. Катастрофа! Черт с ними, с одноклассниками, но глаза-то были и у Тани. А он тогда уже любил ее, без нее себя не мыслил, и продолжение жизни – горбуна и Квазимоды – ему далее не представлялось возможным. Горбатого должна была могила исправить. Но до могилы дело не дошло. Спас он. Он, он... Николенька-Николаша. Принес французскую иллюстрированную книгу Франсиса Сюрпорвьеля, перевел на русский, и жизнь вдруг оказалась не в таком уж беспросветном тупике. Бывший наездник Франсис Сюрпорвьель поведал в своем автобиографическом произведении, как он после падения с лошади оказался в еще худшем положении, чем он, и как с помощью спорта, специальных упражнений, воли и упорства избавился от инвалидства и уродства. Фотографии наглядно иллюстрировали повествование. В доме появились гантели, на косяке двери – турник. Сколько пудов он поднял? Сколько провисел на турнике? – знает лишь он сам да Николенька. Ко времени поступления в университет опасность отступила. Но затаилась и давала о себе, мерзкая, знать при малейшем пренебрежении гантелями.

Судьбу не перехитришь. На мечте не женятся...

Женился второй раз. Роза была, пожалуй, покрасивей Тани. Но сердце почему-то в отношениях с нею осталось незадействованным. Грех жаловаться на молодую, душевную, трудолюбивую женщину. Она старалась во всем ему угодить, она любила, родила ему прекрасных здоровых детей, однако это была другая жизнь, другая семья, которую он кормил, одевал, но в душу не допускал. Наука, литература – вот где можно было забыться, проявить себя... А быть может, проявиться, самоутвердиться, как сказала дочь? Она права: и звания, и титулы, и громкие публикации, и прочее, прочее – все было самоутверждением, вернее, утверждением себя в ее глазах. В расчете, что она увидит, услышит и пожалеет о разрыве с ним. Фрейдизм какой-то!

Неужели он законченный эгоист? Кого он сегодня любит? Кого жалеет? За кого переживает? Кто ему сегодня хотя бы безразличен? Никто! Это ужасно, но это так. Даже наследник, родной сын, унаследовавший многие его задатки, сбежал из дома, а его это мало волнует.

Но отчего же тупая боль в сердце?

– Роза, Роза!

Семен Васильевич не узнал своего голоса, будто не он, напрягаясь, крикнул, а кто-то слабо, слабо ойкнул в глубоком колодце.

Очнувшись в карете «скорой помощи» и увидев подле себя Розу и еще женщину в белом с ней, он не удивился, а продолжал думать все о том же, о чем думал до сердечного удара. Боль в левой части груди ослабла, зато нестерпимо заломило спину между лопаток.

– У всякого своя боль, и никакая неотложка со стороны не поможет.

– Что, милый? – склонилась озабоченно Роза Киямовна.

– Нет, так... – сказал Семен Васильевич. – Помогите на бок лечь, спина болит, не могу. – И подумал: «Опять горб наружу прет, что ли?»

Спину ломило так, точно лишь вчера сорвался с качелей.

– Это не спина, – сказала женщина в белом, – сердце. И ворочаться вам не следует.

37. На голубятне

Всякий человек – самородок. Зачастую внешне неприглядный, тусклый, вросший в обыденность. Но вот жизнь чиркнет остро какую-то его одну сторону, и он засверкает золотой или алмазной гранью, удивит окружающих, всех доселе равнодушных и безразличных к нему людей: как же мы раньше-то не

могли разглядеть в нем этого!

Для меня мои друзья, мои Шаих и Николай Сергеевич, никогда не были неприглядными. Они для меня всегда были приглядными. Поверьте, ежедневно, в любых кухонно-бытовых движениях они сверкали для меня всей своей уникальной неповторимостью и, не преувеличиваю, – гениальностью, потому что убежден: поистине гениальны лишь гении и самые-самые близкие сердцу друзья.

Но вот что интересно, я все чаще и настойчивее думаю: о чем мои друзья думали в те или иные мгновения, в тех или иных ситуациях? Ведь я, знавший их до каждой крапинки в глазах, до мельчайших внешних особенностей всякого движения, жеста, мимики, не знал и не знаю их внутреннего, скрытого от взгляда глаз движения, не ведал и не ведаю их внутренних, не выраженных изустно мыслей, не чувствую их истинных чувствований, перемещений души в теле, когда это было не так явственно выражено. И теперь все больше мучаюсь. И спрашиваю себя: о чем же Шаих печалился, когда...

Таких «когда» в моей памяти бесчисленное множество, непреодолимая бесконечность.

Почему-то, например, не выходит из головы сценка, возникшая в одну из больших перемен, когда мы еще учились в младших классах. Нас повели на обед (как сейчас помню, он стоил рубль пятьдесят, а после денежной реформы шестьдесят первого года – пятнадцать копеек). А за день до этого нас предупредили, чтобы мы пришли в школу чистенькими-опрятенькими, а на уроке за пять минут до перемены нам сказали, что в столовой нас ожидают макароны с подливкой и котлеты, но котлеты какие-то другие, не те, которые мы ели каждый день, и поэтому их есть нельзя. Мы должны были расправиться с гарниром, и все. Ну и с киселем, естественно. А котлеты – оставить.

В столовой в тот день сидели мы тише воды, ниже травы. На столах непривычные белоснежные скатерти, салфетки в стаканчиках, на окнах появились тюлевые занавески, Тамара Алексеевна, классная руководительница, лицо которой улыбка не трогала ни зимой, ни летом, сияла около нас, как майская роза, а вокруг ходили какие-то важные дяди, и один из них сразу с двумя фотоаппаратами.

Запретные котлеты источали неопишуемый аромат, ворочались в быстро мелеющих тарелках, столовую озаряли ослепительные вспышки фотоаппаратов.

И вдруг вижу: Шаих разламывает вилкой (в тот день дали вилки, а так до и после были ложки) котлету и отправляет кусок как ни в чем не бывало в рот. Подвижная улыбка на лице Тamarочки замораживается. Она делает решительный шаг в нашу сторону и замирает на полпути, так как раньше к нам подходит фотограф и щелкает, щелкает, запечатлевает на пленку довольно жующего советского школьника Шаиха Шакирова.

Я думал, Шаиха сразу накажут. Но грозы в тот день не случилось, и я, помню, пожалел о своей нерешительности, надо было и мне котлетку проглотить. Нет, я был послушный. Дежурные аккуратно собрали котлеты в кастрюлю и унесли. Сегодня все ясно с этими заемными на время какой-то высокой комиссии котлетами. Но что это было со стороны Шаиха – протест? Или просто победил здоровый аппетит безотцовщины?

А на следующий день за незначительную, привычную болтовню на уроке Тamarочка погнала его за матерью. Без нее в школу ни-ни! «Сколько можно терпеть?! Это омерзительное поведение и железного учителя из себя выведет. Надо же, все послушались, а он... съел!»

За все в жизни надо платить. И за котлету тоже, которая, оказывается, была вовсе и не котлетой, а бифштексом и стоила, вернее, стоил восемь рублей старыми деньгами. Бифштексы эти были позаимствованы из ресторана. Барский обед сына Рашида апа смогла оплатить только через месяц. Шаиху это стоило редкостной трепки, не дожидаясь окончания которой он сбежал и не появлялся ни дома, ни в школе несколько дней.

Я нашел его на берегу Казанки за косой. Он сидел у вечернего костра, задумчиво глядя на огонь. О чем он думал в тот осенний день в одиночестве?

...Или о чем он думал в другой осенний день, восседая в нашем дворе на срезанном молнией пне когда-то могучего дуба и протяжно взирая на кружащих высоко в сером небе белокрылых своих братишек? Он часто называл их братишками: «А ну-ка, братишки, погуляйте, полетайте!»

Он вызвал меня во двор по нашей телефонной линии связи, которую он протянул из сарая к нам в комнату и на террасу. Его голос в трубке показался мне необычно звонким. Выбежав из дому, я застал его пасмурным. Я не любил его такого, мне иногда казалось, что он задается.

Как-то раз в таком же вот отчужденно-задумчивом состоянии он вдруг посмотрел мне в глаза с такой сосредоточенностью, словно видел меня впервые, и произнес:

– Ведь ты, Ренат, то же самое, что и я. И все люди то же самое, что мы с тобой, а? – Сказав это, он примолк на мгновение, но не в ожидании моего мнения, а продолжая размышлять вслух. – Задумывался ли ты о том, что ты живешь? Живешь – понимаешь? Можешь себе представить: каких-то пустячных десятков лет назад тебя и в помине не было. Вообще нигде... А теперь, в эту минуту – есть. И ты вот сейчас не сидишь передо мной, а живешь.

То, что он переживал, я испытал раньше.

Был ослепительный летний полдень. Я беззаботно шлепал босыми ногами по еще не очерствелой дорожке нашего небольшого «приусадебного участка». Каникулы, безделье, воля! (Работы по саду-огороду мы воспринимали как объективную данность, оброк за свободу.) И так, бегу я по теплой тропинке, и вдруг душу мою, сердце, мозг, всего меня от челки до голых пяток осеняет, что я не просто бегу, а живу. Сколько лет мне было? Не могу точно сказать. В закатанных до колен сатиновых штанишках, голопузый... Пацан, одним словом. Я хорошо помню то радостное удивление: вот ветерок оглаживает лицо, шею, вот вздымается моя запыхавшаяся грудь, я дышу – какая это веселая работа дышать! – вот куст малины колко хлестнул меня по колену, стучат пятки о дорожку, стучит сердце, стучит где-то за забором шальной соловей средь бела дня, я вижу синее огромное небо, белые облака... Как же я раньше всего этого не замечал? Замечал, видел, но не так.

Два открытия ожидают всякого человека. Первое: человек неожиданно для самого себя вдруг сознает, что он одаренное жизнью разумное существо. Раньше он жил как жилось – ел, пил, спал, смеялся, плакал, не разумея уникального процесса жизни, и вдруг неожиданно-негаданно бац – человек озирается, словно только что вылутился на свет божий, смотрит на себя в зеркало, вглядывается, оценивает... Меня в такой момент удивило то обстоятельство, что я сам себя не вижу, лишь – руки, ноги, грудь да, скосив глаза, кончик носа, а лица, а всего себя – нет. Неужели и все люди так? Да, конечно так, раз в зеркала да стекла витрин смотрятся. Значит, я такой же, как все. Нечто подобное, представляется мне, испытывал и Шаих, спрашивая, чувствую ли я жизнь, и говоря: «Ты, Ренат, то же самое, что и я».

Несмотря на этот вывод (имею в виду «то же самое, что и я», то есть свою неуникальность), первое открытие всегда светлое, радостное, сопровождающееся длительным ликованием души.

Второе открытие страшное: любая жизнь заканчивается смертью. Ударяет она как гром средь ясного неба. Обычно это случается после потери близких и практически застигает в любом возрасте в зависимости от обстоятельств и толщины обтягивающей душу кожи.

Вторым открытием Шаих со мной не делился. Или не успел испытать, или испытал еще раньше первого, когда умер отец. Не знаю.

...Я выбежал из дому. Он сидел на пне и шурился от встречного солнца, проглянувшего сквозь осеннюю хмарь, стараясь не упустить из виду свою белокрылую гвардию. Вид у него, как я уже говорил, был угрюмый, что при его любимом занятии случалось редко.

– Чего звал? – спросил я настороженно.

– Верный вернулся, – отозвался он и показал пальцем на стаю крохотных в поднебесье птиц, будто я мог на таком расстоянии разглядеть Верного.

Новость для меня несенсационная, но все равно увесистая, я рад за друга, за его верных братишек. Я принялся расспрашивать – когда да как вернулся его любимец, но он отвечал, странное дело, без охоты, вяло, и я не преминул заметить: что это он как из-за угла мешком напуганный сидит?

– Да не-е, – протянул Шаих неопределенно. И тут лицо его просветлело. Я оглянулся на звон щеколды на воротах, кто это к нам пожаловал? Это были Юлька с дедом.

– Прилетел, вернулся? – не дошедши до нас, спросила она.

Шаих, как и мне, показал на белую стаю в вышине, пошедшую кругами на снижение.

– Который из них Верный?

– Вон... повыше всех парочка плывет на гладких.

– На каких гладких?

– Без взмаха крыльев выкруживает. Во-о-он...

Я смотрел то на Юльку, то на воспрянувшего духом Шаиха, то на Верного с подругой и думал: «Шаих, Шаих, и точно ты, что все, – по общим законам притяжения ко всему красивому вторился в Юльку и скрыть этого, как ни старайся, не можешь».

А он и не старался скрывать. Он был радостен, будто минуту назад его самого выпустили из переседника, оживленно болтал, объяснял и в довершение всего потащил нас на крышу сарая своей резиденции.

Сентябрьский день распогодился, было тепло.

– Красота-то какая! – воскликнула Юлька, оглядывая с голубятни округу. – Море золота! И голубятня, братцы, это не голубятня, а волшебный фрегат. И парус имеется, – показала она на лаву. – И плывем мы с вами, братцы-пираты, прямо по золоту. Справа червонные волны, слева янтарные...

– И куда плывем? – спросил Киям Ахметович, вскарабкавшийся на крышу первым, но все еще не отдышавшийся.

– На разбой, – ответила, не раздумывая, Юлька.

– Зачем же плыть куда-то, когда золота за бортом полно, – усмехнулся Шаих и заметил: – А странно нынче деревья желтеют – с макушек, а снизу не сдаются.

– Ничего странного, – сказал Киям Ахметович. – Верхушки желтеют – к смерти стариков.

– Нашли о чем... – с напускной сердитостью сказала Юлька. – Голуби, глядите, боятся нас, не

салятся.

Птицы кружили над лавой, садились на крышу дома, опускались на вскопанную крупными комьями землю огорода. Высоко в воздухе оставались лишь Верный с подругой.

– Летают, – сказал Киям Ахметович. – Соскучились друг по другу.

– Взаперти, наверно, держали, – сказал Шаих, – а Верный сильно летный голубь, неволи не терпит.

– Спускаюсь на берег, – продолжая внучкин образ о голубятне-корабле, сказал Киям Ахметович, – а то как пугало тут.

– Да что вы, Киям-абый.

– И к Николаю Сергеевичу зайду.

Шаих пошел провожать гостя.

Когда они, мирно беседуя, поднимались на крыльцо-боковушку, из дверей дома навстречу им выплыл Гайнан Фазлыгалимович.

– О-о, неразлучные друзья, саламчик! Не ко мне ли? А-а, понимаю, понимаю, к господину Звездочету кунаки, а третьим я не сгожусь?

Можно было подумать, что он пьян. Но он был трезв.

К тому времени отношения Шаиха с отчимом окончательно определились: друг друга они терпеть не могли и друг от друга это почти не скрывали. Не стеснялся Гайнан и друзей Шаиха, выкобенивался как мог, невзирая на возраст, и особенно у Николая Сергеевича, к которому продолжал заходить пофилософствовать и который, не подозревая открытой насмешки, пускался с дезертиром в диспуты на полном серьезе.

Кто же знал, что он дезертир!

С Киямом Ахметовичем он держал себя поостороже, даже как-то избегал его, но, бывало, в подпитии или просто в благодушном расположении духа позволял себе вольности и с ним.

– Ах, ах, ах! Вы торопитесь, не смею задерживать, не смею задерживать. А как ваше здоровье, Киям Ахметович, что-то у вас видок не совсем того? Фронтовые контузии небось опять? Надо беречь себя. Сами не побережемся, никто не побережет. Да, да, да... А вы по крышам, за чиграшами этими, – он кивнул на Шаиха, – не угонишься. А хотя, конечно, голуби – это прекрасно. Летите, голуби, лети-и-ите-е...

Этими словами из песни его выступление обыкновенно заканчивалось. И на этот раз Гайнан не изменил своей привычке. В руке он держал лопату, в другой – ведро.

– Пошел на Ямки воровать картошку, – беззастенчиво проинформировал он и не сошел, а помолодецки спрыгнул с крыльца, якобы уступив дорогу многоуважаемым кунакам.

Проводив Кияма Ахметовича до Николая Сергеевича и побыв у него немного, Шаих вернулся на голубятню. Уже без прежней искорки в глазах. Но вот сели на лаву Верный с верной своей подругой, заворковали, всколыхнули в Юльке любопытство, удивление, восхищение и пулеметную очередь вопросов, и Шаих, отвечая на них, позабыл о ненавистном отчине.

Глава девятая

38. А шмайсер не нужен?

Первая стычка с пасынком у Гайнана произошла буквально через неделю после свадьбы.

Понедельник, утро. Гайнан проснулся со страшного перепоя, голова трещит. Слезил в буфет, прошелся по комнате, пошарил там-сям – опохмелиться нечем. Тут появился пасынок. Заговорил с ним доверительно, как мужчина с женщиной, поделился незавидным положением, а тот смотрит волком, именно волком, а не волчонком. Так и не сбегал за бутылкой, сколько ни уговаривал. И денег ему предлагал за великий труд – нет, отказался от денег, не нуждаюсь, сказал. Ах, миллионер выискался! Да знаешь ли ты, что такое деньги, видал ли ты их в глаза-то разок, сирота казанская, твою богу мать! А вот он, Гайнан Фазлыгалимович, не так давно лопатой их загребал, голову пивом в бане полоскал, хлеб мешками под буксующие грузовики бросал, когда кое-кто загибался с голода. И сейчас, слава аллаху, Гайнан Фазлыгалимович не подбирается. В цирке дела идут превосходно. Вот не вышел сегодня на работу, никто и слова не скажет, не пикнет никто, потому что, во-первых, конечно, понедельник в цирке день отнюдь не тяжелый, а во-вторых и в главных, потому что всё у него в руках – склад, мясо... – и через это всё-всё. И заезжий гастролер-дрессировщик, и земля-директор, который жрет говядину не хуже тигра, и еще кое-кто за цирковыми пределами. Жить уметь надо. И это не так просто, ибо уметь жить – это искусство почище балета, вертеться приходится о-ёй и такие па выделявать, чтобы ни грамма брачка, иначе освишут, на Колыме проснешься.

И надо же, за тот философски насыщенный урок, который ни в одном университете не услышишь,

благодарность: «Я вот выведу тебя на чистую воду!» И это после того, как он его, можно сказать, усыновил, после того, как поднял их с матерью из нищеты и убожества. Хороша плата! Хороша, нечего сказать. За свой же грош ты же и хорош. А ведь этот спиногрыз и в самом деле продаст. Ни за понюшку табаку... И загремишь, и застучишь по рельсам на стыках в края восходящего солнца, докуда в сорок пятом так и не смогли довести, – сбежал, отстал от поезда в Абакане. От того, что заменили ему в честь победы вышку на пятнадцать лет трудовой деятельности в Сибири, чувства признательности к советским властям в душе не зародилось и преклонения перед гуманным законом не выработалось, и он сделал то, что сделать в радостный май сорок пятого большого труда не представляло. Сбежать, однако, мог каждый мало-мальски умный человек, а вот сохранить себя на воле – без документов, денег, без одежды приличной, провизии, когда тебя уже по всем станциям на пути в Европу встречает почетный караул, – другое дело. Нет, он не баран, чтобы, вылупив глаза, помчаться на запад, он двинул по Енисею на юг, занырнул в Кызыл и прожил там у одной узкоглазой поварихи, знавшей по-русски ровным счетом два слова, полгода. Затем жительствовавал в Таштаголе (в Кемеровской области), в казахском городишке Карсакпай, в Сызрани, и в пятьдесят седьмом вернулся под флагом реабилитированных жертв сталинских репрессий в магнитом тянувшую Казань с документами, в которых именовался Г.Ф.Субаевым.

На просторных полях Ямок Гайнан копал картошку, и разные мысли одолевали его сократово чело. Картошка была неизвестно чьей посадки, но к законной ответственности его привлечь не могли, так как посажена она была незаконно – местными «частниками» на в общем-то хоть и бросовой, но все-таки государственной территории. Поэтому он рыл без опаски, с головой уйдя в свои размышления.

«И мяса ведь не ест, гаденыш, и денег не берет. Ненормальный какой-то. Как я его не смог приручить? Ненормальный – вот и не смог. Но ничего, ничего, жизнь – борьба, а бороться мы умеем».

Но больше всего тревожило и злило Гайнана то, что Шаих не верит в его боевое прошлое, не верит, что он «военный майор». С ним о чем-нибудь отвлеченном, а он сверлит глазами, точно всю подноготную знает. Разве мог мальчишка из двух-трех промашек в обыкновенном трепе о войне сделать сколь-нибудь точный вывод, докопаться до истины, без фактов, без специальных знаний, опыта? Подумаешь, по пьяной лавочке перепутал в журнале на картинке танк с самоходкой, а однажды в один и тот же день предстал в своих рассказах утром артиллеристом, а вечером – и опять по пьяни – разведчиком. Выкручивался: без очков, мол, не вижу – это про журнал, а про артиллериста и разведчика сказал – ничего удивительного, да, был разведчиком в артполку.

Гайнан утешал себя, что все-таки ловко выходил из ситуаций, которые создавал его первейший враг – язык. Не таким пинкертонам мозги канифолил. Однако какой-то мерзкий внутренний голосок нет-нет да и начинал нашептывать: а ведь он не по тем мелочам тебя судит, а по всему твоему житью-бытью, по каждому твоему шагу, по краденому мясу, по фасонным весам, при помощи которых ты обвешиваешь... Надо же было и этим похвалиться! Под балдой, конечно. Много пьешь, милок, много. А еще – и это хуже – уверовал в безнаказанность, в сверхчеловеки себя записал, в сверхумные: что ты, у него же не голова, а Организация Объединенных Наций! И не можешь понять, что тебе пока просто везет, стечение обстоятельств, просто не до тебя было в войну, и теперь то же самое, кому в голову придет, что под обыкновенными шляпой и пиджаком осьминог. Кто в тебя вглядывался? Никто. И первый же человек, внимательно на тебя посмотревший, даже не человек – мальчишка, сразу понял, что ты за фрукт.

Невеселые размышления Гайнана прервали два далеких, еле слышных хлопка, будто кто пастушьим кнутом стеганул. Гайнан прислушался. Все оттуда же, со стороны озера, приютившегося за извивом оврага, вместе со взволнованным вороньим граем ветер донес еще два точно таких же отрывистых хлопка. Нет, эти выстрелы не пастушьего кнута дело, это нечто другое, такое, чего давненько не приходилось слышать.

Гайнан поставил неполное ведро в канаву под сухой куст репейника на меже, обил землю с лопаты, взял ее наперевес, штыком вперед, и, прислушиваясь, двинулся к озеру.

Он не ошибся в своем предположении. Стреляли из пистолета. Еще один выстрел треснул, когда он уже подошел к озеру. Но стрелков за нежелтеющей, густой чащобой бузины видать не было. Оставив лопату, Гайнан охотничьим, неслышным шагом вошел в кустарник, раздвинул ветви и сквозь блестящую паутину, как в прицел, увидел Жбана с Килялей. Они преспокойно беседовали у пирамидки камней с консервной банкой на макушке. В руке Жбана – пистолет.

Гайнана удивил их невозмутимый деловой вид. Устроили посреди воскресного дня стрельбы и хоть бы хны. Хотя место выбрано укромное. Кого и какие дела погонят в этот тупик к озеру, в грязь и сырость?

Гайнан наблюдал. Пять раз пальнули, неужто еще будут?

На разбитую, с какой-то тухлятиной бочку у куста бузины села ворона. Все тихо и спокойно. Гайнан собирался выйти из укрытия, как вдруг Жбан с разворота, почти не целясь, саданул по птице двумя выстрелами, та на взлете брыкнулась и, оставив в воздухе фейерверк перьев, упала на

мелководье.

– Не глаз, а ватерпас! – пропел Киляля и побежал к вороне.

Жбан крутанул пистолет на пальце, дунул в ствол, как это делают ковбой в кино, и произнес небрежно:

– А хрен ли!

В кустах Гайнан застыл чуть жив. Ворона-то сидела на бочке между ним и Жбаном, и тот практически стрелял в него, незримо в кустах бузины. Такого приступа неожиданного страха Гайнан никогда не переживал. Случайная, глупая, не зависящая от силы его личности смерть в лице первой жбановской пули по вороне прошуршала в двух вершках от головы. Ничего себе, в войну уцелеть, а тут по милости какого-то недоноска копыта откинуть? Гайнан с треском пробивающегося сквозь бурелом кабана ринулся из кустарника.

– Вы, ё-мое, чё-ё?

Киляля выронил из рук дохлую ворону. Жбан вытаращил глаза, позабыв о пистолете, который повертелся на его пальце и опять устоялся дулом на Гайнана.

– Опустит пушку-то, кретин! – рявкнул военный майор в отставке. И вновь повторил: – Вы че-ё тут?

– Чё-чё... Мы ничё-ё, – забубнил Жбан, позабыв вдруг имя Гайнана, с которым с некоторых пор якшался довольно тесно. Киляля их познакомил, еще летом. – Сами вы че-ё?

– Чё-ё? – как попугай, повторил за корешом Киляля.

– Расчekaлись! – Гайнан зашел к Жбану сбоку, ухватил пистолет за ствол. – Опустит, говорю.

Жбан опустил.

Теперь они оба, подросток и мужик, стояли взявшись за пистолет. Жбан – за рукоять, Гайнан – за ствол.

– Дай посмотреть, не съем. – Гайнан попытался вывернуть пистолет, но рука Жбана была уже давно неподрастковой. Мало того, этот подросток довольно-таки непочтительно хлопнул ладонью по ухватившей за ствол пистолета ладони новоявленного ревизора, высвободил оружие, поставил на предохранитель, сунул за пазуху.

У Гайнана застучало в висках от гнева, кровью налилась каждая прожилочка на лице.

– Доложу вот куда следует!

– А я вас положу, – глухо отозвался Жбан, недвусмысленно поправив угловатую тяжесть на животе.

– Кишка тонка, – вымучил смешок Гайнан и, немного справившись с собой, поощрил отечески: – Но заявление твое мне нравится. Оно говорит о мужестве. Как дела, Рашитик? – окликнул он Килялю.

– Среднесдельно, Гайнан-абый.

– Как мать?

– Просила сказать, что у нас кончилось...

– Вот завтра свежатинки получу, пусть заходит. – Гайнан достал коробку «Казбека», миролюбиво протянул папиросу Жбану, затем подошедшему Киляле. Закурили.

– А я уж думал, – пустил дым кольцом Киляля, – все, крышка, застукали нас, опергруппа прибыла.

Мало-помалу и Жбан успокоился, зажевал с возрождающимся аппетитом папиросу, перегоняя ее из одного угла рта в другой.

– Что за пушка-то? – спросил Гайнан.

– «Вальтер». – Жбан буднично, без опаски достал пистолет. Гайнан был своим мужиком, просто не надо в таких интимных случаях делать резких движений, а то выскочил, так и порцию свинца схлопотать недолго. – Хорошая машина, видали, как ворону?

– Дай погляжу.

Жбан, крутанув, повесил пистолет на указательном пальце:

– Натe.

– Хорошая игрушка.

– А то!

– Где взял?

– Нашел.

– Там больше нет таких?

– Нет.

– А шмайсер не нужен? – хихикнул Киляля. – Могу предложить. Только без магазина.

– Такого добра!.. – скривил губы Гайнан. – Пусть пацаны забавляются объедками.

В начале шестидесятых годов в наших дворах мальчишки еще играли оружием. Казань хоть и была в годы войны тыловым городом, но трофейного хлама здесь набралось – завались. Целыми эшелонами стояли танки-пушки в станционных тупиках, громоздились в различных частях города. Особенно много битой техники скопилось за железнодорожным вокзалом на Волжском заливном лугу. Белели на боках бронированных чудовищ кресты, свастики, черепа... Мой брат, представитель

голодранцев сороковых годов, рассказывал, что там можно было пожить не только заряженными пистолетиками, но и пулеметами с боевыми комплектами. Нам этого богатства не досталось, но кое-что перепало. У меня в пятидесятые годы, помню, имелись немецкая треснутая каска, парабеллум и тот же шмайсер – это, конечно, было уже не оружие, а лишь их полуржавые скелеты, но все равно – не пластмассовый ширпотреб из «Детского мира». Запомнились игры в часового. Напялю каску, повешу на грудь шмайсер и хожу вдоль дровяников, стало быть, стратегически важный объект охраняю. А из друзей кто разведчиком назначен, подкрадется сзади да как хватанет поленом по каске, я падаю, якобы оглушен. А у самого совсем не понарошку круги перед глазами. Ребята спрашивают после: больно было? Ничуть, отвечаю, ведь – каска!

«Вальтер» с двумя обоймами патронов Жбан с Килялей нашли в дымоходе у заслонки под кирпичом, когда неделей раньше чистили у Жбана печь. Был ненастный, слякотный день, парни сидели дома, маясь от безделья. Надумали на улицу податься, да мать не пустила, велела за печью следить, которую она затопила перед самым уходом на работу. Это была первая топка после летнего перерыва. Ребята подсади к чугунной дверце, подтащили поленьев, изготовились кормить печь – какое-никакое занятие. Но только хозяйка за порог, только поленья как следует затрещали, из всех щелей и дыр печи повалил дым. Жбан заметался, полез к заслонке, дернул ее и выдернул чуть было не с мясом – из-под заслонки посыпалась сухая печная глина и выскочил наполовину из гнезда кирпич, слава богу, не свалился Киляле на голову. Потом друзья выгребали из топки горящие полешки, кидали в таз и вытаскивали во двор... Проветривали комнату, успокаивали всполошившихся соседей по квартире... Немного отдышавшись, полезли разбираться с проклятым шибером и под ним, за живым кирпичом обнаружили многослойный сверток из асбестового волокна и прочих тряпок. Кто его схоронил? Когда? И ведь патрончики без вреда для своего нежного здоровья, несмотря на противопоказанную им жару, благополучно жили-поживали в печи. Но все подвластно времени, надоело боевому оружию бока греть в безделье, захотелось на волю, и оно перекрыло дымоход.

Историю эту Жбан с Килялей детально поведали Гайнану, чтобы никаких подозрений и кривотолков насчет происхождения «вальтера» не было.

Гайнан вернул пистолет Жбану.

– Смотрите, ребяташки, хлебнете, если так открыто будете...

– Не будем, – с сожалением ответил Жбан, – патронов мало.

– Все одно... Избавляться вам от пушечки надо. Знаете, сколько за хранение огнестрельного оружия полагается? Нет? Потому и палите по воронам средь бела дня.

В тот же день, вечером, Гайнан остановил топавшего домой Жбана для небольшого разговорчика тет-а-тет. Он предложил уступить ему пистолет за сумму, которую бы тот назначил сам.

– Продай, от греха подальше будешь.

– А вам-то на кой грех?

– Мой грех, дружище, в том, что я точно такой же «вальтер» при одной спешной эвакуации посеял. А он мне дорог был, мне его фронтовой кореш подарил, в ночь перед самой гибелью, секешь?

– Чего не сечь-то? – От Жбана попахивало винцом. Он улыбался. Разговорчик ему нравился. – И патроны нужны?

– И патроны.

– Одна обойма еще есть.

– Ну что, короче?

– А за сколько?

Стали торговаться. Когда уже было ударили по рукам, Жбан замялся и сказал, что ему это дело надо обмозговать.

– Не посоветоваться ли с кем надумал? – насторожился Гайнан.

– Не-е, – успокаивающе махнул рукой Жбан, – кроме Киляльки, никто не знает.

– Смотри, а то а-ля-мафо, загремим под фанфары. Оба... В ногу.

– Не волнуйтесь, дорогой Гайнан Га-лям-фазлы-евич, фу- ты! Фазлы... Фазлы-ляга-мович...

– Фазлыгалямович, – поправил Гайнан.

– Я и говорю... Вы ж меня знаете, все будет в ажуре. Полста рублей и плюс контрамарка в цирк, а? Ха-ха! – Все-таки парень был изрядно пьян.

Договорились встретиться на Ямках, у озера, где виделись днем. На том и разошлись.

39. Охота пуще неволи

Пистолет Гайнану нужен был позарез. Он и сам определенно не знал, для чего ему необходимо оружие, но в самой этой необходимости сомнений не возникало. Не сомневался он и в правильности открытых переговоров со Жбаном. Чего бояться? После освидетельствованной им стрельбы на Ямках и

первых словесных прощупываний Жбана с Килялей Гайнан прикинул возможные последствия необоримой этой страсти – иметь при себе огнестрельное оружие, преследовавшее его на протяжении, можно сказать, всей сознательной жизни, и сказал себе: «Какая чепуха! Какие последствия? В какого все ж зайца можно превратиться на гражданке!»

Анатолия Жбанова он знал не так давно, однако в его порядочности не сомневался. Слово «порядочность» Гайнан толковал по-своему. Порядочный – значит, придерживающийся таких же, как и он, Гайнан, порядков. Своего поля ягодка, значит. Разок-другой и выпивать с парнишкой приходилось на школьном дворе. Деньги Гайнана, ноги – Жбана. В картишки игравали, на футбол хаживали... Мелочи вроде бы, но Гайнану в его богатой практике общения обычно хватало и более мимолетного знакомства для того, чтобы распознать своего человека. Гайнан считал себя большим психологом. Он, например, говорил об умении определять характер человека по ушам: прижатые уши – себе на уме товарищ; перпендикулярно к голове торчат – крайне своенравный, упрямый; большие с висячими мочками, как у слона, – добродушный, воду на таком возить можно; с приспущенными, точно у дворняжки, кончиками – шестерка, мальчик на побегушках... У Жбана уши были лопухие, но не очень большие, и угол по отношению к голове не прямой. Стало быть, упрямец, но дрессировке поддающийся. Пасынок вот не укладывался в его универсальную схему, уши у того неопределенной конфигурации – не лопухие, не прижатые, не большие, но и не сказать, что маленькие, одним словом, невразумительные, как и характер.

«И тут пасынок чертов в голову лезет!» – сплюнул окуроч в рябь озера Гайнан, возвращаясь мыслями к Жбану, к предстоящей с ним встрече. На озеро он пришел на час раньше условленного, обошел озеро, ничего подозрительного не обнаружив. Не из того Жбан теста, чтобы в ментовке душу заложить. Да и любому другому на его, хранителя и пользователя огнестрельного оружия, месте идти в милицию не резон.

Жбан опоздал немного.

– Красна девица, точно прийти не может, – незло проворчал Гайнан вместо приветствия. Он сразу обратил внимание на оттопыривающуюся на животе куртку. Вдобавок Жбан придерживал пузо рукой. Закурили по «казбечине».

– Надумал? – скорее не спросил, а между прочим произнес Гайнан.

– Ес-с, – не менее между прочим отозвался Жбан. – Сладкие папиросы, приторные.

– Коли «ес-с», доставай. – Гайнану надоело тянуть резину. Опоздал, стервец, да еще курево дармовое хаёт. – Чего мнешься?

И тут Жбан выдал. И в смысле – загнул, удивил; и в смысле – рассекретил, предал. Он сказал, что пятидесяти рублей за пушку мало.

– Но мы же договорились, – возмутился Гайнан. – Ты же согласен был.

– Два дня назад. А взвесил... Оказывается, маловато.

– Полста рублей? По-старому – пятьсот... Пять сотен!

– Вы б еще в керенки перевели.

– При чем тут керенки? Не вчера ли только реформа сотни в десятки превратила. И уж сравнить нельзя? Сколько ж ты хочешь?

– Не волнуйтесь, Гайнан Фазлы-галямович. Денег мне сверх договоренного не нужно.

– А чего же?

– Не деньги требуются, а... Вопрос, понимаете ли, деликатный.

– Разделикатничался. Ну, ну?

– Не перебивайте, если вы нуждаетесь... – Жбан опустил глаза на оттопыренный живот.

– Ну, ну, – повторил Гайнан. – Слушаю.

Тут-то Жбан, сам не ведая того, и выдал дружка, у которого испрашивал разрешения на торговую сделку. Жбан накинул сверх условленной платы не лишней десяток рублей, а к удивлению никогда и ничему не удивлявшегося Гайнана – желтый саквояж, пылившийся у Николая Сергеевича Новикова под столом. Гайнан присвистнул, но не подал виду, что ему стало известно, кто стоит за спиной Жбана, и что планы его поэтому резко изменились – не из-за возможности умыкнуть саквояжик, а из-за возможности выйти непосредственно на жаждущего заполучить новиковские открытки и тем самым избавиться от посредника Жбана и в его образе лишнего свидетеля, ну и между прочим – сохранить пятьдесят рублей, по-старому – пять сотен.

– Нет, мелким жуликом Субаев никогда не работал, – произнес с достоинством Гайнан. – Уволь, дружок. Или остается в силе прежняя договоренность, или мы расходимся, как в море корабли.

Как и представлял себе Гайнан, послушаться своего не присутствующего при сделке старшего товарища, отдать товар лишь за деньги Жбан не посмел. Попытался ухватиться за соломинку, предложил взять лишь только за обещание добыть саквояж в будущем, но Гайнан наотрез отказался: ясен вариант – садиться кому-то на крючок с вороненой уликой за пазухой, нашли дурака, салажата.

– Гуд бай, Анатолий.

Гайнан остался доволен разговором. Никуда «вальтер» не денется. «Вальтер» пока у Жбана. А Жбан пляшет под дуду Пичуги. А коллекционеру Пичуге нужен саквояж с открытками. А саквояжик под письменным столом Новикова. Внучка за бабу, бабу за деду – и вытащили репку.

О страсти Александра Пичугина Гайнан узнал от Николая Сергеевича. Оказывается, профессорский сынок с августа этого года стал заходить к Звездочету и очень заинтересовался открытками в желтом саквояже, просил и продать их, и произвести честный обмен кое-каких экземпляров. Но Звездочет категорически отказался, потому что они ему дороги сами по себе, все одинаково, без исключения, вне зависимости от изобразительной ценности и даты выпуска.

Взять у рассеянного Звездочета саквояжик для Гайнана труда не представляло. Выходя из комнаты по нужде на двор, сосед дверь свою не запирает... Но сперва надо было убедиться в правильности версии насчет Пичуги и встретиться с ним.

С Пичугой Гайнана познакомили Киляля со Жбаном на стадионе «Трудовые резервы» после футбольного матча на первенство города. Хозяева поля встречались с «Буревестником». Гайнану понравилась «десятка» студентов, заколотившая два мяча, а Жбан с Килялей всю игру не переставая хвалились, что «десятка» – это Сашка Пичугин, их хороший друг. «Хотите познакомим?» – то и дело повторяли друзья-болельщики.

Новыми знакомыми, особенно молодыми, Гайнан не брезговал. Он быстро превращал их в своих приятелей, в помощников, в мальчиков на побегушках, а случалось, и в сообщников. Весомых дел Гайнан давно не проворачивал, не то что в сороковые роковые, когда был молод, силен, когда одновременно было и проще работать, и сложнее, точнее – опаснее, но натура и спустя почти двадцать лет после войны требовала, и он худо-бедно да промышлял, не давал своей беспокойной крови застояться. Как клептоман, не мог он без этого. Чесались руки, ныла душа. А помощники, считал он, нужны были как раз больше для тоскующей души, чем для дела. Сказывался, должно быть, и возраст, возникла потребность кого-то уму-разуму поучить, понаставничать. Подвернулись Жбан с Килялей. Но пока дальше приобщения Киляли к перепродаже мяса дело не пошло, да и то делом не он занимался, а его мать. Он так – передай то, сообщи это... Жбан – антипод Киляле, тип перпендикулярно-лопоухий, хамоватый, туповатый. Но такие тоже нужны. Вот же надумал сделать приятное – «подарить» пушку с обоймой боевых патронов. Оставалось принять дар.

После матча Гайнан позволил уговорить себя пойти познакомиться с Пичугой, «профессорским сынком, вчера золотым медалистом в школе, а сегодня студентом, но все равно парнем в доску своим».

Александр Пичугин появился из полутьмы раздевалки красивый, свежий, лучезарный, с белой ниточкой пробора на влажных после душа волосах. «Как утренний трамвай!» – восхитился Киляля.

С первых же слов блестящего юноши Гайнану стало ясно, кто перед ним. И на уши, торчащие, как у белки, можно было не смотреть: честолюбец, нарцисс. Это был первый вывод, важный вывод, но не такой, как второй, который Гайнан сделал для себя после получаса общения с троицей: эти оба – и Жбан, и Киляля – у этого форварда на поводу. Но с какой стати? Киляля – ладно, на то он и Киляля, должен соответствовать прозвищу, а вот Жбан? Не золотая же медаль в школе и не умение гонять футбольный мяч покорили балбеса.

В тот летний день Гайнан сказал форварду кучу лестных слов по поводу его прекрасной игры с «Трудрезервами» и двух великолепных плюх, которые он замочил просто мастерски. Гайнан знал, как вынимать лестью душу. Для чего ему профессорский сынок, он еще не представлял себе, но ясно было – пригодится.

После неудачной сделки у озера, распрошавшись с озадаченным Жбаном, Гайнан Фазлыгалимович отправился на школьный двор взглянуть, нет ли там, случаем, Пичуги.

Пацанов за школой, как обычно, вилось – уйма. Слонялись, бренчали на гитаре, травили анекдоты... Пичуги нема. Гайнан неназойливо поинтересовался, не видел кто Пичуги, и ему сказали: граф Пичугин теперича на школьный двор не ходит – женился Пичуга.

– Женился?

– Женился.

Прошла неделя. Пичуга не объявлялся. Гайнан забеспокоился, под толщей времени «вальтер» мог раствориться. Он стал подумывать, не вступить ли со Жбаном в новые переговоры, чтобы, японский бог, согласиться на все его условия, чего там каких-то полста рублей, подумаешь! Но тут зверь сам прибежал на ловца.

Он заскочил к Звездочету, у которого волей providения находился Гайнан. Заскочил, открыл рот – Гайнана здесь увидеть не чаял, но быстро овладел собою и мягко, непринужденно – точно в старенький трамвай на ходу – вошел в беседу взрослых.

Слово держал Николай Сергеевич. Он говорил, восседая на заоблачной кушетке, что живут они все сейчас в подлинную историческую оттепель, в настоящее половодье раскрепощенной политической, экономической, общественной, научной мысли.

– Это взлет, высвобождение из пут. И прорыв Гагарина в космос, ей-богу, знамение! Оно и

объективно, и символично, и поэтично... Гагарин не мог взлететь ни в какой другой год ранее. Именно в этот, в наш, в тысяча девятьсот шестьдесят первый! Попомните мои слова, наступает Великанье Время, Великанья Эпоха.

– Великанье время? – кривил толстые губы Гайнан. – Героя войны и всех наших побед, с чьим именем на устах на смерть шли, обкакали с головы до ног – вот вам и великанье! А за границей что творится? Патриса Лумумбу хлопнули...

Николай Сергеевич всякий раз тактично выслушивал возражения ветерана войны и вновь принимался доказывать, что история человечества достигла поворотного момента.

Гайнан хмурил лоб, делая вид чрезвычайной заинтересованности беседой, а сам краем глаза следил за Пичугой и видел, как и тот в игры играет, вроде бы слушает и поддакивает Звездочету, а мозгами-то мозгует о другом. Ясно о чем. О том, с чего глаз своих оторвать не может. Саквояж не дает ему покоя, желтый саквояж под дубовым письменным столом, саквояж, полный драгоценных открыток. Узнал от Жбана об отказе честного фронтовика заниматься воровством и теперь озабочен: каким же образом заполучить коллекцию? Жук! А словечки льет кругло, они у него, как голышики из земснаряда сыплются. Ничего не скажешь, интеллигент, сын профессора! А все туда же, а? под дубовый стол.

Когда Пичуга, выбрав себе, как в публичной библиотеке, книгу для научно-популярного чтения, засобирался, Гайнан тоже поднялся:

– Дела, дела...

И, выйдя на кухню, шмыгнул к себе в комнату за «деловым» портфельчиком.

Нагнал Пичугу во дворе, как будто бы случайно.

– Тебе в какую сторону? – спросил безразлично. – К Бригантине?

– Нет, – еще безразличнее отозвался Пичуга.

– Вот и мне – нет. Значит, попутчики.

Когда двое выходят от третьего, то эти двое обыкновенно судачат об этом третьем. Гайнан с Пичугой не были исключением.

– Живет мужик среди всякой всячины, – рассуждал Гайнан, подкидывая в ладони блинчик белесой монеты, – ступить в своей комнате бедолаге некуда, а на свалку ни фантика не выметет. Сколько у него газет одних – Эвересты, Джомолунгмы... В школу на макулатуру снести, так пионерская дружина первое место сразу займет. Нет, будет держать у себя весь этот хлам, пока в труху не обратится.

– Не скажите, Гайнан Фазлыгалямович, – сказал Пичуга. – Среди тех Эверестов, знаете, сколько интересного?

– Чего уж там?

– Вы видели первую казанскую газету, которая еще в начале девятнадцатого века издана? Нет? А «Мурзилку»? Не наш комсомольский орган для пионеров, а дореволюционный? И задолго до Носова живших в том журнальчике Знайку, Незнайку? Вот я тоже не видел, а у него сегодня увидел. И вышедшие при царе Николае «Огонек», «Вокруг света»...

– Не спорю, ценностей среди хлама его хватает. И ведь все под ногами, можно сказать... Монеты эти... – Гайнан подщелкнул блестящий блинчик, поймал со смачным шлепком, разжал ладонь. – Екатерининский целковый, чиста-аго серебра. И на полу. Бери не хочу. А-ля-ма-фо... Позаимствовал вот на время.

Гайнан не постеснялся открыть своего маленького, но все одно – воровства. Ему было ясно: Пичуга через болтливую Киялю знает об ударном говяжьем фронте завскладом цирка, потому-то без зазрения совести и затребовал через Жбана саквояж с открытками, за его же, жбановский пистолет. Хитер. Но не ведает почтенный стратег, что Гайнан Субаев не такой кретин, каким, может быть, кажется на первый взгляд. Нет, не школьными отметками и медалями оцениваются умственные способности. И не внешностью, и не манерой держаться. А жизнью. Жизнь – экзаменатор и судья в последней инстанции. Вот же, как монета на ладони, соискатель желтого саквояжа, а сам того и не ведает, рассуждает, уму-разуму учит малограмотного завскладом и не знает, каким макаром теперь заставить его вынести саквояжик с открытками. Страсть, страсть, каких только преступлений под ее хоругвями не свершалось. Ох уж эти коллекционеры! В принципе ведь без разницы, что копить и из-за чего идти на преступление – из-за накопительства денег или из-за открыток. Миллионеры, по сути дела, те же коллекционеры.

– Разрешите взглянуть, – потянулся к монете Пичуга. – Поразительно! – Он взвесил ее на ладони. – Восемнадцатый век. И большая какая! А я что-то не заметил у него старинных денег.

– Сколько угодно, – добродушно хмыкнул Гайнан. – И на столе лежат, и под столом. А что упало, то пропало. Если у тебя дома валяется на полу копейка, то она, значит, уже не обязательно твоя. Так что вот так. А-ля-ма-фо... – Он взял у Пичуги монету и сунул в карман. – Кстати, там, под столом, и саквояжик тот самый пылится.

– Какой тот самый? – непонимающе пожал плечами Пичуга и поблел. Это не ускользнуло от цепкого взгляда Гайнана, который и надеялся по первой мгновенной реакции на физиономии

оппонента внести существенную определенность в свои предположения насчет настоящего хозяина пистолета. Гайнан не сомневался в достоверности рассказа Анатолия Жбанова о находке в печи, можно же быть хозяином какой-то вещи и рабом кого-то.

– Желтый, – охотно пояснил Гайнан, – желтый саквояж, тот самый, из-за которого я не смог с Толиком договориться.

– Здесь я и живу, – обретая обычный цвет лица, но мрачней высоким красивым лбом, произнес Пичуга, будто Гайнан не о саквояже вожделенном заговорил, а о его, Пичуги, местожительстве. Они остановились у крыльца двухэтажного бревенчатого дома. – Зайдемте.

– С удовольствием, – ответил Гайнан, – люблю ступать в незнакомое.

Но они не ступили на крыльцо старинного бревенчатого дома со сводчатыми окнами, а прошли во двор, где жались друг к дружке несколько убогих одноэтажных домишек. Зашли в крайнюю, самую-пресамую позорную халупу, прошли общей, уставленной вонючими керосинками кухней, очутились в тесном коридорчике, где Пичуга долго брел в потемках ключами, отпирая невидимую дверь. Наконец дверь поддавалась, и они оказались в неожиданно уютной комнате, оклеенной улыбающимися кинозвездами из «Советского экрана» и еще каких-то журналов с иностранными буквами.

– Проболтался... Ж-жбан-Жбанович, сволочь! – презрительно проговорил Пичуга. – Никому довериться нельзя. Присаживайтесь. Чай, какао?

– Лучше водки.

– Водки нет, – растерялся Пичуга.

– Какой же ты мужик? – Гайнан вздохнул, расстегнул портфельчик, извлек двумя пальцами поллитровку «Московской». – Знакомство не чаем спрыскивают.

– Знакомство?

– Да, да, настоящее знакомство. – Гайнан освободил горлышко бутылки от пробки. – Давай тару. Выпили, закусили. Гайнан поведал в нужном ракурсе о переговорах со Жбаном.

– На тебя ссылался. Ты, мол, хозяин пистолета.

– Я хозяин пистолета? – изумился Пичугин.

– Да ты не волнуйся.

– Ничего себе заявочки! Шьют дело о хранении огнестрельного оружия – и не волнуйся.

Гайнан разлил по второй рюмке.

– Сашенька, успокойся. Неужели тебе непонятно: я пришел к тебе с добром, как мужчина к мужчине. А у нас с тобой вместо делового разговора какие-то бабские недомолвки, принюхивания. Если бы я имел чего против тебя, разве б я к тебе явился? Ты прекрасно знаешь, что я все знаю. А я прекрасно понимаю тебя: не хочется тебе расширять круг осведомленных о твоих в общем-то благородных операциях во имя одной целой неразрозненной коллекции открыток на Алмалы и вообще в городе, если не во всем Поволжье. Но что поделать, я тоже осведомлен. Так договоримся? Ты мне, старому фронтовику, память моей молодости – пистолет, я тебе – саквояж. О нашем взаимном соглашении ему, болтуну, для нашего общего блага знать не стоит. И ты открытки не брал, и я ни при чем, и Жбан от игры с огнем отгорожен.

Пичуга задумался.

40. Саша и его Раинька

С не помнящего себя детства Саша Пичугин разбирал до последнего винтика всякую самодвижущуюся игрушку, пытаясь раскрыть скрытую силу ее механики. Распотрошенные кораблики, самолетчики, автомобильчики выбрасывались на свалку, а юный исследователь набирался опыта, благо недостатка в новой технике не было – в профессорской семье наследника в игрушках не ограничивали. Со временем Саша предпринял попытки собирать разобранное. Как-то раз он позвал деда, мать и объявил, что он починил зайца-барабанщика. «Глядите, сейчас забарабанит!» Саша повернул ключик, и случилось непредвиденное: плюшевые лапки зайца завернулись за спину и застучали палочками себе по попе. Мальчик от удивления разинул рот, бросил игрушку и забился в судорожном, истерическом плаче: «Ненормальный какой-то, ненормальный какой-то!» Мать кинулась успокаивать мальчика, а дед взял зайца, отвертку, вскрыл на спине щиток механизма и задумался: «Ничего не понимаю, все верно, все правильно, винтик к винтику...»

Роза Киямовна позабыла о том случае, а дед – нет. Он его напомнил дочери, когда внук, поссорившись с отцом, ушел из дому.

– К чему ты это? – спросила она, не улавливая связи между «ненормальным зайцем» и уходом из дому сына.

– Так просто, – ответил Киям Ахметович.

Но случай с зайцем вспомнился ему не так просто. Любое маломальское, выходящее из рамок

повседневной обыденности событие имело для него свое толкование, являлось приметой, предвостанницей какого-то определенного происшествия в будущем. Он не вспомнил историю с той игрушкой – он никогда ее не забывал. Сколько раз пытался внушить внуку: любая автоматическая игрушка прекрасна своей внутренней загадочностью. Нет, внуку воочию надо было видеть те пружинки и рычажки, которые приводят колесики в движение, управляют ими. А затем дед стал замечать: чем взрослее, тем настойчивее пытается Саша вскрыть рычажки, управляющие обществом, людьми в нем. Это он называл математическим расчетом жизни с последующей ее регуляцией. И добавлял: никакая наука не может считаться наукой без математического обоснования. А жизнь, несомненно, – наука. В седьмом классе им задали написать сочинение «Кем ты хочешь видеть себя в будущем?». Саша написал два сочинения. Одно – для оценки, второе – для себя. И вот второе запомнилось. Вернее, ошарашило. Он зачитал его в кругу семьи. На восьми страницах в клеточку была расписана вся его последующая жизнь до восьмидесяти четырех лет – ровно столько он собирался прожить. Прожить с женой, которая должна была быть младше его не менее чем на двенадцать-тринадцать лет и с которой он должен был зарегистрировать брак в тридцать три года, то есть в возрасте Христа. Еще много подробностей было в сочинении – жена его будет музыкантом, блондинкой, сам он – доктором наук, будет у них двое детей, дача на Волге, автомобиль... Шли годы, Саша вырос, что-то поправил в сочинении, которое он назвал своей программой, и по тому, как начал улаживать конфетами шестилетнюю белобрысую Наташеньку из первого подъезда, дочку профессора консерватории, появлявшуюся во дворе с неизменной скрипкой в дорогом футляре, в который смогла бы поместиться сама в полный рост, стало очевидно – сверхперспективная Сашина программа не пустая шутка. А золотая медаль за отличную учебу в школе, успехи на математических олимпиадах свидетельствовали и о реальности профессорских лавров в будущем с само собою разумеющимися автомобилем и дачей на крутом волжском берегу.

И вдруг...

И вдруг заяц забарабанил себе по заднице. Саша ушел к какой-то Раичке, разведенной тридцатилетней женщине. Из-за любви своей внезапной в пух-прах рассорился с отцом, из-за любви, о которой в дневнике ни звука.

Ее звали Раида. С ударением на последнем слоге. Но русские друзья-товарищи, а в общем-то и все – и в школе, и в техникуме, который она не закончила, и на производстве – называли ее, ставя ударение в середине, и получалось возвышенно-греческое Раиџда. И муж Гена в произношении ее имени от других не отличался. После того, как в двадцать три года развелась с ним, она потребовала, чтобы ее величали коротко – Рая, или же так, как мать с отцом нарекли – с акцентом на хвосте – Раида. Получилось: родственники звали Раидаџ, а друзья постепенно, и сослуживцы, и сосед тоже, перешли с Раиды на Раю, Раичку, Райку... в зависимости от ситуации.

Саша звал Раинька.

Она была далеко не блондинка. Огненно-рыжая, с крупными веснушками на носу. И не играла на скрипке.

Они познакомились в бане. В фойе, у автоматов с газированной водой. У нее не было трехкопеечной монеты, и она безуспешно пыталась разменять двухгривенный сперва в кассе, затем в живой очереди жаждущих напиток.

А у Саши от всевозможной мелочевки оттягивался карман спортивных брюк. Раскрасневшийся после длительного размякания в парной и неспешного, в свое удовольствие, мытья в полупустом общем зале, он тоже решил побаловаться газировкой, хотя по заведенному режиму лишней жидкости старался не принимать.

Саша протянул незнакомке желанную монету и, кроме того, впустил к себе в очередь.

Вышли они из бани вместе. Было начало знойного лета, жарило-пекло, казалось, больше от земли, чем от прямых лучей солнца. Асфальт, железные крыши домов – все источало жар.

– Жарко, – сказала она.

– И кто в такую жару в баню ходит! – пошутил он. – Из парной в парную.

Они, выяснилось, жили на одной улице, только в разных концах.

Заглянули в Бригантину, в магазинчик на первом этаже, она купила сахарного песка.

Пошли дальше, болтая обо всем и ни о чем. Kleиться Саша Пичугин умел.

Остановились у фармацевтического училища, размещенного в старинном бревенчатом с красивыми сводчатыми окнами особняке.

– Вот я и пришла, – сказала она, указывая на двор, в котором ютились одноэтажные домики, где в былые годы, должно быть, проживала прислуга этого самого особняка. – А ты где обитаешь? Другой конец улицы – понятие растяжимое.

– Мой дом мы уже прошли, – улыбнулся Саша.

– Это который?

– В который заходили.

- Где магазин?
 - Тот самый.
 - Чего же ты не остался?
 - Чаю решил у тебя после баньки попить.
 - Да, верно, я твоя должница. Пошли угощу. – И добавила: – Ровно на три копейки.
- Невозмутимый Пичуга смутился:
- Прямо сейчас?
 - Раз дошел досюда... А о вечернем чае мы могли б и в бане договориться.

Когда речь заходит о любви с первого взгляда, все почему-то улыбаются, не верят в ее возможность. Потому что просто-напросто чувства этого не испытали. Или, быть может, испытали, но не осознали, потому что были безоговорочно убеждены: любовь с первого взгляда – чувство несерьезное, мимолетное, это и не чувство вовсе, а выдумка поэтов, не подозревая, что каждый второй человек на грешной земле нашей влюблен именно так и никак иначе. Помяните мое слово, если еще не влюблены, вспомните свою первую встречу с ней, если обручены с незапамятных времен. Первый взгляд решил вашу участь, первый взгляд заслал в подсознание все последующие сознательные шаги. Взаимопонимание, единство взглядов, близость характеров, темпераментов, увлечений – все это уже вторично, все это нанизано на тот самый мимолетный первый взгляд.

Когда речь заходит о любви, мне часто вспоминается кинофильм, в котором есть такой диалог после неожиданного и пылкого объяснения главного героя при первой же встрече с возлюбленной. Она: «Выходит, это любовь с первого взгляда?». Он: «А разве бывает другая любовь?» Смотрел этот фильм давно, но эти его слова поразили и запомнились.

С Пичугой случилось то же самое. Почему я так считаю? Потому что, во-первых, Александр Пичугин был не тем человеком, который бы ради встречного-поперечного запустил руку в свой карман. А он не поленился, отыскал нужную монету, кроме того, пропустил ее в очереди вперед себя, он, наконец, увязался провожать ее, несмотря на запланированную в тот полуденный час необходимую прежде всего ему самому встречу с одним из виднейших в городе коллекционеров открыток. И когда она предложила испить чаю, когда он еще мог поспеть в скверик перед школой, где была назначена встреча с коллекционером, не смог отказаться от чаепития и не перенес его на другое удобное время, нет, сразу, с ходу в спортивном трико и штиблетах на босу ногу ринулся ковать железо, пока горячо. В результате преуспел как ни в одном другом деле. Через какой-то десяток дней решил жениться.

Во-вторых. А во-вторых, мне кажется, и с Раинькой произошло то же самое, что произошло с Сашенькой. Она от предложения не отказалась, и они поженились. Вернее, он просто переехал к ней жить, без регистрации брака. Что за формальности, когда любовь?

Раинька жила в комнате коммунальной квартиры без удобств вдвоем с двенадцатилетней дочерью. Комната считалась служебной, она была предоставлена мужу, сантехнику жэка, с условием безотлучной работы на вверенном ему объекте – в нескольких жилых домах, в том числе и Бригантине. Когда она развелась с ним, комнату чуть не отсудили. Но Раинька была не робкого десятка, вступила в неравную схватку с могучим оборонным и секретным заводом и право советской матери с ребенком на жилые отстояла. Комната была не очень большой, но и не маленькой. «Зато с высоким потолком», – ободряя себя и отличившуюся в прошлом жену, потирал руки Саша. Он спал на раскладушке, жена на диване, Светка, стало быть, новоявленная дочка, – на безнадежно отставшей от нее в росте детской раздвижной – все равно не помогало – кровати. Ночью муж перелезал к жене, а дочка делала вид, что находится в по-детски глубоком и безмятежном сне. К новому папе она относилась спокойно, принимала его как должное, с пониманием, будто этих пап у нее перебывало до черта. Саша отдавал себе отчет, что он у Раиньки не только не первый, но и не второй и даже, возможно, не третий, но верил, что последний. Да и он ведь был не мальчиком. В свои восемнадцать Саша считал себя знатоком женских сердец, именно женских, ибо с липучими девочками-малолетками не связывался. Были в его послужном списке и замужние, с которыми легче было расходиться, они не могли претендовать на его свободу, боясь разоблачения, и собственной тени пугались и тем были хороши. Он встречался с ними и не прекращал лелеять мечты о юной скрипачке, натуре утонченной, не то что какие-то продавщицы, штукатурищицы, с которыми его сводила судьба. Для здоровья, однако, и опыта и они приходились ко двору.

С Раинькой, он сперва предполагал, будет примерно то же самое. Встретится с ней пару раз и до свидания. Но он недооценил себя и всего того, что случилось у автоматов газированной воды в бане. Уже за чаепитием в первый же день Саша почувал: пропасть разверзается под ним, и он летит вниз. Или, кто может предсказать, наоборот – возносится на седьмое небо будущего счастья. С ней все было не так, как с другими. Стандартные, апробированные диалоги не получались, она обезоруживала отсутствием всякой манерности, заданности. Он привычно говорил: «Ты мне с первого взгляда понравилась», ожидая в ответ что-то вроде: «Ну уж, после бани я была такая страшная», чтобы оборвать ее: «Нет, нет, прекрасная! Я же не на прическу смотрел, а в глаза...»

Однако она говорила совершенно не то и не так, как ожидалось. Она сказала: «Ты мне тоже с первого взгляда понравился». Они пристально гляделись друг другу в глаза и рассмеялись. Однако Саша почувствовал: сказанное не трёп. Или со взаимоодинаковым признанием, или на самом деле с первого взгляда, но он втюрился, если не сказать самым возвышенным штилем – влюбился (такого слова в своем для «внутреннего пользования» словаре он до того банного дня не держал).

Чему бывать, того не миновать. Хоть и видно было сразу, что она старше его и не скрипачка, но ощущалось, что она то единственное, то самое-самое, по чему тоскует в юности, да и на протяжении всей жизни любая живая душа. А юная блондинка со скрипкой – бредни переходного возраста. Судьба его – Раинька, независимая, грациозная, шевельнет перстом, словно озолотит. А рыженькие, говорят между прочим, – разновидность блондинок.

Как-то на стихийном, не запланированном никакими педагогическими планами диспуте о любви, разгоревшемся на одной из перемен в школе, Саша Пичугин высказал мысль, которая вызвала взрыв протеста всех девочек класса без исключения. Саша сказал: «Истинно суженую найти невозможно. Неужели кто-то из вас думает, что чья-то избранная, – он демонстративно обратился к кучке ребят, отвернувшись от юных представительниц противоположного пола, – самое-самое то, единственно точное наложение мечты на реальность, когда всех женщин на свете любой соискатель видел на своем веку ноль целых и практически шиш десятых, да и то лишь в своем временном отрезке? А может, на сто процентов чьей-то из вас была бы Клеопатра или Нефертити, а может, нашим возлюбленным суждено родиться в двухтысячном веке, а? Приспосаблиемся, выбираем из узенького круга, с места работы, с места учебы, порой на безрыбье, и считаем, что осеяемся любовью и соединяемся со своей богом предназначенной половиной. Самообман. Наши невесты, возможно, ждут не дождутся нас в Париже, Венеции, Чикаго, а мы сидим тут и рассуждаем».

Пичугину повезло: его избранница родилась и жила в нашу эру, на нашем континенте, на Алмалы.

– Чай – это хорошо, – мудро высказался Пичуга, переминаясь с ноги на ногу. – А кто у тебя дома? Муж? Свекровь? – Спросил, хотя и знал превосходно: упомянутых темных сил быть при ее таком ласковом приглашении не должно.

– Никого, – ответила Раинька. – Светка, дочь, в лагере, а муж в другом городе у другой жены.

Дочь? Бывший муж? Такое откровение иного насторожило бы, но Саша не о легкомысленности новой знакомой подумал, а вновь о ее обезоруживающей непосредственности.

Ночью того же дня он впервые в жизни сказал то, что никому не говорил и без чего легко и победоносно обходился во взаимоотношениях с другими женщинами.

– Я люблю тебя, Раинька, – сказал он легко и взвешенно.

Домой из бани он вернулся к обеду следующего дня.

Он стал приходить к ней каждый день. Частенько с ночевкой (дома врал: мол, футбольный матч на выезде). И с каждым новым днем влюблялся в Раиньку сильнее и бесповоротней, открывая в возлюбленной, ее внешности, голосе, глазах, характере все новые и новые доказательства безошибочности своего выбора. Раинька ежедневно менялась, как постоянное число в геометрической прогрессии. Уже на второй после бани день, когда она вечером явилась в парк культуры и отдыха на свидание с ним в туфельках-шпильках, в стянутом на талии платье, как нельзя ярче и заманчивее демонстрировавшем ее изящную, пикантную фигурку, с пожаром модного в те годы начеса из-под косынки, привыкший ничему не удивляться Сашенька Пичугин откровенно прибалдел. Такая разительная перемена произошла с той женщиной, с которой он больше чем познакомился в фойе нововведенного в производство здания банно-прачечного треста № 1. Там была действительно миловидная женщина, а тут, в парке, – прекрасная, неотразимая и неожиданная. И так каждый раз.

Каждый раз при встречах с ней Саше казалось, он встретился с новым существом. Раинька не знала, в каком году родился Наполеон, не помнила, чем отличается синус от косинуса, не ведала, какая разница между реализмом и сюрреализмом, ничего не слышала о Пеле и знаменитом в футболе пляже Каракабане, однако это не мешало Саше поражаться тонкости ее суждений. Она была наглядным примером того, что умным можно быть не только от количества информации в голове, но и просто от природы. Он шутил:

– Единство формы и содержания.

Она смеялась в ответ:

– Для нас, баб-с, первое важнее.

И сотворяла доказующий жест – красивым, летучим движением откидывала огонь волос со лба или игриво подбочивалась, кладя ладошку на крутизну бедра.

Она находилась в том расцвете женских сил, когда и морщинки у глаз кажутся не от возраста, а от избыточной лучезарности улыбки.

Когда Саша окончательно перебрался к ней, то предложил расписаться, Светку удочерить. Раинька щедрость его оценила, но отказалась. Куда торопиться? Он молод и, вполне возможно, завтра ему другая понравится.

– Не печать в паспортах скрепляет сердца людские, – сказала она.

Саша сперва обиделся, затем, подумав, согласился. Но не с фактором своей молодости, а и в самом деле, чего горячку пороть, не в формальности дело, не в загосовской фитиольке с госпечатью, в другом главное – главное в невидимых, связующих разумные существа душевных нитях, о которых сказал в своем стихотворении новый знакомый, чудаковатый человек, по профессии астроном, беспечный обладатель уникальной коллекции открыток с видами родного города по фамилии Новиков, Николай Сергеевич. Правда, в стихах его говорится о невидимых узах разумных существ двух разных, бесконечно далеких цивилизаций. Но разве мужчина и женщина не разные и не бесконечно далекие цивилизации?

41. Сделка

К себе сюда, в общую с Раинькой комнату, Саша еще ни души не приводил. И мать родная не видела, как он живет. Дед разок под благовидным предлогом пытался проникнуть в его новую обитель – принес письмо, пришедшее по старому адресу, но случайно Саша встретил его во дворе, письмо с благодарностью взял, а в дом вежливо не пригласил.

Гайнан Фазлыгалимович оказался первым гостем в его женатой жизни.

После двух рюмок гость завел речь о своем соседе Николае Сергеевиче Новикове.

– Подозрительная личность наш Звездочет. Чего-то все пишет, пишет. На службу лишь раз в неделю ходит.

– Ничего особенного, – отвечал Пичугин. – Ученый. У них своя специфика.

– И в войну не воевал, и тридцать седьмой год проскочил, когда все честные советские ученые трещали под колесом репрессий. Я ведь тоже загремел. Можешь себе представить, в сорок пятом. Мужики на дембель, их встречали с цветами, они герои, спасители, а я – в Сибирь, на каторгу. И думаешь, я один такой оплеванный на восток за Урал катил? Целый эшелон.

– Эшелон заключенных – опасно, разбегутся, да и мало ли что – это с точки зрения конвоя.

– Не веришь? Значит, я болтун?

– Не болтун, Гайнан Фазлыгалимович, но ошибиться могли, в то время были большие переброски на японский фронт.

– Я не знал, куда я ехал?

– Вы-то – да, но весь эшелон?..

– Эх, молодежь, молодежь! Вумненькие все стали, начитанные, о войне больше фронтовиков знаете, обо всем больше очевидцев. Кто знает, возможно, так оно и правильно. Давай-ка... – Гайнан аккуратно, ни капли на скатерть, наполнил рюмки. – Мудрецы говорят: истина в вине. Алле –ап-п!

Содержимое рюмки булькнуло и пропало в недрах под широким, окладистым галстуком, и губ фронтовика не замочив.

– Вообще-то я не пью, – улыбнулся Пичугин, проследив за ловкостью заслуженного циркового деятеля в настоящем и незаслуженно пострадавшего майора-фронтовика в прошлом.

– Эх-эх! – протестующе крикнул Гайнан.

– А когда пью, – продолжил свою мысль Пичугин, – то не более двух рюмок...

– Эх-эх!

– Но с вами... – Пичугин поднял и, причмокивая, как чай, опорожнил рюмку. – Фу-ты! У нас же соленые огурцы есть, а мы хлебом занюхиваем.

Кроме хлеба, на столе громоздились консервы, свежие помидоры, вареная картошка, селедка, еще что-то, но Пичугин, как жеманная хозяйка, прибедрялся.

Гайнан оценил вкус соленых огурцов и спросил:

– Саш, а как это ты Жбана приручил, такую щетку сапожную?

– Я? Жбана?

– Ты, ты, Сашок, я же вижу, как он тебе в рот смотрит.

– Не замечал, интересно.

– Так-таки не замечал? – От чрезвычайной сосредоточенности глаза Гайнана остекленели.

– Ну, замечал, замечал, конечно. На меня, если на то пошло, все пацаны, как богомольцы на икону, зенки лупят. – Пичуга опустил взгляд на бутылку, потому что в разбросанные зрочки Гайнана смотреть было неловко. Который из них рабочий? А то можно в один глаз целиться, а за тобой потихоньку другой наблюдает.

Гайнан взял бутылку, до краев наполнил рюмки.

– Все-то оно, может, и все на ты, как на икону, но не все нуждаются в твоём высочайшем позволении пользоваться своими личными вещами.

– Не понял.

– Или «вальтер» – пистолетик не жбановский, а все-таки твой? – Гайнан вновь уставился на Пичугу немигающим взглядом. Пичуга двумя пальцами, отставив мизинец, вознес рюмку.

– Гайнан Фазлыгалимович, вам так необходимо знать, чей это пистолет? Вас крайне волнуют наши со Жбаном взаимоотношения? Или мы с вами без всего этого второстепенного не можем договориться, о чем, как я понимаю, мы в принципе уже договорились? Мы же не глупые люди. Я знаю, что вам надо. Вы знаете, чем я интересуюсь... Я легко могу сделать вам то, что имеется у Жбана и принадлежит ему, а вы мне, как я понимаю, то, что валяется у вашего ученого соседа под письменным столом. Любопытная ситуация: и то, и другое их хозяевам не так необходимо, как нам с вами, Гайнан Фазлыгалимович. Открытки в саквояже пылятся без надобности вот уже почти полвека, а «вальтер» в неумелых руках мальчишки может привести к беде. Ладно, он сегодня в ворон стреляет. А завтра? И потом ведь на пистолет у вас все законные права, для вас же это восстановление утерянного – памятной, святой вещи, реликвии.

– Это мужской разговор!

Мужчины выпили.

Пичуга выпивку терпеть не мог, дурман не нужен был ни молодому, тренированному организму, ни его дисциплинированному уму. Однако тот же дисциплинированный ум на сей раз дал послабление: ради дела грамульку-другую можно. А после нескольких рюмок и организм перестал сопротивляться. Горькое, с противным вкусом питье пошло легко, тормоза отпустили, а когда гость достал вторую бутылку, захотелось и самому газу поддать. Гость оказался редкостным по чуткости и уму собеседником. А Пичугу уже понесло на всех скоростях, он расхвастался, прочитал несколько им самим сочиненных стихотворений, чего никогда и ни в какой компании не делал, достал из шкафа футбольный мяч и прямо у стола показал новый грандиозный финт, затем притащил пузатый альбом открыток с последними уникальными, просто до ужаса редкостными приобретениями.

– Погляди, глянь, на эту сма-ари, – обхватив дружески за плечо свежеиспеченного союзника и перейдя с ним на «ты», разворачивал Пичуга свое достояние для обозрения. Затем он принес еще кипу альбомов.

– А-ля-мафо, мадера-фигус-краба! – возглашал Гайнан, водя замедлившимся взглядом по десятку раскрытых, разложенных на диване, стульях, на полу под ногами альбомов. – Феноменально! И стихи сам сочинил?!

– Разумеется!

И Пичуга вновь декламировал, сбиваясь.

Под занавес Пичуга не удержался и рассказал, как однажды залетел по малой нужде в сортир за школьным двором, покосившийся, вонючий, с не держащей толком защелкой и нарвался на скрюченного Жбана, грешащего онанизмом.

Пичуга, сморщившись, изобразил.

Гайнан расхохотался:

– Так вот на какой лесочке кита держишь?

– Ха, какой он кит! Килька он, а не кит.

Договорить, досмеяться вволю не получилось. Вернулась с работы усталая, нервная хозяйка, и Пичуга, смутно соображая, принял первый в его семейной жизни разнос. Он безуспешно пытался познакомить ее с новым другом-наперником, ветераном войны, работником культуры, замечательным человеком, призвать, наконец, к элементарной интеллигентности. Милая, добрая Раинька, каковой Пичуга охарактеризовал супругу в двух словах до ее прихода, была невменяема, она кричала, что не для того одного пьяницу из дому выставила, чтобы обзавестись другим таким же.

– О какой интеллигентности ты лепечешь? Посмотри на себя в зеркало, посмотри на рожу распаренную своего культурного друга, на ней же все написано.

Утром Пичуга плохо помнил, чем окончилось застолье. Пришла ли жена раньше того, как Гайнан Фазлыгалимович ушел, или она застала их вместе? Если застала, то о чем они втроем говорили? После чашки чая его схватила рвота, в институт он пойти не смог и на тренировку вечером тоже.

– Раинька, я умираю, – шептал он, обхватив помойный таз.

– Пить меньше надо, – отзывалась Раинька.

Глава десятая

42. На катке

Хоть и нет на свете праздника веселее и ярче Нового года, а все равно жаль отрывать последний листок привычного календаря. Уж больше не будешь выводить ты этот год во всевозможных графах,

требующих засвидетельствовать ту или иную дату из одного небольшого витка твоей жизни. 1961 год запомнился мне и таким пустячком: палочка, девятка, шестерка и опять палочка, изображавшие симметричную, округлую цифру, в перевернутом виде вновь-таки оставались палочкой, девяткой, шестеркой, палочкой – той же самой цифрой. Помню, жалко было ломать эту неподдельную гармонию какой-то чужеродной двойкой на хвосте.

Но последний день года сменяется первым днем нового года.

Последние дни бесконечной второй учебной четверти сменяются долгожданнами зимними каникулами. Говорят, учебный год – досадный перерыв каникулярного времени. Какие верные слова!

Зима того нового года выдалась на морозы и снега щедрая. Пропадать бы целыми днями на Ямках, скользить на лыжах с душезахватывающих склонов, взвиваться птицами с трамплинов, да нет, к зиме мы внезапно повзрослели.

К январю нового тысяча девятьсот шестьдесят второго года первоначальные и поэтому вполне правомерные завихрения в нашем Бермудском треугольнике (Шаих – Юлька – я) сами собою улеглись. Моя конкурентоспособность оказалась несостоятельной, отчего у меня, честное слово, с сердца камень свалился. Вот она, эгоистическая сущность любви: тебя не любят, так и ты – привет вам с кисточкой. Но я не очутился в третьих лишних. Напротив, дружба наша упрочилась. И с обеих сторон равноценно: как с их по отношению ко мне, так и с моей стороны по отношению к ним, моим кротко взаимовлюбленным друзьям Юлии и Шаиху. Невзирая на мои порой упрямые уклонения от их общества (влюбленным же необходимо уединение), они всюду водили меня с собой. В зимние каникулы они затащили меня на каток ЦПКиО. Мне понравилось, и уж после как они на каток, так и я не отставал.

В те времена каток в Центральном парке был сердцем вечернего города. Народ валил туда валом – и малышня вездесущая, и седые пенсионеры в спортивных шапочках, и те, кому, как их теперь называют, за тридцать, и, безусловно, тогдашний наш золотой годок.

Особенно празднично на катке и вокруг катка в парке было именно в каникулы. Со всех сторон сверкающего льдом майдана нарядные елки, разноцветные огни гирляндами, краснощекие снеговики... В репродукторы гремят модные песни: «Де-смо-мо-до-града...» Малопонятно. Но волнительно (не люблю это слово, но тут почему-то захотелось употребить). И без сомнений – о любви. Шаих с Юлькой, взявшись за руки, режут зеркало майдана лезвиями «канадок» и «фигурок», обгоняют пеструю, разноликую вереницу неумех. А они, мои друзья, умели. Как это Шаих лучше меня научился, мы ведь с ним до этого все время на Ямках пропадали. Разрумянился Шейх Багдадский, грудь нараспашку, шея длинная, говорит что-то Юльке, она смеется, счастливая, оба счастливые. К тому новому году общение их под сенью первой любви в полной мере прояснилось. И не только для них самих, но и для окружающих. В первых числах января Шаиху исполнилось шестнадцать, и он опять стал на год старше меня. Юлька на день рождения подарила ему свою акварель – пейзаж, изображавший зимнюю старгородскую улицу. Конечно же, нашу – Алмалы. Сквозь заиндевелые ветви деревьев виднеется полукирпичный, полубревенчатый дом с подпирающим морозное небо белым столбом дыма из красного крепыша-трубы, с крепкими воротами, под террасой, с ветхим заборчиком, из-за которого над крышей сарая торчит трамплином в заоблака лава голубятни. Такой пейзаж. Раму к картине – из осиновых реек с простенькой выемчатой резьбой, легонькую, воздушную, под стать полотну – смастерил Киям-абый. Внучка с дедом вручили свое произведение Шаиху у себя дома, куда хитро вызвали в самый день рождения, днем, якобы для починки радиоприемника «Балтика», о котором Киям-абый упоминал еще весной при знакомстве. Семна Васильевича дома не было – на работе, отсутствовала и Роза Киямовна. А Шаих пришел с ассистентом, то есть со мной, и мы впервые открыто угощались вином. Киям-абый налил нам по рюмочке сладкого, цвета рубиновых звезд на Московском Кремле «Нектара Абхазии». Шестнадцать лет... Жизнь казалась не наградой, не случайностью, а законной закономерностью, светлой и вечной данностью. Вечность ощущалась и за спиной – что ни говори, шестнадцать лет! – но все же больше было ее впереди. Нам было хорошо у Юльки и Кияма Ахметовича. Ведь ни один праздник, ни один Новый год, ни один день рождения мы с Шаихом не отмечали как нам хочется, вне всевидящего ока родителей. В тот день починить «Балтику» не хватило времени. Обещали зайти специально. Зимний пейзаж Шаих повесил у Николая Сергеевича. У себя, где стены постоянно скоблились похмельными глазами отчима, не захотел. Вечером к Шакировым пришли какие-то родственники, какие-то гости, пили за здоровье Шаиха, его матери, а после за уважаемого Гайнана Фазлыгалимыча и ни рюмки за настоящего отца, будто его и не было на свете. На следующий день Гайнан Фазлыгалимович по причине головных болей выйти на работу не смог. Поутру привязался к Шаиху: за твое здоровье перебрал, сбегай за бутылкой, а то сил нет никаких. Шаих недвусмысленно огрызнулся, подставил плечо под прицельную оплеуху и хлопнул за собой дверь. Гайнан выскочил следом: «Чаплашка, татарчонок недорезанный, вернись, сволочь!» Шаих и не оглянулся. Около шести вечера он позвонил мне из сарая по нашему внутреннему телефону: «Пошли на каток».

Я стою с горячими пирожками в озябших руках.

– Юля, Шаих, долго будете кружить? Съем пироги.

Они подкатывают, запыхавшиеся, краснощекие. Я протягиваю им пирожки с ливером и рассказываю о бое в буфете. Они хвалят и меня, и пирожки, жуют аппетитно, смеются. Почему-то все влюбленные делаются смехообильными.

Катим по большому общему кругу. Есть еще десяток других мелких кружков, где показывают суперкласс местные виртуозы, потешаются хоккеисты в «штатском», носятся отчаянные кривоногие дилетанты, кружат, сметая все и вся на своем пути, с турбореактивным ревом «китайские стенки» по десять-пятнадцать человек в сцепленном ряду.

Мы катим неспешно, под ручку, посередке Юлька, справа, по большой кривой, – Шаих. Мороз кусает щеки, ног давно не чуем. Пристяжных, нас – меня и Шаиха, то и дело толкают, задевают обгоняющие, отстающие, падающие... Почаще достается Шаиху, но на коньках он, как конь подкованный, недаром он с наиболее опасной стороны у нас.

Ну, конечно, тут как тут Жбан с Киялей. За ними кавалерист (читай: кривоногий) Титя. Они пронеслись на вираже поперек общего движения перед самыми нашими носами, обдав нас ледяной крошкой из-под коньков. Раньше бы и соприкоснуться постарались, с ног сшибить, но с некоторых пор задирать Шаиха с Юлькой им стало почему-то неинтересно. То ли Шаих резко и внушительно окреп, то ли парочка эта, никем вокруг себя не интересовавшаяся, стала, в свою очередь, и к себе интереса мало возбуждать. А может, стали опасаться острого Юлькиного языка? Или сделавшегося злым в последнее время ее брата? Все может быть. Да и кому, скажите на милость, охота взирать на чужое счастье, когда на том месте, под ручку со счастьем посреди многолюдного майдана, мог оказаться ты сам? Кому хочется лишний раз напоминать себе свое банкротство на любовном фронте? Жбану, что ли, проявлявшему к Юлке повышенный интерес и позорно и неоднократно отшитоуму? Нет. Просвистел мимо, вспугнув Юльку, продемонстрировал себя, самого разудалого лихача, и исчез вместе со своими друзьями. Не в буфет ли опять подался? В буфете в очереди за пирожками, вернее, втиснувшись ко мне без очереди, он похвалялся дружбой с Гайнаном, прозванным пацанами почему-то Калачом, и бесплатным посещением с ним цирка. «Фартовый мужик, – шептал мне жарко на ухо. – Тигров в клетках показывал, с дрессировщиками познакомил. Знаешь, у одного револьвер прямо за поясом с барабаном». Я понял, с каким барабаном, но переспросил: «Барабан-то зачем? Барабанить?» Жбан не понял, что я язвлю, раздраженно пояснил: «Револьвер с барабаном, дурья голова. Калач говорит, ему тоже пушка положена». Я промолчал, хотя за «дурью голову» мог ответить, что револьверов без барабанов не бывает. Жбан спросил: «Слышь, четвертая дверь в вашем ряду сараев – это Звездочета дровяник?» «Зачем тебе? – задал я в ответ вопрос ради вопроса. «Так просто», – смутился вдруг Жбан. Я, умная голова, не придал этому значения: «Да, четвертая».

Катались, катались, чуть ноги не отморозили. Сидим в раздевалке, Шаих растирает Юлькины ноги, озабоченно сует их себе под куртку на грудь. Юлька смеется сквозь слезы. Я монотонно досказываю о бое в буфете и пересказываю разговор со Жбаном. Вспоминаю и о тиграх, и о револьвере... О дровянике из вида упускаю.

К ночи мороз затягивает гайки потуже. Бежим под студеной луной и колкими звездами по городу, тесно обложенному исполинскими сугробами. Шаих говорит, что после восьмого класса нынче пойдет в техникум связи.

– Там у них и общага есть. И стипендию буду получать...

На первом месте у него, безусловно, общежитие. Он уже не раз говорил: дома после восьмилетки жить не будет. Мы с Юлькой пытались возразить: свой угол есть свой угол. «Нет у меня своего угла на Алмалы, – отвечал он. – Был летом в сарае. И тот оккупировали. В мясную лавку превратили».

Зимой воздух в квартире Шакировых наэлектризовался до взрывоопасного состояния. Шаих с отчимом не разговаривали друг с другом, если не считать за разговор словесные стычки. Шаих уже несколько раз до нового года обнаруживал у отчима серебряные монеты, различные старинные безделушки, принадлежавшие Николаю Сергеевичу, и под угрозой оглашения воровства требовал вернуть их хозяину, но тот скалился и отвечал, что все эти вещички его, Шаиха, мать взяла, а не он. «Вот, глянь, эта безделушка не у меня в кармане, а у твоей матери в корзине...»

– И ничего не докажешь, – говорит Шаих. – Хоть из города беги от позора.

– А ты прижми его в укромном уголке и пощекочи финочкой, – предлагаю я и в шутку и всерьез.

– Нельзя, – серьезно отвечает Шаих. – Финка у меня не оружие и не пугач, а рабочий инструмент.

Бежим, вдыхаем колкую стужу, выдыхаем мягкие клубы пара. Молчим. Юлька, переварив о технике, спрашивает:

– А как же Московский физико-технический?

– Одно другому не мешает.

– Как раз по профилю, – подтверждаю я авторитетно.

– А голубятня?

Такого вопроса Шаих не ожидает.

– А голубятня? – повторяет Юлька.

Шаих пинает ледышку. Она, звеня, летит по дороге и далеко впереди юркнет в сугроб. Ответа на этот последний Юлькин вопрос у него нет.

Из-за сугроба вырастает наш полукирпичный, полубревенчатый дом. Во всех окнах свет. Там, за расписанными морозом стеклами, тепло, печи гудят, сковородки шипят... А здесь, на улице, холод собачий и тишина. Лишь в глубине двора где-то аукает соседка Милочка:

– Мурка, Мурка!

Расставаться неохота.

– Зайдем, погреемся, – не отдает коньки Юльке и не собирается провожать ее Шаих. И Юльке, и мне ясно, что он не к себе приглашает, а к Николаю Сергеевичу.

– Поздно уже, – не знает, что делать Юлька.

– Чайку у печи попьем, – поддерживаю я друга. – У вас же нет печей, одни батареи, трубы.

Юлька уступает.

Поднимаемся по скрипучей сенной лестнице и, минуя свои двери, тихонько стучимся к Николаю Сергеевичу.

– Можно?

И ступаем гуськом из тьмы кухни в свет, в тепло, в безотказный приют. Николай Сергеевич вскакивает со стула, возносит в салюте руку с авторучкой:

– У-у, вот они, конькобежцы! На улице-то под тридцать. Не поморозились? Раздевайтесь поскорее и к печке. Я уж тут забеспокоился, а вас все нет и нет.

Мы рады его радости, но смущены. В комнате он не один. В кресле у письменного стола откладывает книгу и вскидывает брови над очками профессор Семен Васильевич Пичугин.

43. Дай бог счастья ей!

Чай у Николая Сергеевича всегда вкусный, ароматный. Всегда в стаканах и в массивных с фигуристыми ручками подстаканниках. Устроились кто как у печи, дверца которой обычно при топке открыта (отличная тяга). Жаркий отсвет огня шевелится на наших лицах, постреливают и шипят соками свежеподкинутые поленья. Стараемся вести свои разговоры, не мешать взрослым. Это их первая встреча после долгой и непонятной разобщенности. Оставить бы их вдвоем, но теперь уж сразу не уйти. Да и кто знает, как для них лучше, без нас или с нами? Недаром говорят, юные и глупые сближают седых и мудрых.

– Только в одиночестве постигается истина, – Семен Васильевич продолжает прерванную нашим появлением беседу. – Только вдохновенная лень рождает мысль. Лень вдохновенная... Я раньше не понимал это частое у Пушкина сочетание на первый взгляд несочетаемых слов. А просто же все и ясно. Лень, ничегонеделанье дают простор творческой мысли. Вдохновенная лень – это занятие любимым делом, это свободное распоряжение своим личным временем, это свобода творчества, это, наконец, осмысление себя в жизни, которая не так велика, чтобы транжирить ее в бесконечном суесловии – на службе, дома, на лекциях, банкетах, собраниях, совещаниях... И все это пустословие, вся эта суета с каждым новым днем возобновляется, удесятряется и с каждым новым днем с не меньшим успехом забывается, не оставляя и былинки доброго в душе. Одна накипь. Бог свидетель, я завидую тебе, Николай.

– У всякого своя чаша, – как бы оправдываясь, разводит руками Николай Сергеевич. Берет со стола книгу. – Купил томик Ахматовой.

– Ага... Не печатали ее сколько! Меняются времена... Сегодня хоть вздохнуть можно свободно.

Беседа их скачет с одного на другое. На нас они внимания не обращают. Мы им не помеха. Свои. Сидим неслышно, как мыши.

– Мне недавно Тютчева преподнесли, – почесывая ногтем бровь, молвит Семен Васильевич. – Двухязычный поэт... Интересное явление. Что ни говори, а билингвизм накладывает свой отпечаток, долго его стихи русским духом не пахли, а век прошел, поди теперь поищи более русского. Кстати, я помню, у тебя есть два рассказа на французском. Ты их еще в школе написал.

– Детские забавы, – ведет Николай Сергеевич ладонью по пегой, кустиками седой щетине, точно размышляя: подкоротить ее или еще потерпит.

– Стихи свои так нигде и не напечатал?

– Нет.

– А я не удержался, даже малюсенькую книжечку выпустил.

– Я видел.

– Ничего?

– Ну это я все знаю и много раз говорил тебе...

– Ага, ага... Николай, а у тебя же еще фантастические романы и повести были?

– Почему были? Они есть.

– Надо их достать, реставрировать, предложить куда-нибудь. Чего под спудом хранить, не те времена. Конечно, блажен, кто про себя тайл души высокие создания и от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаянья! Помнишь?

– А как же. Вот и таю, и остаюсь блажен.

– Мне твой «Эликсир молодости» запомнился. А ты читал мою книгу о Пушкине?

– Объемистый труд, глубокий. Но есть и неточности. У меня записано, сейчас покажу.

– Потом, Николай, потом, успеется еще.

Сорвавшийся было с места Николай Сергеевич возвращается на место, спросив вдруг:

– А ты мою о Пушкине читал?

– Помилосердствуй, Николенька, какую?! Я и газетной заметки из виду не упускаю. Но не видел, не слышал...

– «Пушкин – декабрист». Недавно закончил. Кое-кто из наших уже почитал. Погляди, – Николай Сергеевич с мальчишеской расторопностью извлекает из-под стопки бумаг на письменном столе одну из четырех хорошо нам известных общих тетрадей в оберточной из-под сахара или макарон бумаге поверх своих дерматиновых обложек, в которых он «тайл» свой многолетний изыскательский труд о Пушкине. Эти тетрадки главу за главой Николай Сергеевич читал нам. Но ему, естественно, хотелось показать их специалисту.

– Хочешь сказать, что Пушкин был причастен к тайным обществам декабристов?

– Не причастен, а состоял в тайном обществе.

– Гм-м... – Семен Васильевич раскрывает тетрадку. – У тебя почерк еще мельче стал. Смотри, испортишь зрение.

– Пока не жалуюсь.

– Так-с... – Профессор снимает очки и ведет утиным носом по рукописи. – Не ты первый сие доказать замыслил. Но любопытно, любопы-ы-ытно. Ага... С лицейского периода начинаешь копать. – Профессор примолкает, углубляется в чтение, переворачивает страницу за страницей. – Надо внимательно почитать. Ты мне дашь домой?

– Это единственный удобочитаемый экземпляр.

– Удобочитаемый? Здесь криминалист нужен. Но ничего, разберемся. – Семен Васильевич деловито принимает из неуверенных рук Николая Сергеевича остальные три тетради и уж больше не листает их, а сразу прячет у себя в портфеле. – Не беспокойся, Николай. Прочту, сделаю пометки, все равно тебе переписывать придется, в таком виде ни одна машинистка не расшифрует. Кстати, Татьяну Георгиевну не видел? – Голос профессора ровен, он вновь сажает на нос очки и смотрит уменьшившимися глазами.

– Татьяну Георгиевну? – встрепенувшись, переспрашивает Николай Сергеевич, тем самым выигрывая время, чтобы хоть немного унять волнение. – Пять лет назад. В школе номер двадцать восемь, куда меня пригласили рассказать учащимся о развитии у нас астрономии. Точнее сказать, заявка из школы в обсерваторию поступила, а уж там... мне поручили. У меня как раз статья была опубликована о наблюдении еще в мае тысяча семьсот шестьдесят девятого года учителем Казанской гимназии прохождения Венеры по диску Солнца.

– Помню, помню, в московском выпуске «Историко-астрономических исследований».

Примечательный материал.

– Так вот, стало быть, я и рассказал о Комове, о его первой в нашем городе астрономической обсерватории. Вопросов много было: где? В каком месте города? Какая? Потом о Литтрове рассказал, о Симонове...

– Это ясно...

– А Таню... А Татьяну Георгиевну я встретил после своей лекции в коридоре школы. Она, выяснилось, математику там у них вела.

– Вела?

– Да, а сейчас не знаю.

– И сейчас ведет. Всю ту же математику, все в той же школе. У всякого своя чаша... Это ты верно заметил.

Николай Сергеевич молчит. Смолкает и Семен Васильевич. Каждый погружен в «свою чашу».

Трещит-гудит печь, пляшет в ней и на наших лицах пламя.

– Ты знаешь сумасшедшего математика Жданова? – прерывает молчание Семен Васильевич.

– Знаю, – отзывается Николай Сергеевич.

– Кто он?

– Сумасшедший математик Жданов.

– Знаю, что сумасшедший. Кто он у вас в университете?
 – Старший преподаватель.
 – Он обезумел... от Тани, – понизив голос и озираясь на дочь, произносит Семен Васильевич. Но Юлька не слушает его. Она шепчет что-то Шаиху на ухо и хихикает.
 – Не может быть, – говорит ровно Николай Сергеевич.
 – Почему?
 – Так как у него нет ума.
 – Ты изменился, Николай.
 – Годы всех меняют. И ты вон уже не вороной, и я пегий.
 – Я не о внешности. – Семен Васильевич барабанит ногтями по подлокотнику кресла. – Остричь научился.
 Николай Сергеевич вздыхает, останавливается взглядом на пламени в печи.
 – Жданов предложение ей сделал, – почти шепотом произносит профессор.
 – Ну что ж, дай-то бог, как говорится, счастья ей, – без промедления отвечает Николай Сергеевич и оживляется: – Читал статью Агреста «Космонавты древности»? За этот год «На суше и на море»?
 – За прошлый.
 – Ах да, уже шестьдесят второй пошел. Любопытная статья, надо сказать. Принципиально нового в ней ничего нет, но сам факт бесстрашной публикации гипотезы отраден. – Николай Сергеевич устремляется к стеллажу, выхватывает из тесного коленкорового строя толстую темно-синюю книгу. – Вот!
 Семен Васильевич берет ее, снимает очки, листает.
 – Дашь почитать?
 – Конечно. За статьей два научно-фантастических рассказа. Обрати внимание.
 Профессор отыскивает рассказы, говорит свое «ага» и задает вопрос совсем из другой оперы, но в характере того общего дерганого разговора, который обыкновенно ведут два давно не видевших друг друга человека:
 – Отец так и не вернулся после того?..
 – Не вернулся, – бесстрастно вторит ему Николай Сергеевич. – Вещи только вернулись. В тридцать восьмом. Посылкой. В фанерном ящике с письмом в нем. Но ни обратного адреса, ни адресата.
 – Друзья, значит. А что в письме?
 – Констатация гибели.
 – И место захоронения?
 – Нет. Только почтовый штемпель Караганды. Но и на том спасибо.
 – Ему же Трудовая крестьянская партия, я слышал, инкриминировалась...
 – Ни в какой он партии не состоял, Сема. А выступал сам от себя лично. Бывая на селе при сельхоззаготовках, пытался доказать, что середняк – не кулак, что крестьянин с двумя коровами и лошастью раскулачиванию не подлежит.
 – В тот год весь Наркомзем взяли, – взмахивает ухоженными ногтями на крепких пальцах Семен Васильевич. – Но меняются времена. Должны пересмотреть место крестьянской оппозиции в истории развития страны. И промпартии, и Союзного бюро РСДРП...
 – Пересмотрят и вернут отца.
 – Ну уж, Николай, не будь ребенком. Уж скоро нам самим в ночь погружаться, а ты родителя своего воскресить хочешь.
 Из бессвязной беседы я мало что понимаю, но запоминаю. Автоматически. Как магнитофон, все подряд – и нужное, и ненужное. Вчерашнее вот не помню, а тогдашнее... Удивительное устройство память!
 – Пора мне, – шепчет Юлька.
 – Посидим еще, – уговаривает Шаих. – Отец же здесь.
 – Пусть... А мне пора. – И в полный голос: – Чаю напился, согрелся. Большое спасибо, Николай Сергеевич, за гостеприимство.
 Николай Сергеевич, не знаю за что, извиняется и, многожды кланяясь, провожает нас до двери.
 Семен Васильевич кричит вслед дочери:
 – Юличка, я скоро вернусь, пусть мама не беспокоится.
 Шаих идет провожать Юльку до дому. Я прощаюсь с ними внизу, на крыльце.

44. Звездопад

Порой мне кажется, Шаих – это я сам. По крайней мере он – неотъемлемая часть меня самого. Иногда я почти физически раздваиваюсь на Шаиха и себя, но чаще я слит с ним в одно существо. И

чем больше лет проходит с того времени, когда мы были вместе, чем старше становлюсь, тем сильнее ощущение нашей двуединой целостности. С годами я все больше и больше убеждаюсь: дружба – это не само общение, не что-то материальное, не бутылка вина в складчину, не общая служебная лямка, не польза подчиненному от начальника или, наоборот, – начальнику от подчиненного, а нечто большее, такое, что можно назвать духом. Можно быть далеко друг от друга, за морями, за океанами, одного может и в живых уже не быть, но от духа настоящей дружбы далеко быть невозможно. Твой друг всегда в тебе, а ты в нем. Любовь – да, требует присутствия. Дружба – нет. Она много выше эгоизма плоти. Потому-то любовь между мужчиной и женщиной, не осененная духом истинной дружбы, в конечном счете обречена на крах. Подумайте, почему, например, говорят «подруга жизни», а слово «любовница» утратило свое первозданное значение? А в старину ведь «любовница» означало – возлюбленная.

Провожал Юлька в тот вечер Шаих долго. Они хотели дождаться ее отца в подъезде. Она волновалась за отца: один ночью... Увидеть его в окно и разойтись. Она домой, Шаих – на этаж повыше, чтобы без лишних слов затем разминуться с родителем.

После семейной сцены осенью и инфаркта у отца Юлька изменилась к нему. Она сказала нам как-то: это очень страшно обидеть человека и потом вдруг почувствовать, что ты больше никогда не сможешь, не успеешь ни вымолить прощения, ни загладить вины перед ним. К отцу в больницу она бегала каждый день. И тот страх остался в ней. Она стала испытывать то, чего раньше ни сном ни духом не ведала, стала бояться за мать, за деда, за брата, волноваться за отца, которого раньше побаивалась и не любила.

Семен Васильевич задерживался.

Задерживались поэтому друг подле друга и Шаих с Юлькой. Они целовались, греясь у горячей гармошки батареи и любясь легким снежком не снежком, а какой-то бестелесной искрящейся пылью за окном. И луна в небе, и звезды. И вот такой вот снег.

Выглядывали на улицу, не идет ли отец. Скрипели по жесткому снегу до школы, замерзали разом и опять спешили к горячей батарее.

Давно ли были первые поцелуи, робкие признания, давно ли будущее казалось в радугах и цветах. Но жизнь беспроблемной не бывает. Бывает какое-то время, но недолго. Шаих не хотел признавать этого. «Нет проблем, – в который раз пытался он уверить и успокоить Юльку насчет себя. – Велика ли беда из дому уйти! Голова на плечах, руки-ноги целы, не пропаду». «Ты меня удивляешь», – в который раз удивлялась Юлька его беспечной самоуверенности. Но к тому вечеру, кроме чисто увещательной поддержки, у нее появилась практическая мысль.

– Шаих, дай слово, что выполнишь мою просьбу, – сказала она, отстранившись от поцелуя.

Шаих усмехнулся:

– Запрещенный прием применяешь.

Но прием уже был применен, и Шаих, вяло посопровтивлявшись – «чего ты хочешь?» да «скажи так», сдался:

– Даю... Честное слово.

Юлька заправила белую, влажную прядку волос под белую, влажную шапку, опустила руки на его плечи.

– Я посоветовалась с дедой... и уж не помню, кто из нас первый предложил, да это и не важно, короче, мы вместе с ним предлагаем тебе перейти жить к нам. Пока... – Ладонью Юлька прикрыла Шаиху рот. – Пока тебе не дадут общежитие в техникуме. Или еще где. Поживешь у нас. Я предоставляю тебе свою комнату. Сама к матери перейду.

– О чем ты говоришь?! – освободил наконец лицо от баррикады Юлькиных пальцев Шаих. – Я? К вам? В качестве кого? В качестве приживалы?

– Вы живете втроем в одной комнате, Шаих, – затараторила Юлька, – мы вчетвером – в пяти. Разве это справедливо? Сашина комната вовсе пустует. Но я тебе предлагаю свою. На правах друга предлагаю, друга – не невесты, не бойся.

Шаих, откинувшись, расхохотался:

– В качестве жениха я как раз-то с удовольствием и вкатился бы в ваши хоромы. А так чего – ни сват, ни брат, ни квартирант. К слову, брату моему не хватило места в квартире, а мне должно хватить?

– Перестань, ты же знаешь ситуацию с Сашей. Он хотел разделить, отец против, но ни я, ни мама, ни деда тут ни при чем.

– А когда меня начнете выселять, при чем окажетесь? Или уж ни при чем Семен Васильевич будет? Квартира, между прочим, ему дана, профессору. А вы решаете...

– Одному человеку такая фатера не предоставляется, хоть министром будь.

– У вас пятикомнатная, – уточнил Шаих.

– Одна самодельная, – Юлька отвернулась к окну и продолжала уже равнодушно: – Квартира нам

выдана всем, в том числе и ветерану войны, инвалиду, в том числе и мне...

– Не сердись, Юльк, я не хотел. – Шаих обнял ее и тоже устремил взор в окно, где все так же кружил снежок не снежок, а какая-то искрящаяся пыльца. Соседи, словно сговорившись, уединения их не нарушали, попричихали в своих квартирах, не шастая, как обычно, туда-сюда.

– И я не хотела... – прошептала Юлька. – Хотела как лучше. – Помолчали. – А слова данного ты все-таки не сдержал.

– Какого?

– Выполнить мою просьбу.

– Ну, Юлька, договорились же, – взмолился Шаих. – Ну, спасибо тебе. Но и меня пойми. Как бы поступила ты на моем месте?

– Я бы? Я б согласилась, собрала бы чемоданчик и – здарсьте, принимайте! Но меня никто никуда не зовет.

– Придет время и позову, если раньше кто-нибудь не позовет. – Шаих насупился. – Знаешь, Юль, и у меня к тебе просьба. Обещай исполнить.

– Обещаю, – с любопытством обернулась к Шаиху Юлька.

– Как надоем тебе, так сразу же скажи, ладно? Сразу, чтобы в тягость я тебе ни минуты не был.

– Обещаю, – сказала Юлька. – Но и ты обещай: если я тебе надоем, то и ты тотчас же...

Выяснение отношений прервало появление во дворе темной, сгорбленной, боязливо семенящей по скользкому насту фигуры Семена Васильевича.

Юлька с Шаихом не разбежались, как предполагалось, а вышли ему навстречу вместе.

Он вышел от нас в начале двенадцатого. Никого в жизни не провожавший дальше своего порога, Николай Сергеевич увязался за дорогим гостем и проводил его до школы, откуда тому до дому было рукой подать. Я слышал, как они выходили. На кухне, в сенях они продолжили какой-то свой неоконченный разговор. Как сейчас помню, начат он был до нашего прихода к Николаю Сергеевичу с катка, а продолжен после того, как мы ушли от него.

– Довольно ворошить прошлое, – сказал Николай Сергеевич. Он всегда говорил громко.

– Я пред тобой, Николай, как на духу, повинился. – Голос профессора тише, но тверже. В нем одновременно и горечь долгих, бессонных раздумий, и сладость освобождения от какого-то тяжелого душевного груза, и определенность.

– Сема... – попытался вставить слово Николай Сергеевич, но ему это не удалось.

– Погоди, Николай, погоди... Знал бы, сколь много я отдал бы за возможность переписать кой-какие страницы моей жизни. Какие опечатки в ней, какие ошибки! Как судьба сурова своей необратимостью!

– Сема...

– Погоди, Николай, погоди...

Пререкаясь, они по-стариковски медленно спустились по нашей певучей сенной лестнице, сошли с обледенелого крыльца, скрип-скрип проскрипели по замороженным мосткам со двора на улицу.

Я вышел из комнаты по малой нужде. Из неплотно прикрытой двери Николая Сергеевича падала на пол кухни косая полоска света. «Опять комнату незамкнутой оставил», – подумал я. Однажды родители проучили меня. Оставил дверь квартиры (не квартиры, конечно, – комнатки), незапертой, а они пришли и спрятали всю верхнюю одежду. Я вернулся домой из школы, отец заявляет: ограбили. Я в шкаф, там пусто. Лишь к вечеру, начитавши мне морали, настраивавши вдоволь, выгащили припрятанные шмотки. Они правы: на то и замок на двери, чтобы его запирают. Но вот сколько лет прошло, а чувство какой-то горькой обиды за обман, за фарс с торжествующими подмигиваниями и воспитующими жестами для глухонемых над моей повинной головой в душе осталось.

Когда вернулся, дверь Николая Сергеевича была уже прикрытой, плотно прикрытой. Я не придал этому значения, но меня насторожил шорох в глубине кухни. Я спросил: кто там? Никто не ответил. Тогда я включил на нашей половине кухни свет. Но силы нашей лампочки хватало лишь до умывальника Шакировых, а дальше к парадной двери опять полная тьма. Перед тем как лечь спать, я поделился своими тревожными ощущениями с братом, который корпел за письменным столом над морем бумаг, испещренных химическими формулами. Родители за шкафом спали. Брат внимательно посмотрел на меня – не разыгрываю ли его, с пощелкиванием застоявшихся костяшек – было у него такое, с юности, – лениво разогнулся и вдруг, как тигр, в два стремительных, мягких прыжка выскочил на кухню. Я – следом. Брат щелкнул друг за другом всеми тремя выключателями, обошел нашу общую на четыре семьи кухмистерскую, заглянул к Николаю Сергеевичу: «Никого, где Сергеич-то бродит?» Потрогал тяжелый висячий замок на двери заваленного хламом «парадного подъезда» и спустил мне в лоб средней силы, незлой шелобан: спать надо вовремя ложиться, меньше всякое мерещиться будет.

Шаих и Николай Сергеевич вернулись вместе. Но я с постели больше не вставал.

Брат из-под настольной лампы сказал на голоса:

– Живет наш ученый сосед при коммунизме, ходит дверей не запирает, а у самого всякой всячины

полно.

И ушел с головой в свое. Перечеркнул там что-то у себя, скомкал лист, бросил на пол, положил перед собой новый.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава одиннадцатая

45. У постели больного

К весне заболел Киям Ахметович. Слабость навалилась, одолели головокружения, сердце в груди то, как заячий хвост в стужу, трепетало, то замирало, будто насовсем. Как ни крепился, слег Киям-абый и объявил, что больше не встанет, помрет, что силы его тают с поспешностью мартовского снега.

Март в том году выдался резвый. Алмалы неудержимо двинулась тальми водами, как бурный, сторуслый Янцзы, о котором я в один из тех дней вяло отвечивал на уроке географии. Плавал, короче, глядя на весну за окном, и схлопотал безусловную «пару». И имя ее, географички нашей, уже старой, тяжело передвигавшейся женщины, помню – Валентина Отговна. Она сказала мне огорченно, а может, с сожалением о своих бывших учениках и годах своих, безвозвратно минувших: «А брат твой географию знал...» Я ответил: «Он и сейчас знает». И сел на место у окна рядом с Шаихом. Мы сидели с ним вместе. Вместе и с уроков сбегали. После географии мы собирались к Кияму Ахметовичу.

Вновь наши лохматые затылки грело теплое солнышко, и вновь мальчишки бежали за бумажными корабликами вдоль улицы, оглашая округу непрерывным щебетом. Урок тянулся бесконечно долго. Понедельник...

Около больного дома почти круглосуточно находилась его дочь Роза Киямовна. Подменяла ее Юлька.

Юлька вдруг обнаружила незаурядные качества нянечки-сиделки. Беда вот только, по-татарски плохо понимала. Киям-абый, впадая от убыли сил в крайнюю немощность и беспомощность, бормотал – и то еле слышно – на родном языке. «Пить хочу», «дай то», «достань это» она еще разумела, но когда дед начинал делиться какими-то сокровенными мыслями, вспоминать что-то из своей нелегкой жизни, терялась, чувствовала себя не в своей тарелке. Юлька понимала, что непониманием своим она доставляет больному дополнительные муки, и от сознания этого мучилась еще больше.

Раз, при просветлении, когда словно бы выплывшие, полинявшие за время болезни зрачки деда почернели вновь и блеснули осмысленным вниманием, Юлька взяла его холодную, похудевшую руку в свои теплые ладони и, потирая, точно тот с мороза и она может разогнать останавливающуюся в старых жилах кровь, сказала:

– Дау ати, когда выздоровеешь, обязательно научишь меня говорить по-татарски. Договорились?

– Якши, – отозвался он, – ради такого обязательно выздоровею. – Он даже улыбнулся, но глаза, несмотря на обнадеживающую живинку в них, остались неподвижными.

Дважды навещал больного деда внук Саша. Александр расспрашивал больного о здоровье, а тот, борясь со слабостью, выводил у внука о его семейной жизни. Киям-абый подозревал, что у Александра с Раинькой не все так хорошо, как это хочет изобразить в полуответах, полукивках юный мужчина с изящными пушистыми усиками под носом. Саша уклонялся, уклонялся от прямых ответов, уводил в сторону, отшучивался, да под конец второго посещения черт дернул за язык, и он выложил почти все без утайки.

– Надоел я ей. Так прямо и говорит: надоел, салага, неинтересно, скучно мне с тобой. Женщина, говорит, любит подчиняться, любит бояться, трепетать, силу любит, а ты что?! То есть – я.

– Побей, она и будет бояться.

– Я серьезно, а ты!

– И я серьезно. Надо же, а-а?! Любовь – это рабство, а?

– Может, перебесится – поймет? Ведь любила...

– На стебле крапивы, улым, мак не расцветет. – Киям Ахметович приподнялся на локте. –

Возвращайся. Женщине все можно позволять, только не унижать себя.

– Я люблю ее, вот в чем дело, – тихо сказал Пичуга, нервно пригладив светлую поросль усов. – Без нее хоть в петлю.

– Ветер пусть сорвет с губ такие слова! – порывисто вздохнул Киям-абый.

Чуяло сердце старика, чуяло, что дела внука на любовном фронте обстоят не лучшим образом.

Конечно, как же так, сколько уж вместе с этой Раинькой, а она ни разу ни к себе не пригласила, ни сама не появилась. Почему внук навещает больного деда один, без нее? Что за отношение к любимому человеку? Что за отношение к его родителям? Вопросов много, ответ один... И ответ этот стал ясен ему, по сути дела, до Сашиного признания. Игрушкой был он в ее руках, красивой, новой, привлекательной. Но вот натешилась...

– А как футбол?

– Оставил.

– Учеба?

– Без стипендии.

Киям-абый опустил голову на подушку, смежил веки. Ему опять стало плохо. Как ушел Саша, он не заметил.

Заходил к Кияму Ахметовичу никогда ни к кому не заходивший Николай Сергеевич. Ученый сидел у постели больного и сокрушался по поводу неопределенности диагноза.

– Что же это за неопознанная болезнь такая? А врачи что? Почему на серьезное обследование в стационар не положат?

– Лучше дома умереть, – отвечал Киям-абый.

Николай Сергеевич всплескивал руками, втягивал голову в плечи:

– О-ё-ёй, какие настроения! Нельзя так, нельзя! У нас с вами, Киям Ахметович, еще на земле дел непечатый край. А смерть... Смерть – это самая большая несправедливость. И потворствовать ей нам не к лицу. Как самочувствие сейчас?

Когда был здоров и в отличном расположении духа, на подобные вопросы (как жизнь? как дела?) Киям-абый обыкновенно отвечал: «Ужасно...» И добавлял: «...хорошо!» Или: «Сил нет терпеть... это счастье!»

Но в марте шестьдесят второго года ему было не до шуток.

– Плохо, плохо, – отвечал он Николаю Сергеевичу. – Беспреданно мутит, кушать ничего не могу, аппетит пропал совсем.

– Лимончик поешьте, я тут принес килограммчик.

– Рахмат, спасибо, не помогает. – И вдруг: – Я прочитал ваш «Эликсир молодости». Страшно долгожителем жить, страшно, не дай бох-х!

– Дело в том, что надо всем долго жить, тогда не будет страшно.

Мы с Шаихом проводывали Кияма Ахметовича часто. И приходили к нему не затем, чтобы поскорее сбежать. Однажды солнечным мартовским днем после урока географии сидели у него особенно долго. Починили ему его «Балтику», послушали концерт по заявкам радиослушателей. Розы Киямовны дома не было, ушла в аптеку и по магазинам, за хозяйку осталась Юлька.

Больной чувствовал себя «ужасно хорошо», смог даже с постели на стул перебраться. В полосатой (по моде тех лет) пижаме, под свалывшимся, седым от корней (давно не красился) снопом волос, он походил на кого угодно, но только не на артиста оригинального жанра, только не на художника и уж ни в коей мере – на бойца кавалерийского корпуса Доватора. Но на внешность его мы – демонстративно никакого внимания. Шаих у приемника (починил, а оторваться-таки не может, что-то подвинчивает, подкручивает). Я у Юльки замом по хозяйству. Основная наша задача: между прочим, между зримым делом потихоньку, исподволь насыщать атмосферу дома жизнестойким духом, отвлекать больного от пасмурных мыслей.

На подоконнике цветут чайные розы. Из «Балтики» льет свои тихие мелодии курай. За окном гремят по жестяному карнизу, утробно воркуют сизари. Они в эту минуту заметнее всего.

Юлька, глядя на них через тюлевую занавеску:

– Все-таки это свободные птицы, а твои, хоть и красивые, Шаих, а невольники.

– Почему невольники? – возражает Шаих. – Я их выпускаю, они сами возвращаются.

– На готовенький корм.

– Готовенький корм готовить надо, – подает голос Киям-абый. – Несколько лет назад принесла котенка, а кормить, песок за ним менять пришлось мне. – Он увидел себя в зеркале, поправил шевелюру. – Шаих, а зимой ты выпускаешь их?

– Конечно, Киям-абый, без лёта голуби мигом в кур превращаются – жиреют. Каждый день гоняю.

Мы и виду не подаем, что страшно довольны искоркой интереса больного к постороннему от его болезни разговору.

Взгляд Кияма Ахметовича падает на чеканку, сиротливо стоящую в углу у стола-верстака. Где была прервана работа над ней, там и осталась. Мы тоже устремляем взгляды на его долгоусердный труд. Металл другой, не тот, что дал Шаих. Тот испорчен, пошел на черновик. Да и сама картина уже иная. Кроме голубятни, Алмалы, родного города с кремлем, реками, озерами, каналами, кроме всего земного шара, над голубями и голубятником теперь появились Лебедь, Дракон, Медведица, Лев – созвездия, к которым, как бы продолжая полет голубиной стаи, устремились многомачтовые

фантастические корабли. И тут влияние Николая Сергеевича. Но мы об этом не заикаемся.

– Не смогу доделать, – вздыхает Киям-абый.

– А мне показалось, она уже готова, – говорит Шаих, подходя к чеканке.

– Нет, не успею, – повторяет художник.

Мы переглядываемся: опять он...

Киям-абый тянется к приемнику, выключает его.

– Шаих, родной, спой, пожалуйста, «Кара урман».

Молвит это он на родном языке, просительно сложив руки на груди.

«Вы же не можете эту песню слушать», – хочу я сказать, держа в памяти рассказ о гибели его отца в зимнем лесу, но придерживаю язык.

Киям-абый не спрашивает, знает ли Шаих эту песню. Киям-абый просит. Он слышал, как полчаса назад, ремонтируя приемник, его юный друг намурлыкивал ее себе под нос. Логика проста: раз мелодию знает, должен и слова знать, раз песню для себя знает, должен знать и для других.

Шаих не любил уговоров. Или сразу наотрез отказывался, или тотчас принимался за выполнение просьбы. Откладывать тоже было не в его правилах. Когда откладывал, дело затягивалось до бесконечности.

Но песня – не дело. Для песен кадык не тесен. Песня для души – форточка. Эти словечки-прибаутки мой друг любил повторять, разворачивая некогда (до замужества матери) меха своей разудалой гармошки. Еще он говорил: кто весело поет, тот весело живет.

«Кара урман» – вещь тягучая, тревожная. Шаих кашляет и берет низко-низко, насколько позволяет голос:

– Ка-ра ур-ман...

Он и куплета не успевает спеть, как дверь распахивается, и в комнату, сядя по паркету шлепанцами, вбегает, пылая красными (только что с улицы) щеками, Семен Васильевич.

– Шулды-булды поете?!

Словно и не звучала песня.

Мертвая тишина.

Ее разбивает Киям-абый. Тонем пророка Мухаммеда, вещающего повеление Аллаха невежественным язычникам, он тихо, но внятно и внушительно, так, как я никогда не слышал, изрекает:

– Клянусь моими последними днями, соплеменник наш сбился с пути... – И дальше, мешая русский с татарским, почти шепотом: – С пути праведного. Сбился и заблудился. Как бы ему не попасть затем в огонь, растопкой которому служат камни и люди. И-и, алла, как легко оступиться!

Решительность спадает с раздумявившегося лица Семена Васильевича. Ни на что не похожее выступление тестя, всегда учтвого и мягкого, поражает его. Секунду-другую профессор стоит, как ледяной водой окаченный.

– Прошу простить покорнейше, – наконец приходит он в себя. – Я не хотел оскорбить ни певца, ни песни, ни их национальной принадлежности. Песня, на каком бы языке она ни исполнялась, сближает народы. Но вы, я уверен, поймете мою небольшую и невольную бестактность, когда узнаете эту дикую новость: ограбили Николая Сергеевича!

– Как а-аграбили? – вздрагивает Киям-абый.

– Как – я не имею представления, могу лишь догадываться, но что взяли грабители – скажу: коллекцию серебряных монет, саквояж с открытками и старинные иконы из дровяника.

– Так сразу и деньги, и открытки, и иконы? Налет, что ли? Не понимаю, – Киям-абый тяжело подымается со стула. – Объясните как следует.

– Как следует... Николай и сам не знает, – горбится Семен Васильевич. – Вчера вечером обнаружил пропажу. Пропажу монет и открыток. А сегодня утром пошел за дровами – замок на дровянике сбит. Ящик с иконами, он говорит, находился на видном месте, не прятал он его, этот ящик. И вот он тью-тью. Станный человек, хоть бы в сторонку поставил, хламом прикрыл. Нет. Мало того, и в милицию даже, чудак, не заявил. Ничуть-то он не изменился. Ага. Я сейчас только от него. А вы что, друзья, впервые слышите? – переводит профессор взгляд на нас с Шаихом.

– Впервые, – киваем мы, оглоушенные новостью не меньше Кияма Ахметовича. Накануне весь вечер допоздна мы провели у Ханифа, в его переделанном из сарая гараже-теплушке, где помогали ему подковывать его трехногого стального иноходца. Утром спозаранок опять к Ханифу, опять с гаечными ключами и отвертками к его боевому другу немецкого происхождения. Все в их технике шиворот-навыворот. Но основательно и надежно, не на одно поколение, на века, короче. Возились, в школу чуть не опоздали. После школы вот – к Кияму Ахметовичу.

– Пойду позвоню в милицию, – сообщает Семен Васильевич и шлепает размеренно из комнаты. На ходу он не то нам, не то себе, размышляя вслух, говорит: – Грабители должны быть людьми не чужими Николаю Сергеевичу, вхожими к нему.

– В дровяник? – переспрашивает Юлька. Семен Васильевич пропускает мимо ушей остроумие дочери. У него слетает с ноги шлепанец, он поддевает его ногой, поправляет не нагибаясь, говорит не оборачиваясь:

– Юличка, зайди ко мне, не сочти за труд, у меня есть к тебе несколько слов.

– Сейчас?

– Нет, проводив гостей.

Профессор неслышно и плотно прикрывает за собой дверь.

Киям-абый раздражается бранью в адрес «жулья проклятого», «пережитков прошлого», «недобитых элементов». Нервное возбуждение придает ему силы, он шагает из угла в угол, на поворотах его заносит, но он удерживается на ногах с помощью рук, хватаясь за мебель. Юлька тревожно следит за ним. Мы с Шаихом бочком-бочком... начинаем прощаться.

46. Тебе еще рано об этом заикаться

На старости лет профессор Пичугин надумал начать новую жизнь. Впрочем, какая это по нынешним временам старость? Ему и шестидесяти не было.

Семен Васильевич решил прожить свой остаток чисто, праведно во искупление всех волей-неволей совершенных некогда грехов своих. А были ли они? Профессор, естественно, не верил в бога, но Библию читал и из притчей Соломоновых, между прочим, помнил такую вещь: все пути-дороги человека чисты в его собственных глазах – во как! Но господь-то не лыком шит, он взвешивает душу, добавляет Соломон. А на душе Семена Васильевича в течение долгого времени, уже на протяжении не одного десятка лет, было беспокойно, мутно, не на месте она у него была от какой-то тяжести. «Грехи, грехи скопились, – говорил себе профессор, – они душу камнем тянут». Он говорил «тянут», а не «давят», как принято говорить, потому что душу свою он представлял наподобие зыбки, наподобие невода, в который попал тот камень, оброс известкой, ракушками, другими прочими твердокаменными цыпками-болячками и неудержимо тянет на дно. И чтобы все судно не перевернулось и не погибло, надо было от камня освободиться во что бы то ни стало. И вот он, порядком посомневавшись в правильности само собою вымучившегося шага, наконец откинул все сомнения и пошел к тому единственному, кто, по его мнению, нет – убеждению, мог облегчить его участь еще на этом свете.

А тот и не ведал ни о какой греховности друга. Или делал вид. Нет, лицемерить Николенька не умел, он обрадовался его приходу и зла на него никогда не держал. И за Танечку Родимцеву в том числе тоже. Полуседой Николенька признался, что да, любил Родимцеву, но он ни секунды не ощущал в себе готовности к семейной жизни, к самопожертвованию ради любви, не представлял себе замену платонического чувства физиологическим, смену мира идей, науки и поэзии миром быта. Но это заявление не удовлетворило Семена Васильевича, и он вывернул душу наизнанку, рассказал о своем малодушии на посту члена правления университета, когда студента Новикова, одного из способнейших в вузе, исключали за «малоуспеваемость» и затем, исключив, на протяжении многих лет шельмовали, не восстанавливая в законных правах.

– Но тебя в университете уже не было, когда не восстанавливали-то... – заступился Новиков за студента Сему перед профессором Семеном Васильевичем.

– Зато когда исключали, был. И при голосовании воздержался. Вы с Таней думали, что я не был на заседании правления, а я присутствовал как кандидат. Присутствовал по просьбе председателя комиссии и воздержался.

– Не голосовал же с большинством «за». И потом, Сема, твой голос определенно ничего не решал. Уж Тарутин, насколько влиятельная в университете личность, уж Покровский, Яковлев не смогли... Там, я так себе представляю, были включены какие-то дьявольские силы, не подвластные ни разуму человеческому, ни логике. Так что не терзай себя тем, в чем ты не виноват. Я-то думал, это я где-то в чем-то накуролесил. И на письма мои не ответил из Ленинграда и, вернувшись, не зашел.

Но Семен Васильевич не в оправдании нуждался, душа его жаждала прощения, отпущения грехов алкала душа его, и разговор раз за разом возвращался к исходной точке.

Одно и то же, каждый свое, они продолжили говорить и по выходе из дому, и на подходе к Бригантине.

Несмотря на то, что мнения их насчет причин возникновения многолетней разобщенности не были приведены к общему знаменателю, на сердце Семена Васильевича снизошло великое очищение, и он решил эту чистоту сохранить до конца дней своих. Не в святом бездействии, а творя добро для ближних. Во-первых, следовало разобраться в рукописи друга «Пушкин – декабрист», и если она имеет научную ценность, помочь опубликовать; во-вторых, надо было сходить к Родимцевой (она так и не вышла больше замуж) и привести ее к Николеньке с тем, чтобы вновь возобновить дружбу, реставрировать неразлучную троицу; в-третьих, пересмотреть все его рукописи – научные труды,

романы, повести, стихи и отобрать для печати; в-четвертых, пятых... – пунктов большого миротворческого плана было достаточно.

В системе «новой жизни» намечалось изменение взаимоотношений в семье, на работе... Профессор, директор института, депутат, муж, отец, зять, сосед, житель города, а еще вроде и тесть, он должен был проникнуться бескорыстной заботой к людям, его окружающим, чуткостью к ним, тактом, вниманием, пусть и в ущерб собственным интересам, вразрез с личными симпатиями и антипатиями, настроениями и самочувствием.

Начало новой жизни было обнадеживающим. Весь январь, февраль и вот уже март Семен Васильевич вел жизнь по образу и подобию Иисуса Христа. Он выбрался из своего кабинета «в народ», всерьез заинтересовался проблемами своей семьи, включая и бытовые проблемы тоже, обратил внимание на успеваемость дочери в школе, наметил встретиться и переговорить на равноправной и взаимоуважаемой платформе с Сашей, высказал желание повидать Раиньку. Несколько раз возвращался с работы домой отягощенный продовольственным грузом – колбасой, халвой, макаронами... Короче, новая жизнь пошла по самому большому счету. И уж сдавалось ему, что он выдюжит, сможет так и дальше, из месяца в месяц, из года в год. Непросто это было, конечно. Чтобы удержаться на прямом и бритвенноостром, как истина, раз и навсегда избранном пути, требовалась ежедневная, ежеминутная собранность, необходимы были постоянные самоогляды и самопрослушивания, постоянная распахнутость и в то же время стерильность души, чтоб ни пятнышка на ней. Иначе никак.

Таким образом он размышлял, когда новая жизнь у него получалась. По-другому сказал он себе, когда она сорвалась. Он сказал себе: «Узду на свою натуру сам не накинешь!»

Это было в последнюю неделю марта. Узнав об ограблении Николая и сделав по этому поводу кое-какие предварительные умозаключения, он прибежал домой, чтобы позвонить в милицию, скинул пальто, переобулся в шлепанцы, да и услышал тут завывание Шаиха, спокойно лившееся из комнаты тестя. Поют? Когда такое, и поют? Зная это, кто-то может петь? Того, что там этого не знали, предположить себе Пичугин-старший не мог. Ведь Шаих был ближним соседом Николая, даже как бы его другом...

Семен Васильевич мерил кабинет печатным шагом и критически взвешивал свой мальчишеский наскок на компанию, собравшуюся у больного тестя. Вышел из себя, елки-палки, праведник на два месяца, лопнул мыльным пузырем Иисус Христос из второго подъезда!

Постучав, вошла Юлия.

– Ты что-то хотел мне сказать, папа, или поручить?

– Ага, доченька, присядь, – указал Семен Васильевич на стул у письменного стола. Сам разместился в кресле. – Хочу поговорить с тобой. Раньше я не вмешивался в дело вашего воспитания. Тобой и Сашей занимались мама и дедушка. Я же осуществлял, так сказать, общее управление семьей, так сказать, нашей семейной бригаантиной. А ты знаешь, оказывается, наш дом тоже называют Бригантиной.

– Знаю.

– Ну да, это к слову. Так вот... Ты что так смотришь?

– Как? – пожала плечами Юлия.

– Подозрительно.

– Внимательно, папа.

Семен Васильевич окинул взглядом дочь и подумал о быстротечности времени. Давно ли ее, кричащую, принесли в свертке из роддома и она обсикала ему бостоновые брюки? А теперь вот сидит, и не знаешь, как к ней подступить.

– Так вот... Что дало... то есть каков результат моего невмешательства в сферу воспитательной деятельности мамы и дедушки? Моего, так сказать, доверия? А результат прост, нагляден и при внимательном анализе не удивителен. Саша, оскорбив меня, кормильца семьи, ушел из дому, хлопнув дверью, к какой-то Рае, которая, говорят, ему в матери годится и которую я, стало быть, ее свекор, ни разу не видел, хоть они живут вместе вот уже полгода. Ты должна меня понять, Юлия, я не хочу таким же образом потерять и тебя. Я деликатно не вмешивался в ваши отношения, однако этот Шаих, Юличка, не внушает мне особого доверия. Мать дворничиха, отец... Всего два раза встречал его, и оба раза он оказывался пьяным. Теперь пожалуйста, безобидного, открытого для всех и вся Николая Сергеевича ограбили. А Шаих, этот верный друг Николая Сергеевича, как он себя называет, в такой - момент весело распевает песенки. Не кажется ли тебе это, мягко говоря, странным? – Семен Васильевич подождал ответа. Ответа не последовало. – Чего молчишь? – Семен Васильевич почувствовал прилив отнюдь не Христова раздражения.

– Не кажется, – сдержанно отозвалась Юлия. Она хотела поправить отца: мать Шаиха уже не работает дворничихой, Гайнан Фазлыгалимович Шаиху не отец, а отчим, песня «Кара урман» далеко не веселая песенка, и пелась она не по прихоти гостя. Но потом подумала, зачем вступать в не столь

необходимые объяснения? Можно вновь наговорить... А у отца большое сердце.

– У меня нет прямых оснований кого-либо подозревать в грабеже, – продолжил Семен Васильевич. – Но очевидно, что в квартире Николая Сергеевича похозяйничал субъект, хорошо его знающий и имеющий возможность подкараулить, когда беспечный сосед отлучится, оставив свою дверь незапертой. Есть в привычках Николая Сергеевича легкомысленность, есть. Он, видите ли, верит в Союз Коммунистических Цивилизаций Космоса – все это он с большой буквы пишет, – забывая, что коммунизма еще и на Земле-то вообще нет. Не было и нет, кроме военного. Военный коммунизм... Вот ведь объединились два слова на заре советской власти, два словечка, одно из которых товарищ Новиков терпеть не может, а второе с детской наивностью обожествляет. – Семен Васильевич перевел дух, повторил задумавшись: – Союз Коммунистических Цивилизаций Космоса... – И повел свою мысль дальше: – Но не будем винить нашего Сен-Симона за его идеи и мечты, а лучше оглянемся окрест и определим, кто еще мешает в борьбе за превращение сказки в быль. – После этих слов профессор заметил отлив раздражения, сердце заработало в привычном, здоровом режиме. Он вылез из кресла, подошел к окну, за которым царил весна, молодеватым движением согнал с плеч сутулость. – Юличка, отнесись к моим словам с пониманием и не торопись со свойственной юности заносчивостью отвергнуть их. Юля, поинтересуйся, быть может, Шаих или Ренат просто на время взяли монеты или открытки, посмотреть, показать кому-либо. Так, без задних мыслей. Возможно, это вовсе и не ограбление... И не стоит бить тревогу. Ага, Юлия?

– Хорошо, – ровно ответила Юлия. – Но я хочу сказать, папа, что Шаих с Ренатом, считающиеся друзьями Николая Сергеевича, достойны его дружбы. И не в их правилах брать чужие вещи без спроса, хотя бы и на время.

– У них есть правила?

– Есть, папа. Это честные люди. И одного из них, и ты знаешь кого, я люблю.

– В каком смысле?

– В прямом: лю-блю-ю...

Семен Васильевич задохнулся от бесстыдного и наглого заявления дочери.

– Тебе еще рано об этом заикаться. Рано! Я понимаю: поддерживать дружеские отношения. А то – люблю. И ведь язык поворачивается после моих слов сомнения! Разумеется, я знаю, что ты с ним, как это у вас говорится, хо-одишь. О том вся округа судачит. Потому я и вмешиваюсь. Мне безразлична твоя судьба, пойми! Я не хочу, чтобы ты повторила подвиг братца. Не для того я вас растил. Во всяком случае не для Шаиха Шакирова с Раей – не знаю ее фамилии. Вот дожили! – Семен Васильевич схватил телефонную трубку, чуть не опрокинув аппарат на пол, набрал по памяти номер. – Милиция? Петр Изотыч? Дубов, ты?

– Мне можно идти, папа? – спросила Юлия.

– Ступай, ступай... И подумай хорошенько.

47. «Сообщники»

– Я знаю, кто спер саквояж с открытками. И монеты, и иконы, – сказал Шаих, когда мы вышли с ним от Пичугиных, точнее, от большого Кияма Ахметовича. – Гайнан... Это его работа. Точно.

– Ты просто его ненавидишь.

– Нет, Ренат, несколько серебряных монет я у него уже раньше видел. И предупредил, что молчать не буду. Но он... Ты его не знаешь, никто его не знает, это такой жук навозный, такой жук... Его голыми руками не возьмешь, и он, гад, этим пользуется, в глаза смеется, гадит, ворует, пропивает и смеется. Видишь, он не только не вернул те монеты Николаю Сергеевичу, а вон ведь что выкинул. Наплевал на мои предупреждения. Разыгрался, ох разыгрался у него аппетит.

По дороге мы встретили Кольку Титенко. Он сообщил новость: Алик Насыбуллин начал тренироваться в команде мастеров «Искры», зато бросил футбол Сашка Пичугин.

– А ведь классный футболист мог получиться. Потерял из-за бабы голову!

Титенко не прочь был еще язык почесать, но мы радостей его и огорчений не разделили.

– Бывай здоров, Колян, торопимся.

Первым делом все-таки, убедил я Шаиха, надо зайти к Николаю Сергеевичу, чтобы точно выяснить, что к чему, когда и как обнаружил он пропажу коллекций, кто, кроме нас, заходил к нему в последнее время. Не успели столкнуться, как из переулка на нас выскочил ошалелый Кияля:

– Жбана в милицию забрали!

– За что? – удивленно спросил Шаих.

– На Сорочке какие-то иконы толкал.

– Все ясно.

– Чего ясно? Айда сходим к Ханифу, он же друг наш, пусть выручает, Жбан в долгу не останется.

– Все ясно, – повторил Шаих. – Вот, значит, кто в дровяник слазил. Пошли, Ренат.

– Вы чё-ё, мужики? А как же Жбан?

– Твой Жбан – баран... – Шаих хотел еще что-то добавить, но не подобрал нужных слов, махнул рукой, и мы с ним пошли.

– Эх вы, курвы, – полетело нам вслед. – Мало вас Жбан берендерил!

Шаих обернулся, но Киляля уже смазал пятки – исчез так же быстро, как и появился.

Николая Сергеевича мы увидели, но поговорить не смогли. Он был во дворе. Весь дом толпой был во дворе. Даже нелюдимая Милочка выбралась с кошкой на руках. Не было лишь Рашиды-апа, она уехала еще на прошлой неделе в деревню.

У раскрытых ворот, забравшись на тротуар, стоял милицейский сине-красный «бобик».

– Да вот же он, – указал на Шаиха Гайнан, поскрипывая с носка на пятку хромовым сапогом. Он стоял с двумя милиционерами, без пальто, в одном пиджаке. Гости тоже были без верхней одежды.

– Шакиров, Шаих? – уточнил у Шаиха коренастый, плотный, точно влитый в мундир, капитан. – Проследуем.

Шаих посмотрел на Гайнана, затем на представителей охраны общественного порядка и безопасности социалистической и личной собственности, граждан с грузными кобурами на боках, в таких же, как у Гайнана, сапогах, но у капитана сапоги были непомерной, удивительной величины и поношенности. Посеревшие, задубевшие, они говорили о больших, неторёных дорогах, по которым довелось им пройти. У Гайнана хромачи блестели.

Шаих равнодушно пожал плечами и пошел впереди конвоя к машине. Я знал его неизменную категоричность, он не любил гадать о степени риска или выгоды – ни в большом, ни в малом, но я не знал его безразличным, а тут какая-то безучастность, ни жарко ему, ни холодно, будто в общественный транспорт в сопровождении лучших друзей садится.

– Товарищи, произошло какое-то недоразумение! – вырвался из толпы к «бобику» Николай Сергеевич. – Я не звонил, не сообщал в милицию и никого не подозреваю. Почему мнение потерпевшего игнорируется? Что за произвол?! В какое время мы живем?

– Не беспокойтесь, Николай Сергеевич! – оглянулся, залезая в машину, Шаих. – Все встанет на свои места. – И, найдя глазами блестящие хромовые сапоги с бьющими вразлет изумрудными галифе: – До встречи, папаша!

– Оревуар, сынок, – ласково вскинул руку Гайнан Фазлыгалимович. Со стороны могло показаться, что заботливый отец провожает любимого сына в пионерский лагерь. Нет, по возрасту, скорее, – в какой-нибудь спортивный. Если б не опер«бобик», конечно.

Только машина отъехала, прибежала Юлька.

Стоял удушливый запах выхлопных газов. Мы – Николай Сергеевич, Юлька, я – прошли к дворовому столику с лавочкой у оттаявшего из сугроба куста сирени. Люди расходились, да мы их никого в упор не видели, не до зевак было. Гайнан повертелся, покрутился по двору, подымил-покурил, примериваясь к нам подойти, но не подошел, тихонько испарился.

Это была наша самая короткая встреча, самый молниеносный разговор. Когда бы еще, собравшись вокруг Николая Сергеевича, наш круг разлетелся так быстро. Хотя круга-то не было. Не было Шаиха. И чтобы он был, надо было действовать стремительно. Мы с Юлькой напрямик через дорогу пошагали к Ханифу, Николай Сергеевич – к Семену Васильевичу выяснять отношения, понять, нанизать на сколь-нибудь логическую нить весь этот немислимый хаос последних дней. Семена Васильевича, однако, дома не оказалось.

По приезде в милицию капитана куда-то срочно вызвали, и он, не заходя в отделение и не одеваясь, умчался в той же машине. Шаиха препроводили за обитую железом дверь, в комнату без окон с маленькой банной лампочкой под потолком. Как выяснилось позже, не за ту дверь, потому что за той дверью находился «сообщник» Анатолий Жбанов. Нигде не застрахованы от ошибок, везде-то люди работают.

Жбан сидел подперев кулаками голову и на открывшуюся дверь не среагировал. Кроме него, на двухъярусных нарах расположились еще двое. Один смачно храпел на втором «этаже», другой внизу, напротив Жбана, усердно грыз ногти.

– А-а, ты... – безразлично ответил Жбан на тычок Шаиха. – Какими ветрами?

– Какими ветрами тебя вот занесло в чужой дровяник? Хотя чего уж... Все в твоём стиле. Замочек поленом сшиб – видел, как ты это делаешь, – иконы под мышку и на Сорочку. Да-а... Старинные иконы... и напрямик на толкучку – такое только ты, наверно, мог догадаться сделать. А где саквояж с открытками? Монеты серебряные?

– Брось, – распрямился Жбан, – ты мне чужое дело не шей.

Шаих и сам понимал, что саквояж и монеты не жбановских рук дело. Но после разговора с Килялей, когда, по первоначальному мнению, единственный грабитель Гайнан оказался не единственным, в душе Шаиха поселилось сомнение не сомнение, а потребность в точных данных, без которых милого отчима к стенке не припрешь. Жбан должен был многое знать, если не все, он был одним из стаи, что закружила вокруг запримеченных «несметных богатств» Звездочета, а в прошлом «купца», из той своры, что лишь выделением слюны на лакомый кусок и облизыванием не ограничивается.

– Не ты саквояж стащил, так кто? – пытал грозного одноклассника Шаих, не обращая внимания на внимательного грызуна своих ногтей по соседству. Шаих допрашивал Жбана и не очень верил в его чистосердечное признание, больше надеялся вытрясти хотя бы незначительную мелочь, которая могла бы намекнуть, помогла бы подтвердить подозрения относительно Гайнана. Чересчур уж неприкрыто и нагло ставит себя отчим. Как так можно без тени естественной для него осторожности хватать вещественными доказательствами разных махинаций, прямого жульничества, грабежа, в открытую трепаться о каких-то темных делах в прошлом. В открытую-то он, конечно, в открытую трепался... Но без свидетелей. Так же, без свидетелей, из него должно нести еще при ком-то, не только же при неперевариваемом пасынке. Обязательно. И в первую голову он должен был пооткровенничать с человеком, себе приблизительно подобным, и непременно за выпивкой. И Жбан тут не последняя кандидатура.

Жбан вяло отмахивался, отмахивался от наскоков однокашника, да и что-то непредусмотренно вдруг лопнуло у него внутри. Сперва он вроде издалека пошел, вроде бы даже из другой степи. Он принялся вдруг лить помой на Пичугу, на этого, по его словам, химика, который ловко химичит за спиной ближнего. И плевать теперь он хотел на него с колокольни. Шишка на ровном месте выискался! Не боится он больше его, шантажиста дешевого, хрена моржового.

– Поглядим, что тяжелее – кулак мой или язык его поганый! Подловил, видите ли, фрайер, будто сам этим втихаря не занимался!

– Чем? – оторопел от потока странной самоутвердительной брани Шаих. – Чего ты несешь?

– Чего, чего... А то! – вскочил на свои короткие балясины Жбан и, приглушив голос, процедил отчетливо: – А то, что саквояж у Пичуги.

– У Пичуги?

– Ес ай ду, желтый саквояж у сэра Пичугина. Это его, профессорского сынка, афера. А все шишки на меня свалить решили. Нашли дурака. Из-за какой-то сараюшки... Я просто так, под общий шумок нацелился, а вышло...

Точно цепь незримой радиосхемы замкнулась: Пичуга – коллекционер открыток – саквояж с открытками – попытки выменять их у Николая Сергеевича, купить, заполучить любым путем... Схема четкая, можно штепсель в розетку втыкать.

Жбан харкнул на пол, растер башмаком.

– Ох уж эти Пичужки мне! Одна в душу опорожнилась, другой взялся из души моей веревки вить. Шиш с маслом! Жбан вам не чурбан, у него тоже гордость своя имеется.

Шаих слушал и не слушал. Он размышлял о разделе имущества Николая Сергеевича. Одному – иконы, другому – монеты, третьему – саквояж. Но как его Пичуга взял? Об этом он, перебив бурные разглагольствования, и спросил Жбана.

– Ты прям как прокурор, – сбавил пыл Анатолий Жбанов.

– Если бы... – вздохнул Шаих.

– Хочешь сказать, что не подсадная утка?

– Под стражей я, как и ты, – сказал Шаих и хотел добавить: «Не знаю лишь, за что», но промолчал.

Жбан с сомнением сузил свои желто-зеленые глазки, пригляделся к однокласснику в тусклом свете чуть живой лампочки и раскатисто, на всю камеру заржал, ткнув пальцем в доски второго яруса так, что храпящий перестал храпеть, а грызущий ногти вытащил изо рта лапу:

– Тогда, шейх багдадский, твое место здесь.

Глава двенадцатая

48. Вторник – день тяжелый

Во вторник Гайнан Субаев вернулся с работы раньше обычного, еще до обеда, и по-зверски злой. Во-первых, разболелся зуб, верхний левый клык. Во-вторых, тигр съел приготовленное для продажи налево мясо...

Случилось это после завтрака в буфете цирка. Завскладом притащил к себе в каптерку огузок говядины, но вдруг от подгнившего и слегка шатающегося зуба шибанула в голову, как током, острая боль. Проклятый сладкий кофе! Упал на диван, поджал ноги да так как-то незаметно и прикорнул. Проснулся от ощущения, будто кто-то его обнюхивает. Своим шестым безотказным чувством Гайнан почуял недоброе, но не вскочил, не вылупил зенки, а лишь чуток размежил один, левый, глаз, которому было сподручнее глянуть в опасную сторону, и ужаснулся: в его колено тыкался мордой тигр по кличке Малыш, самый крупный зверюга из аттракциона «Усатые, полосатые – уссурийские». Каким образом выбрался из клетки, как вошел в каптерку, дверь которой открывалась наружу и была, кажется, запертой? Завскладом перестал дышать, он умер, вымер каждой своей клеткой для тигра, и сердце застыло, и кровь в жилах вроде б остановилась. Уссурийскому гостю не захотелось человеческой мертвечины, и он, отвернувшись, пошел по комнате. Говядинка в корыте была свежая, только что с мясокомбината. Хищник заурчал, зачавкал... Гайнан почуял из-под себя запах дерьма – надо же так жидко обделаться, и это неожиданное обстоятельство придало испугу новую силу: вдруг тигр обратит внимание. Тигр будто услышал его мысли, приблизился, повел носом, недовольно фыркнул, и уж в провале памяти было, как Малыш удалился, как сам, на скорую руку подмывшись, убежал в какой-то нервной горячке к чертям собачьим.

Опомнился у колхозного рынка. Хлебнул бочкового пива, успокоился малость, закурил. Можно было подумать, напасти лихо грянувшего дня позади, как вдруг выросли, точно из-под земли, они – Марийка с сыном, рослым, крепким малым в сдвинутом на затылок кроличьем малахае. Двух мнений быть не могло: точь-в-точь, волос в волос, и глаза также вразбег... Гайнану на мгновение показалось, что он столкнулся с самим собой, только очень юным, подростковым, далеко довоенным. «Уж не с перепугу ли мерещится? – подумал он. – И не пил вчера, не считая стакана перед сном».

Нет, не померещилось Гайнану. Постаревшая, подурневшая Марийка схватила за рукав его пальто и радостно воскликнула:

– Ванечка, родной, здравствуй!

Как время безжалостно к людям! Неужели он, и теперь уважаемый, видный мужчина, он, Гайнан Фазлыгалимович Субаев, когда-то являлся с этой скрюченной, по виду вечной старушенцией? На ней все та же телогрейка, в которой он впервые ее встретил, с чужого плеча, с длиннющими рукавами. Нет, не та, разумеется, но в ту минуту она показалась ему все той же, даже верхняя, наиболее ходовая, пуговица болтается на последней нитке неизменно по-прежнему. На голове свалывшаяся, побитая молью и временем шаль... Как давно все было! Так давно, что и на правду не похоже.

Гайнан попытался легким, непринужденным движением освободить свою руку, но Марийка вцепилась в рукав драпового пальто мертвой хваткой.

– Это же твой отец, сынок, – плакала она, – вот радость-то!

– Вы что, гражданка, спятили? – ожил языком Гайнан. – Какой я вам Ванечка? Я – Гайнан Фазлыгалимович Субаев, могу паспорт показать.

– Знаю, знаю, что можешь и паспорт... – продолжала взбудораженно лепетать Марийка. – Хоть на сына-то взгляни, Ванечка, – не сдавалась она. – Ведь выходила, выберегла.

От рукава незнакомого мужчины, которого хотели представить отцом, отодрал матушку ее сыночек:

– Довольно, ма, хватит, пошли домой.

Его, их сыночек. Но не мог же завскладом цирка, бывший фронтовик, а не тыловая крыса Субаев кинуться своему зачату в самый разгар войны в глубоком тылу отпрыску на шею. Мало ли их у него по России-матушке! На войне врагов не бил, зато умножал поголовье Родины. Разве это не одно и то же?

А Марийка все никак не капитулировала. Она билась в руках сына, вырывалась, а тот извинялся:

– Извините, товарищ, мама больна, она не в себе, она просто обозналась, вы не первый, кого она принимает за своего без вести пропавшего на войне мужа.

Гайнан надвинул козырек каракулевой кепки на глаза, развернулся молча на сто восемьдесят градусов и пошел прочь. Сын его не узнал. Отец вот узнал сына, хоть тоже ни разу его не видел. Но он когда-то сам был таким, а вот сын как он старым не был. Поэтому и не узнал. А мог бы, будь поострее глазом.

Последнее, что услышал Гайнан от беснующейся в руках сына женщины, то, что юного двойника тоже звали Иваном. Бедная Марийка не знала даже настоящего имени отца своего чада.

Гайнан сидел дома один на один с зубной болью, не имея желания и пистолет свой из тайника достать. Черненький, тяжеленький «вальтер» обычно успокаивал его в любой ситуации, сводил на нет любую амплитуду расхолодившихся нервов. Но не зубную боль.

Пистолет Гайнан заполучил еще осенью, сразу после скандального застолья, того самого, когда неурочно вернулась домой подруга Пичуги и без излишних дипломатий выставила гостя вон, а

хозяин – какой он хозяин? Тряпка! – к тому часу уже языком от дармовой водки не шевелил. Но слово у него тем не менее оказалось словом. Через несколько дней Гайнан держал в руках заветный «вальтер».

За полгода владения пистолетом Гайнан привязался, привык к нему как к верному и преданному другу. К тому же – что немаловажно – немому, но при случае имеющему возможность сказать так сказать, раз и навсегда...

Когда дома никого не бывало, Гайнан запирался, доставал пистолет из тайника, устроенного под сводом топки мертвого камина, разбирал, собирал ненаглядную игрушку свою, чистил, смазывал, перебирал одну за другой все восемь патрончиков обоймы, старательно отглаженных бархоточкой до зеркального блеска.

А с обещанным взамен желтым саквояжем затынул. Все как-то не с руки было умыкнуть. То хозяин плящущегося под письменным столом объекта не вылезал из каморки, то вылезал, да и ни с того ни с сего замыкал дверь. А с замочком, почтовым, махоньким, возиться не хотелось. Возиться, конечно, не пришлось бы, просто хотелось зайти, взять и вынести ненароком. Такая возможность должна была обязательно представиться. И она представилась два месяца назад, в начале января. Однажды поздно вечером Звездочет покинул свою комнатку: хорошенько одевшись, он пошел провожать гостя, профессора Пичугина, и оставил в суете дверь незапертой, даже приоткрытой чуть. Поздний час, соседи спали и труда не стоило заскочить в каморку и взять необходимое. Гайнан посчитал, что пусть лучше открытки вместе с саквояжем запропастанся, чем вдруг саквояж останется пустым. Когда зашел, держа в руке конспиративный мешок с дюжиной превосходных сухих чурок якобы для растопки плохо растапливаемой новиковской печи (вот какой Гайнан Фазлыгалимович заботливый!), когда погрузил в него то, что надо, внезапно одолело желание прихватить заодно еще что-нибудь. Распахнул скрипучий буфет – в глаза сразу бросилась объемистая резная шкатулка. Сгорая от любопытства, Гайнан приподнял крышечку и в чутье не обманулся: ячейки-секции шкатулки были полны серебряных монет с профилями царей и императриц. Любоваться некогда, высыпал звонкую деньгу туда же, в мешок и поскорее вышел. Дело сделано, уже дошел до своего умывальника, как вдруг в кухонную темноту шагнул из своей комнаты сосед, Аглиуллин-младший. Гайнан замер бездыханно в проеме между печью и умывальником. Ему показалось, что малый почуял недоброе, насторожился, но вот опять зашлепал стоптанными домашними тапочками, открыл свою дверь, скрылся. Гайнан сплюнул в помойный таз залипшую слюну и толкнул свою дверь, за которой сладко похрапывала жена. Пасынок мотался где-то. А сидел бы дома, пришлось бы мешок вытаскивать в сени, а то и в сарай тащить, что было чревато встречей с возвращающимися домой Звездочетом или въедливым пасынком. А так – сунул под кровать и все дела, и на боковую до светлого завтра.

Рано утром Гайнан снес мешок на парадную лестницу и спрятал среди хлама. Несколько монет взял, не удержался для покупателей-коллекционеров в качестве образца товара. Сразу завернул в тряпицу и сунул через распоротый по шву карман пальто в его подол. С глаз пасынка подальше. И так уж за какой-то пяток случайно прихваченных ранее монеток грозился в милицию заявить.

Да вот сам и попал туда. А-ля-мафо! Не рой яму ближнему, сам в нее угодишь.

Гайнан придерживал разболевшуюся от гнилого клыка скулу, прислушивался, что творится в доме и в себе. Внутренний голос, трезвый, не тронутый перипетиями дня и зубной болью, говорил: надо непременно отнести несколько монет и одну-две открыточки в милицию. Так и так, мол, в столе у пасынка случайно обнаружил. Тогда уж точно засадят гаденьша.

Но боль одолевала, трезвые мысли разжиживались. Гайнан заметался из угла в угол. Только ли боль в левой верхней челюсти угнетала его?

Кто мог подумать, что тихий, безобидный Звездочет из-за какого-то допотопного саквояжа с заплесневевшими открытками подымет такой хай? Не сегодня-завтра милиция с обыском нагрянет. Ничего хорошего это не сулило. Лишняя проверка документов... Общую парадную лестницу уж точно перевернут вверх ногами. И центнер мороженого мяса ничего не стоит найти в сарае. Почему-то лишь за пистолет в камине был спокоен Гайнан. Он не знал о дровянике, об иконах, о самоинициативном Жбане, сидящем в КПЗ, не знал, что в милицию позвонил не потерпевший, а профессор Пичугин.

Не надо было серебро хапать, никуда бы оно не делось. А то все разом захотел. Жадность, жадность фрайера погубит. Да и стратегическую ошибку допустил, уверовал в самоотреченную филантропию Звездочета, в толстовскую безответность его, ах нет...

Сквозь зубную боль Гайнан вспомнил, что ровно в полдень была назначена встреча с Пичугой. На дальних Ямках, у поворота на озеро, Гайнан наконец должен был передать открытки новому хозяину. Тянул, тянул... Сперва некогда было, а после прикинул: зачем отдавать? Можно загнать их другому коллекционеру. Пичуга и не пикнет. Но в конце концов решил совесть свою чистой оставить. Однако опять на несколько договоренных встреч с ним не пошел – то дела в это время неотложные находились, то просто забывал, из памяти вылетало, как сегодня. Сегодня и позабыть можно было – уважительная причина, зуб. Но события, сложившиеся по странной кривой, которая еще неизвестно,

куда могла вывести, подталкивали. И вот он взял уемистый завскладовский портфель, набитый открытками и монетами (монеты в двух кожаных мешочках), а также Шаихову саперную лопатку за пазуху и направился на Ямки. (Громоздкий желтый саквояж еще в конце зимы загнал одному эквилибристу, и тот повез его по гастрольной стране, поди сыщи.)

Прибыл на место на полчаса раньше и оба кожаных мешочка закопал на временное сбережение прямо в черствый, ноздреватый сугроб. Слава богу, снег в овраге держался чуть ли не до самого лета. Закопал, немного успокоился, стал Пичугу ждать.

Одно название весна: окошел. Пичуга не шел. С новой силой засвербил зуб. Гайнан потоптался еще немного, да и портфель тоже схоронил в снежную сберкассу рядом с мешочками.

По дороге домой осенило: сугроб в овраге – это не только сберкасса, но и холодильник. В нем и говядинка сохранится.

На рубку мяса и на пять марш-бросков с почти двадцатью килограммами груза в вещмешке ушло чуть больше полутора часов. В четырнадцать ноль-ноль с приятно ноющей от усталости поясницей Гайнан блаженно привалился к перилам крыльца-боковушки и закурил. На дворе ни души. Лишь две Милочкины кошки бродили под голубятней. «Вот бы запустить их туда», – подумал Гайнан и усмехнулся своей мальчишеской мыслью. А что, раз такое хулиганистое забредает в голову, значит, еще жива душа. Гайнан глубоко затыгивался любимой «казбечиной» и не замечал ненароком угасшей зубной боли. Все правильно, боль замечается когда начинается.

В доме по-прежнему было тихо: кто где – кто на работе, кто на отдыхе, кто, гм-м, в тюрьме...

Проходя по кухне, Гайнан обратил внимание: замочек на двери ученого соседа отсутствует. Стало быть, дома Звездочет. В благодушном настроении постучался к нему, было естественное желание хоть с кем-нибудь отвести душу.

49. Там секреты, тут секреты

Ханифа мы с Юлькой нашли только на следующий день. В тот день, когда мы кинулись к нему за помощью, он был в Дербышках, ездил к другу за прокладками для мотоцикла.

Вечером того дня Юлька имела крупный разговор с отцом. Милосердие, терпение, всепрощение, которыми после инфаркта у отца она пыталась загипсовать себя, одним махом сломались и были отброшены напрочь. Она сказала ему без предисловий, без околичностей, что Шаих по его навету задержан, что кругом у него блат, знакомства, связи, паутина, как у паука, и она солидарна с братом – какой он отец! И уж больше не возьмет своих слов обратно и не раскается, как это было полгода назад, что отныне он отец ей лишь по паспорту.

– Шаих честный, открытый человек и на подлость не способен. Я добыю правды, его освободят, и мы уедем из этого проклятого города, далеко уедем и навсегда.

Она всю ночь не спала. Длиннее и томительней ночи не было.

Я тоже кое-как дождался утра.

Еще не сошла темень мартовской ночи, еще горели уличные фонари и только-только вырывались из мрака влажные белесые клубы мартовского тумана, а мы с Юлькой уже стояли у двери Ханифа, выжидая, чем отзовется для нас подергивание допотопного звонка с висячей на проволоке деревянной ручкой.

На этот раз нам повезло, Ханиф оказался дома.

Перебивая друг друга, мы рассказали о случившемся. Ханиф молча выслушал, без слов натянул сапоги, влез в куртку, в которой выезжал на дежурства, перетянулся ремнями и вывел нас во двор. Через минуту его двухцилиндровая машина уже мчала нас по заутреннему ледку сонных улиц на спасение Шаиха.

В отделение милиции мы с Юлькой не зашли, остались у мотоцикла. В атаку старший лейтенант Ханиф Хакимов двинулся один. Чего стоило ему это тогда, мы не знали. Не знали, что за Шаиха он пошел на схватку со своим заклятым врагом – начальником уголовного розыска, капитаном Дубовым, Петром Изотовичем, опытным работником отделения, зубром органов правопорядка и безопасности страны.

По свойствам души своей, однако, начальник представлялся мужиком непонятным – когда чистой воды солдафоном, когда просто рубахой-парнем (какой уж, впрочем, парень! – работал опером еще, наверное, со времен Феликса Дзержинского), когда бука буклой, а когда, не снимая сапожищ, прямо в душу... Был он из породы вечных капитанов, для которых майорская звезда так же недостижима, как Большая Медведица в небе, и заматерелых холостяков, кому семейная жизнь уж больше не грозит. С Ханифом отношения у него сложились более чем определенные: капитан ненавидел старшего лейтенанта, как только может ненавидеть молодую поросль на себе старый пень. Да и, прямо скажем, чересчур везуч в службе был Ханиф, слишком удачлив, и это раздражало не

одного шефа отдела уголовного розыска, которому по внутреннему распорядку подчинялись все участковые. Хотя, скажите, в каком коллективе вас будут на руках носить, когда вам то медаль вручают, то именные часы из рук министра, то в газете о вас пишут, то по радио говорят? Ханифа Хакимова на работе считали выскочкой. Он, по правде говоря, и был им. Он выскакивал из автобуса и прыгал за тонущей старухой в прорубь, он... Да вкратце я рассказывал о его выскаканиях из благоразумной серой массы не только штатских, но и людей, специально призванных обществом на риск и подвиг, загодя к этому подготовленных, обученных, вооруженных. За свою чуть ли не полувекую службу в органах, несмотря на двужильное усердие, капитан Дубов, кроме синицы верной в руках, ничего не держал, и нескромная слава молодого подчиненного коробила его, ибо он с молоком матери всосал убеждение, что работник органов в интересах службы должен быть личностью незаметной, где-то на первый взгляд даже безликой. Чекист – не кинозвезда, ему блистать-выпячиваться не следует, ему положено верой-правдой и с полной самоотдачей служить государству. А какая самоотдача у женатиков? Отцов семейств? Только и норовят, как бы поскорее со службы домой смыться. У того же Хакимова два малолетних сына и еще вот-вот ожидается пополнение. Просто молод он еще, вот и носится очертя голову, не думая о семье, не страшась за себя как за единственного кормильца. Ничего, повзрослеет – задумается, поостепенится... Нет, государство от своих верных органов требует полного самоотречения, полного, как это продемонстрировал своей жизнью, не обремененной семьей, не связанной друзьями, он, капитан Дубов. Но государственная служба такая вещь... Она диктует порой и несообразное твоей душе, ты, например, терпеть не можешь подчиненного и в то же время вынужден собственными руками вручать ему почетные грамоты, озолачивать его погоны новыми звездочками... Капитан Дубов, во все времена при всяком руководстве стойко переносивший все тяготы и лишения военизированной службы в ответственных органах государственного организма и требовавший того же – аскетизма, скромности – от подчиненных, переваривал явление Ханифа народу с большим и плохо скрываемым трудом. Но переваривал. Капитан был дисциплинированным офицером. Однако всякому терпению имеется предел: этот выскочка, этот герой – штаны с дырой потребовал выпустить уличенного в воровстве подростка Шакирова с Алмалы на том основании, что, дескать, нет на задержание никаких улик, не имеется на то позволения прокурора и не дал добро, как повелось в райотделе, участковый, то бишь он, Хакимов, который, по его запальчивому заявлению, знает всех ребят Алмалы как облупленных. Нахал, молокосос! Кто может поручиться за Алмалы, испокон веку служившей уголовным, а в иные времена и политическим бичом района, если не города! Но молодой нахал бил верно: оснований-то для задержания подростка, не считая звонка профессора Пичугина, не было. Откуда Хакимов узнал про звонок, ведь профессор звонил напрямую, не через дежурку? И не сдержался капитан Дубов, накричал на младшего по должности и званию сотрудника: «Зелень, салага, кого учить вознамерился! Вот уйду на пенсию, сядешь в мое кресло, тогда и будешь...»

Хакимов перебил:

– Так вам давно уж пора. Не знаю, чего высиживаете.

Капитан Дубов провел по мгновенно вспотевшей шее платком и изменившимся голосом, не начальственно, а как-то даже задушевно сказал:

– Эх, братец, попался б ты мне в молодости!

– Да у вас не было ее...

– Кого?

– Молодости.

– Это почему?

– Да потому, что вы во все времена неизменный – ни молодой ни старый.

– Не понял.

– А чего понимать, вечный вы, товарищ капитан, вечный и неизменный, как утюг в нашей прачечной.

– Не знаю, по прачечным не хожу. А утюги, к твоему сведению, постоянно видоизменялись. Я в свое время еще угольным пользовался.

– Но не менялось их назначение – давить, гладить.

– Какое там! Это раньше давили-гладили, а теперь лишь поглаживаем. Но ничего, пообносится, помнется костюмчик –и надавить придется.

Капитану понравилось образное мышление, каковым он воспользовался в своей жизни впервые, он открыл было рот, чтобы продолжить об утюгах и их безусловной необходимости в общегосударственном быту, но Хакимов снова перебил его, вернув к истоку разговора. Капитан не смог вторично разозлиться, как-то незаметно и пар вышел, да и, собственно, из-за чего сыр-бор?

Хакимов знал, из-за чего сыр-бор. Он, как в сыром осеннем бору у станции Ометьево в схватке с кодлой бандитов, «шагнул» на своего начальника в его персональном кабинете... Он не за себя старался, и поэтому, должно быть, зубр правопорядка устало и безразлично уступил, не орден же

победителю вручать и не ордер на квартиру, за который тот бьется как рыба об лед, проживая в дышащей на ладан халупе. Подумаешь, небольшую уступку сделать – выпустить мальчишку под расписку о невыезде и под его же, старшего лейтенанта Хакимова, персональную ответственность.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Мы встретили Шаиха радостно у входа в милицию, обнялись и пошли домой. Ханиф остался на службе.

Я и Юлька торжествовали, а наш друг был странно задумчив, говорил нехотя – «да», «нет», хмурился, словно не рад был освобождению.

Когда вышли на Алмалы, Шаих сказал Юльке, что ему надо повидать ее брата.

– Зачем он тебе?

– Надо.

– Успеешь к нему, – сказала Юлька, – сначала к нам зайдем, тебя дед хочет видеть.

– Зачем? – в свою очередь спросил Шаих.

– Надо, – в свою очередь ответила Юлька. – Ты ему срочно-срочно нужен. – И пошутила: – Мы ведь ради этого только и выписали тебе увольнительную.

Киям-абый о ночевке своего юного друга в отделении милиции не знал. Больного оберегали от отрицательных эмоций. Накануне вечером он востребовал к себе Шаиха, хотя и видел его до этого днем. Желание больного – закон для сиделок. Но посланная за Шаихом Юлька сказала, вернувшись, что его нет дома: «Может, уехал куда-нибудь, ведь у нас сегодня каникулы начались». «Куда уехал? – встревожился больной. – Ничего не говорил об отъезде». И попросил, чтобы внучка с утра пораньше снова сходила за ним. Юля ушла на следующий день ни свет ни заря, а вернулась далеко пополудни. Зато исполнив просьбу, с Шаихом вместе.

Однако раньше их заявился внук.

Саша ввалился в квартиру со всеми пожитками, с которыми уходил к невесте (жене, сожительнице – как уж ее теперь называть, не имело значения). Чемоданы, чемоданчики, спортивные сумки сложились в прихожей в приличный Монбланчик – не такой безвещий братец покинул дом, как нам рассказывали прежде Юлька с дедом.

Мать встретила сына точно героя, вернувшегося с войны или из славного космического полета. Отца дома не было.

Дед приветствовал не вставая с постели:

– Картина называется «Ва-а-азвращение блудного внука».

– Да, – согласился внук, – мал-мал ошибку давал.

– С кем не бывает, – засмеялась громче привычного Роза Киямовна и поспешила на кухню поскорее состряпать чего-нибудь этакого неповседневного.

Дед с внуком пообщались недолго. Чего жевать-пережевывать! Так и должно было все кончиться. Оба – и старый, и молодой – за полгода утомились: один – ждать, горевать, волноваться, другой – бороться с человеком, рука об руку с которым решил жизнь прожить.

Комнату, как сцену прожекторами, перерезало лучами солнца, в которых, несмотря ни на какие семейные драмы, празднично плавала легкая комнатная пыль. С кухни потянуло жареным-пареным, таким, каким Сашенька давно не потчевался. Он улыбнулся деду и пошел к себе. Дед смежил тяжелые веки, подумав: как легко в молодости зарубцовываются ошибки.

Время завернуло за полдень, а Юлии с Шаихом все не было.

Они появились, когда он неожиданно для себя задремал. Открыл глаза, будто и не спал, спросил, точно и не маялся ожиданием:

– Хорошо на каникулах?

– Хорошо, – как ни в чем не бывало ответил Шаих.

– За любой зимой – весна, – сказал больной, глянув на позолоченную синь в окне.

– Точно, – согласился Шаих, не понимая, неужели Киям-абый вызвал его «срочно-срочно» для этих вот разговоров – о весне, о каникулах?

– Саша вернулся, – сказал после некоторого молчания Киям Ахметович.

– Как? Насовсем?

– Насовсем.

– Где же он?

– У себя.

Только теперь Шаих обратил внимание на то, что Юльки нет рядом.

– Я сейчас, Киям-абый, ладно? – шагнул Шаих к двери. – Сашу на минутку надо.

– Что-то случилось?

– Абсолютно ничего, сейчас я.

– Только недолго там, Шаих, у меня тоже есть для тебя одна очень важная новость.

Киям Ахметович опять закрыл глаза – успел устать.

Юлька была у брата. Их голоса так же хорошо слышались в прихожей из-за приоткрытой двери, как и аппетитный запах из кухни. Брат с сестрой говорили добрые необязательные слова, какими обычно обмениваются давно не видевшиеся родственники. Последняя фраза Пичуги была:

– Начинаю новую жизнь.

Шаих постучался, вошел.

– Юля, не могла б ты оставить нас с твоим братом на пару минут?

– Пожалуйста, – хмыкнула Юлька и вышла.

– Может, все-таки поздороваемся, – сказал Пичуга, протянув лодочку пальцев для рукопожатия.

Шаих не собирался разводить церемоний, у него к нему, подлецу, один вопрос, но что-то заставило и Шаиха развернуть ладонь для мужского приветствия. Что-то неуловимо изменилось в пичугинском обличье. Не было присущего ему лоска, шика, спало сияние с его картинного лика. Осунулся, поблек, в голубых глазах растерянность. Шаих промолвил, пригасив агрессивность:

– Один вопрос: саквояж с открытками у тебя?

Пичуга, как ожидал Шаих, не удивился вопросу, ответил устало:

– Нет его у меня.

– А мне сказали, у тебя.

– Кто сказал?

– Неважно.

– Увы, у меня его нет.

– У кого же тогда?

– Фу-ты господи! – протяжно вздохнул Пичуга.

– У кого? – настойчиво повторил Шаих.

– У отчима твоего.

– Точно?

– Точно.

– Каким образом?

– Ну это уже второй вопрос... – В глазах Пичуги зажглись прежние холодные огоньки. Шаих нервно прибил непослушную челку, но она, только он убрал руку, вновь вскочила.

– Все ясно.

– А ясно так, что пытаешь?

– Хотел подтверждение от тебя получить.

– Именно от меня?

– Именно. – Незнакомый доселе колючий комок злости врезался в грудь, под горло, и Шаих, задыхнувшись, выбежал из комнаты. Он устремился к прихожей, к выходу, мимо портретов, водопадов, павлинов на стенах, но мгновенная и яркая вспышка сознания остановила его: он же здесь не ради Пичуги, хотя и Пичуга нужен был...

Киям-абый полусидел на взбитых подушках. Был он в полосатой пижаме, рядом кипа свежих неразвернутых газет.

– Присаживайся, – заговорил он на родном языке, указав на стул. – Я вот что хочу сказать...

Вошла Юлька.

– Сейчас пироги будут готовы.

– Юла... Кызым, нам поговорить нужно с Шаихом, – извиняющимся голосом сказал Киям-абый.

– Да что это такое, там секреты, тут секреты! – надула Юлька губы и удалилась.

– Я хочу вот что тебе сказать... Помнишь, я никак не мог вспомнить, где я видел твоего отчима?

– Помню, – насторожился Шаих.

– Так вот... я вспомнил.

– Где?

– В военкомате, в сорок четвертом. Это он меня тогда, часового, по голове...

Шаих медленно поднялся со стула:

– Не ошибаетесь?

– Нет, не ошибаюсь. Забыть этого типа – да, можно, но, вспомнив, ошибиться – нет. Я хотел тотчас позвонить в военкомат, в милицию, но подумал, сначала надо тебе сказать, посоветоваться...

– Не звоните, я сам.

– Чего ты хочешь предпринять? А-а?

– Пойду...

– Куда? К нему? Ах, как некстати я заболел, как не вовремя!

– Болезнь кстати никогда не бывает.

– Не торопись, Шаих, взвесим... И я мог без тебя принять решение, но он твой... Он муж твоей матери...

– Таких мужей...

– Тогда я тебе посоветую: походи-ка ты без промедлений к Ханифу Хакимову, человек он основательный, умный и сделает самый верный из нас всех ход. Он о тебе очень хорошо отзывался. Как ты нас познакомил, мы с ним много разговаривали. Очень, очень основательный человек.

– Так и сделаю, Киям-абый, вы только не беспокойтесь, вам нельзя волноваться. – Шаих коснулся сложенных на груди маленьких и прохладных рук своего старшего товарища. – Пойду, не буду тянуть.

50. Одна на свете верная душа осталась

– Вы дома? – состряпал на лице удивление Гайнан, заходя к Николаю Сергеевичу после тяжелого «трудового вторника». – Ах да, вы только по понедельникам работаете.

– Почему? – удивленно воскликнул со своего «поднебесья» Николай Сергеевич. Он, как обычно, что-то лежа писал. – Я работаю каждый день и каждую ночь и в данный момент вот же – пытаюсь завершить доклад к завтрашней конференции, да плохо получается, не могу сосредоточиться. А вы почему не на службе?

– Зуб разболелся, дьявол. Эх, жизнь, жизнь – одни мучения! Да и то: сегодня она есть, а завтра – пшик и готово. – Гайнан погрузился в кресло, звучно высморкался и, пристально разглядев содержимое носового платка, высказал один из очередных своих афоризмов: – Жизнь – это мясорубка, перекручивающая действительность, прости меня алла-бисмилла! – в дерьмо.

– В память, – не согласился с соседом Николай Сергеевич, – в память и в историю. – Он сел на кушетке. – За что арестовали Шаиха?

– Не арестовали, а задержали. Большая разница.

– По мне так – никакой. За что?

– Вас же, кажись, Николай Сергеевич, обокрали, вас... Или я ошибаюсь?

– Но он-то при чем?

– При чем, при чем... Вы же сами заявили в милицию.

– Ни в какую милицию никогда и ни о ком я не заявлял. И по этой самой возмутительной причине я был вчера там.

– И что? – еще раз высморкался Гайнан.

– А то, что никто мне вразумительного ответа не дал. То одного нет, то другого, к начальнику не пробиться, велели подождать, просили прийти как-нибудь в другой день... Я сказал, что буду жаловаться в обком партии.

– И что? – Гайнан спрятал носовой платок в карман.

– Сегодня я ходил в обком. Думал прямо к первому секретарю пройти, рассказать, что творится у нас в городе. Но меня не пустили...

– К первому?

– Вообще... В обком не пустили. Там у них милиция на страже. И требуется п-предъявить п-партийное удостоверение. А у меня его нет, я б-беспартийный. Пытался протестовать. Но меня и слушать не пожелали, даже пригрозили отправить куда следует. Ничего не понимаю. Вот закончу доклад и переговорю с директором обсерватории, он человек влиятельный. Но доклад обязательно, без него в обсерваторию нельзя.

– Не волнуйтесь, Николай Сергеевич, от волнений гемоглобин в крови разрушается. Главное – спокойствие. Вот я же спокоен.

– А почему вы спокойны, позвольте поинтересоваться? Почему вы не пойдете и не выясните все? Вы же отец, и перед вами должны объясниться по всей форме.

– Не отец, отчим. – Гайнан вылез из кресла. Разговор принимал нежелательный оборот, и надо было его сворачивать. – Вернется мать – разберется. Да и что разбираться, там... – потыкал он себе большим пальцем за спину, – там знают, кого и за что... Заслужил – а-ля-маф! – получай свое. Значит, не такой он херувимчик, наш милый Шаихенок, каким пытается себя преподнести.

– Что вы говорите?! – Николай Сергеевич встал и воззрился на оппонента сверху вниз, исподлобья, не отрывая подбородка от груди: хоть и сутулился, он был выше Гайнана ростом. – Шаих – честный юноша. Он не мог совершить того, в чем его обвиняют. Произошла чудовищная ошибка. Но истина не нынче-завтра непременно восторжествует. Истина в конечном счете всегда берет верх.

Гайнан поморщился: «Сил нет терпеть, что за человек: истина, справедливость... Выбить бы ему

мозги двумя-тремя выстрелами».

Опять заныл зуб.

– М-м-м! – Гайнан взялся за щеку. – Надо что-то делать. Пошел... Оревуар!

Гайнан Фазлыгалимович Субаев считал себя сильной личностью. Потому, прежде всего, что большие зубы вырывал себе сам. Вот и в тот вторник, в последний вторник марта шестьдесят второго года, он вынул из Шаихова стола плоскогубцы, разинул рот перед зеркалом и вытянул клык. Приняв, разумеется, перед этим в качестве обезболивающего сто пятьдесят из заначки.

Однако дурное настроение, плохие предчувствия из себя, как зуб, не вырвать. Настроение немного просветлело с исчезновением в овраге последнего пуда мяса и вещественных доказательств, которым вполне под силу было отправить его на заслуженный отдых на гостеприимные курорты Магадана. Но после разговора со Звездочетом Гайнан почувствовал, как под ребрами опять сделалось муторно. «Даже этот блаженненький стал голос подавать, – затравленно подумал Гайнан. – Неужели из меня мое прет так, что невооруженным глазом видно? Фу, устал! И пропади она пропадом, эта земля предков, когда каждый второй земляк готов тебе кислород перекрыть. Рвать отсюда надо, сматываться, пока трамваи ходят».

Мысль о побеге возникла в сократовом лбу Гайнана не вчера. Первым тревожным сигналом были тихие, дребезжащие слова нового знакомого, друга пасынка, инвалида, бывшего фокусника Мухаметшина, сказанные под тихий осенний стук яблоневого ветки в окно, когда, помнится, так хорошо и уютно сидели у Звездочета и толковали на разные философские темы. Новый знакомый сказал, сильно нажимая на «а»: «А-а я вас где-та видал...» Хоть и не мог припомнить Гайнан, где же тот его видал, зерна тревоги запали в душу. Дальше – больше. Взъелся пасынок. Был бы он пацан как пацан, порадовался бы: такого отца приобрел, подсоблял бы, вспомоществовал во всем на радость и процветание всей семьи. Хрен с маком! Вместо спасибо, звереныш, заложить обещался. Еще тут Марийка объявилась, жива-здоровая и обитает где-то поблизости у базара. Может, уже капнула куда следует, в отместку за спектакль у пивнушки. Пичуга еще этот на железно обговоренную встречу не явился... Одна на свете верная душа осталась – «вальтер».

Гайнан достал из тайника в камине сверток, развернул, любовно погладил тускло поблескивавший ствол пистолета. Но желанное успокоение не снизошло. Тогда он допил оставшуюся в заначке сотку. Алкоголь также не преобразил действительности. И Гайнан своим недюжинным умом окончательно чухнул: надо уходить, немедленно, сейчас же. Бабка надвое сказала, чем обернется пребывание пасынка в милиции. Монеты, как улику, не подкинул, а он там уж наверняка все, что знал, выложил. Не надвое бабка сказала, не надвое...

Гайнан вщелкнул магазин и сунул пистолет в большой накладной карман своего долгополого драпового пальто. «А то разнежился тут! Конечно: тепло, светло и мухи не кусают. Таких-то и берут голыми руками, точно мух сонных. Слава богу, стреляный».

51. И тебе н-на!..

Ханифа дома не оказалось. Шаих прошел к гаражу, там его тоже не было. Не вернулся еще. Что делать? Идти с заявлением на отчима в милицию? Туда, где самого за преступника держали? Позвонить по ноль-два? Но не экстренный же случай, никого Гайнан в данный момент не убивал, не резал. И как все объяснишь по телефону? Стоять и, поджав хвост, ждать Ханифа до победного конца?

Кому и было бы над чем задуматься, но не Шаиху. Свои шаги, если это не касалось рыбалки или голубятни, он осмысливал чаще уже после того, как они были сделаны.

Шаих направился домой. Предполагал ли он, что отчим уж вернулся с работы? Вполне возможно. Тот частенько под вывеской «Уехал на базу» срывался со службы раньше времени, бывало, и вовсе не ходил. Но я уверен, не окажись Гайнана дома, Шаих двинул бы напрямик к нему на работу, на базу, на мясокомбинат, куда угодно.

Когда пасынок перешагнул порог комнаты, Гайнан, готовый к «отлету», уминал, болезненно морщась, миску перловой каши. Каша получилась густой, а жевать он не мог. Узрев приемыша в ответственный момент заглатывания непрожеванной массы, Гайнан чуть не подавился.

– Ты откуда?

Еще не договорил, а уж понял бестактность вопроса и выразительно улыбнулся:

– Отпустили?

Шаих не ответил. Не снимая куртки, он оседлал стул, развернутый к столу задом наперед, скрестил на спинке руки и уставился на отчима с выражением, будто перед ним был живой Гитлер, который вдруг воскрес на Алмалы.

Гайнан запечатал ржаной мякиш в кулаке...

– Чего выгаращился? Выпустили, что ли, говорю? Разобрались? – И опять сердечно улыбнулся: – А

я вот зуб себе вырвал. – Оттянул пальцем губу, показал. – Теперь кушать не могу. Сгоняй за бутылкой, а то мочи нет терпеть. Разворотил десну, хуже болит, чем с зубом.

– Верни саквояж, – проговорил Шаих, впервые переходя с отчимом на «ты».

– Какой саквояж? – искренне удивился Гайнан.

– Николая Сергеевича, с открытками.

– Охренел?

– Еще нет. Верни, пока не поздно.

Показное благодушие сползло с лица Гайнана. Бесчисленные кровавые прожилки его залпом налились, и он от висков до кадыка покрылся свекольным багрянцем.

– Я-я... украл... какой-то паршивый саквояж?

– Не только саквояж, но и серебро.

– Я?

– Ты.

– Ах, татарчонок резаный-недорезанный! – Гайнан медленно и грозно поднялся над столом.

Шаих тоже встал в полный рост и вдруг оказался повыше Гайнана.

– Да, татарин! И представь себе, горжусь этим. Не баран, родства не помнящий, как некоторые. И не предавал, как некоторые, ни нации, ни родины. – Шаих смотрел прямо в глаза дезертира, хотя и нелегко было – они у него от перевозбуждения еще дальше разбежались друг от друга. – А ты дезертир и предатель. С головы до пят предатель. И не место тебе на нашей земле...

– Значит, под землей мне место?

– А это уж за тебя определяют, не беспокойся.

– Кончать тебя надо, – трагично вздохнул Гайнан, еще и сам не осознав: припугнул или сказал серьезно. Хотел что-то добавить, но Шаих перебил его:

– Это тебя давно кончать пора. Герой выискался, военный майор! В сорок четвертом хлопнул часового и сбежал из дисбата.

– Откуда?

– Из военкомата, ночью, перешагнув через земляка, которому заговорил зубы на родном языке и уложил камнем по голове. И живет ведь нынче припеваючи наш уважаемый дезертир, хапает вокруг себя все, что по силам, поторговывает, попивает... А-ля-мафо! И никакой управы. Какой там?! В войну не могли обуздать, а теперь уж, когда он ветераном войны сделался...

– А-а, вон ты о чем! – шагнул из-за стола Гайнан. – Вона ты о ком... Так и я ведь не мог вспомнить, где твой фокусник мне встречался. Это, значит, я его по башке?... Жаль, очень жаль, что одним разом не добил тогда. Я-то думаю: что это он каждый раз так влюбленно пялится на меня? Ясненько, ясненько... – Гайнан сделал еще шаг от стола, размахнулся...

Но Шаих, привыкший к оплеухам отчима, подставил под удар плечо и затем несильно оттолкнул папашу, вернув того к столу.

– Сдачи научился давать?! – схватил он вилку и удивительно тонко для своего собороорганного баса взвизгнул: – Два удара – восемь дырок! – И неожиданно ударил левой свободной – в подбородок. Удар был настолько силен, что Шаих взмахнул руками, точно крыльями, и, распахнув задом дверь, вылетел на кухню, врезался в стеллаж с банками, тазами, ведрами – звон, треск на весь дом.

– Надоели, на-до-ели... – шипел Гайнан, натягивая на ходу драповое пальто и хватая рюкзак. – Всякому терпению есть предел. Хорэ-э! Хватит с меня всех этих фокусников, звездочетов, шейхов... – Он перешагнул через распростертого поперек кухни Шаиха и встал как вкопанный: на него, низко опустив тяжелую, лохматую голову, шел бизоном – легок на помине! – Звездочет. В краткое, как жизнь, мгновение Гайнан вдруг увидел-разглядел в ученом соседе, в блаженном сказочнике-мечтателе то, чего раньше в упор не замечал, – и рослость, и крупные, сильные руки, и наполненные дикой решимостью глаза; он увидел в нем далеко не плюгавенького интеллигента, а мужика, крепкого, на дубовых корнях мужика, которого на липовой палочке с картонным мечом не объедешь, не обскачешь, на арапа не возьмешь. И Гайнан испугался. Он испугался, что западня в который раз захлопывается, а силы-то не былые, не те, и времена не те, и не сможет он больше выкарабкаться. «Если сейчас не проскочу, – подумал он, – то всё, кранты». И выхватил из кармана «вальтер».

Рука ли нетренированная дрогнула, но первая пуля прошла мимо, лишь чиркнула по копне волос Николая Сергеевича и уже за ним, только много выше, впилась в притолоку, выбив из нее струйку древесной пыли.

В это самое время уцепился за рюкзак Шаих (рюкзак висел на одном плече), развернул к себе беглеца, и тот, поразившись так скоро оклемавшейся силе нокаутированного юнца, повалил его безвозвратно двумя выстрелами в упор.

Не успел стрелец от одного избавиться, а уже тянул за лацканы драпа другой, тянул, рвал неуклюже и бессмысленно, что-то невнятно бормоча. Куда у ученой интеллигенции в таких случаях здравый ум девается?

– И тебе н-на!..

Гайнан выстрелил от пояса. Промахнуться было невозможно.

Когда Гайнан выскочил на улицу, мы втроем – Ханиф, Юлька, я – выбегали из противоположного Ханифова двора.

О том, кто такой отчим Шаиха, рассказал Юльке дед, когда она стала допрашивать его о их с Шаихом таинственных и подозрительных секретах. «Что за шу-шу-шу, после чего гость убегает не попрощавшись и с ошарашенными глазами?» Киям Ахметович хоть и несколько минут назад согласился с просьбой Шаиха – о дезертире больше никому ни слова, тайну внучке своей кратко изложил.

На меня взбудораженная Юлька совершенно случайно налетела у школы, куда я после встречи из милиции Шаиха теперь и не помню зачем забегал. Мы побежали тем же путем, что и Шаих, – сперва к Ханифу. Но в отличие от Шаиха судьба нам улыбнулась: наш добрый гений, наша палочка-выручалочка был дома, только-только вернулся со службы –на минуточку, перекусить. Стоя, не расстегнув на себе ни одной пуговички, ни одного ремешка, он крупно кусал французскую булочку и запивал молоком из литровой банки.

– Ханиф, скорей!

И вот уже мы все на улице.

А что было бы, если б к Ханифу забежала одна Юлька, а я напрямик бросился к себе домой, к своим друзьям на выручку? Выручил бы? Успел? Или вместе с ними лег? Кто знает! Тогда беда не представлялась такой зловещей и реальной, такой близкой. Тогда и вариантов-то никаких в голове не было, мы с Юлькой мчались одной-единственной проторенной и, как нам казалось, безусловно верной дорогой к безотказному и бесперебойному, как двигатель у «BMW», Ханифу Хакимову.

И вот мы втроем на залитой вешними ручьями и солнцем улице. Шел четвертый час дня, а журчащий и сверкающий день сдаваться тьме и льду не собирался.

Гайнана мы увидели первыми. Из глубины двора. Мы увидели и то, как он нас увидел: втянул голову в плечи, в одну сторону дернулся, в другую и наконец бросился по Алмалы через завал угля к школе. Не сговариваясь, Ханиф и я припустили следом, а Юлька поспешила туда, откуда только что выбежал дезертир.

Несмотря на возраст, бывший «военный майор» рванул борзо. Прямо-таки как заправский спринтер. Только пыль водяная из-под драпового пальто. Ни разу не поскользнувшись, донесся до школы, юркнул в хозворота, миновал двор, гаражи, сарайчики, перемахнул через забор, за которым начинались Ямки – простор, воля, своеобразный загород в черте города. Дай бог ноги! Но там-то и стал выдыхаться ветеран, падать стал, то и дело соскальзывая с узенькой тропки в глубокий, влажный, рыхло-зернистый снег. Падать и стрелять. Стрельнул он в нас четыре раза. Ханиф пальнул дважды. Один раз в воздух. А когда четвертая фашистская пуля из гайнановского «вальтера» прожужжала совсем уж близко над нашими головами (мы не знали, что она последняя), Ханиф, приостановившись и для упора подставив под своего «макарова» локоть, саданул прямо по цели. Черный драп отлично просматривался на белом овражьем снегу. Гайнан словно бы опять поскользнулся, сел в сугроб и больше не встал.

Пуля попала ему в ногу, сзади, чуть повыше коленного сгиба, короче, в ляжку. В блестящих хромовых сапогах, в драповом пальто нараспашку, завскладом сидел недвижно и орошал своей теплой кровью холодный, бесчувственный сугроб, в котором бесполезно стыли груды схороненного им мяса. И еще кое-что.

52. Они живы, пока живы их друзья, или Вместо эпилога

Опять весна. Опять май. Словно впервые распускаются под солнцем клейкие листочки на липах, и я словно впервые вбираю их волнующий терпкий дух.

Стою на бывшей нашей улице. Сколько лет прошло, сколько весен прошелестело! На месте нашего дома возвышается девятиэтажка с огромным, сплошь стеклянным продуктовым магазином в основании. Туда-сюда бликуют солнцем стеклянные двери. Народ заходит, выходит, смеется, разговаривает, хмурится, молчит, покашливает... Другая жизнь, другие люди, другое время. И ни сухой былинки оттуда, из наших далеких годин. И дом, и голубятню, и яблоневый сад придавила эта могучая гора из железобетона и стекла. В общем-то красивое строение, чье-то, должно быть, родимое гнездо.

Люди продолжают жить и после своей смерти. Они живут, пока живы их друзья. Почему именно только друзья? Потому что речь о Шаихе Шакирове и Николае Сергеевиче Новикове, у которых детей, как известно, не было. Один не успел, другой и не думал...

Шаих скончался через день после схватки с дезертиром, в больнице, не приходя в сознание. Его

похоронили на нашем татарском кладбище рядом с отцом. Его провожала вся Алмалы, кроме одного, самого любимого, человека – Юльки, которая лежала в больнице, в той же больнице, где лежали и Шаих, и Николай Сергеевич Новиков. Их всех вместе в бесчувственном состоянии доставили туда с Алмалы одним рейсом в двух машинах «скорой помощи». Юлька ведь первая обнаружила истекающих кровью Шаиха и Николая Сергеевича. Сначала Николая Сергеевича, а потом за печью под стеллажами в битой, опрокинутой посуде – Шаиха. И сердце ее не выдержало, какой-то клапан в нем безжалостно (или, напротив, сжалившись) захлопнулся, и она легла рядышком со своими друзьями. В клинике врачи сказали отцу, что надежды практически никакой. Но мотор в груди человеческой – устройство поразительное. Сконструированное слепыми силами природы, оно порой вдруг наперекор всем авторитетным мнениям восстает и самоисцеляется. Одним прекрасным утром обреченный вдруг поднимается и своим ходом отправляется домой. Такое же вот произошло и с Юлькой, только домой она не отправилась (слишком степенный глагол), а просто-напросто сбежала.

А Николай Сергеевич прожил еще полгода. Пуля попала ему в живот. Очень сложная операция, длившаяся около пяти часов, прошла, как сказали врачи, удачно. И действительно, уже через неделю он без труда мог говорить и с некоторым трудом читать, делать заметки в блокноте и принимать посетителей. О смерти Шаиха ему не сообщалось. Ему сказали, что Шаих тоже ранен, находится в другой больнице, и дела у него тоже идут на поправку. Легковерный Николай Сергеевич поверил. Он всегда и охотно верил во все светлое и доброе. Да и мы, надо сказать, ввали искусно.

Посетителей к Николаю Сергеевичу было не счесть. И среди прочих была та, многие годы будоражившая мое воображение, таинственная Татьяна Георгиевна Родимцева, о которой я слышал многожды, но всегда как-то недомолвленно, всегда как-то с обрывом на полуслове. Появилась она в больнице во время моего дежурства. Маленькая, худенькая пожилая женщина с осунувшимся лицом. Я встретил ее в коридоре и проводил в палату.

Узнав в седебородом старце Николая Сергеевича, она вспыхнула юным, точно с мороза, румянцем, и я вдруг увидел на ее, как мне сперва показалось, невыразительном лице пронзительно-синие глаза.

Я оставил друзей детства в палате наедине, появляясь лишь затем, чтобы исполнить кое-какие обязанности сиделки.

Они разговаривали долго. На протяжении всего свидания она держала его большую, вымазанную в каком-то темно-буром препарате руку в своей маленькой, белой ручке, словно извиняясь за какие-то давние ошибки, словно согревая и согреваясь после долгих лет его и своего одиночества и словно никогда и ни за что уж она эту руку не отпустит. Она говорила, стараясь при мне называть его Николаем Сергеевичем, но нет-нет да и слетало с ее уст незнакомое мне и очень близкое ей: «Николенька».

– Сегодня, Николенька, два праздника.

– Каких?

– Благовещение и вербное воскресенье.

– Сегодня? Да нет же, это по старому стилю сегодня, – улыбался, наверное, впервые после операции Николай Сергеевич.

– Ах, – огорченно восклицала она, – когда же я перестану путаться в этих старых-новых временах!

В тот же день Татьяна Георгиевна вписала свое имя в график дежурства у постели тяжелобольного и была возле своего Николеньки и в больнице, и дома, и затем вновь в больнице до конца.

Не стало его в сентябре. Через месяц после операции начались осложнения. Угасал Николай Сергеевич медленно и мучительно в непримиримой борьбе с подступающей смертью. Умирать ему, с юности равнодушно и трезво относившемуся к своей персоне и к своей жизни, этой сверхмгновенной и сверхмикроскопической в сонмище миров и галактик искорке страстей и желаний, вдруг с появлением Татьяны Георгиевны страстно не захотелось. За неделю до смерти он наивно показывал мне язык и говорил: красный ведь, без никакого налета язык, и аппетит превосходный... Да, да, отвечал я, организм ваш и не думает сдаваться. У него и в последний день был хороший аппетит.

Николай Сергеевич умер с верой, что Шаих жив, что друг его находится на излечении в санатории «Васильево» – это в сорока минутах езды от города, – откуда мы почти ежедневно привозили ему многословные приветы. Николай Сергеевич верил нам. Или так нам казалось?

Похоронили его в тени векового дуба, вблизи обсерватории. Стоит ли упоминать?.. Но это так было, и это, пусть и суеверным образом, но еще раз, хотя бы только и для меня, послужило подтверждением его чрезвычайной в последние дни охоты жить, пылкого желания хоть ненадолго зацепиться, остаться на этом грешном белом свете, и я после долгих колебаний решил и этот эпизод вынести за пределы моей частной памяти. К стыду нашему, а может, это сама судьба, но мы гроб с телом Николая Сергеевича, заколоченный, готовый к погребению гроб, над могилой не удержали, и он рухнул изголовьем вниз, и Николай Сергеевич, будто живой, взмахнув руками, будто даже пытаясь ими высвободиться из несправедливого заточения, выскочил из неожиданно разверзшейся западни по пояс и замер. Как мы запикивали его обратно – с ума сойти можно.

Жизнь – явление временное. Но пусть это временное было бы во времени попродолжительнее. Что человеку – челу века! – каких-то пятьдесят-девяносто лет жизни. Впрочем, мир наш вокруг и изнутри относителен. Сгинувшим вчера горцу-долгожителю и волжской бабочке-поденке все – и прошлое, и настоящее, и будущее – одинаково и безразлично. Но нам-то, нам, живым, – нет. Смерть для живых – самая большая несуразность. А смерть в шестнадцать... Этому просто названья нет.

Два выстрела лишили Шаиха и малейшей возможности своими молодыми, здоровыми силами побороться со смертью. Николай Сергеевич поборолся, но немолодой и нездоровый его организм оказался много слабее сконцентрированной силы нескольких граммов свинца. Зато Киям-абый, заранее объявивший о своей скорой смерти и мирно ее ожидавший, как-то незаметно, сам собою поправился.

Когда я бываю в родном городе, то непременно захожу к нему. На первый мой вопрос о самочувствии он всякий раз отвечает одно и то же, он вспоминает «Эликсир молодости» Николая Сергеевича и высказывает опасение, подобно его литературному герою, вовремя не умереть.

Киям-абый сильно постарел, но актерской привычке держать голову высоко и без единого седого волоска не изменил.

В его комнате на стене все так же одна-единственная картина – Юлькин пейзажик «Казанка». И еще (не на стене, а в углу комнаты) – чеканка «Белые голуби мира», его давнишняя работа, которую на различных стадиях готовности видели и Шаих, и Николай Сергеевич, которая всем нам очень нравилась и которая на многожданном художественном конкурсе не прошла и первого тура, то есть предварительного отбора.

Наши встречи бывают более оживленными, когда он имеет на руках лично ему адресованные письма от Юлы с Края Света – есть такой мыс на Сахалине. Юлька который год приносит там себя в жертву геофизике.

В такие благостные дни Киям-абый колдует над заварочным чайником с особым тщанием, а я перечитываю вслух листочки, заполненные почти печатными, крупными буквами, – Юлька знает, что со зрением у деда плохо (газеты с лупой читает), да и по-русски он всегда понимал неважно, а татарскому она так и не выучилась.

Внук Александр из Москвы, где он при очень приличной научной должности, пишет редко и адресует письма одновременно всем домочадцам.

Семен Васильевич на пенсии. Недавно он выпустил новую книгу о Пушкине, в которой выдвинул и, по словам специалистов в газетных рецензиях, весьма интересно обосновал гипотезу о поэте как особо засекреченном члене тайного общества декабристов. После смерти друзей и публикации этого историко-литературного труда отношения Кияма Ахметовича с зятем упали до нуля, хотя выше-то они особо никогда не поднимались.

Кто еще? Ханиф... Он в милиции долго не продержался. Не сработался с начальством. Уехал на Каму на новостройку, где ему, классному автослесарю, обещали в перспективе квартиру. А капитан Дубов по-прежнему капитан и по-прежнему на посту правопорядка.

...Готовый ароматный чай Киям-абый разливает по пиалам и как бы невзначай произносит: «Все-таки рано ушли они...» Я не спрашиваю – кто. Сперва вообще не откликаюсь, давая ему возможность начать наш неспешный и неизменный разговор о наших друзьях с его новых мыслей о них, назревших в одиночестве.

Люди продолжают жить и после смерти. Они живут, пока живы их друзья и возлюбленные. Те и другие у Шаиха и Николая Сергеевича были.

1990

Записки горбатого человека

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Кое-как оконченный университет, неверная жена, циклотимические чередования радости и печали, неопределенность понятия нации, испорченные зубы, потеря наивности, уродливые герои в моих произведениях.

Мати Унт.

Голый берег. Love story

Глава первая

Не... Мо...

Когда это началось?

Лет сто назад. Летом. В конце августа, сухого, жаркого, словно не в средней полосе мы обитали, а где-то в Средней Азии.

Да, на исходе лета в санатории-курорте «Зеленые Горки»...

«Санаторий-курорт» – это, конечно, громко сказано. Безликая кирпичная пятиэтажка да несколько трухлявых, напوماженных старушек-домиков, на санаторном языке – корпусов, рядом деревушка, чье название носит здравница, пересохшая речушка, плешивый взгорок, ни лесочка рядом, ни рощицы; вокруг, куда ни кинь взор, коровы бродят, домашняя птица копошится...

Но лечебные грязи в «Зеленых Горках» – это уж что есть, то есть, не отнимешь.

Не для всех, понятно. От всех хворей одного снадобья не бывает. Но надеются все. Вот и я помчался. Затерзал остеохондроз – шею не повернуть было, ох как намучился. А тут как нельзя кстати «горящая» путевка в Литфонде. Не на Гавайские острова, но что важнее – комфорт с негнущейся шеей или дыра на какой-то месяц, зато с видом на исцеление?

В те грязи я еще в коридоре Дома издательств поверил прослушав полтора часовую лекцию-экспромт одного местного баснописца, который в том санатории от простатита вылечился, этой неизлечимой мужской болезнью. И верите, нет, поправил я свою шею. Правда, потом другое появилось, и похуже. Но с грязями «Зеленых Горок» я это уже не связываю.

Но связываю с самими «Зелеными Горками», то есть именно с санаторием, с моим пребыванием в нем.

С «Зелеными Горками»... И с нею...

Там все романы крутили. В лечебных целях, так сказать. Там было много женщин, страдавших бесплодием, и каждая стремилась проверить – а не супруг ли благоверный, дома на печи оставленный, виноват в их супружеской драме? Гуляли бедняжки напропалую, вдруг да с кем зацепится, завяжется, и осуществится нормальная мечта нормальной женщины.

Она, однако, не их поля ягода была. В этом отношении у нее было все нормально. Ненормальной она была в другом...

Хотя сам ненормальный.

Но поэт по большому счету только тогда поэт, когда он ненормален. А я в качестве литератора был официально зарегистрирован творческим союзом. Не Байрон, конечно, но по местным меркам очень даже ничего. И необходимая ненормаленка имелась. Нет, больше чем только необходимая, больше...

Зато потом слишком нормален стал. Впрочем, кто знает, что нормально в этом нашем ненормальном мире – белое или черное, трезвое или пьяное, любовь, ненависть, жалость... что?

В юности от неприятных мыслей мне удавалось избавляться сравнивая свои проблемы с мировыми. Сколько людей погибло в аду войн, землетрясений, наводнений, сколько замучено в сталинских застенках, сколько погибает сегодня от СПИДа, рака, других бесчисленных гадостей! А я? Да я по сравнению с ними счастливец. В последнее время эти сравнения не помогают. Они по привычке приходят в голову, но тут же в считанные секунды испаряются. А чаще и испаряться уж нечему – и не вспоминаю, и не сравниваю. Чего сравнивать личное с абстрактным, пусть и мирового значения?

Позже в сложных ситуациях я стал обращаться к созвучным моему душевному состоянию стихам различных известных и неизвестных поэтов. Наподобие:

Чем горше, тем слаще становится участь.

Или:

В отчаянной доле есть ряд преимуществ.

Или:

Господи, какое счастье
душу загубить свою...

Одно время грело. Потом тот же результат, что и в юности с мировыми проблемами. Верил бы в Бога – помолился б, и все дела. Да ведь безбожник. В бессмертные души с некоторых пор вот поверил. Быть может, когда приспичит, и во всевышнего уверую, кто знает...

Человек – величина переменная. И с фасада, и изнутри. До того переменная – уму непостижимо. «Да я ли это?!» – охнешь вдруг, получив заказанную на очередное удостоверение фотокарточку и увидев свою физиономию. А еще хуже, когда поймашь себя на каких-то гадостях, делать которые уже по привычке и которые буквально пять-шесть лет назад казались порнографией позорной, недостойной не то что кончиков ногтей твоих, но и мысли даже. Достоевский сказал: дольше сорока лет жить неприлично, пошло и безнравственно. Точно! И больше того скажу: дольше тридцати. Да, да, тридцать – и на мыло, на щетки-сметки... Ведь человек после тридцати живет вхолостую, повторяясь, и что самое мерзопакостное – обжираясь, а чаще упиваясь, и постоянно – накопительствуя и сношась, не оплодотворяя.

До «Зеленых Горок» я об этом как-то не думал. А там – да, до меня дошло: я же сам занимаюсь этим. Хотя все могло сложиться иначе. Хотя там ничего такого и не было. Ни пятнышка темного. Это уж потом... Впрочем, что есть темное, а что светлое? Школяр ответит, а ты себе – нет.

Нет, не могло иначе сложиться.

Нет, могло.

Не могло...

Могло...

Не...

Мо...

Рыцарь

Что более всего поразило меня в санатории, так это обилие калек. Они бодро хромали, умело прятали колчерики конечности в карманах, фланируя беззаботно по главной аллее и с любопытством разглядывая новеньких.

Их-то роду-племени Она и была.

Маленькая, горбатенькая, с огромным оранжевым чемоданом, она предстала передо мной еще в аэропорту. Каким-то образом мы сразу узнали друг в друге постояльцев, или пациентов (не знаю, как точно сказать) «Зеленых Горок».

В автобусе, который основательно протряс нас и накормил пылью, мы чувствовали себя уже родственными душами.

Особое впечатление на меня произвел ее страшной величины чемодан, за который я сразу же на аэровокзале по-рыцарски взялся. Камни, что ли, везла? Руки после трех шагов онемели, меняй их не меняй... Но я мужественно доволоч его до ее двери на четвертом этаже главного корпуса. Мой «люкс», куда я ввалился совсем обессиленный с чемоданчиком-«дипломатом», в котором портативная пишмашинка, бутылка коньяка, мыло, зубная паста, щетка, да и все, пожалуй, находился этажом ниже.

В порядке благотворительности

Уже на другой день руководству санатория было известно, что на излечении у них находится поэт. И сам главврач, оказавшийся большим любителем изящной словесности, предложил мне провести небольшой вечер поэзии, попросту говоря, выступить в клубе.

– В порядке благотворительности, – сказал он.

Выступать перед живым читателем я не любитель – полупустые залы, равнодушно-вопросительные взгляды, разъяснения – кто ты да откуда... Мало приятного. И платят всего ничего.

Но, право, каких только чудес на свете не бывает: довольно вместительный зал клуб в назначенный час оказался переполненным, люди толпились в дверях, подпирали стены, сидели на подоконниках, сновали в проходах между рядов.

О, как бодрит толпа поэта!

Точно маститый, чью биографию знают лучше его самого, я начал без расшаркиваний – швырнул строфу в зал, как кость на драку-собаку, за ней вторую и увидел, что стихи мои проглатываются на лету. Я читал наизусть, а книжку в руке держал так, для антуража, чтобы ее не только слышали в исполнении автора, но и видели.

Глаза женщин – а их на поэтических встречах, как всегда, большинство – пылали сочувствием, состраданием, соучастием.

И, окрыленный, я взял крен навстречу их распахнутым душам, запел исключительно о любви, совершенно упустив из виду, кто здесь, на грязях, передо мной:

Когда бы было меня много,
я б девушек кривых, глухих,
убогих, несчастливейших

собрал
и из себя любого
по выбору
женил на них...

И так далее, и тому подобное.

Гостя

Вечером я сидел у себя в номере у открытой двери балкона за пишущей машинкой и потягивал крепкий чай с мелиссой. Жара неожиданно отступила. Неподвижный воздух шевельнулся прохладой, вязкая тишина озвучилась многоголосием насекомых и птиц. Можно было перевести дух, а то зной, беготня по благоустройству, еще это выступление... Зато отказался от выпивки с главврачом – работать, мол, надо. Молодец, сукин сын! И уж иссиженный голубями балкон и стойкий дух коровьих лепешек с близлежащего холма не раздражали, как утром, а даже совсем наоборот – умиляли: это и есть, черт возьми, жизнь! В голове томно шевелились какие-то образы, какие-то рифмы... Жизнь была до краев наполнена смыслом, имела несомненную цель и вполне определенные силы к ней двигаться. Машинка моя молчала. Казалось, и она погрузилась в раздумье.

И когда в дверь постучали, я вздрогнул. Дурацкая привычка – задуматься, а затем вздрагивать. Кого там?.. Я откликнулся, но в другой форме, не так, как подумал. Дверь тихо скрипнула.

– Добрый вечер. Вы дома?

Это была та самая, чемодан которой по простоте своей душевной я протащил через все круги ада.

Перешагнув порог, она замерла в нерешительности, близоруко прищурилась...

На ней строгий темно-синий костюм, какие носят педагоги, но по моде просторный в плечах, отчего горбик ее не так заметен, как при первой встрече, когда она была, несмотря на жару, в свитере с глухим воротником. Но осанка... Осанку не спрячешь.

– Где ж мне быть?! – весело произнес я, снимаясь пушинкой со стула и цепляясь взглядом за голубенький «поплавок» на лацкане ее пиджака, самым провинциальным образом свидетельствующий о высшем образовании гостя. Я предложил ей пройти к скромному холостяцкому столику, прикидывая, что на огонек ко мне заглянула не просто благодарная за транспортировку чемодана знакомая, а и, что немаловажно для творческого человека, почитательница его таланта.

Так оно и было. Она начала диалог с того, что побывала сегодня на поэтическом вечере, и стихи, услышанные там, потрясли ее до глубины души. Она так и сказала. Не преувеличиваю. Она сказала:

– Я много читала и слышала, но эти стихи... Но ваши!..

Она без запинки назвала несколько стихотворений по их первым строкам. И безошибочно. В смысле, назвала именно те вещи, которые я сам ценил.

– Вы учительница... – не спросил, а продемонстрировал я свою проницательность.

– Да, учительница. Как вы догадались? – И сообразив, как я догадался, постаралась улыбнуться: –

Но не литературы, а математики. Математичка, как у нас называют...

Я впервые внимательно – не по-вокзальному бегло – разглядел ее. Бледное, если не блеклое, но в общем-то миловидное лицо с серыми, по-матерински добрыми и усталыми глазами... Серьезная ранняя между бровей складочка и в продолжение ее – тонкий, строгий носик... Портрет ее довершал детский, припухлый рот, обиженно приспущенный своими уголками вниз, – буква «л» в полушагате.

«Лет двадцать пять, – определил я про себя ее возраст и подумал: Эх, кабы не этот вечный ранец за спиной!»

Сказал же следующее:

– Преклоняюсь перед математиками. Помню, однажды пытался разобраться, что такое случайная величина, и не смог. Ни книжки, ни друзья не помогли. Да что там говорить – сколько мелочи в кармане, сосчитать не могу. В школе с двойки на тройку кое-как... Математика... Нет, не дано.

– Зато вам дано, что не дано нам всем, в том числе и рабам точных наук, – не полезла она в карман за словом. – Вы поэт, вы ниточка, связывающая человечество с красотой и вечностью. А случайная величина в теории вероятностей, ну, это, как сказать? – это величина, принимающая в зависимости от случая те или иные значения...

Она, кажется, уже собралась прочитать лекцию, но я перебил ее:

– Короче, некий математический хамелеон.

Спохватившись, гостя поспешила принять мою шутку:

– Да, да, что-то вроде этого.

Она сидела в низком кресле у высокой тумбочки, приспособленной под «банкетный» стол, неудобно поджав выставленные снизу вверх колени, то и дело конфузливо одергивая и оглаживая длинную, но упрямо задирающуюся юбку свободной от чая рукой и неизменно называя меня на «вы»,

точно перед ней был не кто иной, как сам А. С. Пушкин или не менее кудрявый в юности Сергей Есенин. Раскрывая рот, она бледнела, замолкая, краснела какими-то неверными, но очень яркими геометрическими фигурами. И одергивала юбку.

Мне, подлецу, все это нравилось. Нравилось ее волнение, нравилось мое снисходительное спокойствие и то, что я – поэт и притягиваю, как магнит, к себе людей и что, слава богу, матушка не уронила меня в детстве с балкона или еще с какой-нибудь неприятной высоты.

Но говорила она тем не менее складно. И интересно. Что ж – педагог! Я же, хоть и был спокоен, нес чепуху и банальщину. Зато преспокойно «тыкал». По имени не называл, так как со времен аэро-, автовокзалов имя ее из головы моей вылетело. Я знал, гостя все равно еще раз каким-нибудь образом назовется. Так оно и вышло.

Она назвала свое имя в связи с тем, что надумала сказать мне, как ее мать хотела назвать и не назвала. А имя ей дал отец. Он назвал ее Любовью.

Поведав это, она вздохнула.

– Хорошее имя, – возразил я ее вздоху.

– Хорошее-то хорошее, – сказала она, – но ее у меня нет.

– Кого нет? – умиротворенный своей прозорливостью, что она все-таки напомнила свое имя, прослушал я вторую часть сказанного. Да и не прослушал, просто переспросил по своей дурацкой привычке переспрашивать.

– Любви... Любви нет, – ответила она.

Вот те на! распустил хвост, автографы изготовился рисовать, а тут вон что! Но пока голова заторможено соображала, язык выдал еще одну глупость:

– Почему нет?

– Кому я нужна такая... – сказала она просто.

– Мне тоже не везет, – принялся я скрашивать положение. – Я нравлюсь тем, кто мне не нравится, мне же самому нравятся те, кому я совершенно... – развел я руками.

– Ну, это не беда. Беда, когда вообще никому не нравишься. Представляете, никому-никомушеньки. А жизнь-то проходит. У моих сверстниц дети в школу пошли. Чем я хуже? Нет, о любви уж не мечтаю. Вот вы... Вот у вас жизнь счастливая...

– С чего это вы взяли? – как-то незаметно перешел я с ней на «вы».

– А на вас написано. Хоть и говорят, что поэты страдать должны...

– Да, по-своему я счастлив. Но если посмотреть с вашей точки зрения, то... знаете... хлебнул я семейного счастья и больше, поверьте, не хочу.

– Вы женаты? – как мне показалось, вкрадчиво спросила она.

– Был.

– И дети есть?

– Дочь.

– Большая?

– Маленькая, – сказал я коротко, чтобы сменить тему.

– Жениться легко. Жить потом трудно, – сделала она теоретический вывод.

– И не надо! Чего себя и других мучить. Оглянитесь – одно и то же кругом. Жена ненавидит мужа, муж – жену. Этот пьет, та гуляет. А деточки видят в своих родителях лишь коров дойных. Сестры-братья перегрызутся из-за наследства. Не-е... лучше одному. Пусть я околею от одиночества без глотка воды, но чтобы опять этот хомут на себя, опять терпеть унижения, боже упаси! Знал бы, ни за что б...

– Возможно, вы и правы. Но мужчине в этом отношении все равно легче. Мужчина всего себя может посвятить своему какому-то интересу, работе, вот как вы – творчеству. А ведь у женщины главное призвание – быть матерью. – Она смолкла на мгновение и, поборов в себе то, что, должно быть, поборол в себе впервые, сказала, нервно заткнув выбившуюся из-под заколки пшеничную прядь волос: – Мне же вот матерью быть не суждено. У меня никогда не будет дочери, у меня никогда не будет сына. Как нелепо устроен мир! Я не могу самостоятельно распорядиться своей жизнью. Какая несправедливость, биологическая зависимость от мужчины!

Она опять примолкла.

Молчал и я.

Я чувствовал, женщина открывается мне в своем самом сокровенном, наболевшем, выстраданном, в том, в чем никогда и никому не открывалась. Наивны люди, они думают, писатели – это не знаю кто, пророки, адвокаты судеб человеческих, спасители, боги в штанах и галстуках. А на самом деле ну, вот я... Ну что я могу? Чем я могу помочь в настоящем, конкретном, а не в умозрительном и вселенском? Чем? Книжку свою подарить? Стихотворение посвятить, поэму?

– В прошлом году, в январе, моя сестренка уехала на целый месяц в командировку, – прервала гостя затянувшееся молчание. – Уехала, оставив со мной свою дочь Машеньку, племянницу мою любимую. И знаете, как мы с Машенькой за этот месяц привязались друг к дружке, ну просто мать я

ей, а она мне родная дочь. И раньше-то мы с ней как подружки равные... Но все равно это не то было. Придешь в гости, повоозишься с ней, а вечером – до свидания. А тут целый месяц – и днем, и ночью... Вы знаете, как пахнут волосы пятилетнего ребенка? Я ночи напролет не спала. То одеяльце поправлю, то подушку, то покажется мне, что в комнате слишком душно, форточку распахну, то вдруг испугаюсь, простыть же может, захлопну, а то лежу просто и глажу ее золотые кудряшки. Иногда она во сне разговаривала. Так я прислушивалась, пыталась разобрать ее лепет, понять ее сонные слова, мне казалось, я могла услышать что-то очень важное, недаром же говорят, что устами младенца глаголет истина. Истины я не услышала, зато с какой радостью она кидалась мне на шею, когда я приходила за ней в детский садик! С разбегу, еще метров за пятнадцать-двадцать раскинув свои руки для объятия. Это было самое счастливое время в моей жизни. И представлялось мне, так будет продолжаться бесконечно. Но вот приехала ее мама, и все... Нет, Машенька по-прежнему обожала меня. Только уж так, как в тот холодный январь, она во мне больше не нуждалась. Я даже порою представляла себе, что вот случится что-то с сестрой, заболеет она или еще что... И я опять понадоблюсь Машеньке. До чего человек эгостичен, а?! Но ведь на мысль узду не накинешь. О чем только не передумает человек, когда у него проблема. И на высоты красивые взберется, и не знай куда опустится. Но думать, представлять мысленно – это еще не значит хотеть, совершать. Быть готовым к этому – да, другое дело... Так ведь, да?..

Она еще долго говорила, и повторяясь, и сбиваясь, и оправдываясь. Ожидая и не ожидая от меня каких-то слов сочувствия. А что утешительного мог я ей сказать? Я не был готов к такому повороту... Сказать же, я вас хорошо понимаю... Кривить душой перед этой маленькой убогой женщиной с по-детски обиженным ртом и прямым, открытым взглядом серых, похожих на дождевую воду, глаз даже ради самой гуманной лжи не хотелось.

Я задержался, смахнул крошки с тумбочки, достал еще какие-то пряники, повел разговор о различных способах заварки чая...

Она сказала, что чай с мелиссой ей нравится больше, чем с мятой или с душицей. Потом мы еще о чем-то поговорили. А потом она спросила:

– Скажите, лирический герой и сам поэт, то, как он проживает на поэтических страницах книг, и то, как живет в реальной жизни, одним словом, автор и человек, во плоти и крови человек, а не образ, сильно они разнятся? Вот вы ни малейшей двойственности в себе не ощущаете?

– А что, я дал повод? Значит, в стихах я один, а здесь, перед вами, совсем другой?

– Простите, ради бога, коль что не так у меня высказалось! Поймите, ведь я впервые вижу поэта, не фамилию его на бумаге, не фотографию, а живого. И разговариваю с ним запросто.

«И в самом деле, чего это я? – подумал я. – Нервишки, брат, нервишки, в сероводородные ванны их скорее!» На вопрос, однако, следовало отвечать. Можно было бы уйти от ответа, но мне самому стало интересно. Я сказал, что первейшее условие в творчестве – это целостность. Нельзя, скажем, на работе самозабвенно исполнять скрипичное соло, что-нибудь из Вивальди, Тартини, а дома затем той же самой скрипкой лупить не угодившую тебе в чем-то жену. И потом опять на той же скрипке выпиликивать волшебную музыку. Не получится.

Гостья рассмеялась, показав белый ряд острых детских зубок. (Что-то все сравнения с детскостью у меня... Но это, хоть и однообразно, наиболее точно.) Она рассмеялась, взгляд ее потеплел, а глаза будто посинели. Я сказал:

– Сбежали с пасмурного неба серые тучки.

Она не поняла. Я не стал объяснять. Продолжил в веселом, юморном духе, так как понял, что это единственная в нашем разговоре тропка, которая сможет вывести из чащобы простодушно-неожиданных и не сообразных моему жизненному опыту вопросов, одолеть ее навязчивые, хронически пасмурные думы и настроения.

Но я недооценил их силы.

При первой же моей краткой, как вздох, заминке она обратилась ко мне, так понизив голос и так посмотрев, что я в мгновение ока растерял весь свой хохмацкий пыл.

Она спросила:

– Под конец поэтического вечера вы прочли стихотворение, где готовы якобы пожертвовать собой ради счастья кривых, убогих девушек. Это как – поэтический образ, игра фантазии или это всерьез? По-честному?

Я напомнил, что в стихотворении оговорено: «Когда бы было меня много».

– А я-то ведь один.

– Выходит, слукавили... – сказала она.

– Нет, – ответил я не совсем уверенно, – в стихах я никогда... – И опустил глаза на пустой стакан в ее руке. Она держала граненый курортный стакан в подстаканнике у груди, и чайная ложка отбивала дробь о толстое стекло.

– Вы, разумеется, все прекрасно понимаете, почему я здесь в столь поздний час, просто делаете

вид... – Она запнулась. – Но я прошу, как бы это ни было унижительно... Я поверила в вас. Вы меня понимаете?

– Да, да... – сказал я, не опуская глаз с чайной ложки.

– Сжальтесь. Как милостыни прошу. Неужели уж я так страшна?

Дальше случилось непредвиденное. Она поставила стакан с подрагивающей в нем ложкой на тумбочку и опустила передо мной на колени.

– Умоляю!

По щекам ее из синих, без единого облачка глаз побежали слезы, а припухлые губы скривились в такой безысходной трагичности, какой мог добиться на моем веку лишь один человек – моя маленькая дочь, когда в «Детском мире» ей не покупали облюбованную куклу. Устоять перед немислимо трагичным изломом детских губ я никогда не мог, и дочь получала все, что хотела.

Светало

Добившись своего, она почти сразу же ушла. Она ушла после того, как мы договорились встретиться еще.

Все-таки не так было. Не ушла она сразу. Чего уж врать, и так каждый божий день врем. Ради вранья, ради сказочки красивой не стоило и за пишущую машинку садиться, братья за какие-то записки, которых сроду не писал. Дневники, правда, начинал вести несколько раз, но всякий раз бросал. Первый раз бросил из-за того, что его тайком прочла одна моя подруга. Сама призналась во время ссоры. Все остальные разы бросал из-за того, что начинал врать страшась правдиво записывать особо личные, потаенные вещи, а также неблагоприятные поступки свои, низменные мыслишки... а вдруг кто-то опять пороеется в моем грязном белье. Да и, откровенно говоря, скучно скрупулезно регистрировать свои будни и быт – куда пошел, с кем встретился, кому на собрании наподдавал, кто тебе врезал, с кем переспал, с кем выпил... Интересные мысли заносить? Но они появляются в самых неподходящих местах и даже, извините меня, в сортире, в сортире-то как раз и чаще всего... А когда воссядешь удобно за письменный стол и раскроешь свой дневник на чистой странице, так и в голове чисто, ни одной мысли. Стихи – другое дело. Там тема, ритмы, рифмы... Все равно что катишь в автомобиле, а вокруг указатели, светофоры, шлагбаумы... Пробовал и прозу писать, спрятаться за образы, чужие лица, говорить что угодно и даже самое-самое чужими устами – не получилось. Не знаю почему, но не получилось. Или слишком привык к поэтическим светофорам, или не привык целыми днями горбатиться за письменным столом... Недаром же говорят: прозаик должен иметь прежде всего толстую задницу. То ли дело стихи! Порхаешь целый день на улице, а еще лучше на природе, с друзьями встречаешься, шашлыки жарить... И вдруг – о, клюнуло! Хватаешь клочок бумаги или спичечный коробок и записываешь. У нас один, кстати, в данный момент большой в литературе человек, стихи и в бане умудрялся писать. Перевернет тазик вверх доньшком – вот тебе и стол письменный! – и пошло, и поехало. Что поделаешь, вдохновение у поэта. А мы вениками-мочалками помахивали, а в предбаннике, когда, распаренные, чистенькие, голенькие, махровыми полотенцами вытирались, он начинал утирать нам носы новыми стихами. Знаете, стоящими стихами. Я так работать не умею. И никакие светофоры не помогают.

Не ушла она сразу, добившись своего. Она ушла, когда по моим окнам из-за зеленого холма ударила прямой наводкой заря.

Я сидел как обухом пришибленный и тупо разглядывал то постель, где она только что была, то пустую бутылку армянского, которую прихватил из дому на всякий пожарный... А ведь собирался вовсе не пить, надо было дело делать. И машинку специально привез, бумаги белой, копировки черной... Во всеоружии, стало быть.

Но вот из всего моего арсенала в первую очередь потребовалась бутылка. И для чего? Чтобы лечь в постель с горбуньей. Чтобы побороть в себе сопротивление естества своего. Конечно, я не был паинькой в отношении слабого пола. Но в прекрасной половине человечества я всегда искал прекрасное. Всякое, конечно, в жизни бывало. Бывало, что прекрасного-то кот заплакал. Но выручала неизменно палочка-выручалочка – вино. Вот и тут без бутылки священного зем-зема не обошлось.

Далеко-далеко за холмом воскресало невидимое солнце.

Она лежала рядом, прижав простыню подбородком, и смотрела на меня.

Несмотря на то, что я выпил почти всю бутылку один, быстро захмелел и потом, и после всего... как-то незаметно провалился в сон, я сразу же все вспомнил, будто и не засыпал. Голова была тяжелой, и душу сверлила непонятная боль. Опять вру. Понятная, примитивная, с банальным названием «А поутру они проснулись».

Нет, не засыпал я, просто разум мой на некоторое время отстранился от меня, скотины, чтоб

вернуться и напомнить, что родился-то я человеком. Я и ей сказал, что не спал.

– Спал, спал, – улыбнулась она, – очень сладко спал.

– Вообще-то я страдаю бессонницей. А тут каких-то полбутылки выпил... – говорил я, а сам тайком наблюдал за ней. Но почему я за ней наблюдал? Обычно после случайной связи, и особенно под этим делом, становилось противно – не то что на объект минутной слабости смотреть (тьфу, какая железобетонная конструкция! И это о женщине! Но ни шагу назад. Вперед, вперед!)... не то что на нее смотреть, а и глаз не хотелось разлеплять. А тут смотрел и смотрел... Запутался вконец. То тяжело было на душе, то не так, как всегда после...

– Сколько же я спал? – спросил я.

– Один час сорок минут, – выдала она, как компьютер, информацию.

– Ответ, достойный математика.

– Остроумие, недостойное поэта.

– И все это время ты подглядывала за мной?

Когда я выпью, то становлюсь язвительным. И еще даже хуже – злым. Мне не раз говорили. С какой-то безмолвной и нелепейшей злостью я ведь и то свое доброе дело сотворил, ту ее неслыханную просьбу выполнил. Слышанное ли дело, чтоб к тебе пришла женщина и попросила, чтобы ее (слово «удовлетворили» в нашем с нею случае, понятно, не подходит)... чтобы ты ее обслужил... Не намеками-полунамеками попросила, не глазками, не ножкой под столом, не случайно расстегнутой кофточкой на груди или распахнувшимся разрезом юбки выше колен, а вот так, членораздельно, словами, вслух... Однако чего не вычеркнешь, того не вычеркнешь – я жалел ее, по-хорошему как-то жалел, и щадил. И злился, и жалел – бывает, оказывается. Я зло целовал ее и тискал, обшарил все ее женское, но при этом ни разу не прикоснулся к тому, что стесняло ее больше всего, к ее, так сказать, пожизненному кресту...

Но до злости и до жалости было удивление. Не недоумение, когда она попросила, это недоумение – само собою. А именно удивление. Впрочем, не знаю. Дело в том, что она пришла ко мне со своей простышкой, которую извлекла из сумочки, не примеченной мной до самого последнего момента. Надо же так вычислить меня, прийти ко мне с такой уверенностью! Тогда как понимать ее слезы, мольбу? Все нормально, все естественно – решалось, сбудется ли расчет. Расчет, расчет... Но как иметь такой выверенный расчет, не имея никакого практического опыта? Я, как опытный донжуан и ловелас (а поэт им всегда должен быть), сразу заметил, что она в любовных делах чрезвычайно неопытна, даже как будто книг не читала. Но все у нее все равно получалось как-то естественно. Естественно и старательно, как у ребенка во время серьезной игры.

...Она что-то говорила мне, а я возьми да и перебей ее какой-то изжеванной словесной колючкой, какая в голову взбредет лишь под градусом да после овладения... (Какого овладения? Вернее, кого кем?) Короче, сострил я, думал, оценит, посмеется или парирует, но она вдруг вспыхнула и двинулась, чтобы уйти. Глаза ее сделались пустыми, невидящими, все живое пролилось из них. Не может какую-то пуговку застегнуть, не может... Тут я остановил ее. Да, остановил ее, просил прощения и просил побыть еще немножко. И вот, по-моему, с этого-то момента я стал настоящим мужчиной по отношению к ней, а она полнокровной женщиной. Настоящим мужчиной – это слишком, конечно. Бурбоном в постели перестал быть – это верно.

Я схватил ее за руку, посадил... Нет, я сам вскочил за ней следом, какие-то слова стал говорить – не помню... Помню, она ничего не ответила, легонько коснулась моего шрама на брови:

– Кто тебя?

– Сам, в детстве, об угол табуретки...

– А это?

– А это... – Я стал рассказывать о боевых зарубках моего лихого детства. Да, детства, потому что все они были оттуда.

Так деликатно она простила мне мою злую не злую, скорее дурацкую, глупую колючку. Как мать с ребенком, взяла и переключила меня незаметно и ласково на другое:

– А это...

Говорят, детство – единственная и настоящая родина, взрослая же жизнь, хоть в родной деревне, хоть в родном закоулке родного города – чужбина. Поэтому все, что связано с детством, светло и безвинно, поэтому постоянная по нему ностальгия, поэтому соприкосновение с ним – живительный глоток родниковой воды в выжженной пустыне. И, вспоминая свое детство, рассказывая о нем человеку, который сохранил его до встречи со мной (а все девственницы, я считаю, – дети), я почувствовал какое-то необыкновенное облегчение, просветление какое-то и родственность с этим прожившим четверть века ребенком, сидящим рядом и прикасающимся тонкими пальчиками к отметинам моей босоногой эры. Желчь и подозрительность вернулись в свои норы, что-то старое внутри рассыпалось в прах и что-то новое родилось.

Пуговичку, которую она с трудом застегнула, я расстегнул...

Когда она ушла, я взял бутылку и посмотрел в горлышко на свет, на солнце сквозь бутылочное дно,

которое осталось без капли влаги.

Что это было?

На другой день вечером она пришла на пятьдесят две минуты позже условленного.

В течение тех пятидесяти двух минут я не переставал ловить себя на мысли, что, хоть и держу в руках книгу, на самом же деле занимаюсь одним-единственным делом – ожиданием. А ведь утром, после ее ухода, силясь заснуть, забыться, пропустив завтрак и процедуры, я надеялся в обед сказать ей о своем нездоровье и отложить нашу встречу до лучших времен. Но в столовой я ее не увидел, не нашел и в номере, лишь с соседкой ее, благочестивой старушкой, повидался и, удрученный, вернулся к себе, чтобы уж больше сегодня не выходить, попытаться одолеть депрессию за пишущей машинкой. Работа, как и следовало ожидать, не пошла. Я попусту изводил бумагу и себя, но продолжал упорствовать, понимая, что все равно ничего путного не выйдет, но что было делать?

По всем правилам заваренный чай бесполезно стыл на столе. Сама же, в конце концов, время назначила, представительница точных наук...

Я бросил книгу, загулял по комнате из угла в угол. Какие необязательные люди эти женщины! Было бы что выпить, махнул б да завалился спать. Вышел на балкон. Мой зеленый холм потемнел, коровы с него давно убежали.

Не слышал я, как дверь открылась, но взметнувшаяся на сквозняке занавеска сразу вернула мне равновесие. Надо же, разволновался! Как мальчишка. Точно в первый раз... Это она впервые. И этот первый у нее – я. И никуда она не денется, пока сам того не захочу. Еще и захочешь не развяжешься, поведись с девственницей... Однако развязываться пока не хотелось, вернее, завязывать (интересное слово «завязывать». Можно сказать: завязывать отношения, а можно: завязывать с ней, то есть рвать отношения). Размышляя так, я гоголем шагнул в комнату.

Она стояла на пороге, так же близоруко шурясь, в том же темно-синем учительском костюме, с сумочкой, повисшей на согнутой руке, и, оправдываясь, говорила:

– Стучу, стучу... Думала уж, дома никого...

На сей раз отпустил я ее, когда уже захлопали утром двери первых «жаворонков», заскрипели половицы...

Последующие ночи были повторением предыдущей. Замечу существенное обстоятельство: дела свои мы с ней творили без помощи алкоголя.

Итак, днем мы принимали грязь, завтракали, обедали, я работал у себя, она участвовала в культмассовых мероприятиях, а ночью... А ночью мы познавали друг друга.

Конспирации нашей хватило на неделю. Затем все перемешалось – день, ночь... ночь, день... Рукопись свою я забросил... Что это было со мной? Одно могу сказать точно: стабильность. Я перестал нервничать, шарахаться из настроения в настроение, я, знаете ли, стал добрее и внимательнее. Не к себе, как всегда, а к другим, к ней.

Я и предположить не мог, какое сердце бьется под лацканом ее пиджака. Но сперва, и более всего, меня удивили познания математички средней школы в литературе. Она наизусть читала то, что я, так сказать, профессионал, слышал впервые. Она отшучивалась:

– Знать стихи – что! Творить вот!..

Скажите: в постели литературой занимались? И занимались! А что?

Меня еще поразило то, что в общении с нею я сильно разоткровенничался. Порой признавался в таких вещах, в которых себе-то не признавался. Обычно с женщинами словоохотливость моя была ключом лишь до постели, а тут... и до, и после, и во время...

Но главная невероятность заключалась в том, что я ей и в любви объяснился. Я никому не говорил, что люблю, если этого чувства у меня не было. Зачем врать? Были у меня свои принципы, были. Ну а с ней? Я подумал, если этих слов, ради которых человек, по сути дела, и на свет появляется, я не скажу ей, то кто скажет? Именно так я подумал, когда шепнул ей волшебное слово «люблю». В детстве мне внушали: волшебным словом является слово «пожалуйста», теперь-то я знаю – «люблю». Ни «пожалуйста» (одно из слов обыкновенного этикета), ни красота (пусть Достоевский и близок к истине), а Любовь, и только Любовь спасет мир.

Ответных объяснений в любви я не дождался. Но зачем слова? И без слов все было ясно. И не только мне, а и всем, всему санаторию. Мы были центром внимания, о нас судачили, нас разглядывали, на нас оглядывались, мы были гвоздем заезда, а может, и всего сезона. Но меня это мало волновало.

Меня волновало, почему же ей не сказать мне того, о чем говорили ее глаза, руки, поступки?.. Ведь они не оставляли никаких сомнений. С другой стороны, я же прекрасно знал, зачем она ко мне пришла, с каким математическим расчетом. Это унижало и злило меня. Но и побуждало вести борьбу за

достоинство, чтобы расчет ее, если он и был, перерос в человеческое чувство. А то бык-осеменитель я, и только.

Эта мысль навязчиво преследовала меня, и я изо всех сил старался, говоря попросту и откровенно, влюбить ее в себя. Нормальные мужики хотят влюбить в себя женщин до постели, а я вот захотел после. Для меня не постель была важна, тут уж другая игра пошла, другие струны были задеты. И я из кожи вон лез, чтобы быть хорошим, великодушным, красивым, добрым, талантливым, честным, возвышенным, утонченным, мужественным, необыкновенным. И я таким, ей-богу, был.

Я сказал – честным. И точно. Я, например, рассказал ей о своих былых связях... Не обо всех, само собою разумеется, но о главных. Сперва и не хотел. К чему? Однако она так пододвинула меня к этому, что я и сам не помню, как выложил одну из моих историй. Она сказала, что ревнует меня к моему прошлому, к женщинам, которые ко мне прикасались. Ревнует? Ого, это уже то, что нужно... Ведь ревность – это почти любовь. Я рассказал еще одну историю, самую свою сокровенную и драматичную, и получил вдруг такое сладкое душевное удовлетворение, позабыв при этом первоначальную цель своего рассказа. Мне стало легко, точно я святому исповедался, будто матери признался в какой-то своей страшной шалости. Непередаваемо... Надо было только незаметно и внимательно наблюдать, что я и делал. Сначала лицо ее оставалось спокойным. Но на второй истории она занервничала, отвела взгляд в сторону, слушает, на меня не смотрит... Я уж о чем-то другом стал говорить, когда губы ее детские дрогнули, задрожали, сломались, и она бросилась было прочь от меня, но я преградил ей дорогу.

На какой день это было, на какое утро? Она отстранилась от меня, дернула шторы в разные стороны, они разлетелись, и солнце изгнало из комнаты остатки предрассветных полутеней и полутемных моих опытов.

Но ненадолго.

Когда она успокоилась, я подумал: не слишком ли быстро успокоилась? Решила задачу со всеми неизвестными? Узнала, какой я подлинный? Подлинный и подленький? Или просто не смог возбудить в ней полноценного чувства ревности? Значит – и любви? Значит, остается одно – расчет?

Так я терзался с ней. С красавицами-то проще, все у них снаружи, а эта... как мутное озеро посреди нашего города, в котором, говорят, ханская казна покоится, и никто не может до нее добраться. Глубина озера большая, толща ила с многоэтажный дом... Специальные экспедиции снаряжались, водолазы лазали – без толку. Так и я с ней. Продолжая сравнение с озером, накупался, наглотался, а главная, глубинная тайна ее так и осталась тайной.

На мосту

Мы стояли с ней на стареньком мосту через безымянную речушку и следили, как за лугами садится на макушки деревьев далекого леса по-крестьянски натруженное, красное солнце. В затоне неистово квакали лягушки, по большаку, незаметно приближаясь, пылила корова, погоняемая босоногим одуванчиком в вислом, с чужого плеча пиджаке. Это был последний наш с нею день в санатории.

– Скоро вернемся... – сказала она. – Скоро вернемся – каждый к своей жизни.

– Да-а...

– Ты выпустишь книжку. Шумный успех, поклонницы...

– Да-а...

– У тебя много поклонниц?

– Уйма.

– К которой ты в первую очередь-то?

– Там видно будет.

– Ты выпустишь книгу, а я выпущу в свет своих питомцев, школяров своих неугомонных, и возьмусь за новых, совсем еще беспомощных, желторотых, возьму каждого за ручку... Ты помнишь свою первую классную руководительницу?

– Я всех их помню, но вот помнят ли они меня?

– Разве всех учеников упомнишь?

– Точно. Недавно встретил свою первую учительницу, – сказал я, отвернувшись от стремительно исчезающего солнца. Она не последовала моему примеру, продолжала следить, как дородное, расплывшееся солнце погружается в зыбкую серо-голубую дымку за лесом.

– И что?

– Я долго разъяснял, кто я такой. Думал, приятно будет, а ей все равно. А ведь в любимчиках ходил. Как ни странно, помнит меня та, которая в школе терпеть меня не могла. Злющая была. Теперь ничего, мило здороваемся, беседуем.

– Вот и солнце зашло, – вздохнула она.

- На следующий год опять возьмешь путевку в какой-нибудь санаторий...
- Два года подряд не получится. Да если и возьму, все равно... Тебя-то там не будет.
- Другого найдешь, – пошутил было я, но она шутки не приняла. Не надо было мне так...

Комплимента захотелось, ласкающих душу слов? Нет, признания, полноценного признания... «Тебя-то там не будет» – это, конечно, существенно. Но неужели нельзя без обиняков сказать то, что чувствуешь? И я спросил. Не помню точно как, какими словами, но она с полужары поняла, я и доспросить не успел.

- Не надо сейчас, – прикрыла она мне ладошкой рот.
- А когда?
- Потом.
- Когда потом? Когда разведемся?

Это был последний наш с нею вечер, и моя досада была понятна. Я сказал укоризненно, что я ей в любви объяснился чуть ли не в первый же день... Она ответила:

- Это и обидело.
- Обидело? – меня точно ледяной водой окатили. – Ничего себе!..
- Да, обидело. Ты признался мне в том, чего в тебе не было. Я была удивлена. Такими словами разбрасываться... И, откровенно говоря, не поверила. Неужели ты посчитал меня такой глупышкой? Или...
- Или что?

Она не ответила. По скрипучему настилу моста застучала копытами усталая корова. Монотонно тенькало на ее шее ботало. Было в том теньканье, в том смешанном запахе бескрайних лугов, навоза и парного молока что-то бесконечно длящееся, что-то вечное и незбылемое. Но не для нас с нею.

Глава вторая

Была весна

Как-то, не помню уж по какому поводу, заполнял я анкету, писал автобиографию и вот о чем подумал. Сколько за одну свою единственную жизнь человек автобиографий пишет! И все в них, родимый, добросовестно укажет – когда в институт поступил, где оперился, на повышение двинулся... А вот когда ты впервые влюбился, когда затаив дыхание поцеловал свою избранницу, когда на земле этой наследник твой появился и впервые улыбнулся прелестным беззубым ртом – это, оказывается, не столь важно для человека, это фиксировать не надо, лишнее. Все-то у нас с ног на голову, все перевернуто, передернуто, не по-человечески. А ведь если здраво подумать, только то в жизни и важно, что приносит новую жизнь, только то и смысл имеет. Чего мудрствовать!

С бывшей женой моей я учился в одной группе. В этом чисто мужском по своему профилю учебном заведении девчат было почему-то не меньше нас, и они, вчерашние чебурашки, или, как мы их называли, – «промокашки», здесь вдруг как-то разом превратились в представительниц...

И среди них, представительниц, стало быть, прекрасной части человечества, моя будущая (читай: бывшая) жена была, скажу беспристрастно, наиболее заметной и привлекательной. Я думал, старшекурсница в нашу аудиторию зашла навестить младшую приятельницу, когда она, обдав «духами и туманами», прошла к своей подруге и присела к ней за стол около окна. Не стану описывать ее внешность, скажу лишь: это была яркая блондинка, на которую несколько дней напролет взирала, вывернув шеи, поочередно и скопом вся группа.

Я тоже разместился за последним столом, но у двери, через ряд от нее. Мое внимание тоже притягивала «камчатка» у окна. В ту сторону записки шли со всего света, в той стороне постоянно шептались и хихикали, там, в углу у окна, был центр Вселенной. Однако, помню, первое впечатление о ней было почему-то неблагоприятное. Насторожила, испугала броская красота ее? Раскованность, свобода движений, слов, поступков, которые можно было принять за распушенность? Вполне возможно, вполне... Но вот прислала она мне записку: «Чего скучаешь?» – и...

(Я все вспоминаю, как она подписала эту записку. Смешным именем каким-то... Но никак не вспомню.)

...И на нее перестали оглядываться, потому что, во-первых, попривыкли; во-вторых же, и в главных, ее внимание застопорилось на моей персоне. Умел я напустить на себя этакого поэтического тумана. И внешность у меня была соответствующая, не Аполлон Бельведерский, но... Но мешков под глазами тогда еще не было, и лицом я был побледнее. И сработало. Долго я хранил эту ее первую записку. И все остальные хранил – записок мой старый портфельчик, в который у нас дома никто не заглядывал, в который совсем никто не заглядывал, включая и меня самого, заглянувшего потом лишь

ради того, чтобы, не перечитывая, уничтожить их.

Сработало также то, что любовью ко мне воспылала и ее подруга. А аукцион, как известно, очень хорошо подстегивает. Раз, два, три... и безделушка превращается в драгоценность, реликвию, икону, во что угодно, но непременно дороже самое себя во много раз. Вдобавок – откуда они это взяли?! – подругам взбрело в голову, что я чудесно играю на скрипке и по скромности талант свой скрываю. Воистину не кровь – фантазия влюбленные сердца питает.

Выбора мне делать не пришлось. Моя будущая (бывшая) жена заявила о своих правах на меня уверенно и властно, не оставив подруге никаких шансов. Ее подруга стала автоматически и моей подругой. В компании были еще два гвардейца, в одного из которых она (подруга) не замедлила после меня влюбиться. Мы настоятельно советовали «счастливчику» разуть глаза, плели всем миром сети и дружно подталкивали его в них: «какую Нефертити тебе еще надо?!» Не получилось. Так, коммуной и ходили впятером. С уроков в кино сбегали, организовывали коллективные пьянки – на языке преподавателей, в нашем же понимании – пикники, домашние дискотеки... Таким образом, жизнь группы МХ-ДРГ- 214 (надо же, не забыл!) вращалась вокруг нашей великолепной пятерки, а жизнь пятерки – вокруг меня с будущей (...) женой.

Это по анкете с будущей. На самом же деле мужем и женой мы были уже со второго семестра, с майской поездки на пароходике за город. И дату назову – с восьмого мая.

Помню, собралась ехать вся группа, но что-то расстроилось, и поехала лишь «пятерка». У нас было с собой две палатки. В одной из них и состоялась наша первая брачная ночь. Как сухо я и скупо пишу, а ведь это была моя первая близость с женщиной, девушкой, девочкой. Это была будущая мать моей будущей дочери.

Девятого мая, значит. А до этого...

Куда она девается?

...была зима.

Кстати, забыл: учиться поступили мы после восьмилетки. И в том памятном мае было нам с ней всего лишь по пятнадцать годков от роду. Это уже после девятого числа нам стукнуло по 16 (майские мы с нею, по звездному календарю – близнецы). Так что, достопочтенные папаши и мамыши, будьте бдительны со своими пятнадцатилетними малышами.

Итак, до весны, стало быть, была зима.

Впрочем, нет, не буду я описывать ту звездную и пушистую зиму перед тем маем, не пойдет губерния писать о том, как в стужу целовались мы в нелюдимом, утопшем в сугробах парке, как коченели ноги в полуботиночках и как иней искрился на ее белоснежной челке (не поймешь – то ли снег на лбу, то ли локоны ее белокурые из-под шапки выбились), и как тепло было у нее дома – сидеть у урчащей печи с урчащим котом на коленях и будто бы делать уроки, и как сладко было после ночного перехода через околешний город засыпать в отчем доме с мыслью о новой встрече...

Все это можно было бы описать, расписать, и я это собирался добросовестно сделать, но чувствую: надо скорее идти дальше, дальше, минуя умопомрачительную зиму, минуя откровенный май – май, ошарашивший меня невиданными мироощущениями. Да, природа перед неминуемыми муками обдаёт человека девятым валом безумного счастья. Но дальше, дальше... «О любви-с до брака все известно, – любит повторять один мой знакомый штабс-капитан, – а вот после-с куда она девается? Или ее после-с вообще богом не предусмотрено?»

Глупый и позорный

Одна моя глава – это один мой рабочий день за пишущей машинкой, с помощью которой я набираю скорость и держу ее до самопроизвольной остановки. Одна глава – это одни мои рабочие сутки, в которых может быть и двадцать четыре часа, и час... Интересно, за сколько листо-часов, главо-суток я вновь проживу ту жизнь, которую я однажды уже прожил? Говорят, невозможно войти в одну и ту же реку дважды. А я вот пытаюсь. Мазохизм какой-то! Пытаюсь воскресить почившую в бозе жизнь. Как убийца к месту убийства, все возвращаюсь к ней и возвращаюсь.

На втором курсе моя будущая законная (...) жена объявила мне, что собирается стать матерью. Нет, просто она не очень точно выразилась, употребив всем известный штамп, и не собиралась, и не хотела она стать матерью. Матерью в шестнадцать лет. Или ей тогда исполнилось бы шестнадцать?.. Какая разница – шестнадцать, только-только семнадцать?! Все равно несовершеннолетство. Что скажут родители, что скажут в техникуме? «Допрыгались», – скажут мудрые педагоги-провидцы. Где и на какие шиши жить? Жить... если ее мамаша не убьет ее, а меня – мой папаша. Нас обуял ужас. Я

лишился сна. Я днем и ночью думал об одном и том же – что делать, что делать? Жизнь зашла в тупик так бездарно, бестолково... Еще вчера были какие-то мечты, строились какие-то планы. Все рушилось, я задыхался в петле, ловко намыленной на моей шее коварной старухой судьбой. Но и этого ей оказалось мало. Моя мама попала в больницу, предстояла сложная операция. Отец из-за каких-то конфликтов (это он умеет) с треском вылетел с работы. А тут еще я подарочек готовил. Эгоист, высшей марки эгоист, я и в этой ситуации больше всего думал о себе. О родителях все-таки тоже думал. О ней вот меньше всего. Нет, правильнее будет сказать: я думал о ней, переживал за нее больше всего, потому что от ее благополучия, от ее судьбы зависела вся моя жизнь, весь я со всеми своими телячьими потрохами. О родителях переживал, видать, по той же причине. Страшно глупое и позорное прошлое.

Она предпринимала отчаянные попытки вытравить из себя на удивление основательно заложенное нашей слепой, щенячьей любовью. Она старалась – ничего не получалось. Ее виртуозно тонкая талия стала стремительно полнеть. Хитроумные пояса мало помогали. Замочки на юбочках расхотели застегиваться, пошли в ход всевозможные блузки, кофточки навывпуск... И все-таки наши ухищрения в какой-то мере помогли. Сенсация, грандиозная сплетня вспыхнуть не успела, любимая тетка моей будущей жены произвела подпольное вмешательство в беспрестанно растущее произведение нашей любви в обмен на мое обещание жениться. И крах, позор, кошмары были развеяны. Я смотрел на безжизненное тельце моего не успевшего родиться сына и ничего не чувствовал, кроме легкого шума в голове с нескольких стопок водки.

Потом мы вместе с моей будущей (бывшей) женой были на преддипломной практике, вместе писали-чертили дипломный проект, вместе не поехали по распределению в другой город, так как я собирался в армию, а моя невеста имела справку, что она моя невеста и мы вот-вот должны расписаться.

Моя армия

Тогда все обошлось. И мама после операции поправилась, и отец восстановился на своей работе, и я, получив диплом специалиста-технаря, шумно и весело на папины деньги обженившись, а затем без сожаления обрившись под Котовского, отправился служить в армию.

С армией мне повезло. Не скрыв своих природных способностей в области изобразительного искусства, я попал в комендантский взвод, где в группе себе подобных был брошен на роспись казарм, стендов на плацу, стадионе и по всему военному городку.

Среди полковых живописцев я был не самый худший, но и не самый лучший. Было нас всего семеро. Один с художественным училищем за спиной. Другой с высшим, правда, не художественным образованием, но с дьявольскими способностями. Третий по отпущенным Творцом способностям, золотая середина, то бишь я. И еще четверо – чистой воды шрифтовики.

Вот с двумя из них, из «первых», я и сблизился. Среди однообразной армейской массы эти двое были Человеки. Помните, как Наполеон приветствовал Гете при встрече: «Вы человек!». Я сразу заприметил их, невидимый нимб избранности витал над ними. Учитель словесности, мой земляк (это который второй в семерке), удивил меня крестьянской основательностью и несуетностью ума. Он знал, что делает на этом свете сейчас и что будет делать потом, он твердо стоял на своих по-моряцки расставленных ногах, точно волжский рыбак-браконьер. Почему такое сравнение? Вероятно, потому, что и он, как браконьер на реке, вел в нашей войсковой артели образ жизни независимый, вольный, не подчиненный армейским уставам, полковым правилам. Когда вздумается, в город ходил – за красками, в порт – за неповторимыми балтийскими закатами и вольными красавицами для своих живописных этюдов и литературных зарисовок – да, он собирался сесть за роман (ро-о-ман, говорил он с ударением на первом слоге). Другого бы за такие вольности на губе сгноили – ему сходило. Его из порта до части не конвой приводил, а сам комполка на своей изумрудной «волжанке» подкидывал. Стало быть, не я один разглядел нимб над его головой.

А на первый взгляд, ну что? Крупная, лобастая, как у дельфина, голова, широкий, точно беспрестанно улыбающийся, рот. А вот ростом не вышел, невысоконыйкий, одним словом, не Давид... Но все равно Земеля красив был. В нем пряталась внутренняя стальная пружина, которая, верил я, сжата до поры до времени.

Второго под нимбом (в «великолепной семерке» первого) мы прозвали Бородой. Ее, собственно, у него не было – в армии не положено. Однако каждый раз, когда брил свою щетину, он мечтал о том, какую бороду отпустит на гражданке. А брился он на дню дважды, так как к вечерней поверке у него отрастала такая сапожная щетка, что старшина не упускал случая употребить власть – прогнать небритого «партизана» за солдатским видом.

Я читал им свои вирши. Они были первыми, кто отнесся к моим литературным потугам с

вниманием. Как-то недавно армейская тетрадка вынырнула из залежей моих бумаг, полистал – чушь на постном масле! А ведь Земеля с Бородой хвалили. «...Обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Впрочем, думаю, обмана не было. В серой армейской жизни я со своими вдохновенными писульками был, наверное, лучиком, приветом из жизни, которую они не на так коротко оставили и к которой еще не так скоро должны были вернуться. Поэтому они, на полгода раньше меня призванные на ратные подвиги, отнесли ко мне как к равному, без свойственной их «годку» заносчивости. Заносчивость у них была, но другого рода. Они могли, особенно Земеля, командира роты на место поставить двумя-тремя словами, от которых рота потом неделю со смеху покатывалась, а конфликт превращался в бессмертный анекдот.

Первым художником среди нас был, повторяю, Борода. По его идее в части заложили музей, для создания которого в худгруппу, где уже трудился Земеля, Борода взял и меня. За работой, личными делами, неспешными разговорами коротали мы в мастерской, райском приюте на северной оконечности плаца, бесконечные армейские дни. У всех у нас была одна мечта – дембель. А там... Борода отпускал бороду и отправлялся босым по Руси храмы писать, Земеля – в родную деревню преподавать словесность и кропать роман, я же... В те наивные и чистые годы моего существования я тоже мечтал – о свободе, о воле, о совершенно иной, возвышенной жизни.

О Аллахе, какое детство билось под гимнастерками ефрейтора (это Борода) и двух рядовых (Земеля и я)! Ведь если по гамбургскому счету, никто же из нас не прорвался. Борода – какая Русь, какие храмы?! – растворился где-то у себя в провинции. Земеля... Ограничусь пока одной фразой: романа он не написал. Я? Какой уж гамбургский счет! Но слов о тех до святости чистых и пылких годах моей жизни в армии обратно не беру. Мечта прекрасна не только тогда, когда она сбывается.

Первым дембельнулся Земеля. Его голубой «поплавок» на груди сократил ему службу на девять с небольшим месяцев, а должен был сократить по законам тех лет на год, но комполка всеми правдами и неправдами задержал своего любимчика. Было такое впечатление, что полковник без почти ежедневных бесед с моим земляком не мог наладить боевой дух вверенного ему подразделения. О чем они толковали? Земеля на вопросы наши отмахивался, посмеиваясь во всю ширь своего рыбьего рта: даю, мол, ценные стратегические указания. Отбывал он из части на командирской изумрудной «Волге». Я тоже прокатился. Проводил его до вокзала.

С Бородой простились мимоходом, не по-людски. Получив вольную, он убежал из части без оглядки. Но я не обиделся. Ведь он вместе с Земелей подал мне в трудную минуту руку, выхватил из двухлетнего мрака армейщины. Это они, Борода с Земелей, указали на светлую щель в сером, беспросветном заборе, подвели к ней, подтолкнули, и я, самый маленький и молодой из них, протолкнулся, протиснулся, что не дает повода, скажу без ложной скромности, говорить о каких-то гамбургских счетах.

Преданность

Говоря об армии, я не сказал, для чего о ней, собственно, вспомнил, – ко мне туда приезжала моя жена. Вот. Два раза. Через всю страну.

Провожая меня в увольнение, кто завидовал, кто злословил (травить жениха в армии – большая доблесть), кто считал-пересчитывал свои армейские гроши, не в силах решить, то ли водки заказать в городе купить, то ли вина. Один лишь Земеля по-братски похлопал меня по плечу и благословил со словами: «Не всякая за тридевять земель к мужу отправится, зная, что он все равно вернется».

Мы устроились в гостинице. Это было лучшее наше с ней время, моей – силы, щедрости, доброты, ее – красоты, нежности, веры в мою поэтическую силу, в меня как во что-то несомненно надежное и на всю жизнь.

Стихами, надо сказать, за год службы я ее завалил. В каждом конверте с треугольной печатью летели к ней мои пылкие рифмованные заверения в любви, в том, что заживем мы с ней душа в душу, как голубь с голубкой на потешных фотографиях, которые изготавливал армейский фотограф для еще не остывших от поцелуев новобранцев, одну из которых и я от избытка остроумия в витиевато-лубочной форме подписал своей солдатке.

Второй ее приезд был слаще первого. Он ожидаем был. И я уже не писал, чтобы она не приезжала, пощадила денег и меня, так как за встречей будет расставание, и последние дни до ее приезда я еле пережил.

Я увидел ее, ждущую меня в дверях КПП, и бросился со всех ног к ней через огромный, звонкий, с многоголосым эхом плац. Он был бесконечен. Я стучал сапогами по бетонке целую вечность. Я обнял ее и расцеловал, не обращая внимания на дежурного офицера и его лыбящегося гололобого помощника.

И опять гостиница. Опять мы вместе...

Наутро какой-то ресторанчик, парк, старинный мрачный замок, где короновали прусских королей, река, одетая в гранит, с подъемным мостом перед тем замком, мощные улочки, могила великого философа, белые птицы на мандариновых черепицах серых домов...

Красавец аист, точно огромный планер, приземлился во дворе гостиницы, когда мы в последний день моего увольнения и ее приезда заспешили с чемоданчиком на вокзал.

– Добрая примета, – сказала она лукаво улыбаясь.

Но бог нам тогда ребенка не дал. Сначала она прислала письмо, что находится в положении. И я почему-то не очень обрадовался. А потом пришло письмо, что ребенка пока у нас не будет. И я не очень огорчился. Будет еще, куда спешить, думал.

Затем, когда я приехал домой, бог не дал нам ребенка еще раз... и еще раз... и еще...

Так началась наша расплата за легкомысленное избавление от первенца.

Измена

В неравной схватке с природой я не скоро, но смирился с мыслью, что у меня не будет детей. Но только не она. Она повела борьбу за «третье наше сердце» с таким упорством, с каким когда-то пыталась это наше третье сердце из себя вытравить.

Есть такое некрасивое слово «выкидыш». В детстве мы обзывались им. Кто знал, что я познаю все «прелести» этого слова в его первоначальном значении. Выкидыш у жены следовал за выкидышем. Из каких только клиник я не привозил ее домой, опустошенную и телом и душой. Я старался успокоить: ну, нет детей, ну и что, нам и без них хорошо. И вообще, в наше ли время детей рожать! Обречь их на мучения, на жизнь эту гадкую и неминуемую в конце концов смерть. Родиться, чтобы умереть? Бессмыслица какая-то. Инквизиторство. Бессмертен тот, кто не родится.

Я понимал ее положение и делал все, чтобы она не сомневалась во мне, в моей верности, в судьбе с одним тяжелым крестом на двоих. Было у меня что-то наподобие совести. И она это чувствовала. И старалась снова и снова... И снова, и снова наши затаенные надежды рушились. Но она упорствовала. И я, отговаривая на словах, на деле способствовал и втайне надеялся...

После очередной неудачной попытки выпал нам перерыв в наших стараниях. Года на два, что ли. И вот тогда-то она мне изменила. Успела. Со своим толстопузым начальником, который был старше нас с ней на десяток с лишним лет. Почему женщины слабы перед донжуанами в высоких креслах? Я часто задумывался. Наверное, это потому происходит, что женщины любят силу, власть над собой, которая (власть) у себя дома на энном году супружеской жизни бесследно испаряется. И вот ежедневное, многочасовое служебное подчинение женщины своему начальнику, естественным образом превосходящее краткое вечернее подчинение мужу, приводит к подчинению половому. И не важно, что сила, власть эта принадлежит не сидящему в кресле, а самому креслу. Кстати, на незамужних женщин высокие кресла действуют еще неотразимее.

Однако причины, обстоятельства ее измены мне теперь не так важны. И после измены я не изменил своего отношения к своим супружеским обязанностям. Не оставил ее, бездетную, неверную.

Дорогие верные мужья, не возвращайтесь домой не вовремя. Я вот имел глупость. И поплатился...

Я застал их вдвоем как раз в момент выстругивания для моего чела прекрасных ветвистых рогов. Я долго звонил, стучал в запертую изнутри дверь. Жена моя, бедняжка, была так уверена – ее муженек ни за что в неуточный час не вернется, что даже не приняла ни малейших мер предосторожности. Своими интимными делами они занимались в дальней комнате, спальне, где звонок плохо слышен, а услышав его, она, в халатике на голое тело, наивно распахнула дверь, полагая, что это дети балуются, или сантехник пришел, или электрик, только не муж.

Я вошел. Она сообщила мне стеснительно, таинственным каким-то полупшепотом, что дома не одна, что дома еще гость – мною тогда уважаемый ее начальник. Без задних мыслей я прошел к нему. Он торопливо застегивал свои мешковатые штаны. Руки большие, пуговички маленькие, непослушные... Культурно поздоровались. Затем он быстренько смылся, а я долго сидел на диване, уставившись в одну точку.

Нет, я ее не бросил, хотя она и преподнесла моральное право на это. Не скотина же я с одной извилиной в мозгу, размышлял я, немного оправившись. Если б у нас были дети, то случившееся без них ни за что бы при них не случилось. С другой стороны, я просто не имел сил оставить ее, уйти униженным, уступив какому-то проходимцу. Я должен был отыграться, восстановиться в ее глазах, реставрировать любовь ко мне (и тут эгоизм), придать ей новые краски, вдохнуть новое тепло. Я любил ее, в конце концов. Быть может, только тогда я и понял, как я ее любил. Теперь кажется – и не любил, а сел за пишущую машинку, она мне и отпечатала ясно – любил. Она тоже многое поняла. Тот мерзавец-то, когда обстоятельства потребовали от него действий не исподтишка, а всерьез, поступков потребовали, сразу и позорно ретировался. Маленьким оказался, несмотря на свои габариты, мелким.

Одно дело подчиненной тебе девушке лапши с три короба на уши навешать и совсем другое – остаться при своих словах, когда тем словам при всей их невыгодности надо ход дать; когда надо доказать, что ты мужик не только потому, что тебе папа Карло гвоздок под лобок приладил. Потом в своей жизни таких начальников я много видел. А вот другого типа только однажды. Тот, единственный, из-за своей любовницы добровольно поплатился служебной карьерой, положением в обществе. «Вот дурак!» – говорили про него. А я на него смотрел расширенными глазами.

Разрыв

Трудно, очень трудно, но мы с ней восстановились в своей супружеской жизни. И тут уж, не преувеличиваю, памятника она достойна. Не буду описывать ее терпение и мужество, которые помогли ей добиться своего. В один прекрасный весенний день я получил из ее рук большой бело-розовый сверток, перехваченный алой лентой и увенчанный алым бантом, драгоценный сверток, который в моих руках сразу запищал. Это была моя дочь. И очень, как выяснилось позже, похожая на меня.

В роль отца я вступил засучив рукава. Вдохновенно стирал пеленки, утюжил их, укачивал ночи напролет попутавшую времена суток свою кровинушку. Уже тогда спина моя в верхней части нестерпимо болела. Но я крепился, старался не обращать внимания, главное – дочурка. На работе клевал носом, перемежая полусонное состояние с пробежками в магазинчик за водкой – все новые и новые лица поздравляли меня с долгожданным потомством...

К тому времени с Бахусом я был уже на «ты». Вся наша лихая пишущая братия была любительницей взглянуть на мир под углом в сорок градусов, кроме единиц, страдающих аллергией, язвой или еще какой-нибудь бякой, мешавшей, как мы считали, развиваться личности гармонично. Да еще отпетые карьеристы не пили. На виду.

Так что мое отцовское усердие усердием, но порой я возвращался домой на бровях и уже бдеть ночью у кровати дочери не мог, чем вызывал на свою голову бурю супружеского гнева. Она у меня духу этого самого не переносила. Натерпелась в детстве: отец-мать у нее по-черному пили. Надо сказать, в подпитии я тих и незлобив, сразу спать ложусь. Теща меня любила (не только за это, конечно. За это, впрочем, тоже). Она защищала меня от своей нервной (с некоторых пор) дочери, пыталась объяснить ей, какие страшные бывают мужья под этим делом и что вообще «по-настоящему пьющих мужиков, дочка милая, ты еще не видела». К тому времени сама-то завязала. Она понимала... Но дочь ее – что ты! – меч карающий, а не женщина. «Чтоб ты сдох!» – кричала она и удивлялась, говоря про меня в третьем лице, как о постороннем, далеком от нее существе: «И ведь болезнь никакая его не возьмет, и ведь шею нигде по дороге не свернет! Трезвые люди руки-ноги на ровном месте ломают, грабят их среди бела дня, избивают... А этот в любой гололед невредимый притащится, да еще бандиты его до самых дверей ночью проводят». Дочь моя уже все понимать начала, время-то быстро летит, уж в первый класс собралась, а эта все свое: чтоб ты сдох, алкаш! Когда она мне это один на один выдавала, я еще переносил, признавал – виноват, старался перевоспитаться, новую жизнь с очередного понедельника начать, но когда она при все понимающей моей дочери... Тут уж трудно было вытерпеть. Я не отрицаю свою вину. В том, что семья наша развалилась, вины моей предостаточно. Но только ли моей?

Во-первых, среди моих друзей я считался (по общепринятым меркам) наиболее более-менее... У меня были такие друзья-приятели, такие шалунишки – упаси боже! Однако жены с ними не разводились, помалкивали. Во-вторых... А во-вторых, вот такое наблюдение.

Я заметил, когда я не пил, а такое бывало, и нередко, что отношение моей жены ко мне не менялось. Все равно я был плохим. А ведь до рождения дочери в любом случае я был хорошим. Заметили разницу: до – в любом состоянии хороший, после – в любом состоянии «чтоб ты сдох». Ошеломляющая перемена. Без прелюдий, вступлений, предупредительных залпов. Все равно что ты лег спать с любимой женой, а проснулся с крокодилом. Представляете, просыпаешься и видишь в своих объятиях крокодила? Я долго спрашивал себя: что случилось? Недоумевал, пока однажды, после очередной сцены, при которой мне популярно разъяснили, что я для семьи ничего не представляю, пустое место, пшик на палочке, ответ как-то само собой осенил мою отупевшую голову. Все же очень даже просто: мечта сбылась, у нее родился ребенок, у нее теперь дочь, и я просто-напросто стал не нужен. Природа-матушка сказала свое слово. А представляете, что было бы, если б моя жена и после рождения дочери продолжала любить меня с прежней силой? Если б все женщины продолжали любить своих мужей любовью невест или жен в медовый месяц? Род человеческий выродился бы. Всевышний мудро перебрасывает женское внимание на потомство, оставляя нас в лучшем случае в покое. А ведь некоторые особи в природе после зачатия без лишних разговоров поедают своих супругов. И все. Натуральным образом, с потрохами. Не пикнешь. Значит, в том, что я стал не нужен, логика есть. Правда, в самом-то начале еще нужен был, когда больная после родов была, в декретном сидела. Но

вот дочурка в детский садик пошла, а сама, окрепнув, на работу, где имела неплохую зарплату, и необходимость иметь мужа отпала. Мавр сделал свое дело, мавр может удалиться. И я удалился. Собрал манатки, собрал все свои закидоны, капризы, весь свой эгоизм, все свои претензии на дочь в один чемодан и привет!.. Вдогонку она мне крикнула: «У тебя больше нет дочери, понял? Ты для нее умер». Куда уж понятнее. И я ответил: «Понял», даже не попытавшись выяснить, в авиакатастрофе я погиб или с перепоею.

Я решил во что бы то ни стало сдержать слово. Но сказать «понял» – одно... Я страшно заскучал по дочери. Любил ее очень, тростиночку мою хрупкую, лапушку сирени белой (она у меня белокурая). Мне кажется, дети должны рождаться светленькими, как ангелочки, потом пусть темнеют. Моя же с годами только светлела. Заскучал, значит. Особенно когда переехал от родителей в оставленную мне дядей квартиру. Однажды не выдержал, купил платьице, конфет, жвачки, которую дочь обожала, еще что-то и пошел туда, где я был когда-то мужем и отцом. Про мужа-то я зря вспомнил – отцовство понесло меня туда. Исключительно она, кровинушка моя болезненная, потянула к себе за невидимую ниточку. Она ведь меня любила. И было в этой детской любви какое-то взрослое понимание. Ей, малюсенькому человечку, не раз приходилось вступаться за меня перед разъяренной матерью, плакать, даже ссориться с ней, когда та начинала желать моей гибели. Ей приходилось хитрить, когда мать запрещала со мной разговаривать, притрагиваться к принесенным мной подаркам и гостинцам. Она боялась гнева матери и в ее отсутствие шептала мне на ухо, что та Гитлер, а я – Муса Джалиль. И смешно до слез, но до слез и грустно. Я отвечал: нельзя маму так называть. А Муса Джалиль – это герой и ни в какие сравнения с ним я не гожусь. Дочь перебивала меня: нет, папочка, и ты герой, ты самый хороший и добрый герой. Штаны с дырой.

Ну, так вот, однажды не выдержал и пошел. Забыл сказать, что мы жили в однокомнатной квартире многоэтажного дома почти в центре города. Я ее получил, когда еще в молодежке работал.

Прихожу, поднимаюсь, звоню – что будет, то будет. Как умер, так и воскрес. Какое она имеет право лишать меня свиданий с дочерью? Я свои законные свидания с ней через суд высужу. Не открывают. Нет никого. Из соседних дверей выглядывает соседка и сообщает, что они ушли в баню.

Выхожу во двор, сажусь на лавочку и жду.

Просидел часа полтора. Замерз. Осень. То время, когда занудно орошает тебя не то снег, не то дождь. Они появились из-за угла дома, как долгожданный, свежесмытый трамвай из трампарка. Почему такое сравнение? Не знаю. Может быть, потому, что обе после бани красненькие, идут друг за дружкой, довольные, улыбающиеся, о чем-то своем динь-динь-динь; меня не замечают, потому что, как я понял, счастливый трамвай их не из парка был, а в парк, домой, стало быть. А с этой табличкой, понятно, пассажиров не сажают. Динь-динь-динь... Хлопнула дверь подъезда... Я просидел еще немножко на сырой лавке и ушел. Умер так умер, чего уж там!

Соседка

Как водится в таких случаях, пошел к маме. Блаженно то время, когда ты еще и сын живых родителей. Но дома никого не было. Редкий случай. Большой отец дальше лавки у подъезда не отлучался.

Как-то быстро он у меня состарился. Держался-держался молодцом и вдруг – раз и за какой-то год превратился в старика. Все болезни, которые он сдерживал, укрощал здоровым образом жизни, самоконтролем и самодисциплиной, сорвались с привязи и потащили каждая в свою сторону. Он осунулся, согнулся, стал плохо ходить, начались частые сердечные приступы, грудь сдавил бронхит, да и всего его сжало, все его жизнедеятельные трубопроводы охватили склероз, аденома и другие установленные и не установленные, но обязательные в зрелом возрасте мужчины гадости. Но самое скверное – упадок духа, апатия. Вот он, итог. Вот оно, и мое будущее.

А может, случился какой-нибудь очередной приступ, и его увезли на «скорой помощи»? И мама с ним уехала. Нет, сразу бы стало известно. Была бы записка, сказали бы соседи. Они же видят меня в окно.

Тишина. Из-за голых, сиротливо раскачивающихся тополей надвигался серый, осенний вечер. Мутная дождевая пыль вспыхнула в сумерках голубыми невесомыми снежинками. Я присмотрел на лавочке место посуше, присел. Решил дождаться своих.

Обычно старушки, взявшись, как девчоночки, под руки, у подъезда гуляли. И их не было. Пустынно, одиноко. Прав классик, пора и в самом деле унылая.

Хлопнула дверь подъезда. Выпорхнула соседка-подросток с третьего этажа. Беспечная, порывистая, точно диковинная бабочка, спутавшая времена года. Поздоровалась, полетела мимо, нет, передумала, присела на лавочке. Разговорились о чем-то необязательном. Я подумал, что скоро дочь моя будет такой же большой. Спросил, глупый (холодрыга же, осень), не хочет ли она мороженого.

«Хочу», – ответила она. «Тогда подожди», – сказал я, решительно заправив выбившийся шарф.

В магазине мороженого не оказалось. Зато продавали пельмени. Я занял очередь. Когда у нас что-то в конце концов будет без очередей?! Долго простоял и бесполезно. Из-под самого носа взвесили и унесли последний килограмм.

Когда вышел из магазина, было уже темно. Голубые, легкие мухи превратились в белых, мохнатых бабочек. Они кружили в свете витрин, садились на шапки прохожих, щекотали лицо. К маме я уже не пошел. Запрыгнул в трамвай. Соседка, ждавшая мороженого, из головы вылетела.

Глава третья

Штабс-Капитан

С «Зеленых Горок», несмотря на то, что в целом «поправил свое здоровье», вернулся я разбитым и опустошенным, так как по дороге домой завернул к моему верному другу, хорошо известной в широких кругах личности, ласково прозванному в наших узких кругах Штабс-Капитаном, с которым мы у него в городишке-городе загудели, как сорок вместе взятых трансформаторов в режиме перегрузки.

Со Штабс-Капитаном мы учились в университете, потом работали в одной газете, съели вместе не один пуд соли, затем я подался, стало быть, в литераторы, а он остался в журналистике. Покидало его на волнах одной из древнейших профессий, пока не прибило к редакционному столу городской газеты не его родного города, не города, где он учился, влюблялся, женился, сына родил... но зато где дали ему квартиру, в которую ни сын, ни жена за ним не переехали. Не всем дано родиться декабристами. Да и сам он был не Трубечкой и не Волконский. Жил без иллюзий, обеими ногами стоял на земле. Одно родило его с героями двадцать пятого года – пышные, не по эпохе бакенбарды и на литом, не по росту мощном торсе любой пиджак казался тесным (вот-вот лопнет от напряжения) мундиром. И душу он имел широкою. Она-то, должно быть, и распирала его грудную клетку. Доказали же ученые, что душа человеческая имеет свой объем и вес. И у разных людей она по габаритам различная. Так что широкая душа моего верного друга не метафора. Но о ней, мне кажется, в полной мере знал лишь я один. Штабс-Капитан старался волю ей не давать. Но та нет-нет да и вырывалась на свободу, и удержать ее не было никакой возможности. Крепкие ноги его отрывались от земли, и он, раскинув руки, отправлялся в полет. Чаще всего со мною вместе.

Что еще добавить к портрету моего верного Штабс-Капитана, моего Фидуса Ахатеса?

В большой чести у него пословицы и поговорки, а также им самим придуманные словечки, фразы, перифразы... Например, «трахтенберг» значит выпить или переспать с женщиной. Должно быть, от корня «трах» – трахнуть, трахаться, а вторая половина «тенберг» – уже, думаю, своеобразная эвфемизация слова, а также конспирация. В зависимости от ситуации то или иное значение этого его неологизма всегда было понятным. Допустим, когда человек указывает тебе на рюмочную и говорит: «Пойдем трахтенберг немного», – чего тут непонятного? А вот случайный прохожий, случайный (или неслучайный) свидетель оброненной этой фразы не поймет, если случайно не заметит зазывного кивка в сторону рюмочной. Далее. Выпивохи для Штабс-Капитана – шахтеры, запой – забой. «А где твой зам?» – спросил я однажды. «В забое, – ответил он, – третьи сутки уголь на-гора выдает». Вот так: для меня, значит, полет, для него – забой. А по сути одно и то же. Оба мы с ним были порядочными «шахтерами». Или «космонавтами».

Штабс-Капитан поджидал меня около своей сотни лошадиных сил – новенькой персональной «волжанки».

Была ранняя осень. Бабье лето. Светило ласковое солнышко, и Штабс-Капитан похаживал в застегнутом на все пуговицы сером плаще, гармонировавшем по цвету с серо-стальным лаком автомобиля. Да еще скороспелая седина на смоляной голове в стороны от безукоризненной ниточки пробора – живая гравюра, картина «Будни главного редактора».

Коротким обменялись рукопожатием, скупно врезали друг другу в грудь, мягко ухнулись на заднее сиденье, машина газанула с места в карьер, и на нас помчались, расступаясь, придорожные деревья, строения, указатели...

У моего друга в чести определенность. Выяснив, что я приехал к нему на несколько дней, он прикинул культурную программу, по которой в первый же вечер нам с ним надлежало быть на ужине у звезды местного театра.

– Будет узкий круг.

– Как в прошлый раз? Полста человек в однокомнатной квартире? – не обрадовался я его плану. Хотелось побыть с другом наедине, подальше от суеты и шума, сколько не виделись!

– Нет, точно... И старые друзья там твои...

– Кто?

– Увидишь.

Заехав в типографию, где он подписал номер, зарулили к нему домой, в его просторный трехкомнатный холостяцкий ковчег, которым он гордился, от которого в кругу друзей и в одиночку ловил заслуженный кайф.

Пока я устраивался, распаковывался, Штабс-Капитан нажарил печенки... Затем не торопясь, с расстановочкой, по-хозяйски достал стопочки, извлек из холодильника «белую головочку»...

– Ну что, трахтенберг по маленькой?

Миллионщик, Пузо и другие

Не опорожнив бутылки, мы, естественно, в путь двинуться не смогли и потому на званый ужин опоздали.

Когда появились там, «узкий круг» был в сборе, и дым в двухкомнатной квартире стоял коромыслом. Курили все разом. Курили люди, курились свечи, дымилась пепельница... Упомянутая звезда, местная Сара Бернар, идет нам навстречу, очаровательно улыбается сквозь ренуаровскую дымку... Нам здесь рады. Но в глазах ее печаль: перед самым застольем Сара Бернар поссорилась с супругом, и тот хлопнул дверью. По словам Штабс-Капитана, мужик-то он ничего, неплохой художник-декоратор, но, несмотря на то, что кровей кузбасских, слабохарактерный. Штабс-Капитан, правда, покрепче сказал, что-то навроде тряпки, киселя в нецензурном варианте, но это уже частности.

За Сарой Бернар в отсутствие художника ухаживал лысый, шепелявый, беззубый черт, оказавшийся местным миллионером. Делал он это громко, некрасиво, если не сказать –хамовато. Но ей нравилось, и она отвечала на его кирзовые комплименты и жаркие прикосновения не менее пылко, только чуть-чуть задумчиво, все-таки с законным побранилась. И все бы ничего, да вот миллионщик был с женой, тоненькой, вытянутой, с неправдоподобно объемистыми персями графоманкой, которую по роду своей профессии я знал. И это бы ладно, да за ней по пятам ходил Штабс-Капитан.

– Она же графоманка! – проинформировал я друга в подходящий момент.

– И что? Я же не стихами ее восхищаюсь...

Я не стал в который раз доказывать, что бездарь в творчестве и в любви бездарен. Штабс-Капитан почти всегда с моими доводами соглашался, но всегда все делал по-своему.

А вот подруга графоманки и в самом деле обладала кое-чем. Мы познакомились с ней год назад на поэтическом вечере. Она сунула мне в перерыве тетрадку своих стихов. Я, этакий мэтр, обещал прочесть. Провалилась у меня эта тетрадка с полгода. Как-то попалась на глаза, раскрыл – не по себе стало. Хожу в поэтах – выступления, автографы... а настоящие-то стихи фиолетовыми чернилами в ученических тетрадочках живут. На листочках в клеточку. И ни разу за полгода не напомнила о себе! Ждала смиренно у моря погоды. Не ждала – новые стихи писала (когда я вызвал ее, привезла еще две тетради).

Как женщина она меня не прельщала. Худенькая, со скуластым мальчишеским лицом – ни дать ни взять пацан-подросток, она внешне мало чем отличалась от десятка юных и «подающих надежды», вившихся вокруг Дома издательств. Но она, такая же джинсовая, такая же хипповая, была иного наполнения, другой выдержки и качества.

И не было между нами до этого ничего. Пацанка и есть пацанка. Пару раз, когда приезжала, в кафе-мороженое сходили, разок на художественную выставку забрели, на каких-то авангардистов липовых. А тут вдруг у Сары Бернар она как-то по-особенному, с прицелом посмотрела на меня. Не как раньше. Я сперва думал – привиделось. А потом, когда оказался за столом рядом с ней, я перестал думать.

Она была в легком, переливающимся, как чешуя змеи, черно-желтом костюмчике-платье. Я впервые видел ее неджинсовой. Непривычно даже как-то.

По правую руку от меня сидел небезызвестный Пузо. Он проявил недовольство моим вторжением между ним и Пацанкой. Но не станешь же оправдываться, что я не по своей инициативе вклинился. Воля дамы – сами знаете... А то, что соусом на мой пиджак Пузо капнул, может, случайно... Это когда он тост произносить поднимался.

– Я желаю тебе, – обратился он к хозяйке, неподражаемой Саре Бернар, – прожить сто лет.

С Пузом мы были знакомы давно. То там, то тут дороги нашей жизни пересекались. Пузо (его прозвали так в наших кругах за вечно расстегнутую нижнюю пуговичку на рубаше под галстуком, откуда весело подмигивал окружающему миру заплывший розовый пуп)... Пузо (официальная широкоизвестная кличка Хеопс IV, но я буду называть его и так и эдак, как будет сподручнее) был критиком, литературоведом, ученым, общественным деятелем и жутко хотел стать писателем, спал и во сне видел себя романистом, ну на худой конец – рассказчиком. Старался воплотить мечту истово,

ночами строчил, ранними туманными часами перед работой, но у него плохо получалось. Потуги его появлялись в печати только после поэтапной редакционной правки, читать которые для живого, здорового мозга было небезвредно. В трудолюбии ему не откажешь. Трудиться он начал еще школьником в своем родном ауле. После десятилетки взобрался на трактор... «Был простым хлеборобом» – любимая фраза в его автобиографиях. Потом перед ним, с его крестьянским происхождением, раскрылись двери аспирантуры, где он защитил кандидатскую на историко-литературную тему. Так на глазах оперился парень и, уверовав в свои силы, заработал локтями, высвобождая себе в людской толчее жизненное пространство. Чтобы быть выше себя, надо встать на кого-то. И он делал это с цирковой ловкостью. Это днем. А ночью, а утренними туманными часами он теми самыми локтями упирался в письменный стол, сосал, грыз авторучку и сочинял, сочинял... Тогда ли, потом ли, все-таки, наверное, позже, он пришел к мысли: как Леонардо, как Микеланджело работать надо, подключая помощников, учеников... Конечно, одной ручкой десять человек водить не будут, однако если подумать, если организовать, одного в архив за материалом послать, другого с диктофоном к прообразу, третьего... то почему бы и нет?

Но вернемся к застолью.

– Я желаю прожить тебе сто лет, – произнес он, целясь полной рюмкой в хозяйку квартиры, свободной рукой проверяя состояние рубахи внизу под галстуком. – Прожить сто лет и... – загадочная пауза. – И умереть! – Дальше уже с оглядом всех присутствующих: шутка, мол, поймите правильно... – И не просто умереть, а погибнуть. И не просто погибнуть, а чтоб тебя убили. И не просто убили, а из-за ревности... Ха-ха-ха. Вы понимаете – в сто лет и из-за ревности? Ха-ха...

Он звонко чокнулся со всеми. Со мной же не просто чокнулся, а и облил немножко. После томатного соуса водка на лацкане моего пиджака не так расстроила.

«Узкий круг»

«Узкий круг» был в той стадии сугрева, когда все говорили разом и о разном и никто никого не слушал. Впрочем, утрирую. Беседующие (скажем так) составляли четкие пары: Штабс-Капитан – Графоманка, ее лысый супруг – Сара Бернар, Пацанка – ваш покорный слуга, и между нами – неугомонный Пузо. Он бесцеремонно, то у меня под носом, то за спиной клеился к ней. Та отмахивалась от него, смеялась, открыто издевалась – ему хоть бы хны, ни гордости мужской, ни шиша. Вот такой среди парочек треугольник. Я не горел желанием взять в этой возне верх (хотя кто без самолюбия?), но она всячески пыталась удержать меня около себя. Нам было о чем поговорить. В итоге же приходилось слушать, как она пикируется с Пузо, и невольно слышать других...

– Я изучал систему Станиславского и хорошо знаю психологию – Спиноза, Фрейд... – вещал лысый миллионщик, картавя. Точнее сказать, он не картавил, произносил всякое «л» мягко, с мягким знаком. Сказанное звучало так: – Я изучал систему Станиславского и хорошо знаю психологию...

Он сидел с Сарой Бернар на софе и поглаживал ее дородную ногу повыше колена.

Кто танцевал, кто покуривал, кто бродил где-то не в поле зрения...

Появились новые представители творческой интеллигенции – бородатый скульптор и усатая архитекторша.

Миллионщик с Сарой Бернар уже топтались под музыку посередине комнаты. При этом он доказывал, что черепная коробка мужчины должна быть чистой от волосяного покрова, дарованного нам старшим братом-питекантропом. Сарочка Бернар была согласна с ним и ласково провела ладошкой по его гладкому огурцевидному затылку.

Скульптор с архитекторшей догоняли общество за столом, сменив рюмки на стаканы.

Штабс-Капитан с грудастой графоманкой исчезли.

Пацанка положила в полумраке свою руку на мою и пригласила танцевать.

Из небытия возник супруг Сары Бернар.

Он стоял у книжного шкафа и наблюдал па-де-де жены с новым в своей сложной семейной жизни персонажем. Он стоял скрестив руки на груди, под конской челкой его сверкали огнем два кузбасских антрацита. Это был не тряпка, не кисель, а муж, готовый черт знает на что за ради своей потрепанной чести.

А те его не видели.

– Сьюмюэль Джонсон говорил, что второй брак – это победа надежды над разумом, – пытался перекричать стерео своей луженой глоткой лысый и беззубый, раскачивая торсом и опуская руку все ниже и ниже по рельефному огузку партнерши.

Они вообще никого не замечали. И до них тоже никому не было дела, кроме, разумеется...

Он откинул челку с антрацитов и схватил лысого за преступную руку:

– Ты, козел паршивый!

– Кто козёл? – не понял миллионщик и оттолкнул хозяина квартиры. Миллионщик, как и я, в гостях здесь был впервые и мужа Сарочки Бернар не знал. Тот атлетическим сложением не отличался. Худенький, голова только большая. И то не голова, а лишь волосы на ней огромной шапкой. Толчок был сильным, и худенький художник, распахнув тощим задом дверь, вылетел из комнаты. Миллионщик ринулся следом, должно быть, добивать. Сара Бернар ойкнула и побежала за ними. Я секунду помедлил в нерешительности и тоже направился за ними. Но опоздал. Миллионщик с хозяйкой уже возвращались. Миллионщик оправдывался:

– Откуда я знал, что он твой муж!

Та успокаивала его:

– Не переживай. Он всегда так – убежит, потом вернется.

Того, о ком говорили, видать не было, значит, опять где-то на стороне зализывал свои обиды.

– Вы куда? – наткнувшись на меня, спросила Сара Бернар удивленно.

– Покурить, – соврал я не совсем удачно: все видели, что я не курю, а курящие курили не сходя с места.

В подъезде было прохладней, но пахло мочой. Я решил выйти на свежий воздух.

Я не помнил, на каком этаже нахожусь. У дверцы лифта увидел большую цифру три. Невысоко, можно и так спуститься, и я поскакал вниз, бегло разглядывая в тусклом свете шедевры настенной живописи и размышляя о богатстве фантазии юных художников.

Между вторым и первым этажами кто-то кого-то зажимал. Почти так, как на рисунке над их головами. Я сделал вид, что не заметил... Это были Штабс-Капитан с графоманкой.

Я стоял у подъезда и взирал на яркие осенние звезды, точно со дна гигантского колодца, стенами которому служили многоэтажные дома-коробки, плотно обступившие двор. Во дворе ни человекка случайного, хотя время еще не позднее. Колодец и есть колодец, только светлячки окон свидетельствовали о какой-то теплящейся здесь жизни. На душе сумеречно, неприютно, и я двинулся обратно.

Между первым и вторым этажами, у мусоропровода, шла потасовка. Возились Штабс-Капитан с миллионщиком. Около них кудахтали Сара Бернар с графоманкой, вертелся Пузо.

– Чужих жен лапать, а-а! – рычал миллионщик.

– Держал бы ее за юбку, – отвечал глухо Штабс-Капитан. Вывернутый наизнанку пиджак моего друга накрыл ему голову, и он бубнил неразборчиво, как в палатке. У миллионщика двубортный пиджак был на месте, только рукав отошел от плеча.

Я кинулся разнимать...

Тут пиджак слетел с головы Штабс-Капитана, и он тут же словил в глаз.

– Бр-р, – сказал он, уходя от второго удара, выдернув из скрученного рукава руку и по-боксерски, без замаха, прямым в фас поставил в затянувшейся полемике точку.

Все бы ничего, да он выбил беззубому миллионщику его последний передний зуб. Миллионщик потом долго смотрел в зеркало, трогал раздутую верхнюю губу, ворчал, жестикулировал, строил рожи, прикидывал, как он теперь выглядит, не изменились ли черты лица, дикция...

Потом опять все вместе и дружно за одним столом пили. И миллионщик говорил мирно:

– Все равно он у меня был гнилёй и шатался.

С обеих сторон, тесно прижавшись, потчевали его графоманка и Сара Бернар.

Сарочка спрашивала:

– Почему ты не вставишь себе пластмассовые?

– Потому что некогда, – отвечала за мужа графоманка.

Мы же интеллигентные люди

Застолье приобрело новое качество. Оно стало спокойнее, трезвее как-то, взрослее, что ли. Исчезла суетливость, присутствующая в любой полуновой, полужанковой компании, погасла ревность, втихомолку спевшиеся дуэты приобрели временную легальность.

Штабс-Капитан, освещенный блаженной улыбкой и лиловым фонарем под глазом, с разрешения партнера по боксу топтался под тихую музыку с его тоненькой, персястой супругой. Пузо на софе доказывал что-то Саре Бернар и Пацанке, случайно прикасался к последней, приобнимая ненароком.

Я оказался рядом с беззубым миллионщиком. Сперва за рюмкой, затем у книжного шкафа, а потом в туалете по совместной естественной надобности. На бачке унитаза сидел привязанный за лапу ворон (или ворона, или грач – не разбираюсь в них) и слушал нашу беседу, покачивая головой (странные причуды у этих актрис. Я знал одну, она в ванной держала ондатру). Замечу, не очень приятное занятие

оправляться под прицелом огромного, пощелкивающего, как ножницы, клюва. Что у него там в его вороньей башке – кто знает?

Миллионщик был хладнокровнее (или пьянее?) и спокойно делал свое дело, продолжая разговор, вернее, монолог или даже речь. Может, вообще не заметил гигантской черной птицы на белом бачке?

Говорил он напористо, можно сказать, убедительно. В этом отношении было у него нечто общее с Пузом. Только напирал темпераментнее и громче.

– Мы же интеллигентные люди, – нажимая ногой на рычажок бачка, говорил он. – Неужели...

Мы пошли в ванную сполоснуть интеллигентно руки, но туда мы не попали, так как там сидел бульдог с крысиной мордой. Собака не птичка, лучше с немывтыми руками остаться, чем без рук, и мы, не прерывая беседы, двинулись в пространстве квартиры дальше. Я не помню, где мы приостановились, в какой комнате или коридоре, а возможно и в подъезде, но я запомнил:

– Неужели, – сказал мой собеседник, – так трудно выпустить небольшую книжку стихов с фотографией?

Я спросил об объеме рукописи, согласился посмотреть ее. Подшофе каждый становится добрее и могущественнее, я – в кубе. Я в каждом, кто говорил о стихах, хотел видеть не востребовавшего поэта, непризнанный талант, и в тот момент всесильному мне начинало казаться, что я обязательно добьюсь непризнанному признания.

Миллионщик лестно отозвался о моей отзывчивой душе, но...

– Но у меня нет рукописи, – с обезоруживающей искренностью признался он.

– Присылай что есть, – сказал я. – Тетрадку, свиток... Как ты их собираешь-то?

– У меня вообще ничего нет.

– Может, ты хочешь сказать, что у тебя и стихов вообще нет? – то ли пошутил неудачно, то ли совершенно недоуменно спросил я.

– Нет, – повторил он.

– Не-е-ет?!

– Нет.

– Ни одного?

– ...

– Ты не написал ни одного стихотворения и хочешь...

– Я пробовал, но у меня не получается. Там ведь усидчивость нужна, а у меня нет времени. Вот я решил... Наброшаю... приблизительно так, что хочу сказать... ну, там свое мировоззрение вкратце, вкусы... Ты меня понял, нет? Симпатии, антипатии, а, понял? Ну а ты... срифмуешь и готово, а? Ты же профессиональ, что тебе стоит!

Я слушал бред сивой кобылы, и такое ощущение было, что вместо вина по ошибке подсолнечного масла ахнул.

– А гонорар сам себе укажешь, – не унимался мой непризнанный поэт. – Договорились? Аванс сразу. На польтачки. У тебя тачка есть, нет? Ну, сам решай, я в долгу не останусь.

В пьяном мозгу моем осталась одна трезвая извилина, и я классическим приемом переключил собеседника на другую тему:

– Пойдем-ка выпьем лучше.

Почему сразу не сказал, что заниматься этим не буду? Потому, наверное, что, во-первых, было лестно, что за мое мастерство предлагали фантастические для меня деньги, о которых я и не мечтал, когда входил с рукописью книги – результатом вдохновения и многолетнего труда в издательство; во-вторых, любопытно же, до чего может довести человека тщеславие; и, в-третьих, по натуре своей я мягкий человек, а под этим делом, как я уже говорил, вдвойне, и у меня просто-напросто не хватило духа назвать все своими именами и послать его подальше.

Когда уже выпили, я спросил:

– Почему же ты своей жене не поручишь такое деликатное дело?

Он неопределенно махнул рукой. Я так и не понял: не то он ее способностям не доверял, не то ее-то именно и удивить хотел...

– Чего тут непонятного... – Он опорожнил недопитую рюмку, затолкнул в рот малосольный огурчик и хотел что-то сказать, но огурец в его рту плохо поддавался дроблению, и ответа я не дождался.

В квартире появилось еще два незнакомых лица. Оба молодые, оба – косая сажень в плечах, в кожаных куртках, один что-то шепнул миллионщику на ухо, кивнул головой и удалился, прихватив бутылку минералки.

– Кто это? – невоспитанно поинтересовался я.

– Приятели, – ответил, дожевывая огурец, миллионщик.

– Ясно.

Я посмотрел на Штабс-Капитана, легально прижавшегося к грудям графоманки, на Сару Бернар,

опять прильнувшую к своему лысому почитателю таланта, который лишь кротко взглянул на свою супругу в объятиях Штабс-Капитана...

Безусловно, за стихи, которые миллионщик захотел написать чужими руками, зуб ему удалить следовало, тем более что все равно он у него «гнилёт и шатался».

Но и нам могло так отломиться! Представляю... Почему он своих мордovorотов сразу не свистнул? Говорят, все миллионеры с причудами. Этот-то уж точно.

Кровавый след

Первыми из «узкого круга» в тот вечер решили выйти я с Пацанкой и бородатый скульптор с усатой архитекторшей. И они, и мы думали испариться как можно незаметнее, но за мной увязался миллионщик. На улице его поджидала машина, около которой дышали свежим осенним воздухом два амбала в коже.

Миллионщик настоятельно просил меня сделать одолжение – воспользоваться его транспортным средством. Пацанка шептала, что ее дом совсем близко, можно и пешком, а скульптор объяснил мне, что нам с Пацанкой выгоднее сначала подкинуть их, его с архитекторшей, на другой конец города.

Сердобольный миллионщик уговорил меня. Уговорил и скульптор.

В мастерской скульптора опять пили. Мастерскую ту смутно помню. Каменные бюсты, торсы, металлические ведра, жестяные банки, которые то и дело гремели под моими ногами. Мастерская как мастерская – в полуподвале многоэтажки. Посещение ее вообще бы из памяти выветрилось, когда бы моя спутница не забыла там плащ с ключами от квартиры.

У подъезда ее дома машину мы бесцеремонно отпустили. Кожаный водитель дал лихо по газам, и полусловом не обмолвившись на россыпи наших слов благодарности. Кто мы для него – шантрапа.

Поторчали с хозяйкой квартиры перед пустым глазком безмолвной, равнодушной двери, как неродные, потыкались моими ключами в чужеродные замки и, куда деваться, – поплыли обратно к Саре Бернар на именины. Где находилась мастерская скульптора, вспомнить, естественно, не могли, да и куда тащиться за тридевять земель!

Когда отъезжали от Сары Бернар и ее «узкого круга», я вздохнул: хоть от этого Пузы оторвались. И вот теперь возвращались – под дождем, подгоняемые злым осенним ветром. Один пиджак на двоих и ни одного трамвая на горизонте.

Я промок до нитки. У моей спутницы зуб на зуб не попадал. Видок наш был жалок, лишь змеино-золотой костюмчик ее по-прежнему поблескивал холодным высокомерием.

Квартира именинницы встретила нас гробовой тишиной. Двери так же нараспашку, но за столом только один человек – хозяин, муж Сары Бернар, без жены, без гостей, со смоляным чубом, упавшим на утыканный окурками торт.

Я спросил:

– Где все?

– Сам бы хотел знать, – ответил он.

Расспрашивать больше не было смысла, и мы пошли.

На пороге я заметил кровавый след. Опять кто-то подрался?

Из подъезда след вывел нас к тому месту, где стояла машина миллионщика. Дальше след обрывался. Хотели вернуться, растормошить художника, расспросить, но передумали, отправились по единственно верному и надежному адресу.

То не крыса шебаршилась

Мой верный Штабс-Капитан встретил меня на пороге с перебинтованной рукой и бледный, как типографская бумага № 1. Фингал под глазом оттенял бледность. За Штабс-Капитаном в прихожую вывалила вся гоп-компания.

– Перебрались вот, – шевельнул он перебинтованной рукой.

– Вы как догадались, что мы тут? – поинтересовалась Сара Бернар.

Я шмыгнул засочившимся носом:

– Что с рукой?

– Да-а... – был лаконичный ответ. Объяснять принялся миллионщик:

– Он у нас дрессировщиком заделался...

Оказывается, добрейшая душа Штабс-Капитан, до седины доживший, но по-прежнему обожавший собак, кошек, голубей и прочую тварь, очутившись в ванной именинницы и увидев гада, сказал: «Дай, Джим, на счастье лапу мне...». И протянул руку...

– Еще повезлёт, – анализировал миллионщик. – Эта порода выведена, чтоб сразу по локоть

откусывать.

Кто-то вспомнил о неотложке.

– Сколько можно! – обиделась Сара. – Никакая она не бешеная.

– Сильно, что ли? – кивнул я на отоваренную руку.

– А-а... – опять отмахнулся Штабс-Капитан.

– И перевязать у меня не дался, пока домой не вернулся, – продолжала обижаться Сара Бернар.

Появился жующий Пузо. Вперился сальными глазенками на Пацанку.

– Куда это вы запропастились? – Перевел понимающий взгляд на меня: – И как, все о,кей?

– Ладно, ладно... – сказал свое веское слово Штабс-Капитан. – Пойдемте-ка лучше трахтенберг по маленькой, люди с дороги, промокли, а вы: Жемини да Жемини... Где у нас тут C_2H_5OH ?

Прошли за стол уставленный бутылками, стаканами, рюмками, вспоротыми консервами...

Я плеснул себе и ей в рюмки... Народ поспешил вежливо не отстать от нас.

Рядом устроился Штабс-Капитан, наполнил себе стакан, жажнул и окосел, чепуху понес, полез обниматься:

– Господин майор, господин майор...

Чтобы отвязаться, я спросил: моя гостиная комната остается за мной? И получив горячее, многословное подтверждение, выскользнул из-за стола. Надоело все, устал. Последнее, на что обратил внимание, – на бросок Пузы в сторону Пацанки. Но и это не остановило. Вот она, заветная дверь, вот она, заветная подушка на диване.

Сколько пробыл в провальном сне – минуту, час? Только чувствую, кто-то гладит меня. Нет, сочиняю, не так было. Очнулся от того, что мы с ней гладим друг друга, целуемся полуголые. Вру – голые. Тьму в комнате разжигивает свет уличного фонаря сквозь фиговые шторы Штабс-Капитана. Тишина в квартире. Лишь за дверью будто крыса какая-то шебаршится.

С кем это я?

А она, бедняжка, кутенок ласковый, отогревшийся, точно косточку лакомую заполучила в тепле, и грызет, и грызет, и кусает. И ни полслова, ни полшепота.

Нет, то не крыса шебаршилась за дверью, а Хеопс IV изготовлялся войти к нам, подменить меня вторым номером, подглядывал, прислушивался, выжидал.

И вот оно – явление Христа народу. Только на Христе что-то было, а этот в чем мать родила, живот сумеречно белеет, поджатый скрещенными под пупом руками, на морде шкодная улыбочка. Подсел на краешек дивана у наших ног, бормочет: делиться, мол, надо, не жадничать, и все лыбится, и руку свою паршивую к ней тянет. А я ни слова. Не то чтобы язык от такого нахальства отнялся, просто какая-то лень несусветная и безразличие сковали меня.

– Ты что, охренел? – взвизнула Пацанка. Никакого эффекта. Тогда и я голос подал:

– Охренел?

А он все свое: делиться надо, не жадничать.

Пацанка схватила увесистую хрустальную пепельницу... Хеопс IV, то бишь Пузо, испугался, вскинул руки, прикрывая голову. Но она не в него метила. Трах! – бомбой взорвалось оконное стекло.

Мертвый чертог мигом ожил. Заверещали сильные с похмелья голоса, зашаркали неверные ноги...

– О господи, какая скука! – вздохнул я, стаскивая со спинки стула свою одежду.

Наконец дверь в мою комнату с треском распахнулась...

Зачем окна бить?

... и мимо меня большой черной птицей промелькнула стремительная тень.

Смачная пощечина...

Голос Пузы в ответ:

– Дура, что ли, психопатка!

Вспыхнул свет, ослепил на мгновение.

– Ой, простите, я ошиблась, я обозналась!

Привыкшие к свету глаза мои увидели графоманку. Она стояла закрыв лицо руками и шептала:

– Я думала, мой муж...

– Ничего, – заметила Пацанка, – этот тоже достоин. – Она одевалась, не стесняясь, не спеша, аккуратно поправляя каждую бретелечку на себе.

Графоманка вперилась подозрительным взглядом в своего неувливаемого мужа, который тихонечко выступил из-за ее же спины и теперь лыбился во весь свой беззубый рот и сиял всей своей прелестной лысиной. У двери рядом с выключателем стоял, переминаясь с ноги на ногу, в белых с голубой динамовской каемочкой трусах по колено Штабс-Капитан.

– Я все понимаю, – обиженно произнес он, – но зачем окна бить?

– А я всегда так делаю, – ответила заносчиво Пацанка, продолжая неспешно одеваться. – Всегда, когда люди слов не понимают.

– Кому это ты говоришь? – ехидно поинтересовался миллионщик, озираясь.

– Этому, – подсказала ему жена, – который...

Но «этого» давно след простыл.

– Застегни, – повернулась спиной к Штабс-Капитану Пацанка.

Взор обиженного хозяина квартиры заметно потеплел. Здоровой рукой он вжикнул «молнией» на спине гостя.

– А я, господин майор, вырубился. И вдруг... Меня как взрывной волной подкинуло. Думал, война началась, – потупил голову мой верный друг. Ему стало неловко за то, что он, а не я застегнул длинный, во всю спину замочек на золотисто-черном платье моей женщины. Он подтянул трусы, вежливо подтолкнул миллионщика к выходу со словами: –Чего все вскочили, еще очень и очень рано.

Мы опять остались вдвоем, и я получил вполне заслуженный скандалчик. Крохотный. Стеснялась все-таки. Забегая вперед, скажу: и после этой идиотской ночи я остался для нее и еще долго оставался тем, кем был до...

– Давить таких надо, как гнид! – с чувством костерила она Пузу. – За кого он принимает меня? И ты! Почему не прибил его на месте? Знал бы, как он клеился, когда ты спать завалился. Таковую козлятину нес, чуть не вырвало. Я же думала, ты на минутку отлучился. Ждала, ждала...

Я молчал. Вязкая, беспросветная апатия не отпускала меня. Да и что ответишь? А ответ ей нужен был, ей необходимы были хоть какие-то объяснения, мало-мальски человеческие слова.

Не дождалась. Хлопнула дверью...

На стуле лежала ее тетрадошка. Стихи. Я взял тетрадь, не раскрывая, сунул за пазуху пиджака и вышел к людям, друженько собравшимся за столом. Ее там, естественно, не было.

Импотент

На другой день полет со Штабс-Капитаном мы продолжили. В общей сложности продолжался он почти неделю. Компания ежедневно менялась, обновлялась, пополнялась, редела, восстанавливалась – все своим обычным чередом. В один из дней побывали мимоходом у нашей Пацаночки. Пока Штабс-Капитан дремал в кресле, поболтали. Стихи ее я еще не прочел, об этом сообщил с извинениями. Она конфуза нашего недавнего не помнила, была кротка, мила, но ночевать я у нее не остался. Вдруг выспавшийся Штабс-Капитан как нельзя кстати поднял наше боевое звено в дальнейший полет, и мы полетели дальше. Дальше и выше. Раньше мы с ним до звезд долетали и сами в них превращались, и «звезда с звездой говорит» – это о нас было. Теперь все по-другому – полеты бреющие, тяжелые...

У нас в городе есть такой Коля Коленвал. Я считаю его среди нашей братии единственным поэтом, который сохранил в смутное время свою поэтическую целомудренность. Вот одно из его изречений: когда пьешь, надо придерживаться правила – где, когда, с кем и сколько. И сам же, сказав такое, удивлялся: ведь тогда вообще никогда не выпьешь! Да, восточная та заповедь, как буддийская хламида к нашему суровому краю. Какие правила! Взовьешься в стае под облака и уж где летишь, с кем – анкетных данных не потребуешь, маршрутных карт тоже, знай крыльями маши. Цель ничто, движение – все.

Пацаночка обиделась. И с нами, дураками, не полетела, хотя мы и звали, и райские кущи по доброте своей душевной обещали – не за горами, а всего лишь в пятнадцати минутах ходьбы от ее дома, у директора колхозного рынка (подруги Штабс-Капитана) на квартире. Что ж, гусь свинье не товарищ, а Поэтесса не Поэт. Зато на прощание она сообщила прелюбопытнейшую новость: скоро, мол, я буду работать с Пузом в одной конторе и он будет моим начальником.

– В своей конторе я сам начальник, – рассмеялся я. Она со знанием дела пояснила: его назначат начальником над всеми конторами в этом нашем сером доме. И безошибочно назвала кабинет на третьем этаже, который полгода назад высочайшим указом был освобожден.

– Под одной крышей будете сидеть, голубки.

– Коли так, роман свой вожделенный он как пить дать сварганит.

– А он и писателем хочет стать? Разве он что-то пишет?

– И госпремию получит, и депутатский значок на грудь... – добавил я, и мы распрощались. Почему-то я не поинтересовался, откуда она все это знает.

У директрисы рынка Штабс-Капитан сломался, уснул на ее хлебосольной груди.

Я брел по вымершим улицам малознакомого города, и ничто мне не было желанней доброго старого ребристого дивана в моей временной обители.

У дома Штабс-Капитана маячила одинокая фигура. Все ж таки не один я живая душа в этом

нелюдимом городе, подумалось мне.

Завидев меня, живая душа двинулась навстречу. Это был богатырь на полголовы выше и на полкорпуса шире меня. Тень от уличной лампы обогнала его и зловеще потянулась ко мне.

– Привет классикам отечественной литературы! – Это был Пузо. – Думал, не дождусь.

Еще что-то сказал, еще... В голосе какие-то новые, не свойственные ему тихие, задушевные нотки. Раскрыл дверь подъезда передо мной... выставил бутылку коньяку на кухне, за здоровье мое поднял тост, первым выпил и... – что за метаморфоза? – принялся оправдываться, извиняться за казус в ту сумасшедшую ночь.

– Ничего себе казус! – вскипел было я, но он выбил почву из-под ног признанием, в которое трудно было поверить.

– Видишь ли, – поднял на меня свои честные глаза Пузо. – Понимаешь, как тебе сказать, ну, одним словом, я страдаю... импотенцией.

– И поэтому ты полез...

– Честно, честно, я все объясню, – замахал он руками.

– Зачем мне твои объяснения?

– Выслушай же... это очень важно... Ведь ты, в отличие от многих, человек... ты поймешь меня... У меня, видишь ли, не простая импотенция. Очень, очень странная. Как бы тебе это сказать? Я не могу один... Один на один с женщиной. Это у меня с юности.

Пузо выпил еще стопку и, не закусывая, поведал свою драму.

По его словам, с детства он был очень стеснительным. Друзья его давно девочек по темным углам зажимали, а он и подойти боялся. Таким и в город приехал, и в университете учиться начал. А ребята на курсе разбитные подобрались, прознали про его проблему, потащили с собой... Первый раз в общежитии дело было, не в студенческой, а в неизвестно какой, с кроватями в два яруса. Главный наставник его по этой части сделал со своей Манькой дело, сказал ей, что пойдет позвонить, а сам, как договорились, вышел и его, будущего Хеопса IV, втолкнул к ней со словами: «Морду лопатой и не бойся». В случае чего он должен был поддержать новичка, приоткрыв дверь, крикнуть ей, приструнить: чего ты, мол, это же, Мань, брат мой молочный, не жадничай, а то накажу.

Юный Пузо разделся, подошел к кровати. А Манька с любопытством смотрит на него, полуприкрытая простынкой, улыбается, понимает, что к чему. А Пузо не решается, переминается с ноги на ногу. Она скинула с себя простынку: «Ну, чего же ты?» Он взялся за спинку кровати и полез мимо голы, приглашающей к себе женщины на второй ярус. Спрятался там под одеялом – и его не видно, и ее не слышно. В другой раз, зимой, он ждал своей очереди в промерзшем тамбуре вагона-теплушки. Разделся заранее, ждет, присядочку делает, пританцовывает от холода, а когда запустили, до бабы ли было, посиневшему и пупырчатому, как залежалая курица из холодильника.

Пузо и третью историю собрался рассказать, но я перебил:

– А покороче?

– Короче, у меня стало потихоньку получаться, только опять-таки не один на один. Бывало, я и первым бывал.

– Как же ты в одиночку женился? У тебя две дочери вроде?

– Вот именно. Я так сына хотел. И теперь хочу, но боюсь, все равно не получится, бракодел проклятый! А все на нервной почве. Вот захочу кого, между нами, мужиками, говоря, а не могу один...

– Врешь ты все.

– Может быть, и вру. Сам не пойму. Конечно, не могу. И не могу, и не хочу, я привык... А заглушать желания вредно. Фрейд! Гастриты всякие, язвы – все от неудовлетворенности.

Я устало махнул рукой:

– Брось!

– А чего? Любовь, верность, преданность... Обмотали себя догмами. Проще надо жить, проще. Вот ты влюблен, что ли, в нее? А-а? Молчишь? То-то. А пожадничал...

Я отодвинул наполненную Пузом стопку, она споткнулась на трещинке клеенки, коньяк плеснулся на стол.

– Меньше трех стаканов мне не предлагать. Чего мараться! Спокойной ночи.

– Постой, постой же! – Пузо опять наполнил мой стопарик, опять стал доказывать, что он импотент, но не в общепринятом смысле слова. Если к его вопросу подойти непредвзято, с пониманием, то это его отклонение от нормы можно считать отходом от стандарта. Как в поэзии...

– И слава богу! Но я-то тут при чем? Скажи мне, при чем тут я, зачем ты мне все это рассказываешь? К чему?..

Я оборвал себя на полуслове, выпил и угрюмо замолчал. А ему только на руку. Разошелся, разоткровенничался, напомнил: когда пять лет назад не выдержал конкуренции, не прошел на высокий, командирский пост в культуре, рядом с ним я один остался. В Москве дело было. Вся делегация наша отвернулась от него, потешалась, когда он к вечеру того решающего и вчистую проигранного дня

перебрал с горя и лез ко всем с объяснениями и с неприкрытой просьбой утешения. На другой день бродили мы с ним по Москве, по ее центру недалеко от гостиницы, по магазинам, по книжным лавкам, и я говорил, что никакой трагедии нет, не повезло сегодня, повезет завтра, жизнь такая вещь, она все события, успехи и неудачи, радости и печали – все, все взаимоуравновешивает. Есть во мне черта – меня больше тянет к проигравшим, потерпевшим, обанкротившимся, они честнее, подлиннее. Тогда он мне понятен был, в Москве, а теперь... Чего вертит? Еще вчера, у Сары Бернар, затем у Штабс-Капитана дома, за человека меня не считал, лез как через китайского болванчика к бабе, а сегодня...

– Исторический роман начал писать, – доверительно сообщил Пузо, доставая из портфеля вторую бутылку коньяка.

– Знаю, – ответил я безразлично. Клонило ко сну, Хеопсов форс-мажор доконал меня. Я нервно зевал. Так ко сну тянет не тогда, когда спать хочется, а когда хочешь оградиться от чего-то или кого-то, избавиться напрочь.

– В архивах приходится корпеть, адова работа. Это тебе не беллетристику от балды гнать, в носу поковыривая. Скажу тебе, ве-е-шь будет, будет нечто!

Выпили.

– Давно мы с тобой не общались, – с печальной задумчивостью в голосе сказал Пузо. – А жизнь несется, как тройка гнедых... Ой да тройка гне-е-ды-ых, – затянул было он, но голос сорвался. Пузо кашлянул, постучал себя по груди. – Надо держаться друг друга, помогать, поддерживать... и словом, и делом. Особенно нам, людям творческим, неординарным, а посему одиноким. С годами все больше людей, с годами все меньше друзей – чьи слова?

– Не помню.

– Твои же, ха-ха... Вот стихотворец, надо же, пишет, печатает, дарит с надписью дарственной и не помнит.

– Не помню.

– Да-а, мало людей надежных осталось. Когда будут брать у меня интервью и спросят, какое качество я более всего ценю в людях, отвечу: надежность. – Он вспомнил друга-миллионщика. – Тоже надежный причал, всегда опереться можно, не подведет. Кстати, душевный человек, поэтическая личность, песни у него свои, как затянет, когда выпьет, – о-о-о-а-а-а-о-о-о...

Не помню, как и когда Пузо ушел. Только две пустые бутылки из-под коньяка доказательством тому, что ночной визит не сон был.

На посадку

Возвращался домой на «Метеоре». До пристани меня провожали Штабс-Капитан и миллионщик на двух машинах. Я ехал со Штабс-Капитаном. Времени у него было в обрез. Он побыл на берегу минут пять, поежился на с цепи сорвавшемся, свирепом ветру, поозирался задавленно – то ли с похмелья, то ли от боли в покусанной руке, то ли от тяжелого, оловянного неба, сеявшего на нас волнами мокрой пыли, опохмеляться отказался, промямлил что-то на прощание и укатил без оглядки, точно от чумы сбежал.

Я не обиделся. Каждый по-своему идет на посадку. Коле Коленвалу, например, необходимо полное одиночество. Мне тоже. Плюс один человек – мама, единственное существо на свете, которому я дорог сам по себе, без должностей и стихов, со всеми своими закидонами, как сын, большой шалунишка и проказник, безжалостно подрывающий свое бесценное для нее здоровье. Рядом с нею я очищаюсь, крепну духом и телом, возрождаюсь, чтобы как-нибудь потом вновь спрятаться у нее под крылышком от избытка своей дури.

Штабс-Капитан выходит из пике на работе, в редакции, в гуще событий, людей, накопившихся дел, на своем капитанском мостике, на своем корабле, который без капитана, как всегда, потрепан зловредными бурями. Его там любят и уж никакой дурной собаке не дадут укусить, никакой поганой сволочи, которой всегда полно вокруг и около настоящего журналиста.

Ветер усилился, серое, тяжелое небо опустилось еще ниже. Мы с миллионщиком спрятались в его машине и неспешно давили «Наполеона». Два его кожаных мордворота бродили по пирсу. «Метеор» железным крокодилом покачивался у дебаркадера в ожидании меня, чтобы заглотить веселого отпускника и переварить его за считанные часы в трезвую конторскую крысу.

– Все равно армянский лючше, – сказал миллионщик, опрокинув складной стаканчик из – по его словам – слоновой кости, во что я ради шутки не поверил, на что миллионщик не на шутку обиделся.

– Из коровьих копыт, – высказал я предположение. Миллионщик понял, что я издеваюсь, и заткнулся, примолк перед тем, ради чего собственно и набился в провожатые, раскошелившись на «Наполеона». Хотя что для него «Наполеон»? Мелочь. Для меня газировка без сиропа дороже.

– У него синяк сошэль, а у меня зуб не вырос, – промямлил он отвлеченно, не решаясь перейти к

главному.

– Зато собака тебя не покусала, – заметил я. – А зуб – велика беда! – золотой вставишь.

– Мы же интеллигентные люди, – наконец понес свою ахиною миллионщик. – Неужели трудно выпустить тонюсенькую книгу стихов?

– Чьих?

– Моих.

– Разве у тебя есть стихи?

– Ладно тебе... Чего ты уж!.. Маленькую книжечку с портретом...

До оплаты наемного труда миллионщик не успел дойти, а я не успел спросить: почему он со своим большим вопросом к своей жене не обратится, она ведь тут у них тоже в поэтах ходит? В подернутое изморозью оконце машины я увидел Мэтра – нашего заслуженного поэта, семенившего в сторону «Метеора». Его провожали, защищая зонтами, два молодых борзописца. Я приоткрыл дверцу, окликнул Мэтра:

– Какими судьбами здесь?

– Времена, времена... – вздохнул аксакал. – Теперь поэта ноги кормят.

Подошли нахально и борзые.

С Мэтром выпили. Молодым принципиально не дали. Миллионщик достал второго «Наполеона»...

Когда двигались тихонечко к гостеприимно опустившей трап белоснежной каравелле, миллионщик все пытался оторвать меня от с неба свалившегося попутчика моего, чтобы, как я понимаю, договорить главное. Но я не поддался.

Качнулся трап, качнулись мы с Мэтром. Кожаные мордороты кое-как удержали пьяного шефа, порывавшегося проводить нас до самых мест на корабле, посадили в машину и укатили. А борзые помахали отчалившему Мэтру и засемили, поживаясь, под усиливающимся дождем.

Глава четвертая

Грач и его дети

У авиаторов есть термин – «флаттер», что означает неожиданно возникшую вибрацию, ведущую к саморазрушению скоростных самолетов.

Нечто подобное случается и со мной, когда скорость и продолжительность полета становятся чрезмерными, когда мои внутренние приборы вдруг все разом зашкаливают, и весь я, от гордого хохолка до пят, со всеми своими потрохами и двухграммовой душой (американцы научно доказали, что душа человеческая столько и весит) начинаю вибрировать и вот-вот развалюсь в самом неподходящем месте. И что интересно (интересно это, конечно, становится, когда всё уже позади), тяжелее всего переносится тряска того самого двухграммового сгустка (или не сгустка – кто его знает) под ложечкой, под дыхом, этого зыбкого облачка (все-таки, наверное, облачка) в груди, обволакивающего временами сердце и растекающегося пузырьками по всему кровеносному дереву, по каждой жилке, капиллярчику... Ох, несносна ее боль – боль души человеческой! «И прекрасно! – говорит в таких случаях Коля Коленвал. – Значит, она у тебя есть». Лестно, но малоутешительно.

Друг мой Грач (кроме Штабс-Капитана у меня есть еще друг детства), по профессии врач, по призванию непризнанный прозаик, один из тех, кто с наслаждением пишет в стол, а также самодельный философ, говорит по тому же вопросу следующее: «Успокойся, больше внимания давлению, обмену веществ, а душа... Это у тебя не душа болит, просто повышенное выделение адреналина в крови. Оттого и беспокойство, смятение... Пройдет. Нет ничего в нашей жизни, чего нельзя было бы перетерпеть».

Так он наставляет, пока я прохожу у него реабилитационный курс.

Я живу у него с неделку после дня-другого (самого тяжелого времени), проведенных у мамы. Я бы не стал ее, больную, волновать и беспокоить – с ходу к Грачу, но у него двое малых детей на руках, а жена год назад погибла. А тут еще я в предсмертном состоянии на шею, да? Нет. Я прихожу к нему через пару дней душевно больным – верно, но физически почти здоровым. Прихожу не столько ох-ах-пациентом, сколько помощником в его нелегкой семейной жизни. Я берусь за самую черную работу, становлюсь поваром, прачкой, нянькой, провожатым... И в движении, в работе, в заботе не о себе возвращается мое душевное равновесие. Из отпетой скотины я превращаюсь опять в более-менее человека.

В свое время Грач тоже пошаливал. Конечно, никакого сравнения со мной и мне подобной шатией-братией, но своя шалая толика была, которую за год вдовства он безусловно и с лихвой окупил. Помню, поссорился с женой и в ее присутствии говорит мне: «Знаешь, какое стихотворение считаю

самым сильным?» И читает:

Жена в земле... Ура! Свобода!
Бывало, вся дрожит душа,
Когда приходишь без гроша,
От криков этого урода.
Теперь мне царское житье.
Как воздух чист! Как небо ясно!..

И так далее, весь «Хмель убийцы» Бодлера до конца и с выражением.

Приблизительно через полгода после этого его жену задавил пустой – водитель отлучился в магазин – автобус. Машина сорвалась с тормозов и понеслась с горки вниз по улице, сокрушая все на своем пути – легковушку, сапожную будку, двух прохожих...

Нет, не кричал он на ее могиле: ура, свобода! И свободней с двумя детьми не стал.

Какая же язва я! Будто есть на свете идеальные семьи с правильными, без сучка и задоринки мужьями и женами. Кстати, одна из повестей Грача называется «Правильная жизнь». Не читал, о чем, интересно? А над названием, помню, посмеялся.

С Грачом остались семилетняя первоклассница-дочь и годовалый сынишка, чудные белокурые создания, капля от капли покойная матушка. Сперва он – грачиный шнобель, иссиня-черная шевелюра – пытался доказать, что светло-русая, нос пуговкой дочь похожа на него: разрез глаз, мол, еще что-то... После трагической смерти этот большой вопрос как-то сам собою отпал. Нам же, друзьям и родственникам, с первого взгляда и без доказательств было ясно, чьим живым портретом были белобрысые и курносые грачата. Моя дочь ведь, между прочим, тоже светленькая. И сам я в детстве был как снегом припорошенный. С годами снег растаял, чтобы покрыть потом голову моего ребенка. Цвет волос наших детей был первое время объектом плоских шуток особо умных острословов. У нас с Грачом они вызывали лишь снисходительную улыбку.

Тяжелее всех трагическую смерть перенесла дочь. Во время похорон с ней произошла истерика. Ее отхаживали нашатырем и какими-то каплями, которые предусмотрительно прихватил отец.

Время лечило медленно. Дочурка часто, особенно перед сном, вспоминала о матери. Она задавала такие вопросы, от которых мороз по коже пробегал: останутся ли у мамы целыми волосы, едят ли ее червяки, а что если мама крепко-крепко уснула и под землей проснется? А порой ни с того ни с сего (ясно, с чего) начинала скулить и дрожать всем телом, как брошенный на холоде кутенок.

Скоро отец строго-настрого запретил ей вести такие разговоры и стал самим же избалованное дитя загружать и перегружать домашней работой, которой без хозяйки оказалось невпроворот.

Осенью, с началом учебного года, забот прибавилось. Кроме общеобразовательной школы дочь занималась еще и в музыкальной, и Грач всеми силами старался удержать жизнь семьи на прежнем уровне.

Жили в общем-то на сбережения, правильное сказать, на деньги с распродажи домашнего имущества; на кое-какую врачебную практику, периодически я подкидывал шабашку – рецензии, обзоры писем, сценарии для самостоятельных коллективов богатеньких предприятий, а то и внаглую организовывал вывернувшиеся из-под фин.-бух. спуда дармовые деньги. Пособия? Курам на смех. И такая морока, чтобы получить их. Чуть ли не в женщину, чуть ли не из отца в мать заставляли превращаться. Одинокие отцы в нашем государстве, оказывается, не предусмотрены. Тут еще жизнь со скоростью света стала дорожать, деньги обесцениваться. Но концы с концами Грач сводил. Тяжело вот было поспеть за всеми теперь своими обязанностями отца и матери. Как тут Герцена не вспомнить: преподавать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка. А у него не один был... Зато сам он один.

Навешали Грача с грачатами его родная сестра и старуха мать. Помогали как могли, гостинцы приносили, оставались с детьми, когда Грач по важным делам отлучался. Но у них и своих забот хватало.

Той осенью, когда я завалился к Грачу после «Зеленых Горок», дочурке его было восемь с половиной лет, она пошла во второй класс, сынишке – год и семь месяцев, в ясли он не ходил, и не только потому, что не научился еще справлять свои естественные надобности в горшок, а потому, что не было Грачу, как не имевшему постоянного места работы, путевки в детское дошкольное учреждение. И теперь мне первым делом предстояло поднять связи и решить этот смехотворный (сквозь слезы) вопрос.

Червяки не кашляют

Творческое богатство Грача составляли два рукописных романа, пять или шесть (по-моему, все-таки шесть) повестей, пьеса и два десятка рассказов, не считая сотни стихов, написанных еще в школе.

Публиковать свое наследие он не собирался, так как считал: главное в творчестве – само творение, жизнь со своими героями, чувствами, мыслями, а не публикация – попытка самым беспардонным образом материализовать духовное. Он страшился печатать свои вещи, как иной больной страшится выставлять напоказ свою язву или опухоль, – полезет хирург и сделает больно, а непосвященный... а на кой чужим свои болячки демонстрировать? Грач не страдал манией величия, но был уверен, что рукописи не горят. Правда, одну повестушку я уговорил опубликовать и пристроил в молодежном журнале. Публикация эта, к сожалению, лишь подтвердила его опасения. Повесть сократили, грубо отредактировали. Короче, полезли и причинили боль. Не отрицаю, у Грача-прозаика – а прозаиком я считаю его вполне состоявшимся, без дружеских скидок, – немало длиннот, повторов, но, но... Можно же было как-то поаккуратнее, поделикатней, что ли, не ломая, так сказать, костей. Сам я виноват, не проследил.

Незадолго до смерти жены Грач взялся за новый роман, но катастрофа перечеркнула планы. Одному с двумя детьми писать невозможно. Сперва шебаршился, корпел по ночам над десятком начальных страниц, но быстро понял, что на два фронта не поспеть, и успокоился. Личная жизнь почил в бозе. Точнее сказать, личной жизнью стала жизнь детей, о чем на языке граммов, градусов, сантиметров, гемоглобинов и т.п. заговорил его дневник, который он вместе со мной начал еще в школе.

А еще Грач записывал – нет, не иссушить заложенного природой! – интересные словечки, фразы, придумки разные, пригоршнями сыпавшиеся из сахарных уст дочери (сынишка все еще изъяснялся на ему одному известном языке).

Дочь у него, надо отдать должное, шустрая, смышленная и большая выдумщица. Я и сам сколько раз пересказывал Грачу ненароком услышанное из ее самостоятельного фольклора. Помню, вез ее от бабушки домой. На улице ночь, пустынно, холодно, ни трамвая, ни троллейбуса. Она говорит: поехали на такси. Я отвечаю: у меня денег не хватит. Мне же, говорит, бесплатно. А я тогда как? Скажу, что этот дядя со мной. Ей тогда годика четыре было. Однажды спрашиваю: ты что на диване делаешь? Расту, отвечает. Ругаю: не крутись, как червяк. Она кашлянула и: я не червяк, ведь червяки не кашляют.

Пацан тоже чудо. Но по малости лет с сыном больше возился отец. Я же частенько попадал с ним впросак. Раз остался смотреть за ним, чтобы во второй половине дня к определенному часу пойти в поликлинику. Рассчитал до минуты – когда одеваться начать, когда из дому выйти.... Все по намеченному шло. До лифта. А в кабине лифта боец мой навалил в штаны. Притих, таинственно посмотрел на меня – и готово. Только ноги для удобства пошире расставил. Пришлось возвращаться.

А об водке ни полслова

– Октябрь уж наступил – уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей... – читает нараспев наша белокурая второклассница, поправляя тыльной стороной ладони стриженные волосы. Постриг ее отец во время моего отпуска. Замучился, говорит, с этими косами, заплетай их, расплетай.

– Дохнул осенний хлад – дорога промерзает... – Короткие пшеничные стебельки не держатся за ухом, и она снова и снова откидывает их, не выпуская из руки гигантского столового ножа. Юная хозяйка, встав на детскую табуретку, чистит над мойкой картошку. Я тоже на кухне, снимаю с окна сетку от мух. «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». – Это я про себя, внутренне, чтоб не мешать чтице.

На дворе изумительный солнечный день, ни дать ни взять лето, если б не «в багрец и в золото одетые леса...».

За окном и в самом деле лес.

Квартиру Грачу полтора года назад дали на окраине города, в новом микрорайоне, за которым сразу раскинулись бескрайние, сказочные леса.

От центра далековато, но зато три комнаты, третий этаж (третий подъезд, обыкновенно шутит Грач, автобус номер тридцать три) и тишина, и свежий, чистый воздух, земляника, грибы... зимой на лыжах раздолье – не отнимешь. Курорт! В самый раз для меня, уставшего от пустого суесловия, суесумия, суе... Суета сует, и все суета и томление духа. Даже ведь пьем как-то суетливо, даже любим как-то всуе. И полеты наши – вовсе не полеты, а так – прыжки на месте с тщетным и смешным размахиванием худосочных рук.

– Унылая пора! Очей очарованье!

Грача дома нет. Летаёт по магазинам. Бубенчик его, или, как называет сына Грач – Ежик (из-за жестких, коротко стриженных и оттого немного колючих волосиков) отбывает тихий час в детской. Где-то в вышине упрямая рука мучает пианино. Воскресенье. Я начинаю новую жизнь. В который раз. Но всегда кажется, в последний и навсегда.

Заменив сетку на окне, я, как стартер будущего своего автомобиля, кручу ручку мясорубки, накатываю фрикаделек, и мы с хозяйкой заварганиваем первоклассный супец.

Пока он на газу доходит до мировых образцов, спешим в «кабинетную» пощелкать задачки по математике. Задачки простенькие, но клякса, сорвавшаяся с пера прямо на белоснежную гладь тетрадки, удручающе огромна, и убрать ее очень и очень непросто. Но я берусь. Я беру новенькое лезвие и вспоминаю себя молодым, студентом-технарем, когда тушь, ватман и лезвие были моими постоянными спутниками. Но тут не ватман, на котором лезвием орудовать легко и приятно, как лопатой по первому снежку. Тонкий листок ученической тетрадки мигом прохудится. Тем интересней. Я дугой выгибаю свое лезвие, прищуриваюсь и... Кляксы как не бывало.

Облегченный вздох, триумф победителя, рев трибун, трещотки, звонки, звонок...

Звонок в дверях квартиры еле слышен. Специально. Чтоб ребенка не пугать.

Это возвращается из похода отец. Бесшумно (Ежик спит) встречаем, потрошим тугие авоськи, усаживаемся за стол. Произведение нашего искусства – суп с фрикадельками – источает неописуемый аромат. Хозяйка достает тарелки, ложки, вилки...

Хозяйка да хозяйка... Имя у нее есть. Лисичкой я ее зову.

Лисичка достает и супницу, которую брала только мать по праздникам. Я помогаю перелить.

Отца к священнодействию не допускаем.

Бубенчика (я его Ежиком не зову) на обед не будим, у него свое расписание.

Наперебой с Грачом хвалим царский стол.

У Грача получается лучше. Лисичка на седьмом небе от счастья, но хочет показать, что для нее это дело обычное, что у нее, однако, не совсем получается.

Помыв чашки-плошки, усердная хозяйка вновь превращается в непоседливую девчонку и убегает с заглянувшими за ней подружками играть на улицу. Мы с Грачом принимаемся готовить капусту к засолке. Надо поторапливаться. Проснется разбойник, не даст ничего толком делать. Некоторое время трудимся молча. Затем, как обычно, слово за слово – поехали в страну-говорильню.

– Вот он, смысл жизни! – говорю я, лихо орудуя тяпкой. – А мы философствуем, копаемся...

– Чеснок будем добавлять? – спрашивает Грач.

– Значит, чтобы нормально жить, – отвечаю я, – чтобы нормально жить и не изводить себя размышлениями о смысле жизни, надо постоянно что-то делать.

Минуту молчим.

– Вопрос о смысле жизни... – завожусь окончательно, – это банный лист, который неотступно следует за мужчиной до конца жизни.

– Почему только за мужчиной? – интересуется Грач.

– Потому что женщина больше дитя природы. И продлив род, выполнив свое предназначение, она удаляется спокойно, не как мы, тоскуя и стеная на весь мир. Ведь кроме детей мужчина должен оставить на Земле еще что-то. И насколько это что-то дельно и весомо, проживет ли оно дольше твоего живого наследства и послужит ли другим – вот вопрос.

– Слишком мелко рубишь, – ворчит Грач.

– Вот я и говорю, не умеем мы, как женщины, жить для жизни. Мы всегда живем ради какой-то идеи, для какой-то далекой умозрительной цели. Короче, в целях цели. А надо жить не в целях, а просто так, дышать ровно, пока дышится, пока не скрутила тебя какая-нибудь лихоманка, пока не болят твои дети и не призывают тебя, черт возьми, на войну. Вот говорят: не живи одним днем. А я подозреваю, как раз надо жить одним днем. Думай не думай о завтрашнем дне, готовься не готовься к нему, он все равно, если, конечно, дуба не дашь, придет. Совершенно без твоей помощи. Если к чему-то и готовить себя, то только к худшему. Впереди разочарования, болезни, крушение идеалов, превращение романтика в циника и апофеоз жизни – смерть.

Убеждение ли это мое или настроение, которое ежеминутно меняется, или это для Грача, для поддержки его в ежедневной семейно-бытовой круговерти? Или просто моя чрезмерная разговорчивость означает выздоровление...

В детской подает голос Бубенчик. Грач мчится к нему, тащит его, обсиканного, в ванную, затем переодетого и улыбающегося в теплую от газовой плиты кухню (отопление еще не включили), не переставая разговаривать с ним:

– Вот и поспали мы, вот и проснулись, а теперь на полдник яблочного пюре покушаем, а то поэт наш о смысле жизни лекции читает. Говорит, мой смысл – это ты. А ну-ка, смысл жизни, открой ротик, ну, Ежик... Погримасничал бы, не ест ведь.

Это уже мне.

Я бросаю тяпку, встаю на табуретку, обезьянничаю, жужжу шмелем, раскидываю руки самолетом, падаю на пол подстреленной птицей... Мой зритель удивленно открывает рот и моментально получает ложку яблочной кашицы.

В дверь стучатся. Это Лисичка вернулась, не достает до звонка, да и нельзя в тихий час звонить.

Бегу открывать.

– Чего барабанишь? – сердится отец. – Пожар, что ли?

Та с порога:

– Папа, у Матильды родились четыре болонки!

У папы застывает ложка в руках:

– Она же дворняжка.

– А у них папа болон.

Грач запикивает своему грачонку последнюю ложку:

– Так на чем мы остановились? О смысле жизни, кажется, говорили...

А я думаю: подняться бы с ними на палубу белого парохода и плыть долго-долго, бесконечно по синей, тихой реке с зелеными берегами и перистыми облаками на горизонте. Да еще мою дочь прихватить. Вот смысл был бы!

Жениться тебе надо

Ночь. Грачата смотрят десятый сон. Мы с Грачом предоставлены самим себе. Не совсем самим себе. Грач сидит перед телевизором и штопает сынишкины колготки, я глажу белье.

Я вожу утюгом по трусишкам, штанишкам, майкам, платяцам, простынкам и рассказываю о своем отпуске, о новых знакомых, о своих и Штабс-Капитана приключениях. Постепенно начинает ломить спину. Вверх, ближе к холке.

– Интересно, – говорю, – у Пушкина было четверо детей, а он хоть одну пеленку за свою жизнь выстирал?

– Пушкин?.. – Грач где-то витает. Собираю волю в кулак и утюжу, утюжу, утюжу... Гора сморщенного и пересохшего белья уменьшается.

– Слушай, жениться тебе надо!

Грач понимает:

– Устал?

– Нет, спина... Я же говорил... И «Зеленые Горки» не помогли. Хвалили, хвалили...

Грач откладывает штопку. Скрывается на кухне. Возвращается с каким-то пузырьком:

– Ложись, натру.

Я нехотя скидываю рубаху, майку...

– Что за гадость? – киваю на пузырек.

– Ложись, ложись, хуже не будет. – Грач засучивает рукава и принимается обрабатывать мою спину. Впечатление такое, будто он хочет отодрать мясо от кости, а то наоборот – протолкнуть меж ребер, проткнуть меня своими железными пальцами, раздавить ручищами. Откуда столько силы в нем, не атлет, казалось бы? Я охаю, кричаю, но терплю. В нос бьет резкий запах, что-то вроде змеиного яда или тигровой мази.

– Здесь больно, здесь? – пытается обнаружить очаг зловерной болезни Грач. Раньше я ее и за болезнь-то не считал. Поболит, поболит – перестанет, думал. Но шло время, на «Зеленые Горки» вот съездил. А толку? Сперва вроде было облегчение, когда летал-то со Штабс-Капитаном. А встал у Грача к гладильной доске да помахал утюжком часок – все мое при мне оказалось, никуда не подевалось, не исчезло.

Таки нащупывает Грач пару каких-то ненормальных позвонков. Я вскрикиваю от боли:

– Очумел?

Грач молча отпускает меня. Ему что-то ясно. Но не мне. Он что-то понял. Весь его грачиный вид говорит о том. До чего же противны врачи! Уж насколько Грач друг – и тот строит из себя кого-то, не пояснит членораздельно. А я между тем чувствую облегчение. Хочу опять к гладильной доске встать.

– Лежи уж, – останавливает меня мой эскулап, закутывает пуховой шалью, накидывает сверху одеяло, бубнит что-то себе под клюв, из чего я понимаю лишь то, что мне необходимо сделать рентгеновский снимок. Ладно, снимок так снимок.

– А тебе все равно жениться надо.

– Зачем?

– О детях своих подумай...

Грач берет гриб-штопку, дырявые колготки... Я, человек упрямый, встаю все-таки, включаю утюг и продолжаю прерванную мысль:

– ...и о себе тоже.

Грач не перебивает, сопит в две дырочки, штопает.

– женишься вот, и все встанет на свои места – опять романы строчить начнешь, людей лечить будешь, исповеди их слушать, сюжеты новые... А то смотри, деградируешь. Детей вырастить

вырастишь, из гнезда отчего выпустишь, разлетятся они по свету, ну а сам? Кому ты, старый, потом нужен будешь, без специальности, без практики, с ограниченной потенцией. Сам знаешь: хирург, как пианист, без ежедневных тренировок пропадет. Да и писатель тоже. Да и мужик...

– Может, объявление в газету дать: брюнету с трехкомнатной квартирой требуется сожительница и мачеха его детям?

– Ма-че-ха... – Я тоже горяч. – Сделали из слова жупел. Моего двоюродного брата вот мачеха воспитала. Я бы многим такую мачеху пожелал. А почему, скажи, сожительница?

– Потому что женой мне никто уж быть не сможет.

Переборщил я. Надо было как-то в обход... Грач не раз говорил, что только после смерти жены в полной мере понял, кем она ему приходилась, как он любил ее, насколько она была ему душой, мозгом, кончиками пальцев... Но я не сдаюсь:

– Надо трезво смотреть на жизнь... – И так далее, все то, что говорится в таких случаях. Я напорист и, как мне кажется, убедителен.

– Все белье спалишь, – возвращает меня на землю Грач. Из-под забытого на простыне утюга валит пар, переходящий в дым. И уж не змеиным ядом пахнет в комнате, а небольшим пожарчиком.

Я хватаю утюг, трясу бутылкой-распылителем, суечусь, но с генеральной мысли своей не сбиваюсь.

Третий закон Ньютона

У Грача упрямый и независимый характер. Я говорю ему:

– У любого человека есть человек, которому он беспрекословно подчиняется. У любого. А вот тобой, таким независимым, кто командует?

– Дочь, – отвечает.

Я и сам это вижу. Еще при жизни его жены видел. Но всю полновесность его на первый взгляд шутилого ответа понял в свой у него восстановительный период после «Зеленых Горок», в запоздалое бабье лето, которое продлилось до первых чисел ноября.

Первого ноября (хорошо помню эту дату) я пришел к Грачу со своей соседкой по этажу, милой, доброй очаровашкой, работавшей воспитательницей, вернее, музыкантшей в детском садике прямо у нас во дворе. Расчет прост был – и симпатична, и с детьми умеет обращаться, как-никак профессионал в этом деле, что в нашем с Грачом случае было немаловажно. Мужчин она побаивалась. В семнадцать сходила замуж, да нарвалась на жуткого алкаша и дебошира, по профессии бульдозериста, загребавшего неплохие деньги, но до дому их не довозившего. Она вернулась к матери в однокомнатную квартиру с уверенностью, что замужняя жизнь ей больше не нужна, в гробу она видела этих вонючих мужиков. Я объяснил ей: бульдозерист и врач-писатель – существа разных вселенных, я развернул перед ней образ Грача во всем блеске, насколько позволяли мне мои поэтические способности. И соседка сдалась:

– Ну разве что познакомиться...

Грача о визите не предупредил. Подготавливал исподволь, без конкретики, которая, как известно, страшит нашего брата. Мероприятие продумывалось тщательно. Вероятность успеха была ли, не была, но ведь под лежащий камень и вода не течет.

Прикинул день – лучше субботы не найти.

14.00. Как мыши, скребемся в дверь (звонить в тихий час – боже упаси!), переминаемся с ноги на ногу, перекладываем из одной руки в другую гостинцы.

Чик-чик – первая осечка: дверь открывает Лисичка, а мы думали, она на музыке.

Лисичка рада мне, подозрительно озирает незнакомую гостью. Я возбужденно-весел, чрезмерно говорлив и шутилив, вручаю блок жвачки в обертке редкостной привлекательности. И что хорошего в этой гадости?

Выползает из камбуза в своем обычном домашнем рванье Грач, ойкает, увидев, что я не один, поспешно скрывается и уж из укрытия кричит дочери, чтобы она принесла одежду.

Не считая нюансов, все по плану.

Пока хозяин с хозяйкой пропадают, проходим по-свойски в большую комнату. Моя спутница, окинув взглядом книжные ряды, достает наугад толстенькую книгу, читает вслух название:

– «Третий закон Ньютона».

– Интересная вещь, – поддерживаю ее случайный выбор. – Читала?

– Не-е, – отвечает и пожимает остреньким плечом: – И закон-то этот позабыла. А ты?

– Я?.. А это ведь рассказы, – выхожу из положения, – проза.

Третьего закона Исаака Ньютона я, естественно, тоже не помнил. Автора книги вот, двухметрового

молодца с бородой, помнил, и сколько с ним на спортивной базе под Сухуми выпили, тоже приблизительно помнил, а Третий закон великого Ньютона и вообще сколько их у него, этих законов, убей бог, память отшибло.

А педагог мой, как назло, решила освежить память, просит напомнить дурацкий закон.

Спасает Грач. Он появляется в чистой, светлой рубашончке, красивенький такой. Здравсьте – здравсьте... Все чин чинарем. Но почему он один вылез?

– Где Лисичка? – спрашиваю.

Пожимает плечами.

Зову ее, ищу... Она, оказывается, в детской, качается на качеликах и смотрит в окно, на самодельную кормушку из молочной коробки на дереве, которую, как качели, раскачивают две синички.

Я снимаю ее с качелей, тащу за собой, она упирается, не хочет знакомиться с тетей.

– Ты чего? – удивляюсь. – Я тебя не узнаю.

– Те-с! – кивает она на спящего в кроватке братишку. – Проснется, сам укладывать будешь.

Появляется отец, что-то строго шепчет ей на ухо, берет за руку, и строптивая дочь повинуется.

Я говорю:

– Может, Лисичка на улице погуляет?

– Нет, пусть с нами будет.

Зачем это надо было Грачу? Как он собирался налаживать отношения с музыкантшей в присутствии дочери? Или специально, чтоб женщина видела, что у него дети, чтоб, в свою очередь, и дочь видела ее?..

Ну и добился своего. Когда немного посидели и музыкантша захотела послушать игру маленькой Лисички, маленькая показала характер.

– Не буду, – говорит, – играть. И все.

– Почему не будешь? – Черед отцу удивляться.

– Не буду.

– Почему?

– Не хочу.

– Тогда иди гуляй. – Отец уже сердится.

– Куда?

– На улицу.

– Не хочу.

Свое педагогическое мастерство пытается продемонстрировать музыкантша – и так, и эдак... Туго. Наконец спрашивает:

– На кого ты такая похожа?

– На маму.

Я берусь за щеку, будто у меня зуб заныл.

Грач с треском раскладывает стол-книжку, накрывает скатертью...

– Тогда идите, – говорит, – уроки делайте. – Ставит на стол рюмки, достает бутылку вина...

Мы с Лисичкой предоставляем молодым остаться наедине.

...Я долго молчу. Взвешиваю ситуацию, слежу, как Лисичка пишет упражнение. Наконец спрашиваю:

– Почему на пианино не сыграла? Ведь тетя пианистка... Она бы послушала...

– Разбудила бы Ежика, кто б его укладывал – ваша тетя-мотя?

Лисичка и есть Лисичка. Прислушиваюсь: у Грача с музыкантшей, чую, не получается там.

И точно. Заявляется:

– Пойдем...

– Ладно, – соглашаюсь я, – но пить не буду.

– Тебе никто и не предлагает. Привел гостя – развлекай.

Чего проще! Я лихо вскакиваю на своего конька, и он несет меня таким аллюром, музыкантша – рот варежкой. Легко трепаться, анекдоты травить, когда судьба твоя тут не решается. До того дотрепался, что не заметил, как Грач исчез. Нашел его у больного соседа, измерял давление крови.

Потом он скрылся у завозившегося Бубенчика. И с концами. Я проводил гостью до автобусной остановки. Сперва как-то неудобно было, притащил человека на свою голову... А потом оказалось – ничего...

Говорю Грачу вернувшись:

– Ты ей понравился. Жалела, что на сынишку взглянуть не смогла.

– Мне она тоже понравилась, – неожиданно сказал Грач. И добавил, озираясь на дверь: – Но твоя Лисичка сказала...

- Что она сказала?
– Сказала, что если эта тетя-мотя... вместо... мамы... то она... в окошко выбросится. Понял?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Когда-то любое слово
было стихотворением.

Ралф Эмерсон
Из книги «Опыты»

Глава пятая

Конец подкрался незаметно

В Центре ввели строжайший и бездушный контроль над произведениями, для авторов наступили черные дни. Автор собственноручно вводил табличку в машину, а электронный мозг –экая bestia – за несколько минут проверял, не создал ли уже кто-нибудь на планете сейчас или в прошлом чего-либо подобного. Автомат безошибочно устанавливал степень оригинальности замысла... «На 90% гибрид Платона с Хемингуэем, приправленный 50%-м мезальянсом с Чарской... Оригинальных мыслей – 0%. Благодарим за внимание. Мы всегда к вашим услугам. Желаем дальнейшей плодотворной работы». Ко всему этому мозг добавлял: «Просим не захламлять приемную отвергнутыми таблицами. Корзина за дверью».

Витольд Зегальский.
Писательская кухня

В детстве я любил рисовать. Я был первым живописцем класса. С каждым годом я рисовал все лучше и лучше. Мне прочили стезю художника. И я в это верил, пока не протрезвел в армии, поработав бок о бок с Бородой и Земелей.

В детстве я любил играть в шахматы. И осмысленно играл уже годика в четыре. И мастерство мое росло не по дням, а по часам. Но чем лучше у меня получалось, тем скорее я остывал к древней игре, прямо-таки заставляя себя садиться за доску, пока наконец не забросил окончательно, вчистую проиграв однажды одному средних способностей гаврику, которому с форой-то раньше не проигрывал. От скуки проиграл. Взял да и проиграл и не поехал на турнир. Специально отдал партию (зевал в прямом и переносном смысле – над доской и на доске)... И все. И чтоб больше не досаждали.

А теперь вот опять нечто подобное, когда заставляю себя сесть – не за шахматную доску – за письменный стол и изо всей мочи пытаюсь призвать Аполлона с его волшебной кифарой потрудиться во благо отечественной словесности. Но нет. Хоть убей, не тянется рука к перу, а перо к бумаге, и стихи свободно не текут. Навыки, приемы, какая-то техника пылятся в голове ненужным хламом. И как древесный червь, изо дня в день, из года в год точит мозг одно и то же: все старо и избито, и не жилься попусту, в этом мире ничего нового сказать уж не дано. Тем более тебе, задавленному своим же откормленным до циклопических размеров саморедактором. Утро твое давно и безнадежно мудренее вечера.

Но тавра на лбу моем окружающие пока не замечают. С виду пока все очень даже о'кей. Книжки выходят, в журналах там-сям то рожица моя цветущая, то имя беспрестанно мелькают...

Но я-то чувствую, я-то всеми фибрами чувю, что я давно уже все – копец (не конец – копец. Так в детстве говорили. Это хуже, чем конец). Хотя какая разница! Как там:

...Занавес опущен,
Пустеет зала.
Не антракт – конец.

И ведь не плюну, не опрокину все к чертовой бабушке, как шахматную доску в свое время, когда был мал, глуп, но честен. Нет, корячусь, чертиков на полях рисую, по профилю карандаша клеточки, узорчики лезвием вырезаю, а сижу, высиживаю.

Хорошо Коленвалу. Строчит свои шедевры в свое удовольствие, читает их в пивнушке первой залетной душе, сразу же и дарит там на память или, когда дома, в тумбочку свою фанерную складывает; родит стишок-другой, а когда и поэмку – фьють в тумбочку, облегчилась душа, не даром день прожит. И чихать он хотел на издательства, на редакции... Птица родится птицей, ей не надо доказывать, что она птица. Коленвал есть Коленвал, ему не надо, как кое-кому, из кожи лезть, чтобы поддержать свое литреноме. Ему стихи писать, как печь топить, как голубей гонять на крыше... Как он там сказал:

Я поэтами долго лечился,

Но стихами души не унять.
А стихи я писать не учился,
Как собаки не учатся с...ть.

Вы представляете себе, что такое коленчатый вал? Вот и он весь сверху донизу, изнутри и снаружи из кривошипных узлов. Полустарик, полумальчишка с седеющей проволокой волос и синими, по-детски вопрошающими глазами... А еще, старшее поколение помнит, наверное, коленвалом в оны годы называли в белой бескозырочке бутылку сорокаградусной...

Что это я о нем заладил?

Потому что он – Поэт, а ты – ряженный. Он – Моцарт, а ты...

Ну уж, пардон, это слишком. Не отрицаю, Коленвал – глыба, но сколько я выручал его, от края пропасти отводил. Уж не буду мелочиться, расписывать... В конце концов я вырывал его стихи из огня – в прямом смысле слова, он хотел однажды ими печь растопить (а говорят, рукописи не горят) – вырывал и печатал. И во всеуслышание говорил, что он среди нас первый. Скажите, легко ли это заявлять, когда ты и сам стихи кропаешь?

Коленвал живет, как и подобает настоящему поэту, в халупе. Один. Не считая кота. Роскошного сибирского зверюги Цезаря. Отапливается их обиталище дровами, санустройства – помойное ведро в сенях под жестяным умывальником. А под кроватью сто или тысяча башмаков, начиная с подростковых размеров, в которых он, наверное, еще в школу бегал. Однажды я остался ночевать у него, снял мокасины, запихнул по неопытности под кровать, а утром среди сотен других найти свои уже не смог и потопал домой в каких-то несурзных и разных.

Не утром, а когда только забрезжил рассвет.

Тогда еще и Грач участвовал в наших полетах. Мы сидели втроем – Грач, я и хозяин дома – Коленвал, стало быть. И конечно, Цезарь. Позже завалился Мэтр с какой-то бабой. Время около полуночи было. Все пьяненькие. Тогда-то я и выдал впервые, что Мэтру, как поэту, до Коленвала как до неба. Или по-другому как-то сказал, но смысл приблизительно таков. И принялся его бабе стихи Коленвала читать. Вот, мол, стихи какие бывают, вот она – Поэзия. И еще какие-то сентенции, превозносившие Коленвала и уничижавшие всеми признанного Мэтра.

Мэтр, этакий Бунин с седеющей бородкой, слушал, слушал, да как зарычит, да как бросится на меня. Я-то помоложе, половчее – отскочил. Мэтр не рассчитал своей прыти, споткнулся обо что-то и приземлился на четвереньки у ног моих. Я уж не стал больше... И это все каким-то образом на крыльце происходило, в кромешной тьме. Увела его баба. Зачем все это мне надо было? Каких только дров по пьяни не наломаешь!

А Мэтр странным образом после этого крылечка зуба на меня не занимел.

С Грачом и Коленвалом ужин мы тогда наш продолжили. Коленвал, простой мужик, ободренный и вознесенный мной, разошелся. Стихи читал:

Пью чай, жую кусочек хлеба,
Читаю, чтобы не завьить.
Гляжу в бесчувственное небо –
Пытаюсь бога не забыть.

Философствовал:

– Есть писатели-художники, а есть писатели-мыслители. Писатель-художник может на ста страницах описывать, как он достает из кармана спички, а писатель-мыслитель может на ста страницах размышлять, стоит ли те спички доставать...

Уму-разуму наставлял:

– Поэзия – это любовь. Нет любви – нет Поэзии...

Мы с Грачом тем временем скинулись, и Грач улетел за добавкой. Первый час ночи? Ну и что!

Волшебная ночь

А у Коленвала любовь была. Сколько он ей стихов посвятил! Трагическая любовь. Она у него, бедная, совсем молодой умерла. Но не буду... Прав он только: бога б не забыть...

Грач вернулся скоро. И пятнадцати минут не прошло. Но не с бутылкой, а с бабой (когда поддашь основательно, все женщины, девушки... становятся бабами). Мне она понравилась – симпатичная, с ногами, в белой короткой шубке, синеглазая – Снегурочка из лесу, и только! А может, мне показалось, что она ничего была, ведь, когда поддашь основательно, все женщины становятся очаровательными.

– Что мы с ней делать будем? – поинтересовался я, когда парочка, раздевшись и миновав темную, кишкообразную прихожую, присела в «зале» на кушеточке.

– Выпьем, – крикнул Коленвал, – вместо бутылки.

– Где он ее подцепил, интересно? – не переставал удивляться я.

– А их тут, кварталом ниже, пачками...

Снегурочку скорей всего не Грач подцепил, а она его.

Вообще-то насчет женщин Грач скромн и застенчив. Он и не пил, и не курил до моего второго после детства сближения с ним. За его перевоспитание я принялся серьезно. В смысле – шутейно, конечно. Сам-то я что, специалист, что ли, был? Ну так вот: с водочкой получалось лучше, а девочек он просто боялся. «Тоже мне прозаик! – говорил я ему. – Тебе даже как писателю это необходимо».

Однажды семена воспитания проклюнулись. Посидели мы раз хорошо в кабаке, с девочками какими-то познакомились. Вышли – а ресторан на берегу реки, а берег в густом ивняке, – идем тихонечко стайкой бесформенной, то есть еще не разбившейся на пары, воркуем мило, вдруг Грач цап одну на руки или даже на плечо, как абрек, и в кусты. Вот смеху было. Но это он перепил, конечно. С другой стороны, таилось в нем, значит, что-то, что при поверхностном взгляде было не различить.

Проклюнулись семена мои – это да, но дальнейшего бурного роста не возымели. И в полетах он почти не участвовал. Взмахнет пару раз крыльями – и в сторону, никто и не заметит, как Грач исчез. Девочки?.. Быть может, своего грачиного носа стеснялся? С детства была у него какая-то угловатость, я бы даже сказал – девственность, от которой он, как ни старался, избавиться не смог. И вот второй случай... Со Снегурочкой. Трезвый на это он никогда бы не решился. Сидят на диванчике... Грач, поглаживая мурлыкающего Цезаря, что-то о поэзии внушает, говорит: любовь – это поэзия. Нет поэзии – нет любви. Снегурочка глазки опустила, руки скромненько на замерзших коленочках... И до нас с Коленвалом никакого дела. Есть мы, нет нас на этом свете... Ну, как мухи – иногда обратят на себя внимание, а так – жужжат, ну и пусть себе жужжат.

– Чего будем делать? – жужжу я.

– Пойду тепер я сбегаю, – жужжит в ответ Коленвал и, напустив в прихожую-кишку клубы январской стужи, скрывается в сугробах Академгородка (почему-то посреди города кварталчик с домами, вросшими по окна в землю, называли именно так. От обратного).

Еще морозная дымка за ним не растаяла, а он уже вновь на пороге с двумя бомбами бормотухи.

Накрыли стол.

Грач спрашивает:

– Можно я с ней останусь?

– А мы куда? – спрашивает Коленвал.

Грач на кишку-прихожую кивает, где неживая во мраке железная кровать таилась, оставшаяся еще от покойной матушки Коленвала.

Выпили по последней (Снегурочка ни одного стопарика не пропустила. Вернее, все подряд пропустила, ни от одного не отказалась), и Коленвал сказал:

– Мои юные друзья! В этом углу ковчеге, неслышно вращающемся в океане Вселенной во времена очень и очень далекие, а может, и совсем недалекие, а всего лишь вчера, жили два скромных человека и очень любили друг друга. И вы, милые мои, должны понять меня, старого: подобное дважды повториться здесь не может. В другом месте и теперь уж в другое время – пожалуйста... Вселенная и время бескрайни. А вы люди свободные, без груза предрассудков и догм... Вот тут еще две рюмочки осталось...

– Вы не подумайте чего... – сказал Грач, слегка заплетая языком. – Ведь наши с ней сердца уже в унисон... Я люблю ее. И женюсь на ней. Она такая красивая! Сам бог мне ее послал в эту волшебную ночь. Неужели вы ничего не понимаете и не оставите нас у себя?

Пришлось вмешаться. Я сказал Коленвалу, чтобы он сбежал еще за одной, а я, пока он отсутствует, провожу Грача.

Грач обиделся. Сказал, чтобы я его не провожал. Я сунул ему денег на такси, и они со Снегурочкой растаяли «в тумане льдинкою».

Растянулись с Цезарем на железной кровати...

Коленвал не вернулся.

Я ушел, как только забрезжил рассвет. В несуразных и разных ботинках без шнурков...

Через пару дней он зашел ко мне на работу. Попросил на пиво. От самого одеколоном прет... Какая большая разница между человеком и поэтом!

Дал ему червонец. А где он ночевал в ту ночь, почему не вернулся – так и не сказал.

Зато Грач о своей волшебной ночи все до самого утра похмельного поведал подробно. Не буду пересказывать, замечу лишь, что он в то время женат еще не был. А потом женился, но не на ней. А с ней у него ничего не получилось, потому что встреча их пришлось на суровое время года, а говоря проще, была зима и не было приюта.

Кифоз

Вспомнилось опять его, коленваловское:

Пишу стихи от боли к боли...
От счастья к счастью песен нет...

Но о каком счастье речь? О каких множествах счастья? Я только одно счастье знаю – это когда пишется хорошо. Пишется и мечтается как мальчишке шестнадцатилетнему. Еще классиками немецкой философии замечено, что счастье – это как раз минуты вдохновения, а до и после – рутина все и ничтожество... Какого бога в небе Коленвал разглядеть хочет? Ясно какого. Бог у нас с ним один – вдохновение. И ему, поэту от бога, без нашего главного бога – вдохновения выть хочется. А что уж обо мне говорить!

Я веду параллельно с дневником три тетрадошки, куда заношу определения трех слов: что такое жизнь, что такое любовь и что такое счастье. Мудрых изречений с годами собралось в них – отдельным сборником выпускай, толстенная получилась бы книжица. Каких имен только нет!.. От Гомера до Коленвала... Но вот листаю тетрадь, в которой скопились сотни различных счастлих, примериваюсь, и ни одно мне не подходит. Кстати, о счастье великие умы человечества знали и размышляли почему-то меньше, чем о любви и жизни (о жизни более всего, о жизни и смерти, точнее сказать).

Счастье...

А счастье, друзья мои, – это, оказывается, когда ничего не болит.

Черт с ними, с этими стихами, рифмами – тщетными попытками переплюнуть саму жизнь! Любая былинка, любой жалкий цветочек на тонюсеньком стебельке совершеннее и гармоничней всех вместе взятых стихов и поэм, созданных или еще создающихся на Земле. Жалкие плагиаторы мы, копиисты жизни сущей и необъятной. Зарифмовать пытаемся ее... Ох как спина болит!

Болит, болит, болит... И никуда от этой проклятой боли не деться. И никакие мази, никакие таблетки не помогают. Разве что массаж... У Грача хорошо получается. Часа на три-четыре после него забываю о своей злосчастной холке, будто позвонки подменили. Но не бросишь ведь все и не будешь лежать у Грача на диване от сеанса к сеансу и в больницу за тридевять земель ради массажа не потащишься.

Счастье... Счастье – это... Но я уже говорил.

По совету и протекции Грача ходил к специалисту, показался. Бородатый костолом долго испытывал меня на прочность – мял, ломал, простукивал, точно мои позвонки – это дверные кнопочки-звоночки, а он, гуляка припоздалый, не может дозвониться до жены своей, задремавшей в ожидании.

Сделали рентгеновские снимки.

Вы знаете, что такое кифоз? Вот и я не знал. Кифоз, переходящий в гиббус, как обмолвился доктор в кругу своих коллег.

Что такое гиббус, в словарях я не нашел. А вот кифоз...

Горб – по-простому.

То-то мама в последнее время мне все: не сутулься да не сутулься. А как не сутулиться, когда болит! Бородатый спец открытия не сделал, сказав, что позвонки у меня как-то не так стыкуются. Грач говорил. Но что мне эта констатация, эти снимки?! Мне точно скажите – согнет меня завтра в дугу или нет?

Вы можете представить себе сто зубов, и все они на спине, и все они разом болят?

Болей таких Коленвалу и не снилось. Только стихи между ними почему-то не случаются (помните у классика: стихи не пишутся – случаются?). И не случаются, и не пишутся, и не вычерчиваются, и не высиживаются. Знаю, Коленвал не о физических болях... Поэтому и не случаются. И еще потому, что я случайная величина в литературе. Если не в жизни.

Самое точное определение, что такое жизнь, дал Брэдбери. Он сказал: жизнь – это одиночество.

Все мужики одинаковые

Два дня прожила в старом кирпичном доме. Там тополь выше крыши, и после обеда солнце пробивается в комнату сквозь его густые ветви. Так что все стены комнаты покрыты шевелящимся узором листьев. Окно открыто, и слышно, как эти листья о чем-то настойчиво шепчут, так настойчиво, так бесконечно, что кажется – еще немного и будет ясно, о чем.

Из письма

После полета со Штабс-Капитаном и акклиматизации у Грача, несмотря на кифозные боли, ходил на работу аккуратно. Запускали новое, серьезное дело, в которое я впрягся со всей оставшейся во мне прытью.

В один из жарких в рабочем смысле слова дней в моем кабинете появилась Пацанка. А у меня звонки телефонные, сотрудники снуют. Она берет с журнального столика свежую газетку, сидит

скромненько. Я кручусь-верчусь, как веретено, не до гостыи. Да и она ноль внимания, газета жутко интересная. Я только и спросил: когда приехала? Сегодня, ответила она.

Первое письмо от нее я получил, когда вернулся от Грача домой. Письмо с кипой газет передала мне соседка, сообщив, что дожидается оно адресата не первый день.

Письмо большое. Убористый неженский почерк...

«...Я оттого оступилась, что не подозревала твоей незрелости. В стихах ты кажешься всепонимающим. Не говорю, что ты хуже, чем я думала. Моя вина, что от радости и неожиданности встречи не в состоянии была заметить, что с тобой нужно было подумать о кружевах. О приличиях, черт возьми! И вот имею что имею. Поделом. Тебя жалко. Твой идеальный мир в который раз не реализовался. Реальная жизнь в который раз оказалась не на уровне. На сей раз «благодаря» тому, что в ней существует женское одиночество, откуда к тебе вырвались раскинув руки, закрыв глаза, не запахнув халата. А тебе хотелось другого, чего-то романтического, поэтического, чего-то такого, чего еще не было. Тебе хотелось вина по капельке, а на тебя –ливень. Ну и, естественно, отпрыгнул. А дальше... А что дальше? Ничего – одной историей больше, одной меньше. Я тебя очень хорошо понимаю. Меня понять (оправдать, простить) еще проще. Да никто и не винит. Получила что заслужила. В жизни нельзя без оглядки, следует считаться с правилами игры, если жизнь, как все утверждают, – игра. Без выдумок, без иллюзий не все умеют. «С иллюзиями ближнего обращайся как со своими собственными», – учили меня умные одинокие женщины.

Так жизнь обращается в игру. А я не игрок. И не игрушка. По крайней мере не хочу быть игрушкой. И если подумать не по-игрушечному, ты такой же, как все остальное мужское племя. Вы внимательны, когда завоевываете. Природный инстинкт, азарт – вот все ваши «чувства». А как завоевали, так что ж?.. Эгоисты, разве вы можете любить человека ради самого человека? Лишь единицы. Примитивизм в самой мужской природе. Если хочешь, чтоб мужчина тебя «разлюбил», – убеди его, что очень любишь, будь искренна, не оставляй тайны. Всё! После этого любая женщина, проходящая мимо, станет интересней и желанней тебя, будь ты хоть само совершенство. Механизм «любви» мужчины прост: изводи его, говори лишь пятую часть из того, что можешь сказать, и не дай бог убедиться ему, что он любим. Такая низкая ступень... Такая гадость, даже подлость... А правда, что в детстве ты был примерным мальчиком?»

В письме и стихи были. К ним-то я привык. Не привык – удивляться перестал. А вот к эпистолярному жанру, а порой и к чистейшей воде прозе, где она о себе, и в третьем лице, готов не был и поэтому...

«...Она тихо побрела домой. Люди спешили на работу и поглядывали на дамочку в задрипанной лиске, которая шла гуляющей походкой с «необщим» выражением на лице. Дамочка прислонилась к окну в автобусе по причине нездоровья и растрепанных чувств и жалела себя. Дамочка думала, что не может жить без него, но никогда бы не смогла быть его женой. Впрочем, думала она, если б ей такое предложили, она бы все равно не отказалась, потому что жить без него не может. Но никто ее уже давным-давно не спрашивал, что она может, а что – нет, что она хочет... И она начала жить без него. Все той же гуляющей походкой...»

...И поэтому, отложив все дела, сел и написал (и переписал) обстоятельный ответ. Я попытался объяснить, как все-таки не так у нас все получилось с ней. Сумбур, мальстрем... Еще эта водка. Я был последней скотиной в тех примитивнейших обстоятельствах, в том слепом, бреющем полете. Я признался, что в затяжных полетах выпадаю из себя. Сказать, теряю ориентиры, моральные, этические и многие другие человеческие критерии – ничего не сказать. Вместо меня начинают действовать – в лучшем случае автопилот, в худшем – какой-то параллельный и дикий я, какой-то страшный подпольщик вылезает из меня наружу. И вот с тем подпольщиком она имела дело.

Какие мы разные в письме и на самом деле! Недаром, зная, спрашивали меня, не ощущаю ли я в себе двойственности?.. Все-таки да, лирический герой и человек, его создающий, – разные люди. Человек хуже и лучше, больше и меньше, но не такой, как на бумаге. Как живые листья на ветру разнятся с самими собою в гербариях, так и это.

Написал и стал ждать нового ее послания. Мне было интересно, насколько бумажный (читай: духовный) я реабилитирую себя живого. И что происходит в ее душе, какое движение? При этом ни малейшего интереса к внешней, физической ее жизни, будто состояние души и обстоятельства существования за ее телесной оболочкой не взаимосвязаны.

И письмо пришло. В двух пухлых конвертах (в один конверт не влезло). А через день еще одно. Она знала, что мне требуется. Я ошалел. Я вновь и вновь погружался в ее письма, точно передо мной были контрапункты Хаксли или Фолкнера. И что любопытно, она написала то, о чем я только успел подумать, она интересовалась состоянием, движением моего двухграммового сгустка под ложечкой...

«И хочу о тебе знать все – и что ты читаешь, и что тебе больше нравится – утро или вечер...»

С ответом тянул. И не только потому, что не знал, что я больше люблю – утро или вечер... Не мог

подступить, не мог начать, ходил кругами, как кот вокруг горячего молока. В голове суетились, оттесняя друг друга, умные словосплетения, на каждый «привет» готов был фундаментальный, с цитатами, с россыпями остроумия блок-ответ. Не письмо вынашивалось – образец эпистолярного жанра. Но человек – существо непредсказуемое. Из-под пера моего выскользнула отписка на страничку размашистым почерком. Ее-то в голубом конвертике и опустил в почтовый ящик.

Муха

Примерным ли я был мальчиком? Теперь кажется, что никогда я мальчиком и не был.

– Такая туфта! – срываюсь я на Монашке – самом безобидном и преданном мне сотруднике, возвращая рукопись.

Гостья отрывается от газеты и настороженно смотрит на нас.

Монашек, он и есть Монашек, похлопав виновато глазами, тихо удаляется.

Торчать в конторе бессмысленно. На улице тоже – январь, стужа.

Заворачиваем с гостьей в ресторанчик, где производством заправляет мой надежный приятель и по совместительству безнадежный графоман. Он уютно размещает нас в уголке, за изгородью, сплетенной из живых цветов, – зелень вьюнка, охра и кармин венчиков... – радушно осведомляется о настроении, то есть, попросту говоря, выпить я зашел или так просто – отбыть номер. Даю понять – второе.

Заказываем шампанского. В остальном полагаемся на моего надежного Ганимеда. Он не подводит, знает, что такое мое меню номер два.

Она кивает на мой фужер:

– Что-то ты скромненько сегодня.

Я говорю, пригубив кобыльей мочи: впечатление, составленное обо мне в ее городе, не сказать что неправильное, но далеко не полное.

Нервозность, схватившая меня за грудки в конторе, здесь, за гирляндами цветов, понемногу отпускает, я оживляюсь, дурашничая, пополняю ее представление о себе: был ли я примерным мальчиком? Был. Когда был маленьким и сидел на горшке. Где она, чистота ангельская и безгрешность? И ведь чем дальше в жизнь, тем больше дров. Когда мама на родительском собрании в школе услышала о моих подвигах, то страшно удивилась: дома же он совсем другой, послушный, трудолюбивый. О-о когда я уже раздваиваться стал! Или лучше: показывать неоднозначность человеческой натуры.

– А знаешь, ни на один вопрос нельзя ответить однозначно. Вот что-то простенькое спросят, и если не ответишь сразу, задумаешься, все – ответ будет ложью.

– Мысль, изреченная...

– Да, да, все обо всем давно уже сказано.

– Не можешь успокоиться? – кладет она свою руку на мою.

– Совершенно, совершенно спокоен, – мотаю я головой.

– Ответил не сразу, значит...

– Нет, я не вру... Но я хочу извиниться за то, что не ответил толком на твои письма. А ответ у меня был... Я носил его в себе, а на бумагу вот перенести не получилось. Переносил...

– Правда?

– А ты, наверное, думала, вот дешевка!

– О тебе я так никогда...

– А как?

Она повела остренькими плечами под нарочито грубым и широким регланом свитера, подняла глаза ответить, но ударяют громом гитары, барабаны, которых не перекричать. Сидим. Потягиваем, пожевываем молча. Когда последний бел звукового пресса ослабевает, она тихо говорит:

– Мы жили в двухэтажном деревянном доме с большой террасой, где всегда спала собака Аза, моя нянька. Я тоже там спала. И если просыпалась и плакала, Аза шла через коридор за взрослыми и приводила их. А однажды, когда еще лежала в пеленках, вытащила меня из коляски или кровати – не знаю, где я спала, может, просто на диване, – и притащила в комнаты, где сидели взрослые. Мало того, пока те опомнились, успела подтащить меня к маминым ногам. Аза знала, чья я. Но она тут ни при чем. Это было позже, когда я уже каталась на Азе верхом, смотрела на нее не снизу вверх, а наоборот, и было мне тогда года четыре или около того. Моя сестра таинственно пригласила меня на террасу, и я пошла за ней. Она остановилась в углу и сказала мне: «Закрой глаза, открой рот». Я доверчиво сделала, что она велела, предполагая, что у меня во рту окажется конфета, мы ведь часто с ней так играли. Услышала: «Закрой». Закрывает и... До сих пор помню вкус той скорлупчатокрылой и брюхатой мухи. Я выплюнула, но успела ощутить и ножки, и крылышки, в общем, гадость. Твою отписку на мои письма я восприняла как ту муху в углу террасы. Я взяла конверт, не боясь его открыть, ведь до этого от тебя

уже пришло письмо, по сути дела, подарок, каких я мало получала в жизни, открыла и прямо на лестнице съела твою муху.

- А говоришь, что плохо обо мне не думала.
- Сам же сказал, что однозначных ответов не бывает.
- Однозначнее некуда.
- Обиделся?

– Разумеется, – с напускной холодностью отвечаю я, беру бутылку, наполняю фужеры. Чокаемся, прыскаем смехом. Отношений больше не выясняем. Вспоминаем общих знакомых, она говорит, что в последнее время ей очень хорошо писалось, стихи сами собою рождались, почти без помарок. Я замечаю в ответ, что это опасный симптом, потому что так пишется лишь в двух случаях: когда отказывают тормоза и несешь чепуху или когда человек влюблен.

- Она не реагирует. Молчит сосредоточенно. Я тоже молчу. Затем произносит, не поднимая глаз:
- Любить – большая обуза. Для того, кого любишь.
- Да? – задумываюсь я над ее словами.

«Для любви, – писала она в одном из писем, – нужна известная доля наивности». Но какая, скажем, во мне наивность? Я считаю, любви, как ее понимали Петрарка, например, или небезызвестные супруги Ретленд, вообще нет, хотя раньше, фантазируя, и воспевал ее, а затем искал днем с огнем и не корысти ради – любопытствовал как инженер человеческих душ, как людоед, как специалист межчеловеческих отношений – есть ли она на Земле (по аналогии есть ли жизнь на Марсе? Помните, вопрос такой существовал?). Теперь я понимаю, что такое любовь. По-своему понимаю. Но никому не скажу.

А она понимает ее как раз как бездетные супруги, родившие в пылу средневековой, платонической любви мифического Шекспира (по отношению к нему я нестрэтфордианец, то есть не верю, что был такой сочинитель в одном лице). На то она и Поэт. Душа ее доверчива, светла, впечатлительна...

Беда в том, что в женщинах мы ценим не только душу. Поэтому в первом же письме я назвал наши отношения дружбой, на что она ответила со всей категоричностью, на которую способны люди, глядя на чистый лист бумаги, но не в глаза: дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, бывает жалкое подобие, как у... (называет двух героев повести местного автора – не помню имен). Впрочем, почему не бывает? Да потому, что любовь – это и есть дружба между мужчиной и женщиной. Любовь – или ничего. Никакой дружбы в общепринятом понимании. Дружи со старыми девами, с бабушками, с лицемерками и трусихами.

Я задался вопросом, чем отличается любовь от дружбы, и пришел к мысли: дружба – нечто обязательно взаимное, а любовь может быть явлением и односторонним. Во что сам мало верю. Как огонь не может быть без кислорода, так любовь – без взаимности. Я называю это эффектом зеркала. Влюбленный, вглядываясь в возлюбленную (и наоборот), разглядывает в ней прежде всего самого себя. И поэтому, как ни прискорбно, на свете возможны лишь два вида диалога. Первый:

- Я люблю тебя.
- Я тебя тоже.

Второй:

- Дурак!
- Сама дура!

Есть, оказывается, и третий вариант, когда тебя любят, и ты позволяешь это делать, не обрубаясь, но и взаимностью особой не отвечаешь. Вот и тянется резина.

Заказываю еще бутылку шампанского.

- С собой возьмем, – информирую ее.
- Куда?
- Ко мне. Правда, у меня родственничек-студент живет.
- Лучше ко мне пойдем.
- Куда к тебе? – удивляюсь я.
- Я у тетки остановилась. Тут рядом.
- А с теткой что будем делать?

Она от души смеется:

- Так ее дома нет. В деревню я ее отпустила. Пойдем?
- Пойдем. Но не как в прошлый раз без ключей?
- Не как в прошлый раз. – Она достает из сумочки ключи и на ладошке протягивает мне.

Когда провожал ее через два дня на поезд, сказал:

- Жаль, что не в нашем городе живешь, взял бы к себе заведовать отделом.
- А смогу? – испытующе посмотрела она на меня.

- По древнекитайскому отбору кадров: литературные способности свидетельствуют о годности к любой чиновничьей работе.
- Раз так, могу и переехать.
- Я серьезно, – сказал я.
- И я серьезно, – сказала она.
- Как же квартира там?
- Она не моя, сестрина.
- А здесь где будешь жить?
- У тетки.
- У тетки?
- А ты думал, у тебя?

Ее комната на солнечной стороне

Когда вспоминали с ней общих знакомых, только об одном, пожалуй, и не заикнулись. О Пузе. Что касается той новости, которую она сообщила у себя (у сестры) дома, когда мы залетели к ней со Штабс-Капитаном по пути к директрисе рынка, то я забыл ее по пьяной лавочке начисто. Смутно помнил лишь тягостный ночной разговор с Пузом о странностях его мироощущения. И все. И никаких больше о нем напоминаний. И воспоминаний. И не встречались, хотя ходили где-то по одним и тем же улицам.

Жизнь шла своим чередом. Опять полетели от нее письма. На сей раз отвечал я на них сразу и обстоятельно. Пару раз связывались по телефону. И я устно и письменно подтверждал, что обещанная должность ее ждет, объяснял: литературные дела здесь пойдут лучше. Она понимала. Жилье? Спрашивала и сама же себе отвечала: какая разница – тут у сестры, там у тетки, у обеих однокомнатные хрущевки, этажи лишь разные.

Человек она решительный. И вот уже ее машинка отстукивает веселый степ на пару с капелью за окном, а я сижу в ее залитой солнцем комнате на подоконнике и, как всегда весной, будущее мне видится не скажу чтобы радужным, но, во всяком случае, не черным. Говорим о работе, о деле, строим планы, я не могу нарадоваться: какая добросовестная, умная пчелка появилась в нашем улье.

- Брось ты этот отчет, – советую я. – Лучше чаю попьем.
- Это не отчет, – возражает она, не отрываясь от машинки.
- Все равно брось, – настаиваю.
- Залей пока самовар, – вздыхает она. Я повинуюсь и замечаю мимоходом:
- Общие интересы сближают больше, чем постель.

Она будто не слышит. И уж когда пьем чай, молвит полувнятно сквозь вишневые ягодки варенья в зубах:

– Очень часто общие интересы и ведут к постели.–Кидает в блюдечко обсосанные косточки. – Мясистая у вас вишня.

- Вишня у нас хорошая, – соглашаюсь я.
- А варенье кто варил?
- Мама.
- Ма-ма, – передразнивает она. – В твоём возрасте «мать» надо говорить. Коротко и по-мужски.
- Ну-у ты же у нас стилист!
- А ты маменькин сыночек.
- Это плохо?

Она не находит что ответить и замахивается чайной ложкой. Так и работаем. А чего? Весна. Кифоз мой притих на время. А когда боли нет, ее и не помнишь, будто и вовсе не знаешь, что это такое. Стараюсь держаться как можно прямее. Мне кажется – получается.

– Чай у тебя великолепный, – позваниваю ложечкой, шурюсь – комната на солнечной стороне, и целый день у нее светло и празднично.

Восшествие

В начале лета сбылось то, что она предрекала в начале прошлой осени, когда мы зашли к ней со Штабс-Капитаном по пути к директрисе рынка. На высокое желтое кресло в кабинете на третьем этаже вошел Хеопс IV. Первая фраза его при встрече была:

- Ты что такой скрюченный, будто мешком из-за угла пришибленный? Разогнись, распрямись, жизнь прекрасна и удивительна.
- Да, удивительна, – только и ответил я.

На другой день собрал в конференц-зале всеобщее собрание с повесткой: о совершенствовании структуры подразделений Конторы (все наши конторы стали всего лишь подразделениями его одной всеобщей Конторы) и мерах по наведению порядка в коллективе. И мы узнали, что, «несмотря на определенные достижения», у нас «отсутствует продуманная концепция действий», что «многие сотрудники слабо представляют суть конкретных задач, поставленных перед ними, проявляют неосведомленность и некомпетентность в своей проблематике». (Прошу простить невольный канцеляризм.)

Ежмся в продуваемом едкими сквозняками зале пятью кучками, пятью «подразделениями», слушаем, на ус мотаем.

А Пузо не узнать – Хеопс IV во всем блеске, Демосфен, Цицерон, Жан Поль Марат, вместе взятые. Речь держит страстно, вскакивает со своего вертящегося кресла, жестикулирует, цитирует свои литературно-критические произведения, рекомендует взять для более тщательного ознакомления (одной сотруднице настоятельно советовал прихватить несколько его газетных публикаций в дорогу – та в отпуск собиралась).

Вещает и себя слушает. Слушает, вдохновляется и вновь вещает. Но что поразительно, маленькие, свинные глазки его мирно спят. Сперва думаю, похмелился Хеопс с утра пораньше. Или укололся. А может, травки нюхнул? Встречал таких, страстных, с застывшим взором. Всяк по-своему с ума сходит. На меня вот в ответственные моменты зевота нападает, на Штабс-Капитана – медвежья болезнь (желудок расстраивается). А у этого глазки заволакиваются какой-то предохранительной жижей, какой-то противозачаточной пеленой затягиваются, которая застилает от него мир сущий со всеми его особенностями, со всеми нашими недоуменными мордами. Растолкуй младенцу: это так, а это эдак, а вот это и произносить смешно, и он поймет, а этот... Толковали, толковали, о специфике, об особенностях наших напоминали. Нет, подавай ему концепцию – и баста! Какую концепцию? Хрен его знает, до сих пор не пойму.

Понимаю, конечно. Пресловутая концепция необходима была для того, чтобы разобраться в малознакомом деле, понять, куда и как топает его Контора, и поудобней затем устроиться в желтом кресле.

После обеда опять собирает – руководителей и заведующих отделами у себя в кабинете. И что бы вы думали, опять двадцать пять: должна быть концепция! И те же самые страстность и красноречие. Лишь одно изменение – с глаз пелена спала. Разглядывает всех с головы до ног и о себе не забывает, одергивает пиджак, поправляет неожиданно после резкого движения выбившуюся из штанов рубаху и дальше шпарит. Битый час отсиживаем задницы. За окном начало лета, жизнь. Наконец отпускает всех, а нам с ней:

– Останьтесь.

С нами он по-свойски, как со старыми друзьями, устало откидывается в кресле, расслабляет узелок галстука:

– Ну как?

Что ну как? – не могу понять. То ли как мы поживаем, то ли как он дулетом выступил?

– Нормально, – нейтрально отвечаю я.

Беседу прерывает телефонный звонок. Потом еще... Пузо принимает поздравления, благодарит, разъясняет. Урывки фраз свидетельствуют, что борьба за кресло была упорной, и до последнего момента было неясно, чья возьмет.

– Мы пойдем, – говорю я, когда Пузо прерывает себя, чтобы послушать, что еще скажут на том конце провода. Он жестом, не отрываясь от трубки, отпускает мою заведующую отделом, смотрит ей вслед ниже пояса, а меня просит остаться и продолжает трепаться по телефону.

– Пойду, – опять напоминаю о себе. Пузо зажимает трубку ладонью – она у него большая, предназначенная для полевых работ, шепчет (начальство на проводе):

– Посиди...

– Тороплюсь, – развожу я руками, постукиваю пальцем по ручным часам: – Встреча назначена. – И ухожу.

Зачем задержал нас? Показать себя в новом интерьере? Продемонстрировать, кто есть кто: ты иди, а ты останься? И как часто все это теперь будет повторяться?

Уже утром следующего дня опять сижу у него в кабинете, приглашенный задушевым, отеческим голосом по телефону. Начинает издали – о сложности нынешней жизни, о сиюминутном и вечном, о непреходящих ценностях, среди которых литература, безусловно, занимает одно из самых весомых мест. Умные слова, соответствующий кабинет, какие могут быть возражения? Потом говорит, что мы пашем на одной пашенке, возделываем одну культуру, что надо помогать друг другу, и просит по-дружески, доставая из стола беленькую папочку, отредактировать несколько его рассказов для публикации в новом литературно-художественном журнале. Вольно отредактировать («концовка там у первого рассказа что-то не получается»), он полагается на мой вкус и профессионализм. По службе

вопросов пока нет, ему все ясно и понятно. Для приличия, однако, опять повторяет все, что сказал до своей дружеской просьбы.

Затем, после моего ухода немного погода вызывает мою заведующую отделом. И вновь – сама доброжелательность, открытость. Предлагает чашечку кофе или «чего-нибудь покрепче из бара?»... Искренне огорчается, услышав отказ, мурлычет что-то, пытается объяснить, в глаза заглядывает... и кладет руку ей на колено. Она молчит и очень аккуратно поправляет на его столе пепельницу. На первый раз хватает.

Она так удивлена и взволнована. Я думала, говорит, после той, у Штабс-Капитана, пепельницы он понял мое отношение к нему, раз и навсегда...

Конечно понял, поэтому и полез, не может простить унижения, отыграться захотел. Ведь все в жизни у него получается, чего ни возжелает, а тут какая-то малявка провинциальная и с гонором!

Не будем из-за бабы ссориться

Его «художественную прозу» до ума я довел. Тут же при мне прочитал – доволен. Достал из бара бутылку коньяка, закуску заморскую... Я вежливо отказался. Мне думалось, что, несмотря на новую выходку с Пацанкой и после недвусмысленного отпора с ее стороны, Хеопс образумится. И положение, и возраст (скоро сорок), да и мое, ее покровителя, существование, ежедневное присутствие не просто на земле грешной, а под носом, под одной крышей должны были по здравому смыслу остудить пыл наглеца. Наконец, горячие заверения в дружбе и слова его после того, как занес ему поправленные рассказы: «В долгу не останусь» – давали основание надеяться на взаимную порядочность. Недооценил его лицедейских способностей. Да, он сдерживал себя в моем присутствии, хоть и этажом ниже квартировался я в Конторе. Но я не всегда бывал на месте. Раз, когда мотался в командировке, буквально после того как занес ему отредактированные рассказы, пригласил он ее к себе в кабинет, защелкнул за ее спиной дверной замок и – напропалую, в ближний бой... Еле убежала она. Узнав такое, я зашел разобраться – щерится: с чего взял? не было ничего подобного... поэтесса... воображение богатое... и «давай из-за бабы не будем портить наших добрых отношений». Много чего я нес сказать – расплескал по пути. Да и ведь – конденсатор общественного сознания! – как он сам себя называет. Поднатаскался в словесных манипуляциях, как клубок не поймаешь за ниточку, так его на слове, перевернет все, передернет, сам в дураках и останешься. И в тот раз мои тщательно подобранные обличительные слова, после которых он должен был поднять руки, невероятным образом ушли в песок. Осмеянный и деликатно униженный, только и смог сказать: двуликий ты. А он: кто у нас одноликий-то, покажи, ты, что ли?

Постепенно отношения наши с Пузом сошли на «привет» и «до свидания». Служебные дела он приуныл решать через моих замов и завов, которых то дешевыми подачками, то щедрыми посулами одного за другим переманил на свою сторону. Казалось, верные ребята были. Верные не мне –идее, что, впрочем, думаю, одно и то же. Новенькая, самая неподкованная и неподготовленная, плохо ориентирующаяся в служебно-чиновнических играх литераторов, оказалась на удивление самой стойкой. Она одна практически не поддавалась всепожирающей Хеопсовой рже. С какого только бока он не подкатывался к ней – и на шашлыки пригласит, и якобы просто отдохнуть где-нибудь прилично и укромно после трудового дня... Персональный автомобиль для этих целей у него постоянно на ходу, бухгалтер с наличкой, зам по хозяйству с выпивкой и закуской... Нет, ни в какую. Не взять ее было, чем можно было взять любую другую. Не от мира сего создание, что поделать!

Но тут возник квартирный вопрос. Невмоготу ей стало с некогда любимой теткой – благочестивой и правильной женщиной, прожившей всю жизнь одна, без мужа, без детей, по своему жесткому доморощенному уставу. Сестра матери, в детстве осыпавшая любимую племянницу поцелуями и подарками и в любой, казалось, тупиковой ситуации находившая выход, такой, что вся семья готова была носить ее на руках, оказавшись с любимицей на общей и крохотной жилплощади и столкнувшись с недетскими и во многом иными, нежели у нее, взглядами на жизнь, вдруг превратилась в свою противоположность – маленькую и сварливую старушенцию, из ничего создающую проблемы, и уж какое соломоново решение можно было теперь от нее ожидать? Лишь одно... Однажды вечером она сказала своей любимой племяннице: пост у тебя высокий и ответственный... тебе обязательно должны дать отдельную квартиру... проси, настаивай...

– Намек недвусмысленный, – прокомментировал я слова старой квартиросъемщицы.

– Это не намек, это открыто и категорично...

Я впервые видел ее растерянной. Она держала в руках заявление с просьбой о выделении жилья. Понимала: шансов никаких. Времена давно не те, когда... Да что объяснять! Но она любила. А любовь, как известно, наделяет своего избранного несуществующими достоинствами. Она смотрела на меня с надеждой, а я, понимая безнадежность ситуации – не в моей компетенции решать такие задачи, –

упорно не отводил в сторону глаз, лихорадочно соображая, что предпринять. Жениться? Но я зарекся. С меня достаточно. Пойти с поклоном к Пузе? Пузран быстро освоился в новом кресле, которое, как волшебный ковер-самолет, вознесло его, талантливого и легкого на такого рода подъеме, под самое солнце щедрое, приблизило к высшему начальству, к сильным мира сего, в чьих руках было все, кроме вечности, – и движимое, и недвижимое. Пузо бравировал новым положением, умножая ряды своих сторонников и выбивая из моего немногочисленного круга последних друзей. Каждый божий день приносил мне потери и разочарования. Я даже как-то перестал удивляться предательствам, не говоря уже о мелких пакостях, всевозможных подвохах, скрытых подножках, наущничествах, злорадству по отношению к тому, кто тебя «за уши в люди вытащил» (не мои слова – благодарного протеже моего). Верно заметил Мэтр: сделал человеку добро, беги от него подальше. Но куда бежать? И я каждый день, как листы календаря, отрывал от сердца все новые и новые имена, с кем еще вчера доверчиво и весело товариществовал. Не думал я, что так легко и просто меняются люди. Грустно все это. Недаром, значит, запомнилась печальная фраза одного милого, в не по времени и моде малиновом галстуке-бабочке поэта:

Голуби гадят, взлетая, с небес на людей.
Глупые птицы, на что вы тратите крылья?

Пузо выслушал меня с отеческим вниманием и попросил не в службу, а в дружбу отредактировать две главы его нового, еще не законченного романа для литпередачи на радио. Куда деваться, согласился. Убил несколько своих вечеров на его галиматью, которая с прозой и рядом не ночевала. Какая проза! – так, конспект, наспех переписанные архивные документы, связанные неумным домислом. Нет, слишком умным домислом. Горе автора, как я определил для себя, от ума и отсутствия таланта. Автору моя работа понравилась. Он вытащил из стола две толстые папки, похвалился, взвесив на ладони: во сколько наработано, до пуда совсем малость не хватает! Я сказал поощрительно и без задней мысли, но, может быть, не подумав, машинально: вавилонский труд. А он прицепился: что я этим хотел сказать, ведь Вавилонскую башню строил не один человек, и она, как известно, развалилась. Непросто было закруглить тему и вернуться к тому, ради чего я, презрев самолюбие, явился к нему. Пузо еще раз, смакуя положение, выслушал меня и ответил кратко между двух серьезных разговоров по телефону: пусть сама зайдет. Зашла... Я метался в своем кабинете, как тигр в клетке, разве что не рычал от сознания беспомощности и чувства омерзительной униженности. Еле дождался, ну что? А что спрашивать было, и без ее ответа понятно – что. Обещал, подлец, ковром расстелился, только дай, мол...

– Как быть? – спрашивает, оглаживая нервно юбку и не спуская с меня преданных глаз.
– А черт его знает!

Глава шестая

Земеля

Земеля встал и запустил пустую бутылку в воду. Круги пошли. Я сидел на бревнышке, опустив босые ноги в тихую, неподвижную прохладу затона. Первый круг коснулся меня, второй...

Вообще, вся жизнь моя – сплошные круги, точно срез дерева с его годовыми кольцами, с той лишь разницей, что мои круги – не только пометы времени.

И у Данте, помните, круги?..

И у Эмерсона: «Жизнь – это саморасширяющийся круг». У него же: жизнь – лишь подтверждение той истины, что вокруг любого круга можно описать еще круг; что природа бесконечна, и всякое завершение есть не что иное, как очередное начало; что уже в ночь занимается утро следующего дня, а в непостижимых глубинах открывается еще большая глубина.

Красиво, не правда ли? И обнадеживающе.

Но можно ли не вокруг любого круга, а внутри начертать еще круг? И еще? И сколько всего?

Круг интересов, круг друзей, круги на воде... Из круга в круг... Все понятно. Но меня больше интересует возвращение в круги (на круги своя) – возвращение, которое в определенном саморасширяющемся круге у меня наступает всегда и неизменно, будто киноленту после просмотра обязательно в обратную сторону включают.

День выдался прохладный. Конец августа. Солнце в дымке. Сидим с Земелей на полудиком пляже, каких полно в нашем городе, потягивая винцо и вспоминая былое. В осоке полузатопленная лодка вверх дном, ни ветерка, ни шороха, ни души вокруг, только чайка низко-низко над мелководьем режет тишину душераздирающим вскриком да потрескивает маленький костерок у ног Земели, который он

сложил из небольших сухих палок, вынесенных в половодье рекой, и разжег своей никчемной газовой зажигалкой. Когда костерок надежно разгорается, он протягивает зажигалку мне со словами: все равно не курю. Я замечаю, что и я ведь некурящий, но от презента дружеского не отказываюсь. Люблю подарки. И дарить люблю, и получать. Есть в каждой безделушке тепло руки дарящего.

Земеля нагрянул, как с неба ухнул, свалился с какого-то заоблачного далека, из безвозвратного прошлого, из воспоминаний: вот он я.

Он ли? Конечно, он! Та же крутолобая дельфинья голова... И не он. Лицо рубцами-морщинами исстегано, под глазами отечные подковки, и нет той пружины во взгляде, от которой когда-то и я напружинивался, и многие, кто был с ним рядом. Не холила жизнь моего Земелю после армии, нет, не холила.

Поначалу гражданка для него была вполне безоблачной. Отдохнув чуток, устроился, как и намеревался, в школу, вплотную взялся за рукопись своей будущей книги, осуществил мечту – купил ружье, приобрел охотничьего пса и стал лазить по лесу... Но одну вещь наполеоновская голова Земели не могла предугадать: коллектив школы, не считая сторожа-истопника, был поголовно женским, на пятьдесят процентов незамужним и на пятьдесят из тех пятидесяти – молодым, можно сказать, юным, только-только со студенческой скамьи. И началась на забредшего в заповедник оленя дикого охота! Победила учительница пения, выпускница музыкального училища, штучка, по словам Земели, на первый взгляд утонченная, возвышенная, романтическая, а на самом деле... «Все они одинаковые, одним инстинктом мазанные. Сперва Бетховен, Бах, Вивальди, а потом...»

Потом наш учитель, писатель, художник, охотник и идейный холостяк стал простым безыдейным и очень ревнивым мужем.

Трагедия грянула в первую же брачную ночь. Оказывается, философствовать о любви, браке, верности, ревности – это одно... Оказалось, во-первых, что Земеля у своей жены – мужчина не первый, а во-вторых, что он страшно ревнивый человек, мнительный, болезненно подозрительный, занудливый, вспыльчивый, даже психованный и многое другое, нехорошее, чего в себе учитель словесности раньше и подозревать не мог.

И забился мой Земеля ошарашенной рыбиной, пойманной на примитивную блесну. Рукопись, школа, охота... – все побоку. Натянулась леса, ни вправо, ни влево, ни в глубину не уйти. Стал Земеля черный рок свой в горькой топить. Да только усугубил болезнь. Уж все подряд, ну все-все – и кино по телевизору, если про это, и любая задержка ее на работе, в очереди ли в магазине – все вызывало приступы жгучей ревности, которая, по словам Земели, натурально душила его, сдавливала грудной жабой сердце. Я так и не понял, имелись основания для ревности или же виной всему – большое воображение моего друга, возбуждаемое его творческой фантазией и усугубляемое алкоголем?

– Основания? – переспрашивает он меня. – Вот буквально месяц назад вынимает из сумочки французские духи и мажется, зажмурив от сладострастия глаза, как кошка... Откуда? – спрашиваю. Купила, говорит. Но разве уважающая себя женщина покупает сама себе французские духи? Скажи, покупает?

Я пожимаю плечами – кто знает?

Развязка, короче, такова. Земеля «накрыл» жену в актовом зале школы с инспектором вышестоящей организации. У рояля. Средь бела дня. Музицировали? Земеля не объяснил. Но в драку с очкариком ввязался. Тот вышел не таким цыпленком дохлым, каким показался. Наградили друг друга добрыми тумачами, что меня немало смутило: любовники-то обыкновенно ретируются поспешно и без оглядки...

Дома Земеля принялся пытать жену: кто да что? зачем да почему? И до того разогрелся – схватил двустволку, чтобы на месте пристрелить гадючку... Та ноги в руки. Он за ней. По главному их проселочному проспекту... Приостановила ее защелкнутая калитка родительского дома, тут-то Земеля и спустил оба курка, чтоб дуплетом...

Осечка!

Сплоховало ружьецо. Какая-то деталька отказалась послужить правому делу.

Нет, то не развязка драмы у родительской калитки была, а завязка, тугая, морским узлом, потому как приехал он в город не в гости ко мне, а за запчастями к оружию возмездия.

– Все равно убью ее!

– Зачем ее-то? На то пошло так, его убей.

– Она же изменила, она! Она, она... Пристрелю как бешеную собаку.

– Брось, Земеля.

– Земели, которого ты знал, больше нет. И тебя уже того, наивного солдатака, давно нет. Я бы каждые новые пять лет давал человеку новое имя.

– Как же вас теперь называть?

– Отелло.

– Но Отелло ошибался...

– А я нет.

– Ты точно уверен, что она...

– Абсолютно... И давай не будем... Знаешь, как больно! Тебе бы, конечно, писаке, подробности выпотрошить, в душу влезть и ценный совет дать, чтобы потом себя человеком чувствовать, чтоб и друга спасти и описать все это художественно. Не получится, дружище, я тебе сочувствую, но все решено, и обжалованию это решение ни в каких инстанциях не подлежит. Вот она, самая высшая инстанция. – Земеля постучал кулаком себя по груди. – Выше не бывает.

– Отелло – это, конечно, да... – пожимаю я плечами. – Трагичная личность. Но ты на эту роль мелковат. Прости, Земеля, раньше ты был поосновательнее, потяжелее, что ли, а теперь мухач какой-то тонкорукый... И пьешь...

– А ты – нет?

– Я же не претендую на шекспировские роли. А у тебя вон руки на балалайке наяривают. Промახнешься с такой трясушкой, и снайперская винтовка не поможет.

– Весело тебе...

– Грустно. Все враги мои процветают, а друзья деградируют.

– Эгоист! Надо же и тут прежде всего о собственной персоне думать!

– Кто эгоист, так это, милый мой, хрестоматийно слепой и дикий ревнивец Отелло.

– Понятно.

– Не обижайся.

– Чего обижаться, допьем... – Земеля наполняет стакан бормотухой, которая в лучах проглянувшего сквозь дымку солнца вспыхивает рубиновым цветом. – А ты о Бороде слыхал?

– Исчез бесследно. Пропал.

– Это мы с тобой тут пропадем. – Земеля закусывает с охотничьего ножа салом. – Пропадаем и прозябаем, а он который год в Цюрихе.

– В Цюрихе? – не скрываю я своего удивления.

– Своими глазами видел. В журнале... Портрет в полный рост... Стоит в обнимку с прелестной кралей... И подпись под снимочком жирным шрифтом: такой-то и такая-то у своих работ на престижной выставке поп-арта.

– По Руси собирался босым пойти, храмы писать...

– А он совершенно не босой. И совершенно до блеска выбрит.

– Традицию, реализм проповедовал...

– Уму-разуму тебя, простодыру очарованного, учил. Помню, помню...

– Сюрреалист, говоришь?

– Не будь таким наивным. От лукавого сюр его весь, продудело время на дуде – наџ тебе доморощенного Фукса, хватай подмалеванного Дали...

– Не замечал за ним этого.

– В рот смотрел, вот и не замечал. А он, а он... Классик гарнизонный, твою мать, Микеланджело кёнигсбергского полка! Никому верить нельзя. Французские духи, видите ли, себе купила. Ты вот поэт, человек теперь такой, понимающий, скажи мне: красивая, уважающая себя женщина покупает сама себе духи? Может она себе позволить?..

– Заладил!

– Не виляй, скажи прямо.

– Конечно, может.

– Как это может, когда у нее ночная рубаха-то драная?

– Пить меньше надо! – не выдерживаю я и запускаю пустую бутылку далеко за перевернутую лодку. Надо же, слова бывшей жены своей вспомнил!

Земеля, будто в землю вгоняет свои боль и ревность, зло затаптывает чуть заметно тлеющий костер.

Междусобойчик

В контору заявили лишь только к обеду. Ходили с Земелей в охотничий магазин, где нужных деталей для поломанного ружья не оказалось. И слава богу! Обрадовался, точно отсутствие этих железок снимало проблему.

За письменным столом моим, развернув газету, как гармонь, – Штабс-Капитан. У окна верная заведующая отделом, моя Пацаночка. В зеленых глазах ее смятение, испуг и протяжный, немой вопрос: где пропадаешь?

Хвостиком за мной Земеля. Знакомлю, впечатления он на моих друзей не производит.

– Полдня самообразованием занимаюсь! – бурчит Штабс-Капитан. – В жизни столько не читал. Вот

и приезжай к другу.

– Предупреждать надо, – парирую я. – Телефон на столе.

– Тебя Пузо ищет, – прерывает начинающуюся пикировку Пацанка.

– Пошел он!..

– Не в том дело. У него там небольшой сабантуйчик по случаю.... Или не по случаю – не знаю... Он хотел, чтобы ты, чтобы мы с тобой...

– И он за мной тебя послал?

– Да, – виновато опускает она голову, – сколько уж жду...

– Вот и иди... – Я хотел еще что-то добавить, ехидное и злое, но широко растворяется дверь – на пороге Пузо собственной персоной.

– О-о, какие люди! – Особенно Пузо рад Штабс-Капитану. – У меня земляк твой, – говорит он ему. – Вы не вместе приехали?

– Кто это? – удивляется Штабс-Капитан.

– Значит, не вместе.

Пузо тащит нас всех, включая Земелю, к себе. Земляком Штабс-Капитана оказывается лысый миллионщик. Он широко, по-американски улыбается, выбегает навстречу... У него новенькие зубы, ровные, белые – ходячая реклама: «Покупайте зубную пасту фирмы «Колгейт!»»

– Съемные? – интересуюсь.

– Обижает, – отвечает.

– Скоро, возможно, и кучерявым станешь?

– Ничего невозможного нет, – потирает он довольно лысину и доверительно рассказывает о новом препарате от облысения, изобретенном во Франции.

Я хмыкаю:

– Средство от выпадания волос еще куда ни шло... Но чтобы на голой лысине новые волосы выросли?..

– Вот именно, – приходит в крайнее возбуждение миллионщик, – именно новые!..

Кроме миллионщика за столом еще несколько человек. Свои все, из нашего дурдома (Дома издательств) – начальники, полуначальники...

Пузо пытается посадить Пацанку с собой рядом, но она от своих не отказывается. Все вместе мы устраиваемся в торце большого (для заседания) стола, уставленного водкой, дешевым вином и простенькой закуской. Мог бы, думаю, свое восшествие и повесомее отметить.

Тост произносит миллионщик. Он поздравляет своего друга с новой должностью и просит разрешения прочитать стихотворение из своего недавно созданного поэтического цикла «Пробуждение веснь». Без зубов дикция у него была лучше. Но это полбеда... Я клоню голову к сидящей рядом Пацанке, чтобы шепнуть что-то вроде «маразм крепчал...», но, увидев ее искаженное, точно от зубной боли, лицо, молчу. После второго стихотворения и мне становится дурно. Я смотрю на свою стопку, как пересекший пустыню Гоби путник, должно быть, смотрит на глоток прозрачной живительной влаги... А полный рот зубов миллионщик читает уже третий свой шедевр. Поднимаю глаза на Земелю – у него дельфиний рот до ушей. Спрашиваю кивком головы: «Нравится?» «Великолепно!» – отвечает он жестом. Оборачиваюсь к Штабс-Капитану, который давно мне что-то говорит. Оказывается, он прибыл в дом отдыха (это в часе езды от нашего города на электричке), отпуск у него, и он приглашает меня в гости.

– Номер люкс, природа, красота! А завтра суббота. Отдохнем пару дней, в понедельник вместе и вернемся, у меня тут еще дела в министерстве.

Живительная влага после пустыни Гоби добегает по пересохшим капиллярам до необходимых инстанций, я распрямляю плечи, шепчу Пацанке:

– Поедем?

Она недоверчиво смотрит на меня, на Штабс-Капитана. Тот с жаром поддерживает идею, пересаживается уговаривать на мое место, так как меня утаскивает на перекур миллионщик. Я понимаю, в чем дело, и прихватываю с собой Земелю.

– Мы же интеллигентные люди! – прищипоренно продолжает миллионщик некогда прерванный разговор. – Теперь же это легче...

– Почему? – удивляюсь я.

– Потому что я сам кое-что успел написать.

– И ты считаешь, что это кое-что?! Это ничего. Пусто-пусто. Играл когда-нибудь в домино?

– Ты тоже так считаешь? – ищет поддержки у хмельно улыбающегося Земели растерявшийся и удивившийся моей крайней неинтеллигентности миллионщик.

– А вы о чем?

Голова миллионщика покрывается бисерками пота, будто на большой гриб-дождевик роса выпала.

– О стихах, которые я прочёл.

Земеля смерил нового знакомого заторможенным взглядом, встряхнулся и торжественно произнес:
– Стихи твои, старик, прекрасны!
Миллионщик трет платочком затылок:
– Серьезно?
– Слово курфюрста бранденбургского! – Земеля одаривает собеседника широченной и оборожительно честной улыбкой. – Даю слово первого поэта Кёнигсберга и всей Восточной Пруссии, великолепные стихи, глубокие, как каналы Преголя, душевные, от души смастрячены, от души, честное слово. Печатать надо быстрее. Собрать и издать солидным сборником. Много их у тебя?
– Ну-у... Делё в том...
– Поэтическую книгу! С портретом и в твердом блестящем переплете. А-абсолютно! И с предисловием.
– Вот и договаривайтесь.
Я спешу скорее прочь.
Миллионщик не отстает, догоняет меня в дверях:
– А он сможет?
– Это хороший литератор. А сможет или не сможет... Это уж ты с ним...
– А чё-ё он – Кёнигсберг да Бранденбург?
– Служили мы там вместе. Иди, иди, не сомневайся.

Дурак

Пока меня не было за столом, Пузо пересадил-таки мою заведующую отделом к себе. Та шлет мне виноватые взгляды. Я безразлично скольжу глазами по собравшимся. Не безразлично, конечно. Накрыть бы тарелкой салата морду этому зажавшемуся Хеопсу! Но я скольжу...

Штабс-Капитан рассказывает о своих недавних полетах, мертвых петлях, крутых виражах... Замечаю мимоходом, что с его высшим пилотажем из кресла главного редактора вылететь – два пальца обмочить. Доброжелателей у тебя!..

– Пошли они все в *zadnitsu!* – Штабс-Капитан берет бутылку и плещет в стопку через край. – Что теперь, на них глядя, листом дрожать и не жить вовсе?

– Мера же должна быть какая-то.

– У самого-то она есть?

Уже второй человек за день на меня самого в ответ кивает. И верно, останавливаться пора, менять тропочку, однозначно и бесповоротно, не то все, брат, эндшпиль.

Штабс-Капитан пытается развить мысль:

– Сам же балансируешь... канатоходцем на одной ноге и без страховки...

Слушать такое от такого же тошно. Я гашу морализаторский пыл друга:

– Спой лучше. Эту... «Лодочку»...

– Прямо сейчас?

– А кого стесняться?

Перебивая всех, зычно и не совсем классически Штабс-Капитан затягивает «Лодочку в затоне», которую сочинил еще студентом, а я студентом долго не мог поверить, что это он сам написал. Понимаю – стихотворение. Но песню?! Со своей чистой, легкой, запоминающейся мелодией... Нет, это было выше моего разумения.

Я поддерживаю, подвываю на припевах.

Странно, но и Пацаночка нас поддержала. Откуда она знает ее? Пузо набычился, демонстративно жует.

В обнимку вваливаются Земеля с миллионщиком. Оба довольны, так и светятся.

– Договорились? – спрашиваю.

– Еще как! – смеется Земеля.

– Вот и хорошо, – киваю я другу, может, наконец отвлечется от своих дурных мыслей. Да и на ночную рубаху жене заработает.

Стали расходиться. Программа презентации исчерпана. Пузо комплектует пассажиров в свой «лимузин». Тащит туда Пацанку. Поддав лишка, он наконец обнаглел, распустил и язык, и руки, поганый свой язык, мерзкие свои руки. Та вежливо отбивается... Сколько же можно терпеть?

– Видишь, она не хочет с тобой ехать, – говорю ему в закоулке коридора, где мы оказались на короткое время втроем.

– А с кем она хочет?.. – придает он фразе второй смысл и пышет мне в лицо табачным дымом. – Не с тобой ли?

Тогда я говорю ему:

- Неважно. Но тебе ее, как Бреккеке Дюймовочки, не видать, понял?
- Это кто Бреккеке? – теряет дар речи Хеопс. Его вечно сонные студенистые глаза таращатся, округлившись и застыв, как крутые яйца, лицо наливается кровью, он точно рыбной костью подавился. Мне кажется, что сейчас он навалится на меня всей своей массивной тушей, наедет, как паровоз, вцепится в горло, но в это время в дверях появляется Штабс-Капитан и рычит на весь коридор:
- Долго еще вас ждать?! На поезд опоздаем.
- Вываливаемся гурьбой во двор.
- Иди, – киваю я ей в сторону «лимузина».
- Дурак, – отвечает она.

Полет ласточки

На поезд мы не успели. Пришвартовались на передых к живущему недалеко от вокзала Коленвалу, оказавшемуся на наше счастье дома. Открыл нам Цезарь. Я постучал, дверь халупы скрипнула, и к нам навстречу, как отмуштрованный швейцар, вышел, поводя усами, в пышных бакенбардах, с ленивым вопросом в зеленых раскосых глазах – кого еще там черт несет? – наш любимый сибиряк. Потеря о мою ногу, потом выбрал ножку Дюймовочки, замурлыкал.

– Просит пройти в дом, – прокомментировал я. Коленвал был трезв. Во всяком случае, трезвее нас. Обрадовался мне, как ребенок. Обрадовался и Дюймовочке, и Штабс-Капитану, которых с моей легкой руки хорошо знал. Не был знаком с Земелей, но так в чем же дело – выпили, сухариками занюхали, похлебкой картофельной закусили, стихи почитали. Штабс-Капитан свою «Лодочку» душевно затынул...

С Дюймовочкой мы тихонечко оставили их.

За полночь. Ни трамваев, ни такси... Идем с ней по сонному городу, держа на ниточке круглую, задумчивую красавицу луну, которая послушно летит за нами сквозь редкие перья облаков. Я болтаю, она слушает. Я несу околесицу и чепуху, она смеется и провоцирует на новые глупости. Я говорю:

– Я никогда в жизни не попробую вина «Форстериезуитенгартен» 1915 года!.. Я никогда не взгляну на родную нашу голубую планету из космоса!.. Я никогда не смогу родить ребеночка и вскормить его своей грудью!..

– Не отчаивайся, – выдергивает она свою круглолицую и наивную подругу из коварной тучки, – в будущей своей жизни ты обязательно будешь женщиной и родишь себе светлокудрого мальчика, похожего на тебя в прошлой жизни, то есть на нынешнего тебя, и вскормишь его, и полетит он высоко, будет смотреть на нашу голубую планету и пить вино «фортен-зутен-мутен»... правильно я запомнила? – 1915 года рождения.

– Ты уверена, что в другой жизни я буду женщиной?

– Безусловно. Это по тебе уже сегодня видно.

– Хочешь сказать, что я уже сегодня баба?

– Не баба, а пьянчужка.

– Не пьянчужка, а любитель абсента.

– Не любитель, а профессионал, – хлопает она меня по макушке.

Я вспоминаю какого-то мудрого японца:

– Суемудрых не люблю, пользы от них ничуть, лучше с пьяницей побудь, он хотя бы во хмелю может искренне всплакнуть.

Произношу я это с выражением, с богатой жестикуляцией – прочувствованно. Она не слушает...

Город наш старинный. Полно подворотен с белоснежными строениями общенародного пользования.

В одно из них ей и захотелось.

Я побрел вразвалочку к перекрестку. Иду не оглядываясь, неспешно так, прогулочное, жду: вот-вот она догонит меня, возьмет под руку, и мы продолжим наш прерванный путь вместе.

Меня взяли сразу под обе руки.

Не слышал я ни шагов, ни голосов, ни рокота машины...

Западный... Не только западный – цивилизованный человек затрудняется читать нашу литературу, потому что не понимает таких сугубо совковых слов, как, например, «домоуправ», «четырёхугольник» (в смысле дирекция – партком – профком – комитет комсомола), исчезающих из обихода, скоро и дети наши знать их не будут, но только не мое поколение.

В том же головокружительном по сложности восприятия ряду «медвытрезвитель». Как его объяснить? Сервис в кутузке? С доставкой туда на «луноходе»? Ну, «луноход» остроумный человек поймет... Наверно, так: заведение, предназначенное для вытрезвления народа помимо его воли с помощью сил и техники правоохранительных органов с оплатой услуг и штрафом и последующим

уведомлением по месту работы. (Прошу простить невольный эвфемизм.)

Вот эти органы и взяли меня под белы ручки. Я и пикнуть не успел, как оказался в «луноходе». А затем – в кутузке.

Тщетны были мои попытки объясниться. Меня никто не слушал. Господам в фуражках и при погонах было все равно, кто я, что я и хочу ли с ними водить компанию в их пятизвездочном отеле.

Меня раздели, вывернули-вытряхнули карманы, сверили фотографию на удостоверении, на которой я в белой рубашечке и темном галстуке в горошек, завязанном французским узелком, с жалкой личностью в спадающих из-за слабой резинки семейных трусах.

Но это еще цветочки были.

Ягодка же созрела, когда рыжеусый сержант – главное действующее лицо комедии – постиг, кто перед ним.

– Ах, пайё-ет!

Кованая дверь у его служебной стойки распахнулась, и я с размаху растянулся на нижних нарах по соседству с джентльменами, не преминувшими, как и я, воспользоваться услугами гостеприимного дома.

Нет, я не хвастал, что я поэт. Я всегда придерживался убеждения: поэтическое искусство – ремесло, как и всякое другое. Но рыжий сержант думал иначе. Он считал, что мое ремесло – вообще не ремесло, а... (Стилистика повествования не позволяет мне перенести его слова на бумагу.)

Меня это, естественно, возмутило, и я сказал, что я думаю о его профессии. Культурно сказал, в рамках приличия. Но что поделать – консенсуса мы не достигли. Мы вообще, казалось, говорили на разных языках.

Я забарабанил в дверь:

– Откройте! Какое вы имеете право?

Они открыли. Завернули мне руки за спину, высоко-высоко, аж чуть не вырвали с корнем из плеч, зацепили выше локтя какой-то своей хитрой удавкой и кинули обратно на нары.

Было очень больно, просто невтерпех. Задним числом друзья разьяснили: сделана мне была элементарная «ласточка». Силуэт мой со вздернутыми руками, быть может, отдаленно и напоминал ласточку. В душе же я чувствовал себя тушкой освежеванного кролика, подвешенного в кладовке на крюке и истекающего кровью.

Я истекал потом и слезами. Было невыносимо душно.

За спиной кто-то возился и сопел. Завели знакомство.

Сосед мой тоже оказался из семейства ласточковых. Он лежал лицом ко мне. Я попросил его попробовать развязать меня. Зубами. Потом, если получится, я его. А там... Созрел дерзкий план побега.

Мой поделник уткнулся мне в спину колючей челкой, заклацкал зубами, зачавкал, точно не ремень жевал, а семгу с пивом. Он грыз удавку, а я, человек по природе нерешительный, готовил себя, возможно, к самому решительному поступку в жизни.

Каким-то образом стража учуяла подкоп. Кованая дверь бесшумно открылась, над нами, скрипнув сапогами, вырос рыжий сержант. Образно высказавшись, он отодрал соседа от меня. Но тот свое сделать успел. Удавка ослабла. Я повел плечами, локтями... И она отпустила мои онемевшие длани.

Сержант руками, ногами, обутыми в звучные, должно быть, добротные сапоги, внушал клиенту чувство уважения к уставу своего прихода. Очередь надвигалась на меня. Надо было выбирать... Я вскочил и кинулся в светлый проем приоткрытой бронированной двери.

В предбаннике, где меня раздели, ни души. Но куда бежать? Передо мной безмолвствовали две двери без табличек и коридорчик, полный темноты.

Выбрал коридорчик. Не выбрал – ноги сами понесли.

Вдали замаячил свет. Это за поворотом, оказывается, дверь настезь. Я выскочил на ярко освещенное крыльцо, а там на свежем воздухе, облокотившись на перила, блаженно покуривал сержантов близнец – они у меня все на одно лицо. Даже цветом рыжим показался. На мгновение замерли друг перед другом – и я, и он...

Вера без дела мертва есть – истина непреложная. Я опомнился раньше и бросился мимо них направо, проскочил, помчался по ночной улице «быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла». Я летел вырвавшейся из силков ласточкой. Грудь моя резала быстро тающую предугретенную тьму, ноги мои точно и земли не касались, высоко в небе меня приветствовала блеклая луна на ниточке Дюймовочки, еще секунда – и я взмою в небо, поднятый сильными, тонкими и острыми, как серпы, ласточкиными крыльями!

Дуракам и эшафот кажется трамплином.

Представьте себе человека, бегущего по предрассветному городу в одних трусах, к тому же спадающих, к тому же, естественно, босиком. А улицы наши, сами знаете, мало приспособлены для подобного вида передвижения (они мало приспособлены для любого вида передвижения) – битые

тротуары, перекопанные мостовые... Я и полста метров не пробежал, как меня настигли, и искусная подсечка свалила меня в канаву с водой, щебнем и какой-то рельсоподобной железякой. Я загремел всеми косточками, мослами, локтями, коленями, а головой с той самой железякой соприкоснулся. Тут еще мои блюстителю... О, как меня они метелили!

Очнулся опять в «ласточкинм гнезде». Лежу на тех же нарах, без соседа. Но и без удавки. Бежать больше не собираюсь.

Поутру незнакомый старлей пытается рыжего сержанта после моих замечаний о некоторой нетактичности, проявленной ко мне ночью:

– Вы били его?

На что тот, и усом не пошевелив, отвечает:

– Нет, таким приняли.

– Ага, таким!

Тут я, должен признаться, не выдерживаю и расхожусь на полную катушку:

– Я вам покажу, как над честными людьми измываться! Понабрали мордovorотов на обмолот...

Я открыто матерюсь и обещаю отправить их всех обратно по родным колхозам, чтоб зарабатывали себе на хлеб по-человечески, а для начала обещаю напечатать их творческие портреты в самой популярной газете. Старлей робеет, спрашивает, не пропало ли чего у меня... В припадке бешенства я продолжаю отыгрывать языком то, что мне навешали кулаками.

Старлей прилежно кивает:

– Разберемся, разберемся...

У бронированной двери неприкаянно – руки в брюки – подпирает стенку сержант и ухмыляется в рыжие усы.

Глава седьмая

Туман

Старлей слово сдержал, разобрался. Я заплатил штраф за... (не помню формулировку), оплатил оказанные мне услуги, на что ушла половина моего месячного жалования. Единственно что – не послал старлей уведомления на службу, не дал в руки Пузы лишней козырной карты. Пить ведь – это одно: кто не пьет! – а вот зарегистрировать это дело, иметь документ с печатью...

После гостеприимной ночи на работу я не выхожу. Грач устраивает меня в хорошую клинику, в одноместную палату. «Давно надо было, – говорит он назидательно, – спасибо твоему рыжему сержанту, я ему бутылку поставлю».

Я чувствую себя ужасно. У меня болят грудь, спина, бока, руки, ноги, голова... Художеств на лице друзья из «ласточкиного гнезда», слава богу, не оставили – специалисты.

Первыми, не считая Грача и мамы, навещают меня Штабс-Капитан с Коленвалом. Посочувствовав, они заключают, что я сам во всем виноват, не надо было от друзей отрываться, пусть и с хорошенькой...

Затем рассказывают о себе...

Благополучно, значит, переночевали у Коленвала с Цезарем и утречком в поисках меня отравились в контору. А там опять этот миллионщик лысый. Так и вцепился: выпьем да выпьем, бумажником размахивает.

– А Земеля, – интересуюсь я, – с вами?

– В него-то миллионщик и вцепился, – простуженно кашляет Штабс-Капитан. – Заказ от него Земеля твой получил. Сам потом рассказывал-пересказывал. Да что пересказывать – у лысого глотка луженая, на улице слышно... А за труд свой знаешь что Земеля запросил? – стрелковое оружие. Авансом. Зачем оно ему?

– Чтобы застрелиться, – шутит Коленвал.

Мне, однако, не до шуток.

– И что, договорились?

– Как ни странно, – кривит губы Штабс-Капитан. Он всегда так делает, когда что-нибудь недопонимает. – Мог и поболее отхватить, тот «девятку» даже предлагал, лишь бы книга потолще была. Не-е, тут определенно баба замешана. Зубы вставил, а лысину-то чем прикроешь? Разве что пилоточку из долларов склеить... Но есть на свете особы, есть женщины, которым еще душу подавай, стихи посвящай.

– Ясно, – прерываю я философствования друга и расспрашиваю о подробностях сделки: когда, где,

вид оружия?

– Любой, – кашляет Штабс-Капитан, – от «макара» до «калаша», а конкретно... когда и где – не знаю, не участвовал. Лишь краем уха... Но обмыли. Лысый раскошелился.

– Теперь-то где Земеля? – вскакиваю я с койки. – Где он?

Коленвал кивает на Штабс-Капитана:

– У меня переночевали, а утром он опять к лысому побежал. Больше мы его не видели.

– Не видели, – подтверждает Штабс-Капитан.

Я готов закинуть куда подальше больничные шлепанцы и рвануть босым через весь город в поисках Земели, но, резко двинувшись, кричаю от боли в спине, возвращаюсь мелкими шажками к койке.

Коленвал ерошит свою несчастную пегую голову:

– Поосторожней!

Мнется, на Штабс-Капитана поглядывает, тот кивает, и Коленвал вслед за яблоками, колбасой, банкой варенья извлекает двумя пальцами из своей холщовой котомки за горлышко...

Друзья желают мне здоровья. Граненые стаканы звенят сдержанно, по-мужски. Под умиротворенный рокот приглушенных, потеплевших голосов вспоминаю почему-то армию, край, где служил.

Кёнигсберг (тогда Калининград) и в самом деле был краем, самым западным в географическом отношении городом «великой и могучей» (не считая маленького городишки Прёйсиш-Эйлау, где я тоже некоторое время тянул армейскую ляжку). В разговорах же и письмах друзьям использовали другую, расхожую в те годы, характеристику: край дождей, туманов и проституток (город-то портовый). Насчет проституток не знаю, дел с ними не имел, но туманов и дождей хватало. Особенно изводили меня туманы. Раньше я не думал, что они могут пахнуть. А там туманы не только пахли – воняли, источали запахи коммунальной кухни, где на одной плите убежало молоко, на другой выкипел суп, между плитами протухло помойное ведро, а домочадцев не видать.

Один из таких вонючих непролазных зимних туманов навалился на город, когда нас подняли по тревоге на марш-бросок. Продрали глаза – окна точно молоком облиты, выбежали на плац – носа своего не видно, офицеры, вырванные из теплых постелей, матерятся, водители у автоколонны еще хлеще – как ехать?

Ничего, выбросили нас далеко за город, побежали мы во всей амуниции по пересеченной местности к невидимой цели – под ногами зернистая каша снега, сапоги мгновенно стали пудовыми... Долго ли, коротко ли, чувствую, силы на исходе, задыхаюсь, будто газом дышу. И вдруг неожиданно облегчение, точно ноги меня сами понесли, – это кто-то, оказывается, подталкивает меня легонечко в спину. Оглядываюсь – Земеля. Без него не дотянул бы до финиша, как Кудря, ефрейтор из второго отделения, упал бы без чувств на полдороге.

Штабс-Капитан кашляет, как старая полуторка.

– Простыл? – спрашиваю.

– После процедуры продуло.

– А-а, – вспоминаю я, – ты же в доме отдыха...

– Не в доме отдыха, – подмигивает Коленвал, – а в Доме новобрачных. Он там себе невесту нашел.

На мой безмолвный вопрос Штабс-Капитан кивает, вздыхает, встает со стула и, как провинившийся солдат, докладывает:

– Женюсь, наверно.

– Сколько же ты с ней знаком? – спрашиваю.

– Это неважно. Тут, понимаешь, прямое попадание. Мы словно созданы друг для друга. Так подходим... прямо родинка к родинке, дырочка к дырочке...

– Ха-ха-ха, – покатывается Коленвал со смеху. – Уж не дырочка к дырочке, а...

Штабс-Капитан не обращает на него внимания:

– Думаю, отсюда прямо и увезу к себе. Она тоже разведенная, намыкалась, муж ее бил, а детей нет... – Он опять кашляет.

– Лечиться тебе надо, – смотрю я доктором на друга.

– Чепуха! Мой дед от всех болезней этим делом лечился, – щелкает он пальцем по кадыку.

– Дедовским самогоном из коровьего помета, – продолжает шуточки Коленвал.

– При чем тут самогон? – пожимает плечами Штабс-Капитан и достает из холщовой сумки Коленвала еще одну за горлышко...

Когда поддашь как следует, многие проблемы бледнеют. И чем больше доза, тем... Это как при взлете. Чем круче и выше, тем все земное мельче. Зато приземлишься... Насколько хорошо было вчера, настолько плохо сегодня. Закон физики. И все проблемы невредимы, только устроились.

Больничный взлет с друзьями, похоже, получился вертикальным. Очухался – ни Штабс-Капитана, ни Коленвала. Один в палате. На окнах паутины решеток из крашенной в белое арматуры – первый

этаж, теперь везде так по городу. И хоть сварены решетки в виде восходящего – с убегающими ввысь лучами – солнца, ощущение глухой темницы, запертости неизменно. Еще этот туман... Точно все стекла молоком облили, точно опять в казарме я... и через минуту тревога и марш-бросок по пересеченной местности во всей амуниции.

Обязательные мысли

В больнице любой задумывается о смерти. Зачем появился на свет? Кому нужны твои страдания, твое творчество, если оно адресовано таким же смертным, как и ты сам? Всех ждет одно и то же. И миллионеров, и президентов, и гроссмейстеров, и классиков литературы.

Бледная ломится смерть одной и той же ногою
В лачуги бедных и царей чертоги.

Все одинаково превратятся в пыль, а до этого будут гнить и вонять. Возможно, не так, как одинокая синеглазка из четвертого подъезда, перепившая, но не успевшая, как обычно, вовремя опохмелиться. О ней вспомнили, лишь когда из ее квартиры потянуло трупным духом.

Хандра. Хватаю из книжной стопки, которую аккуратно наращивает для меня Грач, первый попавшийся томик. Альбер Камю. Раскрываю наугад. И что же?

«Невесть зачем явился на свет, невесть почему исчезнешь без следа – вот и весь сказ о смысле, точнее, бессмыслице жизни».

За окном серый осенний день. Пора увядания, пора смерти самого большого на земле отряда живых существ – насекомых. Оса безропотно замерла на белой шторе. Полусонная муха заторможенно бредет по стеклу под решеткой, но и ей скоро конец. Но у нее преимущество – о смерти она не думает.

Наказанные богом, наделенные разумом люди надеются прожить свои жизни в своих детях. Но ведь и дети обречены. И дети детей. Это ужасно! Слава богу, родители не видят, как покидают грешную землю их анисовые яблочки, их персики пушистые, кутята их резвые, сморщившись, скрючившись, превратившись во что-то совсем не то, что было первоначально, во что-то совершенно неузнаваемое. Не приведи господь увидеть свою дочь беззубой, растрепанной старухой!

Заманчива иллюзия продолжить жизнь в художественных произведениях. Пишешь в стихах или прозе о любви, вкладываешь в уста героев свои сокровенные думы, мечты, выношенные под сердцем, и вот спустя годы, когда тебя уже нет на свете, кто-то возьмет твою книгу, и твоя душа оживет, ты вновь говоришь, вновь любишь, смеешься, плачешь, ненавидишь, веришь, доказываешь... Неведомый, далекий читатель снова страница за страницей проживает твою жизнь, потом еще найдется книгочей, а то и разом несколько. Это ли не жизнь, это ли не бессмертие?..

Наивное, тщеславное заблуждение. Сколько невестребованных классиков пылится на полках библиотек! Да и в классики попасть, да хотя бы в переиздаваемые авторы, так же маловероятно, как, скажем, изловчиться и схватить бога за бороду.

Но все равно в каких-нибудь библиотеках, книжных палатах ты уже есть. А значит, есть и вероятность, что в перспективе случайно или не случайно можешь быть извлеченным из рядов своих бумажных собратьев, стиснувших тебя тисками, – куда? а мы? – извлеченным из небытия, из лап смерти, отряхнутым от пыли, раскрытым... Зашелестишь страницами, зазвучишь, зашевелишься округлыми буквами от слова к слову, от абзаца к абзацу... Уверен, души умерших писателей витают над людьми, читающими их творения, кружат над своими распахнутыми книгами, заглядывая то в них, – где? какая страница? о чем это я там? – то в глаза читающему, повторяющему про себя, а возможно, и вслух твое живое дыхание.

Раскрываю амбарную книгу в коленкоре, свой дневник, и записываю: «Отрезок...» – нет, зачеркиваю, поправляю: «Короткий мостик из небытия в небытие называем мы жизнью». Задумываюсь, мысль цепенеет, а рука продолжает что-то выводить: «Жизнь в художественных произведениях по прошествии своей физической жизни, будь ты хоть классик в квадрате, все одно – мираж, ибо смертен не только человек на земле, но и Земля сама не вечна».

Занесло.

Захлопываю свой талмуд в коленкоре. Тянусь к стопке книг. Одну книгу листаю, вторую – не читается.

Достаю наброски к новым стихам. Все плоско, серо, как затопленный дымкой осеннего тумана больничный двор за решеткой окон. Просовываю руку между железными лучами солнца, распахиваю окно. Туман не пахнет.

Медперсонал знает, кто я такой. Это не так приятно, сколь выгодно. Палатный врач вызывает и вызывает специалистов из других отделений клиники. Они прощупывают, прослушивают, обмениваются соображениями... Вчера палатный врач завел речь о поэзии. Сказал: он чувствует ее в

каждом трепетном листочке березы, она распирает его грудь и просится на волю. Но то, что в нем, и то, что выплескивается на бумагу, – абсолютно разные, даже чужеродные вещи. Как добиться того, чтобы это было одно и то же?

Знать бы как.

Скрипнула дверь. Мама. Смотрит – радостно и униженно, точно не она мне жизнь дала, а я ей. У нее светло-голубые глаза. Она слепнет потихоньку. В руках нетленная коричневая сумка с питанием для ее маленького мальчика. Для нее я всегда маленький, всегда ребенок. Это она сама так говорит. Она кормит меня горячей лапшой из термоса, разворачивает пироги, еще и еще что-то. Я ем плохо. С похмелья не лезет. Оправдываюсь, объясняю, в чем дело. Я никогда не вру ей. И она никогда меня не ругает. Она спрашивает, уговаривает. Сердце ее от одного болит: пью. Вон сосед под нами, говорит она, у гипнотизера лечился и бросил... И жена вернулась, и в должности его восстановили.

За окном расчирикалась смешная птичка, как будто весна на дворе: чирик да чирик.

Сообщаю, что в соседней палате вчера умер один. Глаза у мамы на мокром месте – на меня все проецирует. Зря сказал.

День на исходе. В окно просочились сумерки, все предметы в палате оделись в серые чехольчики. Мама засобиралась:

– Пойду, пока совсем не стемнело.

Выхожу проводить ее. Туман на легком ветру развеивается больничными простынями, ярко-желтые фантики листьев прилипают к тапкам. Мама целует меня. Я долго, как в детстве, когда она оставляла меня в детском садике, смотрю ей вслед и, как в детстве, мне хочется крикнуть: «Мама!», побежать за ней, догнать, уткнуться в ее душистую и родную шаль: забери меня отсюда!

Она не оглядывается. Старается не оглядываться, потому что бесполезно, все равно не увидит, совсем никудышное зрение. Нет, все-таки оглянулась. Бодро машу ей рукой. Увидела ли? Еще долго стою, уставившись на пустынную дорожку через березняк, где только что витало теплое дыхание самого близкого и дорогого мне существа.

Становится зябко.

Кто-то окликает меня. Палатный врач. Он по-отечески выговаривает мне за то, что я не берегу себя, и безоговорочно возвращает в палату, где...

Зеркало

...дожидается меня еще один приглашенный им специалист – массажистка, молодая, порывистая кобылица с крашенной перекисью водорода и подстриженной, как у пони, челкой. У нее белый коротенький халатик и мраморные, как у изваяний Праксителя, колени. Она у меня в палате не впервой. Завидев ее, я покорно оголяюсь по пояс, растягиваюсь на жесткой кушетке напротив мягкой панцирной кровати, przygotowляюсь к «избиению младенца» – так мы с ней ласково называем действие по выправлению ненормальных косточек на спине, во что я мало верю. Ни мама, ни друзья и полсловом не обмолвились о моем ужасном виде. Но у меня самого-то зрение, слава богу, стопроцентное. После «ласточкиного гнезда» я так и не разогнулся. И в зеркало, старинное, от пола до потолка, в коридоре у ординаторской, смотреться не надо, что я, не чувствую? Хожу переломленный, точно мешок картошки на спине таскаю. А все равно нет-нет да и кину взгляд на старое, рябоватое от времени стекло. И каждый раз ужас охватывает – я ли это? Где осанка, где гордая посадка головы, где легкая, ветренная походка прожигателя жизни, беззаботного созерцателя и ленивца, озабоченного всю жизнь лишь одной проблемой, банально рифмующейся: вновь –любовь. Спустя четверть часа после массажа боль в верхней части спины притупляется. Я пытаюсь скинуть с плеч мешок картошки, и это у меня получается. Выпрямляюсь, иду по каким-то срочно выдуманным делам мимо зеркала. Как будто случайно скольжу по нему взглядом, случайно вижу свое отражение: да, весь я, от петушка волос до пят, выпрямился, вытянулся, но... Как-то в детстве мы зашли с мамой в «комнату смеха». Кривые зеркала меня сильно позабавили – то я в лилипута-толстячка превращался, то вытягивался, как жердь... А вот одно зеркало не только не рассмешило, напротив, вызвало неприятное ощущение –показало меня горбуном. Ненормальное какое-то зеркало, ненормальное среди кривых своих собратьев, дефективное, с неравномерным местным изъёмом. Я высказал свое недовольство маме. Она сказала – так оно же кривое. Я ответил – не кривое, а дурацкое. И вот то же самое: зеркало как зеркало, очень даже красивое, в резной раме, высоченное и, конечно же, не кривое вовсе. Но дурацкое. Перед ним человек в полный рост, вытянулся в струнку, гордый полупрофиль чистокровного дворянина, породистого мэна, а он, подлец, отражает неудачника безродного с краденой котомкой за спиной под рубахой. Нет, скорее – ранцем, небольшим, но тугим, как у первоклашки.

Знакомое сравнение – ранец за спиной...

У меня частенько бывает так: делаю что-то и как будто это уже было в моей жизни.

На сей раз кобылица с мраморными коленями не дает мне оголить мои геракловы мощи, сообщает: массаж после новых рентгеновских снимков состоится в ее кабинете. Когда? Часа через два. Я покорно киваю, поспешно заправляя рубашу в спортивные штаны, которые, кстати, подарил мне олимпийский чемпион, чудесный атлет, красавец. Ирония судьбы...

Осенний вечер занавесил окно непроницаемой чароитовой шторой. По карнизу мелкой дробью застучал дождь. Думал, уж не придет никто больше. Ан нет! Бесшумно, без обычного дверного скрипа в комнате возникает Дюймовочка.

– Привет! – Она вопросительно смотрит на меня. Я деловито, как в своем кабинете:

– Проходи, садись.

Она пристраивается на краешке стула, достает гостинцы. На ее узеньких плечиках большой белый халат, который то и дело спадает. Когда она заканчивает со свертками и застегивает «молнию» спортивной сумки, халат окончательно падает, но она этого не замечает. Под тонкой черной футболкой шевелятся две остренькие ежиные мордочки. Две мордочки без намордничков. Что ж, лифчики нынче у молодежи не в моде.

Я вяло спрашиваю: как дела? Она живо, в лицах, рассказывает.

– Сперва обиделась, – говорит она, переводя разговор на дела наши с ней личные. – Ищу тебя – нет. – Это она о той злополучной ночи. – Туда бегу, сюда – нет. Неужели так безжалостно обманул?

– Ты подумала так?

– Да... Пока не узнала, что тебя забрали.

– Кто тебе сказал?

– Об этом все знают.

– И Пузо?

– И Пузо. Мне кажется, может быть, зря мы с ним воюем. Не так, оказывается, страшен черт...

– Не страшен, а противен. Хотя, возможно, напрасно ты швыряла пепельницей в окно?

– Нет, не напрасно. Я дала понять, кто я такая. И он понял. Женщину уважают настолько, насколько она сама уважает себя.

– Уважают?

– Понимай слово шире. Все вы, мужики, в конечном счете одинаковые. Любите, когда вам в рот смотрят. Вот и наглеете. А стоит отпор дать, показать, что и ты, женщина, личность, так сразу на задние лапки встаеете и хвостом виляете. Пузо не исключение.

– Все забываю спросить, – говорю я, – откуда еще тогда, когда мы со Штабс-Капитаном после моего санатория «летали», ты узнала, что Пузо займет желтое кресло на третьем этаже?

– Он сам сказал, по секрету, – невозмутимо отвечает она.

– Уже тогда вы имели свои секреты?

– А ты ревнуешь?

– Нет, просто... И все же?

– Мне кажется, он хотел просто похвастать.

– И когда же это он успел?

– Спать меньше надо.

– ???

– «Когда, когда»... – передразнивает она. – Когда ты у Штабс-Капитана оставил меня с ним, а сам ушел в другую комнату и спать завалился.

– Хватит о нем.

– Он сюда к тебе собирается. Навестить.

– Нечего делать.

– Кстати, он оклады всем повысил.

– Плевать. Скажи, ты любишь меня?

– С чего это вдруг тебе стало интересно? – Она убирает со лба непослушную прядь, возвращает халат на плечи.

Я настаиваю:

– Ответь.

Молчит. Глаза опущены. На мгновение поднимает их на беспросветное, фиолетовое окно и вновь опускает:

– Да.

– Да, когда клещами из тебя. А сама нет, ни за что не скажет.

– Зато в письмах писала.

– Было, – соглашаюсь я.

– А ты отмалчивался.

– ...

– Встретаться негде было, а к себе из-за какого-то студента-квартиранта не приглашал. А пригласил, так поскорее в милицию сдался.

Я вновь согласно киваю. Встаю с койки, обнимаю ее. У нее влажные от дождя волосы. Они пахнут осенью и мелиссой. Я трогаю носики ее зверьков, заставляю их нервно подрагивать под футболкой.

Она переводит дыхание и произносит:

– Не надо.

Я знаю, это означает надо, я так соскучилась по тебе, а ты ведешь себя как мальчишка, то притянешь, то оттолкнешь. И жди потом, когда опять вспомнишь... но я ведь не трава под ногами.

Мне вдруг кажется, что я люблю ее давным-давно, но только теперь осознал это и только теперь захотел доказать свою любовь. В одном человеке легко уживаются и боль, и желание...

– Болеешь? – тихо спрашивает она, отвечая на мои ласки.

– Да, – признаюсь я и возвращаюсь на койку. – Сил нет терпеть.

– Бедненький мой! – она подходит ко мне, кладет свою прохладную ладошку мне на шею. Халат опять падает с ее плеч. – Это ведь из-за меня ты сюда попал.

– Брось... Случайность. Больше не говори так.

– Нет, нет, из-за меня. А я еще злилась и не приходила. Какая я все-таки стерва! – Голос ломкий, слова без ударений, все они одинаково окрашены усталой радостью и умиротворением. Она гладит мои волосы, нюхает их, целует в макушку. Я растроган, мне хочется плакать. И себя жалко, и ее, полюбившую меня не сегодня, перетерпевшую мою пьяную близость и трезвое отчуждение. Я прижимаю голову к ее груди и слышу, как стучит ее сердце.

Дождь перестал идти, тишина. Недобрые предчувствия, тоска в груди перемешиваются с щенячьей нежностью и блаженным, тихим восторгом. Тишина полная, будто вся больница снаружи и внутри вымерла, только кровь стучит в виске, стучит чаще ее сердца.

– А что медицина? – спрашивает она участливо. В дверь вежливо стучатся.

– Медицина не дремлет, – отвечаю я, мягко отстраняясь от посетительницы.

Входит медсестра. В одной руке вверх жалом шприц, в другой ваточка и еще что-то. Дюймовочка извиняется, прощается, выскальзывает в приоткрытую дверь. Несуетно, тихо, как осенний лист, занесло ее ко мне, также несуетно и тихо вынесло. Словно и не было.

После укола я выглядываю в коридор: может, не ушла еще?

Бреду до выхода. Мимо ординаторской, мимо зеркала... Приостанавливаюсь: что за Бреккеке принимал сегодня Дюймовочку?

Вино из одуванчиков

Спустя два часа я поднимаюсь этажом выше в кабинет массажа. Дверь настежь. Кобылицы не видать. Я располагаюсь у двери на обтянутой черным дерматином скамье.

Мимо меня шаркают больничными штиблетами редкие больные. Здесь их меньше, можно сказать, вовсе нет. В этом уголке огромного, как атомный ледокол, больничного комплекса расположены физиотерапевтические кабинеты, а время позднее, прием окончен.

В глубине коридора вспыхивают в неоновом свете мраморные колени, белогривая челка...

– Ой, совсем закрутилась-завертелась... – издали, не доходя до меня, начинает извиняться кобылица. – Проходите. Что же вы в дверях?

Кабинет у нее небольшой, уютный, в зелени весь. Горшки с цветами и на подоконнике, и на специальных о трех ногах подставках. На стене по ниточкам тянется вьюн.

Она что-то говорит, я что-то отвечаю, но войти в русло не могу, не отошел от своих размышлений-завихрений, так, вякаю что-то. А у нее настроение приподнятое, подшучивает...

– Ну что, кто из нас раздеваться будет?

Я опминаюсь, стягиваю рубаху, майку, опускаюсь на прохладную, белоснежную простыню, покрывающую жесткий медицинский лежак. Меньше слов – больше дела, думаю.

Кобылица точно подслушала мои мысли, смолкает и принимается так молотить меня, что я готов взвыть. Это уже не «избиение младенца», а варфоломеевская ночь.

Когда ее руки доходят до холки, я не выдерживаю:

– Нельзя ли поосторожней?

Вопрос остается без ответа.

Нет, у нее не руки, а отбойные молотки, не пальцы, а клещи. После моих слов она, кажется, колотит еще неистовее.

– Вы убить меня решили? – интересуюсь я, когда массажистка, переведя дыхание, отходит к своему столику и что-то записывает. – Какой-то акт возмездия, честное слово, – бубню себе под нос.

– Это вы точно заметили, – роняет она, не отрываясь от своих бумажек.

– В чем же я провинился перед вами?

– А любой мужчина достоин возмездия. Если честно подумать... Любой...

– Если подумать... И тем более честно... то конечно, – вздыхаю. – Но теперь вот я и подняться не могу.

– А вы полежите немного. – Она берет с батареи плед, накрывает меня. Плед мягкий, теплый. – Через пять минут почувствуете себя годовалым жеребенком.

– Прямо-таки годовалым? – Я ощущаю, как остатки живой крови, стронутые ее руками, побежали по моим жилам и жизнь в моих глазах вновь обретает привычные, земные формы.

Она присаживается рядом на стульчик, колено на колено, берет мою руку, слушает пульс.

Я лежу на спине, разглядываю ее. Крупная, ладно скроенная акселератка. Вздернутый, капризный носик, под белой челкой темные брови. Таких породистыми называют. Впрочем, ведь крашенная. Дай бог, лет восемнадцать ей, хотя и кажется на вид значительно старше. Она поднимает глаза:

– Ну вот, а вы боялись...

У нее светло-карие чуть раскосые глаза. Я где-то видел их. Этот насмешливый, изучающий взгляд знаком мне.

– Чего бояться-то... – бурчу я, вспоминая глупую, детскую присказку: «...а ты боялась, а мы и юбку не помяли».

– А я недавно вас по телевизору слушала, – сообщает она радостно. – Вы стихи свои читали. Интересно, живьем вас или в записи пустили?

Елки-моталки, кто я в самом деле, поэт или стоптанный, разбитый башмак под коленваловской кроватью?

– Конечно, живьем!

– Я так и думала. В одном месте вы запнулись и рукой махнули... В записи-то такое подчистили бы. Ее рука забыта на моей, как нащупала пульс, так и осталась... Она еще что-то тараторит, затем порывисто встает, раскрывает маленький холодильник:

– А у меня сегодня день рождения!

– Странно, – бормочу я, сбитый с толку неожиданным поворотом дела, – почему же вы все еще здесь, а не дома среди гостей?

– Хочу, чтоб вы меня поздравили. Вот!

– Поздравляю, но... – Я скидываю плед, поднимаюсь, не могу попасть в вывернутый наизнанку рукав рубахи...

Она тем временем что-то достает из холодильника, оборачивается:

– Думаю, что разделите со мной... – не может подобрать она необходимых для момента слов и показывает смеющимися глазами на бутылку коньяка в руке.

– Но...

Она не слушает меня. На столе, как по мановению волшебной палочки, появляются рюмочки, тонко нарезанные и веером разложенные по тарелочкам буженина, колбаска, в вазочках конфеты, варенье... Только сейчас я замечаю аленький букетик роз в бутылке из-под кефира.

– Помогите же! – Она протягивает мне неподдающуюся бутылку и нож.

Я не могу отказать имениннице, расправляюсь с непослушной пробкой, возвращаю обезглавленный пузатый сосуд хозяйке.

– Мерси, – говорит она, и в высоких рюмках вспыхивают янтарные огоньки.

Это, наверное, и есть знаменитое вино из одуванчиков, прощальный привет ушедшего лета.

Золотые брызги дикого цветка окатили в мае весь наш сад – работать-то там некому, больной отец который год ни шагу дальше лавки у дома, мама... ей, бедной, и без дачи забот по горло, я же, балбес, наезжал туда лишь побалдеть – шашлычков завертеть с друзьями или в одиночестве стихи покропать.

А места у нас там великолепные. С одной стороны вековой хвойный лес, с другой – река как на ладони. Заляжешь в траве на самом краю косогора и слушаешь, как тишина поет: гудят игрушечными бомбардировщиками шмели, трещат невидимые кузнечики. И всяческие мухи, мушки уж не бесшумны, уж и божьих коровок слышишь и даже трепет крыльев разноцветных бабочек, покачивающихся на волнах теплого воздуха. И сквозь чистые поры твоей кожи проникает в тебя дыхание земли, легкий ветер, оставив облака, спускается с небес и тормозит волосы, и ты чувствуешь, что русло реки одним из рукавов проходит через тебя; что у соков земли и крови твоей одна кровеносная система; что и река эта, и в зелено-густой дымке холмы на том берегу, и пронзительно-синее небо – все это ты, все, все... Тебя как отдельного куска плоти в этом мире не существует.

Возьмешь майский одуванчик стебельком в зубы – горько, как молодое, терпкое вино. Понюхаешь цветок, весь нос только и вымажешь в охре. Почему эти прекрасные золотые головки так быстро седеют и разлетаются по миру? Ясное дело – готовят новое золотое поколение. Жизнь прерывиста, но бесконечна...

– С днем рождения!

Вино из одуванчиков горячей волной разбегается по телу, трогает, обволакивает двухграммовый сгусток под ложечкой.

В рукав своей рубашки я попадаю лишь под утро.

Мороженое

Когда она, выглянув в дверь и сообщив, что фарватер для моего отбытия чист, поцеловала меня на прощание и сказала: «Все было очень хорошо», я усомнился в сказанном и всю обратную дорогу до самой койки и потом до самого утра думал: что же хорошего? Да, конечно, я забылся с нею, но ее легкие, по-детски ободряющие слова и тяжелый, свинцовый рассвет за окном вернули меня на землю: чего же хорошего с горбатым калекой, полудохлым трупом, с еле-еле тепленькой тенью того, кого она видела по телевизору? Рассвет дарил сравнения за сравнениями, по живому резал не хуже зеркала. Но ведь ночью было по-другому, я был прежний, молодой и здоровый, и все казалось красивым. Что оторвало меня от земли? Массаж, спиртное, как всегда, до капельки осушенное, юная смазливая девчонка? Все разом, все вместе. Но она же, работник этой больницы, без пяти минут дипломированный специалист, знает мой диагноз, мою прогрессирующую болезнь и должна понимать...

Нет, ни черта она не понимает. До завтрака, перед уходом домой заглянула, поцеловала влажным ртом, напонила:

– Сегодня во столько же.

Проводив ее глазами, я сказал себе: «Хорошего помаленьку. Не пойду». Но к вечеру я не узнаю себя и в назначенный час вновь плетусь мимо ординаторской, мимо зеркала, у которого со скрипом расправляю плечи, по мере возможности, насколько позволяет мне мое заплетное хозяйство, распрямляюсь... На ее этаже я иду уже вполне легкой, беззаботной походкой. А после массажа, после ее вдохновенных, целебных рук за столиком с высокими рюмочками, наполненными янтарным огнем, рядом с юной соблазнительницей я уже не разбитый башмак, а тот, кого можно соблазнять. Тем не менее я спрашиваю:

– Тебя не смущает, что я не совсем нормально болен?

– Ты болен нормально, – шепчет она, не сводя с меня своих ореховых глаз.

– Ты не ответила на мой вопрос.

– Нисколечко.

– Что нисколечко?

– Не смущает.

– Странно.

– Ничего странного.

– Почему же?

– Потому что... – Она опускает голову и целится в меня взглядом сквозь заборик мелованной челки.
– Потому что...

Видю, у нее есть что сказать, но что-то сдерживает ее.

– Почему же?

– Потому что потому... Потом скажу. Ладно? После... А теперь будем есть мороженое. – Она приглушенно смеется и точно – достает из холодильника две вазочки с посыпанным шоколадом и слегка подтаявшим мороженым. – С коньячком, а?

– С коньячком, да-а, – соглашаюсь я. Коньяк тот же, вчерашний, девять чемпионских медалей украшают его грудь.

– У тебя что, целый ящик припасен? – Я хозяйничаю, все чаще и чаще тянусь к бутылке, а хозяйка бутылки тянется ко мне.

– Я ревную, – шепчет она.

Я многозначительно оглядываюсь – нет ли поблизости еще какой особы. Она в ответ пощелкивает тонкими пальчиками, увенчанными перламутровыми коготками, по пузатому медалисту: вот к кому она ревнует. Я смеюсь, обнимаю ее, тянущуюся ко мне... Мне хорошо, я годовалый жеребенок, скачу безумно, высоко, и земля грешная где-то далеко-далеко внизу.

После, когда зимняя твердь начинает неотвратимо приближаться, я вновь припадаю к своему волшебному зем-зему и делаю несколько живительных глотков.

Полуголая новая моя мало застенчивая подруга, примолкнув, курит. Сигарета в ее пальчиках, как шприц перед употреблением, устремлен в потолок. Но она не ответила на мой вопрос. Напоминаю...

– Почему тебя не смущает, что я...

– А-а, ты про это... – Она долго смотрит на серо-белый, похожий на мартовский снег, пепел сигареты: ни разу не стряхивала, хотя сугробик уже с полпальца.

Я не мешаю ей. Тарахтя, смолкает холодильник. Пепел падает в заранее приготовленный из газеты кулек. Она запахивает наглухо халатик:

– Потому что я очень давно знаю тебя и очень давно люблю. Или любила... Не знаю...

– Когда ты это придумала, вчера или сегодня? – ядовито спрашиваю я, не отягощенный ни взаимным чувством, ни обязательствами.

– И не вчера, и не сегодня, – простодушно отвечает она. – Мы ведь жили с тобой в одном доме. Помнишь маленькую девочку в красном пальтишке и белой кроличьей шапке с длинными вислыми ушами? Я всегда здоровалась с тобой. И ты со мной... через раз. Однажды пришел расстроенный чем-то. У нас тогда уже не жил, к своей матери пришел. А дома никого. Присел на лавочке. Осень, холодно, а на тебе легкий синий плащ – он тебе, кстати, шел очень, – и голова не прикрыта. Набралась я храбрости, подседа как ни в чем не бывало... И, о чудо, ваша светлость заговорила со мной. Ты сказал, думая о чем-то своем, что за осенью неминуема зима. Я ответила: а за зимой – весна и лето. Уверена в этом? – впервые посмотрел на меня ты с интересом. Абсолютно! – сказала я. Ты встряхнул влажными кудрями, точно отгоняя рой назойливых мыслей, улыбнулся и спросил, не хочу ли я мороженого.

– Мороженого?

– Не помнишь? Осень, лавочка у облетевшего палисадника, и тяжелая, влажная пыль превращается на глазах в легкий белый снег... Да, да, ты обещал купить мне мороженое.

– И?

– И вот до сих пор жду.

– Почему же ты сразу не сказала? – тереблю я свою коротко стриженную голову.

– О чем?

– Обо всем.

Недокуренная сигарета гармошкой сплющивается и гаснет в бумажной пепельнице.

– Тогда б ты вчера не остался со мной, соплюшкой со второго этажа. И сегодня тоже... Верно? Я уж наверняка. Прости. Мне надо было поставить точку в этой затянувшейся истории.

– Или многоточие? – пытаюсь я пошутить, чтобы как-то разжижить этот жесткий по своей прямоте разговор. Она сжаливается, улыбается, берет рюмочку:

– А ты меня и совсем маленькой помнишь, наверно, а?

– Помню.

– Какая я была?

– Смешная.

– А потом?

– А потом у тебя стали расти ноги, и ты начала включать громко музыку. Эту песенку крутила, как еще, забыл?..

– «Вишенку». Любила ее без ума. И на всю катушку запускала, чтобы ты слышал. Мне казалось это единственной возможностью передать тебе то, что я чувствую.

– Ты переехала оттуда?

– Два года назад.

– К мужу?

– Какая разница?

– Ты права – никакой. Я тоже беру рюмку.

– За ножку, за ножку, а то звенеть не будет.

Хрусталь звенит продолжительным малиновым звоном. Звон не прекращается и тогда, когда рюмки уже осушены, и когда вновь наполнены, и когда я возвращаюсь к себе в палату. Я залезаю под одеяло, накрываю голову подушкой... Безуспешно. С ума сойти можно от этого звона. Хожу из угла в угол. На окне решетка. Да что же это такое, в тюрьме я, что ли?

Дальнейшие события подернуты туманом. Густым, беспросветным, звенящим туманом. Как я в одной рубаше, в больничных, то и дело слетающих с ног шлепанцах выскочил чуть свет на улицу, как поймал то ли такси, то ли попутку... Сюжет, одним словом, не нов. Картина называется «Полет ласточки-2». И финал тот же, лишь во времени растянут. Несколько дней живу у родителей, у мамы, стало быть, затем неугомонный Грач, напшиговав какими-то уколами, возвращает меня в камеру-одиночку.

Палата смеха

Сколько дней прошло, или месяцев, или лет? За окном белым-бело – глаза режет. Зима застелила свои владения одной бескрайней стерильно чистой простыней. Меня готовят к выписке. Сегодня последний массаж. Массажистка, не то мужик, не то баба, косая сажень в плечах, жилистая, безмолвная глыба, ежедневно ломала меня вдоль и поперек, но гиббус, как я понимаю, не кусок глины

и плохо поддается лепке. Первой моей массажистки с той ночи я больше не видел. Или уволилась, или уволили, или она мне просто приснилась. Я дома у мамы спросил, помнит ли она курносую соседку со второго этажа, юную блондинку? «Как же, – ответила мама. – Если я плохо стала слышать, то исключительно из-за ее громкогоподобного магнитофона. И не блондинка она вовсе. Крашенная. Года полтора назад замуж вышла за футболиста и уехала. Недавно с ее матерью разговаривала: учиться в медицинском институте и в больнице где-то подрабатывает, не то практику проходит...».

Значит, не приснилась.

Я хотел у лечащего врача спросить, где она. Но потом передумал: зачем?

Липкая паутина безразличия опутала меня с ног до головы.

В обед я машинально принимаю лекарства и без желания тащусь в столовую. Что-то хлебаю там, что-то жую, чем-то запиваю. Озираюсь. Вокруг такие же, как я, угрюмые люди, каждый наедине со своей болью, своим одиночеством. Что на свете может быть всеохватнее одиночества? И есть ли вообще что-нибудь кроме него? И стихи в одиночестве пишутся, и смерть в одиночестве принимается, хоть какая, хоть в толпе, хоть с толпой, любая, все равно в одиночестве, в глухом и круглом сиротстве. Сколько можно терпеть, на кой черт ждать то, что все одно неминуемо придет, наступит?! О возможности собственноручно решить этот вопрос, самому распорядиться, когда тебе выйти из этого бестолкового театра человеческой драмы и комедии, я задумывался не раз и не два. Я спрашивал себя: самоубийство – это сила или слабость? И всякий раз отвечал по-разному. Сказать «сила» – да, конечно, безусловно. Мы не властны устанавливать дату появления себя на свет божий, но определять сроки пребывания в сей юдоли грешной имеем право, не отдавая себя на растерзание неумолимого времени, унижающего достоинство человека старостью, дряхлостью, немощью, обезображивающего природой наделенную красоту, отнимающего по крохам все то, что делает жизнь жизнью, – силу, любовь...

С другой стороны суицид – простой выход из любой проблемы. Именно выход, а не решение. И еще вот: как, скажите на милость, уйти из жизни раньше своих родителей, давших тебе жизнь, раньше матери, вскормившей тебя грудью и мечтавшей у твоей детской кроватки, что ты вырастешь и станешь человеком, перечеркнуть смысл ее жизни? Как по собственному желанию бросить на произвол судьбы своих малых деток, если они есть? А у меня есть. Есть дочь, которая думает, что меня нет. Но я-то знаю: когда-нибудь для нее я все равно буду. А чтобы быть, надо быть живым. Во что бы то ни стало. Легко сказать...

Сгущаются сумерки, сгущается одиночество.

Сумерки – время моей невесомости, когда и взлететь не можешь и на земле тебя ничто не удерживает, – никакого притяжения.

Мама будто знает об этом, и навещает меня как раз в это невесомое время.

Но сегодня она пришла не одна. Я, боковым зрением увидев их, думаю: мама взяла ко мне с собой Лисичку. Грач говорил, что дочь его просилась ко мне, но слишком уж до больницы далеко... и зима, и уроки, и с братишкой кому-то оставаться надо. Несмотря на отсутствие всяческих желаний, известие о желании Лисички увидеть меня, помнится, заставило чему-то, еще не выгоревшему дотла, шевельнуться в груди.

Но это была не Лисичка с мамой в дверях.

Это моя дочь.

Они похожи с Лисичкой. Обе беленькие, обе светлоглазые. Моя чуть постарше, чуток повыше и много тоньше. Совсем тростиночка. Перешагнула вот порог, стоит бледная, за бабушкину руку держится, блеклыми, стрельчатыми ресничками хлоп, хлоп...

Я протягиваю к ней руки. Она бросается ко мне в объятия:

– Папа!

– Дочура!

– Я сразу не поверила... Сразу, сразу! – Тростиночку мою трясет – вот-вот переломится, она рыдает захлеб. – Я знала: ты жив. Ты, папочка, не мог умереть меня не предупредив. А потом тебя и по телевизору показали, стихи твои в журнале я видела. Маме не сказала. Зачем? Она же и так знает, что ты жив. Она только не знает, что и я знаю.

Буря стихла так же быстро, как и возникла. Только в мае так бывает и в детстве. Глаза у дочери зеленые, а были сначала, как родилась, голубые. Затем сереть стали. Затем... Удивительно.

– А мама в командировку уехала. За границу. В эту, как ее, в Финляндию.

– С кем же ты осталась?

– С бабушкой.

– С бабушкой?

– Да, но она пьет, и я убежала.

– Куда?

– К нашей бабушке.

– К нашей?

Я поднимаю глаза на маму. Она кивает:

– Да, да...

Дочь гладит ежик моих коротко остриженных волос:

– Заболел, папа? – Бледное личико ее заливается румянцем, бескровные губы становятся карминными. – А у тебя тепло.

– Замерзла?

– Когда ехали, немного... – На ней белый больничный халат до пят, из-под которого торчат маленькие ножки в чешках. – И уютно. И даже телевизор есть!

– Включить?

– Там мультики сейчас должны быть.

Мы смотрим мультики, разговариваем, угощаемся бабушкиными гостинцами. Я не спускаю глаз с дочери. Обидно немного: пришла ко мне, а сама к телевизору прилипла. Мама тихонечко поясняет ситуацию с внучкой. В общем-то короткая пулеметная очередь дочери все уже вкратце прояснила. У меня ни вопросов не возникло – с кем жена уехала (бывшая жена), ни удивления – как же она дочку одну оставила? Лишь чувство неожиданной горечи, не за себя, не за дочь, а – верите, нет? – за тещу, мою добрую и, несмотря ни на что, любимую тещу: неужели опять запила? Мама ни слова упрека в ее адрес. Она все больше о перенапряженном распорядке дня внучки и плохом ее аппетите.

Бесконечный американский мультфильм с беспрестанными драками и руганью дает возможность нам с мамой поговорить без оглядки на всепонимающую дочь, которая у включенного телевизора ничего вокруг себя не видит и не слышит. Это у нее с пеленок.

Мама сообщает, что заходил Земеля и занял у нее денег на дорогу домой.

– Я его, – говорит, – не узнала. Так изменился. Просто два разных человека – когда после армии с приветом добрым от тебя заезжал и теперь. Дерганый какой-то. Что-то не то с ним. Женился он, кстати?

– Женился.

– А я ведь спрашивала у него. Не сказал. Дюжину пословиц о женах (все больше о злых и неверных) вспомнил. Предложила пообедать с нами, отказался. Он ведь приходил к тебе сюда?

– Приходил, – вру я, не отводя глаз.

– Обещал перед отъездом еще зайти.

– Нет, больше его не было.

Всему есть конец. Даже бесконечному американскому мультфильму. Мама отлучается – в хирургическом отделении у нее лежит какая-то знакомая.

Дочь подсаживается ко мне на кушетку.

– Папа, зачем ты так коротко подстригся? Вся перхоть теперь наружу. Прямо как снег. Ты чем голову моешь? – Она острым ноготком скоблит мое темя...

– Больно! – не выдерживаю я.

– Терпи, казак, атаманом будешь! – Она усердно и серьезно творит свое гуманное дело, а ротик – шелковые губки, сахарные зубки, – а ротик ее малюсенький автономно и также деловито лопочет и лопочет:

– Англичанка у нас злая. На урок ее опоздаешь – не пускает. Недавно двойку за сочинение мне вкатила. Две ошибки – двойка! Разве это справедливо? Даже усатый-полосатый говорит, что несправедливо. А мама ругается.

– Кто такой усатый-полосатый? – интересуюсь.

– Да к нам все время приезжает. Мамин друг. У него машина красивая, иностранная.

– А почему – усатый-полосатый?

– Ну, усы у него под носом. И вся одежда всегда в полоску. Как клоун.

– Он что, живет у вас?

– Не-е, я же сказала: приезжает. В гости. Привозит мне и маме подарки разные. И всегда – рыбу.

– Рыбак?

– Не-е, просто там где-то работает. Летом вот в лес с ним ездили, орехи собирали. И зимой, сказал, поедем... На лыжах кататься... Когда мама приедет...

Я разглядываю свою кровинушку, вполне самостоятельного, суверенного человечка.

– Как учишься?

– Учусь и учусь. Надоело. Скорей бы каникулы. Вон бабушке хорошо, на пенсии. И на работу ходить не надо, и двоек ей никто не ставит, каждый месяц почтальон домой деньги приносит. Папа, а когда тебя выпишут из больницы, ты вернешься к нам домой?

– К кому – к вам?

– К нам с мамой.

– Я же умер, – замечаю я, дурашливо закатываю глаза и, раскинув руки, замертво плюхаюсь на кушетку.

– Папа! – строго, деланным взрослым голосом прикрикивает на меня дочь, тянет за руку, сажает. – Сделай как я. – Она словно собирает в горсть паутину с лица и решительно сдувает ее с ладони. Я повторяю за ней магический жест.

– Фью! – И смерть улетает от меня далеко-далеко... Мы весело гогочем.

Возвращается мама.

– Тише, черти, расшумелись! Вы же не в комнате смеха находитесь, в палате...

– В палате смеха! – не унимается дочка и внучка. Я тоже не унимаюсь, смеюсь и думаю, что здесь, в палате, нас не трое, а шестеро: дочка и внучка, отец и сын, бабушка и мама.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава восьмая

Возвращение

Неухоженную голову разглядела, а то, что отец горбатым стал – нет. Скорей всего бабушка поработать успела, предупредила. Но ребенок есть ребенок, должно было с язычка сорваться... А может, я переоцениваю свой «Эверест» за спиной, слишком мнительный стал, а сторонний человек, быть может, и не замечает?

Всеми правдами и неправдами продержали меня в больнице еще пятнадцать дней. Если точно – четырнадцать суток и десять с половиной часов.

Покинул больничный городок самостоятельно, без сопровождающего – запропастившегося Грача, пешочком по хрусткому снежку. От обилия солнца и блеска слезы горохом... На душе, как на улице, ни ветерка, тихо, светло, будто только что родился и вот потопал тихонечко навстречу сплошному добру и благодати, а не к переполненному маршрутному автобусу.

Сперва к маме.

Но первой, кого встретил из знакомых на свободе, была моя пропавшая массажистка. Я огибал палисадник, а она с мужем-футболистом, под стать ей лосем, выходила из подъезда. Из-под собольей башкирской шапки – челка стриженная, из-под богатенькой шубки – богатые колени... Модными сапожками хруп-хруп...

Мы не узнали друг друга.

Я-то хотел узнать, поздороваться, просто, по-соседски, и рот открыл было, да вижу, она меня не видит, глаза куда-то вдаль, будто меня и нет вовсе. Разминулись благополучно. Лосю ее я вместе с енотовой шапкой своей по плечо. Хлопнула за спиной дверь подъезда. Темно. Глаза после яркой улицы, как в глухой пещере. Лишь бы мама была дома.

По шагам, направляющимся на зов звонка, легко определяю, кто идет мне дверь открывать. Или они спешные, весело пошлепывающие задниками тапок, – значит, мама, или медленные, шаркающие – отец. Когда мамы нет, плохо, неуютно, глава семьи со своими болячками, обидами на прошлое, с головой в себе, я – не лучше.

Шаги легкие, весело пошлепывающие...

– Иду, иду! – узнает меня мама по короткому, двойному, звонку.

Но на этот раз в глубине души я ждал и надеялся услышать другие шаги – частые, бегущие, будто заколачивающие голыми пятками гвозди в пол.

Перешагиваю порог:

– Где?

Я не говорю – кто. Мама не спрашивает. Понятно. Она суетливо включает свет в прихожей, принимает и потрошит больничную авоську:

– Мать забрала ее. Вчера. На машине...

– На такси? – спрашиваю, хотя какая разница.

Мама виновато пожимает плечами:

– Не разглядела, сынок. Знаешь же, какое у меня зрение. Слава богу, тебя вижу сейчас, а в окно вот и не различу уж, хоть и глаз не отрываю.

Что верно, то верно, глаз от окна она не отрывает, всю жизнь меня ждет: пацана с катка, солдата из армии, поэта с банкета...

Я стыжусь: по-человечески не поздоровался с матерью. Приподнято восклицаю:

– Пирог испекла, да? За версту слышно!
– Внучка не попробует вот! – вздыхает мама.
Я не отвечаю, молчу. Что я могу ответить? И не расспрашиваю – как уехала дочь, плакала ли, обрадовалась ли, вспоминала ли обо мне, что оставила на память – какие фантики, какие рисунки... Через минуту-другую мама сама все подробно расскажет и покажет, а пока суетится, что куда мое пристроить не знает, волосы свои белоснежные поправляет, точно к ней жених явился.
– Проходи, проходи, с отцом поздоровайся.
Ритуал обыденный. Время обеденное.
Мама быстро накрывает на стол, замечая непременно, как в детстве:
– Помыл руки?
Впервые с незапамятных времен моей болезни – имею в виду не только гиббус – чувствую зверский аппетит, наворачиваю – за ушами трещит.
Отец без интереса озирает меня, что-то спрашивает, я что-то отвечаю. Мама садится за стол как всегда последней, нет, она так и не садится – хозяйка: то молоко вскипит, то еще что... Она у меня непоседа. Я не видел ее, например, вот так просто, ничего не делая, смотрящей телевизор. Если она включает телевизор, то и уют заодно, или вязание возьмет, или штопку (теперь уж, правда, не вяжет – зрение)...
Но вот наконец присела и между прочим:
– У вас там умер кто-то на работе.
– Кто? – пирог застревает в горле. Она просит меня не волноваться, сообщает, что не совсем на работе, что приходил Грач...
– Почему он?
– Не знаю. Записку вот оставил и туда убежал, потому и встретить тебя сегодня не смог. – Она достает из серванта бережно сложенную записку. – Тоже, говорит, поэтом был, только непризнанным.
Все ясно. Записку можно не читать. Но я читаю. Спокойно читаю. Конечно, это он, Коленвал. Выпил в одиночестве, прилег, закурил, а далее что случилось – то ли пожар, то ли из-под вскипевшего чайника газ пошел, хотя какой в коленваловской халупе газ? Короче, выпил, закурил, задохнулся. Большого из записки не выудить. Все прояснится на месте. Но что изменится? Смерть давно витала над Коленвалом и зазывала в свои объятия. Однажды у издательства его сбила милицейская машина. Трезвого. Потому-то и угодил под колеса, острили умники. Больше года по больницам на костылях путешествовал. Потом он как-то загадочно выпал на ходу из электрички. И как-то остался жив. А психушка, а многочисленные «ласточкины гнезда», ЛТП, КПЗ – это ведь все тоже хождение по острию... Он всю жизнь висел на тоненькой ниточке хрупкой елочной игрушкой и ждал, ждал, ждал, когда же эту ниточку наконец перережут.
– Он признанный, мама, – говорю я, откладывая записку. – Признанный кем надо.
Обжигаю горло горячим чаем:
– Пойду.

Истинный и гордый

– За день до этого умер его кот Цезарь, – говорит Грач.
Возвращаемся с кладбища. Бредем вдвоем закоулками, забаррикадованными горбатыми сугробами. Зима теплая, снежная. Народу кругом полно, в основном дети, молодежь. Катаются на санках, бегают на лыжах... Старики вымерли. Или сидят дома, переживают неурочное для всяческих передвижений время года. Нет, бредет один навстречу. Вдрызг пьяный. Хоть храм и близко, да ходить склизко, а кабак далековато, да хожу потихоньку. Ступил на зализанную ребячьими валенками блестящую пролысину льда, шагнул – ничего, еще шагнул – и не поскользнется ведь, черт старый, не растянется, будто асфальт шершавый под башмаками. Качнуло вот в сторону, сошел с опасной полосы. Кроличья шапчонка на затылке, взбитый белый клочок волос по-суворовски ввысь, и на изрезанном морщинами, худом лице тихая, по-детски светлая улыбка. Посторонитесь, умники твердые и многострадальные!
В который раз спрашиваю:
– От чего он умер?
Не спрашиваю – тупо повторяю то про себя, то вслух, все еще не в силах поверить в случившееся.
– С перепою, – отвечает Грач. – Перебрал, вот и все. Много ли надо при его-то мощах.
– Что-то тут нечисто... Все по-разному толкуют.
– Несуразная жизнь – несуразная смерть.
– Зачем так? Думаешь одно, говоришь другое... Есть такая штука – судьба. Слышал – нет?
– У кого она зрячая, у кого слепая, – выдает Грач очередной свой афоризм.

– Окулист нашелся! Бывает, когда ты как при цугцванге: ходишь, куда тебе судьба-противница диктует, делаешь невыгодные ходы.

– Но жизнь – не шахматы.

– Шахматы, конечно, логичней, но жизнь... Вон сколько народу пришлось проститься с ним, мог бы подумать? А мы: непризнанный да непризнанный.

Народа у Коленвала в последний день пребывания его бренного тела на земле нашей грешной было удивительно много. И собутыльники собрались, шантрапа разная, и люди солидные, среди них университетские преподаватели, писатели, художники, газетчики, студенты... Композиторов двух видел у гроба, тенора одного из оперного. Вот тебе и полководец без армии, то бишь поэт без своих книг! Не печатался он, что поделать, но стихи его, как легкие осенние листья, порхали по свету. Не раз бывало: в компании какой-нибудь доморощенный бард тронет струны гитары и затянет вдруг песню с удивительно знакомыми словами. Запоздало хлопнешь себя по лбу: так это ж коленваловские стихи!

Рукописи не горят. Стихи – тем более. Стихи ведь – не всегда – рукописи и книги.

Смерть делает человека значительнее, серьезней. Коленвал в гробу, ей-богу, красив был и величествен. Он лежал успокоенный, избавленный от суеты, от мелочных желаний, обид, страхов, свободный от всего того, чем мы все вокруг него были отягощены. Мне даже показалось, что на лице его белом появилось выражение гордости, превосходства над нами: он уже постиг Великую Тайну, которую мы еще не ведаем, но с трепетом каждый по-своему ожидаем; постиг и хочет сказать будто: вот он я, истинный, мелочь пузатая, и тут я впереди вас.

Но сколько суеты, вместо того, чтобы элементарно закопать лишнее жизни тело в землю, сколько предрассудков, ложной значительности, театральности наконец! Видно, все-таки есть нечто такое в этом моменте, что заставляет трепетать перед уже, по сути дела, просто-напросто неодушевленным предметом. Говорят: живых бойся. Нет! Мертвых боимся. Вернее, смерти. На похоронах все, как один, вспоминают вдруг, что никто не вечен. Ненадолго, правда, вспоминают.

На поминки, которые организовали в кафе невесть откуда взявшиеся родственники и любители его поэзии, мы не пошли. Поминальщик набралось – тьма. Так что душа Коленвала, зависшая над столом с поминальными гранеными стаканами, приятно удивившись, не заскучает, останется довольной. А если и спохватится кого, то грех на душу Грач взял, это он поступил со мной, как доктор с пациентом, – не пустил и все. «Почему?» – «Чтоб завтра опять в каталажку не угодил».

– С кем дети-то остались? – спрашиваю на остановке трамвая, где наши пути с Грачом разбегались наконец в диаметрально противоположные стороны.

– А увидишь скоро, – загадочно щерится Грач.

– Секреты?

– Секреты.

– Не жениться ли собрался, случаем?

– Собрался!

– Seriously?

– Вполне.

– И кто она?

– Приходи вечером, увидишь.

– Приду, если... приду.

Жизнь есть жизнь. Кто-то умирает, кто-то женится, а кто-то ни то ни се.

Грач запрыгивает в трамвай и грозит мне в окно кулаком: обязательно приходи.

Я теряю в кармане обрывок бумаги в линейку с последними стихами Коленвала. Их мне на кладбище Грач дал. Как они ему достались? Сказал, что потом скажет. Так и не сказал. Почерк его, коленваловский, корявый, не перепутаешь. Стихи посвящены Цезарю:

Умер кот,
Он будто бы вздохнул
После трудно сделанной работы...

На земле

В конторе ни души, точно сдуло. Спрашиваю единственного сохранившегося на месте сотрудника – Монашка, категорически не терпевшего застолий и остававшегося на службе дневальным при всех коллективных прогулах:

– Где все?

– Так на поминках же! – удивленно таращится он на меня. – И Пузо там со своими...

Странно. Таким вдруг любимым и популярным сделался Коленвал! Неужели для этого обязательно помереть надо? Или до чугунных лбов дошло нечто... и они решили в срочном порядке примазаться, не

остаться в стороне от неожиданно приобретенного значения события? Когда жив был, носы воротили, стаканы с вином от него, похмельного и небритого, по тумбочкам своих служебных столов прятали, стороной обходили – не дай бог на кружку пива попросит. Теперь не попросит. Сам угостит на прощание.

Монашек – мой последний из могикан (наверное, единственный, кто еще не обернулся в Хеопсову веру) – рассказывает мне обо всем самом важном, происшедшем в конторе в мое отсутствие. Главная новость: Дюймовочка получила квартиру... Монашек смотрит на меня выжидающе.

– Знаю, – говорю, хотя и слышу впервые. Монашек хлопает конфузливо большими девичьими глазами, словно от него что-то зависело, хотя он всегда за всех себя виноватым чувствует. Я прошу продолжать дальше.

– Звонил Штабс-Капитан.

– Когда звонил?

– Почти каждый день в последнее время.

Не откладывая, набираю его номер. Удачно – междугородка не подкачала, редактор городской газеты на месте. Я сообщаю сбивчиво о Коленвале. Штабс-Капитан о случившемся уже слышал, расспрашивает подробности, сообщает о том, чего я не знаю: сделка Земели с лысым миллионщиком состоялась, Земеля получил для начала ракетницу.

– Для чего ему ракетница? – спрашивает Штабс-Капитан.

– А я знаю? – отвечаю я вопросом на вопрос.

– Я ведь раньше его уехал, – говорит Штабс-Капитан, – они еще только договаривались. И он не в себе был. Знаком с ним всего ничего, но видно же. Известий от него нет?

– Нет.

– Но не для фейерверков же ему ракетница?

– В конце концов он уже взрослый человек, – говорю я раздраженно.

– Это верно...

Разговор наш висит продолжительной паузой. Я уж думал, связь прервалась, кричу в трубку:

– Алло, слышишь, алло!..

– Чего кричишь? – вздыхает на другом конце провода, в другом городе мой самый близкий друг и спрашивает после новой паузы: – Миллионщик-то кучерявый где у вас там обосновался?

– Обосновался? – удивляюсь я. – Он что, к нам переехал?

– Будто с луны свалился! – в свою очередь удивляется мой друг.

– Нет, из больницы выписался.

– Не обижайся. Задергался я. И работа, и дом – все на голых нервах.

Прощаясь, Штабс-Капитан говорит, что скоро пригласит на свадьбу:

– Готовься!

– Да что вы все!.. – цежу сквозь зубы.

– А чего? – не понимает Штабс-Капитан.

Коридор конторы наполняется топотом, гомоном – вернулись с поминок.

Немного выжидаю и поднимаюсь к Пузе. Он принимает радушно, как старого друга, вернувшегося с фронта. Восседает за письменным столом в своем желтом вращающемся кресле, развалившись в нем и покручивая задницей. Ворот черной – по случаю траура – рубахи расстегнут, модный галстук приспущен, в руках авторучка, какие-то «затеси» на память делает.

В кабинете он не один. Рядом за большим круглым столом для неофициальных бесед удобно расположились в креслах кучерявый миллионщик со своей персястой женой-графоманкой. Оба тоже приветливо улыбаются мне.

– Проходи, проходи, – указывает Пузо на стул возле круглого стола. – Выписался? А мы вот только с поминок. На кладбище тебя видели, а потом как в воду канул, куда девался-то? Как раз о тебе и говорим, легок на помине будешь. – Достает из шкафчика бутылку водки. – Помянем, ты ведь с ним как никто дружен был.

– Я на минутку, – говорю я.

– Что так? Полгода отдыхал и не расскажешь? Поправил здоровье? Так и не смог к тебе выбраться, прости, старик. Дела, дела, сам видишь: кого-то хороним, кому-то квартиру выбиваем.

– Мешок стихов, наверно, написал... – суется, лыбясь, кучерявый.

Я кладу на стол Пузы вчетверо сложенный лист, в котором мое заявление с просьбой освободить меня от занимаемой должности.

– Потом посмотришь, – говорю я Пузе и выхожу, плотно и неслышно закрыв за собой двойные двери.

Неспешно разбираю свои бумаги – что выкинуть, что взять с собой. Хочу вспомнить лица толпы на кладбище – и не могу. Где там Пузо был, где Дюймовочка? Не знаю, не видел никого. Толпа, на то она

и толпа, чтобы безликой быть.

Корзина для бумаг быстро наполняется. Нет ничего приятнее, чем рвать какие-то рукописи, какие-то документы, казавшиеся еще вчера важными, а теперь вот превратившиеся в не более чем макулатуру. Место переполненной корзины для мусора занимает свободный ящик стола, положенный на пол. Работа кипит. Работа лечит, особенно когда она совершается в одиночестве. Но нет, невозможно быть в одиночестве на территории конторы. Стук в дверь. Заходит, потирая лысину, миллионщик:

– Чё это вдруг увольняться вздумал?

Я пожимаю плечами. Я не знаю, что ответить. Послать его к чертям собачьим, сказать: не твое дело – остатки воспитания не позволяют; объяснять ему что-то – смешно. С незваными гостями надо по существу:

– Что хотел?

– О! О! О! – трижды окает кучерявый. – Какими мы гордыми стали! – Опускается в кресло напротив меня, поправляет лацканы своего дорогого двубортного пиджака. – Брось, не переживай. С твоей ли голёвой тебе тут штаны протирать? Правильно делиаешь. Пригласили куда-нибудь получше?

Я не отвечаю. Чего с ним разглагольствовать?

– А хочешь, к себе на работу возьму? – надувается важностью миллионщик.

– Нет, спасибо.

– И не спросишь – кем?

– Представляю...

– Правильно, мы с тобой без «б» сработаемся. – Гость поудобнее устраивается в кресле. – Мы же интеллигентные люди и всегда найдем общий язык. Я тебя своим заместителем сделаю, будешь в десять раз больше получать, чем здесь. А? Я ведь со всей своей конторой сюда переехаль.

– У меня мало времени, извини.

– Наоборот, у тебя теперь должно быть много времени.

Я делаю нетерпеливый жест головой в сторону и уставляю взгляд в окно. В безветрии тихо кружат мелкие, поблескивающие на солнце снежинки. Похолодало в одночасье. Постоянства и устойчивости нет и в природе.

– Лядно, лядно, уйду сейчас, – не пошевелится в кресле интеллигентный человек. – А может, подумаешь? Я не прошу сегодня же ответить.

– Слушай, – перебиваю я его, – зачем ты Земеле ракетницу дал?

– Аванс, – делает белозубую американскую улыбку Кучерявый.

– За что?

– Ты же знаешь. Он взялся помочь мне немного... Заместителя-то по этим вопросам нет, вот и приходится по разовым договорам работать.

– Насколько я знаю, речь о стрелковом оружии шла.

– Ну, не получилёсь, – оправдывается благодетель. – Да и зачем оно ему? Ракетница – пожалуйста... Пусть в деревне своей на радость землякам салюты в небо пускает. Боеприпасов я ему завались дал.

– А если что случится, с кого спрашивать, с тебя?

– Что может случиться? – морщит нос кучерявый.

– Ты заметил, какой Земеля был?

– Какой? Как и все мы, чуток на взводе. – И повторяет вдруг то, что я сказал часом раньше Штабс-Капитану: – В конце концов он же взрослый челёвек. – И поясняет: – Заключили джентльменское соглашение без бюрократий – подписей там, печатей. На взводе не на взводе. Я заметил, я разгляделё – это прежде всего порядочный челёвек. Он доверие внушает.

– Он-то да, – говорю я и встаю, давая понять, что пора прощаться.

Кучерявый выкарабкивается из кресла и уже в дверях, иезуитски улыбаясь всеми вставными зубами наружу, роняет между прочим:

– А кто-то и за что-то квартиру в новом доме получилё...

Прости

«Что ж, квартира – это очень важно, – говорю я сам себе, – без мужа прожить можно, а вот без угла своего трудновато. Ясно».

С этой ясностью хорошо бумагу рвать.

Но косяком из ящика стола пошло то, что не порвешь. Коленваловские стихи – на писчей бумаге, на бумаге в клеточку, в полосочку, отпечатанные на машинке, исписанные, измаранные чернилами. Возникли из небытия две общие тетради. Когда-то они были подарены мне, да так в суете и остались

нераскрытыми. Я листаю их. Они отрывают от сиюминутности, напоминают, что кроме измен, предательств, мелких дряг и интрижек есть на свете Красота и Вечность. Душно. Распахиваю форточку, в комнату залетают блестящие снежинки и мгновенно тают. Я возвращаюсь к столу, хочу взять очередной лист с до боли знакомым, летящим снизу вверх почерком, но он выпархивает из-под моей руки, все бумаги вдруг, как большие белые птицы, взлетают со стола под потолок – сквозняк, кто-то открыл дверь...

Дюймовочка.

Я собираю по полу бумаги.

– Ой, прости, ради бога! – Она помогает мне, пытается складывать листы постранично, я говорю, что это сейчас бесполезно.

Белые птицы успокоились на столе. Мы сидим друг против друга и тягостно молчим.

– Выписался? – спрашивает она.

– Выписался, – отвечаю я.

Она пытается подобрать необходимую ноту разговора. Я ей не помогаю. Нет никакого желания ни объясняться, ни даже языком шевелить.

– Хорошо выглядишь, – делает она новый заход.

– Спасибо, – говорю.

– Честно, честно...

Я кривлю губы:

– Давно не пил, наверно.

Или сговорились все, или только на лицо смотрят? Уж лысый-то не преминул бы прошепелявить какую-нибудь мерзость по поводу горба моего.

– Я квартиру получила, – после очередной паузы сообщает Дюймовочка, не поднимая глаз. Взгляд ее все это время скользит от носочков туфель до бумаг на столе – не выше.

– Знаю.

– И то, что уже переехала, знаешь?

– Нет, этого не знаю, – говорю я уравновешенно, – но от всей души поздравляю. Поздравляю...

Второе «поздравляю» зря сказал. Просквозило в этом что-то ненужное – то ли горечь, то ли обида...

Дюймовочка вспыхивает, скидывает влажные, полные отчаяния глаза:

– А что мне было делать? Ни жилья, ни тебя. Тебе хорошо...

– Да, очень хорошо, – говорю я и понимаю, что в больницу она ко мне не любовью влекомая, а прощаться приходила.

– Прости. – Она как-то разом сникает, лепечет что-то в свое оправдание.

– Не надо! – вскакиваю я и бегаю из угла в угол. – Я все понимаю. Не понимаю лишь, как это – ты и он, Дюймовочка и Бреккеке, поэтесса и импотент? Хотя что это я? Какое мне дело?

Она не отрывает от меня, как болельщик от мечущегося туда-сюда мяча, ожидающего взгляда. Мне становится жаль ее. Я касаюсь ее плохо замаскированного под свитером грубой вязки худенького, острого плеча:

– Не расстраивайся, все будет хорошо.

Пустые, прилицивающие моменту слова. Самому противно.

Она смотрит на меня снизу вверх, опять опускает взгляд на кончики своих туфель, опять поднимает и произносит тихо:

– Я люблю тебя. Люблю. Веришь, нет? Все равно люблю. Веришь?

– Верю, – отвечаю я и отхожу, сажусь на место, за барьер большого служебного стола.

– Я и в больницу к тебе больше не пошла из-за этого. Не могла. Понимаешь?

– Понимаю, – вторю эхом.

– Ничего ты не понимаешь. Нет, нет, ничегошеньки, конечно... И объяснить не могу.

– Я тоже не могу. Только вот скажу: то, что не получается сразу, не получается никогда. Тьфу! Не то, не то говорю... – Я размахиваю руками, мотаю головой, но выразить свое состояние, свое отношение к маленькой, тоненькой, любящей меня и по-своему виноватой передо мной женщине не могу, гляжу в окно, будто надеюсь там высмотреть подсказку, но подсказать некому, кроме разве что двух глядящих друг друга большими клювами ворон на белом снегу. Хотя вот она, подсказка, простая и мудрая, как этот белоснежный мир, – в любви спасение, в любви, которой у меня нет. Об меня любовь, как об стену горох. И неча на других пенять...

Я думаю одно, а говорю и говорю что-то другое. Она не перебивает, слушает, смотрит. Надеется на что-то? Или это я надеюсь?

Шумно и нагло распахивается дверь.

– Вот они где! – прерывает мою тираду Пузо. – А мы с ног сбились, ищем ее, – обращается он к Дюймовочке. За спиной его маячит лысина миллионщика. – Поехали, опаздываем же.

Занавес. Бреккеке с Дюймовочкой откланиваются. К ее растерянной улыбке эпитетов нет.

Глава девятая

Она?!

Я шел по центральной улице города. У встречных всех на плечах сидели розовощекие, голенькие амурчики и, лукаво и в то же время ясноглазо и чистосердечно улыбаясь, нашептывали что-то под шапки своих избранников. Город наш студенческий и красив прежде всего не архитектурными достопримечательностями, а людьми – молодыми, легкими, с не павшим наземь взором, но устремленным далеко за горизонт. Идет молодежь по своей любимой улице, по Броду (не от Бродвея ли меткое сокращение?), и во все стороны от парочек и стаек расходятся, искрясь, электромагнитные лучи, поэтому, должно быть, на этой улице и снега никогда не бывает, стаивает, выпасть не успев.

Я здесь существо чужеродное, унылое, на плече моем нет амурчика, и никто мне под висячие уши енотовой шапки не нашептывает. Иду, не сердцем вижу – глазами, потому и спотыкаюсь, и натыкаюсь, задеваю, но никто этого не замечает и не бурчит вслед.

Не занесло бы меня на Брод, да к грачатам с пустыми руками не явишься. С работы пораньше ушел, пораньше –и с концами, не вернусь туда больше. С глаз долой, из сердца вон – работенка эта непыльная, людишки маленькие.

Только-только занялись сумерки. Земля еще не совсем отвернулась от Солнца, невидимое, оно еще кидает из-за домов, из-за города последние пучки света на облачное небо, но улица, как тонущая каравелла, уже накрылась серо-голубой волной.

В «Детском мире» купил Лисичке фломастеров и пистолет Бубенчику. Народу в магазине мало, час «пик» еще не настал, и я пошел по этажам прогуляться, поглазеть, остановился у книжного прилавка. Книжки все как на подбор, лоснятся обнаженными телесами юных беззастенчивых дев, точно литературные куртизанки всего света собрались в нашем «Детском мире» на какой-то свой всеобщий сход.

Нужной мне литературы не видать, поэзией и не пахнет. Кому она нужна на стыке веков! В начале века с корабля современности пытались скинуть поэтическую классику, теперь, кажется, настал черед вообще поэзии. Нет, скромно ютится одна книжечка, малоформатная, в сером, дешевом переплете – утенок гадкий среди прекрасных лебедей. Я тянусь к ней, но серенькую книжечку раньше меня берет юная леди. Мы стоим рядом, плечом к плечу, и мне хорошо виден сборничек. Леди неторопливо вчитывается в столбики строф, аккуратно, даже бережно переворачивает страницу за страницей. Пыльного цвета типографская бумага номер два, убогий, допотопный шрифт... Но стихи!.. Это же... Сколько я их искал, я верил, что они восстанут из небытия, воскреснут, настоящая поэзия не горит, не тонет, не растворяется, она вечна!

Переведа дух, я поднимаю глаза на милую леди, знающую толк в поэзии:

– Это ты?

Она удивленно поворачивает ко мне свою головку в дымчатой песцовой шапке, из-под которой выбивается пшеничная прядка волос:

– Да, я. – И добавляет на мое растерянное молчание, улыбнувшись одними серыми, как дождевая вода в мае, глазами: – А вы кого имеете в виду?

Да, это была она.

Она, бедная моя зеленогорская горбунья, которой я наобещал с три короба и о которой с тех пор ни разу толком не вспомнил.

И не она. Горба-то не видно. Может, просто пышная шуба скрывает? Нет вроде бы, эта и ростом повыше. Пока я стою немым столбом, она кладет книжку на место, берет объемистый апельсинового цвета чемодан и направляется к выходу. Столбняк отпускает меня, и я догоняю ее, начинаю вновь выяснять, она ли это. Лепечу что-то настырно, а сам чувствую – не она. Креста ее пожизненного за спиной под шубкой определенно нет. Эта не то что горбата – стройна, подчеркнута пряма, и зимняя одежда не может скрыть ее породистую осанку. Но глаза-то – цвета предрассветного неба... Я смотрю в них, и они с каждым новым мгновением становятся светлее и светлее, и до боли знакомые золотистые лучики проскальзывают в них. И эти, по-детски поджатые, с милым, капризным изломом губы... Яркая красная помада, которой раньше она не пользовалась, не может ввести меня в заблуждение.

Она затыкает светлую прядь волос под шапку, тяжело перекладывает чемодан из руки в руку.

– Разрешите помочь! – прошу я, когда выясняется, что нам с ней в одну сторону, на остановку автобуса, и боюсь сам: еще откажет, внушаю ли доверие в своем далеко не презентабельном одеянии? Рядом с ней я, как драный кот Базилио рядом с прекрасной Мальвиной.

Но она великодушно не отказывает.

«Камнями, что ли, набила!» – чуть было не вырывается у меня с произвольным вздохом, какой бывает у штангистов, когда они берут вес на грудь.

Чуть было не вырывается. Молча жилось.

Нет, это несомненно она. И чемодан тот же, оранжевый, из рифленой кожи, и вес его не изменился, будто тащу я его с аэропорта в санаторий «Зеленые Горки». Но тогда я сильнее был, и не было у меня адских болей в спине, и ростом я был повыше, еще не скрючило так, а теперь вот чемодан до земли достает, приходится идти скособочившись. Тяжело. И «дипломат» мой, пушинка, противовесом служить не может.

Конечно, она. И имена совпадают. Любовью ее зовут.

– Но вас я не знаю, – молвит она, заправляя до волоска знакомую непослушную прядь под дым пушистой шапки.

Попутчиков на остановке тьма – подоспел час «пик». Кое-как со второго захода втискиваемся в автобус № 33, обосновываемся на подножке, прижатые к с трудом закрывшимся дверцам. Все-таки автобусы у нас резиновые, напрасно водители стараются доказать обратное.

Путь в микрорайон, где живет Грач с грачатами и невестой, с которой предстоит мне познакомиться, лежит через не обжитое человеком междугородье – через поля, перелески...

Ей в те же края.

Я и в автобусе пытаюсь продолжить допрос по выяснению ее личности, но она, и на воле-то неразговорчивая, тут окончательно смолкает. Да и, откровенно говоря, толпа так давит, слово вымолвить – труд немалый.

У одного из перелесков автобус чихает и встает как вкопанный. Водитель объявляет: дальше его колымага не пойдет. Дверцы со скрипом раздвигаются, пассажиры, ругаясь, охая-ахая, высыпают на шоссе, принимаются «голосовать», но легковушки, и не притормаживая, с издевательским вжиком проносятся мимо, редкие автобусы помочь нам и при желании не могут, перегруженные, они пыхтят угрюмо своей дорогой. Двум парочкам повезло, две «волжанки» сжалились, взяли их. Но не нас с ней. Она предлагает нести чемодан вместе – ручка массивная, можно взяться в две руки. Я сперва отнекиваюсь, мужественно волоку непосильную ношу, но скоро сдаюсь, и мы беремся за чемодан с камнями с обеих сторон. Так несомненно легче. Но топтать-то сколько!

Стихи горят и греют

Опускается вечер, становится темно, по дороге идти опасно, собьет попутка, по обочине – невозможно, снег по пояс. Ноги в отечественных ботинках на рыбьем меху немеют от холода, а по спине, налившейся свинцом, пот градом. Ладно хоть ветра нет. От толпы мы отстали, последние черные спины скрылись за излучиной шоссе: никто же такой груз, как мы, не тащит. Я уж и не думаю, она это или не она, бреду ошалело, вскидывая свободную руку перед каждой обгоняющей нас машиной, как солдат нацистской армии перед своим офицером.

Останавливаемся передохнуть. Она присаживается на краешек чемодана и говорит, что идти больше не может, что давно уже ног не чувствует: отморозила, наверно.

На ней узенькие модные сапожки, в каких только на сцене в ансамбле песни и пляски выступать или стюардессой по салону «Боинга» разгуливать. Немудрено без ног остаться. Но что делать? Сколько шли – ни одной автобусной остановки. Хотя кому они нужны в чистом поле? Несуразица, чушь несусветная, бред, маразм – двум нормальным, в здравом разуме трезвым людям околевать от холода посреди города! Мимо машины лихо мчатся, красивые люди, теплом омываемые, в них сидят, улыбаются...

Счастливые бедолагам не попутчики.

Лезу через сугроб в лесопосадки, собираю еловые сучья, которых практически нет. Но я упорен, чую, чем дело пахнет. Не скоро, но куча хвороста на дороге у чемодана вырастает, есть там и симпатичные, обнадеживающие дровишки. Но я опять лезу через сугроб в задиристую, цепкую чащобу, утопаю в снегу, ломаю молодые сосенки, выдергиваю сушняк из-под ног – костер должен быть настоящим и продолжительным, иначе и возиться не стоит.

У канцелярской души в «дипломате» всегда бумага найдется. Достая пяток чистых листков, рву на растоп, складываю над ними по всем правилам шалашик из сухих веток, щелкаю огнивом, которое подарил мне на берегу реки в тихий летний день Земеля. Зажигалка эта всегда при мне. Иногда ошастливливал ее безотказным огоньком друзей-курильщиков, сам-то не курю, изредка лишь балуюсь в компании, поэтому газа в ней, кажется, на всю жизнь.

Разгораться костер не спешит. Запас писчей бумаги, который неизменно на всякий случай при мне, мгновенно истлел, бесполезно по отсекам «дипломата» шарить, нет больше бумаги, ни листочка, ни газетки. Но покоится там, к стенке прижавшись, белоснежная папочка с рукописью стихов. Моей рукописью, готовой к печати, в двух экземплярах. Достая папку, нежно тяну за бант тесемок... Вот оно, детище моих бессонных ночей, сколько лет, сколько души отдано ему, сколько надежд с ним

связано! Бумага отменная, строчки ровненькие, буковки кругленькие. Я смеюсь и читаю весело и с выражением... Попутчица моя бедная испуганно смотрит на меня: часом не тронулся ли парень умом? Я успокаиваю. Объясняю: вот сколько бумаги на растопку, костер наш обязательно запылает. И рву испещренные машинописью листы, мну, подкладываю под шалашик хвороста. Огонек от земелевской зажигалки нехотя занимается, я подкидываю еще, еще... Огонь пожирает мои стихи, излучая тепло и свет. А один гад, критик, писал, что мои стихи не греют. Еще как греют! Мы тянем к костру руки, теплое дыхание его касается наших лиц, огонь в безветрии полощется ровный, точно декоративный, из алых тряпочек на театральной сцене, поддуваемый вентилятором, только искры совсем не искусственно летят снопами в небо и перемешиваются со звездами.

– Я думала, у тебя не получится, – говорит она и ойкает: трассирующая пуля, пущенная живым, нетеатральным костром, чуть не попадает ей в лицо.

– Осторожно, – говорю я.

– Ничего, – отвечает она.

Костер потрескивает, мы приплясываем, машины, не сбавляя ход, огибают нас. Их стало заметно меньше. Я советую моей невезучей попутчице (и поезд ее опоздал, и не встретили ее) снять сапожок, погреть ножку. Она не знает, что и делать. Я убеждаю, рассказываю, как одного альпиниста, развед донага, оттирали снегом в горах Памира.

– Сам читал. И костра не было. Правда, водка была...

– Не водка... Но коньяк у меня есть, – нерешительно смотрит она на меня.

– В чем же дело! – развожу я оживленно руками.

Она валит свой багаж набок, щелкает замками... Туго набитый чемодан распаивается. О боже, чего в нем только нет! Свертки, банки, коробки и целый дамский гардероб! Вот и бутылка из глубин выныривает, шоколадка на закуску, и детская фарфоровая чашечка за хрустальную рюмочку на нашем немногочисленном банкете берется поработать.

Коньяк приличный, болгарский. Она выпивает чашечку в два захода, каждый раз тщательно зажевывая шоколадом и покашливая:

– Холодный.

– Спиртное холодным не бывает, – замечаю я и беру сотку махом. Затем для равновесия еще одну. И не закусываю. Тепло стремительной волной расходится по трубам жил, будто отопительную систему включили в промерзлом доме.

И голова начинает лучше соображать. Может, и не лучше, но как-то яснее, уравновешеннее, без лихорадочного озноба и судорог. Видать, подкорка включилась, подсознание вмешалось в управление мной. Я продолжаю «голосовать», уверен: должен же кто-то остановиться, невооруженным глазом же видно – люди бедствие терпят. Какая взаимовыручка у моряков на море и какое безразличие друг к другу у сухопутных тварей на земле! Мимо мчатся. Хоть бы одна притормозила! Но уверенности не теряю, а то и смысла нет торчать на дороге, костер жечь, полдороги прошли б уж за это время.

– Потеплело? – спрашиваю, имея в виду коньячок.

– Да, – кивает она, – тепло стало в груди, но ноги... все равно...

Я усаживаю свою бедную и покорную попутчицу на чемодан, стаскиваю с нее сапоги, становлюсь перед ней на колени, расстегиваю пальто и ставлю ее ноги себе на грудь, под шарф, растираю их, массирую пальчики, обтянутые прозрачными, эластичными чулками:

– Что же вы, за тридцать земель собрались, а одеться потеплее не могли?

– Кто предположить мог, не думала...

– Понятно.

Я продолжаю ожесточенно растирать, щипать, колотить...

Ножки у нее маленькие, пальчики тоненькие, до умопомрачения знакомые...

– Простынете, – безуспешно пытается она освободить свои ноги из моего плена. – С колен хоть поднимитесь.

Не выпуская ее ног, перегруппировываюсь, поднимаюсь на корточки. Вот и морщиться моя подопечная начинает, постанывать.

– Больно, что ли?

– Щиплют, – тяжело вздыхает она.

– Значит, отходят, – удовлетворенно шепчу я и продолжаю свой монотонный труд.

У каждого свой Эверест

Откуда взялись во мне, человеку в обыденной жизни рефлексивном, малоприспособленном к существованию вне благоустроенной квартиры и служебной комнаты, эта сноровка, эта упрямая невозмутимость? Точно я бывалый альпинист, оказавшийся в пустяковой, на уровне загородного

туризма, ситуации. Даже ведь, если быть точным, не загородного, а городского. В паршивой лесопосадке, в парке, можно сказать, культуры и отдыха околеваем. Положеньице, расскажи кому, смехотворное.

– Ничего, все будет хорошо! – пытаюсь поднять дух напарницы по связке. Я полностью вошел в образ, мы с ней в этой зимней, холодной ночи – одна связка, Тенцинг и Хиллари, штурмующие Эверест!

– Перестали щипать?

Она шевелит ногами:

– Кажется, да. Нормально...

Я сам чувствую, что нормально. Теперь главное – сохранить достигнутое. Вытаскиваю из чемодана голубенькую шерстяную кофту с вышитыми на груди алыми розами, заворачиваю в нее драгоценные ножки, достаю еще сверток, встряхиваю – длиннополое белое нарядное платье... И оно идет на своеобразную портянку. Обматываю вторично и прячу получившийся куль в чемодане, в ворохе других шмоток. Она только ахает:

– Подвенечное платье помяли!

– Зато с ногами останешься, – замечаю я бесстрастно.

Со стороны картина с нашими персонажами выглядит так: она восседает на троне разлапистой коряжины, ноги в чемодане, я кружусь вокруг неумолимо хиреющего костра, изо всех сил стараясь вдохнуть в него вторую жизнь. Дрова кончаются, погода портится, загулял по шоссе ветер, затеребил макушки деревьев, поднял снежную, колкую пыль. Хорошего мало. Смотрю на часы, они встали. Да и без часов видно: времени уже много, вечер сменился ночью.

По лесопосадке полоснул свет далеких фар. Хватит у моря погоды ждать! Бросаю остаток хвороста в костер, выбираюсь на середину дороги.

Машина приближается стремительно. Моя принцесса на коряжине что-то отчаянно кричит мне, пытается распутать ноги... Я раскидываю руки в стороны, стою живым крестом – не объехать. Автомобиль бешено сигналил, истерично тормозит, буфер его упирается мне в живот – передо мной заморский «джип», по-нашему «бобик», или «козел», стало быть.

Ну вот, и объясниться можно. А то на большой скорости и за толстыми стеклами трудно понять человека.

Двери «козла» одновременно с обеих сторон распахиваются, и ко мне подлетают два молодца:

– Ты что же это, голубчик, Иисуса Христа изображаешь?

Вежливо так.

Я хочу объяснить наше незавидное положение, но и рта не успеваю открыть, как кулак одного из них, как пушечное ядро, врывается в мой румяный портрет.

В таких случаях говорят: искры из глаз посыпались, луна на небе умножилась и тому подобное. Нет, искры из глаз моих не посыпались, луна не удвоилась, не утроилась – ее в подернутом метелью небе вообще не было. Первым делом я ощутил после неудачного контакта с землянами из «джипа», вернее, увидел (ощущение было зрительным) ее синие, чистые, как майское небо в день моего рождения, настезь распахнутые, милые моему сердцу глаза. Она склонилась надо мной, шевелит губами, говорит какие-то слова, а я не слышу, не понимаю. Прядка влажных, с блестками снежинок волос гладит мое обнаженное чело... Голос ее всплывает из-под толщи немой глухоты порядком позже и откуда-то со стороны, будто ее лицо засветилось на киноэкране, рядом, надо мной, а звук включили с опозданием, и динамик находится в соседнем помещении. Наконец я понимаю ее, она просит подняться, помогает мне, я с ее и божьей помощью встаю на ноги, тупо соображаю, что со мной произошло.

А произошло simplest и банальное: ехал по шоссе автомобиль, вдруг перед ним выросло чучело, а может, дерево с раскинутыми в стороны ветвями – ни с той, ни с другой стороны не обогнуть, а люди торопятся, их ждут где-то далеко в уютной, теплой квартире. Они останавливаются, выходят из машины, срубают дерево (или чучело), откидывают на обочину с глаз долой и следуют своей дорогой дальше.

Я присаживаюсь на коряжину. Во рту какие-то гайки валандаются. Выплюываю. Это два моих верхних передних зуба-красавца.

У каждого, наверное, имеются свои навязчивые сны. У меня таких два было. Первый: выхожу на сцену, читаю стихи и вдруг обнаруживаю, что впопыхах, собираясь на встречу с читателями, забыл штаны надеть. Представляете? Второй: в той или иной ситуации у меня выпадают зубы – то в драке выбивают, то врач выдергивает, а то просто сами, как при цинге, вываливаются...

Сбылось.

Один дурной сон остался. Неужели и он когда-нибудь сбудется?

Моя спутница разгуливает по снегу, как отступающий из Москвы солдат наполеоновских войск, в экзотической обуви – на одной ноге голубенькая кофта, на другой подвенечное платье. Она натягивает

на мою бедную голову мой енотовый треух, найденный на той стороне дороги, наливает в фарфоровую чашечку коньяку, ужасается, поправляя шарф на моей груди:

– Убить ведь могли! Или задавить. Не остановились бы вот...

«И аля-улю...» – хочу сказать я, но получается что-то невообразимое. Воздух, точно в форточку, сквозит в образовавшуюся брешь в зубах, язык, не имея переднего упора, норовит выскочить изо рта. Ужасно! Еще над миллионщиком потешался. Самому теперь придется пластмассовые стразы вставлять.

Сижу на коряжине, как король на именинах. Моя подельница спрашивает:

– Что будем делать?

– Идти надо, – шепелявлю я.

– Но как я пойду? Сапоги не лезут.

Она показательно пробует натянуть сделавшуюся деревянной свою модную обувь – безуспешно. Я беру перочинный нож, вспарываю белое, как пузо белуги, голенище по шву. Вновь делаем примерку.

– Есть! – вырывается у нее из груди. Она поясняет: – В голенище тесно было. Внизу, у подъема.

– Ну вот... – вздыхаю я и берусь за второй сапог.

Спасение

В это время около нас откуда ни возьмись затормаживает «еврейский броневик» – самого первого образца «Запорожец», ну, такой, как божья коровка, и выбирается из него хромой в папахе белоснежных волос инвалид непременно войны:

– Чего вы тут?

Узнав, в чем дело, приглашает нас в свой «кадиллак», приговаривая, что принял наш костер за красный свет светофора. Инвалид пьян. Помогает затушить хромой ногой тлеющие головешки. Моя попутчица в распоротой обуви напоминает мне кота в сапогах. Я смеюсь... Может, от неожиданно привалившего спасения, может, оттого, что, подобно спасителю нашему, пьян. Но ей не до смеха: садиться в машину пьяного водителя она боится, повязывает голенища сапог веревочкой и собирается в путь пешком. С большим трудом я внушаю ей, что разбиться в этой «божьей коровке», может быть, мы еще и не разобьемся (во всяком случае, это трудно сделать), но вот если на своих двоих двинемся, то замерзнем – это уж точно.

– На два красных светофора проскочил, а на ваш, пылающий, сказал себе: стоп, гвардии капитан, на красный свет боевой машине хода нет! – гогочет с астматическим придыхом инвалид. «Божья коровка» издает львиный рык и трогается с места.

В кабине тепло. Мы потихонечку оттаиваем. Попутчица ищет в сумке адрес, но замерзшая рука не слушается. Я касаюсь ее пальчиков, они как ледышки. Закрываю их в свои ладони, растираю, дышу на них калорифером, успокаиваю:

– Еще успеешь найти, до развилки тут дорога одна.

Она удивляется:

– Какие у вас руки горячие! Будто и не мерзли...

– Они у меня всегда горячие, – не дослушав, хвастаю я.

– Значит, сердце холодное.

Она произносит это и стреляет в меня сумрачным взглядом, быстрым, неуловимым, и отворачивается, и смотрит в окно. Я машинально парирую:

– Горячих щей в холодном котле не бывает.

А сам догоняю ее взгляд. Да, несомненно, ее взгляд, это Она. Я и в слабом свете огней набегающего на нас микрорайона разглядел тот серый, свинцовый холод, которым она в первую же нашу ночь в санатории ожгла меня в обиду на мою грубую неотесанность. Что сказал ей тогда – теперь не помню. Но взгляд вот в подрагивающей полутьме запомнил. Не запомнил, нет, не то слово. Мне показалось, что и не было вовсе той разлуки, что время замерло в том санатории и мы с ней все еще безразлично находимся там, в «Зеленых Горках». И стоит мне повиниться, сплести белоснежные словесные кружева извинений, объяснений, признаний, и глухая стена отчуждения, возведенная моей безалаберностью, рухнет.

Ошибся.

В ее глазах вновь вежливая приветливость и сдержанная благодарность за рыцарство незнакомого человека, волей судьбы оказавшегося попутчиком. Она тактично освобождает свои пальчики из моих ладоней:

– Спасибо, согрелись.

– А ноги?

– Слава богу... Здесь же тепло...

Я смотрю ей в глаза и прошу взглядом признать меня. Она смотрит на меня, не в глаза, а как-то сразу на всего меня, и взгляд ее хранит молчание. Обида, вспыхнувшая было за мое предательство, вновь надежно спрятана, схоронена, погребена.

– Когда я был маленький, мы жили в старой части города, – зачем-то начинаю рассказывать я. – Наша комната находилась на втором этаже бревенчатого когда-то купеческого дома. С одной стороны двор, за ним роскошные яблоневые сады, а с другой, где парадный вход, – мощная красная кирпичная стена. Раньше я не знал, для чего она, да и просто не задумывался. Мы, беззаботная детвора, лазали по ней, ходили по выступу в полкирпича на головокружительной высоте. Нас гоняли с нее: шею, мол, свернете. Но никто и мизинца не вывихнул. Она добрая была, теплая и в то же время справедливая – на ней сразу становилось ясно, кто есть кто, – она была бессознательным оплотом незыблемости мира и прочной вечности всего – отчего дома, родителей, себя самого с братьями и сестрами и всеми соседями и рыжей дворняжкой Пиратом. Казалось порой, стена построена специально для нас, для наших забав, для защиты от суровых зимних ветров, а по весне распаренная земля обнажалась прежде всего именно под нашим красным бастионом, привлекая к себе досужую вихрастую публику со всей округи. Стена... Позже я узнал о ее прозаическом противопожарном предназначении. И к чему это я о ней?

– Стены разные бывают, – глубокомысленно заключает, не оборачиваясь, гвардии капитан. – Вот когда наша дивизия Кёнигсберг штурмовала, когда от этих красных кирпичных фортов и крепостей в глазах резь пошла, когда...

Тащимся, преодолевая снежные заносы и прочие сюрпризы наших дорог, со скоростью катафалка. У салона-магазина «Ритуальные услуги» застреваем – садимся на брюхо в свеженавьюженном посреди дороги сугробе.

– Приехали, – вздыхаю я и вылезая на свежий воздух.

Машина маленькая, но тяжеленная, сволочь. Моя спутница следует за мной, и мы вдвоем молча вытаскиваем броневичок на чистую дорогу до следующего заноса.

Откуда они взялись, эти сугробы? По каким законам физики выросли на проспекте, защищенном высотными домами, в чистом поле же вот их не было?

– Сколько времени? – спрашиваю я нашего военного пилота после очередной физзарядки на свежем воздухе. Тот докладывает:

– К развилке подъезжаем. Вам куда?

Я вопросительно гляжу на спутницу. Она разворачивает загодя приготовленную шпаргалку, щурится, шевелит губами...

Я в шоке.

Она называет точный адрес Грача.

Спасибо за все

– Откуда ты его знаешь? – спрашиваю я. – И зачем?

– Зачем? – переспрашивает она, задумывается. – Затем, затем, что...

Договорить она не успевает, открывается дверь, на нас смотрит радостный Грач... Его радость быстро сменяется недоумением от нашего совместно побитого морозом и судьбой вида, затем профессиональной решительностью врача.

Я мало что понимаю в этой ситуации, когда моя многострадальная попутчица, моя странным образом любовь целуется с моим лучшим другом...

Инвалид – дай бог ему здоровья! – проводил нас до самого лифта, лифт мгновенно подкинул нас к Грачу, и вот я сижу в ванной, опустив ноги в тазик с теплой водой. Они у меня все-таки сильно замерзли и теперь так щиплют – сил нет терпеть, как в детстве, когда катались на коньках до посинения и потом со стоном оттаивали дома у печи. Да, я жил в Старом городе, и в наших, когда-то купеческих, крепких домах были добротные, на две-три комнаты печи. Надо сходить как-нибудь на старую квартиру, погреться у печи детства.

Появляется Грач. В белой рубахе с засученными рукавами. Я интересуюсь:

– Как она там?

– Жива, – отвечает и велит открыть рот. Вид у него всезнающий, вопросов он не задает.

В ванную за отцом лезут Лисичка с Бубенчиком.

– Вы с кем подрались? – спрашивает Бубенчик.

– Много будешь знать – скоро состаришься, – отвечает ему сестра.

– С бандитами, – пытаюсь пошутить я.

– А их много было?

– Человек сто! – шепелявлю. – Десяток побил, остальные разбежались.

– А куда зубы подевались? – не унимается Бубенчик.

– На поле боя оставил.

Малыш смотрит с удивлением, еще что-то хочет спросить, но отец ласково выпроваживает его вместе с сестрой за дверь и продолжает осмотр моего вдребезги разбитого «портрета». Затем дает какой-то раствор в стакане, чтобы я прополоскал рот. Я молча повинуюсь. Мне наконец все ясно: она и есть его невеста, на смотрины которой Грач меня пригласил сегодня. Как он ее при встрече обхаживал, как в глаза заглядывал, как они, сердешные, на пороге целовались, стесняясь меня и торопясь, пока дети не прибежали, – трогательная сцена.

Я решил ни о чем не расспрашивать – где они познакомились, кто она такая, откуда... Ясно, кто и откуда. С некоторых пор, составляя о чем-то свое представление, я перестал интересоваться его частностями, так как по двум-трем штрихам могу для себя сам воссоздать требуемую картину, совпадающую впоследствии с действительностью, ну разве что с незначительными неточностями, которые, впрочем, не противоречат целому. Это избавляет от необходимости лишних вопросов, которые зачастую нескромно, нелепо и неудобно задавать.

В «кабинетной», куда завел меня после медпроцедур Грач, несмотря на поздний час, играют дети. Они расположились на полу, на ковре, строят из кубиков александрийские столпы – кто выше. Их трое. Кроме грачат – еще один карапуз в венчике каштановых кудрей.

– Как тебя зовут, богатырь? – Я треплю его по голове. Он продолжает свое строительство, не обращая на меня внимания.

– Чей? – спрашиваю я Грача, кивая на милое создание. – Крылышек не хватает, а то чистый ангелочек.

– Мой, – отвечает Грач и протягивает мне шерстяные носки. – Надень, хорошо будет ногам.

– Как твой? – не удивляюсь я, а переключаю свою черепную подкорку на решение новых вопросов.

Мой друг объясняет мне, что это ее сын, а так как они решили жить одной семьей, то, стало быть, это теперь его третий ребенок.

Полночь. Бубенчик засыпает одетый на диване. Лисичка бодрствует, новый ее братишка тоже. Все попытки уложить его спать терпят фиаско – все-таки у человека мать приехала, настроение приподнятое, и мы вчетвером садимся пировать. Я разглядываю кудрявого малыша, сидящего на руках у матери и кушающего из ее рук какую-то молочную смесь. На мой взгляд, малышу года три. Значит, он не может быть моим сыном, хоть и в телосложении и в чертах лица есть что-то похожее – разрез глаз, носик, раздвоенный подбородок... Нет, не может... Значит, и она – это не она. А похожесть – ну, это у детей в таком возрасте через день меняется. Я глажу малыша по шелковистым волосам и не ощущаю в сердце своем ни трепета, ни умильности, ни каких-либо сентиментальных или родственнических шевелений. Я произношу очередной тост во здравие «молодых». Наверное, третий подряд. Грач косится, как бы я не перебрал. Я подмигиваю: не волнуйся, мол. Сам чувствую: пьянею. Я пьянею и смотрю то на малыша, то на нее. Нет, малыш младше, чем мне сперва показалось, просто крупный. Я-то в них разбираюсь. О чем это она говорит, то и дело поправляя свои пшеничные волосы и одергивая узкую юбку на коленях? На ней нарядная серо-голубая блузка с пышным жабо и твердыми подложными плечиками. И такие же серо-голубые глаза, сдержанно подчеркнутые и оттененные косметикой и легкой усталостью. И будто не было умопомрачительного перехода, и страшного холода, и ощущения измороженных судьбой путников. Она рассказывает о своем городе, о своей школе, где преподает математику, и о том, что теперь придется оставить своих школяров на полпути. Убей меня бог – это она, все совпадает. Если б дело волшебным образом всплыло в каком-нибудь судебном разбирательстве, то присяжные заседатели в один голос проголосовали бы – да, факты свидетельствуют о единственном и объективно вытекающем... Но о какой объективности может идти речь, когда она так видоизменилась? Это все равно что вы проснулись, выглянули в окошко, а солнце поднимается на западе. Куда подевался ее вечный ранец за спиной? Подарила его на Зеленых Горках мне – так, что ли? Не думал, что гиббус – болезнь передаваемая, переносная, – не знаю, как и сказать, не скажешь же, заразная. Да нет, конечно, не в том дело, не в том, а вот в чем: ее выпрямила любовь. А меня она согнула, вернее – отсутствие ее. Правильно, любовь красит человека, разгибает его. Но не в такой же фантастической мере. Голова кружится... Это расплата. Это Третий закон Ньютона. Надо же, вспомнил! Звучит он, стало быть, так: что посеешь, то и пожнешь.

Ребенок клюет носом. Грач уносит его. Я ставлю рюмку с янтарным зельем на белую скатерть и опускаюсь перед ней на колени: признайся! Когда-то она стояла так передо мной, и я оказался человечнее. Я умоляю ее: сжался, или я сойду с ума! Она прикрывает мне рот ладонью, как тогда, на мосту, когда мы прощались: не надо.

– Не надо сейчас или не надо вовсе?

– И сейчас, и вовсе.

– Значит, это ты?

– Спасибо тебе... – Взгляд ее теплеет и делается совсем безоблачным, открытым и близким.

– За что – спасибо?

– За все.

– За что – за все?

– За... – Она порывисто вздыхает, опускает глаза, нет, не опускает, они и так были опущены, смотрели на меня, на коленопреклоненного, сверху вниз, она отводит свои серо-голубые, размывающиеся от слез лужицы в сторону, туда, где за окном белесый, непроглядный мрак. – За то, что спас меня ночью.

– Какой ночью? Этой зимней или той, летней?

– Этой зимней. Сегодня. Точнее, уже вчера.

– Выходит, только этой...

Бал окончен, тушите свечи.

Возвращается Грач. Что происходит? А ничего. Пьяный поэт стоит на коленях перед Прекрасной Дамой. Что в этом противоестественного? И читает стихи:

...Разве мог не узнать я
Белый речной цветок,
И эти бледные платья,
И странный, белый намек?

Устами младенца...

Утром я не хочу просыпаться. Не хочу, чтобы наступало утро. Скажу больше: не ощущаю желания жить.

Но утро наступает, я просыпаюсь, встаю, живу.

Грач готовит завтрак, силом заставляет меня проглотить пару ложек омлета, хлебнуть чаю. От бутерброда с сыром, пирожка, творожка и проч., и проч. наотрез отказываюсь.

Дома, кроме нас, никого, если не считать третьего его ребенка, еще не досмотревшего все свои отведенные ему на ночь сны.

Я не спрашиваю, где все. Лисичка, ясно, в школе. Бубенчик в детском садике, невеста... Она спозаранок ушла по своим делам. Человек же переезжает сюда из другого города, столько формальностей надо выполнить. К тому же новые сапоги купить, платье...

– Свадьбу не свадьбу, но как-то наши с ней узы отметить нужно, – оправдывается Грач.

Я извиняюсь за испорченные мной сапоги. Он благодарит меня за спасение ее этой кошмарной ночью. Я прошу прощения за пьяную ночную сцену:

– Обознался...

– Да, обознался, – соглашается Грач, – с кем не бывает. Значит, долго жить будет.

– Дай-то бог! А ты скрытный, оказывается, не знал.

– Сглазу боялся. Она мне, они оба мне очень дороги. Понимаешь?

– Понимаю.

Я собираюсь уходить. Куда? Дела, дела... Какие могут быть дела – с работы уволился, после вчерашней эпопеи еще не оправился?.. Грач ходит вокруг меня кругами, просит остаться. Он надеялся, что в эти ответственные для него дни буду рядом с ним, буду свидетелем в загсе, помощником в быту, ведь все-таки трое детей, «а ты умеешь с ними общаться и ладить, они тебя любят». Я говорю, что третий его ребенок меня еще не знает, а потом – душа не на месте, и своим настроением я и другим испорчу праздник, спрашиваю, не осталось ли у него после вчерашнего чего-нибудь: голова раскалывается. Он говорит, что есть, что у него всегда есть, и не только после вчерашнего, но лучше перетерпеть, хотя бы до вечера. Я настаиваю, хотя голова у меня и не болит. Она у меня с похмелья никогда не болит. Душа – другое дело, но об этом я уже, кажется, говорил. Душевнобольной, что поделать. Это тебе не гипертоник и не астматик, от этой болезни одно лекарство. Грач достает бутылку коньяка. Питаемый иллюзиями, я склоняюсь над посошком, призываю друга присоединиться. Он отмахивается: вечером, вечером...

До вечера дожить надо.

В спальне подает голос ребенок. Грач спешит к нему. Я машинально следую за ним. Слышу, дитя спрашивает:

– А горбатый дядя ушел?

– Тише ты! – взволнованно шепчет новоиспеченный папаша.

– А правда, он столько бандитов побил?

– Правда, правда...

Грач провожает меня до лифта. Он чрезмерно суетлив и говорлив, подробно излагает распорядок этих нескольких радикальных в его жизни дней, требует у меня обещания вернуться к вечеру.

Я обещаю.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Довольно мне.
Я не хочу хотеть!..

София Парнок

Глава десятая

Два приглашения

Я не люблю врать. Другое дело – умалчивать, говорить иносказательно, фантазировать. Грач знает это, поэтому и вытребовал у меня обещание... А данное слово я обыкновенно держу, есть у меня такая старомодная привычка. Почему обыкновенно? Да потому, что в последнее время я стал замечать, что не все от одного меня зависит. Иногда кажется, могу вот сам проблему решить или даже не проблему, а так, чепуховину, что-то ординарное, привычное, и вдруг – бац, нет, не могу, вмешались какие-то таинственные силы, и я бьюсь как рыба об лед – не получается. Потом я понял, в чем дело. Это происходило в тех случаях, когда я нечаянно зашагивал в не видимый обыкновенному глазу круг – круг чьих-то животрепещущих интересов, и спрут где-то в глубине начинал шевелиться, поднимать со дна муть, распускать-разматывать беспредельной длины щупальца, а между тем на поверхности тишь да благодать, солнышко светит и все тебе ласково улыбаются. Понимание некоторых вещей приходит с опытом, и мне со временем стало нетрудно разгадывать примитивные ребусы, трафаретные комбинации различных чинуш, литературных и государственных (иногда то и другое в одном лице) генералов, распознавать их территории, сферы влияния, гаремы... Но разгадать, но понять не означает выиграть партию, осуществить задуманное и обещанное. Сначала неудачи в разгаданных ситуациях меня сильно огорчали, однако с годами я перестал особо переживать. Что делать, обстоятельства вместе с моими душманами оказались выше меня, я сделал все возможное и моя совесть чиста.

В случае с Грачом иное – и проще, и страшнее, – я, быть может, впервые в жизни так откровенно врал, не отмалчивался, не размазывал неопределенностью, а смотрел в глаза и врал. Я обещал прийти, а сам знал, точно и бесповоротно определился, что ни вечером, ни завтра, ни послезавтра не приду к нему. Зачем? На кой мне душу свою травить, быть слоном в чужой посудной лавке? Да и кто из них чужой – он, она? Ломать с трудом налаживающуюся жизнь близких мне, дорогих моему сердцу людей – зачем? Живите счастливо, растите в мире и согласии своих деток, а ты, дружище, посторонись и не мешайся. Да, безусловно, так будет лучше.

Смирись, поэт, и не юродствуй,
Привыкни к своему сиротству
И окриком не тормоши
Тебе не внемлющей души.

Плечусь по зимнему городу сначала в автобусе, затем в троллейбусе, затем в трамвае. Гляжу в лунку на замерзшем стекле, вернее, в проталинку и удивляюсь жизни, бегущей мимо меня, мимо, мимо, и никаким боком меня не касающейся. Еду к матери. Мне кажется, у нее я успокоюсь. Всегда так кажется: за спасением надо держать неблизкий путь.

Но у нее гости. Вот некстати. Точнее, гость, в единственном числе. И не гость, а вестник, принесший черное известие.

Я застаю его в прихожей, он уже прощается с мамой. Большая лобастая голова, глубоко посаженные глаза, знакомый улыбающийся вне причин рот – это младший брат Земли, о существовании которого я и представления не имел. Как они похожи! Только этот повыше ростом, поздоровее, посвежее, почище лбом, то есть еще без главных помет времени – морщин, будто художник бегло с Земли набросок сделал, не прорисовывая подробности портрета, контурно, поверхностно. Он снимает только что надетую шапку и сообщает, что его брат умер, завтра похороны, и он едет туда. Вчера бы уже выехал, но никак не мог найти меня, по его словам, лучшего друга брата, о котором он часто вспоминал, упоминал, ставил в пример и т.д. Я в растерянности. Он торопится. Я не могу собраться с мыслями. Мы договариваемся: я поеду позже (по его словам, на поезде к ним всего часа два), и меня там встретят. Выхожу проводить его, расспрашиваю, узнаю подробности, которые он не сказал при моей матери: Земля застрелился из ракетницы в живот, неделю пролежал без сознания в больнице и...

– Вчера преставился, – глухо говорит родной брат Земели, в глазах которого ни боли, ни сожаления, ни удивления... Или готов был к такому финалу, или за неделю дежурства у постели умирающего свыкся с мыслью. – Я только позавчера оттуда, дежурил в больнице, по ночам, а днем мать, жена его... Уехал буквально на день... И все... Обратно вот еду... К успокоившемуся.

Эх, Земеля, Земеля... Как же так, а? На что крепким казался, основательным. Стало быть, не по плечу ноша жизни оказалась. Но кто выбирает себе эту ношу? Взвалит тебе, и топай, тяжело не тяжело, кому до тебя дело есть? Зато можно выбрать, на каком из поворотов ее скинуть. Земеля выбрал... и наследником не успев обзавестись, и роман не дописав, и не разобравшись, как я понимаю, в том, что толкнуло его на этот шаг.

Я посадил брата Земели на трамвай, который напрямик следует на вокзал. А дома еще новость, которую мама не стала при нем говорить, – телеграмма от Штабс-Капитана с приглашением на свадьбу. Все-таки у него это серьезно оказалось, этот санаторный роман. Но когда они расписываются? Завтра? Надо же, два приглашения в один день. И каких! Один женится, другой... Странно и дико оборвалась жизнь Земели. Никогда бы не подумал. В армии бы не подумал, а теперь, после его недавнего приезда... Последняя встреча заставила взглянуть на армейского друга иначе, и его уход из жизни странным уже не кажется. Все закономерно. Мне кажется, в жизни вообще нет случайностей, нет нелепостей и нечаянностей, а есть только, если можно так сказать, лепости и чаянности. Откровенно говоря, я ожидал худшего, не исключал, что он и жену с собой прихватит. Не прихватит – пораньше себя туда отправит. А сам вослед и непременно. А то бы Земеля не Земелей был. Я нарисовал себе в воображении картину происшедшего – и подробностей извне не нужно. Впрочем, завтра они будут хорошо известны.

Память запаха

Мама взволнованна. Земеля... Штабс-Капитан... я без зубов. Что случилось? Тебя избили? Она держится за сердце, пьет корвалол. Я вру: автобус резко затормозил, ударился о поручень сиденья. Не помогает. Начинаю сердиться, ругать: не хватало, чтобы еще с тобою что-нибудь случилось. Знаю, она побаивается, когда я сержусь. Выходит из своего закутка отец, бросает на меня тяжелый взгляд, успокаивает жену:

– Не только зубы – голову скоро потеряет.

Мама заглядывает мне в глаза и вымаливает обещание, что я ее не потеряю.

– Не волнуйся, – говорю я и подливаю масла в огонь. – Потеря моей головы не будет большой потерей для Отечества.

Она опять смотрит на меня укоризненно и умоляюще. Я опять клянусь, что все будет нормально.

– Вот женюсь скоро, – несую я чепуху, – чем я хуже Штабс-Капитана или Грача?

И рассказываю о Граче, который тоже женится. О том, что я уволился с работы и сжег рукопись своей новой книги, не рассказываю.

Мама протягивает мне запропастившуюся телеграмму от Штабс-Капитана. Она всегда все прячет со словами: подальше положишь, поближе возьмешь. А потом не может найти.

– Я и вчера к тебе ходила с ней, и позавчера, а тебя все нет и нет. Ну, теперь все равно уж, наверное, не поедешь...

– Не поеду, – не сразу отзываюсь я. – Да и какая свадьба ... второй раз?

Я присаживаюсь за письменный стол – мама давно просила меня написать письмо в домоуправление о беспрестанно парящихся трубах в подвале дома под нашей квартирой. Беру чистый лист бумаги, достаю ручку, но сосредоточиться не могу. Почему-то вспоминается старинный письменный стол в нашем старом доме, за которым я еще первоклашкой делал свои первые уроки.

– Почему мы его на новую квартиру не перевезли?

– Соседям оставили.

– Это же антиквариат!

– Такого добра тогда много было, – вздыхает мама. – Ко времени переезда мы новую мебель купили, полированную.

– Полированную, – передразниваю я. – Тому столу теперь цены нет.

– Кто же знал!

– Знаешь, мама, – откидываюсь я на стуле, – а в том доме уютнее было. Как я любил, мам, посидеть у печи с открытой дверцей, на огонь посмотреть, дровишек подкинуть! А помнишь, по утрам холодно бывало, и я из-под одеяла не вылезал, пока ты печь не растопишь. Этот запах, этот аромат от первых занявшихся огнем дров мои ноздри и сейчас помнят. Память запаха ведь самая сильная память. А это мерное потрескивание в печи, эти расписанные морозом окна... Теперь и узоров никаких на стеклах окон, и тепло круглосуточно, и противно... Потом напишу, – бросаю я ручку на стол и хожу из угла в

угол.

- Хочу, мам, на старую квартиру съездить.
- Куда уж теперь, отдохни лучше, полежи.
- У печи погреться...
- Не выдумывай.
- Честно. Зайду к новым жильцам или к соседям. Сто лет в тех краях не был.
- Не получится, сынок, – смотрит на меня мама как в стародавние времена, когда я был маленьким.
- Почему? – настораживаюсь я.
- Потому что... – Она смолкает на полуслове и не хочет говорить.

Я настаиваю:

- Почему?
- Потому что от себя не убежишь.
- А заметно, что я хочу убежать?
- Объясни, что случилось? Что с тобой творится, что происходит? Что ты мечешься из угла в угол, присядь, остынь, ты же кипишь весь. У печи погреться захотел...–напускной строгостью и холодностью в голосе пытается остудить меня мама. Я не перебиваю, слушаю и не слушаю, а потом тихонько спрашиваю:

– Мама, ты замечаешь, что я стал горбатым?

– Сутулым, сынок, сутулым... – с неприятной готовностью отвечает она. – Сколько говорила: не сутулься!..

Существуют очевидности, которые ни за что на свете не докажешь, если человек умышленно или неумышленно, а может, и вполне чистосердечно упрется. Разве докажешь материнскому сердцу, что ее ангелочек с некоторых пор стал горбатым уродом?

– Пойду, мама, все-таки заеду на старую квартиру, а оттуда – на вокзал.

Она беспомощно только руками разводит. Затем помогает мне собраться в дорогу, с такой тщательностью и заботой, будто я на луну лечу, а может быть, и дальше. Затем, приподняв тюлевую занавеску на окне, совсем по-детски усердно и долго машет мне рукой вслед.

Надо вовремя вставать из-за стола

Не то, не то...

Не то я пишу, не так живу. Не ввысь, не вглубь.

Все хотят ввысь. А надо вглубь.

Есть люди, которые живут вширь. Но не о них речь.

Ведь человек – это беспредельная глубина. Это Вселенная, только в другую сторону, в себя, вовнутрь.

Еще в детстве я пришел к выводу, что я центр мироздания. Нет, не совсем так... Что я и есть Всевышний Творец, что все и всё вокруг создано моим воображением. Вот закрою глаза – и нет белого света, нет других людей, других ходячих миров и Вселенных. (То, что все другие люди тоже Всевышние Творцы и Вселенные, пришло позже.) Милые, наивные времена! Тогда о смерти я еще не думал. Теперь закрою глаза ночью – и, наоборот, действительность не исчезает, а разворачивается, разверзается во всей своей простоте (до примитивности) и в то же время непонятности, в беспросветности и запутанности каких-то взаимосвязанных и совершенно не взаимосвязанных лабиринтов, закоулков, событий, выходов (о входах не говорю – с ними нет проблем), разговоров – кто что сказал, не сказал, не досказал, друзей и подруг, которые, оказывается, и не друзья-подруги вовсе, и их не поддающихся логике (или поддающихся, но чудовищной логике), отвратительных, творящихся втихомолку, за спиной, за моей спиной, поступков. Закрою глаза, и оживают уже неживые люди и что-то пророчествуют, преподносят на ладонке... И живое перемешивается с неживым, и реальное с нереальным. Кошмар! И никуда не денешься. Глаза под веками ночью оборачиваются и смотрят в другой мир, который всякий раз оказывается и глубже, и вязче внешнего. Почему людям бессонница в тягость? Все потому... Бодрствуй не бодрствуй, глотай снотворное не глотай, природа заставляет смежить очи и жить своей второй, вернее, первой, а точнее, внутренней и настоящей жизнью.

Ощущаю ли я двойственность? Еще как ощущаю! По-моему, нет и не должно быть человека без внутренней жизни, которая и важнее, и честнее. Истиннее! А что внешняя? Сплошная ложь, лицедейство, маска. Но она для всех почему-то на первом месте. Как же, ведь очень значимо, как ты смотришься для окружающих внешне, как выглядят твои поступки, как вообще ты оцениваешься в качестве человека – со знаком плюс или минус? Хочется же, очень хочется, чтобы известные и неизвестные тебе экзаменаторы поставили плюс. Проявиться, как фотографическая бумага в проявителе, закрепить себя в миру! Во что бы то ни стало. Вот он – смысл жизни. И начинается

актерство, и начинается позерство. В кого ни ткни – ряженный, ненастоящий, исполняющий роль. Может, ошибаюсь? Быть может, просто вращался не там и не с теми? Коленвал вот настоящим был. И Земеля. Несмотря на то, что многие вlepили бы им за их жизненную (читай: внешнюю) кривую безоговорочный минус.

Настоящие-то первыми ломаются. Не кривят они душой. Не умеют. Не гнутся в три погибели, чтобы пролезть туда, где потеплее и куски где пощобнее подкидывают. В каких пространствах витают их души теперь?

И Штабс-Капитан настоящий. Хоть и свадебничает ходит... Не скажу ему про Земелю. Пусть там себе...

Как-то с мудрого похмелья я подумал: по-настоящему закрыть глаза на внешнее существование, на всю эту мишуру со сбитыми ориентирами, с ложными ценностями, гордой, спесивой трезвостью над тобой и смехотворным в конечном счете рационализмом может только явление бескомпромиссное и невременное – смерть.

До этого, естественно, я не в детстве додумался.

Сто раз прав Коленвал. Поэзия – это любовь. Нет любви – нет поэзии. А нет поэзии в человеке, так на кой, спрашивается, жить? Человеку, а не вычному животному. Иные, вернее, подавляющее большинство людей напоминают мне ишаков, нагруженных обязанностями и несущих их из пункта А в пункт Б через всю жизнь, не задумываясь, что они там тащат на себе, зачем, для какой радости. Им сказали, что это их долг. И все. Неужели человек отродясь должник? Или расплата – это и есть смысл жизни?

Жизнь... Вспышка, отблеск чего-то грандиозного и необъяснимого, или, если немного по-другому, всего лишь мгновенный, иллюзорный перерыв того же самого, какой-то бесконечной яви. Да только вот что-то затянулся перерыв.

Нет, без б. не разберешься.

Вот так.

Это о чем мы?

А-а...

Любить – значит давать. А я нищий. Погорелец. Где моя рукопись, где мои стихи? И были ли они? А дети? А сам, юный, глазастый, ушастый, зубастый зверек, ныряющий в клубы утреннего тумана, чтобы безоглядно нестись по росистой траве, жадно вдыхая сырые запахи недалеко от дома реки, – где? Где сам-то? И где та река, и где тот дом?

Не надо бояться итогов.

Надо вовремя вставать из-за игорного стола, говорил один мой приятель... чтобы выигранное не спустить до последней копейки.

Красное солнце

От трамвая к нему я спешу кратчайшим путем, через березовую рощу, которая когда-то была кладбищем, но теперь об этом мало кто помнит и знает.

Вид на наш бревенчатый двухэтажный дом с парадным крыльцом с одного боку и роскошной террасой с другого, с резными наличниками на окнах и прочими столярными узорами и плотницкими украшениями открывался сразу по выходе из-за бугра рощи.

Мороз крепчал. Маразм – еще сильнее.

По выходе из-за бугра ни дома на той стороне улицы, ни двора. Не верю глазам своим, так непривычен вид – голая, выровненная бульдозером площадка, на краю которой единственная примета, что я не ошибся местом и не тронулся умом – сиротливо и глупо возвышающаяся красная кирпичная стена.

Безвольное зимнее солнце прячется за тучу, и моя родная стена темнеет, делая вид, что не узнает меня, или, может, мрачнеет, досадуя на себя за то, что не уберегла наш с нею дом.

Я стаскиваю свой енотовый треух с обалделой, лишенной всяческой живой мысли головы, и морозный воздух железным обручем сжимает ее.

Ни печали, ни тоски, ни грусти – одна сплошная тупая боль. Болит голова, болит спина, болит душа...

Я бреду по заснеженной площадке. Иду. Быстрее. Бегу. Быстрее, быстрее... Навстречу стене, точно это не стена, а красное полотнище тореадора. Только не опустив голову, как бык, а прямо, лоб в лоб. Не думал я, что и моя стена войдет со мной в противостояние. В глазах темнеет, в ушах кувалдой стучит сердце. Быстрее, быстрее... Я неотвратимо лечу на стену. Нет, это она на меня летит.

Хрясь!..

И красное солнце вспыхивает во всю свою мощь, и заливает весь мир, и слепит, как в детстве, ярко

и горячо.

Это главное

Место мне нашли на старом, давно закрытом для захоронений городском кладбище, куда пускали только видных усопших (или, точнее сказать, усопших из видных) и еще тех, у кого там были родственники, которые могли потесниться. У меня на старом кладбище покоились бабушка с бабушкой, дядя с маминой стороны, так что проблем со мной не должно было возникнуть.

Не со мной, конечно. А с моим телом, временным, не совсем удобным пристанищем моим, субстанцией (другого слова не подобрал), которую следовало постоянно кормить, поить, обувать, одевать, мыть, чистить, опорожнять, лечить, которую надо было беречь и холить и которая неблагоприятно старела, болела, капризничала, лысела, теряла детали (зубы), меняла противным образом конфигурацию (гиббус) и т.д. и т.п.

Но вот в последний момент (в случае со стеной, вернее, в момент соприкосновения с нею) боли не было. А было ощущение, что я просто вышел из своего временного пристанища, громко хлопнув напоследок дверь. Нет, все-таки не так. Не вышел, а вылетел легким свитком, листом бумаги, поднятым в воздух порывистым дуновением ветра. И на листе том, представьте себе, стихи. Мои стихи, которые хранились в каких-то моих внутренних тайниках и которые я не мог извлечь из себя на свет божий, как ни старался. Я чувствовал, что они во мне есть, но каждый раз на-гора выдавались совсем не те и не то. А тут они зазвучали. Отчетливо, чисто, мелодично. И постоянно, и неизменно. Так река течет недалеко от нашего бывшего дома.

Но не это меня удивило. Все-таки я знал и чувствовал свои внутренние поэтические силы, а то, что другим не мог их продемонстрировать, это, оказывается – теперь уж совершенно ясно, – чепуха. Вернее, не суть. Меня удивил я сам, оставшийся лежать на земле. Точнее, мое оставленное мною физическое, телесное я. И не то, что оно было каким-то чужим и несуразным, а лицо. Да, лицо. Сначала белое, затем пепельное – понятно. Но ведь я его ожидал увидеть разбитым, размозженным о стену. Нет, ни царапинки нет. Затем я узнал из разговоров врачей неотложки причину моего безгрешно чистого лица. До стены я не добежал. Сердце. Мама всегда говорила, что оно у меня слабое. Я и сам чувствовал порою бешеную аритмию. Вот и подгадало момент, остановилось за секунду до... Подкачало. А может, наоборот, выручило. Ведь у них там, внизу, это небезразлично, разбило тебя или ты сам себя разбил. И еще, я слышал, такое часто бывает – перед неминуемой смертью (казнь, самоубийство) сердце в последний момент само останавливается.

Ну, да ладно.

Теперь я сам по себе. А тот я, на земле который остался, – это тот. Вон понесли его, как говорят, в последний путь.

Я витаю над процессией и одновременно вижу всех и слышу. На фоне музыки стихов слышу и вижу.

Прости меня, мама, что опередил. Видит бог, я никого как тебя не любил в жизни. Помню, однажды мальчишкой побежал на улицу, а ты за мной следом, зовешь меня... А я-то не убежал, а только за дверь спрятался. Остался за твоей спиной и смотрю, а ты держишь мой шарфик в протянутых руках и меня все кличешь и кличешь. Так жалко тебя стало и стыдно. Всю жизнь и после, теперь, эта, казалось бы, незначительная сценка перед глазами (все не перестану оперировать земными терминами). Прости, пожалуйста, и не волнуйся. Я так хорошо, так свободно, так уравновешенно и умиротворенно себя чувствую – слов нет на человеческом языке передать это. Знала бы – не убивалась.

Отец поддерживает ее, разом поникшую, кое-как переступающую ногами, слепо вскидывающую на мои останки когда-то голубые, а теперь бесцветные, подернутые постоянной влагой глаза.

Жены нет. И сама не пришла, и дочь упрятала, не пустила. Правильно, я же, по ее словам, еще когда умер. Нельзя ведь одного и того же хоронить дважды. Нельзя и лгуньей выглядеть в глазах ребенка. Я понимаю, ей с дочерью еще столько жить, и не ее вина, что она не знает о не состоявшейся для дочери моей первой смерти.

Начинаются прощальные слова. Толпа окружает то, что когда-то было мною. Знакомые все лица – родственники, сослуживцы, литераторы, художники, соседи... Надо же, и Штабс-Капитан со своей юной женой приехал! Глаза на мокром месте. Впервые его плачущим вижу. Вот удружил я ему, преподнес свадебный подарок.

Первым берет слово Пузо. Он рассказывает, каким хорошим человеком я был и какой свет поэзии нес людям. Цитирует, не заглядывая в развернутую бумажку, мои юношеские стихи, которые я когда-то напечатал в журнале. Не поленился – откопал. Права, видать, Дюймовочка, не такой он уж и плохой человек, каким я себе его представлял. Напрасно задираю его, судил по каким-то своим личным законам. Зачем? Заклинивало на чепухе, на мелочи. Да, надо признать, мелко порою жил, узко. Шире

надо было, щедрее... Нежадно. Не объяснить.

Пузо скорбно смолкает, немножко картинно и смешно роняет обнаженную голову на грудь и отходит к Дюймовочке. Шепчет ей: ну, как я, а? Та не отвечает, шмыгает носом.

Берет слово другой оратор.

Грач провожать меня пришел с новой женой и новым ребенком. Лисички с Бубенчиком нет. Я не в обиде. Зачем лишний раз травмировать детей! Да и кто я им? А для новой жены Грача кто? Кто для ее сына? А ведь пришли... Во время церемонного прощания они подходят к моим останкам, она целует то, что было недавно мною, и говорит сыну на ухо: мы обязаны ему... А чем обязаны и зачем – не договаривает. Интересно, не правда ли? Живая очередь не дает задерживаться, и она, красивая, стройная, вдруг, не соответствуя своей царственной стати, тяжело облокачивается на верную руку Грача, потонув новыми сапогами в снегу.

– Не надо подходить... – шепчет Пузо Дюймовочке, удерживая ее за локоть. – И перестань... – подтирает он ей перчаткой влажную щеку. – Смотрят же на нас. Распустила... Не будь посмешищем и не позорь меня.

Она повинуется, топчется на месте. Но когда берут крышку гроба, чтобы закрыть меня (мое оставленное тело), заколотить гвоздями, в ее мозгу что-то замыкает, и она, испустив долго удерживаемый лихорадочный всхлип, бросается к гробу, но Пузо начеку, хватая ее за руку и так поворачивает, что Дюймовочка с ходу разворачивается и уж по инерции летит ему на грудь, в его объятия. Трогательная сцена!

Мама шепчет:

– Прости меня, сынок.

И бросает ком земли на крышку опущенного в могилу гроба.

Это ты меня прости. И все простите, если чего не так было. Я вас всех люблю и ни на кого не держу обиды. Живите в мире и любви.

– Правильно, – отзывается душа парящего рядом Коленвала.

– Это главное, – подтверждает голос Земели. – Жить в мире, любви и верности. – И не голос вовсе, а его звучащая мысль. И не звучащая мысль, а какое-то передаваемое без слов и жестов чистой воды понимание.

– Но верности кому?

– Верности себе.

Ну да, конечно. Как просто!..

1998

Рассказы

ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ В ОКТЯБРЕ

Читать не читалось, вязать не вязалось... Она стояла у окна, прижавшись к стеклу лбом. На дворе был ослепительный солнечный день. Год сначала выдался жестокий – зимой птицы замерзали на лету и падали, потом все лето дожди, а вот теперь, осенью, в середине октября, такое солнце! И уж второй месяц. Как вырвалось под конец августа из бесконечных мрачных облаков, так и светит до сих пор. Тепло. На термометре плюс двадцать.

– Никогда-то я подобной осени не видела, – сказала задумчиво Алсу.

– Не стой босиком на холодном полу, – не отрываясь от толстого журнала, ответил Сергей. Он лежал на диване и читал.

– Мне надоело весь отпуск дома...

– Договорились же, – укоризненно посмотрел на жену Сергей, – отпуск будет тихим, без чемоданов и вокзалов, за книгой.

– Лучше ездить и видеть все самим, чем обо всем этом читать или смотреть по телевизору.

Сергей встряхнул затекшей рукой, оперся на локоть другой. Слова жены он пропустил мимо ушей.

– Я сегодня что-то хотела и забыла, – вздохнула Алсу, – еще утром, просыпаясь, помнила, а вот забыла.

Сергей жадно перевернул страницу.

– А что если отпустить мне длинные волосы? – она села перед зеркалом и, растопырив пальцы, стала, точно гребнем, поднимать с затылка темные на корнях и совсем белые на концах волосы. – И краситься больше не буду.

Замотала головой, пряди упали на глаза, она убрала их, принялась разглядывать непривычно бледное лицо свое после бессолнечного лета. Затем взяла помаду, обвела брусничным цветом губы, покусала их мягко и спросила:

– Красиво?

Сергей не ответил.

– Сережа, давай купим цветной телевизор, – сказала Алсу, взглянув на мужа в зеркало.

– Получим вот квартиру, – поднял голову Сергей, – купим. Ложек-то своих нет. Цветной телевизор еще!..

– Не надо было уходить от родителей.

– Я лучше по друзьям всю жизнь буду мотаться, по углам чужим, чем жить с твоей маменькой.

– И мотайся на здоровье, за полгода вторую квартиру сменили. А не сегодня-завтра Марат твой вернется, ищи новую. Живем как цыгане. – С этими словами она включила приемник и стала настраивать его на любимую музыкальную волну.

– Аленька, почитай лучше, – посоветовал Сергей. – Хэма вот. Специально для тебя принес, как раз то, что ты не читала.

– Я его не люблю, – ответила Алсу.

– Вот те на! Люди его портрет, как икону, в своих квартирах держат, а она – не люблю.

– Он скучно пишет. Скучно и невесело.

– Это не Ильф и Петров, конечно. Но что ты имеешь в виду под словом «невесело»? Невесело, в конце концов, и Достоевский писал, и Толстой...

– Не знаю, но они каким-то образом доходили... – Алсу приложила руку к груди, показывая куда.

– Просто у него манера письма другая, и надо видеть подтекст, слышать недосказанное.

– Зачем?

– Вся соль в этом.

Она взяла специально принесенную для нее книгу.

– Сегодня я определенно что-то хотела, никак не вспомню, вылетело... – в раздумье сказала Алсу и, раскрыв увесистый том не с начала, а так, наугад, как сама книга раскрылась, стала вслух читать: – «Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу.

– Мм, – сказал Джордж с кровати.

– И хочу есть за своим столом, и чтоб были свои ножи и вилки, и хочу, чтоб горели свечи. И хочу, чтоб была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье...

– Замолчи. Возьми почитай книжку, – сказал Джордж. Он уже снова читал.

– Ты чего читаешь? – спросил недоуменно Сергей.

– «А все-таки я хочу кошку, – продолжила она. – Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы и чтобы было весело, так хоть кошку-то можно?»

Джордж не слушал. Он читал книжку. Она смотрела в окно...

– Ты чего читаешь? – переспросил Сергей и выхватил из рук жены то, что сам ей принес.

– Не знаю, – ответила она и отвернулась к окну.

Безудержно сияло солнце. Через двор наискосок шла юная парочка. Он был в рубашке с короткими рукавами, она – в легком ситцевом платице. Они шли взявшись за руки и смеялись.

«Совсем тепло, – подумала Алсу. Сергей листал книгу, искал в ней что-то, наверное, то место, которое она только что зачитала. – Да, тепло.»

И она вспомнила – как же такое не вспомнить! – вчерашний разговор в булочной с Пал Палычем, соседом по дачному саду, чья возня и беспрестанное бормотанье пронизывали густую стену малинника и долетали до распахнутых окон домика на их с Сережей участке. Сергея это раздражало, это мешало ему сосредоточиться над книгой, над рукописью... Ей же, напротив, ежедневное присутствие соседа было только на руку – то советом поможет, то делом пособит, а то просто, по доброте своей душевной, одобрением поделится... В товариществе Пал Палыч был садоводом номер один, к нему тянулись или к себе зазывали даже с самых отдаленных участков. Еще он был заядлым рыбаком. Но она его с уловом ни разу не видела.

Пал Палыч сказал при выходе из магазина: «В саду-то нашем, соседюшка, яблони расцвели. Весной не цвели, болели, сердешные, – рази эту зиму! – а теперь – вовсю.»

– На какой это странице? – спросил Сергей.

– Вспомнила! – хлопнула в ладоши Алсу. – Я встретила вчера Пал Палыча, и он сказал, что наш сад расцвел. Цветут наши яблоньки, Сережа! Пойдем съездим.

– А ты и поверила, – хмыкнул, просматривая оглавление, Сергей. – Пал Палыч, он, знаешь, рыбак ведь. И соврет дорого не возьмет, и сам потом ходит... в свои сказки верит. В начале лета про леща десятикилограммового заливал.

– Съездим уж!

– Да смешно.

– Сережа...

– Поезжай, Аль, одна, недалеко же.

Алсу засобиралась.

Сергей проводил ее до дверей.

– Не может быть, чтобы яблони цвели в октябре. – Кинул вслед: – Долго не ходи. – И пожал плечами: – Бред какой-то!

Она бежала на трамвайную остановку, затем с остановки через район авиастроителей – к саду, расположенному удивительным образом в черте города, и в ушах ее стоял сиплый говор Пал Палыча и его веселые слова: «В мае не сподобились, а теперь – нате вам».

Еще не дошла до сада, только-только ступила на прямую дорогу к общей калитке, а уж сердце запело. Над оградой празднично вздымались белоснежные клубы яблоневого цвета.

Не все яблони отошли после суровой зимы и холодного лета, то тут, то там торчали безжизненные черные прутья, но все равно уму непостижимо, чтобы в октябре – весна!..

Тихо, будто боясь спугнуть какую-то сказку, открыла она калитку и поспешила к своему участку по короткому пути, через «земли» Пал Палыча. У того даже сирень зацвела и грядки омолодились какими-то изумрудными побегам. Шагнула в прореху малинного забора на свой участок и глазам своим не поверила. Ее яблоньки, все до одной, стояли голые, вишни – тоже; только вдали, у кустов смородины, красовались в ярком разноцветье астры. Все как положено, все по извечным законам природы.

– Уф! – вздохнула она и села на лавочку. Было очень тепло, даже жарко.

Потом открыла дверь домика, вошла внутрь. Она называла это сооружение дачей, иногда ласково – избушкой, а Сергей – будкой, в шутку, конечно. Он тоже любил этот домик, в котором они прожили все лето, не думая об осени. Это была их собственность, какое-никакое жилье, пусть временное, сезонное, но свое.

Пахло мятой и сыростью, со стен все так же улыбались ее певцы, кинозвезды и Сережины писатели, футболисты... Алсу сняла с гвоздя ножницы и пошла срезать астры, которые, точно смущаясь своей живописной полнокровности, робко выглядывали из-за облетевших кустов смородины.

Букет получился небольшой. Вблизи цветы оказались наполовину увядшими.

Вернулась она домой раскрасневшаяся и оживленная, открыла своим ключом дверь, прошла на кухню.

Сергей лежал и читал книгу, которую он принес для нее.

Она опустила астры в вазу с холодной водой и понесла к подоконнику большой комнаты.

– Эх ты, и имя тебе Серый: «не может быть, не может быть».

– Неужели цветут? – оторвался от книги Сергей.

– Еще как! Все пять яблонь.

– Откуда пять-то? У нас всего четыре.

– Да ведь и пень твой расцвел.

– Выходит, привились черенки?

– Просто пенятся цветами. А посмотрел бы на ранетки, будто под сказочный снегопад попали. Прелесть! «Я вернусь, когда раскинет ве-етви по-ве-се-еннему наш белый сад...» – затянула она.

– Что, и яблоки будут?

– Ну ты, Сережа, как маленький. От погоды будет зависеть. Пал Палыч сказал, поливать надо, в день по двадцать ведер на каждое деревце, отпаивать...

Алсу поставила вазу с цветами на подоконник.

– Видишь, астры какие!

– Вижу.

– Пойду картошки начищу. – Она повязала передник, белоснежную косынку и выпорхнула из комнаты.

Пораженно отложив книгу, Сергей задумался, замычал себе под нос мелодию, только что напетую женой, и пошел за ней на кухню.

Через два дня выпал снег.

1981

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЛНЦЕ!

*Памяти казанских альпинистов
Юрия Кияшко и Юрия Урюпова*

Который день подряд от этого громкого «Да здравствует солнце!» просыпался Наиль спозаранку.

«Ну Терентий! – выбираясь из спального мешка, подумал он. – Как петух кукарекает!» Откинул полог палатки, высунулся – Терентий Андреевич Красухин, а в команде альпинистов просто Терентий, отражая лысиной первые утренние лучи, в одних плавках да своих огромных горных ботинках, приседал и выкрикивал:

– Да здравствует солнце!.. Раз, два, три... – И опять: – Да здравствует солнце!

На бедре его, на тоненьком ремешке через пояс, болтался маленький перочинный нож в кожаных, как и ремень, ножнах. Нигде-то он с ним не расставался.

Намахавшись, Терентий взял полотенце, мыло и поскакал с камня на камень вниз, к бурлящей у подножья ледника воде, туда, в зыбкую полутьму, куда солнце своими прямыми лучами еще не доставало. Оно только-только выглянуло из-за зубчатой гряды и словно бы размышляло: подняться выше и поплыть по чистому небу или спрятаться обратно.

Куда уж обратно! Коль Терентий кукарекнул – свети. Наиль вылез из палатки, поежился – было еще холодно. Он подсел к гудящему примусу и все еще непроснувшимися глазами уставился на резвый огонь под кастрюлей.

Подошел Терентий.

– Ну что, Наильчик, проснулся? – Терентий причесывал жидкие свои волосы, вернее, брал длинный несуразный клочок над левым ухом и перекидывал расческой к правому – маскировал лысину. На шее мокрое полотенце, на небритом лице – улыбка.

– Угу, – промычал Наиль, – с тобой мертвец проснется. – Он не понимал утренней веселости товарища, потому что сам расходился только к обеду. – Скоро сварится? – кивнул он на кастрюлю.

– Ополоснуться не успеешь. – Терентий откинул крышку и, довольно щурясь, помешал булькающую гречневую жижу. В минуты тихой радости он обыкновенно напевал одному ему известные романсы. Вот и теперь затянул:

Я безумно боюсь
Золотистого плена
Ваших медно-змеиных волос...
Бу-бу-бу, бу-бу-бу...

Наиль пошел умываться.

Горная речка стремительно и шумно катила свои талые воды по валунам и отмелям мимо молодого альпиниста. Он кидал в разгоряченное от сна лицо студеною, трудноуловимую воду и думал, что остался всего один переход, ночевка до перевала, а там уж они с Терентием нагонят основную группу.

– Наильчик!.. Наиль, говорю, долго будешь плескаться? – кричал, размахивая свободной рукой, «командир группы». – Съем ведь все. О-о, как вкусно!

– Я все равно ничего не слышу.

Поднявшись к палатке и взглянув на своего старшего товарища, подумал: «Как только люди по утрам едят?!»

– Понимаешь, никакого аппетита.

– А ты попробуй, не оторвешься.

Наиль сел на камень, накрытый штормовкой, помешал ложкой дымящееся месиво. А Терентий тем временем выскоблил плошку, достал перочинный ножичек свой, привычным движением раскрыл его и принялся неспешно затачивать спичку...

– Вижу, лишь ради этого и таскаешь свой кесарь-то, – усмехнулся Наиль.

– Почему это? – поднял голову Терентий.

– Так за другой работой я его не знаю.

– Э-э, Наиль, нож в пути – товарищ.

– То-то и в постели с ним не расстаешься.

Терентий не ответил.

– Подарок, что ль?

– Да, жена подарила.

«Бывшая, – хотел добавить Наиль, но промолчал. – Тоже мне, бросила и мужа, и сына... Любовь, видите ли! На старости лет-то!»

– Будем собираться, – сказал Терентий, увидев, что партнер по связке покончил с кашей и чаем.

– Пора двигать. – Наиль поднялся. – Надо поспеть до перевала, пока солнце.

Шли по нагромождению камней, обломков скал, причудливых глыб вдоль ослепительно белой стены ледника Ак-Су. Погода жаловала: уже полмесяца ясное небо, солнце. Такое здесь, на Памире, редкость. Наиль шел, рассчитывая каждый шаг, прыгал по камням, карабкался и думал о предстоящих восхождениях, о ребятах, которые ждут их с Терентием и которые под солнышком-то посуху набегали уж, наверное, немало. А еще Наиль думал о Красухине, Терентии Андреевиче. И как о мастере

механического цеха думал, коллеге по должности, с кем проработал бок о бок почти три года, и как о товарище по увлечению – перворазряднике Терентии, чья спина теперь, отягощенная увесистым рюкзаком, маячила перед глазами.

Странный он все-таки, Терентий Красухин... Между прочим, кандидат технических наук. Жена разменивает его на какого-то молокососа с киностудии, в цехе на него валят всю вину за аварию в сушилке, хотя всем известно, что виноват начальник цеха, бывший подчиненный и ученик Красухина, выжавший в свое время из простодушного своего мастера все, что надо, и ловко потом на повороте обскакавший его по служебной лестнице. Шерстят Терентия ныне все, кому не лень. Другой бы не выдержал. А этот – нет, тянет ляжку и только улыбается, чистит бархоткой ножичек, ею подаренный, и улыбается вместо того, чтобы зарезать гадину на пару с салагой. Перед самым отпуском пошел к начальнику цеха со своим выстрадавшим новшеством. К нему пошел, к предателю, с верою! Тот в который раз наплевал в душу, а Терентию все божья роса.

Наиль смерил взглядом по-юношески размашистый шаг Терентия: «Несется, и не поспеть за ним!» – и подумал, что Терентию вот уже скоро пятьдесят, а он все еще перворазрядник и никогда не быть ему мастером спорта, даже кандидатом в мастера. Лишь мастером механического цеха быть всю жизнь и кандидатом кислых щей – на кой ему в вспомогательном цехе научная степень?

К перевалу подошли, когда солнце не успело еще сойти за далекий серо-голубой гребень главного хребта, но, раскрасневшееся в труде праведном, оно уже со зримой быстротой входило меж двух заснеженных вершин – на небе не удержаться, а осветить людям из горного проема еще можно.

Палатку разбили на леднике, на узенькой срединной морене, вымостив в разномастных камнях небольшую, довольно ровную площадку. Плотно поужинали и стали засветло укладываться спать. Наиль лег быстро, как солдат после отбоя, Терентий же по-штатски, по-курортному возился долго, то бубня что-то, то напевая. Наконец стянул с себя пуховую куртку, ботинки, залез, как Наиль, до конца не раздеваясь, в спальный мешок и сказал враспяжку, точнее, нараспев свое всегдашнее:

– Хо-ро-шо!

Однако уснуть сразу ни тому, ни другому не удалось. Сказывалась высота. Но странное дело, молодого альпиниста на сей раз бессонница не тяготила. Запало ему в душу Терентино «хорошо!». Раньше как-то не обращал внимания, а вот теперь будоражило – хо-ро-шо! А чего хорошего-то? Стало жаль его, неприспособленного к жизни, там, в городе неприспособленного; угловатого, спотыкающегося о любую маломальскую житейскую кочку, набивающего беспрестанные шишки. А ведь когда-нибудь так расшибется, что и подняться не сможет.

– Не спится, Терентий? – спросил он тихо.

– Да, не спится что-то.

– Может, чаю принести?

– Давай попьем. – Терентий зашевелился, включил карманный фонарь.

– Да ты лежи, лежи, сейчас я, мигом. – Наиль вылез в темноту и холод, нашарил кастрюлю с не совсем остывшим чаем, зачерпнул в две кружки, взял сахару, ложки, осторожно полез обратно. – Терентий, вот я думаю: жизнь – игра. Но где она больше игра-то – в городе или ж тут, в диких горах?

Терентий хлебнул чаю, подумал секунду и, хмыкнув беспомощно, как школьник, не выучивший урок, пожал плечами.

– В городе игра, – убежденно сказал Наиль, – в городе, да-да, там, в искусственных правилах – на работе, в семье... И держат они всю дорогу человека на поводке, в узде какой-то.

– В узде?

– Ну вот, скажем, возникает дилемма: по совести поступить или по правилам, а если по правилам, то по каким? В любом ведь крохотном коллективе, в любой захудалой группке свои правила, так? Но они зачастую, если по совести, неправильные...

– Неправильные правила... Гм-м... ты что-то, Наильчик, того...

– Да постой ты! – Наиль отставил недопитый чай в сторону. – Местнические, понимаешь? Есть общие, а есть местные. Скажем, вопрос о том, чтобы не выносить сор из избы, – это же чистой воды конфликт между общими и местными правилами. Тут еще семья со своими претензиями... А совесть, оказывается, вообще в четвертую сторону тянет. Вот и выбирай. – Наиль, задумавшись, посмотрел на Терентия. Тот виновато моргал. До глубины души технарь, не мог он поддержать разговора из неточных философских сфер, не был готов к нему или попросту никогда не испытывал того, о чем говорил его пытливый товарищ.

А молодой философ продолжал:

– Конечно, трудно объяснить. Ну, в общем тут, в горах, в этой каменной глухомани правила одни, без вариаций. И жизнь поэтому определенной. Здесь ты как обнаженный – ни должности тебе с погонями, ни персональной или личной машины, ни одежды, ни, к чертям, внешности, потому что – главенствует, как и должно быть в идеале, содержание, поступки твои – по жестким, четким законам. И никакой игры. И вообще считаю: хочешь знать, кто ты есть на самом деле, походи в горы. – Он умолк в

раздумье и услышал мирное посапывание Терентия. – Ну, да спи, спи, завтра рано вставать.

...Красухин проснулся оттого, что Наташин ножичек больно врезался в бок. Он поправил его, но уснуть тут же не смог, глянул на свои командирские с подсветкой часы – шел двенадцатый час. В палатке темно. Наильчик не ворочается, не покашливает – тих. Терентий попробовал заставить себя снова уснуть, но какая-то невыносимая, тоскливая тяжесть навалилась вдруг на душу. Расстегнул тогда спальник, полежал немного так, но этого оказалось недостаточно, и он выбрался из мешка, а затем, надев пуховик, и из палатки.

Над ледником, над всем горным массивом царствовали луна и звезды, близкие, яркие, такие, какие могут быть только здесь, на высоте. Терентий опустил голову и вновь окунулся в темноту, в недобрую черную тень. Она путала реальность с воображением, мешала валуны с ямами и таила в себе то тяжелое, что навалилось на Терентия в палатке. Лучше смотреть вверх. Он быстро нашел глазами Большую Медведицу, искал капризную Тасею – да, тут и она хорошо видна. Альпинист сделал несколько шагов во тьме, опять посмотрел на звезды. Его потянуло на небольшой освещенный выступ метрах в сорока от палатки. Свет, только свет сорвет с души тяжесть.

Идти по невидимым камням было трудно, ноги в старых, истоптанных триконях непослушно вихляли и подворачивались. Но цель медленно приближалась, и оставалось протянуть руку, чтобы по светлomu, хорошо обозначенному камню вскарабкаться на светло-голубое возвышение, как вдруг Терентий полетел...

Очнулся он от нестерпимого холода. Вспомнилось: в темноте расстегнул спальник... Терентий зашевелил рукой в поисках «молнии», но ее у подбородка с изнанки спального мешка не было, не было и самого мешка, не было и палатки... Он громоздился, прислонившись к чему-то ледяно-холодному, левой ногой вперед, правой впритык сзади, словно в намертво схваченных слаломных креплениях, только на одной лыже. Замерзшими руками Терентий ощупал по обеим сторонам от себя ледяные стены, задрал голову: над ним висела безучастная Большая Медведица, дрожала бледная Тасея. Все ясно: угодил он в трещину, а книзу она сужается, и он врезался с лёта в ее основание, как клин в разруб.

– Хо-ро-шо, – протянул бедолага и задумался. Да, хорошо, что ногами вниз, а не головой. – Наильчик! – крикнул он. – Наиль!..

Ответа не было. Терентий провел, досадуя, по лысине, и у него потемнело в глазах. Когда боль схлынула, потрогал голову еще раз. Осторожно, кончиками пальцев. Затылок от огромной шишки, казалось, увеличился вдвое. Ладно хоть крови нет. Он посмотрел на гладкие, освещенные светлым небом стены своей западни, прикинул высоту их, и у него противно засосало под ложечкой. Что делать? Ни ледоруба, ничего... Ладно хоть пуховик надел. Терентий пошевелил задеревеневшими, но еще неотмороженными пальцами и усмехнулся, вспомнив о ножичке, единственном оставшемся при нем оружии, которое еще как-то могло вгрызться в лед. Смешно!..

Но почему? Почему? Он полез непослушными пальцами под куртку, под свитер, достал нож, раскрыл.

Сперва ноги... Вытащить, пока не отморозил. Он ощупал их, они вошли промеж почти соединившихся стен трещины до конца высоких ботинок. Терентий натянул рукава свитера на кисти рук и стал освобождать левую ногу, сместив тяжесть тела назад, на правую. Лед не хотел поддаваться. Но с каждой минутой росла сноровка, руки почувствовали живительный прилив крови. Наконец он выдернул ее, бесчувственную, в задубевшем, помятом башмаке. Сколько, интересно, он провозился? Однако не стал смотреть на часы, принялся за вторую ногу, с которой дело оказалось посложнее, – для другой-то, свободной, не было опоры. Ее надо было сделать.

Со второй ногой Терентий провозился бесконечно долго.

Отдышавшись, еще раз позвал Наильку. Тот, видать, спал крепко. Привыкшими к фосфористой полутьме глазами Терентий окинул трещину опытным взглядом старого скалолаза: стены точно полированные, ни зацепки, и чем выше, тем дальше расходятся друг от друга. Но не ложиться ж тут, чтобы мгновенно околеть. Выковыривая ножичком ложбинки, на локтях-распорках Терентий двинулся вперед.

И ему в который раз повезло. Он увидел расщелину. Ее темная полоса тянулась до самого верха трещины. Терентий втиснулся в нее и стал орудовать своим игрушечным оружием. Он резал ступени и старался ни о чем не думать.

Вот первое углубление есть, нога держится, теперь надо приняться за противоположную стену. В работе тело разгорячилось. Все-таки гречневая каша с маслом на ночь – хорошо! Только пальцы ног не отходят. Но они болят, покалывают, значит, живы.

А небо побелело. Исчезли и Медведица, и Тасея. Трещина наполнилась заутренним светом. Это бодрило, но силы были на исходе. Каждая пядь теперь давалась с трудом. И не только потому, что кончились силы, – ширились кверху и трещина и, казалось бы, спасительная расщелина, вот беда.

Однако большой рост пока выручал. Помогало и безрассудство. Чем шире расходились стены, чем меньше слушались руки, тем яростнее, тем несогласней делалось в его душе, и он царапал, царапал ножичком лед.

А быть может, зря он, может, сама судьба уготовила ему эту трещину? Но за что? Всю жизнь ведь старался... И не его вина, что не все получалось так, как задумывалось. А может, его? Вот и Наташа ушла. Стало быть, несостоятелен он в чем-то, слаб. Да, кое-кто ругает за мягкотелость, и Наиль вон, молодой хоть, а учит, начальник цеха тоже... Нет, все равно Наташа должна вернуться, слова в укор не скажу, но должна, мы же любили друг друга, сколько всего пережили, куда все это? Не отрубишь ведь. А Лешка? Он еще совсем мал, чтобы без отца-то... Нет, нет, надо выбираться!

Час сменялся часом. Красухин упорно крошил лед и медленно, то замирая в беспамятстве, то вновь приходя в себя, двигался вверх. Каждая новая ступенька казалась ему последней, но он снова напрягал свои жилы до последнего предела, и силы снова находились, и он двигался – к светлеющей над головой воле сантиметр за сантиметром, мокрый от пота и льда...

Когда до края трещины оставалось всего ничего, нога предательски скользнула, и Терентий успел сказать себе: «Кончен бал!» Но судьба посчитала его мучения в этом мире еще незавершенными, и он, пролетев метр-другой, неожиданно встал как вкопанный: правая нога устойчиво врезалась в выбоину стены.

«В везении мне все-таки не откажешь», – подумал Терентий и двинулся по пройденному пути снова. Он шел и на тяжелых, свистящих выдохах нашептывал:

В нашей жизни еще все поправится,
В нашей жизни столько раз весна...

А чего не петь! Поют обреченные или победители. Кто он сам, пока неизвестно. Но посмотри, Терентий Андреич, солнце-то встает, оно уже бросило на ледник свои первые лучи, пусть еще нетеплые, но светозарные. Вон как преобразилось твое ночное убежище – хрустальный замок, и только! Блестят изумруды, сверкают алмазы, переливаются лазуритами ледяные срезы, скоро побежит, затенькает талая вода. Жизнь бесконечна!

Словно на два существа разделился ночной первопроходец. Одно из них говорило эти бодрые слова, пело, философствовало, другое надрывалось и было на грани поражения.

«А Наильчика кто разбудит? Солнце-то уж взшло. Я разбужу, я, кто ж еще! Полтора метра осталось, каких-то полтора-сантиметров, тьфу!..» Терентий, до крови вцепившись разбитыми пальцами в кромку льда, вытащил наконец свое тело из трещины и упал в ноздреватый, жесткий снег.

Беспамятство, которое тут же накрыло его, длилось недолго. Он поднялся и, покачиваясь, побрел к палатке.

Пробудился Наиль от духоты. В палатке, нагретой солнцем, было жарко. Он протер глаза, огляделся – вот те на! задала храповицкого! – посмотрел на Терентия, и вид нелепо сложившегося поверх спального мешка старшего товарища развеселил его. Солнце-то давно встало, проспал, петушок! Наиль выбрался на розогретые камни, вдохнул полной грудью, расправил плечи и во весь голос крикнул:

– Да здравствует солнце!

И снова, как это делает Терентий, с чувством:

– Да здравствует солнце!

Затем присел несколько раз, помахал руками и спустился к речке.

Вода в ней набирала скорость. Холодная – до ломоты в костях. Как в такой мыться! Но он пересилил себя – эх, хорошо! А что ветеран-то все дрыхнет?

Напарник зачерпнул в котелок воды и заспешил обратно.

– Терентий Андреич, подъем!

Ветеран зашевелился.

– Подъем, подъем, чай вскипает. – Наиль быстро свернул свой спальник. – Посмотрел бы, солнце-то какое, и ни облачка, вот везет!

Терентий приподнялся и на четвереньках полез из палатки, высунул голову, зажмурился... День и вправду обещал быть безоблачным.

1982

Прогулка

за эдельвейсами

Высота играет странные шутки в вопросе о привязанностях. Тот, кто на уровне моря ваш друг, может стать смертельным врагом на Южном Седле. Я лишь повторю избитые истины, когда скажу, что маневры восходителя, своеобразие его речи, склонность к хныканию, храп по ночам, особенности его сморкания или кашля, привычка напевать себе под нос могут довести товарищей до мыслей об убийстве.

Уилфрид Нойс. Южное Седло

1

– А приходи к нам вечером, – сказала Аня, закладывая в пишущую машинку чистый лист бумаги, – у нас сегодня снежный барс в гостях будет.

– Натуральный? – поинтересовался Сергей.

– Да, пятнистый, вон как моя шуба, – кивнула Аня в сторону вешалки, – и с хвостом.

– Ладно, обиделась уж, объясни толком.

– Тоже мне журналист, – хмыкнула Аня, – спортом еще заведует...

– Ах да, совсем вылетело! – Сергей хлопнул себя по лбу, ведь у нее, точнее, у нее и ее мужа должна была собраться вся их альпинистская братия во главе с этим «снежным барсом», то бишь восходителем, взобравшимся на все четыре семитысячника страны. – Значит, Зырянов приехал?

– Вчера утром прилетел. Остановился у нас.

– Чудесно, – Сергей потер ладони, – давно за ним охочусь.

– Придешь? – спросила Аня.

– Конечно! Только...

– Что?

– Сама же знаешь, опять дуремар твой коситься будет.

– Не коверкай имена, это тебя не красит, Сережа, о ком бы ни говорил. А Нуриман, между прочим, ничего плохого тебе не сделал, слова не сказал, а ты...

– А что я? Ну прости, больше не буду, но он же молчит всю дорогу и так смотрит...

– Молчит – не значит, что настроен враждебно. Он вообще много не разговаривает.

– Мне кажется, Аня, он ревнует.

– Брось.

– Бросил. На этом все. Давно о Зырянове хочу написать. Дело прежде всего. Я приду не в качестве твоего друга, а исключительно в качестве корреспондента – встретиться с Барсом. И какое мне дело, кто и как на меня смотрит?!

– Вот и умница. Кстати, хоккей свой когда принесешь? В пять я умываю руки, сам будешь печатать, у меня гости.

– Бегу, Аня, засекай время – десять минут и начну диктовать.

Сергей взял в шкафу стопку писчей бумаги, подмигнул для лихости и побежал к себе.

Кроме него, заведующего отделом спорта молодежной газеты Сергея Матушкина, в комнате под номером сто тринадцать обосновались еще зав. отделом культуры Бельский, корреспондент по селу вчерашний выпускник университета Красноперов и учетчица писем Гульсина Шакирова – сорокапятилетняя круглолицая женщина с удивленными в любое время суток и при любых обстоятельствах глазами. Ее тут звали без отчества: Гульсина, и все. Это ей нравилось.

И Гульсина, и Бельский, и Красноперов, и Матушкин сидели все за одинаковыми полированными столами. Они сидели на одинаковых стульях и смотрели в разные стороны, потому что столы свои расставили таким образом, чтобы, оторвав голову от работы, невозможно было видеть соседа ни в профиль, ни в фас, ни, упаси боже, в глаза. Встретиться глазами – моментально потерять сосредоточенность. Это все знали, как дважды два, и поэтому смотрели кто в дверь, кто в стену, а Сергей Матушкин – в окно, все-таки он был хозяином комнаты, о чем на двери снаружи свидетельствовала табличка «Отдел спорта», а на месте второй, которая должна была быть пониже и очень часто менялась, чернели лишь дырки от шурупов.

Из окна открывался вид на центральную улицу, по ней бегали машины, сновали люди, кипела жизнь. Смотреть в окно Матушкин любил. Справа от его стола на стене в обрамлении фотографий с улыбающимися чемпионами и кумирами висел плакат: «Mens sana in corpore sano». Тому, кто интересовался, Матушкин с готовностью пояснял: «Латынь, старик. В здоровом теле здоровый дух». Когда Матушкина на месте не бывало, то же самое заходящим гостям повторяли его соседи – Бельский, Красноперов, Гульсина. Они истолковывали девиз древних по-своему, гораздо короче и определеннее: не курить! Борьба за чистоту атмосферы, может быть, и свела этих разных людей в одной комнате.

Как-то, в первые дни своей работы, главный редактор пытался рассадить всех по отделам, но из затеи ничего не вышло. Уже на следующий день после приказа к нему потянулась вереница челобитчиков: один не переносит табачного дыма, другой – женского общества, которое не дает красноречиво выразить себя в разговоре, и тому подобное. Главный плюнул, как хотите, мол. И все, покружившись по закоулкам редакционных лабиринтов со своими пожитками – папками, блокнотами под мышкой, в руках, зубах, осели на своих прежних местах. Не снимались с насиженных стульев всего лишь трое – главный редактор, ответственный секретарь и он, Сергей Матушкин, «золотое перо» редакции, краса коллектива.

В тот день, когда, собственно, и началась эта история, обитатели сто тринадцатой находились все, как один, на своих местах. Матушкин вбежал в комнату, сел и, не задумываясь, пустил авторучку по бумаге с места в карьер. Раздумывать, кто, как и чем забил шайбу, не приходилось: миллион раз писал, репортаж не очерк, через десять, от силы пятнадцать минут все должно быть готово.

Разговоры ему не мешали, он мог даже в них участвовать или вообще ничего не слышать и никого не замечать, хоть ты тресни тут, это уж в зависимости от того, насколько интересен под рукой материал. Сейчас же можно было и писать, и отвечать на вопросы, и задавать их самому.

– Сережа, а правда, что хоккеисты на завод ходят только деньги получать?

Это Гульсина, такое спросить только она может.

– Наивный ты человек, ну подумай сама, когда ж им за станком стоять, у них всю зиму игры, разъезды, а летом тренировки, сборы, отпуска?..

– Какие билеты, я что, кассир? – возмутился в телефонную трубку Бельский.

– Да, кстати, Бельский, ты обещал мне два билета на премьеру.

– Куда?

– В Драматический.

– Бог с тобой, Сережа, иди да бери – свободно.

– Что это за премьера тогда?!

Ближе всех к Матушкину сидел Дима Красноперов. Он прижимал плечом к уху трубку телефона и строчил с ходу заметку на первую полосу, лишь иногда переспрашивал:

– Сколько-сколько? Да что вы говорите, не может быть таких надоев! Одну минуту. Сережа, как по-твоему?..

– Дорогой мой Дима, спрашивай о ком угодно, только не о крупнорогатых, в них я не разбираюсь.

– А когда ешь, разбираешься?

– Когда ем, да. Особенно люблю шашлык из баранины.

– Из крупнорогатой?

– Какая разница – крупно, мелко, парно!..

Матушкин разговаривал и писал. Бег его «золотого пера» не мог остановить в редакции никто, разве что ответственный секретарь – вездливый пухленький очкарик Хафизов. До него работал Соловьев. Тот бегал по коридору, размахивал рукописью и орал на весь коридор: «Кто так пишет! Нет, вы послушайте...» – и цитировал, и хохотал как сумасшедший. Хафизов был другой крайностью. Входил он в комнату тихо, точно внештатник, принесший заметку, и начинал, стесняясь за твою ошибку, объяснять тебе, что так писать нельзя. Если с ним бестолково спорили, то он не кричал и не подавлял должностью: сокращу, и все, а кипятился и булькал внутренне. Внешне это выражалось только в том, что он начинал чаще обыкновенного поправлять изоленту на дужке очков и похлопывать линейкой-строкомером по ягодице.

Его появление у себя за спиной Матушкин определял не оборачиваясь по необычно протяжному скрипу двери, по воробьиным шагам и еще по многим другим признакам, которые не поддавались объяснению.

– Сережа, я просил не ставить больше заглавий, в которых голы превращаются в головы, зачем же ты опять это делаешь: «Ошибка стоила трех голов»?

«Золотое перо» споткнулось, Матушкин откинулся на спинку стула. Хафизов тихо продолжал:

– На прошлой неделе ты выдал: «Очки, потерянные в гостях». Я ничего не говорю, когда ты пишешь о шинельке на тонкой подкладке, понимаю, в армии не служил и не знаешь, что у шинели вообще никакой подкладки не бывает, но тут-то, с голами и очками, извини, простая стилистика.

Это было хуже Соловьева – удар не в перчатку, когда много пустого звука, а точно в солнечное сплетение – слова не вымолвишь, глубокий нокаут.

Оправдания получились жалкими: спешил, гнал в номер – словом, детский лепет. Бельский ухмылялся, Гульсина сочувственно хлопала глазами, Красноперов вторил что-то о сверхоперативности, а Хафизов вместо того чтобы сказать да уйти, стоял и слушал. Когда он наконец ушел, Матушкин принялся нервно ходить из угла в угол, размахивая руками: с кем, дескать, не бывает и кто такой Хафизов, чтобы так судить, – Гиляровский, Песков? Затем непривычно долго не мог сосредоточиться, трудно писал и после отстукивал свой материал на машинке сам – все сроки вышли.

К Ане пошел в седьмом часу с затаенной обидой: ушла, даже не поинтересовалась, почему это он так и не появился у нее в машбюро со своим репортажем. Спускаясь в лифте, даже подумал: «Не пойду!» Но уже на улице на свежем, морозном воздухе эта мыслишка испарилась, и он повернул в сторону ее дома – Аня жила поблизости, и, пофыркивая от колючего встречного ветра, побежал. Она же звала его, и он не просто так – пусть Нуриман не думает, а по делу.

2

В Аню Сабирову Матушкин влюбился полгода назад, когда уходил в отпуск, а у нее, в то время еще новенькой машинистки редакции, был первый рабочий день. Она сидела в приемной главного редактора, которая служила также машинописным бюро, и печатала. Матушкин положил в папку свой предотпускной материал, но почему-то сразу не ушел. Они обменялись долгими, любопытными взглядами, обмолвились какими-то обязательными для первого знакомства пустяками, которых теперь и не вспомнить, и разошлись, вернее, ушел он, а она осталась работать.

Слегка, непонятно почему, взволнованный, Сергей вышел в тот день на улицу, дыша полной грудью. Наконец-то он вольный человек, свободный от репортажей и заметок, рейдов, гранок, строк, дежурств, от всей этой ежедневной текучки, засасывающей с потрохами, от спринтерской гонки, которая не дает перерывов ни на обед, ни на вечер, ни на воскресенье. Сергей вышел из прохладного издательства в звенящий июльским зноем полдень и перенесся в радужных мыслях своих на Волгу, где он проведет беззаботно в сосновой тиши целый месяц. Ну, естественно, волейбол, водные лыжи, теннис до ряби в глазах и хорошие две-три книги. Чудесно! Дома на все сборы ушло два часа с капелькой. Мать –Евдокия Ефимовна (они жили вдвоем) ждала его на даче к вечеру, пообещав попотчевать наваристой ухой. На автобусной остановке Матушкин вспомнил вдруг, что забыл предупредить главного редактора о встрече «Клуба болельщиков» с руководством общества «Урожай», намеченной на завтра. Через минуту он уже кричал в трубку:

– Аня, это вы? Еще раз здравствуйте! Сергей Матушкин это, помните? Ну вот, хорошо! Главного нет, я знаю, передай... передайте ему, пожалуйста, что завтра у него в кабинете заседает «Клуб болельщиков». Да, он в курсе. А поскольку там будет «Урожай», командовать парадом придется Красноперову. Красно-пе-ров – отдел сельской жизни. Ну, как первый день в редакции? Не завалили работой?

Они проговорили около сорока минут. А ночью он мучился бессонницей. Мать говорила, тревожась, что не следовало так много есть ухи перед сном, но он-то знал: не уха тому виной.

Отпуск у него пошел наперекосяк. Уже на другой день он побежал в редакцию проводить «Клуб болельщиков» собственноручно: Красноперов, столкнувшись с несметной толпой поклонников спорта, двух слов связать не сможет, это тебе не тихие труженики полей, а такие горлодеры, чуть что, перевернут все с ног на голову! Приехал пораньше, чтобы подготовить поле боя. И заодно увидеть ее. Взял какой-то заваливающий план конференции, пошел. Но когда оказался у двери машинописного бюро, вдруг стали отниматься ноги, отчаянно заколотилось сердце, а язык прикипел к нёбу.

– Ах, Сережа, здравствуйте! – Она была еще прекраснее, чем вчера. – Что же это вы не отдыхаете? – Ее акварельные серо-голубые глаза смотрели приветливо и чуточку насмешливо. – А я сегодня так устала. Вы что-то принесли на машинку?

– Да так... – промямлил он, пряча рукопись за спину.

– Присаживайтесь, Сережа. – Ее мягкому, с нотками легкой усталости голосу нельзя было противиться. Она обрадовалась ему, он это почувствовал, в душе его поднялась волна нежности. Он присел на краешек соседнего стула, все еще пряча рукопись, а Аня все так же мягко и доверительно продолжала: – Целый день выстукиваю чужие слова, а свои и сказать некогда. Да и некому, весь народ в бегах, дел у всех – выше головы. А славно мы вчера по телефону!..

– Сергей! – В дверях, как всегда некстати, появилась голова Красноперова. – Начинаем. Ты как? Матушкин буркнул, чтобы начинали без него.

Он просидел тогда у Ани около двух часов.

Через день он опять был в редакции – нашлись сверхсрочные дела. И опять, конфузясь, шел он в машбюро, и опять Аня обрадовалась его приходу, и они долго разговаривали. На четвертый день – это была пятница, Аня сказала:

– Что это мы, Сережа, все между делом разговариваем, пошли сегодня к нам. И Нуриман рад будет с тобою познакомиться.

– А кто это такой?

– Муж мой.

Спортивный журналист Сергей Матушкин, пропустивший за свою почти четвертьвековую жизнь немало обидных «шайб», такой банальной в послужном списке еще не имел. Его обвели вокруг пальца,

как последнего новичка из группы подготовки.

– У тебя есть муж? – Все, что угодно, мог он себе представить, но что у нее муж...

Аня усмехнулась:

– А то ты не знал!

– Так вот почему ты Сабирова.

– До замужества была Стрельникова. А ты вправду не знал, что я замужем?

Он замотал в ответ головой: откуда? И сказал, что хотел пригласить ее на дачу, что он и маму предупредил, а она замужем, значит! Аня рассмеялась: если он пригласит к себе на дачу и Нуримана, то мероприятие вполне может состояться и мама его в своем ожидании не обманется.

– Хорошо, приглашаю обоих, – промолвил Матушкин.

В тот день он и познакомился с Аниным мужем. У них дома познакомился, когда чета спешно собирала загородные пожитки.

Рослый, с крупной квадратной головой на мощных квадратных плечах, Нуриман Сабиров произвел на хилого завспортом гнетущее впечатление. Ростом-то они были почти одинаковые, худоба – вот что делало Сергея мальчишкой. Они пожали друг другу руки в дверях. Матушкин при этом старался вести себя непринужденно, с кем только не приходилось ему знакомиться – и с космонавтами, и с чемпионами, и с бичами. Знакомиться – его профессия. Он даже хлопнул разок Сабирова по плечу в знак симпатии. Нуриман же при виде расхлябанного газетчика, а по словам жены, ее нового друга, восторга не выказал, лишь глухо выдавил: «Очень приятно». По-настоящему приятно, похоже, было одной Ане.

Сабировы жили в однокомнатной квартире. Комната была большой. Ее разделял надвое книжный стеллаж, за которым пряталась просторная тахта. С другой стороны стеллажа стоял письменный стол, так что получались тут и спальня, и кабинет, и гостиная. На стенах густо лепились фотографии, большие и маленькие, с однообразно заснеженными вершинами гор. В углу, под телевизором, поблескивал никелем ледоруб. Матушкин поинтересовался:

– Ты альпинист, Нуриман?

Нуриман не ответил: он собирал по письменному столу свои бумаги, книги – ему помешали, и вот он сворачивается, чтобы поехать на дачу к болтливому журналисту, – весь его вид говорил об этом.

– Да, он у меня кандидат в мастера, а я – перворазрядница, – похвалилась Аня и спросила, что это он так удивлен. Не похоже?

У Матушкина, наверное, и вправду был глупый вид, потому что даже Нуриман смилостивился, бросил:

– Угу, тошно. – Он говорил с мягким акцентом, меняя «ц» на «с», «ч» на «щ».

Аня добавила:

– Он у меня еще кандидат физико-математических наук.

Но Матушкин уже овладел собой и равнодушно пожал плечами.

Зато взбунтовался Нуриман, он посмотрел на жену долгим укоряющим взглядом, который выговаривал ей за излишнюю болтливость.

– Успокойся, Нур, успокойся, мой свет. – Она звала его вот так ласково: Нур.

Сердце Матушкина кольнула ревность, он взял со стеллажа первую попавшуюся книгу и раскрыл ее, ничего в ней не видя. «И дважды кандидат, – зло думал он, – и не Нуриман, а Нур, совсем англичанин. Хиллари, палки зеленые, восходитель с Восточно-Европейской равнины!». Успокоился он лишь через день на даче, когда Нуриман, сославшись на дела, укатил с утра в город, оставив его с Аней на целое воскресенье. Так они остались вдвоем, не считая матери.

Пополудни, вдосталь накупавшись и позагорав, Матушкин повел Аню по грибы. Они забрались в такую чащобу, что Сергей не на шутку обеспокоился: куда ни глянь, все лес да лес, ни конца ни края, а уж и вечер скоро, и ноги гудят, и домой в город пора собираться. Аня, узнав о его тревоге, посмеялась и вскоре вывела его на берег. Они сели, притомленные, на теплый песок и долго смотрели, как опускается за рекою солнце. Неоглядное водное поле ходило перед ними ленивою волной, и над всем его простором торжествовало спокойствие. Аня сказала:

– Ничего на свете нет краше Волги.

– А как же горы? – спросил Матушкин. Он все еще не мог соединить воедино Аню с альпинизмом. Чтобы Аня, хрупкая, нежная Аня, карабкалась по скалам?!

– Горы? – переспросила она. – Горы – это совсем другое... Аня была задумчива, а взгляд устремлен вдаль, туда, где в чистом, неподвижном небе гасла заря.

Матушкин смотрел то на ту сторону реки, на закат, то на лицо Ани, в ее глаза, в которых тот закат отражался, и нестерпимо захотелось ему ко всему этому, такому зовущему, прикоснуться, стать соучастником всего этого прекрасного, и он коснулся щекою ее виска. Аня отпрянула:

– Зачем? Разве без этого нельзя?

Матушкин был раздавлен. Как все-таки неправильно можно истолковать все! Он же хотел лишь

прикоснуться к тому, чего никогда раньше не испытывал, понять и ощутить то, что она одна в ту минуту знала и ощущала, а вышло вон как, очень просто и ясно: он хочет соблазнить ее, мужнюю жену. Матушкин отпрянул, и лицо его стало краснее заходящего солнца, точно прикоснулся обеими щеками одновременно к горячему утюгу.

Аня, видно, поняла, что не так истолковала его порыв, и виновато сказала:

– Не обижайся. – И тронула ладонью его пылающую щеку.

После того воскресного похода, когда они не нашли даже мухомора, и той памятной вечерней зари у них сложились отношения, редко встречающиеся между мужчиной и женщиной: они подружились трепетной и трудной дружбой, которая перестает называться дружбой при малейшем послаблении любого из них, – его, если он не сдержит своих чувств; ее, если она уступит ему или первой откликнется на ежедневную плохо скрываемую мольбу.

Дружба эта длилась вот уже полгода. И хоть чувствовал Матушкин двусмысленность своего положения, все равно торчал у Сабировых безвылазно.

Муж Ани был субъектом неразговорчивым, глухим, скучным, занятым своими делами. Похоже, что за своими бумагами, с любовью разложенными на столе, он не замечал ни жены, ни ее друга. И Матушкин удивлялся: как это Аня живет с этим букой и что она делает, когда его, Сергея Матушкина, тут нет? Однако порой Нуриман поднимал на них тяжелый, задумчивый взгляд, и Матушкин читал в его черных глазах: «Аня, что хорошего нашла ты в этом дохлом желторотом щелкопёре?» Или: «Ну-ну, воркуйте до поры до времени...» А то и такое: «Кончай испытывать, любезный, не доводи до греха».

Поймав такой взгляд на себе, Матушкин костил себя последними словами и каждый раз клялся: «Все, здесь я в последний раз!» Но получалось так, что в разлуке память воскрешала лишь ее светлые глаза, добрые, зовущие, и он снова шел к Сабировым.

И вот опять он бежит к ним сломя голову. Нет, конечно же, не из-за нее. Надо встретиться с Зыряновым и осветить в печати в конце-то концов местных альпинистов, а то они у него в загоне. Да и, по правде говоря, вообще об альпинизме он толком не писал. Читатели вон даже спрашивали после одной заметки: а какой альпинизм может быть на Средней Волге?

Размышляя так, Матушкин бежал по декабрьскому скрипящему снежку. «Интересно, – думал он, – какой из себя этот Снежный Барс? Надо будет сделать с ним приличное интервью. Нет, лучше очерк написать. Расспросить хорошенько, потрясти и такое выдать... чтоб у Хафизова очки на лоб полезли. Или лучше статью. Но тут придется порыться в справочниках, первоисточниках, иначе никак, это ведь не на стадион сбегать, трибун-то вокруг гор пока еще не навели. Ха! Вот и зачин тебе. Молодец, Матушкин!».

3

Снежный Барс оказался человеком небольшого роста. Он сидел во главе стола и слушал, что говорят другие. При этом он покачивал довольно крупной для его небогатых мощей головой и поглаживал в задумчивости скатерть. На лоб его до самых бровей спадали густые наполовину седые, наполовину смоляные волосы, из-под которых то поднимались на собеседника, то опускались и погружались в задумчивость глубоко посаженные пронизательные глаза. Все, что говорилось за столом, говорилось громко, с оглядом на него, специально для него, самого большого тут гостя.

Снежного Барса звали Зыряновым Юрием Степановичем. Ему предоставили право открыть застолье. Он сказал:

– За белой скатертью мы собираемся раз в году, в межсезонье. И рюмки вот так вот держим, пожалуй, тоже раз в году, и при галстуках я вижу кое-кого из вас тоже раз в году. Какие-то вы все в них на себя не похожие, ну да ладно... Итожа прошлые восхождения и намечая будущие, давайте вспомним ту, которой средь нас уж больше нет.

Когда выпили, Матушкин спросил у Ани тихонько:

– А кого нет?

– Зои Даутовой.

– А где она?

– Погибла... на Кавказе.

– Как?

– После, – сказала Аня, – слушай.

Говорил Зырянов. Голос у него был глуховатый, прокуренный, впрочем, нет, он не курил, значит, простуженный в походах. Матушкин следил за Барсом и уже подбирал эпитеты, мысленно рисовал его образ, как он идет в гору, и не могут его остановить ни ветры, ни кручи...

– Ну что, ребяташки, пик Коммунизма позади, – говорил Зырянов, – теперь нас ждет Тянь-Шань и два первовосхождения.

– Опрять Терской-Алатау? – спросил мужиковатый, в свитере, с яркой рыжей бородой, сидящий напротив Матушкина.

– Нет, его мы облазали вдоль и поперек. – По тону Зырянова, по вниманию окружающих было понятно, что план предстоящей экспедиции группы, которая именовала себя громко – сборной командой республики, давно в его большом «котелке» сварен. – Нет, Терской-Алатау пилить больше не будем, а перевалим через него и пойдём на Кокжал.

– Будем брать Кокжал?

– Кокжал – хорошая гора, но подождет. Так ведь, Нуриман?

– Хорошая, – подтвердил Нуриман. – И весь Эркин-Кылыч хороший.

– Да, – повторил Зырянов, – Эркин-Кылыч – хребет серьезный.

– Серьезней, чем... – хотел с чем-то сравнить рыжий. Но Зырянов его перебил:

– Несерьезных гор, Шура, не бывает. Я тебе это сто раз повторял. А Эркин-Кылыч нехоженный, вот в чем прелесть. Все на Победу смотрят, на Хан-Тенгри рвутся или Терской-Алатау уютжат, а это как раз между ними – вертолеты перелетают, а пешочком туговато.

– Кокжал ведь главная вершина Эркин-Кылыча? – спросил, часто моргая и продолжая жевать, Док (он так и представился Матушкину: Виктор Смирнов – доктор команды, короче, Док).

– Самая высокая этого хребта, – согласно качнул головой Зырянов. – Пять лет назад – пять ведь, Нуриман? – мы еле ноги с него унесли.

– Да, ровно пять с половиной лет назад, – подтвердил Нуриман.

– Ладно, однако не в этом дело. Левее Кокжала, ну да, коли с ледника брать, вздымаются два таких красавца! – Зырянов не спеша пробежал взглядом по сидящим за столом. Все молчали: никто, кроме Нуримана, в этом районе не был. Выждав паузу, Зырянов продолжил: – Два роскошных пичка! Каждый под шесть тысяч. Один – Ак-Бурэ, коварный пик, в переводе значит Белый Волк. На нем четыре года назад погибла грузинская двойка. А другой – безымянный, в отроге главного хребта, как раз между Кокжалом и Ак-Бурэ, соединен с ними перемышкой такой... И получается треугольник. – Зырянов пояснил жестом.

Все поняли. Не понял один Матушкин. Ему было до зевоты скучно: он ожидал захватывающих рассказов, а тут одни названия – язык сломаешь. И вообще все это затянулось и было похоже не на застолье, а на узкоспециальное производственное совещание.

– А стоит ли на безымянку лезть? – спросил рыжий (Матушкин вспомнил, он назвался Шурой Шитовым). – Опрять эти описания, формальности... Время только зря терять!

Зырянов будто его и не слышал:

– Красивые вершины. Обе. Особенно безымянная. Просто красавица! Не годы, сам бы на нее повел, не сидел в наблюдателях. А ты, Шура, вкось мыслишь. Я понимаю, по хоженным маршрутам разряд скорее набегать, но ты вдумайся: пер-во-восхождение, п е р в о, ты первый, елки-палки, Колумб! До тебя на ту часть земли никто не ступал. Чувешь? Что же касается карт, маршрутов, тобою нарисованных, то это уже для тех, кто пойдет за тобой.

– Да, я понимаю, Юрий Степаныч, чую, просто не подумал.

– То-то, Шура. Думать изредка бывает необходимо. А вершинка та, честное слово, залюбуешься. Она ниже Кокжала, но повыше Ак-Бурэ, то есть опрять в серединке. Стройная, видная. И наша Зоя, думаю, не обидится, если мы красавицу назовем ее именем. Улица ее есть, почему бы и горе не быть? Пик Зои Даутовой. А?

Стол разом загалдел. Идея пала на душу. Проснулся и Матушкин. «Это интересно, это уже информация», – подумал он и спросил соседа, стройного и горбоносого (имени его не запомнил – сколько их тут!):

– А где улица Даутовой?

– В Больших Отарах, – ответил тот не оборачиваясь. Он был занят своими мыслями: – На Ак-Бурэ, Юрий Степанович, думаете, нет тура с чьей-нибудь запиской: «Здесь были и чай из термоса пили такие-то и такие»?

– Нет. Хоть гора имеет свое имя, на ней никто не был. Волком ее до нас окрестили, еще до рождения альпинизма.

– А грузины?

– Они пошли траверсом с перемышки, дотянули до предвершины и повернули назад. Они основательно подготовились. И тылы себе обеспечили: вырыли на той стороне пещеру и на подъеме одну небольшую, оставили в них заброски – бензин, продукты, обувь... Но старший заболел пневмонией и в два дня умер. Напарник решил дотащить тело друга во что бы то ни стало до бивака. И не смог. Их нашли на той перемышке между Ак-Бурэ и безымянной.

– Я знал одного из них, – сказал Нуриман, – хороший был альпинист, Михаил Чаурия.

– Но зачем, ради чего? – встрепенулся вдруг Матушкин. – И Даутова... Зачем?

– Они же не на смерть шли, а на гору, – сказал Док, добавляя в тарелку винегрета.

– Хватит на эту тему, – сказала Аня. – Ты ведь сам, Сережа, знаешь зачем.
– Головою – да, но вот нутром... – он пожал плечами. – Не понимаю людей, гоняющихся, рискуя жизнью, за ненужным.

– Романтика! – вставил Док.

– Верно, – согласился Матушкин, – в ней весь человек, кстати, единственный из всех живых существ, кто наделен способностью по собственному желанию усложнять себе жизнь.

– В наш огород, – усмехнулся Шитов.

– Прямое попадание, – поддакнул кто-то.

– Мы – испытатели человеческих возможностей, – убежденно сказал горбоносый.

– Брось ты! – отмахнулся от него Шитов.

А Матушкина за язык продолжала тянуть неведомая сила. Понятно, конечно, что за сила, – журналистская. Он начал работать – заводить ребят, собирать материал:

– Какая, в принципе, от альпинистов польза? Размахиваете жизнью и гордитесь этим? Вообще альпинизм мне представляется штукой подозрительной и ненормальной. Хотите испытать силу духа? Так это и в городе можно сделать, точек приложения полно – хамство, делячество, круговая порука, головотяпство, преступность... Засучите рукава и испытывайтесь. Но если что, страховка из веревки, даже капроновой, тут уж не спасет. Ушибешься – на всю жизнь. Вот. А вы – на Тянь-Шань, за тридевять земель.

– Сам-то был в горах? – спросил Шитов.

– Нет, – спокойно ответил Матушкин.

– Ни разу? – снова поинтересовался Шитов.

– Ни разу, а что?

– А то, что подобных журналистов сейчас много.

– Каких это «подобных»?

– Которые не видели, а знают, не пробовали, а судят.

«Почему все рыжие ехидные?» – подумал Матушкин. А Шитов продолжал, хитро прищурившись:

– Поднялись бы на горку-то, самую малюсенькую, первой категории трудности, на пупырь, одним словом, тогда б поговорили, а так... – он развел руками, – друг друга не поймем.

– Думаете, не поднимусь?

– А чего гадать? Прогуляйтесь, хотя бы на Тянь-Шань, заодно и эдельвейсов для любимой соберете. – Шитов сказал это и посмотрел на Аню. Матушкин не понял, случайно посмотрел или с умыслом, но увидел, как опустил голову Нуриман.

К тому времени за фехтованием Шитова с журналистом-профессионалом следил уже весь стол. Наблюдал за ними и Зырянов. Он то улыбался, то суровел лицом, и было не понять, что он о происходящем думает.

– И прогулялся бы, окажись возможность, – сказал Матушкин.

– Конечно, конечно, – паясничал Шитов, – чего ж не прогуляться? На Тянь-Шане горы не менее красивы, чем в нашем ЦПКиО. Пойдемте с нами, вместе пофланируем. А что, Юрий Степанович, возьмем его с собой? – Шитов весело посмотрел на Зырянова. Тот промолчал. Это Шитова не остановило. – На пару горок подыдем, если, конечно, по швам не разойдется.

– Не разойдусь, – ответил Матушкин. – Но мне, к сожалению, с вами нельзя: каэспэ не пустит.

– Испугался, – заключил Шитов.

– Ничуть, я же говорю...

– Ну, это ерунда, стоит упросить Юрия Степановича, и преград не будет. – Шитов вперился в Матушкина испытующим взглядом. – Было бы желание.

– Я с удовольствием, мне это и как газетчику интересно. И потом, я давно хочу понять смысл альпинизма, а сидя в кабинете, его и впрямь не поймешь.

– Логично, – хмыкнул Шитов.

– А кому этот смысл нужен? – пожал плечами Док и посмотрел на Матушкина. – Смысл, смысл... А какой смысл, например, поднимать штангу?

На вопрос Дока Матушкин не ответил, потому что ему надо было отвечать на главный вопрос. Этого ждал, не отрывая от него взгляда, рыжий Шитов, этого ждала Аня. Непонятно было молчание Зырянова, но ясно было одно – неопределенными словечками тут не отделаться и надо прямо сказать, трус ты или нет.

– Юрий Степанович, вы только не подумайте, что я сейчас только, в споре, завелся. Давно я хотел пойти с альпинистами. Хочу все на своем горбу испытать. Читал много, фильмы смотрел и все время спрашивал себя: а смог бы с ними?... Хочу попробовать. И хочу написать о вас не со слов, а, так сказать, с природы. Юрий Степанович, возьмите меня с собой, я такой материал отгрохаю!

– Не в материале дело, – отозвался Зырянов.

– А в чем же?

– Именно в том самом смысле: так ли вам это необходимо?

– Я, собственно, ради этого и пришел сюда. Только вот разговор не с того боку поехал. – Матушкин посмотрел на Шитова. – Но, с другой стороны, это даже хорошо, я просто не знал как начать. Дело в том, что я задумал написать цикл очерков об альпинизме, хочу рассмотреть этот вид спорта со всех сторон, ведь, согласитесь, журналисты вас не балуют, прямых репортажей с восхождений ни радио, ни тем более телевидение не передают.

– Это точно, – вставил Док.

– Вот вы задумали большое дело, – продолжил Матушкин, – первовосхождения, а кто о них узнает? Две-три заметки в газетах по возвращении не расскажут и сотой доли того, что было проделано. Я не буду толковать о воспитательном значении экспедиции в век тепла, уюта и комфорта. Оно очевидно. Но каким образом его вытащить из келейной вашей компании? Так что вы должны понимать: такой трибуной, как наша газета со стотысячным тиражом, пренебрегать – грех. Это ведь, Юрий Степанович, не блажь какая, а наше общее дело – команды и газеты. Но только одного боюсь: если вы согласитесь, не буду ли я для всех обузой?

Матушкин умолк. Молчало и собрание. Советовать что-то Зырянову, просить его, убеждать, по-видимому, было бесполезно. Зырянов поглаживал скатерть, собирал в узоры хлебные крошки, и полуседой чуб его касался бровей.

– Нет, обузой не будешь, – вымолвил наконец он, не поднимая головы.

– Это значит, что вы меня с собой берете?

Зырянов поднял голову:

– Ради общего дела, Сергей.

– Как же так? – удивился Матушкин. – Без медосмотра, сразу? Простой смертный – и с вами в горы?

Ответа он не получил. Аня обняла его и поцеловала в щеку. Горбоносый – как выяснилось, повар команды, больно ткнул в бок. Все заговорили разом. Матушкин почувствовал себя героем. Даже Шитов изменился.

– Не бойсь, Серега, – сказал он, – в горах безопасней, чем в городе.

В центре внимания Матушкин был еще минут десять, затем разговор вернулся в прежнее русло. На столе скучали коньяк, водка, а компания, не замечая источников вдохновения, обсуждала конструкцию кошек, карабинов, крюков, пошив курток и спальных мешков, качество стали и титана, куриного и гагачьего пуха. Говорили поочередно, чинно, вполголоса.

Как ни пытался Матушкин вслушаться и заинтересоваться темой разговора, ему вновь стало скучно, словно сидел он не среди инженеров и кандидатов наук, разрядников и мастеров спорта – людей разносторонних, сильных, много повидавших, а среди косных баптистов на собрании общины.

– Прошлогодние кошки все-таки оказались не то, – говорил Шитов. – Мы с Доком прикинули и решили угол передних зубьев уменьшить. – Он вытащил из кармана вчетверо сложенный лист бумаги (должно быть, чертеж), развернул.

Все сгрудились над его произведением. Матушкин тоже было ткнулся, но ничего интересного не обнаружил и вышел вслед за Аней на кухню.

– Аня, ну как, берешь меня на Тянь-Шань?

– Беру.

Матушкин тронул ее за плечо.

Аня отвернулась к сковородке с шипящей картошкой:

– Иди, Сережа, к ребятам.

Матушкин пошел.

Общество тем временем уже рассуждало о кильке в томатном соусе, о том, что она там лучше идет, чем любые другие консервы.

– Может, в масле вообще не стоит брать, – сказал Док.

– Нет, – ответил Нуриман, – ассортимент ограничивать не будем.

Нуриман говорил, а сам пожирал глазами Матушкина, вышедшего из кухни, словно перед ним был не человек, а килька в собственном соку. Точнее, сушеная. «Но посмотрим, – подумал Матушкин, – все горцы сухощавые, а чувствуют себя получше упитанных».

4

На другой день вся сто тринадцатая была занята одним делом – обсуждением предстоящего Сережиного похода в горы.

– Загнешься, старик, – предостерегал Бельский. – Куда тебе с твоими мощами, посмотри на себя – кожа да кости. Да еще ведь там, на высоте, сам прекрасно знаешь, малейшая болячка черт знает чем

обернется. Вот ты ходишь тут и не знаешь, допустим, что у тебя прободная язва, а в горах раз – и все. Там, я читал, простая ангина ломает и в гроб кладет, что ангина – насморк! – Бельский хмыкнул. – Хотя какой тебе там гроб!

– Ой, ой, не говори так, – суеверно произнесла Гульсина и спросила: – А главный, Сережа, что сказал?

– А главный редактор, Гульсина-ханум, дает отпуск, плюс десять дней командировки – и гуляй, Сергей Матушкин, по горам, собирай эдельвейсы.

– Да, – то и дело повторял восхищенный Красноперов. – Да-а-а, Сережа!

Бельский полубопытствовал:

– Расплачиваться чем будешь?

– Очерками. Уже сейчас примерно представляю, что это будет. Я еще покажу некоторым кабинетным работникам, – Матушкин потукал указательным пальцем по стене, за которой находился кабинет ответственного секретаря, – как надо работать.

Словно бы услышав обращение Матушкина, в дверь вошел Хафизов.

– Слышал, Сережа, на Тянь-Шань собираешься, – сказал он, поправляя изоленту на дужке очков.

– Ага, за эдельвейсами.

– Хорошее дело. Когда?

– Четвертого июля вылетаю в Пржевальск.

– Надо готовиться.

– С завтрашнего дня начинаю тренировки.

– Нет, я в другом смысле. Анкету, что ли, подготовить с клевыми вопросами, чтоб альпинисты твои клюнули как следует и ответили подробно.

– Например, права ли поговорка «Умный в гору не пойдет»?.. – сострил Бельский.

– Почему бы и нет? Хороший вопрос, – сказал Хафизов. – Альпинисты найдут что ответить.

Давайте подумаем, что еще можно туда...

– Сам, мужики, подумаю, – оборвал Матушкин, – не утруждайтесь. – С этими словами он вышел из комнаты, заглянул к соседям в отдел писем, охотно ответил на несколько банальных вопросов типа «Не страшно?», «Не опозоришься?», «Выдюжишь?» и пошел к Ане.

Она отстукивала красноперовскую «бодягу» на вторую полосу. Матушкин посидел минуту молча и спросил, как она себя чувствует после вчерашнего.

– Хорошо, – ответила Аня, – ты ушел, а мы еще слайды памирские посмотрели. Устала немного, легли около трех.

– Я заметил, в вашей компании мало пьют, но ужасно много едят, особенно Док.

– Это есть. Он говорит, что у него болезнь такая, «яма желудка» называется.

Матушкин усмехнулся, потом задумался и спросил, коснувшись ее руки:

– Мне кажется, Нуриману не по душе, что я еду с вами.

– Да, – перестав печатать, сказала Аня, – он считает решение Зырянова насчет тебя поспешным. Без тренировок, без навыков... Это ведь не шутка...

– Почему же он не сказал об этом?

– Потому что с Зыряновым спорить смысла нет. Как он решил, так и будет. Когда мы остались втроем, Нуриман свое сомнение высказал. Но бесполезно.

– Зырянов – молодчина, а муженек твой просто ревностью исходит.

Аня не ответила. Она снова принялась стучать на машинке.

5

Матушкина Нуриман невзлюбил сразу как увидел. Разболтанный, расхлябанный весь, точно где-то у него под модными одежками отпущена очень важная гайка, начиненный звонким пустословием, со смазливой, знающей себе цену мордочкой, тонкий и бледный, как солитер, Матушкин будил в нем жгучее раздражение. Он не понимал, как это Аня, умная, проникательная женщина, не видит, что ее новый друг – существо искусственное, до кончиков ногтей деланное. Она, так тонко всегда чувствующая фальшь, в нем ее не замечает. Даже по одному тому, как этот Матушкин вертится перед зеркалом, любитесь своим отражением на полировке шкафа, ясно, что он нарцисс. И не способен он ради другого ни на лишения пойти, ни в жертву себя принести. Разве с таким можно в горы? Ловко он провел всех – начал с софизмов, обособив альпинизм от спорта, требуя от него утилитарности, а закончил пылкой к нему любовью и даже в экспедицию напросился. А сперва ведь Шитов чуть было не вырвал у него признание, что он трус. Вывернулся – профессионал все-таки, журналист! Нет, Матушкин определенно не мужчина. А может быть, подумал Нуриман, это только ему так кажется, а для других он мужчина? И для Ани тоже. Для нее, может быть, в первую очередь мужчина.

Нет, не понимал он ее. На работе умудрялся понимать сорок восемь сотрудников своего отдела, а

вот дома жену свою нет, не понимал.

С Аней у Нуримана все началось в альплагере «Варзоб» на Памире полтора года назад. Возвращаясь с несложного восхождения, когда до бивака оставалось рукой подать и они уже шли «развязанные», смотав страховочные веревки, Аня оступилась, упала, и сила инерции понесла ее по мелкой осыпи к скальной террасе, выступающей внизу как трамплин. Нуриман сломя голову пустился догонять ее. Оба почти одновременно вылетели на злополучный трамплин, и Аня уже была в воздухе, когда Нуриман ухватил ее за обвязку. Секунду-другую он держал ее на весу, закрепляясь на карнизе, затем медленно потащил вверх. Она отделалась переломом ключицы, ушибами и испугом.

После этого случая Аня стала ходить за Нуриманом по пятам, за ним, на которого раньше внимания не обращала. Нуриман поначалу тяготился ее новым отношением к себе, потом, когда друзья начали уже открыто посмеиваться, стал вообще ее чураться. Но как может устоять нормальный, не связанный никакими узами мужчина, когда красивая и умная женщина решила осчастливить его своей любовью?

Вернувшись в город, они поженились. Злые языки говорили, что Аня тем самым отблагодарила Нуримана за свою спасенную жизнь. А если бы этого случая не было? А если бы на месте Нуримана оказался другой? Если бы да кабы... Сами молодожены варзобского случая не вспоминали, жили мирно, и Нуриман, человек по натуре степенный, с каждым днем влюблялся в свою жену все больше и больше.

И вот у нее появился Матушкин.

– Почему ты его так не любишь? – спросила Аня, когда на следующий день после известного застолья они остались вечером с мужем вдвоем.

Какой бы сверхсдержанностью ни обладал Нуриман, как бы ни старался он спрятать в себе, побороть неподатливую и упрямую, как ванька-встанька, ревность, на сей раз она проявилась не во взгляде, не в характерном движении головы вниз, будто заботать хочет, а в открытом признании:

– Хватит того, что ты его любишь.

– Перестань, Нур, пожалуйста. Он мне товарищ. И всё.

– И не более?

– Не более.

– Ярый, – сказал бесстрастным, мягким своим голосом Нуриман, – ладно. Но если я почувствую... Если я узнаю, то я его...

– Что?.. Что ты его?

– Ничего, – ответил холодно Нуриман.

Больше он не проронил ни слова. Сидел за письменным столом, водил карандашом по схеме, и было в его однообразных движениях что-то обреченное, страшное. Таким своего мужа Аня еще не видела.

6

Со следующего дня Матушкин, как и обещал Хафизову, начал основательную подготовку. Экспедиция на заоблачный Тянь-Шань – это и в самом деле не футбольный матч на стадионе «Динамо». Бельский прав, без тренировки там в два счета загнешься. Матушкин написал список альпинистской литературы, составил подробный план физических занятий с учетом своих данных, режим питания, вообще – жизни. Он отказался от лифтов: как ракета взлетал по лестнице на восьмой этаж (в рабочий кабинет) и на двенадцатый (домой), озабоченно шупал пульс и переводил тему любого разговора на кислородную недостаточность на горных высотах. В февральскую метель, апрельскую распутицу, июньскую жару его можно было видеть трусящим по набережной вдоль реки Казанки, подтягивающимся на турниках пустынного по утрам пляжа и обязательно на «средах» альпклуба, где решались вопросы предстоящей экспедиции. В конце апреля будущий восходитель провел несколько ночей на балконе в спальном мешке, который дал ему Шитов. В мешке было не холодно, но очень уж неудобно. С мыслями, что все еще впереди, Матушкин перебрался в комнату, в нормальную постель.

Евдокия Ефимовна, глядячи на новую жизнь сына, лишь покачивала головой и вздыхала. Горы, в которых она ни разу не была, пугали ее. Она слыхала и видела по телевизору, какие там случаются напасти, и каждый раз, когда Сережа заводил разговор о предстоящем путешествии, отговаривала его. Своими переживаниями Евдокия Ефимовна делилась с частенько заходившим к ним Красноперовым.

– Дима, – говорила она, – солнышко, хоть ты вразуми Сережу.

Но Дима не вразумлял товарища, а лишь успокаивал ее, советуя гордиться таким сыном.

И наступило четвертое июля – день отъезда.

В девять утра Евдокия Ефимовна начала упаковывать рюкзак. Сергей нервничал, ему казалось, что его пожитки, громоздящиеся на полу внушительной горой, в рюкзак не полезут. Но все обошлось. Рюкзак, и правда, получился огромным, но зато имел солидный вид и был хорошо затянут.

К прощальному обеду подошли Красноперов и Гульсина. Минут десять спустя подошел Хафизов. Как и предполагал Матушкин, сверхзанятый Бельский на проводы товарища выкроить время не смог. Больше никто зван не был. Бесчисленные друзья Сергея Матушкина должны узнать о его великих похождениях из газеты.

В двенадцать сорок Матушкин в яркой спортивной одежде в сопровождении товарищей и матери вышел из дому. Рюкзак нес Красноперов. Он кряхтел под его тяжестью и через каждые два шага, пока шел к троллейбусной остановке, удивлялся:

– И Сережа наш понесет его в гору?!

Троллейбуса долго не было. Пошел дождь. Евдокия Ефимовна заботливо раскрыла зонт.

– Ну вот, видишь, как же ты без него? – сказала она, протягивая зонтик сыну. – Не мешает тебе он там, он же складной, японский.

Сергей рассердился:

– Опять ты, мама!..

Обдав стоящих брызгами, проехал мимо без остановки перегруженный долгожданный троллейбус. Пришлось ловить такси.

В аэропорту все были уже в сборе. Экзотическая толпа альпинистов владела общим вниманием. Вокзальную публику интересовали и разноцветные ее наряды, и блестящие ледорубы, и поклажа, по своим формам, габаритам и приспособлениям рассчитанная скорей всего на вьючных животных. Матушкин поздоровался и тоже стал разглядывать до неузнаваемости изменившихся ребят. Первым делом он, конечно, отыскал взглядом Аню. Ее вид в подтянутой спортивной одежде – брюках, маечке, не скрывающих, а скорее выявляющих гибкую, физически развитую стать альпинистки, заставило сердце Матушкина биться быстрее.

Он скользнул взглядом по другим участникам экспедиции – Шитов в водонепроницаемых штанах, Док, сидящий в обнимку со своим французским ледорубом, а мысли его как коснулись Ани, так и остались прикованными к ней. Да, он любит ее! Любит и только ради нее тащится на край света, идет доказать, что он не слабее ее друзей, всей этой компании, которую она уважает безмерно. Он докажет ей, что он не игрушка, броско расцветенная и пустая. Уж год, как она большего, чем коснуться ее руки, ему не позволяет. Сохраняет супружескую верность? Но разве он виноват, что она замужем, а он, свободный молодой человек, ее любит? И что она нашла в Нуримане, в этом ходячем «сундуке», от которого несет нафталином? У него же ни одной свежей мысли. А еще кандидат наук, завлабораторией!

Матушкин подумал о Нуримане и увидел его стоящим у расписания рейсов. Если бы ему вчера предложили описать приблизительный вид Сабирова в походной одежде, то ему бы это сделать не удалось. Не помогли бы тут ни богатая фантазия, ни глубокие познания, почерпнутые из альпинистской литературы.

На кандидате в мастера спорта Нуримане Сабирове была не один год ношенная, не раз штопанная желтая фланелевая рубашка в клеточку, трикотажные спортивные брюки, которые брюками-то назвать было трудно: выгоревшие до белизны, с обвислыми пузырями под коленями, они больше походили на подштанники. Левую руку Нуриман держал в их заднем, пришитом красными нитками кармане из непромокаемого плотного синего материала, а справа, вместо оторванного кармана, темнело неровно выгоревшее пятно. Костюмный ансамбль одного из сильнейших восходителей команды довершали допотопной моды сандалеты, в каких Матушкин постеснялся бы в баню пойти. И это Нуриман, который дома за письменный стол садится при галстук! Или он специально так?

Матушкин перевел взгляд на свои новенькие сине-красно-белые спортивные туфли и подумал, что белой вороной, как Нуриман, в команде он не выглядит.

Объявили посадку. Команда взвалила на плечи рюкзаки, подняла ящики, мешки и двинулась вереницей к выходу. За ней потянулись провожающие.

– Сереженька, прошу тебя, будь осторожен!

– Не подведи честь газеты, Сергей!

– Эдельвейсов не забудь.

– До свидания, мама, до свидания, ребята!

7

Пржевальск оказался серым, пыльным, одноэтажным городом. Весь следующий день, после ночевки на аэровокзале Алма-Аты и перелета сюда, команда бегала по деревянным подмосткам вдоль магазинного ряда от одного продмага к другому. Главным начпродом был Нуриман. Он ходил с раскрытым блокнотом, с обнаженной авторучкой, вычислял и командовал, кому что покупать, кому оттаскивать, кому сторожить. Объемам закупок улыбочивые продавщицы-киргизки не удивлялись, к

альпинистам в городе привыкли.

В магазинной суете Матушкин испытывал томление. Гор из Пржевальска видно почти не было. Впервые он их увидел в иллюминатор самолета при перелете из Алма-Аты. Хотя горы и показались с высоты игрушечными, но они были в снегу, они торчали из облаков и им не было конца. С приземлением горы исчезли, появилась жара, магазины, муравьиные хлопоты – будничность. К полудню Матушкин окончательно – и физически и духовно – вымотался.

Обедали в полутемной столовой в центре города. Пока стояли в очереди, Нуриман на некоторое время исчез и появился наголо обритым. Он вошел в столовую с довольной физиономией, словно совершил только что важный обряд. Посыпались шутки. Но они его не смутили. Он встал рядом с женой, лениво улыбаясь и удовлетворенно трогая оквадратившийся голубоватый затылок.

– Вот какой ты у меня чистенький стал! – тянулась Аня погладить мужа по голове, но Нуриман уклонялся.

Док пояснил:

– Он каждый год так перед горами. Очищается.

Ели лагман – подобие вермишели, только каждая вермишелина полуметровой длины. Доесть его до конца у Матушкина не хватило сноровки.

Это был последний обед в городских условиях. Пополудни подъехала группа, добравшаяся до Киргизии поездом. Среди них и главнокомандующий Зырянов. Он скомандовал: «По коням!», команда со своим грузом забила в два крытых брезентом грузовика и тронулась в горы.

Вездеходы, натужно ревя, поднимались по каменистой петляющей дороге все выше и выше. На крутых поворотах, когда полмашины, казалось, зависало в воздухе, на переправах бурных, кипящих рек, когда автомобили ползли по невидимым камням, спотыкаясь и утопая по брюхо в воде, у Матушкина замирало сердце, холодок окатывал душу. Он знал, шоферы тут опытные и на этих гиблых дорогах чувствуют себя лучше, чем на городских, но воображение было не удержать на привязи. Матушкин живо представлял, во что превратились бы все они вместе со своими баулами, если б на одном из поворотов сорвался руль или же вдруг зазевался водитель.

Наконец после трехчасовой тряски Матушкин спрыгнул на землю и еле устоял на затекших ногах. Разгрузка заняла час времени. Только тогда, когда машины, облегченно фыркнув, укатили, он смог оглядеться.

На вершины гор солнце еще бросало свои теплые закатные лучи. А здесь, на дне ущелья, у вспучившейся от талых снегов реки, под тянь-шаньскими свечкообразными елями было уже холодно. Ребята надевали пуховые куртки, устанавливали палатки, сортировали продукты. Работали допоздна, пока в ноль-ноль часов Зырянов не сыграл отбой. И то еще не совсем управились.

Ночь. Луна. Звезды с кулак. Со всех сторон черные стены гор. Безмолвие. Лишь река, светясь под луною, несется с оглушительным ревом вниз мимо приземистых палаток.

Матушкин залез в спальный мешок, застегнулся, закрыл глаза. Но разве уснешь под этот сумасшедший грохот? «Тоже мне, нашли место – в двух шагах от реки, еще смочет, к черту! – думал он, ворочаясь в мешке. Сна не было. – Мешок, он и есть мешок, хоть и спальный. Не лежалось дома на простынях и подушках, мучайся теперь!»

Он проснулся от собственного крика. Соседи – Шитов и Док – мирно сопели. Было уже светло. Он попробовал опять уснуть, не получилось. «Привидится же такое», – перевел дыхание Матушкин. Ему приснилось, будто пришла в редакцию зав. пельменной – толстая, крашенная под блондинку женщина, которую он в пух и прах разгромил в своем последнем фельетоне; будто ворвалась она к нему в сто тринадцатую и пытается кухонным ножом отхватить пальцы, чтоб больше не пачкал бумагу и не чернил честных людей.

Окончательно проснувшись, вылез из палатки. Над лагерем стоял туман, на кухне гремели кастрюлями дежурные. Матушкин присел несколько раз, пошевелил невредимыми пальцами. Это было его первое утро в горах, и оно должно было принести ему неслыханный позор.

8

Под прямыми лучами солнца туман свернулся, лег густой молочной росой. Но уже к девяти часам со стороны Иссык-Куля из-за горы вылетели темные, рваные тучи и в считанные минуты накрыли ущелье. Тяжелые капли зашуршали в траве, застучали по скатам палаток – зарядил утомительный обложной дождь. Ребята сидели в своих «памирках» и скучно смотрели на светлые дождевые нити, которые тянулись параллельно стройным елям с математической точностью.

Ровно в десять, как требовало расписание, прозвучало зырянское «По коням», и команда зашевелилась, вылезла из палаток и потянулась змейкой по скользкой тропе в гору, к выступающим из

зеленого массива скалам.

Снизу они казались Матушкину ничтожными, на месте же скала, которую команде предстояло взять штурмом, выглядела неприступной крепостью. Ребята быстро оседлали ее с тыла, навесили страховочные веревки, и вот уже первые скалолазы идут почти по отвесной стене вверх...

– Эй-ей-ей, – раздался в очистившемся от хмари поднебесье звонкий голос Ани. Она стояла на самой верхотуре и махала рукой.

– Это она тебе, – ткнул Матушкина в бок Шитов. – Нарви букетик эдельвейсов, вручишь, когда спустится.

– С чего ты взял, что мне?

– У нас не принято орать, это она уж так, перед тобой. Во, глянь-ка, какой эдельвейс!

– Где?

– Под ногой, раздавишь.

– Это и есть эдельвейс?

– Спрашиваешь! – Шитов сорвал голубой, похожий на звезду, цветок. – Такие огромные только на Тянь-Шане. А знаешь, у киргизов счастлива та невеста, которой жених преподнесет букет эдельвейсов.

– Но я ведь не жених.

– Все равно.

Матушкин оглянулся – никто их разговора не слышал. Он сорвал пять самых больших эдельвейсов и, разглядывая их, стал ждать, когда спустится Аня. Цветы сами по себе были небольшими, не то серыми, не то зелеными, может быть, даже и голубыми, во всяком случае в траве незаметными и на вид неброскими.

По одному из самых трудных маршрутов карабкался Нуриман, медленно, подолгу ощупывая каждую зацепку.

– Грузноват он все-таки для скалолазания, – заметил Матушкин.

– Есть немного, – согласился Шитов и, помолчав, добавил: – Несколько лет назад он на таких же занятиях сорвался, пролетел до самого подножия, задел два-три выступа, лишь у самой земли страховка задержала. После такого вообще бросают горы. Ты посмотри как-нибудь, у него шрам за ухом. Когда лысый, хорошо видно.

А Нуриман медленно продвигался вверх – по длинной расщелине, мимо карниза, снова вдоль расщелины, прижимаясь, втираясь в мокрую породу. Замрет на мгновение, опять идет. И вот упрямец на вершине.

За спиной Матушкина кто-то облегченно вздохнул. Это Аня. Он и не заметил, как она спустилась и подошла.

– Прими, – Матушкин вручил ей цветы. – Однако и мне пора попробовать себя. А, Юрий Степаньч?

Зырянов кивнул:

– Попробуй.

Матушкин полон решимости. Что, он хуже Нуримана? Нет, разумеется. Он тоньше, легче, ловчее. Матушкин присел, встал, вдохнул, выдохнул. На него натянули обвязку, вщелкнули в карабин веревку и сказали: «Пошел».

И он пошел. Если, конечно, можно считать движением преодоление считанных сантиметров со скоростью часовой стрелки. Но это еще куда ни шло, ибо Матушкин скоро остановился вовсе. Вот он, его тупик, – гладкая, отполированная дождем и ветром стена. Матушкин лихорадочно зашарил рукой по холодной глади в надежде на хотя бы крохотную трещинку, но ее нет. Внизу болеют, подсказывают: «Влево бери, влево». А куда влево? Там тоже гладко. Вторая рука, вцепившаяся кончиками пальцев в крошащуюся зубрину, медленно деревенеет. Но до него ведь тут проходили, собственными глазами видел. Самовнушение не помогло. Бесчувственная рука соскользнула, Матушкин отлип от стены, опрокинулся, повис на страховочной веревке, и его, беспомощного, побежденного, спустили вниз.

На душе кипела досада, злость, было желание немедленно броситься в новую атаку. Но очередь другого. На маршрут вышел Ильдус – повар команды. Темп он взял хороший и место, где застрял Матушкин, прошел без затруднений.

Матушкин отдохнул, посмотрел на лазание по непроходимому для него маршруту Шитова. Все нормально, проходимо. Ободренный, он снова полез вверх. И снова его транспортировали вниз. Такого поражения на виду у стольких свидетелей, на глазах женщины, которую любит, Матушкин еще не испытывал.

Когда возвращались в лагерь, он плелся в хвосте. Рядом шла Аня. Она говорила, что при некоторых восхождениях альпинисты обходятся без лазания. И среди больших альпинистов есть никудышные скалолазы. Одним словом, успокаивала. Матушкин молчал. Ему было скверно и стыдно.

На полпути их догнал Нуриман. Он сказал Матушкину, как начпрод сказал, что по возвращении Матушкин должен помочь дежурным по кухне.

– Остальным надо готовить снаряжение к завтрашнему дню.

«Правильно, – подумал Матушкин, – мое место в кухонных мальчиках, а не на скалах».

Картошка была молодая и мелкая. Он орудовал ножом и смотрел, как ребята точат кошки, мотают веревки, готовятся к переходу в ущелье Аю-Тёр, где должны были состояться первые тренировочные восхождения. Один Нуриман не возился со снаряжением. Он бродил вдоль реки и ворочал камни.

– Что это он? – спросил Матушкин товарища по дежурству, Шитова.

– Печь для бани складывает, – ответил тот, кроша лук и смахивая обильно бегущие слезы. – Ты кожуру не срезай, а соскабливай, картошка-то молодая.

Господи, когда это кончится! Все его учат!

После ужина, домыв посуду, Матушкин не остался в барак-палатке слушать гитарное бречанье Шитова, хотя тот и приглашал, а пошел напрямик к себе в палатку, забрался в спальный мешок. Ему было одиноко.

9

Наступило звонкое солнечное утро. А до этого был крепкий девятичасовой сон. И Матушкин выбрался из палатки взбодренным. Бритье и ледяная вода реки освежили лицо. Матушкин решил скинуть футболку, чтобы ополоснуться по пояс, но вода была очень уж холодная, и он передумал, побежал заряжать фотоаппарат.

– Доброе утро, Сережа! – Из палатки высунулась включенная голова Ани. – Вчера куда девался?

– Выспаться хотел.

– Знаю. Я приходила за тобой, но ты уже спал.

– Да, устал вчера.

– А я думала, расстроился. Не стоит. Смотри, какое утро.

– Замечательное!

– Пошли за грибами. Аю-Тёр-то отменяется – снаряжение не готово. Зыряныч злой ходит.

– А можно?

– А мы потихоньку. Сразу после завтрака.

– Пошли, – обрадовался Матушкин.

– Сергей, – окликнул его кто-то.

Это был Нуриман. Он звал его из глубины шатровой палатки, служащей предскладом. С ним в полумраке был Зырянов. Барс сидел на бочке и, не замечая Матушкина, размышлял вслух:

– Ребятишек перед Аю-Тёром надо покормить свежим мясом. Двадцать пять метров ему хватит? Больше не дам. Сам знаешь, как мы эту веревку доставали.

– Мамытбек просил сорок, – сказал Нуриман.

– Ладно, черт с вами. Но ты барашка-то уж выбери!.. Кого с собой?

– Вот, Сергея.

– Правильно. – Зырянов глянул на Матушкина. – Сходи, Сережа, посмотришь, откуда баранина берется. В городе-то небось не видел.

Как чудесно начиналось утро, и наф тебе!

Юрта чабана Мамытбека Абдыкадырова находилась в соседнем ущелье в двух с небольшим часах ходьбы от лагеря. Шли молча. Впереди начпрод. Он шел с непокрытой головой, и солнце играло на его голом полированном черепе. На Нуримане была все та же желтая фланелевая рубаша и новое в его гардеробе – латаные-перелатаные бриджи с нашитыми сзади брезентовыми карманами. На концах этих коротких штанов пуговицы отсутствовали, и штанины свободно болтались вокруг мощных волосатых икр.

Рад бы Матушкин всего этого не видеть, но он шел следом.

Мамытбек, круглолицый крепкий киргиз, встретил гостей у юрты. Поздоровались. Мамытбек сперва церемонно пожал обеими руками руку Матушкина, назвал себя, затем по-приятельски приобнял Нуримана:

– Саям, Нуриман!

– Исанме, Мамытбек!

Они заговорили по-своему. Как потом Матушкин понял, каждый на своем родном языке: Мамытбек на киргизском, Нуриман – на татарском. Они хорошо понимали друг друга. Разговаривали как старые друзья. Чабан улыбался и оживленно постукивал камочкой по голенищу сапога, Нуриман по обыкновению оглаживал свой затылок. Вокруг вились чумазые босоногие ребятишки.

– Ваши? – спросил Матушкин.

– Мои, – ответил Мамытбек, обнажив в улыбке белые зубы, отчего темное его, обожженное

солнцем лицо просветлело. – Девять, – для ясности он показал на пальцах, – восемь джигитов и одна кыз-бала. Ты ее, Нуриман, еще не видел. Зимой появилась. – Чабан звонко щелкнул камчой по сапогу. – Зачем стоим, айда в юрту, кумыс будем пить. Байсылу, зачем гостей не встречаешь?

Из темного проема юрты показалась маленькая, гладенько причесанная женщина. Она откинула войлочный полог, приглашая гостей внутрь своего жилища:

– Заходите, заходите.

В юрте было сумеречно, тепло и, по-видимому, для живущих в ней уютно. Всюду – на полу, на возвышенностях, в одеялах, в люльке копошились дети.

Сели скрестив ноги у входа на полу, застланном серой кошмой. Рядом гудела чугунная печка.

Хозяйка разлила кумыс по пиалам. Нуриман отпил глоток и, понимаясь качнув головой, сказал:

– Якши.

Матушкин попробовал – ничего хорошего. Знаменитый кумыс напомнил ему кислое молоко, разбавленное водой, но только очень острое.

– Ну как? – спросил Мамытбек.

– Скулы сводит, – ответил Матушкин.

Мамытбек рассмеялся:

– Первый раз всегда так. Вкусно будет аннары, после, – пояснил он, – когда привыкнешь.

(Нуриман, видимо, успел сказать Мамытбеку, что с ним пришел новичок.)

– Пойдемте, я вас всех сфотографирую, – предложил Матушкин, – всей семьей.

Упрашивать себя Абдыкадыровы не заставили. Но собирались долго – передевалась Байсылу, вытаскивали люльку с дочкой, строились.

Нуриман фотографироваться отказался:

– Семейный портрет пусть будет семейным. – Он отошел в сторону.

Процесс фотографирования Абдыкадыровым понравился. Ребятишки обступили дядю-фотографа, а Мамытбек цокнул языком и попросил жену вынести ему комуз. Но ее опередил сынишка. Он мигом слетал в юрту и вернулся с инструментом, похожим на мандолину. Мамытбек взял комуз за тонкую шейку – вся семья разом села и, оживленно теснясь, образовала вокруг него полукруг. Байсылу спросила:

– Что будем?

– «Бекбекей», – ответил Мамытбек. Он тоже сел – возле жены, поудобнее скрестив ноги, опустил голову, коснулся струн, еще раз наотмашь ударил по ним, и рука его затряслась, заплясала над небольшим грушеобразным корпусом инструмента, выбивая из трех невзрачных струн невероятно звонкую непрерывную мелодию. Но вот Мамытбек взял ладом ниже, словно приостановил горячего скакуна, чтоб подхватить с собой еще кого-то, взглянул на жену, и она запела. Голос у Байсылу был легкий и текучий. Казалось, она и не пела вовсе, а просто открывала рот и песня сама бежала на волю.

Матушкин полулежал на траве, слушал. Ему нравилось, но он, как ни старался, не мог ни мелодии уловить, ни слов понять, чувствовал лишь, исполняется что-то очень грустное. Он смотрел на пенящуюся внизу ущелья реку, на отару, заполонившую склон от реки до самой юрты, и весело сравнивал себя с овцой, которая тоже вот слышит песню, а ничегошеньки не понимает.

– Что за песню вы исполнили? – спросил Матушкин, когда последние дребезжащие звуки комуза смолкли.

– Это «Бекбекей», – ответил Мамытбек, – песня женщины, которая охраняет ночью отару.

– Красивая, – сказал Матушкин и добавил из лексикона коренного казанца: – Бик якши.

После еще одной песни Мамытбек пошел показывать своих овец.

– Вот оно, тянь-шаньское руно и мясо, – похлопывая по густошерстным спинам беспрестанно жующих комолых животных, говорил Мамытбек. Он рассказывал о достоинствах породы, о поголовье всей отары и о числе голов своей, частной скотины, по-хозяйски осматривал овец, шупал шерсть на их загорбках, и было видно, что все это – и стадо, и юрта, и бегающие с лаем собаки, и зеленое ущелье, и река – его жизнь, которую он знает, любит и ни на какую другую не променяет.

– Нет, в четырех стенах я не могу, – говорил он. – В прошлом году поехал к старшему своему во Фрунзе на отпуск. Какой там месяц, неделю еле выдержал, и айда оттуда к ним, собакам. – Мамытбек с напускной грубостью отпихнул подвернувшуюся под ногу скотину. – А без меня тут десяток их уж и простудилось!

Около одной овцы, ничем не отличавшейся от других, одинаково крупных и горбоносых, чабан остановился:

– Вот, Нуриман, эту я обещал. Захромала она, видишь, нет? А в котле у тебя хромоту ребята не заметят.

Мамытбек схватил овцу за заднюю ногу и поволок в сторону. Бедняжка и не сопротивлялась, тонкие губы ее продолжали шевелиться, она дожевывала травку. Мамытбек, тяжело дыша, остановился:

– Байсылу, принеси тазы.

Он взял из кожаных ножен, надетых на поясной ремень, нож с кривым хищным лезвием и протянул его Нуриману:

– На, держи.

– Может быть, сам уж? – попробовал отказаться начпрод.

– На, на, будь джигитом. Поверни морду ей на восток, как велит обычай, и давай.

Отдав нож, Мамытбек подсунил под шею овце таз, взял ее своими большими руками попарно за ноги.

– Давай, Нуриман, а разделаю уж я сам.

Животное лежало спокойно. И даже когда начпрод полоснул его ножом по горлу, не вздрогнуло. Таз быстро наполнился кровью. Один из голопузых сыновей лет шести понес посудину к овчарке, сидевшей на привязи. Собака принялась жадно лакать дымящуюся густую красную жидкость.

Когда наполнился второй таз, барашек наконец дернулся.

– Готов, – сказал Нуриман и передал нож Мамытбеку. Руки начпрода были в крови, лицо его выглядело обыденно-спокойным, по всему видать, резать скотину ему доводилось не раз. «Так он и с тобой, если надо», – подумал Матушкин.

Тем временем Мамытбек, освежая овцу, быстро разделявал тушу, складывая готовое мясо в чистый таз. Подошла Байсылу. Она выбрала несколько кусков и ушла. Скоро Байсылу вернулась с блюдом жареной баранины:

– Попробуйте.

Мамытбек вытер руки о тряпку, взял горячий кусок в рот и, обжигаясь, выговорил:

– Вкусно.

Попробовал и Нуриман. Байсылу протянула тарелку Матушкину. Он, ничего не соображая, взял кусок и, глядя на шкуру, красное мясо в тазу, кишки еще пять минут назад живого существа, стал жевать. Откуда-то снизу, изнутри, подкатила к горлу волна. Матушкин бросился в сторону, согнулся, взявшись за грудь, – его стало рвать.

Байсылу побежала за водой, а Мамытбек засмеялся:

– Как же ты мясо дома ешь?

Нуриман не проронил ни слова. С удивлением смотрели на дядю дети. Матушкин отошел подальше и лег в траву. Ему было плохо. Слабость охватила все тело. А в голове молотком стучала некстати вспомнившаяся перепалка с Красноперовым в редакции: «А когда ешь, разбираешься?» – «Когда ем, да. Особенно люблю шашлык из баранины...»

Вернувшись в лагерь, Матушкин забился к себе в палатку. Но его вытащила оттуда Аня:

– Хорошую баранину принесли, Сережа. Отличный у ребят будет ужин. А пока пойдем за грибами?

Они перешли по мосту из двух бревен на другую сторону вздувшейся после жаркого дня реки, стали подниматься по склону горы, туда, откуда, по словам Ани, Зырянов принес полную штормовку дождевиков. Но им не повезло, они взяли левее, чем следовало, и застряли в арчовых зарослях, сквозь которые продираться не было смысла. Корявая, стелющаяся по склону арча царапалась, цеплялась за одежду, и Матушкин с Аней отступили. Они спустились к реке, пошли вниз по руслу.

– Ты что сегодня какой? – спросила Аня.

– Не везет нам с грибами, – сказал Матушкин.

– Нет, ты не переводи на другое. Что-то случилось?

Хотел Матушкин рассказать о сегодняшних кровавых похождениях, о том, что он чувствует себя в команде неуютно, никому не нужным, чужеродным человеком, но раздумал. Это было бы признанием в слабости. И он сказал, вскинув голову:

– Я днем и ночью размышляю над одним и тем же вопросом: какой поступок смог бы растопить твое ледяное сердце? И было бы твое сердце таким холодным по отношению ко мне, если б ты не была замужем за Нуриманом? Встреть тебя я, скажем, раньше его?

– Глупый, – сказала в ответ Аня. – Посмотри, какой закат!

– Закат как закат. Не увиливай.

– Нет, ты ошибаешься. Солнце здесь скрывается недоспевшим, а чтобы увидеть закат как закат, надо подняться на гору, высоко-высоко.

«Аня, я люблю тебя, но подняться высоко-высоко, вероятно, уж не смогу», – хотел сказать Матушкин, но в который раз промолчал. Он не сказал ни слова из того, что думал. Солнце опускалось за гору. Еще один день катился прочь, чтобы остаться лишь в памяти да мелкой записью в путевом блокноте газетчика, уже раскаивавшегося в своей затее с экспедицией.

Прошло тридцать дней. Тридцать раз Матушкин встречал раннее тянь-шаньское солнце – всегда чистое, оно вставало на востоке из-за далекого пика Победы, и тридцать раз Матушкин провожал небесное светило, зачастую уже невидимое в дожде и тумане. Что дало ему это время? Прежде всего он заполнил два своих блокнота, выдержал многокилометровый переход по живописнейшему ландшафту. Но вот что странно – особого восторга не испытал. Все-то он видел по телевизору, в цветных журналах, на полотнах художников в гораздо лучшем исполнении, чем натура. И потом, оказывается, когда протопашешь кряду семь-восемь часов под нещадным солнцем, сменяющимся проливным дождем, когда рюкзак тянет назад, а ты валишься от усталости вперед и, чтоб не упасть, делаешь шаг, другой, так и идешь дальше, по сторонам не позираешься. Если б ему сказали тогда, что одна из сил, влекущих альпинистов в горы, – это красота природы, то он бы ответил: враки, альпинист, кроме башмаков впереди идущего, ничего не видит. После перехода на Аю-Тёр Матушкин записал в блокноте: «Альпинизм – игра в романтику с серьезными, деловыми минами. Для чего все это? Ложь и фальшь!»

Но вот на двенадцатый день, поднявшись на тренировочном восхождении на пик ГТО и увидев внизу под собой облака, которые час назад поливали его дождем, увидев сотни макушек гор, синее бесконечное небо и ослепительно близкое солнце, он сказал себе: ради всего этого лезть сюда стоило!

Пик ГТО, конечно, был пупырем. Но все равно это была победа. Теперь Матушкин подолгу выстаивал у палатки и, кусая губы, щурясь, неотрывно смотрел на снежные флаги, раздуваемые ветром на куполах поднебесных тянь-шаньских соборов. Что же его притягивало?

– Зов предков, – смеялся Шитов.

– Да, – отвечал Матушкин, – странная эта вещь, горы.

После тренировочных сборов, перевалив через хребет Терскей-Алатау и сделав три больших перехода, команда встала биваком на леднике у подножия Ак-Бурэ и безымянной. Морена – насыпь из валунов и обломков скал, на которой поставили палатки, находилась точно между этими двумя горами, под перемычкой, за которой третьим углом дыбился Кокжал.

Зырянов разделил команду на две группы: одна должна идти на безымянную, другая – на Ак-Бурэ. Матушкин был определен во вторую, которую назвали группой волкодавов. В нее вошли Шитов, Док, Аня Сабирова, еще несколько человек и руководителем Нуриман.

Переночевав со всеми вместе под перемычкой, волкодавы рано утром пошли в обход Ак-Бурэ, чтобы атаковать его с тыла, с юго-западной стороны. Через перемычку же должна была подняться первая группа, идущая на безымянную под наблюдением Зырянова.

К обеду волкодавы были на исходной позиции. Они быстро разбили бивак и весь день наблюдали за своим Белым Волком, набрасывали на карту маршрут подъема, спорили о каком-то бугре, с которого должен открыться вид на вершину. Лишь Матушкин был в стороне, ему было некогда – Нуриман назначил его дежурным, и он усердно тер песком кружки, плошки, собранные после ужина у запруды, и думал: не беда, все равно он пойдет завтра на разведку вершины. Зырянов же ясно сказал, и Нуриман ослушаться его не посмеет.

С первых дней экспедиции начпрод монотонно, без лишних слов изводил Матушкина дежурствами, поручениями, мелкими придирками. Если Матушкин и преувеличил позор своих первых дней, то тут, с Нуриманом, ошибки не было. Как он смотрел на него с Аней, когда они возвращались с грибной прогулки! Ужас. Останься с ним в укромном месте – прирежет, как того барана, и глазом не моргнет.

– Сергей!

Это опять он. Сейчас найдет какую-нибудь новую работу, как, например, на Аю-Тёре – плющить пустые консервные банки и закапывать.

– Сергей, ложись спать пораньше. Завтра ты, я и Шитов идем в разведку. В четыре подъем.

Матушкин сполоснул в ледяной воде последнюю миску, бросил в общую кучу к гранитной плите, служащей столом, и пошел спать. Приказ есть приказ, додежурить его дежурство придется утром кому-то другому. Матушкин залез в палатку, в ней уже сладко похрапывал Шитов. «Как это люди умеют мгновенно засыпать? Уму непостижимо». Матушкин проверил фотоаппарат, запасные кассеты и, пока окончательно не стемнело, занес в блокнот события последних трех дней.

В палатку заглянула Аня:

– Подъем завтра играю я. Чтобы не капризничал!

– Значит, мое дежурство тебе досталось?

– Да, буду отдуваться за тебя. Спи.

Аня поправила ему мешок у изголовья, улыбнулась на прощание и скрылась. Матушкин спрятал блокнот, устроился поудобнее в своем мешке, закрыл глаза. Невыносимо!

– Шитов, хватит храпеть.

– А тебе завидно?

Тут, в горах Матушкин вдруг обнаружил, что страдает бессонницей. Со стопроцентной гарантией она появлялась у него после каждого нового набора высоты и не оставляла до самого утра.

«Один слон и один слон – два слона, один слон и два слона – три слона», – Матушкин считал свою верную снотворную считалку и не спал.

11

Было еще темно, когда Аня появилась опять, вернее, не она, а ее голос:

– Мальчики, Шура, Сережа, подъем!

В крошечной тьме Матушкин вылез из спальника. Шитов включил фонарь. Сопя и кряхтя, стали одеваться.

– Ну и возитесь вы! Завтрак стынет, – это опять дежурная.

Снаружи ветрено и холодно. Матушкин поежился. Это время суток, когда все тело ватное, а сознание полупьяное, он не любил. Матушкин несколько раз согнулся-разогнулся, помахал руками, затем сел за стол между начпродом и шипящими примусами и с удивительным для утра аппетитом стал уминать овсяный «Геркулес».

– Шура, не забудь палатку, – сказал Нуриман подошедшему Шитову.

– Зачем она! Мы что, ночевать там будем?

– Зырянов ведь ясно сказал: без палатки ни шагу. Будто не слышал!

– Перестраховщик он, – недовольно проворчал Шитов, – тащить-то не ему. – Он взял хлеб, ложку.

– И продуктов по его инструкции набирать?

– Совершенно верно – на три дня. Кстати, примус и спальные мешки не забудьте.

Проводить товарищей вышел Док. Он помог Матушкину обвязаться, застегнуться. Его осмотрел лично Нуриман. Он обошел вокруг, выискивая, к чему бы придраться, подумал и велел переложить рюкзак.

– Точно, – согласился Шитов, – рюкзачок подтянуть надо, Серега, а то быстро холку набьешь. Давай подсоблю.

– Быстрее, быстрее, – торопил Нуриман, – пока снег не раскис, светает уже.

В начале шестого разведчики тронулись в путь.

– Давайте, волкодавы, – похлопал всех по рюкзакам Док, – чешите, пока прохладно, Белый Волк ждет вас.

– У-у-у, – по-волчьи завыл Шитов.

Все рассмеялись. Серьезной осталась одна Аня.

– Будьте осторожны, – сказала она. Матушкин удивился ее тревожному взгляду, почему-то вспомнил свою маму, как она провожала его в аэропорту, и подумал: все женщины на прощание говорят одно и то же.

12

Пошли так: впереди Нуриман, сзади Шитов. Матушкин – в середине. В темноте друг друга различали лишь по глухим шагам и звяканью о камни ледорубов. Шитов незло ругался. Непонятно почему, он спотыкался чаще других.

Ночь быстро таяла. Скоро перед разведчиками из предрассветной мглы во всей своей мощи выплыл огромный безмолвный Ак-Бурэ. На его седую голову легли первые лучи солнца, и он засверкал, словно увенчанный алмазной короной.

– Нет, это не голова, – пояснил Матушкину Шитов, – а всего лишь западное плечо. Оно-то и скрывает вершину. Залезем вот на бугор, вон на тот, – Шитов показал рукой, – тогда все станет видно. Нарисуем портретик – фас, профиль и снесем его настоящим волкодавам, пускай расправляются.

– Покоряют на здоровье, – весело поддакнул Матушкин.

– Нет, Серега, гору покорить нельзя. Это все равно что мухе сесть на слона и думать, что громада оседлана. Сегодня ты взошел на вершину, а завтра она тебя не пустит. И рад будешь, коль ноги унесешь. Вообще скажу тебе: гора, как женщина, прекрасна на расстоянии, а столкнешься с ней нос к носу, она такой характер покажет, в самом кошмарном сне не увидишь.

– Пошли, пошли, – одернул Нуриман, сам залюбовавшийся сиянием верхней части горы. – До солнца надо подняться к бараньим лбам.

Бараньи лбы – сглаженные скальные выступы. Они отделяли морену от снежного поля. Поднявшись к ним, Нуриман и Шитов соединились страховочной веревкой. Разматывая ее, Нуриман пошел вперед. Шитов придержал Матушкина и, когда Нуриман удалился метров на пятнадцать, зацепил карабин газетчика за веревку между собой и ведущим:

- Теперь топай.
- Меж вами я как цепной пес промеж двух столбов на проводе – туда-сюда.
- Скорее как лягушка-путешественница, – сказал Шитов и раздраженно потер поясницу.
- Опять болит?
- Болит, стерва. – Шитов нацепил светозащитные очки. – Тоже надень, солнца ждать не надо.
- Успею еще. Красота-то какая!

Ступили на снег. Его наст держал крепко. Шли как по асфальту, не проваливаясь. Правее плеча Ак-Бурэ показалось солнце. Оно ударило прямыми лучами в глаза, снежное поле вспыхнуло разноцветьем огней – красных, зеленых, синих, желтых, – море ослепительного света! Матушкин вздохнул грудью так, что ребрам стало больно, надел очки. Картину они не испортили – сверкал снег, сияли вершины, а внизу, все еще в тени, на серых камнях желтел крохотными палатками бивак.

– Как хорошо! – оценил вслух свое состояние Матушкин. – Шура, а смог бы я с вами подняться на пик Коммунизма?..

В минуты особого душевного подъема Матушкиным, как правило, одолевала болтливость.

- Шура, что это клокочет?
- Трещина. Вода по ее доньшку бежит.
- А они глубокие бывают?
- Трещины-то? Разные. Десятки метров.
- Интересно как! А где эта трещина? Шумит, шумит, а не видать.
- Ты стоишь на ней. На ее пробке. Видишь, темная полоса?
- Да-а?! – Матушкин не испугался, но все равно поспешил со змеящейся светло-коричневой полосы прочь. – А что было бы, если б я туда провалился?
- Ну что... ботинки б промочил, – усмехнулся Шитов. – Пустяки. Два года назад, мне рассказывали, один провалился, пролетел метров двадцать и вклинился по пояс в лед – трещина-то книзу сужается. Целиком его вытащить так и не смогли.

Снежное поле перешло в склон горы. Ботинки заскользили.

- Может, на кошки встанем? – крикнул Шитов.
- Пока не надо, – ответил Нуриман, – буду ступени рубить. – Он замахал ледорубом. На Матушкина посыпалось ледяное стекло. Одна ледышка резанула по щеке. Он опустил голову, и тут же по каске звякнул кусок поувесистее.

Шитов замешательство Матушкина заметил:

- Не торопись ты, отстань немного.

Матушкин послушался. Нуриман тем временем пошел косым ходом вправо. Куски льда теперь, жужжа, как кордовые авиамодели, летели мимо. Подъем становился круче. Но по ступеням, вырубленным Нуриманом, идти было легче. Да и лед стал размыкать, крошиться в зерна, и уже не было скользко.

Солнце меж тем поднялось высоко, можно было, пожалуй, загорать, так здорово оно припекало. Из-под каски обильно лил пот, сердце учащенно колотилось, пересохло во рту и не хватало воздуха, но Матушкин знал: об усталости думать не надо, а надо идти и идти, нет предела человеческим, в том числе и его, казалось бы, немощным силам – испытал лично.

Один за другим разведчики поднялись на небольшую покатуую площадку. Последним на ней появился Шитов. Дышал он нормально, но лицо его было мученически искривлено.

- Шура, что с тобой? – спросил озабоченно Нуриман. – Опять поясница?
- Да, стреляет. Невыносимо, – отрывисто произнес Шитов. Он сбросил рюкзак, сел. Нуриман изучающе посмотрел на товарища:
- Сможешь дальше идти?
- Смогу, – отозвался Шитов. Но когда стали подниматься с рюкзаков, он, взявшись за поясницу обеими руками, выпрямил себя кое-как.
- Шура, иди вниз, – сказал Нуриман. – Через полчаса будешь дома, и Док тебе поможет.
- Какая разница, – зло царапая свою рыжую бороду, возразил Шитов, – часом раньше, часом позже.
- Не в том дело. Внизу болеть не будет, а вверх идти ты не сможешь. Спускаться же – спине лучше. Давай сюда палатку, паек... И без разговоров. До нашего бугра осталось каких-то час-полтора, и с него мы увидим вершину. А ты спускайся потихоньку.
- А если не увидите? Если плечо все-таки не даст?
- В любом случае дальше не пойдем.
- Ладно, тогда буду спускаться.
- Может, мне проводить Шуру? – спросил Матушкин.
- Брось, – отрезал Шитов. – Сам дойду.
- Дойдешь? – переспросил Нуриман.
- Конечно, делайте свое дело.

– Нам надо дойти до бугра. – С этими словами Нуриман посмотрел на Матушкина.
– Безусловно, – с готовностью ответил Матушкин. – Я и с Зыряновым до этой точки договорился. Мне же надо материал писать, а как я напишу, если вершины и в глаза-то не видел? – Матушкин расхохотился. Но на душе его, безусловно, было не так, как он заявил. С Нуриманом наедине оставаться не хотелось. Нет, не боялся. Было просто неприятно. Помнится, при втором акклиматизационном переходе в момент обычного прилива болтливости он решил поговорить с ним, на что тот сказал:

– Знаешь, зачем я хожу в горы?

– Нет, – ответил, заинтересовавшись и предвкушая редкую исповедь, Матушкин.

– Чтобы помолчать.

Вот она, простая людская несовместимость! Не людская, а мужская. И конечно же, не простая. Матушкин это отлично понимал.

Шитов, не оглядываясь, пошел вниз. Нуриман и Матушкин продолжили путь к бугру, с которого они предполагали увидеть над плечом самую голову Белого Волка. Идти было уже труднее: во-первых, с уходом Шитова рюкзаки стали тяжелее; во-вторых, снег окончательно разжижился, и ноги проваливались в него по самые икры, да и потом, появилась просто-напросто усталость, заныли ноги, поясница, плечи и даже шея, которую Шитов зовет холкой. Интересно, добрался он до бивака или нет?

Перед довольно-таки крутым подъемом Нуриман объявил привал – было время радиосвязи. Матушкин, тяжело дыша, сел на рюкзак, а Нуриман принялся настраивать рацию.

– База, база, – повторял он монотонно, – я разведка. Прием...

Наконец рация заверещала голосом Дока. Он сообщил, что Шитов в десяти минутах ходьбы от бивака, что двойка их на маршруте просматривается хорошо. Время следующей радиосвязи назначили ровно через час, когда разведчики, по обоюдному предположению, должны будут сидеть на бугре и, любуясь вершиной, пить чай.

Так оно и вышло. Через час с небольшим Нуриман и Матушкин были на месте. Только там им было не до чая.

13

До цели оставалось совсем немного, когда с соседней горы сошли почти одновременно две лавины. Толщи снега с жутким грохотом обрушились вниз. Они неслись, поднимая дымно-белые тучи, легко, как картонные кубики, подбрасывая многотонные ледяные глыбы, раскалывая их, кроша в пыль.

Зрелище было одновременно страшным и красивым. На месте основного откола обвалов остались ослепительно голубые срезы. Они блестели на солнце, переливались, покоряя своей первозданностью. А лавины, словно согнанные с насиженного места хищники, еще долго урчали у подножия горы.

Отцелкав целую кассету, Матушкин хотел зарядить фотоаппарат другой пленкой, цветной, чтобы запечатлеть голубые свежие раны соседней горы, но Нуриман сказал, что времени в обрез, до связи надо поспеть на бугор. И они двинулись дальше.

Забив два крюка, на кошках преодолели крутой ледовый подъем с теневой стороны. На льду Матушкин чувствовал себя лучше, чем на скалах. Воткнешь клюв ледоруба, врежешь кошки и виси на стене, как паук, на здоровье. Еще лучше плотный снег. В этом смысле Матушкину повезло: Ак-Бурэ голых скал почти не имел, был весь из снега.

Выбрались на солнце. Пошли, проваливаясь опять в вязкой снежной хляби. Металлические кошки студили ноги. Нуриман остановился.

– Бергшрунд, – произнес он тихо, но внятно.

– Что?

– Трещина такая.

Матушкин увидел в двух шагах на снегу широкую темную полосу.

– Садись сюда, у ее границы, – снимая рюкзак, сказал Нуриман, – будешь страховать. – Он зацепил ледоруб веревкой и воткнул его за спиной Матушкина глубоко в снег. Затем этой же веревкой перехватил поясницу напарника.

– Знаешь, как страховать?

– Да, показывали на тренировке. – Матушкин взял страховку в руки. Нуриман оценивающе следил за его действиями.

– Правильно, – одобрил он. И, зондируя ледорубом прочность снежного моста, пошел. Добравшись до другой, более высокой, стороны трещины, Нуриман перетащил с помощью веревки рюкзаки, так же, как и Матушкин, сел в снег, приготовился страховать.

– Ходи, – сказал он, устроившись поудобнее.

«Вот так просто: «ходи», словно в шахматах, с белой клетки на черную», – подумал Матушкин и

шагнул на темный снег, под которым была бездна.

Не успел пройти он и половины пути, как где-то вверху слева, совсем рядом, раздался оглушительный треск. Матушкин поднял голову. В стороне, метрах в трехстах, там, где гора имела почти отвесные стены, поехала вниз гладкая ледяная глыба размером с хоккейную площадку. Все вокруг задрожало, снежный мост со стороны лавины посыпался в трещину. Завороженный, Матушкин еще секунду наблюдал за раскрывающейся пастью проклятого бергшрунда, но уже в следующее мгновение почва ушла из-под ног, и он полетел в тартарары... Перевернулся через голову, ударился о выступ... Не успел припомнить жизнь, как подобает порядочным людям перед смертью, а веревка уже натянулась и с силой дернула. Живот, левую ногу выше колена обожгла острая боль – веревка перехлестнула их, стянула, и Матушкин, ударившись маятником о стену, повис лицом к ней, завалившись набок, с поднятым к подбородку коленом.

Трещина была широкая, гигантски широкая. По лоснящимся бутылочно-зеленым стенам ее весело бежала талая вода вниз, куда лучше не смотреть, в пропасть со смыкающимися далеко внизу стенами. Как раз про такую рассказывал Шитов. Только тут уж не то чтобы половину Матушкина, а и волоска вытащить не удастся. Это если до конца долететь. Но веревка-то еще держит. Матушкин задрал голову. Вверху – синее, вольное небо... и темная физиономия Нуримана.

– Жив?

– Жив вроде бы. – Матушкин хотел сказать это как можно независимей, но получилось до мерзости плаксиво.

– Ты не волнуйся, Сережа, веревка закреплена железно.

«Не волнуйся!» Тебя бы сюда, в эту волчью яму!.. – Матушкин осторожно высвободил ногу. – Ох, чую мое сердце, чую, погибну я через этого лысого черта!» Вслух же произнес:

– Нуриман, я вылезу отсюда-а-а?

Но слова были заглушены глухими ударами все еще неугомонившегося обвала. Они эхом прокатились по трещине, разрушив остатки снежного моста. Когда гул сорвавшегося льда и снега стих, подал голос Нуриман:

– Сережа, закрепись на стене – кошками, ледорубом, чтобы не мотало. Я бросаю вторую веревку.

Он подробно объяснил, что с ней делать, что делать с ледорубом, кошками, руками, ногами.

– Сережа, я тяну.

– Давай.

Матушкин пополз вверх. Медленно, сантиметр за сантиметром. Вверх, вверх. По команде любого отдыхали. Наконец Матушкин высунулся наружу, перевалился через край, оперся на локти, ладони. Нуриман схватил двумя руками его за шиворот, потащил, и они повалились на белый снег – подальше от трещины.

– А я думал все, хана мне, – перевел дыхание Матушкин. Его била крупная дрожь. Не верилось, что вырвался живым из ледяной западни. Нуриман сидел тяжело дыша, уронив руки меж колен, без каски, без шапочки. На пробившемся ежике волос его блестели капли пота. Он посмотрел на трясущегося, мокрого как мышь Матушкина и впервые улыбнулся ему:

– Не такой-то ты уж и легкий, оказывается. – Помолчав, добавил: – А так нет, молодец, поработал. Одному бы мне тебя не вытащить. – Он достал из рюкзака термос, налил в стаканообразную крышку чая, протянул Матушкину: – Выпей, согреешься.

Матушкин взял. Стуча зубами, стал пить. А Нуриман пошел вдоль трещины. Вернулся, пошел в другую сторону, опять вернулся. Матушкин спросил, осушив стакан:

– Как же мы теперь обратно?

Нуриман не ответил.

– Обойдем, что ли?

Нуриман молчал.

– Что ты молчишь?

Сматывая веревку, Нуриман отошел от трещины. К ней подступил Матушкин. Нуриман холодно одернул его:

– Отойди, опять свалишься.

– Ты ответь на вопрос: как полезем через эту прорву?

– Никак. Собирайся, пора идти дальше.

– Куда дальше-то? Как обратно пойдём? Обходить будем?

– Нет, – Нуриман отрицательно повел головой. – Нам с тобой ее не обойти.

– Я и сам вижу!

– Ну вот...

– Что «ну вот»? Так спокойно говорит, будто перед нами всего-навсего перекопанная улица.

– Пошли поднимемся на бугор, видно будет.

Матушкин повиновался.

Бугор разведчики взяли двадцатью минутами позже намеченного. Радиосвязь, однако, наладить удалось быстро. Видно, Док не отложил ее на аварийное время, а все эти двадцать минут выходил в эфир.

– Ну как, Ак-Бурэ баши есть? – спросил он первым делом.

– Есть, видать, – ответил Нуриман. – Вершина проглядывается хорошо. Но дело в том... Короче, мы от вас отрезаны. – Он в двух словах поведал о случившемся. – Мое мнение такое: мы пойдем с Сережей траверсом через вершину, она, как я вижу, лазания не потребует, спустимся на той стороне к Зырянову. Да, на перемычку. А вы идите туда сейчас же и высылайте оттуда нам навстречу спасателей.

Док начал спорить:

– Надо посмотреть эту трещину, оценить, мы с Зиннатуллиным и Исмагиловым сейчас же выйдем по вашему следу.

После Зырянова Нуриман в команде был аксакалом номер один, наконец, командиром группы, и последнее слово оставалось за ним. И он сказал:

– Док, дорогой мой, джаным, послушай меня внимательно: бергшрудн тот нам с вами не одолеть и ждать, когда вы к нему подойдете и убедитесь в правоте моих слов, нам некогда. Мы должны торопиться. Спасибо зырянской инструкции, но все равно еды у нас – сам знаешь сколько. Но погода продержится, хватит. Думаю, уже сегодня перевалим через вершину.

Когда Нуриман объявил конец связи, Матушкин спросил:

– Завтра, значит, будем в первом лагере?

– Если погода позволит, то возможно. – Нуриман окинул путь подъема от носков своих ботинок до самой вершины долгим, примеривающимся взглядом, прищурившись, как охотник, идущий на очень крупного зверя с одной рогатиной в руках. Затем посмотрел в бинокль, отметил что-то в записной книжке:

– Сережа, сегодня мы с тобой должны быть на вершине.

– Я понимаю, – ответил Матушкин, – но можно было бы об этом сперва мне сказать, а потом уж Доку. Мне... Все-таки со мной топать.

Нуриман пристально посмотрел на партнера по связке:

– Давай договоримся: этикет, обиды, самолюбие отложим. Все, что я буду велеть, ты должен исполнять без диспутов и старательно. Понял? А теперь давай свой рюкзак.

Матушкин молча одной рукой поволок рюкзак к начальнику. Нуриман развязал его и стал перекладывать к себе шитовский груз.

– Нуриман, за кого ты меня принимаешь? – не выдержал Матушкин. – И палатка у тебя, и это все забираешь.

– Я же сказал, не пререкайся. И заклей нос, если не хочешь, чтобы облез до мяса.

Матушкин смолчал. Он потрогал нос, который саднил и шелушился, без лишних слов помог Нуриману взвалить на спину рюкзак, закинул за плечи свой, легонький, и разведчики двинулись дальше. Впрочем, это были уже не разведчики, а первовосходители поневоле.

Они шли по бесконечному снежному склону вверх, к притихшей в ленивой дреме неуклюжей громаде, а она с каждым шагом от них удалялась. Матушкин вглядывался в залитую солнцем голову Белого Волка, все больше и больше удивляясь народной меткости. В самом деле предвершина горы напоминала профиль волчьей морды, а сама вершина смахивала на покатый лоб. И даже уши торчали у зверя – какие-то странные снежные наросты, придающие всей внешности хищный, настороженный вид.

Грузинской заброски Нуриман не нашел. Он примерно представлял себе, где должна была находиться пещера. Поискать бы ее часок-другой, но пришлось выбирать: или заброска, на которой можно сидеть и ждать спасателей, но которую можно вообще не найти, или по хорошей погоде перевалить через Ак-Бурэ, а там на его длинной отлогой спине выехать как-нибудь, уже при любой погоде доплюхать до перемычки.

Бросив поиски, подзаправившись на скорую руку, двойка пошла по юго-западному ребру Ак-Бурэ вверх. Все-таки расчет Нуримана оказался не совсем точным – некоторые участки пришлось преодолевать лазанием. Правда, не очень сложным. В настоящем бою ведь всегда легче. Да и Нуриман находил такие лазейки, узкие полочки, что ступать по ним было удобнее, пожалуй, чем по Потемкинской лестнице в Одессе. Но вот высота начинала сказываться. Стало тяжело дышать, легкий рюкзак начал тяжелеть, будто с каждым шагом в него добавляли по булыжнику. И еще – это уже

странно, зверски разыгрался аппетит. А Нуриман пёр вверх как заведенный. «Может быть, он специально, чтобы испытать меня, – думал Матушкин, – чтобы новичок сдался, попросил пощады или свалился куда-нибудь? Хотя веревка не пустит. Да и, коль на то пошло, зачем ему надо было вытаскивать меня из трещины? Как бы то ни было, он, спортивный журналист Сергей Матушкин, не посрамит честь мундира. Бергштрунд не в счет, там стихия обрушилась на голову». Он сплюнул зло и сбился с дыхания. Уже и это труд!

Наконец под самым плечом Ак-Бурэ Нуриман взял вправо. Пошли по диагонали от крутого ребра к пологому гребню.

Дымное августовское солнце тем временем стало быстро клониться к низкорослому, испещренному бородавками осыпей хребту, растянувшемуся западнее Эркин-Кылыча. Хребет этот со всеми своими пиками был далеко уже под ногами.

Вот и гребень. Сделали остановку для радиосвязи. Но связывать восходителей с наблюдателями рация отказалась. То ли полонка какая, то ли батарейки сели, а может быть, просто восходители скрылись из зоны прямой видимости – это для рации пока тоже причина.

Поели. Силы быстро восстановились. Тут бы и настроению подняться – закат, великолепный вид, но с отдыхом и прояснением сознания Матушкин вдруг почувствовал, как легкая опаска, порхавшая доселе тенью, превратилась в реальный страх. Да, он не взял спального мешка. Послушался Шитова. «Зачем тебе спальник? Выходим на полдня, а нагружаемся на неделю. Пустая перестраховка, я тоже не беру». А ночью-то каково будет? Уже сейчас потянуло холодом.

Матушкин плелся за Нуриманом и крыл себя последними словами. Что он ему скажет? Незнаком с инструкцией Зырянова, пропустил мимо ушей все напоминания перед выходом? «Болван тебе имя, а не Сергей. Болван Матушкин. Вот он, пожалуйста полюбуйте, вышел на прогулку!»

За тоскливыми думами, подергиваемый страховочной веревкой Матушкин оказался на остром, как нож Мамытбека, гребне, уходящем своим белым кривым лезвием к самой морде Ак-Бурэ. Здесь властвовал ветер. Он сразу ударил в гортань, в легкие. Матушкин встал на гребне с открытым ртом и очумело заморгал.

– Что, захлебнулся? – крикнул Нуриман. Получилось это у него довольно весело. Почувствовал, наверное, то самое, ради чего сюда тащился, – романтику свою альпинистскую. Нуриман сошел с гребня на несколько метров вниз, где не продувало, позвал к себе.

Устроили небольшой привал и смену гардероба. Нуриман велел Матушкину снять футболку, надеть ее задом наперед.

– Быстрее высохнет. И штормовку скинь, тоже сырая. Надень свитер, пуховую куртку, через пять минут будет очень холодно.

Матушкин полез в рюкзак, спинка которого также была пропитана потом. Молча переоделся. Он все думал об одном: как сказать о спальном мешке? И решил признание отложить. Чему быть, того не миновать. В данную минуту он опять почувствовал страшный приступ голода, и это было главное.

– Жор напал какой-то, ужасно! Нуриман, может, перекусим?

– Только что ведь кушали, – удивился начпрод, но возражать не стал. – Что ж, айда. – Он достал банку кильки, хлеба и по сморщенному яблоку. – Горячее уж там поедим, – кивнул он в сторону вершины.

16

Одно дело достать вершину кивком, другое – дойти до нее ножками.

«Ножками» – любимое словцо Зырянова. Когда попадалось что-то непроходимое или конечная цель вдруг оказывалась много дальше предполагаемого, а силы уже на исходе и ребята смотрели вопросительно на Зырянова: как? каким образом? – он отвечал: «Ножками, ножками».

Вот так, ножками побрел Матушкин за Нуриманом к вершине горы. А ветер усиливался. Он подул с поддвиганием, предвещая недоброе. И вот снизу стремительно, как лихая банда, вылетела лохматая, зловещая туча. Она мигом закрыла солнце, вершину горы, и все вокруг стало серым, непроглядным. Пошел дождь. А рваные дымные клочья летели и летели из ущелья и под ударами ветра рассеивались вверху в новые дозы водяной пыли и мрака. Ведущего своего Матушкин, как ни всматривался, не видел. Веревка белела на протяжении каких-то двух метров, а дальше растворялась в пепельных клубах. Стало страшно. Порывы ветра толкали с такой силой, что казалось, следующий обязательно столкнет со склона и унесет к чертям собачьим. Перед каждым шагом Матушкин глубоко втыкал штык ледоруба в снежную жижу. Он шел за Нуриманом след в след. Это было нелегко, потому что ко всему прочему покрылись водной пеленой очки и следы размывались, исчезали вовсе... А поводыр подергивал. Матушкин пытался шагать напропалую, но быстро задыхался, отставал, и натянувшаяся веревка снова дергалась. Наконец Матушкин встал, снял очки и на вздрагивания веревки не

среагировал. Подошел Нуриман.

– Сейчас же надень, – сказал он.

Матушкин, разевая как рыба рот, показал на запотевшие стекла. Нуриман повторил:

– Надень сейчас же, ослепнешь.

– Так ведь нет солнца – тучи.

– Надень.

Куда деваться, Матушкин вновь закрыл глаза очками. По их стеклам на сей раз застучала дробью белоснежная крупа.

Останавливаться стали чаще. Матушкин уже не окликал Нуримана, а лишь встряхивал веревкой.

После одной из остановок Нуриман сказал:

– Сегодня должны миновать вершину.

– А где она? – раздраженно спросил Матушкин. – Вот ты кричишь, а я и тебя-то не вижу.

Нуриман терпеливо выждал, когда напарник отдышится, и двинулся дальше.

Силы таяли, а конца гребню не было. Один раз Матушкин упал, но веревка не натянулась, и Нуриман не заметил. Матушкин поспешил встать, он все еще не хотел уступать дважды кандидату Сабирову. Восстановил дистанцию, но выдохся. Видели бы Хафизов, Бельский, главный редактор!..

Скоро и эти последние мысли исчезли, в голове туман – крайняя степень отупения.

Клинок гребня загибается вверх все круче. И не хватает воздуха, он стал холодным, обжигающим, не верилось, что совсем недавно обливались потом. Ноги, руки окоченели. А ветер свирепеет, завывает по-волчьи, а то прямо рычит зверем. Где-то ухнул обвал. Раз шаг, еще шаг, ну еще... Звякнул ледоруб об лед под снегом, скользнул, Матушкин потерял опору, ткнулся носом в снег. Удачно. Не покатишься по склону, но и подняться тут же не смог.

– Всё, – сказал он подошедшему Нуриману.

– Отдохнем, – предложил Нуриман.

Через десять минут связка продолжила путь. Начался крутой подъем на предвершину. Нуриман принялся рубить ступени, заколачивать крючья, наводить перила. Теперь уже двигались почти вертикально вверх – в час по чайной ложке. На Матушкина летела ледяная крошка, ударяла по каске. Он стоял на вырубленной ступеньке опустив голову, реагируя лишь на команду напарника.

– Нагружай!

И Матушкин цеплялся за веревку специальным металлическим зажимом, лез – для веревки он был просто грузом, и она его выдерживала.

Для Нуримана он тоже, по всей вероятности, был просто грузом. И он тоже пока выдерживал.

Матушкин лез до тех пор, пока не касался головой разноцветных заплаток нуримановских штанов. Останавливался, ждал новой команды, опять лез, судорожно глотая воздух, из которого, казалось, выкачали весь кислород. И когда решил, что подтягивается к Нуриману в последний раз, больше не сможет, стена кончилась.

– Чудненький балкон, – выбираясь на площадку перед новым подъемом, нашел в себе силы вымолвить Матушкин.

– Это не балкон – предвершина.

Отдыхали долго. Ветер не стихал, катастрофически падала температура воздуха, мокрая одежда задубела. Надвигалась ночь.

– Может быть, тут остановимся, – предложил Матушкин.

– Нет, – ответил Нуриман, – отсюда нас в два счета сдует. С этой стороны ветер.

– А с той нет?

– С той меньше.

– Откуда знаешь?

– Еще с ребра по флагу определил.

– У меня ноги замерзли.

– Сними кошки – от них холод. Давай помогу.

Нуриман сбросил рукавицы, стал развязывать красными руками смерзшиеся узлы, орудовал клювом ледоруба и приговаривал:

– Метров пятьдесят осталось, ну – семьдесят.

Метры, километры... В горах это не единицы измерения. Безмолвный Матушкин потащился дальше, готовый к тому, что конца пути на этом свете не будет.

17

Лоб у Волка действительно покатый – ступеней и перил больше не было. Шли на своих двоих. Руки вступали в ход лишь при падениях. Впереди Нуриман, за ним пленником Матушкин.

Настала ночь. Но это мало что меняло – так и так в серых, несущихся сломя голову тучах ничего не

видно.

Неожиданно ветер ударил по круговой. Матушкин встал на четвереньки, пополз по инерции, а подъема больше не было – ни пологого, ни крутого, никакого!

Подошел на растопыренных ногах Нуриман.

– Это вершина!

– Ни черта не вижу. – Матушкин встал.

Они схватились за руки, нарушая все инструкции, и пошли, озираясь по сторонам. Выше их земли не было – мрак и пустота.

– Надо быстрее уходить, – прокричал Нуриман.

– Даже сфотографироваться не сможем. Кто мне поверит?..

– Быстрее!..

Нуриман силой потащил Матушкина. Миновали уши Белого Волка, оказавшиеся двумя почти правильной формы ледяными пирамидами, вышли на затылок и уже по всем правилам страховки сползли с него на два десятка метров вниз, где ветер и вправду был послабее. Матушкин сел, а Нуриман скрылся в поисках площадки для ночевки. Пошел снег. Ветер лепил его в лицо, задувал за шиворот. Матушкин сидел на рюкзаке с закрытыми глазами и ни о чем не думал.

– Сережа, Сережа! Ты почему не отвечаешь? Пошли. – Нуриман поднял товарища, спустились еще метров на восемь на крохотный, довольно ровный пятачок.

Нуриман начал разворачивать палатку:

– Помоги.

Матушкин взялся за какую-то веревку, на которую указал Нуриман, стал ее держать, потом другую, его шатало и колотило – хуже быть не могло.

Наконец жилище воздвигнуто. Это специальная высотная палатка с двумя выходами-рукавами. Нуриман полез в нее с одной стороны, Матушкин пошел с другой. Перешагивая через одну из растяжек, он зацепил ее ногой и упал. Веревка, схваченная за камень, соскочила, палатка скособочилась. Из рукава высунулся Нуриман. Увидев напарника рядом, он облегченно вздохнул и полез наружу.

– Везет тебе, – сказал он, по новой натягивая веревку, – мог бы и до перемычки скатиться. – Он накинул петлю на камень. Матушкин промолчал, закинул рюкзак в палатку, полез в нее сам. В палатке было как в раю – ни снега, ни ветра, тихо и мирно, бури и обвалы – далеко за порогом и ничего не могут сделать. Спать, скорее спать!

Звеня крючьями, ввалился Нуриман. Он долго возился в темноте, пыхтел, в итоге зажег фонарь.

– А ты зачем сидишь? – удивился он. – Вытаскивай свой спальник, будем укладываться.

– У меня его нет, – ответил Матушкин.

– Не понимаю.

– Я его не взял.

Нуриман посмотрел на Матушкина круглыми глазами:

– Я же предупредил...

– Кто думал, что мы попадем в такой переплет! – Матушкин выкрикнул это с иступленной злостью, точно обвалы над бергшрудом и провал снежного моста, и непогода, и совет Шитова были организованы Нуриманом. – Чужло мое сердце, так просто у меня с тобой не обойдется. Думаешь, я не знаю, что все это, – Матушкин показал пальцем вверх, – только начало?

Нуриман продолжал недоуменно смотреть на Матушкина. Затем опустил голову, принялся опорожнять свой рюкзак.

– Чего ты молчишь? – нервно спросил Матушкин.

– Ничего, Сережа, успокойся. Спальный мешок у меня большой, поместимся как-нибудь. Вот... – Нуриман одним взмахом развернул его. – Залезай. Возьми мои чуни, ноги в них быстро согреешь, а я пока примус запущу.

Матушкин закрыл глаза. А Нуриман продолжал хлопотать, приговаривая:

– Сейчас суп сварим. Конечно, целый день не ели. И чай вскипятим. У нас еды хватит. А покушаем, сразу тепло будет.

Матушкин потрянул головой: «Что со мной творится?» Он открыл глаза, медленно стянул ботинки...

– А носки, когда ляжешь, положи на грудь, под футболку, – посоветовал, не отрываясь от примуса, начпрод, – к утру будут сухие.

Постепенно Матушкин пришел в себя, закололо, зашипало пальцы ног, засадило руки, захотелось есть.

– Как вкусно пахнет! Ты, Нуриман, заправский повар.

– Держи миску.

Матушкин умял две порции супа, можно сказать, один съел банку кильки в томатном соусе. Он ел и спрашивал:

– Ты что, Нуриман, так, аппетита нет, что ли?

– Я чаю хочу, – отвечал мягко начпрод, – я сильно чай люблю.

Поужинав, атаковали спальный мешок. На двоих он, конечно, не был рассчитан. Однако кое-как втиснулись. Матушкин в объёме не так уж объемист – «молнию» даже умудрились застегнуть. Лежать, правда, пришлось в нем обоим на одном боку, вытянув руки по швам. Нуриман сразу уснул, задышал горячо Матушкину в затылок и не слышал, как с каждой минутой под непрерывным натиском разыгравшегося урагана все сильнее дрожала палатка, как захлопала она скатами, готовая сорваться с места и полететь. «Боже мой, – думал Матушкин, – когда все это кончится!». Спать он не мог. Как уснешь, когда жизнь на волоске, а ты и пошевелиться не можешь?

Стало трудно дышать. Может, кажется? Нет, участился пульс, кровь застучала в ушах – гулко и часто.

– Нуриман, что же это такое?

– Нас, должно быть, завалило снегом. – Нуриман тоже не спал, проснулся. Он расстегнул замок, вылез из мешка, зашуршал в темноте. – Да, нас завалило, надо откапываться.

18

Откапывались всю ночь до утра. Утром обнаружили, что жилище превратилось в пещеру. Нуриман вылез на разведку, но через пять минут вернулся и сказал, что идти невозможно. Матушкину это было ясно и без разведки – по истошному непрерывному завыванию ветра.

– Одна была у волка песенка... – промычал он, глядя на командира. – Нуриман, знаешь, на кого мы с тобой похожи? – И, не дожидаясь ответа, сказал: – На овец. На двух глупых загнанных овец. И Ак-Бурэ нас должен проглотить. Съесть он нас должен, как мы ту, помнишь, которую ты зарезал?

Нуриман усмехнулся, потеряв ладонью щетину на подбородке:

– Хорошая у тебя память. Но ты-то ее не ел. Значит, не грешен.

– Все равно проглотит. Волк, он и есть волк – серый, белый... какая разница?

– Не скажи, Сережа. Белый Волк – совсем другое дело. Ак-Бурэ не обидит нас.

– Ну-ну, – закивал Матушкин, посмотрев на оседающий под тяжестью снега потолок жилища.

Нуриман покладисто принял возражение, но не умолк:

– Вот ты послушай, только спрячься в спальник, пока я чай вскипячу. Вот. У татар, да и тут тоже, у киргизов, и вообще у большинства тюркских народов волк – это предок. А Белый Волк у нас, татар, вообще спасает народ. Об этом много сказок. Я еще в детстве читал. Помню, пойду в зоопарк и ищу белого волка, а такого нет. Серые, даже какие-то красные есть, а белого – увы!.. Отец смеялся и говорил: так он же предок и жил давно. А я ему резонно: ты рассказывал, что он волшебный, а волшебные не умирают.

Нуриман бросил в кипяток щепоть чая:

– Сейчас заварится. Да, отцовская сказка о Белом Волке самая интересная. В книгах там все просто, а отец рассказывал подробно и долго и всякий раз по-разному. Вот. Давным-давно якобы предки татар кочевали по горам и лесам. И был у них каганом еще совсем молодой батыр Ак-Кюнекей – Белое Солнце значит по тем временам. Однажды нагнали их враги, и они скрылись в глухом лесу и никак из него не могут выйти. С одной стороны подпирает вражья рать, а с другой высится гора до самого неба. И обратился Ак-Кюнекей к солнцу: «Пламенное Солнце, помоги мне, носящему твое имя, и моему племени перейти через эту гору, иначе мы погибнем тут от холода и голода. Не может ведь Ак-Кюнекей сдать на милость врагу». Солнце услышало просьбу и ровно в полдень послало отвесный луч, который, ударившись о землю, превратился в Белого Волка. «Садись на меня верхом, – сказал Волк, – подниму тебя на гору и спущу с другой стороны, и за нами пройдет все твое племя». Ак-Кюнекей вскочил на Волка, вцепился в белоснежный загривок, и зверь спас батыра и все его племя – поднял на гору и спустил с другой стороны.

– Полный траверс, – заключил Матушкин. – И спустились, говоришь, на перемышку?

– Я этого не говорил, – обиженно возразил Нуриман.

– Все равно хорошо придумал. Но я, к сожалению, не татарского роду-племени, и Ак-Бурэ не станет меня выручать.

– А я замолвлю за тебя словечко, так и быть. – Нуриман сложил рупором ладони и забасил: – Ак-Бурэ, а Ак-Бурэ, ты меня слышишь? Сергей Матушкин не нашего племени, но все равно хороший человек.

Оба рассмеялись.

– Просто анекдот! – сказал сквозь слезы Матушкин.

– Ладно, я ему сказку рассказал, а он – «анекдот». Айда чай пить, готово.

Отхлебывая кипяток, Матушкин спросил:

– Нуриман, скажи мне, почему у тебя одежда такая драная, заплатка на заплатке? Неужели новую нельзя приобрести?

– Это моя одежда, Сережа... Как тебе объяснить? В ней я в такую же вот непогоду пять лет назад выбрался с Зыряновым с Кокжала. А однажды летом сорвался со скалы, пролетел два десятка метров и остался жив. Потом в ней я познакомился с Аней... в Варзобе... Вот. Так что жалко расставаться. Латаю.

– Суеверный ты, Нуриман. Ак-Бурэ, заплатки...

– Выберемся отсюда, сменю, валлахи, сменю!

После завтрака расширяли выход из палатки. Без лопаты работать было трудно – где нарезали кубы снега ледорубами и сбрасывали вниз по склону, а где просто расшвыривали руками. Любое маломальское движение стоило труда и одышки. А буря не кончалась. Ревел бешеный ветер, толкал, валил с ног. И снег, снег... Под ним, несмотря на все усилия, палатку было уже почти не видно.

19

С приказом Нуримана Док не согласился. Оставшись за старшего, он велел собираться с тем, чтобы взять курс на бергшрунд. Аня воспротивилась:

– Нуриман велел идти на главный бивак, значит, у трещины нам делать нечего. Нужно скорее в лагерь к Зырянову и подниматься на Ак-Бурэ отсюда.

Аню поддержал Шитов. Но им возразили: к Зырянову группа успеет подойти только к вечеру, и на ночь глядя ее никто на маршрут не выпустит. А тут можно и трещину обследовать, и к Зырянову поспеть. Зато, если трещина проходима, уже сегодня двойка будет достигнута.

К единому мнению спорящие не пришли, и решено было сделать так: Шитов и Аня идут на бивак номер один, докладывают Зырянову обстановку, а Док с остальными поднимаются к бергшрунду.

Шитов и Аня пришли на бивак под перемычку за полчаса до радиосвязи, то есть, если бы все было благополучно, через тридцать минут Зырянов и Нуриман, как договаривались, начали бы переговоры друг с другом по рации, каждый из своего лагеря.

Зырянов выслушал Шитова, а затем Аню, нахмурил брови. Он не дал оценки их действиям, а лишь сказал:

– Погода портится.

Утром, когда нуримановская группа ушла, Зырянов переиграл все планы. Он решил брать безымянную без разведки.

В восемь утра штурмовая группа вышла на маршрут, который существовал пока лишь на предварительной карте. К приходу Ани и Шитова ребята с безымянной еще не вернулись. Их с нетерпением ждали.

Зырянов стоял с Аней у своей красной командорской палатки и говорил, что сегодня навстречу Нуриману выйти не удастся.

– Вон ведь что делается! – Зырянов поднял глаза к небу. Оно было затянуто дымчатой пеленой, шел дождь, налетали порывы шквального ветра.

– Идут, – раздался протяжный возглас Шитова. Он первым увидел четверку, вынырнувшую из клубящейся мглы. Все, кто был на биваке, быстро выстроились в шеренгу для приветствия победителей.

– Есть пик Даутовой! Покорителям снежной вершины – ура!

Как и все, Аня поздравляла победителей. Единственная женщина в команде, она поила их традиционным горячим компотом, слушала о перипетиях восхождения, о том, как на вершине был поставлен тур и вложена в него фотография Зои Даутовой с запиской первовосходителей, подливала добавки, что-то даже говорила, но ее здесь не было. Она была там, на Ак-Бурэ, на его снежном склоне между трещиной и вершиной, она думала о Нуримане и Сереже.

Чем эта трещина обернулась для них? Аня хорошо знала, что здесь, в горах, малейшая антипатия друг к другу может при восхождении кончиться трагедией. А ведь у них не просто неприязнь... Она вдруг вспомнила те страшные слова Нуримана, которые он сказал ей зимой, когда приезжал Зырянов и когда Сережа решил участвовать в экспедиции. И как могла она отпустить их вчера? Почему не прислушалась к своему сердцу, которое кольнула тревога? Теперь еще эта непогода. Вот и снег пошел, закружил, ничего не видно. Аня напряженно вглядывалась в сторону Ак-Бурэ, терзала себя безответными вопросами, и в голове ее, как и перед глазами, царил хаос.

Да нет же, Нуриман не такой... Он и мухи не обидит. А сколько раз, рискуя жизнью, он спасал других! Нет, нет, Нур на подлость не способен, сам костыми ляжет, а ближнему поможет. Ведь он и насчет Сережи предупреждал: нельзя, говорил, неподготовленного брать с собой, не положено, опасно... Банальными и неуместными показались те его слова среди всеобщего воодушевления.

Ревнует, вот и все, думала. Да и в самом же деле ревновал. Как он сказал-то: «Хватит того, что ты его любишь»? Действительно, любит ли она Сережу?

Утонченный, легкий, безоглядно-вдохновенный, Сережа словно нарочно был создан в контраст Нуриману и на искушение ей. Душа его была по-детски распахнута и ничего кроме добра не ведала. Как хотелось уберечь ее, оградить от неизбежных потрясений и разочарований! Ну хотя бы предостеречь. А вышло, по-настоящему пытался это сделать лишь один Нуриман, и не о душе Сережиной заботился, а о нем самом, во крови и плоти.

Сильный порыв ветра ударил Ане в лицо, сорвал с головы капюшон куртки. Аня даже задохнулась от его неистового напора, он будто вернул ее на Памир, в альплагерь «Варзоб», взнес на скальную террасу и сбросил вниз, в пропасть... Если б не Нуриман тогда... Милый, добрый Нуриман... Она обязана ему жизнью. Однако не была же любовь к нему благодарностью за спасение. Да, конечно, и благодарностью тоже: сколько восхождений они совершили вместе, участвовали в спасательных работах, но только сама побывав на краю гибели, только после отчаянного броска Нуримана – как он успел за ней, как удержал?! – она посмотрела на него по-другому, не просто как на товарища по команде... И все-таки настоящая любовь пришла позже, лишь тогда, когда уже, будучи женой, она смогла проникнуть под его внешнюю замкнутость, понять его. Запомнились слова соседки по больничной койке, сказанные год назад, когда Аня угодила в больницу с острым аппендицитом...

Ее увезли из дома в неотложке. Это случилось буквально за два часа до отлета Нуримана в Москву для участия в экспедиции на Западные Альпы. Туда так просто не попасть, а вот Нуриман ехал. На его кандидатуре настоял старший тренер предстоящих сборов Корней Тукмаков, с которым Нуриман несколько лет назад траверсировал массив пика Победы. В четверке Тукмакова он тогда подменил внезапно заболевшего челябинца Рыкина и, по сути дела, вытащил группу, побитую холодом и «горняшкой», из разбушевавшейся стихии, которая обрушилась на четверку уже на самом финише, при спуске к перевалу Чонторен. Альпинисты такое не забывают. И вот Тукмаков пригласил его на Западные Альпы. Нуриман дал согласие, друзья за него радовались, они гордились им, а он за час до вылета послал телеграмму: «Заболела жена, ехать не могу». И остался бродить под окнами больницы, в которой ей делали операцию.

Так вот, соседка-то по койке сказала: «Мужик у тебя – золото красное, от любой беды с ним откупишься». И добавила: «Лучше не найдешь». Это верно. Это Аня запомнила. Тогда-то она и решила: сходит в горы еще разок и оставит их, остепенится, подарит «золотому» своему мужу сына и будет растить его. Пора уже. В то время Сергея Матушкина она еще не знала.

Нет, с его появлением любви своей Аня не изменила. Она по-прежнему была верна Нуриману. Но только, оказывается, можно и так: держать в своем сердце сразу обоих.

...Когда покорители безымянной, попрятавшиеся от снега и ветра, управились с компотом, Зырянов собрал всех в своей палатке и рассказал о случившемся с Нуриманом и Сергеем при разведке Ак-Бурэ. Выслушав мнение товарищей, он объявил решение:

– Четверка, штурмовавшая безымянную, завтра в шесть утра выходит навстречу терпящим бедствие.

На следующий день из-за усилившейся непогоды спасотряд выйти не смог. Он двинулся лишь на пятое утро, когда ураган стих. Но уже вшестером. Пошли еще Шитов, который почувствовал себя лучше, и Аня. Это она упростила Зырянова включить их в число спасателей: Шитов рвался, поскольку казнил себя за то, что оставил Нуримана с неопытным Матушкиным, а Аня... Она просто больше не могла сидеть сложа руки.

Аня Сабирова все эти пять дней и ночей не находила себе места. Она уже не думала о взаимоотношениях Нуримана и Матушкина, не думала о своих чувствах к ним, она их ждала. Да, единственное – ждала. Обоих.

А Док с остатком группы стоял биваком у злополучного бергшрунда. В тот день ребята долго обследовали его, там их и накрыла затяжная непогода.

На пятый день утром снегопад на вершине Ак-Бурэ иссяк. Нуриман и Матушкин вылезли из своей берлоги. Над Кокжалом вставало солнце, небо было чистым, но ветер продолжал буйствовать. Нуриман огляделся и сказал:

– Пора сворачиваться.

Спущенную с растяжек палатку не сложить было. Задубелая, она трещала и ломалась. Но Нуриман жилился.

Работая, он всю дорогу поглядывал на товарища, который тоже пытался что-то делать, но чаще клевал носом снег, и его надо было поднимать. По мутным глазам его было видно, что он в полусознании.

Двинулись, когда солнце окончательно оторвалось от Кокжала и поплыло мимо безымянной вершины к Ак-Бурэ. С трудом сложенную громоздкую и, конечно же, в чехол не поместившуюся

палатку Нуриман взвалил себе на шею поверх рюкзака. Было неудобно: палатка на ветру тянула в сторону, и Нуриман со всей своей амуницией кренился, как парусник, и скрипел. К тому же ему приходилось пробивать в глубоком снегу траншею. Он шел, пыхтел на заиндевшую щетину, поминутно останавливаясь, задирая голову и оглядывая небо, горизонт, нюхая, как загнанный хищник, воздух. Его беспокоила погода: если она опять испортится, что здесь, на Тянь-Шане, вполне вероятно, то они уже не выберутся. Матушкин не знал, а Нуриман знал, но не говорил, умалчивал, переводил разговор на другое, что еды-то у них осталось на один присест и всего четыре спички и ни капли горючего, поэтому и примус бросил. Матушкин также не знал, что Нуриман все эти сутки на Ак-Бурэ не только внушал, что жесткая экономия пищи якобы на всякий пожарный, если непогода вообще не уймется, но и, по сути дела, ничего не ел. При этом он жаловался на отсутствие аппетита, ссылаясь на свою жировую прослойку, изворачивался, врал. И это у него получалось.

«Паркинсон, Паркинсон... Что это я о нем все? – Нуриман разгребал снег, тяжело отдышал, навалившись на ледоруб, и тупо соображал. – Паркинсон... Ах да, закон Паркинсона: если неприятность может случиться, то она обязательно случится, так, кажется». – Он оглядывался на Матушкина, смотрел по сторонам и опять торил тропу.

Вот и неприятность. Снизу, со стороны перемычки, стремительно полезли вверх грязно-серые облака. Нуриман остановился, чтобы сократить длину страховочной веревки, соединяющей его с Матушкиным. «Может, пронесет? Может, эти тучи порожние?»

Матушкин подошел и сквозь шум ветра сказал:

– Я люблю тебя, Аня. Я давно хотел сказать тебе это, но не решался. Хотя что-то говорить, ты знаешь. Сама ведь вон какая ходишь. И долго мы будем мучиться? Нуриман? А что Нуриман? Надо ему сказать...

Нуриман посмотрел на шальные глаза Матушкина, поправил на нем сбившуюся обвязку и пошел по пояс в снегу дальше вниз. Надо было торопиться. Только быстрый сброс высоты мог привести больного в чувство. Лишь бы снег не повалил и не скрыл видимость. Матушкин шел в нескольких метрах сзади и продолжал плести ахинею. До Нуримана долетали лишь обрывки фраз:

– Я готов ради тебя, Аня... И пусть уйдет, я сам скажу... А если... И пусть, я люблю... Ведь зачем я пошел?... Ох сколько их!.. И все белые... Волки... Н-на!..

Веревка резко дернулась. Однако Нуриман на ногах устоял, хотя был уже готов всадить ледоруб в снег и упасть на него ничком, чтобы удержаться на склоне и удержать оступившегося товарища. Нет, Матушкин не оступись, и не порывом ветра его повалило – он лежал, возился в снегу, вцепившись в горло какого-то невидимого врага, то ли зверя, то ли человека, и душил его. Нуриман, не сбрасывая рюкзака, подошел к барахтающемуся Матушкину, поднял его на ноги и несколько раз с силою встряхнул:

– Сергей, очнись, Сергей!

Они опять медленно пошли. Нуриман то поддерживал по-прежнему бормочащего товарища, то вновь принимался рыть траншею, и Матушкин тогда брел чуть сзади или же полз за ним, сильно отставая, на четвереньках.

Солнце вновь пропало за облаками, которые летели клубясь, застилая все вокруг пепельной непроглядью.

Начало снегопада Нуриман почувствовал шестым ли, десятым ли одному лишь ему известным чувством. Тучи на минутном безветрии затормозили бег, набрякли – окрестность потемнела, повалил снег. Но время было выиграно, спуск, пусть и небольшой, сказался на самочувствии Матушкина. Он пришел в себя. Нуриман понял это, когда после несвязного, бесконечно затянувшегося монолога Матушкин коротко сказал: «Я, кажется, отморозил ноги».

Под ураганным ветром, который поднялся с первыми хлопьями снега, принялись устанавливать палатку. Дело это оказалось настолько сложным: полог палатки, ее веревки – все замерзло, что Нуриману пришлось сбросить негнувшиеся варежки и перчатки и работать на ледяном снежном тягуне голыми руками. Он знал, на что шел. Но другого выхода не было.

Руки у Нуримана заоченели. В холодной, полутемной палатке без примуса отогреть их не удалось. Они были мертвенно-белые, с буроватыми пятнами, а кончики пальцев уже почернели. Матушкин помог натянуть на них меховые чуни, завязал, до лагеря решили не трогать. Ноги Матушкина после нескольких ударов веревкой отошли. Он долго выл, но в мешке, обняв Нуримана, успокоился и вскоре уснул.

Проспали до вечера. Все так же ревел ветер, но палатку на сей раз снегом не занесло. Матушкин с трех спичек зажег свечу. Нуриман велел достать из своего начпродовского мешка последних два сухаря, одну конфету-карамель и брикет перловой каши.

– Вот и все, что у нас осталось, – сказал Нуриман, глядя на худое лицо Матушкина. Оно у него стало еще острее и было теперь уже не холено-белым, а темным, поросшим репеевидной бородой, со

щек струпьями отходила кожа, черными болячками кровь запеклась на них и на губах, на длинном носу, треснувшем от переносицы до самого кончика. Лишь глаза остались светлыми и живыми. Нет, конечно же, он не помнит своего беспамятства, своих слов.

– Сережа, ты очень хочешь есть?

– Да, Нуриман, очень.

– Возьми тогда миску и зачерпни снега. Осторожнее, надень рукавицу. Вот так. Зачерпнул? Теперь поддержи над огнем свечи.

– Будем кашу варить?

– Угадал. Повыше подними посудину, а то огонь без толку.

Матушкин послушно приподнял миску со снегом, свободной же рукой взял брикет.

– Способ приготовления, – стал читать на упаковке. – Размять, залить, хорошо перемешать, довести до кипения и варить двадцать пять минут. Это сколько же свечей нам понадобится?

– Держи, держи, – сказал Нуриман.

– Срок хранения – десять месяцев, – прочитал Матушкин последнюю надпись и заглянул в миску.

Снег в ней удивительно быстро таял. – Вот и готово.

– Скушай, Сережа, полпачки, запей водой, а все остальное спрячь обратно.

– А ты?

– Не хочу, попью немного.

Матушкин протянул было талую воду Нуриману, но, опомнившись, напоил его из своих здоровых рук.

– Поешь все-таки.

– Честное слово, не хочу.

Матушкин развернул брикет перловой каши и стал жадно грызть его угол.

– Ты ее помочи, – посоветовал Нуриман, – лучше пойдет.

Легли сразу после ужина, который Матушкин заканчивал в темноте. Экономили свечу.

20

Утром продолжили спуск. Снегопада не было, ветер выдохся. Надолго ли? Облака неподвижно стояли в стороне, зацепившись за Кокжал и безымянную.

Собирались долго. Нуриман, как суфлер с плохо подготовленным к роли актером, не закрывал рта. Он держал беспомощные руки на груди и подсказывал, объяснял все до мелочей. Матушкин усердно работал. Зажег последнюю спичку, разогрел воду, достал сухарь, остаток перловки. На этот раз Нуриман съел полсухаря.

После завтрака Матушкин собирал вещи, обувался и обувал Нуримана, складывал палатку. Ее веревки, какие-то складки, петли слушаться не хотели. Он путался в них, злился, обращался за советом к Нуриману. Тот успокаивал и опять терпеливо научал. И Матушкин опять старался...

Несмотря на тяжелое состояние, Нуриман шел впереди, взламывая, как ледокол, снежный наст и оставляя за собой глубоко проложенный след. На его спине громоздилась палатка и болтался тощий рюкзак.

К обеду, как по расписанию, поднялся ветер, облака сорвались с привязи, налетели на Ак-Бурэ, ударили снегом. Нуриман и Матушкин с полчаса топтали сугроб – утрамбовывали площадку. Вконец обессиленные, принялись ставить на ней палатку. Снова Нуриман был лишь головой, а Матушкин – руками одного двуединого существа. Без подсказки он не мог даже палаточную стойку нарастить, а Нуриман без помощи Матушкина – и помочиться.

Пообедали последним сухарем с карамелькой. Залезли в мешок, не снимая ботинок.

– Что же это твой Ак-Бурэ?.. – вяло упрекнул Матушкин, словно он и в самом деле поверил в сказку.

До вечера не разговаривали. Говорить было не о чем. Да и сил на это не было. Лежали в каком-то полусне-полуяви. Дыхание Матушкина – он был за спиной Нуримана – временами останавливалось, Нуриман настораживался, но Матушкин порывисто вздыхал, и оба снова проваливались в небытие, пока и тревога, и тяжелые вздохи не повторялись. Так и лежали.

Когда совсем стемнело, Матушкин впервые шевельнулся:

– Как руки, болят?

– Ничего, – ответил Нуриман. – Расстегни мне «молнию», душно.

– От тебя жаром пыхнуло. Откуда он у тебя? – удивился Матушкин. – Я околеваю, а ты...

– Спи, – ответил Нуриман, – я всегда горячий.

Они опять замолчали и больше не разговаривали. Первым опаматовался Нуриман:

– Светло уже, Сережа, пошли, пока стихло.

– Стоит ли? – чуть внятно пробурчал Матушкин.
– Что за разговоры! – возмутился Нуриман. – Расстегивай мешок.
– Все одно до перемычки не дотянем, а в обед опять начнется...
– Тут рядом должна быть грузинская заброска – бензин, продукты...
– Как с той стороны было, на подъеме?
– Так мы же там не искали.
– Сейчас, – сказал Матушкин, – погоди минуту.
– Ни минуты.
– Но я не могу, у меня сил нет. Я окоченел.
– Сережа, джаным, соберись давай. Нас ждут. – Нуриман лежал, глядя на повалившуюся стойку палатки, не видя за спиной Матушкина, и говорил ему слабым, севшим голосом слова, какие никому и никогда в жизни не говорил. – Живыми ждут. Мы ведь с тобой победители! Сережа, кто за тебя все это опишет?

Матушкин засопел, прожужжала расстегиваемая «молния», и он медленно полез наружу. Нуриман решил было последовать за ним, но вдруг с ужасом почувствовал, что не может и пошевелиться. Тело дрожало от напряжения, локти свело, точно в ладонях у него был оголенный электрический провод, кровь застучала в висках, и эти удары болью отозвались в упакованных в чуни пальцах.

– Сережа, помоги, все тело стянуло.

– Я говорил, что у тебя жар, что ты заболел, а ты: «Нищего, нищего»... – кричал Матушкин, передразнивая товарища и помогая ему. – Как вот пойдем? Лежать надо было, не тратить силы. Должны же нас в конце-то концов найти. – Он стал поправлять одежду на освобожденном из спального мешка командире. – Опять штаны прохудились! Вернешься домой, поставь заплатку поярче, чтоб самой заметной была.

– Хорошо, Сережа, я вышью на ней твое имя.

Матушкин заправил свитер своего большого ребенка в бриджи, подтянул на них ремень и, не опуская задранную куртку, спросил:

– Может, в туалет хочешь?

– Спасибо, не с чего.

– Тогда пошли. – Матушкин застегнул наглухо его куртку, поправил на голове шапочку. Развязав выход из палатки, вылез на четвереньках из нее на снег.

За ним последовал Нуриман. Рукав палатки он одолел с трудом. Уже на выходе, как ни помогал ему Матушкин, больная рука зацепилась за что-то, и он чуть не потерял сознание.

Нуриман стоял на коленях на снегу, словно в молитве сложив руки на груди, и глаза его были широко раскрыты.

– Нуриман, Нуриман, – тряс его за плечи Матушкин, – вставай. Что с тобой? Поднимайся. Я же не утащу тебя, такую тушу. Как я тебя отсюда, Нуриман?.. – Матушкин провел ладонью по заскорузлой щеке Нуримана и заплакал. Нуриман качнулся:

– Помоги, Сережа.

– Вот, – обрадовался Матушкин, – обопришь об меня.

Нуриман потянулся вверх. Встал.

– Сережа, возьми левее, к жандармам.

Утопая по пояс в безбрежном сугробе, Матушкин медленно пошел влево к темным скальным выступам.

– Нуриман, здесь лучше, тут корка не проваливается.

Вдоль скальной стены по замерзшим грядкам снега идти было легче. Мешали только затвердевшие льдистые заструги. Они вставали на пути плохо поднимающихся ботинок, на каждом шагу норовили зацепиться за их рифленую подошву. Но все равно шли куда быстрее, чем минуту назад по свежему глубокому снегу.

Споткнулся Матушкин. А так как на него опирался Нуриман, полетели оба. Груз палатки потянул Матушкина, и он, сделав каким-то образом два шага, опустился в снег. Нуриман же, предохраняя больные руки, с размаху треснулся об лед. Локтями. Руки его безжизненно разогнулись, и он распластался на жестком снегу.

– Нуриман, вставай, – умолял Матушкин, пыхтя над командиром. Он лез из кожи, но оторвать Нуримана от ледяной грядки, вдоль которой тот лежал, не мог. – Замерзнешь, подымайся.

– Сейчас... – Нуриман ждал, когда первый приступ боли схлынет, когда сознание очистится от головокружительного дурмана, чтобы опять привычно опереться на локти, затем на колени, потом – самое тяжелое – скинуть правую ногу, встать на стопу и, опершись на поднятое колено, подняться в рост.

– Так, так, – кричал Матушкин.

Нуриман оттолкнулся от колена, выпрямился. Задохнувшийся Матушкин присел.

Начпрод стоял в полный рост, изодранный, окровавленный, и озирает окрестность. Он был выше злополучного треугольника – выше Кокжала, выше безымянной и выше Ак-Бурэ. Он вытянул руку по направлению к Кокжалу. Огромная гора была меньше его чуни и скрылась за ней. Что гора! Рукой своей Нуриман мог закрыть солнце. Он поднес было руку к глазам, но ладонь запульсировала нестерпимой болью, и он прижал ее, как ребенка, к груди, рядом со второй.

Щурясь от яркого солнечного света, долго смотрел вдаль, туда, где кончалось плато и откуда, по всей вероятности, открывался вид на зырянский бивак.

– Что ты там увидел? – спросил Матушкин. Он сидел на корточках и при каждом вдохе обнажал нижние зубы. На темном лице его они блестели ярче снега. – Грузинскую заброску, что ли?

– Нет, – ответил Нуриман, – я вижу, что мы спасены.

Матушкин поднял на командира глаза: не сошел ли тот, часом, с ума, больно уж торжественно он это изрек.

– Иль новую сказку придумал?

– Нет, не сказку.

– Так что же?

– Достань бинокль. За нами идут.

– Белые Волки?

Нуриман не ответил.

– Где-е? – Матушкин встал.

– Посмотри... – Нуриман мотнул головой туда, куда смотрел. Он хорошо видел: в конце белоснежного плато чернело шесть точек – одна за другой, пунктиром.

– Где? – Матушкин уже наводил окуляры бинокля. – А-а, вижу! Всех шестерых. Впереди Шитов... И Аня с ними! На, погляди. – Матушкин приставил бинокль к глазам товарища. Нуриман, однако, ничего разглядеть не смог, потому что бинокль в руках Матушкина дрожал, уходил то вверх, то вниз и бил по переносице.

– Спасибо, – отстранился Нуриман, – скоро и так разгляжу. Пойдем выйдем на снег, вон к тем валунам поближе, пусть и они нас увидят.

Матушкин и Нуриман, подпирая друг друга, вошли в снег и побрели от серой скалы. До валунов не дошли. Задохнулись.

– Давай прямо здесь сядем, зачем нам валуны? – предложил Матушкин. – На снегу-то мы заметнее. Нуриман согласился. Матушкин кинул в снег палатку, помог сесть на нее Нуриману и сел сам.

– Припекает, сниму-ка я куртку, – сказал он.

– Будет хорошая погода, – ответил Нуриман.

21

До заброски грузинских альпинистов Нуриман и Матушкин не дошли, оказывается, всего каких-то пятнадцати метров. Она была спрятана в пещере у валунов. К ней-то и подвели потерпевших спасатели и оказали первую помощь.

Но приступить к ней, первой медицинской помощи, было не так-то просто – мешали слезы, смех, объятия, вопросы, сбивчивые объяснения...

– А мы-то ведь тоже сидели, – говорил Шитов, – и ни с места, так мело – палатки валило. Но у нас-то хоть жратва была, а вы-то как? И без спальника...

– А мы вот так, – гоготал в ответ Матушкин, – вот так.

Он радостно скалил зубы, поглядывая на Аню, которая, обнимая одной рукой его, другой – Нуримана, плакала. В слезах ее он видел впервые. Матушкин смотрел на Аню, ловил ее взгляд и не мог себе вообразить, какое страшное зрелище представляет его лицо. Кроме того, что треснул пополам нос и все лицо было сплошной раной, оно еще невероятно распухло.

– Вот так, Шура, мы тут как на курорте.

– Оно и видно, здорово отъелись, особенно ты, Серж. Дай ему зеркальце, Аня, пускай поглядит на себя.

– Ни к чему это, – вытирая слезы, говорила Аня, – внизу все пройдет, и следа не останется. И нос пройдет, и щеки, и руки... – Она переводила взгляд на чуни, на эту обувь сорок третьего размера, купленную ею на базаре перед самым отъездом, и думала о том, что никогда бы не подумала, что покупает их мужу на руки. – Все пройдет, и все будет хорошо.

Она поила своего Нура и своего Сережу горячим сладким чаем из термоса, и слезы снова бежали по ее щекам, она их вытирала и снова повторяла:

– Все будет хорошо, все будет хорошо...

Спуск больных до бивака занял более пяти часов. Нуриман, поддерживаемый Шитовым, всю дорогу оглядывался на вершину Ак-Бурэ.

– Жаль расставаться? – спрашивал Шитов. Нуриман задумчиво склонил голову и не отвечал. Через два десятка метров плато оборвалось почти вертикальной чистой от снега стеной, по которой Нуриману с Матушкиным вдвоем ни за что бы не спуститься. Первым решили транспортировать Матушкина – полегче, и руки работают. На него надели петлю-беседку, повели к краю пропасти.

– Подождите, – попросил Матушкин перед спуском. Он обернулся, посмотрел на вершину, на которой, думал, уж останется навсегда, и, собрав все свои, какие имелись, силы, глотнув воздуха, закричал так, что жилы на шее вздулись:

– Ак-Бурэ, дорогой, прощай!

– Прощай, прощай, – отозвалась гора.

В седьмом часу вечера покорителей Ак-Бурэ встретили в главном лагере.

22

За большим каменным столом шел пир. Зырянов наполнял себе водкой, настоянной на золотом корне, уже вторую стопку-наперсток. Шитов дымил в рыжую бороду сигаретой. Док по обыкновению жевал.

Бестолково проторчав у дьявольского бергшрунда, Док со своей группой на пятый день вернулся в лагерь. Да, отступил, капитулировал, зато сейчас наверстывал... Полчаса назад он закончил обрабатывать обмороженные пальцы Нуримана, и тот сидел теперь перебинтованный и вяло ел из рук жены.

Перевязан был и Матушкин. Бинт перехватывал нос, щеки, уши, подхватывал снизу подбородок. Он едва приоткрывал сжатый повязкой рот, чтобы сунуть туда ломтик хлеба и запить бульоном. Гусем вытягивая шею, он глотал непрожеванные куски и смотрел, как за Ак-Бурэ заходит красное натруженное солнце. По результатам восхождений Зырянов доложил, что Ак-Бурэ неожиданно оказался выше Кокжала и пика Зои Даутовой. Об этом, не доходя до вершины, тогда еще безымянной, сообщила штурмовая группа. Это было, наверное, в то время, когда Матушкин болтался в бергшрунде. Сами же они в непогоду с Ак-Бурэ ничего не видели. Впрочем, какая разница, десятью метрами выше гора, ниже? Безымянную бы, например, он никогда в жизни траверсировать не смог. Из трех вершин она была самой сложной. Матушкин посмотрел на бывшую безымянную, а теперь пик Зои Даутовой. Ее стройная конусообразная вершина под лучами заходящего солнца окрасилась в пурпур – сфотографируй такую какая есть и покажи – не поверят в подлинность ее красоты.

– Нарядная! – произнес непослушными устами Матушкин. Но слов его никто не разобрал. Он поежился. Хоть и стояла еще в воздухе дымка, которую надыхал за полный солнечный день ледник, и шумно клокотали по трещинам талые воды, а приближающаяся ночь брала свое. Ее холодные волны, сходящие с близлежащих снежных вершин, снимали с морены остатки дневного тепла, окатывали лагерь пронизывающей сыростью.

Ребята вставали, накидывали на плечи пуховые куртки и, несмотря на то, что все обо всем было уже подробно рассказано друг другу, расходиться не спешили. Матушкин зябко повел плечами.

– Оденся, – сказал Нуриман, – прохладно уже.

– Да... Пойду за пуховкой.

– Сиди, – сказала Аня, – сейчас принесу.

– Я сам. – Матушкин как можно теплее кивнул больному товарищу и его жене и пошел к палатке.

На глаза в палатке попались чьи-то листки бумаги. Они беспорядочно лежали вперемешку с красно-синими полосатыми авиаконвертами. Матушкин пошевелил затекшими пальцами, поискал глазами авторучку. И авторучка оказалась рядом – торчала из кармашка палатки. Как тут удержаться и не пустить ее размашисто слева направо по гладкому листочку! Истосковался. Матушкин взял авторучку. Кому написать? И о чем? Конечно же, всем, решил он, и обо всем. Все как было. Написать, как он поднялся высоко-высоко за облака и что теперь он совершенно другой человек.

«Родная моя, дорогая моя мамочка! – вывел он на бумаге. – Вот и все. Мы возвращаемся, и напрасно ты волновалась. Экспедиция прошла успешно, я собрал гору материала...»

«Красноперов, привет! – начал он второе письмо. – Как вы там без меня, черти? Смотреть, наверно, в газете не на что. Приеду вот, развернусь – держитесь. Тиражом в один экземпляр писать не привык. Скажу лишь – прогулялся на славу. Природа здесь не хуже, чем в нашем ЦПКиО. И горы тоже есть. Только бульвары менее благоустроены и нет канатно-подвесных дорог. Зато эдельвейсов – море. А красивы они!.. Привезу – увидишь».

Пришла Аня:

– Письма пишешь?

– Уже написал.

– А я тебя потеряла. Держи. – Аня протянула букетик светлых пушистых, как цыплята, эдельвейсов.

– Где ты их взяла? – удивился Матушкин.
– Еще внизу собрала. И обработала сразу. На последний день же никогда надеяться нельзя.
– Соберу еще.
– Не сможешь, Сережа, завтра рано утром будет вертолет, и ты с Нуриманом улетишь. Дай я поцелую тебя на прощание. – Она коснулась его шершавых губ в прорези бинтов. – Пойду к Нуриману.
– Иди, – ответил Матушкин, – ты ему нужнее.

Аня ушла.

Матушкин откинул полог палатки, залез в спальный мешок, а голову свою перебинтованную из палатки наружу выставил, на волю. Так и уснул.

Бесчисленные звезды, высыпавшие на высокое тянь-шаньское небо, с любопытством уставились ему в лицо...

1983

Содержание

Шейх и Звездочет (<i>роман</i>)
Записки горбатого человека (<i>роман</i>)
Рассказы
Яблони цветут в октябре
Да здравствует солнце!
Прогулка за эдельвейсами (<i>повесть</i>)

Литературно-художественное издание

Мушинский Ахат Хаевич

ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ В ОКТЯБРЕ

Казань. Татарское книжное издательство. 2011

Редактор *А.Г.Хамитова*

Художественный редактор *Р.Х.Хасаншин*

Техническое редактирование и компьютерная верстка

Ф.Р.Гисматуллиной

Корректор *А.Г.Хамитова*

В книге использованы рисунки *В.В.Семеновой*

Оригинал-макет подписан в печать 19.05.2011. Формат 84×108^{1/32}.

Усл. печ. л. 26,88. Тираж 2000 экз. Заказ Р-696.

Татарское книжное издательство. 420111. Казань, ул.Баумана, 19.

<http://tatkniga.ru>

e-mail: tki@tatkniga.ru

Оригинал-макет подготовлен с помощью пакета программ Jahat™.

Филиал ОАО «Татмедиа» полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».

420066. Казань, ул.Декабристов, 2.